

Генрик Сенкевич
Пан Володыёвский
(Трилогия -3)

ПРОЛОГ

После войны с венграми и состоявшегося вскоре торжественного венчания пана Анджея Кмицица с панной Александрой Биллевич все ждали еще одной свадьбы — не менее доблестный и славный рыцарь, полковник лауданской хоругви пан Ежи Михал Володыёвский собирался жениться на Анне Борзобогатой-Красенской.

Но волею судеб свадьба откладывалась. Панна Борзобогатая, воспитанница княгини Вишневецкой, без ее благословения не решалась на такой шаг. Времена были беспокойные, и пан Михал, оставив девушку в Водоктах, один отправился за благословением к княгине, в Замостье.

Но и тут удача ему изменила — княгини он не застал. Ради эдукации сына она уехала в Вену к императорскому двору.

Рыцарь тотчас же поехал вслед за ней, хотя поездка эта была и не ко времени. Там уладив дело, он возвращался домой, исполненный надежд. Но дома застал беспорядок и смуту: солдаты вступали в союзы, на Украине не было мира, пожар не унимался и на востоке. Чтобы заслонить границу, собирали новое войско.

Еще по пути в Варшаву гонцы вручили пану Михалу письмо с наказом от русского воеводы. Ставя благо отчизны превыше собственных благ, он, отложив свадьбу, уехал на Украину. Несколько лет провел он в дальнем краю в огне, борьбе и трудах ратных и не всегда мог и весточку послать истомившейся невесте.

Потом его отправили на переговоры в Крым, а вскоре наступило время злополучной и тяжелой междоусобной войны с Любомирским, в которой пан Михал сражался против этого забывшего стыд и совесть вельможи на стороне короля, и наконец под водительством Собеского[1] снова двинул свой полк на Украину. Слава его имени росла, его называли первым солдатом Речи Посполитой, но жизнь его проходила в тоске, во вздохах и ожиданье.

Был 1668 год, когда, получив по распоряжению пана каштеляна отпуск, он в начале лета поехал за невестой в Водокты, чтобы оттуда повезти ее в Краков.

Княгиня Гризельда в ту пору уже вернулась из Вены и, желая быть посаженной матерью невесты, приглашала у себя отпраздновать свадьбу.

Молодые супруги Анджей и Оленька остались в Водоктах и о Михале на время забыли, тем паче что все думы их были о новом госте, появления которого они ожидали. До сей поры провидение не послало им детей; но теперь должна была наступить долгожданная и столь милая их сердцу перемена.

Год выдался на диво урожайный, хлеба были такие обильные, что сараи и овины не могли уместить зерна, и на полях, куда ни глянь, виднелись скирды чуть не до неба. По всем окрестностям поднялся молодой лесок, да так быстро, как прежде, бывало, не вырастал и за несколько лет. В лесах полно было грибов и всякого зверья, в реках — рыбы. Редкое плодородие земли передавалось всему живому.

Друзья Володыёвского говорили, что это добрый знак, и все как один предсказывали ему скорую свадьбу, но судьба решила иначе.

ГЛАВА I

Однажды в чудный осенний день пан Анджей Кмициц сидел под тенистой крышей беседки и, попивая послеобеденный мед, поглядывал сквозь обвитые хмелем прутья на жену, которая прохаживалась в саду по чисто выметенной дорожке.

Была она женщиной редкой красоты, светловолосая, с кротким, ангельским лицом. Исполненная покоя и благодати, она ступала медленно и осторожно.

Было заметно, что Анджей Кмициц влюблен в жену, как юнец. Он глядел ей вслед преданным взглядом, словно пес на хозяина. При этом он то и дело улыбался и подкручивал усы. И каждый раз на лице его появлялось выражение бесшабашной удали. Видно было, что малый он лихой и в холостяцкие годы покуролесил немало.

Тишину в саду нарушали лишь стук падающих на землю спелых плодов да жужжание пчел. Было начало сентября. Солнечные лучи, не такие жаркие, как прежде, освещали все вокруг мягким золотым светом. В этом золоте среди матовой листвы поблескивали красные яблоки в таком изобилии, что казалось, деревья усыпаны ими сверху донизу. Ветки слив прогибались под плодами, покрытыми сизым налетом. Первые предательские нити паутины на ветках чуть вздрагивали от дуновения ветерка, такого легкого, что в саду не шелохнулся ни один лист.

Может, и райская эта погода наполняла сердце пана Кмицица таким весельем, потому что лицо его светлело все больше и больше. Наконец он отпил еще глоток меда и сказал жене:

— Оленька, поди сюда! Я тебе что-то скажу.

— Лишь бы не то, что мне и слушать неохота.

— Богом клянусь, нет! Дай скажу на ушко.

Сказав это, он обнял жену одной рукой, коснувшись усами ее белого лица, и прошептал:

— Коли сын родится, Михалом назовем.

Она чуть потупилась, зардевшись от смущения, и в свою очередь шепнула:

— Но ведь ты же на Гераклиуша согласился.

— Видишь ли, в честь Володыёвского...

— Неужто не в память деда?

— Моего благодетеля... Гм! И верно... Но второй-то уж будет Михал! Непременно!

Тут Оленька встала и хотела было высвободиться из объятий пана Анджея, но он еще сильнее прижал ее к груди и стал целовать ей глаза, губы, повторяя при этом:

— Ах ты, моя рыбка, любушка моя, радость ненаглядная!

Дальнейшую их беседу прервал дворовый, который бежал издалека прямо к сторожке Кмицица.

— Что скажешь? — спросил пан Кмициц, отпуская жену.

— Пан Харлампы приехали и изволят в доме дожидаться, — отвечал слуга.

— А вот и он сам! — воскликнул Кмициц, увидев почтенного мужа, приближавшегося к беседке. — О боже, как у него усы поседали! Здравствуй, старый друг и товарищ, здравствуй, брат!

Сказав это, он выскочил из беседки и с распростертыми объятиями бросился навстречу пану Харлампу.

Но пан Харлампы сперва склонился в низком поклоне перед Оленькой, которую в давние времена нередко видывал в Кейданах, при дворе виленского князя воеводы, приложился своими пышными усами к ее ручке и только после этого обнял Кмицица и, припав к его плечу, зарыдал.

— Боже милосердный, что с вами? — воскликнул удивленный хозяин.

— Одному господь послал счастье, у другого — отнял. А печаль мою только вашей милости я и могу поведать.

Тут Харлампы бросил взгляд на супругу пана Анджея, и она, догадавшись, что при ней он не решается заговорить, сказала мужу:

— Я велю прислать еще меду, а пока одних вас оставляю.

Кмициц повел пана Харлампы за собой в беседку и, посадив на скамью, воскликнул:

— Что с тобой? Или помощь какая надобна? Положись же на меня, как на Завишу![2]

— Ничего мне не надобно, — отвечал старый солдат, — и помощь твоя не нужна, пока вот этой рукой я еще шевельнуть в силах и саблю удержать могу, но старый друг наш, достойнейший муж Речи Посполитой, в глубоком горе, да кто знает, жив ли он...

— О святой боже! У Володыевского беда?

— Беда! — подтвердил Харлампы, и из глаз его в три ручья хлынули слезы. — Знай же, ваша милость, что панна Анна Борзобогатая с земной юдолью рассталась.

— Умерла! — воскликнул Кмициц, схватившись за голову.

— Как птичка, пронзенная стрелой...

Наступило молчание, только яблоки с тяжким стуком падали на землю да пан Харлампы вздыхал все громче, с трудом сдерживая плач, а Кмициц, заломив руки и качая головой, повторял:

— Милостивый боже! Милостивый боже!..

— Не дивитесь тому, что ослаб я и обмяк, — промолвил наконец пан Харлампы, — ведь если у вас при одной только вести о несча-

стве щемит сердце от dolor[3] что же говорить обо мне, который и ее кончину, и его безмерную скорбь видел.

Тут вошел слуга, неся на подносе бутылъ и еще одну чарку, а следом и Оленька, изнывавшая от любопытства. Глянув мужу в лицо и заметив его глубокое смятение, она, не выдержав, сказала:

— С какой твоя милость пожаловали вестью? Не отталкивайте меня. Может, я вас утешу, может, поплачу с вами, а может, советом помогу.

— Тут и твоей голове не придумать совета, — сказал пан Анджей, — боюсь только, кабы от таких вестей здоровью твоему урона не было...

— Я все снесу, горше всего неизвестность.

— Ануся умерла! — сказал пан Кмициц.

Оленька, побледнев, тяжело опустилась на скамейку. Кмициц подумал было, что она сомлела, но печаль взяла верх над внезапностью вести. Оленька заплакала, а оба рыцаря дружно ей вторили.

— Оленька, — сказал наконец Кмициц, желая отвлечь ее и утешить, — или не веришь ты, что душа ее в раю?

— Не над ней, а без нее, осиротев я плачу, да еще над бедным паном Михалом, потому что хотела бы я верить в спасение собственной своей души, так же как в ее вечное блаженство верю. Редкой добродетели была, благородная, добрая. Ах, Ануся! Ануся, незабвенная моя!

— Я был при ней и всем могу пожелать такого благочестия в час кончины.

Снова наступило молчание, а когда вместе со слезами отхлынула печаль, Кмициц сказал:

— Рассказывай, друже, все как было, в грустных местах медом дух подкрепляя.

— Спасибо, — ответил Харлам, — выпью глоток-другой, коли и ты мне компанию составишь, а то боль сердце клещами сжала, а теперь за глотку хватает, того и гляди, задушит. Вот как это было. Ехал я из Ченстоховы в родные края, думал, возьму в аренду именье, поживу на старости лет в мире и покое. Довольно повоевал я на своем веку, мальчишкой в войско вступил, а сейчас голова седая. Если не усижу на месте, может, и встану под чьи-то знамена, но, право, союзы эти с обидчиками, вконец отчизну разорившие, да междоусобицы всякие, на потеху врагам разжигаемые, вконец отвратили меня от Беллоны... Боже праведный! Слышал я, пеликан своею кровью детей кормит. Но у бедной отчизны и крови-то не осталось. Добрым солдатом был Свидерский... Бог ему судья!..

— Ануся, милая Ануся! — с плачем прервала его пани Александра, — если бы не ты, что бы со мной и со всеми нами случилось! Была ты для меня опорой и защитой. Ануся, любимая моя Ануся!

Услышав это, Харлампыч снова зарыдал в голос, но Кмициц тотчас же обратился к нему со словами:

— А скажи, друже, где ты Володыёвского встретил?

— Встретились мы в Ченстохове, где оба на время остановились, дары чудотворной божьей матери приносили. Он сказывал, что едет с невестой в Краков, к княгине Гризельде Вишневецкой, без ее благословения и согласия Ануся под венец идти не хотела. Девушка в то время была здорова, а Михал весел, как голубок. «Вот, говорит, господь вознаградил меня за верную службу!» Передо мной похвалялся да зубы скалил, бог ему прости, ведь в свое то время спор у нас из-за этой девушки вышел, и мы было драться хотели. Где-то она теперь, бедняжка?

И тут пан Харлампыч снова зарыдал, но Кмициц остановил его:

— Так ты говоришь, она здорова была? Неужто умерла в одночасье?

— Воистину так, в одночасье. Остановилась барышня у пани Замойской, она как раз с мужем, паном Мартином, в Ченстохове гостила. Михал, бывало, день-деньской у них сживал, сетовал на проволочки, говорил, что заждался, эдак им и за год до Кракова не доехать, ведь все их по дороге привечали. Да и не диво! Такому гостю, такому удалцу всякий рад, а уж кто зазвал его в дом, не вдруг отпустит. Михал и к барышне меня отвел, еще и шутил: вздумаешь за ней волочиться — зарублю. Да только ей без него белый свет был не мил. А меня, бывалоча, тоска разбирала, хоть волком вой: вот дожил до седины, а все один как перст. Ах, да полно! Но вот как-то ночью прибегает ко мне Михал — лица на нем нет.

«Беда, брат, помоги, не знаешь ли лекаря какого?» — «Что стряслось?» — «Заболела Ануся, не узнает никого!» — «Давно ли?» — спрашиваю. «Да вот человека прислали от пани Замойской!» А на дворе ночь! Где тут искать лекаря, один монастырь по соседству, а в городе людей меньше, чем развалин. Ну, разыскал я, однако, лекаря, правда, он идти не хотел, так я его обушком пригнал. Да только там не лекарь, а ксендз был нужен. Ну нашли мы наконец достойного отца паулина, и он молитвами вдохнул в бедняжку искру сознания, она и причаститься смогла, и с Михалом простилась нежно. На другой день к полудню ее не стало. Лекарь говорил, видно, опоили ее чем, да не верится, ведь в Ченстохове злые чары силу теряют. Но что с Володыёвским делалось, он такое нес, ну, да господь ему простит, потому что человек в горе себя не помнит... Вот, говорю как на духу, — тут пан Харлампыч голос пони-

зил, — богохульствовал, себя не помня.

— Богохульствовал?! Неужто? — тихо повторил Кмищиц.

— Выбежал от покойницы в сени, из сеней на двор, шатается, как пьяный. А на дворе поднял кулаки к небу и завопил: «Так вот она награда за мои труды, за мои раны, за мою кровь, за верную службу отечеству?!»

Одна-единственная овечка у меня была, говорит, и ее ты прибрал, о господи. Воина-рубаку, что за себя постоять готов, свалить, говорит, это тебе по плечу, но невинного голубя задушить и кот, и ястреб, и коршун сумеют... и...

— Бога ради! — воскликнула пани Александра, — не повторяй, беду на дом накличешь!

Харлампы, перекрестясь, продолжал:

— Эх, говорит, вот тебе, солдатик, за службу награда, получай!.. Господь ведает, что творит, но нашим бедным умом этого не понять и нашей справедливостью не измерить. Так он богохульствовал, а потом отяжелел и свалился как сноп, а ксендз над ним экзорцизмы творил, чтобы отогнать от ослабевшей души бесов.

— И скоро ли он опомнился?

— Час целый лежал замертво, потом очухался, вернулся к себе и не велел никого пускать. На похоронах я ему говорю: «Михал, помни о боге!» Он молчит. Три дня просидел я еще в Ченстохове, жаль было его покидать, но только напрасно я стучался. Он видеть меня не хотел. Долго я размышлял, что делать, то ли ломиться в дверь, то ли ехать... Человека без помощи и утешения оставить? Вижу, однако, ничего путного не будет, и порешил к Скшетускому навеститься. Он да пан Заглоба, первые его друзья, может, и найдут путь к его сердцу, особенно пан Заглоба. Он человек сметливый, у него для всякого слово утешенья сыщется.

— У Скшетуских побывал?

— Был, да только без толку: они с Заглобой уехали под Калиш к ротмистру пану Станиславу. Когда вернутся, не знает никто. Ну, думаю, все едино мне на Жмудь ехать, вот и решил к вам навеститься, мои благодетели, все вам выложить.

— В рвении твоём и благородстве я не сомневался.

— Да только не обо мне, о Володыёвском речь, — отвечал Харлампы, — и признаюсь вам, любезные, я за его разум опасаюсь.

— Господь не допустит такого, — сказала пани Александра.

— Если и не допустит, то ведь Михал рясу наденет, как на духу говорю: за всю свою жизнь не видел я жалостней картины! А жаль солдата! Ох, жаль!

— Как это жаль? Одним слугой господним больше будет! — отозвалась снова пани Александра.

Харлампы подкрутил усы, вытер рукой лоб.

— Сударыня-благодетельница... Вот ведь какое дело — может, больше, а может, и нет. Посчитайте, почтеннейшие, сколько он еретиков да язычников на тот свет отправил, этим он спасителя нашего и пречистую деву богородицу больше, чем иной ксендз молитвами восславил. Поучительная история! Пусть каждый служит всевышнему, как умеет. И еще я вам скажу, средь иезуитов всегда кто-нибудь похитроумней его сыщется, а второй такой сабли во всей Речи Посполитой не найти!

— Верно говоришь! — отозвался Кмициц. — Не знаешь ли, брат, где он: в Ченстохове али уехал куда?

— Там я его оставил. Что потом было — не ведаю. Одно знаю. Не дай бог рассудок у него помутится или другая какая хворь, родная сестра несчастья, привяжется, останется он один-одинешенек — без родных, без друзей, без всякого утешения.

— Да хранит тебя, друже, в святом нашем городе пречистая дева! — воскликнул Анджей Кмициц. — А уж доброты твоей во век не забуду, был ты для меня названным братом!..

Все смолкли, пани Александра сидела задумавшись и вдруг, вскинув златоволосую голову, сказала, обратясь к мужу:

— Помнишь ли ты, Ендрек, чем мы ему обязаны?

— Коли забуду — гпаза у собаки занять придется, а то своими на людей глядеть совестно будет.

— Ендрек, оставить его в беде грех великий!

— Как это?

— Езжай к нему.

— Ах, добрая душа, золотое сердечко! — воскликнул Харлам и стал целовать ручки пани Оленьке.

Но Кмицицу не по вкусу пришелся этот совет, он покачал головой.

— Ради него я бы на край света поехал, но видишь сама... если бы ты, не к ночи будь сказано, здорова была, посуди сама. Боже упаси, случай какой приключится. Да я бы там высох с горя. Жена для меня на первом месте, а уж после друзья-товарищи. Жаль Михала, но...

— Я тут под опекой отцов лауданцев. Сейчас здесь спокойно, да и я не из пугливых. Без божьей воли волос с моей головы не упадет... А Михалу, быть может, помощь твоя нужна...

— Ох, нужна, нужна! — вставил словечко Харлам.

— Слышь, Ендрек. Я здорова. Здесь меня никто не обидит. Знаю, тяжело тебе на отъезд решиться...

— Легче было бы супротив пушек с саблей идти... — отозвался Кмициц.

— Неужто ты думаешь, совесть тебя не заест, коли останешься, ведь днем и ночью вспоминать будешь: друга своего я в беде

бросил. Да и господь, разгневавшись, откажет нам в благословении.

— Нож мне в сердце вонзаешь! В благословении откажет? Вот чего боюсь так боюсь.

— Другого такого товарища у тебя на свете нет — спасти его долг святой!

— Я Михала всем сердцем люблю! Уговорила! Коли ехать — так мешкать нечего, каждый час на счету! Сейчас велю заложить лошадей. Боже ты мой, неужто ничего другого придумать нельзя? Черт дернул их под Калиш забрать. Да разве я о себе, о тебе пекусь я, душа моя! Мне легче имения и всего добра лишиться, чем один-единственный день с тобой провести розно, кабы мне кто сказал, что я не ради подвигов ратных тебя здесь одну оставляю, заколол бы я его, как цыпленка. Долг, говоришь? Будь по-твоему. Назад глядеть — дело пустое. Но если бы не Михал, не поехал бы, ей-ей, не поехал!

Тут он обратился к Харлампу:

— Пойдем, сударь, со мной в конюшни, седлать пора. Оленька, вели собрать меня в дорогу. Да пусть кто-нибудь из наших лауданских за обмолотом присмотрит... А ты, пан Харламп, хоть недельки две посиди у нас, жену мою не оставляй. Может, здесь в окрестностях именице какое сыщется. Любич в аренду возьмешь? Годится? Однако на конюшню пора. Через час в путь. Пора так пора!..

ГЛАВА II

Еще задолго до захода солнца рыцарь простился с плачущей женой, которая дала ему на дорогу ладанку с частицей животворящего креста в золотой оправе, и двинулся в путь. Кмициц смолоду был привычен к походам и потому мчал во весь опор, словно гнался за татарами.

Доехав до Вильно, он свернул на Гродно и Белосток, а оттуда отправился в Седльце. Подъезжая к Лукову, он узнал, что Скшетуские всем семейством, с детьми и с паном Заглобой, вернулись из-под Калиша, и решил заглянуть к ним, с кем же еще мог он думами заветными поделиться.

Там встретили его с удивлением и радостью, сменившейся горькими слезами, едва он поведал о Володыёвском.

Безутешнее всех был пан Заглоба, он ушел к пруду и рыдал целый день, да так усердно, что, как сам потом рассказывал, вода вышла из берегов и пришлось открыть запруду. Но, поплакав всласть, успокоился и вот что потом сказал на общем совете:

— Яну ехать не с руки, он в суд выбран, хлопот у него предостаточно, после всех этих войн духи беспокойные витают. Из того, что нам здесь пан Кмициц рассказал, я заключаю, что аисты в Водоктах на зиму остаются: они сейчас там первые работники и своим делом заниматься должны. Само собой, при таком хозяйстве Кмицицу поездка некстати, сроки ее никому не ведомы. Твой приезд, Анджей, делает тебе честь, но послушай совета: отправляйся домой, Михалу сейчас такой человек нужен, который, даже если оттолкнут и принять не захотят, не затаит обиды. *Patientia* «Терпение (лат.).» там нужно и мудрость житейская, а одной твоей дружбы здесь еще *non sufficit* «Недостаточно (лат.).». Не прогневайся, сударь, коли скажу, что мы с Яном его первые друзья, в каких только переделках вместе не побывали. Господи боже ты мой! Сколько раз друг другу на выручку шли!

— Разве что мне из суда уйти? — прервал его Скшетуский.

— Опомнись, Ян, тут интерес государственный! — сурово возразил ему Заглоба.

— Видит бог, — говорил смущенный Скшетуский, — двоюродного моего брата Станислава я всей душой люблю, но Михал мне дороже.

— А мне Михал и родного брата дороже, тем паче что родного у меня нет и не было никогда. Не время спорить, кто Михалу больше предан! Видишь ли, Ян, если бы это несчастье, только сейчас приключилось, я бы первый сказал: отдай свой судейский колпак шуту и поезжай. Но рассуди, сколько воды утекло с той поры,

когда пан Харлампы из Ченстоховы на Жмудь поехал, а пан Анджей к нам из Жмуди. Теперь к Михалу не токмо ехать, но и остаться с ним надо, не токмо плакать, но и поразмыслить с ним вместе. Не токмо на спасителя нашего как на благой пример ему указывать, но приятной беседою и шуткой ум и сердце его укрепить. Знаете, кому ехать следует? Мне! Я и поеду! Господь меня не оставит: разыщу Михала в Ченстохове — сюда привезу, а не найду — в Молдавию за ним потащусь и, пока в силах щепотку табака к ноздрям поднести, искать его не перестану.

Услышав эти слова, оба рыцаря принялись поочередно обнимать пана Заглобу, а старик при мысли о постигшем Михала несчастье и о том, сколько у него самого теперь будет хлопот, снова расчувствовался. Уже он и слезы утирать начал, а когда объятья ему наскучили, сказал:

— Вы меня за Михала не благодарите, он мне не чужой.

— Не за Володыёвского тебя благодарим, — отвечал Кмициц, — но лишь бесчувственное, поистине каменное сердце не тронула бы твоя, сударь, готовность в столь преклонные годы — дружбы ради — на край света ехать. Другие в эти годы о теплой лежанке помышляют, а ты, благородный человек, так о долгой дороге говоришь, будто мне или Скшетускому ровесник.

Заглоба не скрывал своих лет, но, по правде говоря, не любил, когда ему о старости, как о верной подруге многочисленных недугов, напоминали, и, хотя глаза у него все еще были красные от слез, он, покосившись на Кмицица, сказал:

— Ах, сударь! Коль мне пошел семьдесят седьмой год, я с тоскою взирал на белый свет, словно два топора над моей головой занесены были, но когда мне стукнуло восемьдесят, такая бодрость во все члены вступила, что о женитьбе стал подумывать. И еще неизвестно, кто перед кем похвалиться может.

— Я хвалиться не стану, но ты, сударь, достоин самой высокой похвалы.

— Со мной тягаться не след, а то, глядишь, и оконфузить могу, как в свое время я пана гетмана Потоцкого[4] в присутствии его величества короля оконфузил. Пан гетман на мой возраст намеки делал, а я возьми и скажи — давай, мол, через голову кувыркатся, и поглядим, чья возьмет? И что же оказалось? Пан Ревера перекувыркнулся три раза, и его гайдуки поднимать кинулись — сам встать на ноги не мог, а я его со всех сторон обошел: ни мало ни много тридцать пять раз через голову перекувыркнулся. Спроси Скшетуского, он своими глазами видел.

Скшетуский уже привык, что с некоторых пор пан Заглоба постоянно ссылался на него как на свидетеля, он и бровью не повел и снова заговорил о Володыёвском.

Заглоба меж тем умолк, погрузившись в раздумья, и лишь после ужина повеселел и обратился к друзьям с такими словами:

— А теперь я скажу вам то, что не всякому уму доступно. Все в руках божьих, но сдается мне, Михал скорее залечит эту рану, чем мы думаем.

— Дай-то бог, но только как ты, сударь, об этом догадался? — спросил Кмициц.

— Гм! Тут и чутье особое надобно, которое от бога дается, и опытность, которой у вас в ваши годы быть не может, да и Михала понимать надо. У каждого свой нрав и характер. Одного так несчастье прибьет, будто бы, выражаясь фигурально, в реку бросили камень. Вода поверху *tacite* «*Спокойно (лат.)*» течет, а меж тем на дне камень, он путь ей преградил, воду баламутит и бережит жестоко, и так оно и будет до тех пор, пока она в Стикс не канет! Вот ты, Ян, таков, и таким тяжелее всех на свете, и горе и память всегда с ними. А другой, напротив, *eo modo* «*Таким образом (лат.)*» удары судьбы примет, словно его кулаком по шее огрели. У него от горя в глазах темно, но глядишь, опомнился, а потом, когда зажила рана, и вовсе повеселел. С таким нравом, доложу я вам, куда легче жить в этом полном превратностей мире.

Рыцари, затаив дух, внимали мудрым словам пана Заглобы, а он, радуясь, что его слушают с таким вниманием, продолжал:

— Я Михала насквозь вижу и, бог свидетель, не хочу на него напраслину возводить, но только сдается мне, что он о свадьбе больше, чем о девушке этой, помышлял. И не диво, что пал духом, хуже беды для него не придумаешь. Ведь представить трудно, как же ему хотелось жениться. Нет в его душе ни жадности, ни гордыни, от всех благ он отказался, состояние потерял, о жалованье не заикнулся, но за все труды, за все заслуги ничего не хотел он от бога и от Речи Посполитой — кроме жены. И вот, только облюбовал он лакомый кусочек и ко рту поднести собирался — а ему по рукам! На! Получай! И как было не прийти в уныние? Разумеется, он и из-за девки горевал, но пуще всего разбирала его досада, что вот, мол, опять в холостяках остался, хотя сам, быть может, поклясться готов, что это не так.

— Дай бог! — повторил Скшетуский.

— Дайте срок, затянутся, заживут его сердечные раны, и увидим, быть может, вернется к нему прежняя прыть. *Periculum* «*Опасность (лат.)*» только в том, чтобы он теперь *sub onere* «*Здесь: в порыве (лат.)*» отчаяния, сгоряча не натворил бы или не надумал чего, о чем сам потом жалеть будет. Но тут уж чему быть, того не миновать, человек в беде на решения скор. А мой казачок уже дорожные платья из сундуков достает и укладывает, и не к тому

слова эти, чтоб не ехать, а чтоб утешить вас, друзья, на прощанье.

— Отец, ты опять Михалу повязкой на раны будешь! — воскликнул Ян Скшетуский.

— Как и для тебя был когда-то. Помнишь? Мне бы только отыскать его поскорее. Боюсь, кабы не укрылся он в каком монастыре или не ускакал в степи, ему там каждый кустик родня. Ты, пан Кмициц, о летах моих намекнул, только вот что я тебе скажу: ни одному гонцу с письмом за мной не угнаться, и, коли вру, вели мне, когда вернусь, нитки из тряпья выдергивать, горох лущить, а то и за прялку усади. Меня дорога не испугает, хлебосольство чужое не задержит в пути, пирушки и попойки не введут в соблазн. Вы такого гонца еще и не видывали. Вот и сейчас меня словно кто шилом из-под лавки на подвиг толкает, я уже и рубашку дорожную козлиным жиром от блох смазать велел...

ГЛАВА III

Однако, вопреки собственным заверениям, пан Заглоба ехал без особой спешки. Чем ближе он подъезжал к Варшаве, тем чаще делал остановки в пути. Это было время, когда Ян Казимир, король, политик и славный вождь, погасив угрожавшие Польше со всех сторон пожары и вызволив Речь Посполитую из вод потопа, отрекся от трона. Все он вынес, все претерпел, подставляя грудь под удары, что отовсюду сыпались на отечество, но, когда, одолев многочисленных врагов, у себя дома реформы провести задумал и вместо поддержки лишь упрямство и неблагодарность встретил, корона непосильной тяжестью для него стала, и он по доброй воле от нее отказался.

Уездные и генеральные сеймики[5] уже завершились, ксендз примас Пражмовский[6] назначил конвокационный сейм на пятое ноября.

Страсти бушевали, соперничество между партиями разгоралось, но хотя все споры могло решить лишь само избранье, сейм также вызвал немалое оживление.

Депутаты ехали в Варшаву и в каретах и верхами, с прислугой и челядинцами, ехали и сенаторы, каждый со своим двором. Все дороги были забиты, гостиницы тоже, поиски ночлега становились все обременительнее. Но ради почтенного пана Заглобы всяк рад был потесниться, а нередко слава его становилась и помехой в пути.

Бывало, завернет он на постоянный двор, где яблоку упасть негде, но расположившийся там со своей челядью вельможа непременно выйдет полюбопытствовать, кого это бог послал, а увидев почтенного старца с белыми как молоко усами и бородой, любезно скажет:

— Милости просим к нашему скромному столу.

Пан Заглоба, будучи человеком учтивым, услышав такое приглашение, никому отказать не мог, полагая, что везде окажется желанным гостем. И когда хозяин, распахнув перед ним дверь, спрашивал: «С кем имею честь?», подбоченясь и заранее радуясь эффекту, отвечал двумя словами: «Заглоба sum!»

И ни разу не случилось, чтобы после этих двух слов его не встретили с распростертыми объятьями и возгласами: «День сей на скрижалях памяти моей увековечу!..» Хозяин тотчас же созывал друзей и дворян: «Глядите, вот он, доблестный муж, gloria et decus «Краса и гордость (лат.).» славного рыцарства Речи Посполитой!» Люди обступали Заглобу со всех сторон, а молодые целовали полы его дорожного жупана. После этого с возов подавали

бочки и бутылки с вином, и порой всеобщему *gaudium* «Веселью (лат.).» не видно было конца.

Обычно полагали, что Заглоба едет депутатом на сейм, а когда он отвечал, что нет, слова его вызывали искреннее удивление.

Он ссылался на то, что уступил свой мандат пану Домашевскому, пусть-де молодые общему делу послужат. Одним он открывал свои карты, от других, когда его одолевали расспросами, отделивался такими словами:

— Я к войнам с малолетства приучен, вот и решил малость Дороша[7] пощекотать.

После этих слов всеобщему восхищению не было границ. Не проигрывал он во мнении окружающих и при известии, что не выбран на сейм депутатом, все знали, что иной арбитр[8] двух депутатов стоит. Да и любой даже самый важный сенатор помнил о том, что, как только подойдет время выборов, каждое слово столь славного рыцаря на вес золота будет.

Знатные господа не скупились на почести и заключали его в объятия. В Подлясском повете три дня вино лилось рекой. Пацы, которых Заглоба в Калужине повстречал, на руках его носили.

Не обходилось и без подарков, которые делались невзначай: в своей повозке Заглоба частенько находил вино, водку, а бывало, и ларцы в драгоценной оправе, пистолеты, сабли.

Челядинцы пана Заглобы тоже не оставались в накладе, и, вопреки всем обещаниям, ехал он так медленно, что на третью неделю едва добрался до Минска.[9]

Но в Минске удача ему изменила. Въехав на площадь, Заглоба увидел, что попал ко двору какого-то вельможи, должно быть весьма знатного: дворяне в парадном платье, пехоты чуть ли не полк, правда безоружной, потому что на сейм с войском ехать не полагалось, но молодцы как на подбор и разодеты пышнее, чем гвардейцы у шведского короля. Кругом золоченые кареты, повозки с гобеленами и коврами — в гостиницах на стены вешать, телеги с кухонной утварью и провизией, прислуга сплошь иностранцы: со всех сторон слышна чужая речь.

Увидев наконец какого-то дворянина в польском платье, пан Заглоба, предвкушая добрую пирушку, велел остановиться и, высунув одну ногу из повозки, сказал:

— А чей же это двор, такой роскошный, что и королевскому, поди, не уступит?

— Чей же еще, — ответил тот, — коли не нашего господина, князя конюшего литовского?

— Чей-чей? — переспросил Заглоба.

— Да вы, никак, оглохли, ваша милость? Князя нашего Богуслава Радзивилла,[10] что на сейм послом едет, а после выборов, бог

даст, и королем нашим станет!

Заглоба быстро сунул ногу обратно.

— Езжай! — крикнул он кучеру. — Мне здесь делать нечего.

«Боже праведный! — воскликнул он, дрожа от негодования. — Пути твои неисповедимы, и, коли не покараешь ты этого предателя, значит, есть у тебя какие-то скрытые от нас, непосвященных, помыслы, хотя, ежели рассуждать чисто по-человечески, этот прохвост заслуживает хорошей розги. Но, должно быть, нет порядка в Речи Посполитой, коли подлые людишки, стыд и совесть потерявшие, разъезжают как ни в чем не бывало с эдакой свитой! Мало этого. Дела государственные вершат. Нет, видно, пришел нам конец, потому что где, в каком другом государстве такое возможно? Всем хорош был король *Joannes Casimirus*, но добр чересчур, он и лихоимцев избаловал вконец, к безнаказанности приучив, все им с рук сходило. Впрочем, не он один виноват. Должно быть, нет больше в нашем народе ни совести гражданской, ни понятия о справедливости. Тьфу ты пропасть! Он — и вдруг депутат! Ему граждане целостность и безопасность отечества вверяют, в его подлые руки передают, в те самые руки, которыми он родину терзал и в шведские цепи заковывал! Пропали мы, пропали, не иначе. Его еще и в короли прочат... Ну что ж! Видно, у нас все возможно. Он — депутат! О боже, ведь в законе черным по белому написано, что не может быть депутатом тот, кто в чужих государствах должности занимает, а ведь он в прусском княжестве у своего дядюшки[11] поганого генерал-губернатор. Ну, погоди, я тебя за руку схвачу! А проверка полномочий на что? Пусть я бараном буду, а кучер мой мясником, если сам я не проберусь в зал и как простой арбитр этой материи не затрону. У депутатов заручусь поддержкой. Не знаю, смогу ли я тебя, предатель, вельможу и эдакого туза, одолеть и полномочий лишить, но до избрания не дойдет дело, за это я ручаюсь. Бедняге Михалу подождать придется, потому что я здесь *pro publico bono* «Для общего блага (лат.).» пекусь».

Так рассуждая, пан Заглоба решил заняться проверкой полномочий и для этого перетянуть на свою сторону кое-кого из депутатов. И посему он из Минска до Варшавы ехал не мешкая, чтобы успеть к сейму.

Впрочем, добрался он загодя. Но депутатов и людей праздных было столько, что жилья ни в самой Варшаве, ни на Праге, ни в других предместьях нельзя было сыскать ни за какие деньги; трудно было и напроситься к кому-нибудь: в любой каморке по три-четыре гостя теснились. Первую ночь пан Заглоба провел в погребке у Фукера вполне безмятежно, но на другой день, протрезвев и очутившись снова в своем возке, порядком раскис.

— Боже мой, боже! — восклицал он в сердцах, проезжая по Краковскому предместью и оглядываясь по сторонам, — вот костел бернардинов, вот руины дворца Казановских. О, неблагодарный город! Я сражался, живота не жалея, лишь бы тебя из рук неприятеля вырвать, а теперь ты, седины мои презрев, угла для меня жалеешь.

Впрочем, город вовсе не жалел для почтенного старца угла, но, увы, такового не было.

И все же недаром люди говорили, что пан Заглоба родился под счастливой звездой: не успел он доехать до дворца Конецпольских, как кто-то со стороны окликнул кучера:

— Стой!

Челядинец попридержал коней, и к возку с веселой улыбкой подбежал незнакомый шляхтич.

— Пан Заглоба! Неужто не узнаете меня, ваша милость?! — воскликнул он.

Перед Заглобой стоял мужчина лет эдак около тридцати, в рысей шапке с пером, что сразу говорило о принадлежности его к войску, в алом жупане и темно-красном кунтуше с тканым золотом поясом. Лицо незнакомца невольно обращало на себя внимание. Он был бледен, степные ветры лишь самую малость обожгли загаром его щеки, большие голубые глаза глядели задумчиво и грустно, правильность черт казалась даже несколько нарочитой; он носил польское платье, но волосы у него были длинные, а борода подстрижена на иностранный манер. Остановившись возле возка, незнакомец уже раскрыл руки для объятий, а пан Заглоба, по-прежнему недоумевая, перегнулся и обнял его за шею.

Они все лобызались, но Заглоба время от времени норовил отстраниться, чтобы лучше разглядеть незнакомца, и наконец, не выдержав, сказал:

— Прости, сударь, никак не вспомню, с кем имею честь...

— Гасслинг-Кетлинг!

— Господи боже. Вижу, лицо знакомое, но в этой одежде тебя не узнать, раньше, помнится, носил ты рейтарский колет... Теперь я вижу, и платье у тебя польское?

— Речь Посполитую, что меня, скитальца, в юные годы обогрела и накормила, матерью своей считаю, об иной не помышляя. А известно ли тебе, сударь, что после войны я и гражданство польское принял?

— Приятную новость слушать приятно. Повезло тебе, однако!

— И не только в этом, потому как в Курляндии,[12] возле самой Жмуди, встретил я однофамильца, он меня усыновил, гербом своим одарил и часть наследства передал. Живет он в Свентей, в Курляндии, но и здесь у него есть небольшое именье — Шкуды,

он на меня его записал.

— Пошли тебе бог удачи! Стало быть, ты и воевать бросил?

— Если представится случай, за мною дело не станет. Я и деревеньку в аренду отдал, а тут okazji жду.

— Ну ты хват! Совсем как я в молодые годы, впрочем, и сейчас есть еще порох в пороховницах. Что в Варшаве подделываешь?

— Приехал депутатом на сейм.

— Матерь божья! Да ты, я вижу, по всем статьям поляк!

Рыцарь улыбнулся.

— Душой я поляк, а это, пожалуй, всего важнее.

— Женился?

Кетлинг вздохнул.

— Пока нет!

— А жаль! Но погоди! А впрочем, признайся, может, ты все еще по Оленьке Биллевич вздыхаешь?

— Коли тебе и это, сударь, ведомо, а я полагал, что это моя тайна, так знай, нет у меня пока другого предмета для вздыханий...

— Опомнись, братец! Она вот-вот нового Кмицица нам подарит. Опомнись! Неблагодарное это занятие вздыхать по той, что давным-давно в мире и согласии с другим поживает. Сказать по правде, это смешно...

Кетлинг вознес грустные очи к небу.

— Я сказал лишь, что пока другого предмета нету!

— Ну это уже полбеда! Женим мы тебя. Вот увидишь! По собственному опыту знаю, что в любви излишнее постоянство одни неприятности сулит. И я в свое время был постоянен, как Троил, [13] а уж как настрадался, сколько добрых партий упустил!

— Дай бог каждому такой бодрости в столь преклонные годы!

— Жил всегда в благочестии, потому ни один суставчик у меня не болит! Где остановился, братец, нашел ли себе пристанище?

— Домик мой под Мокотовом, хорош и удобен, я после войны его ставил.

— Счастливчик! А я со вчерашнего дня по всему городу гоняю, и без толку.

— Любезный друг! Сделай одолжение! Милости прошу ко мне. Уж в этом ты мне не откажешь! Поживи у меня — во дворе, кроме дома, флигель, конюшни. И для челяди, и для лошадей места хватит.

— Видно, небо мне тебя послало, ей-богу.

Кетлинг забрался на повозку, и они поехали.

Всю дорогу Заглоба рассказывал ему, какое с паном Володыёвским стряслось несчастье, а Кетлинг, впервые об этом слыша, в отчаянье ломал руки.

— Твое известие и для меня нож острый, быть может, ты и не знаешь, как мы с ним в последнее время дружили. В Пруссии вместе крепости брали, шведов выкуривали. С паном Любомирским воевали и на Украину хаживали, во второй-то раз после смерти князя Иеремии, под началом коронного маршала Собеского. Из одной чашки ели, одно седло нам подушкой служило. Кастором и Поллуксом нас называли. И только, когда Михал за панной Борзобогатой на Жмудь поехал, час *separationis* «Разлуки (лат.).» настал, но кто мог подумать, что счастье его, уподобившись стреле на ветру, столь мимолетным оказалось.

— Нет ничего вечного в сей юдоли печали, — отвечал Заглоба.

— Ничего, кроме истинной дружбы... Хорошо бы разведать, где он теперь. Может, коронный маршал даст совет, он Михала как родного сына любит. А коли нет, так ведь сюда выборщики со всех сторон понаехали. Быть не может, чтобы никто ничего о столь славном рыцаре не слышал. Я вам, сударь, помочь рад и для брата родного не сделал бы больше.

Так, беседуя, добрались они и до кетлингского домика, который на деле изрядным доминой оказался. Там было и богатое убранство, и немало диковинок всяких — среди них и купленные, и трофеи всевозможные. А уж оружия — видимо-невидимо. Пан Заглоба расчувствовался вконец:

— Ого! Да ты, я вижу, и двадцать человек принял бы без труда. Видно, фортуна мне улыбнулась, нашей встрече способствуя. Я мог бы и у пана Антония Храповицкого[14] остановиться, он старинный мой друг и приятель. И Пацы[15] меня к себе заманивали, они против Радзивиллов людей собирают, но я тебе предпочтение отдал.

— Слышал я от стороны литовской, — сказал Кетлинг, — что теперь, когда до Литвы черед дошел, маршалом сейма Храповицкого назначат!

— И поступят верно. Человек он почтенный, судит здраво, впрочем, пожалуй, чересчур. Для него согласие важней всего. Уж очень он всех мирить любит. А это пустая затея. Но все же, скажи мне по чести, что думаешь ты о Богуславе Радзивилле?

— С той поры, как татары Кмицица меня под Варшавой в полон захватили, слышать о князе не хочу. Службу свою я оставил и больше о ней хлопотать не стану — сила у князя большая, но человек он злой и коварный. Вдоволь я на него нагляделся, когда он в Таурогах на добродетель этого ангела, этого небесного создания покушался.

— Небесного? Подумай, что говоришь! Она из той же глины, что и все прочие, вылеплена и, как любая другая кукла, разбиться может. Да, впрочем, не о ней речь!

Заглоба вдруг покраснел и вытаращил глаза от гнева.

— Подумать только, эта шельма — депутат?!

— О ком ты? — удивленно спросил Кетлинг, у которого Оленька все еще была на уме.

— Да о Богуславе Радзивилле. Но проверка полномочий на что? Слушай, ты ведь и сам депутат, можешь этой материи коснуться, а уже я подам сверху голос, не бойся! На нашей стороне закон, а они его обойти хотят, ну что же, можно и среди арбитров смуту устроить, да такую, что кровь прольется.

— Не затевай смуты, сударь. Христом-богом молю. Материи сей я коснусь, это резонно, но боже избави на сейме посеять смуту.

— Я и к Храповицкому пойду, хоть он ни рыба ни мясо, а жаль. У него, как у будущего маршала, многие судьбы в руках. Я и Пацев на князя напущу. Про все его проделки объявлю публично. Ведь слышал же я в дороге, что пройдоха этот в короли метит!

— До полного падения должен дойти народ, да и не заслуживает иной участи, ежели изберет себе такого короля, — отвечал Кетлинг. — А теперь, ваша милость, отдохните хорошенько, а потом наведемся к пану коронному маршалу — может, что о Михале разузнаем.

ГЛАВА IV

Через несколько дней завершился сейм, где, как и предсказывал Кетлинг, маршальский жезл был вручен пану Храповицкому, тогдашнему подкоморию смоленскому, ставшему позднее воеводой витебским. Речь шла об определении дня выборов и назначении высокого совета. Интриги разных сторон в подобных делах значили не слишком много, и потому казалось, сейм пройдет мирно. Но с самого начала спокойствие было нарушено проверкой выборных полномочий. Когда депутат Кетлинг усомнился в выборных правах пана бельского писаря и его друга князя Богуслава Радзивилла, из толпы арбитров тотчас же раздался зычный бас: «Предатель! Чужим господам служит!» Этот голос был подхвачен и другими, их примеру последовал кое-кто из депутатов, и неожиданно сейм распался на две враждующие партии: одна хотела лишить бельских депутатов выборных прав, другая всячески их выгораживала. Пришлось обратиться в суд, который утихомирил спорщиков, признав права Радзивилла законными.

И все же для князя конюшего это был тяжкий удар: одно то, что кто-то посмел усомниться в его правах, *coram publico* «*При народе (лат.)*», заявил про его измены и вероломство во время последней войны со шведами, опозорив его перед всей Речью Посполитой, выбило у честолюбца почву из-под ног. Ведь он, разумеется, рассчитывал на то, что, когда сторонники Конде[16] схватятся с приверженцами Нейбурга и Лотарингии, не говоря уж о всякой мелочи, депутаты подумают: не лучше ли поискать достойного человека среди своих, и выбор их падет на соотечественника. Гордыня да и льстецы нашептывали ему, что таким человеком может быть только он, муж большого ума, доблестный, знатный, сиятельный рыцарь, словом — он, и никто другой.

Храня дела свои в глубокой тайне, князь давно уже раскинул сети в Литве, а теперь забросил их и в Варшаве, и тут на тебе, сеть тотчас прорвали, да так, что вот-вот уйдет вся рыба. На суде, разбиравшем дело, князь скрежетал зубами от злости, но Кетлинг был ему не подвластен, и тогда Радзивилл посулил награду тому, кто укажет на арбитра, вслед за Кетлингом провозгласившего на весь зал: «Изменник и предатель!»

Пан Заглоба был слишком известен, чтобы имя его могло оставаться в тайне, да он и не таился. А князь, проведая, с кем имеет дело, хоть и пришел в ярость, но не решился все же выступить против всеобщего любимца.

Пан Заглоба, разумеется, знал себе цену и, услышав про угрозы князя, при всей шляхте сказал невзначай:

— Ежели с моей головы упадет хоть волос, кое-кому солоно придется. Коронация не за горами, а тут, коли собрать братских сабель тысяч сто, недолго и до резни...

Слова эти дошли до князя, он закусил губу в презрительной усмешке, но в душе признал, что Заглоба прав.

Уже на другой день он, должно быть, переменил свои намерения и, когда на пиру у князя кравчего кто-то вспомнил про Заглобу, сказал:

— Слышал я, этот шляхтич меня не жалует, но я так старых рыцарей ценю, что все ему наперед прощаю.

А через неделю на приеме у пана гетмана Собеского он повторил эти слова самому Заглобе.

Увидев князя, Заглоба и бровью не повел, лицо его по-прежнему хранило спокойствие, и все же ему было не по себе, все знали, что князь человек влиятельный и опасный, сущий злыдень. А князь между тем обратился к нему с другого конца стола с такими словами:

— Почтеннейший пан Заглоба, до слуха моего дошла весть, что вы, не будучи депутатом, задумали меня ни за что ни про что моих полномочий лишить, но я по-христиански вам прощаю, а коли надо, готов и протекцией послужить.

— Коли обо мне речь, то я следовал конституции, — отвечал Заглоба, — что долгом каждого шляхтича почитаю, *quod attinet «Что касается (лат.)»* протекции, то в мои-то годы ее мне может составить только бог, ведь мне как-никак под девяносто.

— Почтенный возраст, если жизнь ваша была столь же добродетельной, сколь и долгой, в чем, впрочем, я ничуть не сомневаюсь...

— Служил отчизне и своему господину, об иных господах не помышляя.

Князь слегка поморщился.

— А против меня замыслили недоброе, почтеннейший, слышал я и об этом. Но да будет меж нами мир. Все забыто, даже и то, что вы, сударь, натравляли *contra me «Против меня (лат.)»* моих завистников. Быть может, с давним недругом моим я еще и сочтусь, но вам готов протянуть руку дружбы.

— Чином я не вышел, да и слишком высокая это для меня честь. Для такой дружбы мне пришлось бы все время подпрыгивать или карабкаться, а это на старости лет куда как тяжело. Ежели вы, ясновельможный князь, с моим другом Кмицицем счеты свести намерены, то от души советую: откажитесь от такой арифметики.

— Разрешите узнать, почему?

— В арифметике четыре действия. Может, у пана Кмицица доход и неплохой, да по сравнению с вашими богатствами это ме-

лочь, стало быть, делить его он не согласится; умножением занят сам; отнять у себя ничего не позволит; мог бы, пожалуй, кое-что добавить, да не знаю, ваша княжеская милость, по вкусу ли будет вам его угощение.

И хотя князь не раз принимал участие в словесных поединках, то ли рассуждения, то ли дерзость старого шляхтича до того его поразили, что он онемел. У гостей животы затряслись от смеха, а пан Собеский, громко расхохотавшись, сказал:

— Узнаю старого збаражца! У него не только сабля, но и язык остер! Лучше такого не задирать.

Князь Богуслав, видя, что Заглоба непреклонен, не пытался больше его переманивать, но во время застолья невзначай бросал на старого рыцаря злые взгляды.

Гетман Собеский, войдя во вкус, продолжал разговор:

— Великий вы, сударь, искусник в любом поединке, одно слово — мастер. Найдутся ли равные вам в Речи Посполитой?

— Саблей Володыёвский владеет не хуже, — отвечал довольный Заглоба. — Да и Кмициц прошел мою школу.

Сказав это, он взглянул на Радзивилла, но князь притворился, что не слышит, и как ни в чем не бывало о чем-то беседовал с соседом.

— О да! — согласился гетман. — Я Володыёвского не раз в деле видывал и готов довериться ему, даже если речь пойдет о судьбах всего христианства. Жаль, такого солдата беда словно буря подкосила.

— А что так? — спросил Сарбевский, цехановский мечник.

— Суженая его по дороге домой, в Ченстохове, отдала богу душу, — сказал Заглоба, — но хуже всего, что я никак узнать не могу, куда он сам девался.

— Стойте! — воскликнул краковский каштелян пан Варшицкий. — Так ведь я встретил его, едучи в Варшаву, сказал он, что, от мирской суеты устав, решил на *Mons regius* удалиться, дабы там в посте и молитвах свой земной путь закончить.

Заглоба схватился за поредевший чуб.

— Камедулом[17] заделался, камедулом, не иначе! — крикнул он в отчаянии.

Рассказ пана Варшицкого взбудоражил всех.

Гетман Собеский, который в солдатах души не чаял и лучше, чем кто другой, знал, как нужны они отчизне, опечалившись, сказал с досадою:

— Человеческой вольной воле и славе божьей противиться грех, а все же жаль, не буду от вас скрывать, большая это потеря. Солдат он был хоть куда, старой выучки, школы князя Иеремии, такой в любом бою хорош, а уж против орды и нечисти всякой

надежней защитника не найти. В степях у нас всего лишь несколько таких наездников найдется: у казаков — пан Пиво, а в нашем войске пан Рущиц, но куда им до Володыёвского.

— Счастье еще, что времена теперь поспокойнее, — заметил цехановский мечник, — и что нехристи эти блюдут подгаецкие трактаты,[18] несравненным мечом моего благодетеля добытые.

Тут пан мечник склонился перед гетманом Собеским, а тот, польщенный высказанной при всех похвалой, отвечал:

— Всевышнего надо благодарить за то, что он позволил мне лечь как верному псу на пороге Речи Посполитой и врагов ее покусать без жалости. Да еще солдатам нашим за верную службу спасибо. Хан был бы рад следовать трактатам, это доподлинно мне известно, но и в самом Крыму согласия нет, а уж белгородская орда и вовсе из повиновения вышла. Известие пришло, что на молдавских рубежах собираются тучи, вот-вот буря грянет; я приказал следить за дорогами; да только солдат мало. Нос вытащишь — хвост увязнет, а уж старые вояки, те, что орду со всеми ее уловками знают, и вовсе наперечет, потому я и говорю: худо нам без Володыёвского!

Тут Заглоба, который все еще держался за голову, взмахнул руками и воскликнул:

— Клянусь, не будет он камедулом, не допущу до этого, пусть даже мне придется налет на Mons regius устроить и силой его увести. Завтра с утра за ним еду. Может, он меня послушает, а нет — я до генерала всех камедулов, до самого ксендза примаса доберусь, даже если ради этого мне в Рим ехать придется. Не хочу я умалять славу божью, но какой из него камедул, и у него и волосы-то на подбородке не растут. Их не более, чем на моем кулаке. Ей-богу! Он и молитвы-то петъ не умеет, а если и запоет, то все крысы из монастыря разбегутся, подумают, кот замаяукал, свадьбу справляя. Не взыщите, что я в простоте душевной это вам говорю. Был бы у меня родной сын, не любил бы я его так, как этого молодца. Бог ему судья! Ну ладно, бернардинцем стал бы, а то на тебе — камедул. Нет, покуда я жив, не бывать этому. С самого утра к ксендзу примасу пойду, просить письма к приору.

— Пострижения еще быть не могло, — перебил его мечник. — Но ты, сударь, его не торопи, а то заупрямится, да ведь и то сказать, вдруг в этом желании воля божья таится.

— Воля божья — да вдруг? Вдруг черт берет на испуг, говорит старая пословица. Если бы на то божья воля была, я давно бы в нем призвание почуял, да только он не ксендз, а драгун. Если бы он доводам разума следовал, я бы смирился, но божья воля не налетает на человека, как ястреб на птишку. Я принуждать его не стану. По дороге обдумаю во всех тонкостях, как дело повести,

дабы он из-под рук моих не ушел, но на все воля божья! Всегда наш солдатик моим суждениям больше, чем своим собственным, верил, даст бог, если он хоть немного на себя похож, и на сей раз так будет.

ГЛАВА V

На другой день, заручившись письмом от ксендза примаса и обсудив весь план действий с Кетлингом, Заглоба позвонил в колокольчик у монастырских ворот на Mons regius. С волнением ждал он, как-то примет его Володыёвский. При одной мысли об этом сердце его билось чаще; разумеется, он обдумал предстоящий разговор во всех тонкостях и теперь размышлял, с чего начать, понимая, что многое решат первые мгновенья. С этой мыслью он зазвонил в колокольчик, раз-другой, а когда в замке скрипнул ключ и калитка слегка приоткрылась, не слишком церемонясь, решительно подался вперед, а оторопевшему монашку сказал:

— Знаю, у вас свои законы, сюда не каждый войдет, но вот у меня письмо от ксендза примаса, не откажи в любезности, *carissime frater* «Дорогой брат (лат.)», передать сие послание отцу приору.

— Желание ваше будет исполнено, — сказал монашек, склонившись в поклоне при виде примасовой печати.

Промолвив это, он потянул за прикрепленный к язычку колокольчика ремень, раз-другой, чтобы позвать кого-то, потому что сам отойти от ворот не смел.

По зову колокольчика явился другой монах и, забрав письмо, в молчании удалился, а пан Заглоба положил на лавку узелок, который держал в руках, и сел тут же, с трудом переводя дух.

— *Frater*, — сказал он наконец, — давно ли ты в монахах ходишь?

— Скоро пять лет, — отвечал привратник.

— Подумать только, такой молодой — и пять лет. Теперь, поди, даже если бы и захотелось покинуть эти стены, поздно. Небось тоскуете иногда по мирской жизни, одного военная служба влечет, другого — забавы да пирушки, у третьего вертихвостки всякие на уме...

— *Aprage!* «Изыди! (Лат.)» — сказал монашек с чувством и перекрестился.

— Так как же? Неужто соблазны не смущали? — повторил Заглоба.

Но монашек с недоверием глянул на этого посланца духовной власти, речи которого звучали столь непривычно, и сказал:

— Тому, за кем эти двери закрылись, назад дороги нет.

— Ну это мы поглядим! Как там пан Володыёвский? Здоров ли?

— Тут нет никого, кто носил бы это имя.

— Брат Михал, — сказал наудачу пан Заглоба. — Бывший драгунский полковник, что недавно к вам пожаловал?

— Это, должно быть, брат Ежи, но обета он не давал, срок не подошел.

— И не даст, наверное, потому что и не поверишь, frater, какой это был сердцеед! Другого такого повесы и греховодника ни в одном монасты... тьфу ты пропасть, я хотел сказать, ни в одном полку не сыщешь, хоть все войско перебери!

— Такие речи мне и слушать негоже, — сказал монах, дивясь все больше и больше.

— Вот что, frater! Не знаю, где у вас мода гостей принимать, если здесь, советую удалиться, вот хотя бы в ту келью у ворот, потому как у нас разговоры пойдут мирские.

— Уйду хоть сейчас, от греха подальше, — сказал монах.

Тем временем появился Володыёвский, иначе говоря, брат Ежи, но Заглоба не узнал его, так сильно он переменился.

В белом монашеском одеянии Михал казался чуть выше, чем в драгунском колете, когда-то лихо закрученные вверх, чуть ли не до самых глаз усы теперь обвисли. Брат Ежи, должно быть, пытался отпустить бороду, и она топорщилась русыми клочьями не более чем на полпальца в длину; он отощал и даже высох, а главное, глаза у него потускнели. Опустив голову и спрятав на груди под рясой руки, бедняга шел, едва передвигая ноги.

Заглоба поначалу не узнал его и, решив, что сам приор вышел его встретить, встал с лавки и начал первые слова молитвы:

— *Laudetur... «Да прославится... (Лат.)»*

Но, присмотревшись, раскинул руки и воскликнул:

— Пан Михал! Пан Михал!

Брат Ежи не противился объятьям, что-то похожее на рыданье всколыхнуло его грудь, но глаза по-прежнему оставались сухими.

Заглоба долго прижимал его к груди и наконец заговорил:

— Не одинок ты был, оплакивая свое несчастье. Плакал я, плакали Кмицицы и Скшетуские. На все воля божья! Смирись с нею, Михал! Пусть же тебя отец милосердный вознаградит и утешит! Мудро ты поступил, отыскав себе сию пристань. В час скорби мысли о боге — лучшее утешение. Дай-ка еще раз прижму тебя к сердцу. Вот и не вижу тебя совсем — слезы глаза застыт.

Пан Заглоба, глядя на Володыёвского, и в самом деле растрогался до слез, а выплакавшись, сказал:

— Прости, брат, что вторгся в тихую твою обитель, но не мог я поступить иначе, да и сам ты с этим согласишься, доводы мои послушав! Ах, Михал, Михал! Сколько мы вместе пережили и дурного и хорошего! Нашел ли ты за этой оградой хоть какое-то утешение?

— Нашел, — отвечал пан Михал, — нашел в словах, что денно и ночью тут слышу и твержу и готов твердить до самой смерти. Memento mori! «Помни о смерти! (лат.)» В смерти мое утешение.

— Гм! Смерть куда легче на поле битвы найти, чем в монастыре, где жизнь идет день за днем, будто кто понемногу клубок разматывает...

— Тут нет жизни, нет земных дел, и душа, еще не расставшись с телом, уже в ином мире обитает.

— Коли так, не стану тебе говорить, что белгородская орда на Речь Посполитую зубы точит, твое ли это теперь дело?

Усы пана Михала вдруг встопорщились, правая рука невольно потянулась влево, но, не найдя сабли, снова исчезла под одеянием. Он опустил голову и сказал:

— Memento mori!

— Верно, верно! — сказал Заглоба, с явным нетерпением моргая здоровым глазом. — Только вчера гетман Собеский сказывал: «Пусть бы Володыёвский еще и эту бурю с нами встретил, а потом пусть идет в любой монастырь. Господь на него за это не разгневается, наоборот, был бы монах хоть куда». Но трудно и удивляться, что собственное спокойствие тебе покоя родины дороже, как говорится: *prima caritas ab ego* «Здесь: своя рубашка ближе к телу (лат.)».

Наступило долгое молчание, только усы у пана Михала дрогнули и встопорщились.

— Обета не давал? — спросил вдруг Заглоба. — Стало быть, хоть сейчас можешь отсюда выйти?

— Монахом я не стал, потому что ждал на то божьего благословения и того часа, когда горестные мысли перестанут томить душу. Но божья благодать на меня снизошла, спокойствие возвратилось, стены эти я покинуть могу, но не хочу; приближается срок, когда я с чистым сердцем, земных помыслов чуждый, дам наконец обет.

— Не хочу я тебя отговаривать, да и рвение твое мне по душе, хотя, помнится, Скшетуский, надумав постричься в монахи, ждал, когда над отечеством стихнет буря. Делай как знаешь. Ей-ей, не стану отговаривать, я ведь и сам когда-то о монастырской обители мечтал. Было это полвека назад, помнится, стал я послушником; с места мне не сойти, коли вру: Но увы! Господь распорядился иначе... Об одном тебя только прошу, Михал, выйди отсюда хоть на денек.

— Зачем? Оставьте меня в покое! — отвечал Володыёвский.

Заглоба заплакал в голос, утирая слезы полой кунтуша.

— Для себя, — говорил он, — для себя не ищу я помощи и защиты, хотя князь Богуслав Радзивилл только и помышляет о мести

да убийц ко мне подсылает, а меня, старого, убересть и оградить от него некому. Думал, что ты... Ну да полно об этом! Я все равно тебя как сына любить буду, даже если ты в мою сторону и не глянешь... Об одном прошу, молись за мою душу, потому что мне от рук Богуславовых не уйти!.. Будь что будет! Но знай, что другой твой товарищ, который последним куском с тобой делился, лежит на смертном одре и непременно повидать тебя хочет, дабы облегчить и успокоить свою душу перед кончиной.

Пан Михал, с волнением слушавший рассказ о грозивших Заглобе опасностях, тут не выдержал и, схватив его за плечи, спросил:

— Кто же это? Скшетуский?

— Не Скшетуский, а Кетлинг!

— Бога ради, что с ним?

— Меня защищая, тяжело ранен был приспешниками князя Богуслава и не знаю, протянет ли еще хоть денек. Ради тебя, Михал, решились мы на все, только для того и в Варшаву приехали, об одном помышляя, как тебя утешить. Выйди отсюда, хоть на два денечка, порадай больного перед смертью. А потом вернешься... примешь обеты... Я привез письмо от отца примаса к приору, это чтобы тебе не ставили препоны. Торопись, друже, медлить некогда.

— Боже милостивый! — воскликнул Володыёвский. — Что я слышу! Препоны мне ставить и так не могут, я здесь всего лишь послушник. Боже ты мой, боже! Просьба умирающего свята! Ему я отказать не могу!

— Смертельный был бы грех! — воскликнул Заглоба.

— Истинная правда! Всюду этот предатель Богуслав! Вовек не увидеть мне этих стен, если я за Кетлинга отомстить не сумею. Уж я его приспешников, убийц этих, разыщу, я им головы посшибаю! Боже милостивый, уже и мысли грешные одолевать стали! Memento mori! Послушай, друг, я сейчас переоденусь в прежнее платье, в этом выходить мне в мир не пристало...

— Вот одёжка! — крикнул Заглоба, протягивая руки к узелку, который лежал тут же на скамье. — Все я предусмотрел, все приготовил... Тут и сапоги, и сабля отменная, и кунтуш.

— Прошу ко мне в келью, — торопливо сказал маленький рыцарь.

Они скрылись в келье, а когда появились снова, то рядом с Заглобой шел уже не монашек в белом одеянии, а офицер в желтых ботфортах, с саблей на боку, с белой портупеей через плечо.

Заглоба знай себе подмигивал, а увидев привратника, который с явным возмущением открыл ворота, улыбнулся в усы.

В сторонке от монастыря, чуть пониже, стоял возок пана Заглобы с двумя челядинцами: один сидел на козлах, придерживая вожжи отлично запряженной четверки, которую пан Володыёвский невольно окинул взглядом знатока, другой стоял рядом — в правой руке он держал заплесневелую бутылку с вином, в левой — два кубка.

— До Мокотова путь неблизкий, — сказал Заглоба, — а у ложа Кетлинга ждет нас великая скорбь. Выпей, Михал, чтобы легче тебе было снести удары судьбы, а то ослаб ты, как погляжу.

Сказав это, Заглоба взял из рук у слуги бутылку и наполнил кубки загустевшим от старости венгерским.

— Достойный напиток, — заметил он, поставив бутылку на землю и беря в руки кубки. — За здоровье Кетлинга!

— За здоровье! — повторил Володыёвский. — Едем!

Залпом опрокинули кубки.

— Едем! — повторил Заглоба. — Наливай, мальчик! За здоровье Скшетуского! Едем!

Снова выпили залпом, и в самом деле пора было в путь.

— Садимся! — воскликнул Володыёвский.

— Неужто ты за мое здоровье не выпьешь? — с чувством спросил Заглоба.

— Давай, да поживее!

В третий раз опрокинули кубки. Заглоба выпил залпом, хотя в кубке было эдак с полкварты, и, не успев даже обтереть усов, жалобно завопил:

— Был бы я тварью неблагодарной, если бы не выпил и за тебя. Наливай, мальчик!

— Спасибо, друг! — сказал брат Ежи.

В бутылки показалось дно, Заглоба схватил ее за горло и разбил вдребезги, потому что не выносил вида пустой посуды. На этот раз все быстро уселись и поехали.

Благородный напиток согрел кровь живительным теплом, а души надеждой. Щеки брата Ежи покрылись легким румянцем, взгляд обрел прежнюю быстроту.

Рука его невольно потянулась к усикам, теперь они снова, как маленькие шильца, торчали вверх, едва не касаясь глаз. Он с любопытством оглядывался по сторонам, будто бы видел все вокруг впервые.

Вдруг Заглоба хлопнул себя рукой по коленям и ни с того ни с сего крикнул:

— Гоп! Гоп! Как только Кетлинг тебя увидит, полегчает ему, всенепрременно!

И, на радостях обхватив Михала за шею, принялся обнимать его изо всех сил.

Володыёвский не остался у него в долгу, и они с чувством прижимали к груди друг друга.

Ехали молча, но молчание это было целительным.

Тем временем по обеим сторонам дороги появились слободские домики.

Все вокруг так и кипело: туда и сюда спешили мещане, пестро разодетая челядь, солдаты, шляхтичи, разряженные в пух и прах.

— На сейм съехался народ, — объяснял Заглоба, — может, и не всякий по делу, но поглядеть да послушать всем охота. Постоялые дворы да корчмы переполнены — угла свободного не найти, а уж шляхтянок на улице больше, чем волос в бороде!.. До того хороши, канальи, что порой человек готов рунами захлопать, аки gallus «Петух (лат.).» крыльями, и запеть во всю глотку. Гляди! Вон видишь, смуглянка, лакей за ней накидку зеленую несет, вон какая гладкая, а?!

Тут пан Заглоба толкнул Володыёвского кулаком в бок тот глянул, усы у него встопорщились, глазки блеснули, но в ту же минуту он опомнился потупил взгляд и после краткого мотания сказал:

— Memento mori!

А Заглоба снова обнял его за шею.

— Peramititiam nostram «Во имя нашей дружбы (лат.).», Михал, коли любишь меня, коли уважаешь мою старость, женись! Столько вокруг девиц достойных, женись, говорю!

Брат Ежи с изумлением посмотрел на друга. Пан Заглоба не был пьян, он, бывало, выпивал трижды столько и не заговаривался, стало быть, и сейчас повел такие речи разве что от избытка чувств. Но всякая мысль о женитьбе казалась Михалу кощунством, и в первое мгновение он был так изумлен, что даже не рассердился.

Потом сурово посмотрел на Заглобу и сказал:

— Ты, сударь, должно быть, перебрал малость!

— От души говорю, женись! — повторил Заглоба.

Пан Володыёвский глянул еще угрюмей:

— Memento mori!

Но Заглобу не так-то легко было положить на обе лопатки.

— Михал, если ты меня любишь, сделай это ради меня и думать забудь про свое «memento». Repeto «Повторяю (лат.).», никто тебя не неволит, но только служи богу тем, для чего он тебя создал, а создал он тебя для сабли, и, должно быть, такова была его воля, коль сумел ты достичь в сем искусстве такого совершенства. Если бы вздумал он сделать из тебя ксендза, то наверное наделил бы иным искусством, а сердце склонил бы к книгам и латыни. Замечал я также, что люди солдат-праведников не меньше чем святых

отцов почитают, потому как они в походы против всякой нечисти ходят и грабят «Награды (лат.).» из рук божьих получают, с вражескими знаменами возвращаясь. Все так, не станешь же ты перечить?

— Не стану спорить, да и знаю к тому же, что в поединке словесном мне тебя не одолеть, но и ты, сударь, согласишься, что для печали в монастырских стенах куда больше пищи.

— Ого! Коли так, то уж и вовсе следует монастырские ворота для тоски *vitare* «Закрывать (лат.).». Грусть-тоску следует в голоде держать, чтобы она подохла, а тот, кто ее питает, глуп!

Пан Володыёвский не сразу нашелся что сказать и замолк, а через минуту отозвался грустным голосом:

— Ты мне, сударь, о женитьбе не напоминай, такие напоминания только бередают душу. Давней охоты больше нет, слезами смыло, да и годы не те. Вон и чуб у меня уже седой. Сорок два года, а из них двадцать пять лет трудов военных — не шутки, нет, не шутки.

— Боже милосердный, не покарай его за кощунство! Сорок два года? Тьфу! Погляди на меня! У человека вдвое больше за спиной осталось, а порой ох как трудно жар в груди охладить, лихорадку словно пыль вытрясти. Почитай память дорогой своей покойницы! Значит, для нее ты был хорош, а для других стар, негоден?

— Полно, сударь, полно, не береги душу! — голосом, исполненным грусти, отозвался Володыёвский.

И на усики его закапали слезы.

— Буду нем как рыба, — сказал Заглоба, — но только дай слово чести, что бы там с Кетлингом ни было, месяц ты проведешь с нами. Надо тебе и Скшетуского повидать. Ежели потом в монастырь надумаешь вернуться, никто тебя не задержит.

— Даю слово! — отозвался пан Михал.

И они тут же заговорили о другом. Пан Заглоба рассказывал о сейме, о том, как он выступил против князя Богуслава, вспомнил и об истории с Кетлингом.

Впрочем, он частенько прерывал рассказ, полностью отдаваясь своим мыслям. Должно быть, мысли это были веселые, потому что он время от времени хлопал себя руками по коленям и восклицал:

— Эге! Эге-ге!

Однако, чем ближе подъезжали они к Мокотову, тем больше вытягивалось его лицо. Он вдруг обернулся к Володыёвскому и сказал:

— Помнишь? Ты ведь дал слово чести, что Кетлинг Кетлингом, а все равно месяц с нами побудешь.

— От слова не отрекусь, — отвечал Володыёвский.

— А вот и Кетлингов двор, — сказал Заглоба, — и преотличный! А после этого крикнул кучеру:

— А ну-ка, щелкни кнутом! Праздник сегодня в этом доме!

Раздался громкий свист кнута. Но возок не успел еще въехать в ворота, как с крыльца сбежали старые товарищи пана Михала; были среди них и давние знакомцы, еще со времен Хмельницкого, и совсем юные бойцы, и среди них пан Василевский и пан Нововейский, птенцы желторотые, но удалые вояки, из тех, что мальчишками, удрав из школы, вот уже несколько лет под началом Володыёвского проходили военную науку. Маленький рыцарь любил их безмерно.

Из стариков был пан Орлик, из рода Новина, тот самый, у которого на черепе сверкала заплата из золота — память об осколке шведской гранаты, и пан Руциц, полудикий степной рыцарь, непревзойденный наездник во вражеский стан, одному Володыёвскому уступавший в своем искусстве, и еще кое-кто. Все они, увидев в экипаже друх мужей, принялись кричать:

— Здесь он, здесь! *Vicit «Победил (лат.).»* Заглоба! Здесь!

Они бросились к возку, схватили маленького рыцаря и понесли на руках, повторяя:

— Здравствуй! Здравствуй, друг наш и товарищ милый! С нами ты теперь, и мы тебя не отпустим! *Vivat* Володыёвский, доблестный рыцарь, украшение всего войска! В степи, с нами, брат, в степи! В Дикое Поле! Там ветры тоску твою развеют?

И только на крыльце они выпустили его из рук. Володыёвский со всеми здоровался, несказанно обрадовавшись такой сердечности, и спросил только:

— А Кетлинг где? Жив ли?

— Жив! Жив! — слышались голоса. Старые вояки прятали в усы улыбку, скрывая что-то. — Ступай, ступай, не лежится ему, все тебя поджидает. Ступай скорей!

— Вижу, не так уж плохо дело, как пан Заглоба расписывал, — сказал маленький рыцарь.

Они вошли в сени, из сеней в покой. Посредине стоял стол с заранее приготовленным угощением, в углу — диван, накрытый белой конской шкурой, на нем-то и возлежал Кетлинг.

— Друг! — сказал пан Володыёвский, бросившись к нему.

— Михал! — воскликнул Кетлинг и, легко вскочив на ноги, схватил маленького рыцаря в объятья.

Обнимали они друг друга с большим пылом, то Кетлинг подбрасывал в воздух Володыёвского, то Володыёвский Кетлинга...

— Велено мне было больным прикинуться, — говорил шотландец, — сделать вид, что умираю, но увидел я тебя и не выдержал! Я здоровехонек, путешествовал без приключений. Вся хитрость в

том была, чтобы тебя из монастыря выманить. Прости нас, Михал! Из любви к тебе придумали мы эту ловушку.

— С нами в Дикое Поле! — снова воскликнули рыцари и твердыми своими ладонями застучали по саблям, да так, что все вокруг дрогнуло.

Пан Михал оторопел. Поначалу не мог вымолвить ни слова, а потом поочередно обвел всех взглядом, остановив его на пане Заглобе.

— Злодеи, обманщики! — воскликнул он наконец. — Я-то думал, Кетлинг при смерти.

— Опомнись, Михал! — воскликнул Заглоба. — Ты сердишься, что Кетлинг жив и здоров? Жалеешь ему здоровья и смерти желаешь? Неужто сердце твое окаменело и ты хотел бы, чтобы мы все поскорей в прах превратились — и Кетлинг, и пан Орлик, и пан Рущиц, и эти вот юнцы, и Скщетуский, и я, я, который любит тебя как сына родного!

Тут Заглоба стал вытирать слезы и запричитал еще жалобнее:

— Стоит ли жить на свете, друзья, коли нигде благодарности не встретишь, одни бесчувственные, очерстневшие сердца.

— Помилуйте! — воскликнул Володыёвский. — Я вам зла не желаю, но обидно мне, что не сумели вы горя моего уважить.

— Видно, мы ему поперек дороги стали! — повторял пан Заглоба.

— Полно, сударь!

— Говорит, не уважили его печали, а ведь мы море слез над его горем пролили, все как одна душа! Правда! Бога беру в свидетели, что мы печаль твою саблями разметать готовы, потому как ведомы нам законы истинной дружбы! Но коли слово дал с нами на месяц остаться, то хоть этот месяц люби нас еще, Михал.

— А я и до самой смерти любить вас не перестану! — отвечал Володыёвский.

Дальнейший разговор был прерван появлением нового гостя. Солдаты, окружившие пана Володыёвского, не слышали, как гость подъехал, и увидели его только теперь, в дверях. На пороге стоял человек огромного роста, мужественный, с прекрасной осанкой, с лицом римского цесаря. Было в этом лице и величие, и воистину монаршья доброта и благородство. Он возвышался среди других солдат, совсем на них не похожий, словно король птиц — высокопарящий орел среди ястребов, коршунов, балабанов...

— Пан великий гетман! — воскликнул Кетлинг и, как хозяин дома, кинулся к нему навстречу.

— Пан Собеский! — повторили следом и остальные.

Головы рыцарей склонились в почтительном поклоне.

Кроме Володыёвского, все знали о том, что великий гетман пожалует, он обещал это Кетлингу, и все же его приезд такое сильное произвел на всех действие, что долгое время никто не смел раскрыть рта. Великую милость оказал он всем своим приездом. Но пан Собеский больше всего на свете любил солдат, свою семью их считая, особливо тех, с которыми столько раз вместе сметали с пути татарские чамбулы. Вот и на сей раз решил он приехать, утешить и обласкать Володыёвского, воздать ему при всех почести и тем самым незаметно вернуть обратно.

Поздоровавшись с Кетлингом, великий гетман тотчас же протянул маленькому рыцарю обе руки, а когда пан Михал припал к его коленям, обхватил его голову.

— Ну, старый солдат, — сказал он, — воля божья пригнула тебя к земле, но она же поднимет и утешит. Бог тебя не оставит! Ты с нами...

Пана Михала душили рыдания.

— Я вас не покину! — сказал он сквозь слезы.

— Вот и хорошо, таких бы воинов побольше! А теперь, старый товарищ, давай вспомним те времена, когда мы в шатрах в степи вольной пировали. Славно мне с вами! А ну-ка покажи свою удаль, хозяин!

— *Vivat Joannes dux!* «*Да здравствует Иоанн, предводитель!* (Лат.)» — раздались громкие голоса.

И до самого утра гудело веселье.

На другой день пан гетман прислал Володыёвскому дорогой подарок — буланого жеребца благородной испанской породы.

ГЛАВА VI

Кетлинг с Володыёвским поклялись друг другу, если только будет случай, стремя о стремя ездить, у одного костра греться, одно седло под головы подкладывать.

Но не прошло и недели со дня встречи, как случай их разлучил. Из Курляндии прибыл гонец с вестью, что Гасслинг, который молодого шотландца усыновил и своим наследником сделал, вдруг неожиданно заболел и желает видеть приемного сына. Рыцарь немедленно верхом отправился в путь.

Перед отъездом он попросил пана Заглобу и Володыёвского лишь об одном: чтобы они не чинились, дом его считали своим и гостили, пока не наскучит.

— Может, и Скшетуские пожалуют, — говорил он. — К выборам сам он прибудет наверняка, да хоть бы и со всеми чадами, милости прошу ко мне. У меня родни нет, но вы мне как братья родные.

Особенно радовался приглашению пан Заглоба: привольно было ему у Кетлинга, но и Володыёвекому гостеприимство оказалось не лишним.

Скшетуские так и не приехали, но о своем прибытии сообщила сестра пана Володыёвского, та, что была замужем за паном Маковецким,[19] стольником латычёвским. Она прислала на гетманский двор человека спросить, не видел ли кто маленького рыцаря. Ему тотчас указали на дом Кетлинга.

Володыёвский был рад этой вести; с тех пор как они виделись с сестрой, минули годы, и, узнав, что, не найдя иного пристанища, она остановилась в Рыбаках, в убогой лачуге, пан Михал тотчас же поспешил за ней — пригласить ее в Кетлинговы хоромы.

Уже стемнело, когда он вошел в дом, но, хотя в горнице были еще две женщины, он тотчас же узнал сестру: супруга стольника была маленькая, кругленькая, словно клубок пряжи.

И она его узнала тотчас. Они кинулись друг другу в объятья и долго не могли вымолвить ни слова. Она почувствовала, как по лицу ее текут его теплые слезы, и он ощутил тепло ее слез; а барышни все это время стояли неподвижно, прямехонькие, как две свечки, наблюдая за чужой радостью.

Наконец пани Маковецкая, первой обретя дар речи, громко заговорила тоненьким, пронзительным голоском:

— Столько лет! Столько лет! Помоги тебе боже, любимый брат! Как только узнала я о твоём несчастье, не выдержала, сорвалась с места. И муж меня не удерживал, потому что от Буджака жди беды... Да и про белгородских татар ходят слухи. И, наверное, скоро на дорогах станет черным-черно — вот и сейчас птицы

слетелись со всех сторон, а так всегда перед набегом бывает. Боже тебе помощи, любимый брат! Золотой мой! Единственный! Муж к выборам приедет и сказал так: «Забирай девок и езжай немедленно. Михала, говорит, в час скорби обогреешь, от татар, говорит, искать прибежище надо, того и гляди, пожар разгорится, словом, одно к одному. Подыщи жилье там попримечнее, чтоб было нам где остановиться». Он вместе с земляками на дорогах врагов караулит. Войска мало. У нас всегда так. Михал, брат мой любимый! Подойди-ка к окну, хочу я на тебя поглядеть. Вон ведь как с лица спал, да ведь горе не красит. Хорошо было мужу на Руси говорить: найди постоялый двор! А тут нигде ничего: мы сами в халупе. Еле три охапки соломы для постелей наскребли.

— Разреши, сестра!.. — вставил было маленький рыцарь.

Но сестра все не разрешала и тарыхтела как мельница:

— Тут мы остановились, больше-то и места не было. Хозяева глядят волком. Кто знает, что за люди. Правда, и у нас четверо дворовых, ребята надежные, да и мы не из пугливых, в наших краях в груди у женщины сердце воина бьется, иначе не проживешь. У меня мушкетик имеется, у Баськи два пистолета. Только Кшися оружия не любит... Но город чужой, я бы хотела найти место понадежней.

— Разреши, сестра... — повторил пан Михал.

— А ты где остановился, Михал? Помоги мне жилье подыскать, ты, чай, и в Варшаве как дома.

— Жилье для тебя готово, да такое, что и сенатора со всем двором пригласить не стыдно. Я остановился у моего друга, капитана Кетлинга, и сейчас тебя к нему отвезу.

— Но помни, нас трое, двое слуг и челядинцев четверо. Боже ты мой! Я тебя не представила.

И тотчас же повернулась к барышням:

— Сударыни знают, кто он, а он про вас нет, прошу вас, познакомьтесь, хотя бы в потемках. Даже печь до сих пор не истопили... Это панна Кристина Дрогоёвская, а это панна Барбара Езёрковская. Муж мой их опекун, а они сироты и живут с нами. Столь юным барышням без опеки жить негоже.

Пока пани Маковецкая говорила это, Володыёвский поклонился, как это делают военные, а обе панны, придерживая подол платьев, сделали реверанс, при этом панна Езёрковская тряхнула головой, как жеребенок.

— Едем, пожалуй! — сказал пан Михал. — Пан Заглоба дома остался, он об ужине похлопочет.

— Пан Заглоба? Тот самый знаменитый пан Заглоба? — воскликнула панна Езёрковская.

— Баська, тихо! — одернула ее тетушка. — Боюсь, хлопот с нами много!

— Уж коли пан Заглоба об ужине хлопочет, — отвечал маленький рыцарь, — еды на целый полк хватит. Велите, сударыни, выносить вещи. Я и о телеге позаботился, а шарабан у Кетлинга просторный, все четверо усядемся. И вот что еще — коли слуги не пьяницы, пусть до утра здесь с лошадьми да со всем скарбом остаются, а мы самое нужное прихватим.

— Нечего им оставаться, — сказала хозяйка, — телеги еще не разгружены, запряжем коней — и в дорогу. Баська, распорядись, мигом!

Панна Езёрковская помчалась в сени и скоро, быстрее, чем можно прочесть до конца «Отче наш», вернулась со словами, что все готово.

— Да и пора! — сказал пан Володыёвский.

Через минуту шарабан вез всю четверку в Мокотов. Пани Маковецкая с панной Дрогоёвской устроились на заднем сиденье, а маленький рыцарь сидел спереди, рядом с панной Езёрковской. Было уже темно, лиц он почти не различал.

— Вы, сударыни, бывали в Варшаве? — громко, чтобы заглушить стук колес, спросил он, наклоняясь к панне Дрогоёвской.

— Нет, — отвечала он. Голос у нее был низкий, но приятный и мелодичный. — Мы росли в глуши, ни больших городов, ни людей знатных не видывали.

Сказав это, она слегка склонила головку, как бы давая понять, что к последним относит и пана Володыёвского, чем изрядно ему польстила. «Политичная, однако, особа», — подумал пан Володыёвский, мучительно размышляя, каким бы комплиментом ответить.

— Будь этот город и в десять раз больше, вашей красы ему не затмить, сударыни!

— А вы откуда знаете, сударь, чай, нас и не видно впотьмах? — неожиданно спросила панна Езёрковская.

«Вот зелье!» — подумал пан Володыёвский, но не ответил. Некоторое время они ехали молча, пока панна Езёрковская не обратилась к нему снова:

— Не знаете ли, сударь, довольно ли в конюшнях места, у нас лошадей десяток да еще два жеребеночка.

— Да хоть бы и тридцать, конюшня большая.

А барышня только свистнула в ответ:

— Фью-фью!

— Баська! — начала было свои увещевания тетушка.

— Ага! Баська! Баська! А лошади всю дорогу на ком?

За разговорами незаметно подъехали к усадьбе Кетлинга.

Все окна в честь приезда пани Маковецкой были освещены. Навстречу гостям выбежала прислуга, а впереди всех шествовал пан Заглоба, который, подскочив к экипажу и увидев в нем трех женщин, тотчас же спросил:

— Кто же из вас, сударыни, моя благодетельница и сестра Михала, лучшего моего друга?

— Я, — отвечала супруга стольника.

Заглоба тотчас же припал к ее ручке, повторяя:

— Кланяюсь, низко кланяюсь, благодетельница!

Потом он помог пани Маковецкой вылезти из шарабана и, расшаркиваясь, с большими почестями проводил в дом.

— Разрешите мне, как только переступим порог, еще раз поцеловать ваши ручки, — говорил он ей по дороге.

А тем временем пан Михал помог выбраться из экипажа паннам. Так как шарабан был высокий, а ступеньку в темноте нащупать трудно, он обнял за талию панну Дрогоёвскую, поднял ее и поставил на землю. Она не противилась этому, на мгновение прижавшись к нему всем телом.

— Благодарю вас, сударь! — сказала она своим низким, грудным голосом.

Пан Михал обернулся в свой черед к панне Езёрковской, но она соскочила с другой стороны, и он взял под руку панну Дрогоёвскую.

В комнате барышни представились пану Заглобе, который при виде их пришел в отличное настроение и тотчас пригласил всех к ужину.

Миски на столе уже дымились, еды и напитков, как и предсказывал пан Михал, было такое изобилие, что и впрямь хватило бы на целый полк.

Сели за стол. Пани Маковецкая — во главе стола, по правую руку — пан Заглоба, рядом с ним — панна Езёрковская, Володыёвский сел по левую руку, рядом с Дрогоёвской.

И тут только маленький рыцарь смог как следует приглядеться к обеим барышням.

Они были совсем не похожи, но обе прехорошенькие, каждая в своем роде. У Дрогоёвской волосы цвета воронова крыла, черные брови, большие голубые глаза. Кожа смуглая, бледная и такая нежная, что даже на висках просвечивали голубые жилки. Над верхней губою темнел едва заметный пушок, как бы подчеркивая притягательность томных ее уст, словно бы созданных для поцелуя. Она была в трауре по недавно умершему отцу, и темный наряд при такой нежной коже и черных волосах создавал впечатление некоторой суровости и грусти. На первый взгляд она казалась старше своей подруги, и, только приглядевшись, пан Михал

понял, что это хрупкое создание в расцвете самой юной девичьей красоты. И чем больше он смотрел, тем больше дивился и величественности стана, и лебединой шее, и всем движениям ее, исполненным прелести и грации.

«Это повелительница, — думал он, — и душа у нее, должно быть, возвышенная. Зато вторая сущий бесенок!»

Подмечено было верно.

Езёрковская ростом была гораздо ниже Дрогоёвской и вообще мелковата, но не худая, свежая, как бутон розы, со светлыми волосами. Волосы у нее, должно быть после болезни, были коротко острижены и сверху покрыты золотистой сеткой. Но и они, словно угадывая Басину непоседливость, не желали вести себя спокойно, кончики их вылезали сквозь все петли сетки, свисая на лоб чуть ли не до самых бровей, на манер казацкого оселедца, быстрые, веселые глаза и плутовская мина делали ее похожей на мальчишку-проказника, который только и помышляет об очередной проделке.

При этом она была такая юная и приятная, глаз не отведешь: с изящным, чуть приподнятым кверху носиком, с подвижными, то и дело раздувавшимися ноздрями, с ямочками на подбородке и на щеках, приметой веселого нрава.

Но сейчас она не улыбалась, а, уплетая за обе щеки, с чисто детским любопытством поглядывала на пана Заглобу и на пана Володыёвского, будто на заморских птиц.

Пан Володыёвский молчал: он понимал, что должен занять разговором панну Дрогоёвскую, но не знал, как к ней подступить. Маленький рыцарь и вообще-то не отличался светскостью, а сейчас на душе у него было тоскливо, девушки живо напомнили ему о покойной невесте.

Пан Заглоба, напротив, развлекал супругу стольника рассказами о подвигах пана Михала и о своих собственных. К середине ужина он как раз подошел к рассказу о том, как некогда они с княжной Курцевич и Редзяном сам-четверт удирали от татарского чамбула, а под конец, ради спасения княжны, чтобы остановить погоню, ринулись вдвоем на целый чамбул.

Панна Езёрковская даже есть перестала, подперев подбородок руками, она слушала, затаив дыхание, то и дело откидывала со лба волосы, моргала, а в самых интересных местах хлопала в ладоши и повторяла:

— Ага! Ага! Сказывай, сказывай дальше, сударь!

Но когда рассказ пошел о том, как драгуны Кушеля, выскочив из засады, напали на татар и гнались за ними полмили, рубя направо и налево, панна Езёрковская, не в силах сдержать восторга, захлопала в ладоши и закричала:

— Ахти, сударь, ахти! Вот бы и мне туда!

— Баська! — протянула тетушка с явным русинским акцентом. — Вокруг тебя такие политичные люди, отучайся от своих «ахти». Еще не хватало, чтобы ты крикнула: «Чтоб меня разорвало, коли вру!»

Барышня засмеялась молодым, звонким, как серебро, смехом, и вдруг хлопнула себя руками по коленкам.

— Чтоб меня разорвало, коли вру! — воскликнула она.

— О боже! Слушать стыдно! В таком обществе... Сейчас же извинись перед всеми! — воскликнула пани Маковецкая.

А тем временем Баська, решив начать с пани Маковецкой, сорвалась с места, но при этом уронила на пол нож, ложку и сама нырнула следом под стол.

Тут уж кругленькая стольничиха не могла удержаться от смеха, а смеялась она по-особому: сперва начинала трястись, так что полное ее тело ходило ходуном, а потом пищала тоненьким голосом. Все развеселились. Заглоба был в восторге.

— Видите, сколько хлопот у меня с этой девицей!

— Чистая радость! Как бог свят! — говорил Заглоба.

Тем временем Бася вылезла из-под стола, разыскала ложку и нож, но тут сетка у нее с головы слетела, непослушные волосы так и лезли на глаза. Она выпрямилась и, раздувая ноздри, сказала:

— Ага! Смеетесь над тем, что вышел такой конфуз. Хорошо же!

— Помилуйте, как можно! Никто не смеется! Никто не смеется! — с чувством сказал Заглоба. — Все мы счастливы, что в вашем образе господь бог ниспослал нам такую отраду.

После ужина все пошли в гостиную. Панна Дрогоёвская, увидев на стене лютню, сияла ее и стала перебирать струны. Володыёвский попросил ее спеть в тон струнам, она ответила сердечно и просто:

— Если это хоть немножко развеет ваше горе, я готова.

— Спасибо! — ответил маленький рыцарь и благодарно поднял на нее взгляд.

Послышались звуки песни.

Знай же, о рыцарь,

Тебе не укрыться.

Панцирь и щит не препона,

Если стремится в сердце вонзиться

Злая стрела Купидона.

«Перевод Ю. Вронского.»

— Я уж и не знаю, как вас благодарить, сударыня, — говорил Заглоба, сидя в сторонке с пани Маковецкой и целуя ей руки, — сама приехала и таких милых барышень привезла, что, поди, и

грациям до них далеко. Особенно гайдучок пришелся мне по душе, эдакий бесенок, любую тоску лучше разгонит, чем горностай мышей. Да и что такое людская печаль, коли не мыши, грызущие зерна веселья, хранимые в сердцах наших! А надо вам, сударыня-благодетельница, сказать, что прежний наш король Joannes Casimirus так мои *comparationes* «Сравнения (лат.)» любил, что и дня без них обойтись не мог. Я ему всевозможные истории и премудрости сочинял, а он их на сон грядущий выслушивал, и нередко они ему в хитроумной его политике помогали. Но это уже другая материя. Я надеюсь, что и наш Михал, насладившись радостью, навсегда о своих горестях забудет. Вам, сударыня, и неведомо, что прошла лишь неделя с той поры, как я его из монастыря вытащил, где он обет давать собирался. Но я самого нунция подговорил, а он возьми и скажи приору, что всех монахов в драгуны пошлет, если Михал а сей секунды не отпустят... Нечего ему там было делать. Слава, слава тебе, господи! Уж я-то Михала знаю. Не одна, так другая скоро такие искры из его сердца высе-чет, что оно займется, как трут.

А тем временем панна Дрогоёвская пела:

Если героя

Щит не укроет

От острия рокового,

Где же укрыться

Трепетной птице,

Горлинке белоголовой.

«Перевод Ю. Вронского.»

— Эти горлинки боятся купидоновых стрел, как собака сала, — шепнул пани Маковецкой Заглоба. — Но сознайся, благодетельница, не без тайного умысла ты этих пташек сюда привезла. Девки — загляденье! Особенно гайдучок, дал бы мне бог столько здоровья, сколько ей красоты! Хитрая у Михала сестричка, верно?

Пани Маковецкая тотчас соорудила хитрую мину, которая, впрочем, совсем не подходила к ее простому и добродушному лицу, и сказала:

— Нам, женщинам, обо всем подумать надо, без смекалки не проживешь. Муж мой на выборы короля собирается, а я барышень пораньше увезла, того и гляди, татарва нагрянет. Да кабы знать, что из этого будет толк и одна из них счастье Михалу составит, я бы паломницей к чудотворной иконе пошла.

— Будет толк! Будет! — сказал Заглоба.

— Обе девушки из хороших семей, обе с приданым, что в наши тяжкие времена не лишнее.

— Само собой, сударыня. Михалово состояние война съела, хоть, как мне известно, кое-какие деньжата у него водятся, он их

знатным господам под расписку отдал. Бывали и у нас трофеи хоть куда, к пану гетману поступали, но часть на дележку шла, как говорят солдаты, «на саблю». И на его саблю немало перепало, если бы он все берег — богачом бы стал. Но солдат не думает про завтра, он сегодня гуляет. И Михал все на свете прогулял и спустил бы, кабы не я. Так ты говоришь, почтенная, барышни знатного происхождения?

— У Дрогоёвской сенаторы в роду. Наши окраинные каштеляны на краковских непохожи, есть среди них и такие, о коих в Речи Посполитой никто и не слыхивал, но тот, кому хоть раз довелось посидеть в каштелянском кресле, непременно передаст свою осанку и потомству. Ну, а если о родословной говорить, Езёрковская на первом месте.

— Извольте! Извольте! Я и сам старинного королевского рода Масагетов, и потому страх как люблю про чужую родословную послушать.

— Так высоко эта птичка не залетала, но коли угодно... Мы чужую родню наперечет знаем... И Потоцкие, и Язловецкие, и Лащи — все ее родня. Вот как оно было, сударь...

Тетушка расправила фалды, уселась поудобнее, чтобы ничто не мешало ей предаться любимым воспоминаниям; растопырив пальцы одной руки и вытянув указательный палец другой, она приготовилась к счету всех дедов и прадедов, после чего начала:

— Дочка пана Якуба Потоцкого[20] от второй жены, в девичестве Язловецкой, Эльжбета, вышла замуж за пана Яна Смётанко, подольского хорунжего...

— Сделал зарубку! — сказал Заглоба.

— От этого брака родился пан Миколай Смётанко, тоже подольский хорунжий.

— Гм! Высокое звание!

— А тот в первом браке был женат на Дорогостайской... Нет! На Рожинской!.. Нет, на Вороничувне! Ах, чтоб тебя! Забыла!

— Вечная ей память, как бы ни называлась! — с серьезной миной сказал Заглоба.

— А во второй раз он женился на Лащувне...

— Вот оно, оно самое! И какой же этого брака *effectus*? «*Результат (лат.)*.»

— Сыновья у них умерли...

— Любая радость в этом мире недолговечна...

— А дочери... Младшая, Анна, вышла замуж за Езёрковского из рода Равичей, комиссара по размежеванию Подолья, который потом, дай бог не соврать, мечником подольским был.

— Как же, помню! — уверенно сказал Заглоба.

— От этого брака, как видишь, сударь, и родилась Бася...

— Вижу еще и то, что сейчас она целится из Кетлинговой пищади.

Дрогоёвская и маленький рыцарь были увлечены беседой, а Баська тем временем утех ради целилась из пищади в окно.

При виде этого зрелища пани Маковецкая всколыхнулась и затараторила тоненьким голосом:

— Ох, пан Заглоба, сколько у меня хлопот с этой девицей, ты и представить себе не можешь! Чистый гайдамак!

— Если бы все гайдамаки были такими, я бы давно с ними в степи ушел.

— Ружья, лошади да война у нее на уме! Как-то вырвалась из дому на утиную охоту, с дробовиком. Забралась в камыши, тут, глядь, камыши расступились, и что же? Татарин высунул башку, он камышами в деревню крался. Другая бы напугалась, а наша, отчаянная, возьми да и пальни из дробовика. Татарин — хлоп в воду! И представь себе, сударь, на месте его уложила... И чем — зарядом дробин...

Тут пани Маковецкая снова затряслась всем телом, хохоча над злополучным татаринком, а потом добавила:

— И то сказать, спасла нас всех, целый отряд шел, а она вернулась, подняла шум, и мы с челядью успели в лесу укрыться. У нас так всегда!

Лицо Заглобы расплылось от восхищения, он даже прищурил глаз, потом сорвался с места, подскочил к барышне и, не успевшая она опомниться, чмокнул ее в лоб.

— От старого солдат за татарина в камышах! — сказал он.

Барышня тряхнула светлыми вихрами.

— Всыпала я ему! Верно? — воскликнула она таким нежным, почти детским голоском, что казалось странным слышать из ее уст столь воинственные речи.

— Ах, гайдучок ты мой бесценный! — расчувствовался Заглоба.

— Подумаешь, один татарин! У вас, поди, тысяча на счету — и шведы, и немцы, и венгры Ракоци. Куда мне до вас! Других таких рыцарей во всей Речи Посполитой нет. Это я доподлинно знаю. Ого!

— А мы, коли есть охота, и тебя научим сабелькой махать. Я-то отяжелел малость, но Михал хоть куда.

Услышав такое предложение, Бася подпрыгнула от восторга, поцеловала пана Заглобу в плечо, а маленькому рыцарю сделала реверанс и сказала:

— Благодарю за обещание! Немного я уже умею!

Но Володыёвский, занятый беседой с Кшисей, ответил весьма рассеянно:

— К вашим услугам, сударыня!

Заглоба, расплываясь в улыбке, снова подсел к супруге латычёвского стольника:

— Пани благодетельница, я отлично знаю, что турецкие сладости отменные, не один год мне в Стамбуле просидеть пришлось, но знаю не хуже, что и охотников на них тьма. Как же случилось, что на таких отменных девок до сих пор охотников не нашлось?

— Помилуй! Таких, что им руку и сердце предлагали, хватало. А Баську мы в шутку трижды вдовой называем, потому что к ней сразу три достойных кавалера[21] сваталось: пан Свирский, пан Кондрацкий и пан Чвилиховский, все шляхтичи из наших мест, с поместьями, коли хочешь, я и сейчас могу всю их родню по пальцам перечесть.

Сказавши это, пани Маковецкая растопырила пальцы левой руки и выставила указательный палец правой, но Заглоба быстро перебил ее:

— Ну и что же с ними случилось?

— Все трое на войне головы сложили, потому-то мы Баську и называем трижды вдовой!

— Гм! Ну и как же она перенесла такой удар?

— Видишь ли, сударь, для нас это дело привычное, в наших краях редко кто, до преклонных лет дожив, своей смертью умирает. Даже и присловье у нас есть — шляхтич умирает в полет. Как Баська удар перенесла? Поплакала, бедняжечка, малость, отсиделась на конюшне, она, чуть случится что, тотчас на конюшню бежит! Пошла я туда за нею и спрашиваю: «Кого оплакиваешь, Бася?» А она в ответ: «Всю троицу сразу!» Отсюда я заключение сделала, что ни один ей не приглянулся... Потому, должно быть, что голова у нее чем-то другим занята, не снизошла еще на нее божья воля... Может, на Кшисю, а на Баську, пожалуй, нет!..

— Снизойдет! — сказал Заглоба. — Снизойдет, почтеннейшая. Уж кто-кто, а мы с вами это понимаем...

— Таково уж наше предназначенье!

— Вот-вот! В этом вся соль! — отозвался Заглоба. — Вы мои мысли читаете.

Разговор был прерван появлением молодых людей.

Маленький рыцарь чувствовал себя в обществе панны Кшиси несколько смелее, а она, должно быть из сострадания, врачевала его печаль, словно лекарь больного. И может быть, именно поэтому оказывала ему чуть больше сердечности, чем позволяло недавнее знакомство. Но пан Михал был братом пани Маковецкой, а барышня — родственницей ее мужа, и потому такая вольность никого не удивляла. Баська оставалась в тени, и никто, кроме пана Заглобы, не замечал ее присутствия. Но Бася и не нуждалась ни в ком. Весь вечер она с удивлением глядела на рыцарей точь-

в-точь как на великолепное оружие Кетлинга, украшавшее все стены. Потом ее одолела зевота, да и глаза слипались.

— Ка-ак залягу, — сказала она, — двое суток просплю... не меньше...

После таких слов все сразу разошлись, женщины были измучены дорогой и ждали той минуты, когда наконец постелят постели.

Пан Заглоба, оставшись с глазу на глаз с Володыёвским, сначала многозначительно подмигнул ему, а потом слегка оттузил на радостях.

— Михал! А Михал! Ну что? В монахи пойдешь али передумал? Девки, как репки. Дрогоёвская — ягодка-малинка. А гайдучок наш румяный, ух! Что скажешь, а, Михал?

— Да полно, — отвечал маленький рыцарь.

— По мне, так лучше гайдучка не найти. Скажу тебе, когда я за ужином к ней подсел, жар от нее шел, как от печурки.

— Егоза она, Дрогоёвская степенней будет.

— Панна Кшися — сладкое яблочко. Спелое, румяное! Но та... Твердый орешек. Были бы у меня зубы... Я хотел сказать, была бы у меня такая дочка, тебе одному бы ее отдал. Миндаль! Миндаль в сахаре.

Володыёвский вдруг нахмурился. Вспомнились ему прозвища, которые пан Заглоба Анусе Борзобогатой давал. Он представил ее как живую — тонкий стан, веселое личико, темные косы, ее живость и веселый смех, особый, только ей свойственный взгляд. Эти обе были моложе, но та в тысячу раз дороже любой молодой...

Маленький рыцарь спрятал лицо в ладони, его охватила печаль нежданная и оттого такая горькая.

Заглоба умолк, поглядел с тревогой и наконец сказал:

— Михал, что с тобой? Скажи бога ради!

— Столько их, молодых, красивых, на белом свете, — отвечал Володыёвский, — живут, дышат, и только моей овечки нет среди них, одну ее никогда я больше не увижу!..

Тут горло у него перехватило, он опустил голову на край стола и, стиснув зубы, тихо прошептал:

— Боже! Боже! Боже!..

ГЛАВА VII

Панна Бася все же упросила Володыёвского, чтоб он научил ее правилам поединка, а он и не отказывался, потому что хоть и отдавал предпочтение Дрогоёвской, но за эти дни успел привязаться к Басе, а, впрочем, трудно было бы ее не любить.

И вот как-то утром, наслушавшись Басиных хвастливых уверений, что она вполне владеет саблей и не всякий сумеет отразить ее удары, Володыёвский начал первый урок.

— Меня старые солдаты учили, — хвасталась Бася, — они-то умеют на саблях драться... Еще неизвестно, найдутся ли среди вас такие.

— Помилуй, душа моя, — воскликнул Заглоба, — да таких, как мы, в целом свете не сыщешь!

— А мне хотелось бы доказать, что и я не хуже. Не надеюсь, но хотела бы!

— Стрелять из мушкетона, пожалуй, и я сумела бы, — сказала со смехом пани Маковецкая.

— О боже! — воскликнул пан Заглоба. — Сдается мне, в Латычёве одни амазонки обитают!

Тут он обратился к Дрогоёвской:

— А ты, сударыня, каким оружием лучше владеешь?

— Никаким, — отвечала Кшися.

— Ага! Никаким! — воскликнула Баська.

И, передразнивая Кшисю, запела:

Если стремится в сердце вонзиться

Злая стрела Купидона.

— Этим-то оружием она владеет недурно, будьте спокойны! — добавила Бася, обращаясь к Володыёвскому и Заглобе. — И стреляет недурно.

— Выходи, сударыня! — сказал пан Михал, стараясь скрыть легкое замешательство.

— Ох, боже! Если бы все получилось, как я хочу! — воскликнула Бася, зардевшись от радости.

И тотчас же стала в позицию: в правой руке она держала легкую польскую сабельку, левую спрятала за спину, наклонилась вперед, высоко подняв голову, ноздри у нее раздувались, и была она при этом такая румяная и хорошенькая, что Заглоба шепнул пани Маковецкой:

— Ни одна сулейка, даже со столетним венгерским, так бы не потешила мою душу!

— Гляди, сударыня, — говорил меж тем Володыёвский, — я не нападаю, а защищаюсь. А ты нападай сколько душе угодно.

— Ладно. А коли устанешь, проси, сударь, пардону.

— Я и так могу все мигом кончить, коли захочу.

— Неужто?

— У такого вояки, как ты, сударыня, выбить из рук сабельку проще простого.

— Это мы увидим.

— Не увидим, я политес соблюдаю!

— Никакого политеса не надобно. Попробуй выбить, коли сумеешь. Сноровки у меня маловато, но до этого не допущу

— Стало быть, разрешаешь?

— Разрешаю!

— Опомнись, гайдучок ты мой милый, — сказал Заглоба. — Он не с такими, как ты, разделявался.

— Увидим! — повторила Бася.

— Начнем! — скомандовал Володыёвский, которому Басино хвастовство надоело.

Начали.

Бася, приседая, как кузнечик, лихо сделала выпад.

Володыёвский, не трогаясь с места, по своему обыкновению, едва заметно двинул саблей, словно бы никакой атаки и не было.

— Ты, сударь, отбиваешься от меня, как от мухи! — воскликнула недовольная Баська.

— А я с тобой и не дерусь вовсе, а учу! Вот так хорошо! Для горлинки совсем неплохо! Тверже руку!

— Ах, для горлинки? Так вот вам, сударь, за горлинку, получайте!

Но пан Михал ничего не получил, хотя Бася и прибегла к своим знаменитым приемам. И при этом, желая показать, как мало беспокоят его Басины удары, он как ни в чем не бывало продолжал беседу с паном Заглобой.

— Отойди, сударь, от окна, — сказал он Заглобе, — а то свет барышне застишь, правда, сабелька у нее чуть поболее иглы, но, должно быть, иголкой она владеет лучше.

Бася раздула ноздри еще больше, а волосы лезли на глаза.

— Пренебрегаешь мной, сударь?

— Боже упаси, только не твоею персоной.

— А я, я... пана Михала презираю!

— Вот тебе, бакалавр, за науку! — отвечал маленький рыцарь. И снова обратился к Заглобе: — Не иначе снег пойдет!

— Вот вам снег, снег, снег! — повторяла, размахивая сабелькой, Бася.

— Баська! Довольно с тебя, еле дышишь! — вмешалась тетушка.

— Держи, сударыня, сабельку покрепче, а то из рук выбью!

— Увидим!

— Изволь!

И сабелька, словно птица, вырвавшись из Басиных рук, с грохотом упала на пол возле печки.

— Это я... я сама, нечаянно! — со слезами в голосе воскликнула Бася и, схватив в руки саблю, снова перешла в атаку. — Попробуйте теперь, сударь!

— Изволь!

И сабля опять очутилась под печкой.

А пан Михал сказал:

— На сегодня хватит!

Тетушка, по своему обыкновению, затряслась всем телом от хохота, а Бася стояла посреди комнаты смущенная, растерянная, она тяжело дышала и кусала губы, едва сдерживая подступившие слезы. Она знала, что, если расплчется, все будут смеяться еще больше, и изо всех сил старалась сдержаться, но, чувствуя, что не может, выбежала прочь.

— О боже! — воскликнула тетушка. — Не иначе в конюшню кинулась, еще и не остыла после драки, того гляди, мороз прохватит... Нужно догнать ее! Кшися, не смей выходить!

Сказав это, она вышла и, схватив висевшую в сенях шубейку, выскочила во двор, а за ней помчался и Заглоба, от души жалевший своего гайдучка.

Хотела было выбежать и панна Кшися, но маленький рыцарь схватил ее за руку.

— Слышала, сударыня, приказ? Не отпущу твоей руки, пока не вернется.

И в самом деле не отпускал. А рука у нее была нежная, бархатистая, и пану Михалу казалось, что ручеек тепла струится от ее пальцев, передаваясь ему, и он сжимал их все крепче.

На смуглых щеках панны Кшиси выступил легкий румянец.

— Вижу, я ваша пленница, ваш ясырь, — сказала она.

— Тот, у кого такой ясырь, и султану не станет завидовать, полцарства отдаст, не пожалеет.

— Но ведь вы, сударь, меня бы этим нехристям не продали!

— Как не продал бы черту свою душу!

Тут пан Михал вдруг понял, что в пылу зашел слишком далеко.

— Как не продал бы и сестру родную! — добавил он.

А панна Кшися отвечала серьезно:

— В самую точку попали, сударь. Пани Маковецкая для меня как сестра, а вы названным братом будете.

— Благодарю от всего сердца, — сказал Михал, целуя ей руку, — больше всего на свете нуждаюсь я в утешенье.

— Знаю, знаю, — сказала девушка, — я ведь и сама сирота.

Слезинка скатилась по ее щеке, укрывшись в темном пушке над губою.

А Володыёвский посмотрел на слезинку, на оттененные пуш-ком губы и наконец сказал:

— Право, сударыня, вы добры, как ангел! Мне уже легче!

Кшися нежно улыбнулась.

— От души желаю пану, чтобы и вправду так было!

— Богом клянусь!

При этом маленький рыцарь чувствовал, что, если бы он посмел еще раз поцеловать Кшисе руку, ему и вовсе легко бы стало. Но тут вошла тетушка.

— Баська шубейку взяла, — сказала она, — но сконфужена и возвращаться не хочет. Пан Заглоба по конюшне мечется, никак ее не словит.

А пан Заглоба не только, не скупясь на уговоры и увещевания, метался по конюшне, ловя Басю, но и оттеснил ее наконец во двор в надежде, что так она скорее домой вернется.

А она удирала от него, повторяя:

— Вот и не пойду, не пойду ни за что, пусть меня мороз заморозит! Не пойду, не пойду!.. — Потом, увидев возле дома столб с перекладинами, а на нем лестницу, ловко, словно белочка, стала взбираться по ней, пока не залезла на крышу. Залезла, повернулась к пану Заглобе и уже полушутя закричала: — Хорошо, так и быть, сейчас спущусь, если вы, сударь, за мной полезете!

— Да что я, кот, что ли, какой, чтобы за тобой, гайдучок, по крышам лазить? Так-то ты мне за любовь платишь!

— И я вас, сударь, люблю, но только отсюда, с крыши!

— Ну вот, заладила! Стрижено-брито! Слезай с крыши!

— Не слезу!

— Оконфузилась! Эка беда! Стоит ли принимать это близко к сердцу. Не тебе, ласочка неугомонная, а Кмицицу, искуснику из искусников, Володыёвский такой удар нанес, и не в шутку, а в поединке. Да он самых лучших фехтовальщиков — итальянцев, немцев, шведов — протыкал вмиг, они и помолиться не успевали, а тут эдакая козявка, и на тебе, столько гонору! Фу! Стыдись! Слазь, говорю! Ведь ты только учишься!

— Я пана Михала видеть не хочу!

— Опомнись, голубчик! За какие такие грехи, за то, что он *exquisitissimus «Отменный (лат.)»* в том, чему ты сама научиться хочешь? За это ты должна его любить еще больше.

Пан Заглоба не ошибался. Несмотря на случившийся с ней конфуз, Бася в душе восхищалась маленьким рыцарем.

— Пусть его Кшися любит! — сказала она.

— Слазь, говорю!

— Не слезу!

— Хорошо, сиди, но только вот что я тебе скажу: это даже не пристало порядочной девице сидеть на лестнице, не очень-то прилично это выглядит снизу!

— А вот и неправда! — сказала Бася, одергивая шубейку.

— Я-то старый, глаз не прогляжу, да вот возьму и созову всех, пусть любуются!

— Сейчас слезу! — отозвалась Бася.

Пан Заглоба глянул за угол.

— Ей-богу, кто-то идет! — крикнул он.

В это время из-за угла выглянул молодой пан Нововейский, который приехал верхом, привязал лошадь к боковой калитке, а сам, ища парадного входа, обошел дом кругом.

Бася, заметив его, в два прыжка очутилась на земле, но, увы, было слишком поздно.

Пан Нововейский, увидев, как она спрыгивает с лестницы, остановился в растерянности, заливаясь румянцем, будто красна девица. Бася тоже стояла как вкопанная. И вдруг воскликнула:

— Опять конфуз!

Пан Заглоба, которого история эта очень позабавила, смотрел на них, подмигивая здоровым глазом, а потом сказал:

— Это пан Нововейский, солдат и друг нашего Михала, а это панна Чердаковская... Тьфу ты, господи!.. Я хотел сказать — Езёрковская!

Нововейский быстро пришел в себя, а поскольку при всей своей молодости был весьма находчив, поклонился и, бросив взгляд на столь прекрасное видение, сказал:

— О боже! Я вижу, у Кетлинга в саду розы на снегу расцвели.

Бася, сделав реверанс, чуть слышно шепнула:

— Не про твою честь!

А после этого добавила громко вежливым голосом:

— Милости просим в дом!

Сама прошла вперед и, вбежав в столовую, где сидел за столом пан Михал с домочадцами, воскликнула, намекая на красный кунтуш пана Нововейского:

— Снегирь прилетел!

И, сказав это, она уселась на табуретку эдакой паинькой, тихо-хонько, смирнехонько, как и следовало воспитанной барышне.

Пан Михал представил своего молодого приятеля сестре и Кшисе Дрогоёвской, а тот, увидев еще одну барышню, тоже весьма хорошенькую, хотя и совсем в ином роде, опять смутился и, стараясь скрыть это, поднес руку к еще не существующим усам.

Подкручивая над губой мнимый ус, он обратился к Володыёвскому и начал рассказ. Великий гетман непременно желает ви-

деть у себя пана Михала. Насколько пан Нововейский мог понять, речь шла о новом назначении. Гетман получил несколько донесений: от пана Вильчковского, от пана Сильницкого, от полковника Пиво и от других комендантов, служивших на Украине и в Подолии. Они писали, что в Крыму опять смута.

— Хан и султан Калга, что в Подгайцах с нами пакт заключил, рады бы сдержать слово, но Буджак людей своих поднимает, да белгородская орда зашевелилась; ни хан, ни Калга им не указ...

— Пан Собеский мне об этом доверительно говорил, совета спрашивал, — сказал Заглоба. — Чего там по весне ждут?

— Говорят, с первой травой вся эта саранча оживет и ее снова давить придется, — отвечал пан Нововейский.

Сказав это, он лихо приосанился и так рьяно стал теревить «ус», что верхняя губа у него покраснела.

Бася мгновенно это заметила и, спрятавшись за его спину, тоже стала подкручивать «усы», подражая движениям юного вояки.

Пани Маковецкая бросала на нее грозные взгляды, но при этом тряслась от беззвучного смеха, пан Михал тоже закусил губу, а панна Дрогоёвская потупила взгляд, и ее длинные ресницы отбрасывали на щеки тень.

— Да ты, как погляжу, хоть и молод, но солдат бывалый! — сказал ему пан Заглоба.

— Мне двадцать два года стукнуло, а из них вот уже семь лет я безотказно служу отчизне, потому как в пятнадцать бежал от ученья, всем наукам предпочтя поле брани, — отвечал юный рубака.

— Он и в степи как дома — и в траве спрячется, и на ордынцев налетит, как ястреб на куропатку, — добавил пан Володыёвский. — Лучшего наездника для степных набегов не придумать! От него ни одному татарину не укрыться!

Пан Нововейский вспыхнул, услышав столь лестные слова, сказанные в присутствии дам.

Этот степной орел был красивым юношей со смуглым обветренным лицом. На щеке у него был шрам от уха до самого носа, который из-за этого с одного боку казался приплюснутым. Глаза, привыкшие смотреть в степные дали, глядели зорко, а широкие черные брови над ними напоминали татарский лук. На бритой голове торчал непослушный чуб. Басе вояка понравился и речами, и осанкой, но она продолжала его передразнивать.

— Рад, рад от души, — сказал пан Заглоба. — Нам, старикам, весьма приятно видеть, что молодежь нас достойна.

— Пока нет, — возразил Нововейский.

— Ну что ж, такая скромность тоже похвальна, — сказал пан Заглоба. — Глядишь, скоро тебе и людей дадут под начало.

— А как же! — воскликнул Володыёвский. — Он уже не раз верховодил в сражениях.

Пан Нововейский снова принялся крутить «усы», да так, что казалось, вот-вот оторвет губу.

Бася, не сводя с него глаз, поднесла ко рту руки, повторяя все его жесты.

Но смекалистый солдат заметил вскоре, что взгляды всей компании устремлены на сидящую за его спиной барышню, ту, что при нем спрыгнула с лестницы, и он тотчас догадался, что девица над ним потешается.

Как ни в чем не бывало, Нововейский продолжал разговор, не забывая и про «усы», но вдруг неожиданно обернулся, да так быстро, что Бася не успела ни опустить рук, ни отвести от него взгляда.

Она покраснела от неожиданности и, сама не зная, что делает, встала со скамейки. Все смутились, наступило неловкое молчание.

Вдруг Бася хлопнула рукой по платью.

— Опять конфуз! — воскликнула она.

— Милостивая сударыня, — с чувством сказал Нововейский, — я уже давно заметил, что за моею спиною кто-то надо мной посмеяться готов. Признаться, я давно об усах мечтаю, но коли я их не дождусь, то лишь оттого, что суждено мне пасть на поле брани за отчизну, и питаю надежду, что тогда не смеха, а слез твоих удостоюсь.

Бася стояла, потупив взгляд, смущенная искренними словами рыцаря.

— Ты, сударь, должен ее простить, — сказал Заглоба. — Молодзелено, но сердце у нее золотое!

А она, словно в подтверждение слов пана Заглобы, тихонько прошептала:

— Простите... Я не хотела обидеть...

Пан Нововейский мгновенно взял обе ее руки в свои и осыпал их поцелуями.

— Бога ради! Успокойтесь, умоляю. Я же не *barbarus* «*Варвар (лат.)*» какой. Это мне следует просить прощенья за то, что веселье вам испортил. И мы, солдаты, страх как всякие развлечения любим. *Mea culpa* «*Моя вина (лат.)*». Дайте еще раз поцеловать ваши ручки, полно, не прощайте меня подольше, я и до ночи целовать их готов.

— Вот это кавалер, видишь, Бася! — сказала пани Маковецкая.

— Вижу! — ответила Бася.

— Стало быть, вы меня простили, — воскликнул пан Нововейский.

Сказав это, он выпрямился и начал по привычке молодцевато подкручивать «ус», а потом, спохватившись, разразился громким смехом; вслед за ним засмеялась Бася, за нею и остальные. У всех отлегло от сердца. Заглоба велел принести из погреба пару бутылок, и пошло веселье.

Пан Нововейский бряцал шпорами и ерошил свой чуб, бросая на Басю пламенные взгляды. Девушка ему очень нравилась. Он сделался необыкновенно словоохотлив, а побывав при гетманском дворе, повидал немало и многое мог рассказать.

Вспомнил он и о конвокационном сейме, о том, как в сенатской палате под натиском любопытных всем на потеху обвалилась печь... Уехал он лишь после обеда. Помыслы его были только о Басе. Она все стояла у него перед глазами.

ГЛАВА VIII

В тот же день маленький рыцарь явился к гетману, который велел его тотчас пустить и повел такой разговор:

— Я Рущица посылаю в Крым, дабы приглядывал, не грозят ли нам оттуда какие напасти, да от хана соблюдения пактов добивался. Не хочешь ли пойти на службу и его солдат под свое начало взять? Ты, Вильчковский, Сильницкий и Пиво будете Дороша и татар караулить, с ними держи ухо востро.

Пан Володыёвский приуныл. Цвет жизни своей, лучшие годы отдал он войску. Десятки лет не знал покоя: жил в огне, в дыму, в трудах и бессоннице, в голоде, холоде, порой и крыши над головой у него не было и охапки соломы для постели. Один бог ведает, чьей только крови не пролила его сабля. Не сумел он обзавестись ни семьей, ни домом. Люди куда менее достойные уже давно пользовались *panem bene merentium* «Здесь: именьями, которые давались за заслуги (лат.).», званий, почестей, должностей добились. А он, начиная службу, был богаче, чем стал. И вот опять о нем вспомнили, как о старой метле. Велика была боль его души; а едва нашлись мягкие, нежные ручки, готовые положить ему повязки на раны, снова приказано сниматься с места и спешить на пустынные далекие окраины Речи Посполитой, и никто не думает о том, как он нуждается в утешенье. Ведь если бы не эти вечные походы и служба, хоть несколько лет порадовался бы он своей Анусе.

И когда он сейчас обо всем этом размышлял, горькая обида подступила к сердцу. Но только подумал он, что не пристало рыцарю от службы отказываться, и сказал коротко:

— Еду.

На это гетман ответил:

— Ты человек свободный и отказаться волен. Готов ли ты ехать, одному тебе ведомо.

— Я и к смерти готов! — ответил Володыёвский.

Пан Собеский в задумчивости мерял шагами покои, наконец остановился возле маленького рыцаря и, положив ему руку на плечо, сказал:

— Коли не успели высохнуть твои слезы, ветер их тебе в степи осушит. Всю жизнь провел ты в великих трудах, солдатик, потрудись еще. А если когда и подумаешь ненароком, что про тебя забыли, наградами обошли, отдохнуть не дали, что за верную свою службу вместо гренок с маслом получил ты черствую корку, раны вместо имений, муку вместо покоя, стисни зубы и шепни про себя: «Ради тебя, отчизна!» Другого утешения у меня нет, но,

хотя я и не ксендз, но одно знаю наверняка, что, служа верой и правдой, ты на своем вытертом седле уедешь дальше, чем иные в богатой карете с шестеркой, и что найдутся такие ворота, что, открывшись перед тобой, затворятся перед ними.

«Ради тебя, отчизна!» — мысленно повторил Володыёвский, удивляясь неволью, как сумел гетман проникнуть в самые тайные его мысли.

А великий гетман сел напротив и продолжал:

— Говорю я с тобою сейчас не как с подчиненным, а как с другом, нет, как отец с сыном. Еще в те времена, когда нас у Подгаец огненным дождем поливали, да и до того, на Украине, когда мы едва-едва неприятеля сдерживали, а тут, в самом сердце отчизны, в укрытии, за нашей спиною, скверные людишки смуту сеяли мелкой корысти ради, — не раздумал я о том, что наша Речь Посполитая погибнуть должна. Уж слишком самоуправство привыкло брать верх над порядком, а общее благо выгоде и интригам уступать привыкло... Нигде не встречал я такого... Эти мысли грызли меня и днем в поле, и ночью в шатре, хотя старался я не показывать вида. «Ну ладно, — думал, — мы солдаты, тянем свою лямку... Таков наш долг, такова судьба наша! Но если бы мы хоть надеяться могли, что кровь наша оросит поля для благодарных ростков свободы. Нет! И этой надежды не оставалось. Тяжкие думы владели мною, когда мы стояли возле Подгаец, только я себя не выдавал, чтобы не подумали вы, будто гетман на поле боя викторию под сомнение ставит. „Нет у тебя людей, — думал я, — нет людей, беззаветно любящих отечество!“ И до того мне было тяжело, словно кто нож в сердце поворачивал. Помнится, было это в последний день, у Подгаец, в окопе, когда я повел вас в атаку на орду, две тысячи супротив двадцати шести, а вы все не верную смерть, на погибель свою мчались, да так весело, с посвистом, словно на свадьбу... И подумал я тогда: „А эти мои солдатики?“ И бог в одно мгновение снял камень с души, с глаз пелена спала. „Вот они, — сказал я себе, — во имя бескорыстной любви к родной своей матери гибнут; они не вступят ни в какие союзы, не пойдут на измену; из них-то и составится мое святое братство, школа, пример для подражания. Их подвиг, их товарищество нам поможет, с их помощью бедный наш народ возродится корысти и своеволия чуждый, встанет, словно лев, всему миру на удивление, великую в себе силу почуяв. Вот какое это будет братство!“

Тут пан Собеский оживился, откинул назад свою величественную, словно у римского цесаря, голову, протянул вперед руки и провозгласил:

— Боже! Не пиши на наших стенах мане, текел, фарес «*М а н е, т е к е л, ф а р е с* — подсчитано, взвешено, измерено (по-арамей-

ски).», позволь мне возродить отечество!

Наступило молчание.

Маленький рыцарь сидел потупясь и чуял, как дрожь пробегает по его телу.

А гетман, все меривший покои шагами, наконец остановился перед ним.

— Примеры надобны, — говорил он, — каждый день надобны примеры, да такие, чтобы зажигали сердца, Володыёвский! Ты для меня в первых рядах этого братства. Хочешь ли породниться с нами?

Маленький рыцарь вскочил и обнял гетману колени.

— Вот! — воскликнул он с волнением. — Вот что я скажу! Услышав, что снова мне ехать нужно, почуял я обиду, полагая, что время мое отныне принадлежит скорби, а теперь вижу, что грешен, каюсь и говорить не могу от стыда...

Гетман молча прижал его к сердцу.

— Горсточка нас, — сказал он, — но другие пойдут вслед за нами.

— Когда ехать надобно? — спросил маленький рыцарь. — Я могу и до самого Крыма добраться, мне не впервой.

— Нет, — сказал гетман. — В Крым я Рущица пошлю. У него там побратимы да и тезки найдутся, вроде и братья двоюродные, их еще в детстве орда утнала, а потом они в басурманскую веру перешли, прославились и в больших чинах ныне. Они ему послужат верой и правдой, а ты здесь в степях пригодишься, другого такого наездника во вражеский стан не найти.

— Когда ехать прикажете? — повторил маленький рыцарь.

— Полагаю, недели через две, не позднее. Нужно мне еще с паном коронным подканцлером да с паном подскарбием побеседовать, письма да указы Рущицу приготовить. Но смотри, будь наготове, не мешкай.

— К утру готов буду!

— Бог вознаградит тебя за усердие, да только дело не столь спешное. Поедешь ненадолго; ежели только война не начнется, на время избрания и коронации ты мне в Варшаве нужен будешь. Какие слухи ходят о претендентах? О чем поговаривает шляхта?

— Я из монастыря недавно вышел, а там, вестимо, о мирских делах не помышляют. Знаю лишь то, о чем мне пан Заглоба поведал.

— Верно. Стоит расспросить и его. Почтенный муж, шляхта его ценит. А твои помыслы о ком?

— Пока не ведаю, но полагаю, доблестный муж нам нужен, вояка отменный.

— О, да, да! Вот и я думаю о таком, чтобы одно имя его соседей как гром поражало. О доблестном муже, о таком, как Стефан Баторий. Ну, будь здоров, солдатик!.. Доблестный воин нам нужен! Всем свои слова повторяй! Будь здоров!.. Бог тебя за твое усердие не забудет!

Пан Михал простился и вышел. Всю дорогу он провел в размышлениях. Наш солдат радовался тому, что впереди у него еще неделя-другая, сердце его тешили добро и участие, что дарила ему Кшися Дрогоёвская. Радовался он и тому, что при избрании короля присутствовать будет, словом, возвращался он домой веселый, позабыв о прежних печалях... Да и сами степи имели для него свое очарование, и он, того не ведая, по ним тосковал. Так привык он к этим просторам без конца и края, где всадник на коне парит над землей подобно птице.

— Ну что же, — говорил он себе, — поеду, поеду в эти бескрайние поля и степи, к давним заставам и старым могилам, старой жизни заново изведу, буду с солдатами в походы ходить, рубежи наши вместе с журавлями охранять, весной силы вместе с травами набирать, поеду, поеду!

Он пришпорил коня и помчался во всю прыть, потому что давно уже соскучился по быстрой езде и свисту ветра в ушах. День выдался сухой и ясный. Смерзшийся снег покрыл землю и скрипел под копытами скакуна. Комья обледенелой земли разлетались во все стороны. Пан Володыёвский мчал так, что челядинец, у которого конь был поплоше, остался далеко позади.

День клонился к вечеру, на небе светились зори, бросая фиолетовый отблеск на заснеженные поля. На румянном небе показались первые мерцающие звезды и поднялся месяц — серебряный серп. Пусто было на дороге, и лишь иногда обгонял рыцарь какую-нибудь колымагу и мчался дальше и, только увидев вдали двор Кетлинга, попридержал коня и дал слуге себя догнать.

Неожиданно вдали показалась стройная женская фигурка.

Навстречу рыцарю шла Кшися Дрогоёвская.

Пан Михал тотчас же соскочил с коня и передал его слуге, а сам подбежал к девушке, удивленный, но еще больше обрадованный тем, что ее видит.

— Солдаты говорят, — сказал он, — что на вечерней зорьке можно с духами повстречаться, они порой добрым, а порою и злым предзнаменованием служат, но для меня нет лучшего знака, чем встреча с вами.

— Пан Нововейский приехал, — отвечала Кшися, — тетушка с Басей его занимают, а я нарочно вышла вас встретить, сударь, сердце мое беспокойно было, все время думала я о том, что же сказал вам пан гетман.

Искренность этих слов тронула маленького рыцаря безмерно.

— Неужто и впрямь вы обо мне вспоминали? — спросил он и поднял на панну Кшисю взгляд.

— Да, — низким голосом отвечала панна Кшися.

Володыёвский не сводил с нее глаз. Никогда еще не казалась она ему такой красивой. На голове у нее была атласная шапочка, и белый лебяжий пух оттенял бледное, озаренное мягким светом месяца лицо, так что видна была и благородная линия бровей, и опущенные долу ресницы, и едва заметный пушок над губою. Каждая черта ее дышала добротой и спокойствием.

Пан Михал чувствовал что-то дружеское и глубоко родственное во всем ее облике.

— Если бы не слуга, я бы тут на снегу пал ниц перед вами, — сказал он.

— Не говори мне, сударь, таких слов, — отвечала Кшися, — я их недостойна, скажи лишь, что останешься, чтобы и впредь я могла тебя в час печали утешить.

— Нет, я еду! — отвечал пан Володыёвский.

Кшися замерла на месте:

— Быть того не может!

— Солдатская служба! На Русь еду! В Дикое Поле.

— Солдатская служба... — повторила Кшися.

Умолкла и быстрым шагом поспешила к дому. Пан Михал шел возле нее, чуть смущенный. Грустно ему было, не по себе и неловко. Он хотел что-то ответить, но разговор не клеился. И все же ему казалось, что они должны объясниться, именно сейчас, наедине, без свидетелей. «Только бы начать, — подумал он, — а там уж пойдет...»

И ни с того ни с сего спросил:

— Пан Нововейский давно приехал?

— Недавно, — отвечала Кшися, и разговор опять оборвался,

«Не надо так начинать, — подумал пан Володыёвский, — эдак никогда ничего путного не скажешь. Должно быть, от тоски я последней крупницы разума лишился». И так некоторое время он шел молча, только усы у него топорщились все больше и больше.

Наконец возле самого дома он остановился и сказал:

— Видишь ли, сударыня, если я столько лет своим счастьем жертвовал ради отчизны, как же и теперь ради нее утехами своими не поступиться?

Володыёвскому казалось, что столь простой аргумент должен тотчас убедить Кшисю, но она, помедлив, ответила с мягкой грустью:

— Чем больше пана Михала узнаешь, тем больше чтишь его и ценишь...

Сказав это, она вошла в дом. Уже в сенях долетели до них Басины возгласы: «Алла! Алла!»

В гостиной они увидели Нововейского, который, согнувшись в три погибели, с платком на глазах, шарил по всей комнате, пытаясь поймать Басю, а она с возгласом «Алла» увертывалась от него. Пани Маковецкая у окна беседовала с паном Заглобой.

Но с их приходом все изменилось. Нововейский снял с глаз платок и подбежал к пану Михалу здороваться. Подскочила и запыхавшаяся Бася, а там уж и сестра с паном Заглобой.

— Так что там? Говори же! Что сказал пан гетман? — начались расспросы.

— Дорогая сестра, — отвечал Володыёвский, — коли хочешь передать мужу весточку, пользуйся оказией, на Русь еду!

— Уже посылают! Ради всех святых, никого не слушай и не езд! — жалобно воскликнула пани Маковецкая. — Что же это такое, никакого роздыха тебе нет.

— Неужто назначение получил? — спрашивал нахмурившийся Заглоба. — Верно говорит пани благодетельница — ты у них во всякой бочке затычка.

— Рущиц в Крым едет, я у него хоругвь принимаю, вот и пан Нововейский сказывал, что весной все дороги от людей черными станут.

— Неужто и впрямь одним нам суждено будто псам дворовым отбrehиваться, Речь Посполитую от татей охраняя! — воскликнул Заглоба. — Другие даже не знают, из какого конца мушкета стрелять, а мы никогда покоя не ведаем!

— Полно! Это дело решенное! — отвечал пан Володыёвский. — Служба есть сдужба! Я слово пану гетману дал, что воевать буду, а позднее ли, раньше ли — не все ли равно.

Тут пан Володыёвский, подняв указательный палец вверх повторил тот же довод, что и в разговоре с Кшисей:

— Видите ли, друзья любезные, коли уж я столько лет от счастья бежал, то какими глазами буду сейчас на вас глядеть, ратную службу на милый досуг меняя?

На это никто ему не ответил, только Бася подошла к нему, нахмурившись, надув губки, словно обиженный ребенок, и сказала:

— Жалко пана Михала!

А Володыёвский весело рассмеялся.

— Дай бог тебе счастья. Ведь ты еще вчера говорила, чтолюбишь меня, как татарина!

— Вот еще! Как татарина! Не говорила я такого! Вы, сударь, там на татарах душу отведете, а нам без вас здесь скучать придется.

— Угомонись, гайдучок! (Прости, что я так тебя зову, но только ужас как идет тебе это прозвище.) Пан гетман сказывал, что отлучка моя будет недолгой. Через неделю или две отправлюсь в путь, а к избранию и коронации непременно должен поспеть в Варшаву. Сам гетман этого пожелал, и быть посему, даже если Рущиц из Крыма к маю не вернется.

— Вот и отлично!

— Эх, была не была, послужу и я у пана полковника под началом, — сказал пан Нововейский, быстро взглянув на Басю.

А она в ответ:

— Губа не дура! С паном Михалом служить всякий рад. Езжай, езжай, сударь! Пану Михалу веселей будет!

Молодец только вздохнул, провел широкой ладонью по пышным волосам своим и вдруг вытянул вперед руки, будто играя в жмурки, и закричал:

— Но сначала я панну Барбару поймаю, ей-ей, поймаю!

— Алла! Алла! — звонко воскликнула Бася.

Тем временем к Володыёвскому подошла Кшися. Просветлевшее лицо ее было исполнено тихой радости.

— Ах, злой, нехороший пан Михал! К Басе добрый, а ко мне злой.

— Я злой? К одной только Басе добрый? — с удивлением переспросил рыцарь.

— Басе пан Михал сказал, что скоро вернется, а кабы я это знала, не приняла бы отъезд так близко к сердцу!

— Ненагляд... — воскликнул было пан Михал, но тут же умерил пыл: — Друг мой дорогой! Сам не помню, что я наговорил, совсем, видно, голову потерял!

ГЛАВА IX

Пан Михал понемножку стал собираться в дорогу, при этом он по-прежнему давал уроки Басе, которую полюбил от души, и ходил на уединенные прогулки с Кшисей Дрогоёвской, ища у нее утешенья. Казалось, он находил его, потому что день ото дня становился все веселее и по вечерам даже принимал участие в играх Баси с паном Нововейским.

Этот достойный юноша стал частым гостем в доме Кетлинга. Он приезжал с утра или тотчас после обеда и сиживал до позднего вечера. Все любили его, радовались его приезду, и очень скоро он стал в доме своим человеком. Сопровождал хозяйку с племянницами в Варшаву, делал для них покупки в галантерейных лавках, а вечерами с азартом играл с девицами в жмурки, повторяя, что до отъезда непременно должен изловить ускользавшую от него Басю.

Но она всегда увертывалась, хотя пан Заглоба и говорил:

— Все равно тебя кто-нибудь да поймает, не этот, так другой!

Но не было сомнений, что поймать ее хочет именно этот. Даже и гайдучку это было ясно, и она порой сидела задумавшись и опустив голову, так что светлые вихры ее свисали на лоб.

Пану Заглобе, по известным ему одному причинам, это пришлось не по вкусу, и как-то вечером, когда все уже разошлись, он постучался к маленькому рыцарю.

— Ох жаль, опять придется нам расставаться, — сказал он, — вот и сюда я пришел на тебя лишний разок глянуть... Бог знает, свидимся ли!

— На избрание и коронацию непременно приеду, — ответил, обнимая его, Володыёвский, — на то и причина есть: пану гетману надобно собрать людей, шляхтой почитаемых, дабы они ее на верный путь направили, избранника наидостойнейшего показали. А я, спасибо всевышнему, свое доброе имя сберег, а посему гетман и меня зовет на помощь. И на тебя, ваша милость, надеется.

— Ого! Большим неводом рыбу ловит. Но только сдается мне, что хоть тощим меня не назовешь, а все же как-нибудь я оттуда да выскользну. За француза голосовать не желаю.

— Почему же?

— Потому что это *absolutum dominium* «Абсолютную власть (лат.).» означало бы.

— Но ведь Конде, как и любой другой, на верность конституции присягнуть должен, а полководец он отменный, во многих баталиях прославлен.

— Слава тебе господи, искать короля во Франции нам ни к чему. И великий гетман Собеский ни в чем Конде не уступит. Примечай, Михал, французы, точно как и шведы, в чулках ходят, стало быть, как и они, чуть что — изменить присяге готовы. Carolus Gustavus готов был каждый час присягу давать. Для них это все равно, что чарку вина выпить. У кого ни чести, ни совести, тому присяга не помеха.

— Но ведь Речь Посполитая в защите нуждается! Вот если бы князь Иеремия Вишневецкий был жив! Мы бы его unanimitate «Единогласно (лат.).» королем избрали.

— Жив сын князя, его плоть и кровь!

— Все так, да только нет в нем отцовского полета! Смотреть на него и то жалость берет, потому что он больше на слугу, чем на ясновельможного князя, походит. Если бы хоть времена сейчас другие были! Главная забота ныне — благо отчизны. И Скшетуский тебе точно то же повторит. Что пан гетман делать будет, то и я за ним вослед, потому что в его преданность отчизне, как в Евангелие, верю.

— Полно! Об этом ты подумать успеешь. Одно плохо что уезжать тебе надобно.

— А вы, сударь, что делать намерены?

— К Скшетуским вернусь. Сорванцы его частенько меня допекают, но без них скучно.

— Если после коронации война начнется, Скшетуский выступит. Да кто знает, может, и вы, сударь, разохотитесь. Вместе будем на Руси воевать. Сколько мы там всего повидали и дурного, и хорошего!

— Правда! Истинная правда! Там прошли наши лучшие годы. А порой хочется поглядеть на те края — нашей славы свидетелей.

— Так поедem, ваша милость, со мной. Веселее вместе будет, а месяцев через пять, глядишь, снова к Кетлингу вернемся. И он к тому времени приедет, и Скшетуские...

— Нет, Михал, сейчас не время, но слово даю, если ты на Руси подходящую барышню с приданным подыщешь, я тебя провожу и на торжествах буду всенепременно.

Володыёвский смутился немного, но тут же возразил:

— Я о женитьбе не помышляю. Моя служба — лучшее тому доказательство.

— Вот это меня и тревожит, день и ночь покою не дает, я все надеялся, думал, не одна, так другая по душе тебе придется. Помилосердствуй, Михал, суди сам, где и когда сыщется такой случай. Помни, придет время, и ты сам себе скажешь: всяк жену и деток имеет, только я, сирота, один, словно дуб в чистом поле. И обидно тебе станет, и горько. Если бы ты со своей бедняжкой обвин-

чатся успел и она бы тебе деток оставила; ну ладно, быть посему! Чувствам твоим было бы приложение и в старости надежда и утеха, ведь не за горами время, когда тщетно будешь искать ты близкую душу и в тоске великой вопрошать себя станешь: уж не на чужбине ли я живу?

Володыёвский молчал, взвешивая его слова, а пан Заглоба снова заговорил, хитро на маленького рыцаря поглядывая:

— И умом и сердцем выбрал я для тебя нашего розовощекого гайдучка, потому что *primo*: это не девка, а золото, *secundo*: таких ядреных солдат, каких вы бы на свет произвели, на земле еще не бывало...

— Да, она огонь. Впрочем, сдается мне, пан Нововейский не прочь возле него погреться.

— То-то и оно! Сегодня она тебе предпочтение отдает, потому что влюблена в твою славу, но если ты уедешь, а он здесь останется, а он, шельма, останется наверняка, уж это я точно знаю, ведь сейчас не война, и неизвестно...

— Баська огонь! Пусть идет за Нововейского, от души ему желаю, он малый славный.

— Михал, брат! — воздев руки к небу, воскликнул Заглоба. — Сжался, подумай только, какие это были бы солдаты.

— Знал я двух братьев из семейства Баль, матушка их в девичестве Дрогоёвская, и тоже оба солдаты были отменные, — просто-душно отвечал маленький рыцарь.

— Ага! Вот я тебя и поймал! Стало быть, вон куда метишь? — воскликнул Заглоба.

Володыёвский смешался до крайности. Стараясь скрыть смущение, он долго подкручивал ус и наконец сказал:

— О чем ты говоришь, сударь? Я никуда не мечу, но, когда я Басю с ее мальчишескими выходками вижу, мне тотчас же приходит на ум Кшися — женских добродетелей кладезь. Говоришь об одной, и невольно вспоминаешь другую, ведь они неразлучны.

— Ладно, ладно! Да благословит вас господь — тебя и Кшисю, хотя клянусь, будь я моложе, насмерть бы в Басю влюбился. Если и война случится, такую жену можно не оставлять дома, а с собой в поход взять. Она и в шатре тебя согреет, а коли придется, то и одной рукой из пистолета палить сумеет. А уж честная, порядочная! Ах, гайдучок ты мой милый, не поняли тебя и черной неблагодарностью отплатили, но уж я, кабы скинуть мне эдак годков двадцать — тридцать, уж я знал бы — кому в моем доме быть хозяйкой!

— Басиных достоинств я не умаляю!

— Но ведь ей ко всем ее достоинствам еще и муж нужен! Вот о чем речь! А ты предпочел Кшисю!

— Кшися мне друг.

— Друг, а не подруга? Уже не потому ли, что у нее усы? Я — твой друг, Скшетуский, Кетлинг. Тебе не друг, а подруга нужна. Скажи это себе ясно, не напускай тумана. Больше всего на свете бойся друга из хитроумного женского племени, даже если у него усики: или он тебя предаст, или ты его. Черт не дремлет и всегда рад встрять меж такими друзьями. Примером тому Адам и Ева, кои до того дружны были, что Адаму дружба эта поперек горла стала.

— Сударь, не смейте оскорблять Кшисю! Этого я не потерплю!

— Да бог с ней, он ее добродетелей свидетель! По мне, так лучше гайдучка не сыщешь! Но и Кшися девка хоть куда! Я и не думал ее оскорблять, но только одно скажу: когда ты с ней рядом, у тебя так горят щеки, словно тебя кто щиплет, и усы шевелятся, и на голове хохолок торчит, ты и сопишь, и каблучками постукиваешь, и дышишь тяжело, с ноги на ногу переступаешь, словно нетерпеливый конь, а это все страстей верные *signa* «*Приметы (лат.)*». Болтай кому хочешь, что это дружба, у меня свои глаза есть.

— Видят то, чего нет и в помине...

— Ах, если бы я заблуждался! Если бы ты о моем гайдучке помышлял! Покойной ночи, Михал! Гайдучка бери в жены, гайдучка! Гайдучок всех краше! Бери, бери гайдучка!..

Сказав это, пан Заглоба встал и вышел из комнаты.

Пан Михал всю ночь ворочался с боку на бок, не мог уснуть, мысли разные ему покоя не давали. Все ему чудилось лицо панны Дрогоёвской, ее глаза с длинными ресницами, пушок над верхней губой. Иногда нападала на него дремота, но видения не отступали. Просыпаясь, он думал о словах Заглобы и о том, как редко изменял этому человеку здравый смысл. Иногда в полусне мелькало перед ним румяное личико Баси, и он вздыхал с облегчением, но потом Басю вытесняла Кшися. Повернется бедный рыцарь лицом к стене и видит ее глаза; повернется на другой бок во тьме ночной, и снова перед ним ее глаза, а во взоре томность и словно бы надежда на что-то. Иногда ресницы опускались, как бы говоря: «Да будет воля твоя»! Пан Михал даже приподнимался впотьмах и начинал креститься.

Под утро сон совсем оставил его. Тяжко, грустно ему стало. Совесть его замучила, горько упрекал он себя, что не ту, давнюю, любимую, перед собою видит, а душа и сердце его полны живою. Показалось ему, что совершил он тяжкий грех, забыв о покойной, и, вострепнувшись, в потемках выскочил из постели и начал читать молитвы.

Помолившись, приложил палец ко лбу и сказал:

— Надо ехать, да поскорее, а про дружбу эту забудь, пан Заглоба дело говорит...

Повеселев и успокоившись, пан Михал сошел вниз к завтраку. После завтрака он занялся фехтованием с Басей и, глядя, как она машет сабелькой, раздувает ноздри и дышит прерывисто, невольно залюбовался ею.

Пан Михал избегал Кшисю, а она, заметив это, глядела на него изумленными глазами. Но он старался избегать даже ее взгляда. Сердце у Михала обливало кровью, но он держался. После обеда пан Михал вместе с Басей направился во флигель, где у Кетлинга был еще один оружейный склад. Показывал Басе всевозможные сабли и мечи да ружья с хитрым устройством. Вместе с ней стрелял в цель из астраханских луков.

Бася радовалась и резвилась как дитя, пока не вмешалась тет-ка.

Так прошел второй день. На третий Володыёвский вместе с Заглобой поехали в Варшаву, во дворец Даниловичей, узнать про отъезд, а вернувшись, вечером за ужином пан Михал объявил дамам, что едет через неделю.

Сказал это словно бы между прочим — невзначай и весело. На Кшисю даже не глянул.

Девушка всполошилась, заговорила с ним, он был приветлив, учтив, но не отходил от Баси.

Заглоба, полагая, что пан Михал внял его словам, потирал от радости руки. Но от острого его взора не могла укрыться Кшисина печаль.

«Вон как ее разобрало! — думал он. — Ну да ничего! Такова уж их женская натура. А Михал-то каков! В другую сторону повернул быстрее, чем ждали. Ох и лихой малый, вихрь, огонь, таким был и таким будет!»

Но сердце у Заглобы было доброе, и вскоре ему стало искренне жаль Кшисю. «Directe *«Прямо (лат.)»* не скажу ничего, — подумал он, — но непременно нужно ей утешение придумать».

И, зная, что седины оградят его от кривотолков, он после ужина подсел к девушке и ласково провел рукой по черным шелковистым ее волосам. А она сидела неподвижно, устремив на него взгляд своих добрых глаз, чуть удивленная, но признательная.

Вечером у дверей, ведущих в комнату Володыёвского, Заглоба слегка толкнул его локтем в бок.

— Ну что? — сказал он. — Каков наш гайдучок?

— Атаман! — отвечал Володыёвский. — Все вверх дном перевернет. Одна четверых стоит. Ей бы полком командовать!

— Полком, говоришь?! Ну да, вместе с тобой, а там, глядишь, вашего полку бы и прибыло... Покойной ночи! Кто их разберет,

этих женщин? Когда ты на Баську поглядывать стал, видел, как Кшися убивалась?

— Не видел!.. — отвечал маленький рыцарь.

— Ее как будто подменили!

— Покойной ночи! — повторил Володыёвский и закрыл дверь.

Полагаясь на удачу маленького рыцаря, пан Заглоба, пожалуй, просчитался и вообще сделал ложный шаг, рассказав ему о Кшисе. Пан Михал растрогался чуть не до слез.

— Вот как я отплатил ей за доброту, за то, что она меня как сестра в часы грусти утешала... — говорил он себе. — А впрочем, чем же я провинился? — продолжал он, подумав немного. — Что сделал? Избегал ее целых три дня, а это и не политично, пожалуй! Обидел горlinkу, это небесное создание. За то, что она мои vulnera «Раны (лат.)» исцелить хотела, я ей черной неблагодарностью отплатил. Если бы я хоть знал меру и, чувства скрывая, не избегал ее, но нет, не хватает у меня ума на такие тонкости.

И зол был на себя пан Михал, а вместе с тем великое сострадание пробудилось в его груди.

И невольно Кшися казалась ему теперь бедным, обиженным созданием. С каждым мгновением он упрекал себя все больше.

— Экий я barbarus, однако, экий barbarus, — повторял он.

И Кшися снова вытеснила Басю из его сердца.

— Пусть кто хочет женится на этой попрыгунье, на этой трещотке, этой вертихвостке! — говорил он себе. — Нововейский или сам дьявол — мне все едино!

Ни в чем не повинная Бася вызывала у него теперь злость и досаду, и ни разу ему не пришло в голову, что злостью своей он обижает ее куда больше, чем притворным равнодушием Кшисю.

Кшися женским умом своим тотчас почувствовала смятение пана Михала. Ей и обидно, и горестно было, что маленький рыцарь ее избегает, и все же она понимала, что одна чаша должна перевесить — судьба сведет их еще ближе или разведет навсегда.

При мысли о скором отъезде пана Михала она все больше тревожилась. В сердце девушки не было любви. Она ее еще не знала. Но была исполнена великой готовности любить.

А впрочем, быть может, пан Михал слегка и вскружил ей голову. Он был в зените славы, его называли лучшим солдатом Речи Посполитой. Знатные рыцари произносили с почтением его имя. Сестра превозносила до небес ее благородство, несчастье придавало ему таинственность, к тому же, живя с ним под одной крышей, девушка и сама не могла не оценить его достоинств.

Кшисе нравилось быть любимой, такова была ее натура; и когда в эти последние перед отъездом дни пан Михал вдруг сделался к ней холоден, она была уязвлена, но благоразумно решила не

дуться и добротой вновь завоевать его сердце.

Это оказалось совсем не трудно: на другой день Михал ходил с виноватым видом и не только не избегал Кшисиного взгляда, а словно хотел сказать: «Вчера я не замечал тебя, а сегодня готов просить прощения».

И бросал на нее такие красноречивые взгляды, что к лицу ее прилиwała кровь и душу томило предчувствие, что непременно случится что-то важное. Все к тому и шло. После обеда пани Маковецкая вместе с Басей отправились навестить Басину родственницу, супругу львовского подкомория, что гостила в Варшаве, а Кшися, сославшись на головную боль, осталась дома: ее разбирало любопытство, что-то они с паном Михалом скажут друг другу, когда останутся наедине.

Пан Заглоба тоже сидел дома, но он любил после обеда соснуть часок-другой, говоря, что дневной сон освежает и располагает к вечернему веселью. Побалагурив часок, он ушел к себе. Кшисино сердце забилося тревожней.

Но какое же ждало ее разочарование! Михал вскочил и вышел с ним вместе.

«Полно, скоро вернется», — подумала Кшися.

И, натянув на маленькие круглые пальцы шапку, подарок Михалу на дорогу, стала золотом вышивать ее.

Но, впрочем, она то и дело поднимала голову и поглядывала на гданьские часы, что стояли в углу гостиной и важно тикали.

Прошел час, другой, а рыцаря не было.

Панна положила пальцы на колени и, скрестив руки, заметила вполголоса:

— Робеет, но, пока с силами соберется, наши, того и гляди, нагрянут, так мы ничего друг другу и не скажем. А то и пан Заглоба проснется.

В эту минуту ей и впрямь казалось, что они должны тотчас объясниться, а Володыёвский все медлит, и объяснение может не состояться. Но вот за стеной послышались шаги.

— Он тут недалече, — сказала панна и снова с усердием склонилась над вышивкой.

Володыёвский и в самом деле был за стеною, в соседней комнате, но войти не смел, а тем временем солнце побагровело и стало клониться к закату.

— Пан Михал! — окликнула его наконец Кшися.

Рыцарь вошел и застал Кшисю за вышиваньем.

— Вы звали меня, сударыня?

— Подумала, не чужой ли кто бродит? Вот уже два часа, как я здесь одна.

Володыёвский придвинул стул поближе и уселся на краешек.

Прошла еще минута, показавшаяся вечностью; Володыёвский молчал и шаркал ногами от волнения, пряча их под стул, да усы у него вздрагивали. Кшися отложила шитье и подняла на него глаза; они глянули друг на друга и в смущении потупились...

Когда Володыёвский снова взглянул на Кшисю, лицо ее освещало заходящее солнце, и она была чудо как хороша. Завитки ее волос отливали золотом.

— Покидаете нас, сударь? — тихо спросила она Михала.

— Что делать?!

И снова наступило молчание, которое нарушила Кшися.

— Я уж думала, вы сердитесь на меня, — тихонько сказала она.

— Жизнью клянусь, нет! — воскликнул Володыёвский. — Коли так, я бы и взгляда вашего не стоил. Но клянусь, не было этого!

— А что было? — спросила Кшися, подняв от шитья взгляд.

— Вы знаете, сударыня, я всегда правду говорю, любой выдумке ее предпочитаю. Но каким утешеньем были для меня ваши слова — этого выразить не сумею.

— Дай бог, чтобы всегда так было, — сказала Кшися, сплетая руки на пальцах.

— Дай бог! Дай бог! — отвечал пан Михал с грустью. — Но пан Заглоба... как на духу говорю вам, сударыня... пан Заглоба сказывал, что дружба с лукавым племенем многие опасности таит. Она подобна жару в печи, что лишь подернут золою, вот я и поверил в опытность пана Заглобы, и — ах, прости, сударыня, простака солдата, кто-нибудь наверное поискусней бы фортель придумал, а я... я пренебрегал тобою, хотя и сердце истекало кровью, и жизнь не мила...

Сказав это, пан Михал зашевелил усиками с такой быстротою, какая и жуку недоступна.

Кшися опустила голову, и две крохотные слезинки одна за другой скатились по ее щекам.

— Коли вам, сударь, так покойнее, коли родственные мои чувства для вас помеха, я их от вас скрою.

И еще две слезинки, а за ними и третья блеснули в ее взоре.

Но этого зрелища пан Михал не мог вынести. В мгновение ока он оказался возле Кшиси и взял ее руки в свои. Пальцы покатались с колен на середину комнаты; рыцарь не обращал на это никакого внимания; он прижал к губам теплые, нежные, бархатистые руки и повторял:

— Не плачь, душенька! Умоляю, не плачь!

Она обхватила руками голову, как это бывает в минуты смущения, но он все равно осыпал их поцелуями, пока живое тепло ее лба и волос окончательно не лишило его рассудка.

Он сам не заметил, как и когда губы его дотронулись до ее лба, и стал целовать его все горячее, а потом коснулся заплаканных глаз, и тут голова у него пошла кругом, он прикоснулся к нежному пушку над ее губами, и уста их соединились в долгом поцелуе. В комнате стало совсем тихо, только часы по-прежнему важно тикали.

Неожиданно в передней послышался топот ног и звонкий голос Баси.

— Ох мороз! Ну и мороз! — повторяла она.

Володыёвский отскочил от Кшиси, словно испуганный тигр от жертвы, и в ту же минуту в комнату ворвалась Бася:

— Ох мороз! Ну и мороз!!!

И вдруг споткнулась о лежавшие посреди комнаты пальцы. Остановилась и, с удивлением поглядывая то на пальцы, то на Кшисю, сказала:

— Что это? Это вы вместо снаряда друг в дружку кидали?

— А где тетушка? — спросила панна Дрогоёвская, стараясь унять волнение в груди и говорить как можно спокойнее и натуральнее.

— Тетушка из саней выбирают, — тоже изменившимся голосом отвечала Бася.

Подвижные ее ноздри раздувались. Она еще раз глянула на Кшисю, на пана Володыёвского, который за это время успел поднять пальцы, повернулась и выбежала.

Но в эту минуту в гостиную величественно вошла пани Маковецкая, сверху спустился пан Заглоба, и они повели разговор о супруге львовского подкомория.

— Я не знала, что кума пану Нововейскому крестной матерью доводится, — говорила тетушка, — да он, должно быть, открылся ей во всем. Басе покою не давала — все о нем да о нем.

— Ну а Бася что? — спросил Заглоба.

— А что там Бася! Как об стенку горох. Говорит: «У него нет усов, у меня разума, поглядим, кто скорей своего дождется».

— Знаю, за словом в карман она не полезет, но что там у нее на уме? Ох и хитрое племя!

— У Баськи что на уме, то и на языке. А впрочем, я вашей милости говорила, не почуяла она еще божьей воли. Кшися — статья особая.

— Тетенька! — неожиданно подала голос Кшися.

Но дальнейший разговор прервал слуга, объявивший, что кушать подано.

Все пошли в столовую, только Баси не было.

— А где же барышня? — спросила хозяйка слугу.

— Барышня на конюшне. Говорю ей, ужинать пора, а она в ответ: «Сейчас» — и на конюшню бегом.

— Или стряслось что? Такая веселая была! — сказала пани Маковецкая, обращаясь к Заглобе.

— Пойду приведу ее! — сказал маленький рыцарь, чувствуя укоры совести.

И поспешил на конюшню.

Бася и в самом деле была там: сидела у дверей на охапке сена. Задумалась и не заметила, как он вошел.

— Панна Барбара! — сказал маленький рыцарь, склоняясь над ней.

Бася вздрогнула, будто очнувшись, и подняла на него глаза, в которых Володыёвский, к своему великому удивлению, увидел две большие, будто жемчуг, слезы.

— О боже! Что с тобой? Ты плачешь?

— И вовсе нет! Во все нет! — вскочив, воскликнула Бася. — Это с мороза!

И рассмеялась, но смех ее звучал ненатурально.

А потом, желая отвлечь от себя внимание, показала на стойло, где стоял жеребец, подарок Володыёвскому от гетмана.

— Ты говоришь, сударь, что к этому коню и подойти нельзя? А ну поглядим!

И прежде чем Михал успел ее остановить, вошла в стойло. Жеребец тут же взвился на дыбы, забил копытами, прижал уши.

— О боже! Да он убьет тебя, панна Бася! — воскликнул Володыёвский, вбегая вслед за ней в стойло.

Но Бася бесстрашно хлопала коня по холке, повторяя:

— Ну и пусть! Пусть! Пусть убьет!

А конь, повернув к ней морду с дымящимися ноздрями, тихонько ржал, будто радуясь ласке.

ГЛАВА X

Всю ночь Володыёвский не сомкнул глаз, все прежние страдания казались ему ничтожными. Он корил себя за измену умершей, память о которой так чтил, и за то, что дурно поступил с живою, вселил в ее душу надежды, злоупотребил дружбой, поступил как человек без чести и совести. Другой и думать забыл бы о поцелуе, ну, может, вспомнил бы эту историю, лихо покручивая ус; но пан Володыёвский, как всякий человек, потерпевший в жизни крушение, после смерти Ануси сделался очень щепетилен. Что ему было делать? Как поступить?

До его отъезда, который сразу положил бы всему конец, оставалось несколько дней. Но как уехать, не сказав ни слова Кшисе, бросить ее, после всего, что было, как бросают простую девку? При одной только мысли об этом его отважное сердце бунтовало. Но все же и теперь, в минуты смятения, стоило пану Михалу вспомнить про поцелуи, он испытывал ни с чем не сравнимое блаженство.

Он и злился, и досадовал на себя, но противиться этому дурману, этому наваждению не мог. Впрочем, во всем винил он себя одного.

— Это я сбил Кшисю с толку, я ее взбаламутил, — повторял он с болью и горечью, — и негоже мне уезжать, не объяснившись. Как же быть? Сделать предложение и уехать женихом?

И тут подобно светлomu облачку вся в белом явилась перед ним Ануса, какой он видел ее в последний раз, на смертном одре.

«Столько-то уж я заслужила, — говорила ему тень, — чтобы ты жалел меня и помнил. Ты хотел стать монахом, всю жизнь по мне плакать, и вот не успела душа моя достичь врат небесных, нашел другую. Ах, подожди! Дай бедной душе моей попасть на небо, и тогда я на землю глядеть перестану...»

Рыцарю казалось, что он клятвопреступник, что обманул он эту светлую душу, память о которой нужно было бы чтить и хранить как святыню. И тоска его разбирала, и стыд, и к себе презрение. Умереть ему хотелось.

— Ануся! — восклицал он, стоя на коленях. — Я по тебе до самой смерти плакать не перестану, но что же мне теперь делать?

Тень не отвечала ему, улетаая облаком небесным, а вместо нее рыцарю представлялась вдруг Кшися, ее глаза, ее рот с пушком над верхнею губою, и он, словно от татарских стрел, отмахивался от искушенья. Впрочем, с искушением он бы совладал, но совесть говорила ему: «Скверно, брат, будет, коли ты теперь уедешь, ввергнув в соблазн чистую душу».

Тревога, отчаянье, сомненья преследовали бедного рыцаря по пятам. Веря в житейскую мудрость пана Заглобы, он думал было пойти к нему за советом, во всем ему признаться. Ведь кто как не он видел все наперед и заранее говорил — бойся дружбы с этим лукавым племенем! Но, впрочем, именно поэтому пан Михал и не решился подойти к Заглобе. Вспомнил он, как сам, вспыхнув, крикнул: «Не оскорбляй, сударь, Кшисю!» И кто же ее оскорбил? Кто размышлял теперь, не оставить ли ее, словно простую девку, не уехать ли подобру-поздорову!

— Если бы не память о бедняжке-покойнице, я и не думал бы убиваться, — говорил себе маленький рыцарь, — не горевал бы, а радовался, что удалось мне эдаких неприятностей отведать. — И через минуту добавил: — И еще раз отведать бы не отказался.

Заметив, однако, что соблазн снова взял верх, и пытаясь от него отмахнуться, сказал себе: «Коли я однажды поступил как человек, что боле всего на Купидона уповаешь, быть посему, завтра же объяснюсь и предложение сделаю».

Он вздохнул и продолжал рассуждать так: «Сей поступок и вчерашнюю мою вольность сгладит, благородство ей придав, а завтра я смогу себе и новые позво...»

Тут он ударил себя ладонью по губам:

— Тьфу! Никак, целая орда бесов-искусителей мне за шиворот забралась!

Но от мысли о помолвке больше не отказывался, утешаясь тем, что заупокойными мессами замолит перед Анусей свою вину, дав ей знать, что по-прежнему ее чтит и не устает за нее молиться.

Впрочем, если и пойдут какие толки да пересуды, что вот, мол, лишь две недели прошло с той поры, как он хотел постричься в монахи, а уже и влюбиться и посвататься успел, то весь позор падет лишь на него, а иначе людская молва не пощадит ни в чем не повинную Кшисю.

— Решено, завтра же делаю предложение! — сказал он себе.

С души его словно камень свалился. Прочитав на ночь «Отче наш» и горячо помолившись за упокой Анусиной души, он уснул. Утром, проснувшись, повторил:

— Сегодня же объяснюсь, всенепременно.

Но, впрочем, оказалось, что сделать это не так-то легко; пан Михал, прежде чем обнародовать свое решение, хотел потолковать с Кшисей наедине, а там что бог даст. Но как на грех с самого утра приехал пан Нововейский, и по всему дому разносился его молодой голос.

Кшися ходила как в воду опущенная, бледная, измученная, она то и дело опускала глаза, иногда вдруг заливалась румянцем, так, что даже на шее проступали пятна, губы у нее дрожали, казалось,

она вот-вот заплачет, а потом снова делалась как неживая.

Рыцарю никак не удавалось к ней подойти и, главное, остаться с глазу на глаз. Разумеется, он мог бы пригласить девушку на прогулку, утро было отменное, и прежде он бы и не раздумывал, но теперь не смел, ему казалось, что все тотчас догадаются о его намерениях.

Выручил его пан Нововейский. Он отвел в сторону тетушку и о чем-то с ней пошушукался, после чего они вернулись в гостиную, где пан Заглоба с маленьким рыцарем занимали беседой барышень, и тут тетушка сказала:

— А не прокатится ли вам на санях парочками, вон как снег искрится!

Володыёвский тут же, склонившись, прошептал Кшисе на ухо:

— Умоляю, сударыня, сесть со мной. Я столько хотел бы вам сказать!

— Хорошо, — отвечала девушка.

Рыцари мигом помчались в конюшню, Бася за ними следом, и вскоре к дому подъехали двое саней. В одни уселись Володыёвский с Кшисей, в другие — Нововейский с гайдучком. Ехали без кучеров.

А пани Маковецкая доверительно сказала Заглобе:

— Пан Нововейский просит Басиной руки.

— Неужто? — встревожился Заглоба.

— Его крестная матушка, супруга подкомория львовского, завтра приедет сюда для разговора, а пан Нововейский просил меня подготовить Басю. Он и сам понимает, коли Бася против, все хлопоты и уловки напрасны.

— И потому, сударыня, ты их в сани усадила?

— А как же. Муж мой, человек щепетильный, частенько говаривал: «Я над их имуществом опекун, но мужей пусть выбирают сами. По мне, был бы честный малый, а за богатством гнаться не след». Слава богу, они не дети, им решать!

— И что ты, сударыня, собираешься куме ответить?

— Муж мой в мае приедет: его слово последнее, но полагаю, он Басиной воле противиться не станет.

— Нововейский еще мальчишка!

— Да ведь сам Михал его хвалит, солдат, мол, отменный, в походах отличился. Наследство у него приличное, а про родословную крестная все подробно сказывала. Видишь, сударь: мать его прадеда в девичестве княжна Сеньютувна, а дед *primo voto* «*В первом браке (лат.)*» был женат...

— Что мне за дело до его родословной! — с досадой прервал ее Заглоба, — он мне ни брат ни сват, и скажу вам, почтеннейшая, я гайдучка, по совести говоря, для Михала предназначал, потому

что коли среди девок, что на двух носгах ходят, найдется хоть одна умнее и порядочнее ее, то я готов отныне аки ursus «Медведь (лат.).» на все четыре опуститься.

— Михал еще ни о чем таком не помышляет, а если и помышляет, то ему больше Кшися приглянулась... Ох, ох! На бога положиться надо, на бога, пути его неисповедимы!

— Пути путями, но если этот молокосос уберется отсюда с тыквой, напьюсь на радостях!

А тем временем в санях шли свои беседы. Пан Володыёвский долго не мог вымолвить ни слова, но наконец сказал Кшисе:

— Не думай, сударыня, что я вертопрах или обманщик какой, да и лета не те.

Кшися промолчала.

— Прости, сударыня, мне вчерашнюю мою дерзость, но всему виною мое исключительное к тебе расположение, не мог я сдержаться, дал сердцу волю... Любезный друг мой, бесценная моя Кшися! Ты знаешь, пред тобой простой человек, солдат, у которого вся жизнь на поле брани прошла... Другой бы сначала красноречие в ход пустил, а потом к действиям перешел, а я — напротив... Да что говорить, даже объезженный конь, разгорячившись, и то порой закусит удила, так как же не горячиться влюбленному, ведь разгон тут куда больше. Так и я закусил удила, позабыв обо всем, потому что мила ты моему сердцу, Кшися, любимая! Знаю, ты и каштелянов, и сенаторов достойна; но если ты готова одарить благосклонностью простого солдата, который, хоть и без больших чинов, приносил пользу отечеству немалую... то я к твоим ногам упаду, буду целовать их и спрашивать: «Нравлюсь ли я тебе? Не противен ли?»

— Пан Михал!.. — воскликнула Кшися. Пальчики ее, высунувшись из муфты, легли на его ладонь.

— Ты согласна? — спросил Володыёвский.

— Да! — отвечала Кшися. — И знаю, в целой Польше не нашлось бы человека достойнее.

— Да вознаградит тебя бог! Вознаградит тебя бог, Кшися! — говорил рыцарь, осыпая поцелуями ее руку. — Я и не думал, не надеялся, что эдакого счастья дождусь! Скажи мне, ты не сердишься за вчерашнюю дерзость, а то меня совесть замучила.

Кшися зажмурилась.

— Не сержусь! — сказала она.

— Эх, кабы мне сейчас не санями править, целовал бы я твои ножки! — воскликнул Володыёвский.

Некоторое время ехали молча, слышен был только свист полозьев на снегу да стук мерзлого снега, отлетавшего из-под копыт.

И снова слышался голос Володыёвского:

— Диво дивное, что не пренебрегла ты мною!

— Еще большее диво, — отвечала Кшися, — что ты, сударь, полюбил меня так скоро...

Тут на лицо Володыёвского набежала тень, и он сказал:

— Кшися, может, это и грех, что я, все глаза проплакав по одной, уже успел полюбить другую. Как на духу говорю, не всегда я славился постоянством. Но теперь все иначе. Покойницы, бедняжки, я не забыл и никогда не забуду, до сих пор я ее люблю, и кабы ты знала, как душа моя по ней плачет, ты бы сама заплакала надо мною...

Тут у маленького рыцаря сжалось сердце, может, поэтому он не заметил, что слова его не слишком тронули Кшисю.

И снова наступило молчание, но на сей раз первой заговорила Кшися:

— Буду стараться вас утешить, сколько сил моих хватит.

— Потому-то, видно, я и полюбил тебя, — отвечал Володыёвский, — что с первого дня ты мои раны врачуешь. Чем я был для тебя? Ничем! Но ты, в душе милосердие и жалость к бедному страдальцу имея, тотчас взялась за дело. Ах! Скольким я тебе обязан! Может, и скажет кто — в ноябре монах, а в декабре жених. Первым пан Заглоба посмеяться рад, он никогда такой оказии не упустит, ну и пусть смеется на здоровье! Мне до этого нет дела, все упреки приму на себя...

Тут Кшися подняла глаза к небу, обдумывая что-то, и наконец сказала:

— А неужто нужно о нашем уговоре людям докладывать?

— Как так?

— Вы ведь уезжаете скоро?

— Что поделаешь, такова моя доля.

— Я траур по батюшке ношу. Зачем себя выставлять на посмешище? О нашем уговоре мы знаем, а людям до вашего возвращения знать о нем нечего. Ладно?

— И сестре не говорить ничего?

— Я сама ей все скажу после отъезда вашего.

— И пану Заглобе?

— Пан Заглоба посмеялся бы надо мной, сиротой. Эх, верно, лучше помалкивать. И Бася бы мне тоже докучать стала, я и так в ней какие-то странности замечаю: то она смеется, то плачет! Нет, уж лучше помалкивать!

Тут Кшися снова возвела к небу свои темно-синие глазки:

— Бог нам свидетель, а люди пусть остаются в неведении.

— Вижу, что разум твой красоте не уступит! Решено! Бог нам свидетель, аминь! Обопрись об меня локотчком, думаю, после объяснения нашего греха в этом нет. Не бойся, вчерашней воль-

ности я не допущу — чай, лошадьми правлю!

Кшися послушалась рыцаря, а он сказал:

— Когда мы одни, по имени меня зови.

— Неловко мне, — отвечала она с улыбкой. — Никогда не решусь, наверно!

— А я решился!

— Ведь пан Михал рыцарь, пан Михал отважный, пан Михал солдат!..

— Кшися! Любимая!

— Мих...

Но закончить слово Кшися не решилась и спрятала лицо в муфту.

Обратно пан Михал с Кшисей домчали мигом, по дороге больше ни о чем не говорили, и только уже у ворот маленький рыцарь спросил еще раз:

— Скажи мне, было ли тебе грустно после вчерашнего?

— Было мне и грустно, и стыдно... Но хорошо на удивление, — добавила она чуть тише.

Они умолкли и больше не глядели друг на друга, чтобы не привлекать чужого внимания.

Но предосторожность эта была излишняя: никто и не глянул в их сторону.

Правда, и Заглоба, и пани Маковецкая выскочили навстречу приехавшим, но взгляды их были устремлены только на Басю и пана Нововейского.

У Баси не то с мороза, не то от волнения пылали щеки, а Нововейский ни на кого не глядел. Тотчас же в дверях он откланялся. Напрасно тетушка уговаривала его остаться, напрасно и сам Володыёвский, который был в отменном настроении, приглашал его отужинать — отговорившись службой, он уехал. Тетушка молча поцеловала Басю в лоб, а она тотчас ушла к себе и не вышла к ужину.

На другой день пан Заглоба, перехватив где-то Басю, спросил ее:

— Ну что, вчера пана Нововейского холодной водой окатила?

— Ага! — отвечала она, кивнув и моргая ресницами.

— Ответствуй, что ты ему сказала?

— Разговор был короткий, он рубит сплеча, но и я без хитростей — нет, говорю!

— За поступок хвалю! Дай я тебя расцелую! А он что? Так легко от тебя отказался?

— Спрашивал, не изменю ли я со временем решения. Жаль мне его, да нет, нет, не будет толку.

Тут Бася раздула ноздри и тряхнула вихрами, чуть грустно, словно задумавшись.

— Скажи мне, какие у тебя резоны? — сказал Заглоба.

— И он про это спрашивал, да только зря; ему не сказала и никому не скажу.

— А может, — промолвил Заглоба, быстро заглянув ей в глаза, — может, в сердце твоём скрытый от всех сентимент таится?

— Не сентимент, а дуля! — воскликнула Бася.

И, сорвавшись с мест, чтобы скрыть смущение, затараторила:

— Знать не хочу пана Нововейского! Знать не хочу! Никого не хочу знать!! И что тебе, ваша милость, и что всем вам до меня за дело?

Тут она расплакалась.

Пан Заглоба утешал ее, как умел, но она весь день ходила надутая и злая.

— Михал, — сказал за обедом Заглоба, — ты уедешь, а тем временем Кетлинг нагрянет, красавец писанный! Не знаю, устоят ли перед ним наши барышни, боюсь, обе будут от него без ума.

— Вот и славно! — отвечал Володыёвский. — Просватаем за него панну Басю.

Бася вдруг уставилась на него и спросила:

— А что же, сударь, ты о Кшисе так не печешься?

— Милая Бася, чары Кетлинга тебе пока неведомы, но скоро ты узнаешь их власть.

— А Кшиса не узнает? Ведь это же не я пою:

Где же укрыться

Трепетной птице,

Горлинке белоголовой?

Тут в свой черед смутилась и Кшиса, а коварная змейка ужалила снова:

— Я у пана Нововейского щит попрошу от стрел укрыться, а где найдет бедная Кшиса защиту, коли ее стрела настигнет?

Но Володыёвский, уже опомнившись, отвечал сурово:

Может, и она сумеет защититься не хуже...

— Хотела бы знать — почему?

— Да потому, что она не столь ветрена, а благоразумию и рассудительности у нее поучиться можно.

Пан Заглоба и тетушка ждали, что строптивый гайдучок тут же кинется в атаку, но, к великому их удивлению, Бася, склонив голову над тарелкой, прошептала:

— Если пан Михал сердится, то прошу прощения и у него, и у Кшиси.

ГЛАВА XI

Пану Михалу дозволено было ехать любой дорогой, какая ему глянется, и он завернул в Ченстохову, на Анусину могилу. Там выплакавшись вволю, он двинулся дальше, в плену свежих еще воспоминаний, и невольно думал, что все же тайное обручение с Кшисей было несколько преждевременно. Он смутно чувствовал: в скорби и в трауре есть нечто священное, чего нельзя касаться, пока оно само не развеется, не поднимется облачком к небу и не исчезнет в небесных высях.

Случалось, правда, что вдовцы женились через месяц или два после похорон, но они не собирались до этого постричься в монахи, да и удар не настигал их на пороге счастья столь долгожданного. Впрочем, если грубые эти души не понимали святости скорби, то стоило ли следовать их примеру?

Словом, ехал пан Володыёвский на Русь, а укоры совести спутники его были. Но, стараясь быть справедливым, он брал вину на себя, а не перекладывал бремя ее на Кшисю.

Ко всем мучившим его мыслям прибавилось еще и опасение, что и Кшися в глубине души не одобряет его поспешности.

— Сама она никогда бы не сделала этого, — говорил себе пан Михал, — а имея благородное сердце, и от других такого же благородства *desiderat!* «*Требуется (лат.).*»

При мысли, что он мог показаться ей столь ничтожным, его охватывал страх.

Впрочем, опасения пана Михала были напрасны. Кшися не разделяла его скорби, напротив, сетования эти не только не вызвали у нее сочувствия, а разжигали ревность. Неужто она, живая, уступает в чему-то умершей? Или вообще у нее так мало достоинств, что Ануся даже в гробу остается ее соперницей? Если бы пан Заглоба был посвящен в тайну, он утешил бы Михала, сказав, что женщины не слишком милосердны друг к другу.

Но, оставшись одна, панна Кшися, пожалуй, была не менее озадачена тем, что произошло, а главное, тем, что жребий брошен.

Собираясь в Варшаву, где прежде никогда не была, Кшися представляла себе все совсем иначе. Вот на сейм и коронацию съедутся епископы и вельможи, соберется весь цвет рыцарства Речи Посполитой. Сколько же там будет забав, развлечений, свиданий, и в этом водовороте непременно встретится «он», незнакомый, таинственный, являвшийся лишь во сне; непременно пылко влюбится, часами будет простаивать под окном с цитрою, устраивать в честь прекрасной дамы всевозможные кавалькады, любить,

вздыхать, хранить ленточку или платочек своей богини, украсив ими оружие, и наконец, когда все испытания будут позади, упадет к ее ногам и признается в любви.

Но ничего такого не случилось.

Радужные мечты рассеялись, перед глазами ее предстал рыцарь, прославленный в сражениях, храбрейший воин Речи Посполитой, готовый на все, но на сказочного принца не слишком, а быть может, и вовсе не похожий. Не было ни кавалькад, ни игры на цитре, ни турниров, ни соперничества, ни ленточек, украшавших оружие, ни веселого смеха рыцарей, ни забав, ничего из того, что дурманит, как сон, влечет, как чудесная сказка, радует, как птичка своими трелями, пьянит, как запах цветов, так что кружится голова, пылает лицо, стучит сердце, дрожь пробегает по телу... Увы... Тут была лишь небольшая усадьба, в усадьбе пан Михал, потом вдруг непредвиденное объяснение — и остальное пропало, померкло, как меркнет месяц на небе, когда набегут тучи... Если бы пан Михал явился позднее, может быть, он был бы желанным. Разумеется, Кшися размышляя о пане Михале, отдавала дань его славе, благородству, его мужеству, знала, что он слышит первым солдатом Речи Посполитой и одно имя его приводит врага в трепет, гордилась им, и казалось ей только, будто ее обошли, что она обманулась в своих надеждах чуть-чуть по его вине, а еще больше из-за поспешности...

Эта вот поспешность, словно зернышко песка, легла на сердце тяжестью и ему, и ей, и чем дальше они были друг от друга, тем сильнее давила. Иногда в человеческих чувствах какая-то самая незначительная помеха докучает, как укол крохотного шипа, но со временем ранка или заживает, или, наоборот, начинает кровоточить и болеть еще сильнее, даже самую большую любовь болью и горечью заправив. Но они еще ни боли, ни горечи не знали. А для пана Михала Кшися была сладким и волшебным воспоминанием, которое следовало за ним повсюду как тень.

Пан Михал думал, что чем дальше он уедет от Кшиси, тем она станет для него дороже, тем больше он будет по ней и грустить, и тосковать. Для нее время тянулось куда медленнее; после отъезда пана Михала в доме никто не бывал, и день проходил за днем в скуке и однообразии.

Пани Маковецкая поджидала мужа, считая оставшиеся до выборов дни, и только о нем и говорила; Бася приуныла. А тут еще пан Заглоба досаждал ей, уверяя, что она, дав отставку Нововейскому, теперь жалеет об этом. Бася и впрямь была бы рада даже его визитам, но, сказав себе: «Ноги моей здесь не будет», он уехал на заставу вслед за Володыёвским.

Пан Заглоба, желая навестить пострелят, собирался к Скшетуским, но, видно, отяжелел и все откладывал отъезд, шутливо уверяя Басю, что на старости лет в нее влюбился и намерен просить ее руки. А пока довольствовался обществом Кшиси: тетушка с Басей частенько уезжали вдвоем в гости к львовской своей приятельнице. Кшисю почтенная дама при всей своей доброте не жаловала, и она оставалась дома. А случилось, и пан Заглоба, уехав с вечера в Варшаву, отводил там душу в милой его сердцу компании и возвращался домой лишь на другой день к вечеру, под хмельком, и тогда Кшися, оставшись совсем одна, размышляла на досуге то о Володыёвском, то о том, что могло бы ее ждать, если бы жребий не был брошен, а чаще всего о том, как выглядел бы неведомый соперник Михала, королевич из сказки...

Однажды, когда она сидела у окна, в задумчивости глядя на освещенную заходящим солнцем дверь, где-то неподалеку от дома вдруг послышался звон колокольчика. «Не иначе, как тетушка с Басей вернулись», — промелькнуло у нее в голове, но она не двинулась с места и даже глаз не отвела от двери, а тем временем дверь отворилась, и из темной глубины навстречу девушке выступил незнакомый мужчина.

В первую минуту Кшисе показалось, что она спит или грезит наяву, столь чудную узрела картину... Перед нею был молодой человек в черном одеянии чужеземца, с огромным белым кружевным воротником. Когда-то в детстве Кшися видела генерала коронной артиллерии пана Арцишевского,[22] который и платьем, и благородной внешностью поразил ее воображение. Точно так же был одет и незнакомец, но только красотой своей он затмил и пана Арцишевского, и всех ступавших когда-нибудь по земле мужей. Ровно подстриженные волосы обрамляли лицо поистине редкостной красоты. Черные брови оттеняли белизну мраморного чела, глаза глядели мечтательно и грустно, свободно кудрявились светлые усы и небольшая борода. Это было удивительное лицо, дышавшее мужеством и благородством, лицо херувима и рыцаря в равной мере. Кшися глядела, не веря глазам, и понять не могла — видит ли она сон или живой человек перед нею. А он замер — то ли впрямь удивленный, то ли из учтивости делая вид, будто изумлен красотой девушки. Наконец, шагнув вперед, он снял шляпу и стал размахивать ею, подметая перьями пол. Кшися встала, ноги у нее подгибались, она то краснела, то бледнела и наконец закрыла глаза.

И тут прозвучал его голос, низкий и мягкий как бархат.

— Я Кетлинг оф Эльджин. Друг и товарищ пана Володыёвского по оружию. Прислуга успела доложить, что мне выпала высокая честь и великое счастье принять под своей крышей сестру и

близких моего Пилада, но простите мне, о благородная панна, мою неловкость, слуги не сказали того, что видят глаза мои, а они блеска вашего вынести не могут.

Таким комплиментом приветствовал Кшисю рыцарь Кетлинг, но она не сумела ответить ему тем же, онемев от смущения. Догадалась только, что закончил он свою речь еще одним поклоном, услышав в тишине, как шелестят, коснувшись пола, перья его шляпы. Она понимала, что непременно нужно комплиментом ответить на комплимент, дабы ее не приняли за сельскую простушку, но дух у нее перехватило, в висках стучало, сердце колотилось, словно от великой усталости. Она чуть приоткрыла глаза — перед ней, склонив голову, стоял Кетлинг и глядел с нежностью и восторгом. Кшися дрожащими руками схватилась за полы платья, чтобы сделать кавалеру реверанс, но, на счастье, за дверью раздался шум и с возгласами: «Кетлинг! Кетлинг», в комнату, пыхтя, ворвался пан Заглоба.

Они кинулись друг другу в объятья, а панна, понемногу опомнившись, украдкой поглядывала на рыцаря. Он обнимал Заглобу сердечно, но с такой благородной сдержанностью в каждом движении, какая или передается от отца к сыну, или приобретается в самом изысканном обществе, при королевских и магнатских дворах.

— Как поживаешь? — спрашивал Заглоба. — Рад тебе в твоём дому, будто в собственном. Дай на тебя взглянуть. Ха! Да ты похудел! Уж не амуры ли тому причиной? Ей-ей, похудел! Михал-то в хоругвь поехал. А ты молодец, что сюда завернул! Михал о монастыре больше не помышляет. Сестра его приехала и барышень привезла. А девки, как репки! Панна Езёрковская и панна Дрогёвская. Батюшки, Кшися-то здесь! Прошу прощения, но ведь я правду сказал, пусть у того глаза вылезут на лоб, кто вам в красоте откажет, ну а тебя пан Кетлинг и сам видит, не слепой.

Кетлинг в третий раз склонил голову и сказал с улыбкой:

— Цейхгаузом сей дом я оставил, а нашел Олимпом, ибо, войдя, увидел богиню.

— Как поживаешь, Кетлинг?! — воскликнул Заглоба, не довольствуясь первым приветствием, и снова заключил рыцаря в объятья. — Это что! — продолжал он. — Ты еще гайдучка не видел. Кшися хоть куда, но и та мед, мед! Как поживаешь, Кетлинг?! Дай тебе бог здоровья. Буду говорить тебе «ты»! Ладно? Старому так сподручнее... Рад гостям, да? Перед сеймом все дворы да гостиницы забиты были, пани Маковецкая здесь обосновалась, теперь посвободней стало, и она, должно быть, дом снимет. Негоже барышням в обители холостяка оставаться, люди коситься будут, и сплетен не оберешься.

— Помилуйте! Никогда я на это не соглашусь! Володыёвский мне не просто друг, он мне названный брат, и пани Маковецкую я как сестру у себя принять готов. А вас, сударыня, молю за меня заступиться. Хотите, на колени стану.

Сказав это, Кетлинг опустился перед Кшисей на колени и прижал к губам ее руку, при этом он с мольбой смотрел ей в глаза, то весело, то с грустью, а она все заливалась румянцем, пока наконец Заглоба не сказал:

— Ай да Кетлинг. Не успел приехать, а уже на коленях. Непременно скажу об этом пани Маковецкой. За натиск хвалю! А ты, душа моя, полюбуйся, вот они, светские обычаи!..

— Светская жизнь мне неведома!.. — тихонько шепнула панна, смущаясь все больше.

— Могу ли я надеяться на помощь вашу? — спрашивал Кетлинг.

— Встаньте, сударь!..

— Могу ли я на вашу помощь надеяться? Я брат пана Михала. Если дом опустеет, он нам этого вовек не простит.

— Воля моя здесь ничего не значит! — отвечала, слегка опомнившись, панна Кшися. — Но вам за добрую волю вашу спасибо.

— Благодарю! — отвечал Кетлинг, поднося к губам ее руку.

— Ха! На дворе мороз, а Купидон-то голый, но, впрочем, в этом доме ему не замерзнуть! — крикнул Заглоба.

— Полно, сударь, полно! — сказала Кшися.

— Я уж вижу: от одних только вздохов скоро оттепель будет! От одних только вздохов!..

— Слава богу, что вы, пан Заглоба, не утратили своего беззаботного нрава, — сказал Кетлинг, — веселый нрав — признак здоровья.

— И чистой совести, чистой совести! — подхватил Заглоба. — Как сказал один мудрец: «У кого свербит, тот и чешется». А у меня нигде не свербит, вот я и весел! Как живешь, Кетлинг?! О, сто тысяч басурманов! Что я вижу? Ты ведь был настоящий поляк — в рысеей шапке да с саблей, а теперь опять англичанином заделался, и ноги у тебя тонкие, как у журавля!

— Я в Курляндии был долго, там польское платье не модно, а сейчас два дня в Варшаве, у аглицкого посла гостил.

— Так ты, значит, к нам из Курляндии пожаловал?

— Да. Приемный отец мой скончался, а перед смертью там же отписал мне еще одно поместье.

— Вечная ему память! Католик он был?

— Да.

— Ну пусть это тебе утешением послужит. А нас ты ради своих курляндских владений не покинешь?

— Здесь хотел бы я жить и умереть! — ответил Кетлинг, взглянув на Кшисю.

А она молчала, опустив долу длинные ресницы.

Пани Маковецкая вернулась домой затемно, Кетлинг встречал ее почтительно, словно удельную княгиню. Она хотела было уже на другой день подыскивать себе в городе дом, но, как ни противилась, вынуждена была уступить. Рыцарь на коленях так долго ее молил, ссылаясь при этом на братство свое с Володыёвским, что она сдалась. Решено было, что и пан Заглоба погостит еще: столь почтенный муж в доме — лучшая защита от злословья. Да он и сам рад был остаться, потому что от всей души привязался к гайдучку и лелеял тайные планы, для коих его глаз был нужен. И барышни повеселели, а Бася сразу же открыто приняла сторону Кетлинга.

— Сегодня выбираться поздно, а где сутки, там и неделя!

Ей, как и Кшисе, Кетлинг понравился, он всегда женщинам нравился, а Бася к тому же до сей поры никогда еще не видела иноземного рыцаря, если не считать офицеров наемной пехоты, людей и попроще, и менее знатных; она ходила вокруг него, раздувая ноздри, потряхивая светлыми вихрами, и глаза ее светились детским любопытством, таким откровенным, что пани Маковецкая украдкой одернула ее. Но Бася все равно не сводила с него глаз, словно прикидывая, каков-то он на войне будет, и наконец, не удержавшись, подошла к пану Заглобе.

— А хороший ли он солдат? — спросила она потихоньку старого шляхтича.

— Лучше не придумашь. Видишь ли, опыт у него великий, с четырнадцати лет служил королю, против англичан за праведную веру выступая. Знатный дворянин, что и по манерам его лицезреть можно.

— А вы, ваша милость, видели его в бою?

— Тысячу раз... Стоит — не дрогнет, коня по холке треплет и о нежных чувствах говорить готов.

— Это что, мода такая говорить о чувствах?

— Все модно, что небрежение к пулям подтверждает.

— Ну а в рукопашной, в поединке он каков?

— Ого-го! Увертлив как бес, тут и говорить не о чем!

— А против пана Михала устоит?

— Нет, супротив Михала он пас!

— Ага! — воскликнула Бася торжествующе. — Я так и знала! Сразу подумала — пас! — И захлопала в ладоши.

— Стало быть, ты сторону Михала держишь? — спросил пан Заглоба.

Бася потрянула головой и умолкла: и только из груди ее вырвался глубокий вздох.

— Эх, да что там! Рада, потому что наш!

— Но заметь, гайдучок, и заруби себе на носу, если на поле брани лучшего солдата трудно найти, то для женских сердец он еще более *periculosus*: «*Опасен (лат.)*.» ни одна перед ним не устоит! Купидон у него на посылках.

— А вы об этом Кшисе скажите, мне материя эта незнакома, — сказала Бася и, обернувшись к панне Дрогоёвской, позвала:

— Кшися! Кшися! Иди сюда, я что-то тебе скажу!

— Вот я! — отвечала панна Дрогоёвская.

— Пан Заглоба говорит, что ни одна особа перед Кетлингом не устоит, глядеть на него опасно. Я смотрю, и как будто бы ничего, а ты?

— Бася! Бася! — строго, словно читая мораль, произнесла Кшися.

— Признавайся, нравится он тебе?

— Опомнись! Знай меру! И не болтай всякий вздор, пан Кетлинг идет сюда.

Кшися не успела еще и сесть, как Кетлинг приблизился и спросил:

— Смею ли я сим славным обществом насладиться?

— Милости просим! — отвечала панна Езёрковская.

— Тогда спрошу смелее — о чем шла речь?

— О любви! — выпалила, не задумываясь, Бася.

Кетлинг сел рядом с Кшисей. Минуту они молчали, потому что Кшися, обычно умевшая поддержать беседу и светский тон, в присутствии этого рыцаря как-то странно робела. Наконец он сказал:

— Правда ли, разговор шел о столь возвышенном предмете?...

— Да! — тихим голосом отвечала панна Дрогоёвская.

— Я был бы счастлив услышать ваши мысли на сей счет, сударыня.

— Простите, сударь, мне и смелости, и ума на такой ответ не хватит. Тут, пожалуй, за вами первое слово.

— Кшися права! — вмешался Заглоба. — Говори же!..

— Ну что же, спрашивайте, сударыня! — отвечал Кетлинг.

Он устремил взор к небесам, задумался, а потом, не дожидаясь вопросов, заговорил тихо, словно сам с собою беседуя:

— Любовь — тяжкое бремя: свободного она делает рабом. Как птица, пронзенная стрелой, падает к ногам охотника, так и человек, сраженный любовью, припадает к стопам любимой. Любовь — это увечье, человек как слепец, кроме нее, ничего вокруг не видит...

Любовь — это грусть, ведь когда еще мы проливаем столько слез и вздыхаем так тяжело? Кто полюбил, тому на ум нейдут ни наряды, ни танцы, ни охота, ни игра в кости; он часами сидит, обняв колени, и тоскует так тяжело, будто близкого друга лишился.

Любовь — это болезнь, ведь влюбленный бледен лицом, под глазами у него тени, в руках дрожь, он худ, помышляет о смерти или бродит как безумный, с нечесаными кудрями, сто раз на песке милое имя пишет, а когда имя сдует ветер, говорит: «Несчастье!..» и заплакать готов...

Тут Кетлинг на мгновение умолк. Кто-нибудь сказал бы, что он погрузился в раздумья. Кшися слушала его слова как музыку, всей душой. Ее оттененные темным пушком губы были приоткрыты, а очи устремлены на рыцаря. Волосы лезли Баське на глаза, трудно было догадаться, о чем она думает: но она тоже молчала.

Вдруг пан Заглоба громко зевнул, засопев, вытянул ноги и сказал:

— Из такой любви шубы не сошьешь!..

— И все же, — продолжал снова рыцарь, — хотя любить тяжелый труд, без любви еще тяжелее на свете, что тому роскошь, слава, богатства, драгоценности или благовония, кто любви лишился? Кто из нас не скажет своей любимой: «Ты мне дороже целого королевства, дороже, чем скипетр, здоровья и долголетия дороже...» Влюбленный рад был бы жизнь отдать за свою любовь, а стало быть, любовь дороже жизни.

Кетлинг умолк.

Барышни сидели рядышком, дивясь его пылкости, и умелому красноречию, искусству столь чуждому польским воякам. Даже пан Заглоба, который под конец вроде бы задремал, вдруг встрепенулся и, моргая, стал поглядывать то на девиц, то на Кетлинга и наконец, проснувшись окончательно, громко спросил:

— О чем беседа?

— Хочу сказать вам спокойной ночи! — отвечала Бася.

— Ага! Вспомнил: рассуждали об амурах. И к чему пришли?

— Отделка богаче плаща оказалась.

— Еще бы! А меня сон одолел. А может, и жалобы эти: мечтанья, стенанья, воздыханья. А я возьми да и придумай для складу — засыпанье. И мое слово самое верное, потому что час поздний. Спокойной ночи честной компании, и не докучайте мне больше своими амурами... Боже, боже! Кот мяучит, пока шкварки не съест, а потом знай сидит да облизывается... И я в свое время был вылитый Кетлинг, а влюблялся так страстно, что себя не помнил, баран мог бы меня под зад рогами поддать, я бы не заметил. Но на склоне лет мне всего милее добрый сон, особенно если обходи-

тельный хозяин не только до постели проводит, но и напоит так, чтоб голова сама клонилась к подушке.

— Рад служить вашей милости! — сказал Кетлинг.

— Пойдем, пойдем. Глядите, вон как месяц-то высоко. К погоде: небо чистое, светло как днем! Кетлинг об амурах всю ночь готов рассуждать, но только не забывайте, козочки, он притомился с дороги.

— О нет, я ничуть не устал, в городе отдыхал два дня. Боюсь, панны слушать меня устали.

— Слушая вас, не заметишь, как ночь миновала, — сказала Кшися.

— Нет ночи там, где солнце светит, — отвечал Кетлинг.

Тут они расстались — ведь и правда давно наступила ночь. Опочивальня у девиц была одна, и они, как водится, подолгу болтали перед сном, но на сей раз Басе не удалось разговорить Кшисю, потому что насколько одной хотелось поговорить, настолько другая была молчалива, на все вопросы отвечала вполслова — да, нет. И каждый раз, когда Бася заводила речь о Кетлинге, смешно изображая его, Кшися нежно обнимала ее за шею, умоляя оставить насмешки.

— Он хозяин этого дома, — говорила Кшися, — он приютил нас... и тебя отметил и полюбил сразу...

— Неужто? — спрашивала Бася.

— Разве можно тебя не любить, — отвечала Кшися. — Все тебя любят, и я, я тоже...

С этими словами она приближала чудное лицо свое к Басиному лицу, терлась щекой об ее щеку, целовала ей очи.

Наконец они утомонились, но Кшися долго не могла уснуть. Какая-то тревога томила ее душу. Сердце начинало вдруг биться так часто, что она прижимала руки к нежным своим персям, лишь бы унять его биение. Стоило ей закрыть глаза — в каком-то чудном сне, прекрасное лицо склонялось над ней, и тихий голос шептал: «Ты мне дороже целого королевства, дороже, чем скипетр, здоровье и долголетье, жизни самой дороже!»

ГЛАВА XII

Спустя несколько дней пан Заглоба писал Скшетускому письму, заключив его такими словами:

«А ежели я до коронации к вам выбратся не сумею, не дивитесь. Не мое к вам пренебрежение тому причина, но суть в том, что дьявол не дремлет, а я не хочу, чтобы он пташку из моих рук спугнул и неведомо что подсунул. Худо будет, коли Михалу к его приезду не смогу я сказать: «Эта-де просватана, а гайдучок васат «Свободен (лат.).». На все воля божья, но полагаю, что, узнав такую новость, Михал не станет упираться, и все без особых праераparationes «Приготовлений (лат.).» уладится, так что приедете к свадьбе. А пока, вспомнив Улисса, придется мне прибегнуть к кое-каким уловкам, вести интригу, хоть и нелегко мне это, ибо всю жизнь правда была мне хлебом насущным, и ею я весь век бы кормился. Но ради Михала и любимого моего гайдучка я готов взять на душу грех, оба они — чистое золото. За сим обнимаю вас вместе с пострелятами и к сердцу прижимаю, всевышнему и его милости препоручая».

Покончив с писаниной, пан Заглоба присыпал лист песком, ударил по нему ладонью и, отставив подальше от глаз, перечел еще раз, после чего сложил, снял с пальца перстень с печаткой, посплюнявил ее и хотел было уже письмо запечатать, но в этом ему помешал своим приходом Кетлинг.

— Добрый день, ваша милость!

— Добрый день, день добрый! — ответил Заглоба. — Погода, слава богу, отменная, а я гонца к Скшетуским послать собрался.

— И от меня поклон передайте.

— Так я и сделал. Непременно, подумал я, от Кетлинга поклон передать надо. Пусть доброй вести возрадуются. Да и как не передать поклон, коли я про тебя да про барышень целое послание сочинил.

— С чего бы это вдруг, ваша милость? — спросил Кетлинг.

Заглоба, сложив руки на коленях, долго перебирал пальцами, а потом, склонив голову, посмотрел на Кетлинга из-под нахмуренных бровей и сказал:

— Друг Кетлинг, не надо быть пророком, чтобы предвидеть, что там, где есть кремень и огниво, раньше или позже посыплются искры. Сам ты мужчина видный, но и девам, должно быть, в красоте не откажешь.

Кетлинг смутился.

— Слепцом я быть должен или варваром последним, чтобы красоты их не почитать и не отметить!

— Вот видишь! — сказал в ответ Заглоба, с улыбкой глядя на красного от смущения Кетлинга. — Только ежели ты не варвар, то знай, за двумя сразу приударять негоже, так только турки делают.

— Какие у вас, сударь, для таких рассуждений резоны?

— А я безо всяких резонов, так, про себя размышляю. Ха! Ну и хитрец! Столько им наплел про амуры, что Кшися третий день сама не своя ходит, будто ее опоили. Гм! Да и не диво! Помнится, я в молодые годы тоже часами простаивал под окнами у одной черноглазой панны (она на Кшисю была похожа), на лютне бренчал и пел:

Ты в постели сладко дремлешь
И моей игре не внемлешь.
Ля! Ля!

Хочешь, я тебе эту песню взаймы дам, а нет — новую сочиню, мне талантов не занимать! А заметил ли ты, что панна Дрогоёвская давнишнюю Оленьку Биллевич напоминает, только у той волосы как конопля и пушка над губкой нет, а впрочем, именно это для многих милой приманкой служит. Очень уж томно она на тебя поглядывает. И об этом я написал Скшетуским. Скажи, разве неправда, что она на панну Биллевич смахивает?

— Признаться, я этого сходства не заметил, но, пожалуй... Рост, осанка...

— А теперь слушай, что я тебе скажу, фамильные аргана «*Секреты (лат.)*» открою, а впрочем, раз ты друг, так знай: как бы ты Володыёвскому злом за добро не отплатил — ведь мы с пани Маковецкой одну из этих дев для него приберегаем.

Тут пан Заглоба метнул на Кетлинга проницательный взгляд, а тот, побледнев, спросил:

— Которую?

— Дро-го-ёв-скую, — медленно, по складам сказал Заглоба.

И, выпятив вперед нижнюю губу, насупил брови, подмигнув здоровым глазом.

Кетлинг молчал, и молчал так долго, что Заглоба наконец, не выдержав, спросил:

— Ну и что же ты скажешь на это? А?

Голос у Кетлинга дрожал, но он отвечал без колебаний:

— Не сомневайтесь, ваша милость, ради Михала я ко всему готов и поблажки себе не дам.

— Правду говоришь?

— В жизни своей я повидал немало, и честью клянусь — не дам воли!

Тут пан Заглоба раскрыл ему объятья.

— Кетлинг! Дай себе поблажку, дай, коли желаешь, ведь я тебя испытать хотел. Не Дрогоёвскую, а гайдучка мы для Михала предназначаем.

Лицо Кетлинга осветилось открытой и неподдельной радостью, он долго обнимал пана Заглобу и наконец спросил:

— Они и впрямь любят друг друга?

— А кто, скажи, не полюбил бы моего гайдучка, кто? — отвечал Заглоба.

— И помолвка была?

— Помолвки не было, у Михала старые раны еще не зарубцевались, но будет, будет помолвка. Предоставь это мне! Барышня хоть и своенравна, как ласочка, однако слабость к нему питает, сабля для нее все...

— Я это сразу заметил, ей-богу! — воскликнул повеселевший Кетлинг.

— Гм! Заметил. У Михала еще слезы по покойной не высохли, но уж если кто и придется ему по душе, так непременно наш гайдучок, она и с невестой его сходство имеет, только глазами не так стреляет, потому как моложе. Все складывается отлично, верно? Помани мое слово — коронация не за горами, а тут и две свадьбы!

Кетлинг, не говоря ни слова, облобызал пана Заглобу и, приложившись щекой к его пылающим щекам, так долго не выпускал его из объятий, пока наконец старый шляхтич, засопев, не спросил:

— Неужто Дрогоёвская так тебе в душу запала?

— Ах, этого я и сам не ведаю, — отвечал Кетлинг, — знаю только, что едва мы встретились и неземная краса ее утешила мой позор, я сказал себе — вот она, только ее скорбящее сердце мое полюбить в состоянии, и той же ночью, вздохами сон отогнав, отдался я сладостным грезам. С тех пор она ни из памяти, ни из мыслей моих не уходит и так душой моей завладела, как королева вверенным и верным ей государством. Любовь ли это или что другое — не знаю.

— Но знаешь точно, что это не шапка, не три локтя сукна на штаны, не подпруга, не шлея, не яичница с колбасой, не фляжка с водой. Если ты в этом уверен, то об остальном спрашивай у Кшиси, а не захочешь — сам спрошу.

— Не делайте этого, ваша милость, — отвечал с улыбкою Кетлинг. — Если суждено мне утонуть, то пусть хоть два дня поживу я с мыслью, что плыву.

— Шотландцы, как я погляжу, вояки отменные, но в любовной науке смыслят мало. Когда дело имеешь с женщиной, тут тоже военный натиск нужен. *Veni, vidi, vici* «Пришел, увидел, победил

(лат.).» — таков был мой девиз...

— Если б моим мечтаниям суждено было бы сбыться, — сказал Кетлинг, — я просил бы вас о дружеской *auxilium* «Помощи (лат.-)». Хоть мне и дворянский титул присвоен, и благородная кровь течет в моих жилах, но все же имя мое тут неизвестно, и не знаю, согласится ли пани Маковецкая...

— Пани Маковецкая? — перебил его Заглоба. — Это уж не твоя печаль. Она как музыкальная табакерка, как заведешь, так и сыграет. Я сейчас к ней пойду. Надо ее загодя упредить, чтобы на твои маневры не смотрела косо, тем паче что вы и ухаживаете как-то чудно, не по-нашему. От твоего имени говорить я не стану, намекну только, что дева тебе по душе пришлась и недурно было бы из этой муки и хлебы испечь. Сей же час пойду, а ты не празднуй труса, мне все говорить дозволено.

И как Кетлинг ни удерживал его, пан Заглоба тут же встал и вышел.

По дороге ему попалась как всегда бежавшая со всех ног Бася, и он ей сказал:

— А знаешь, Кетлинг из-за Кшиси совсем голову потерял.

— Не он первый, — отвечала Бася.

— А тебе не завидно?

— Кетлинг — кукла! Учтивый кавалер, но кукла. А я коленку об дышло ударила, вот!

Тут Бася нагнулась и принялась растирать колену, одновременно поглядывая при этом на пана Заглобу.

— О боже, будь осторожней! Куда ты так мчишься?

— Кшисю ищу.

— А что она поделывает?

— Она? Целует меня бесперестанно и ластится, будто кот.

— Смотри не говори ей, что Кетлинг голову потерял.

— Угу! Не скажу!

Пан Заглоба отлично знал, что Бася не в силах будет сдержать слово, оттого-то и придумал такой запрет.

Он поспешил дальше, чрезвычайно радуясь своей хитрости, а Бася словно бомба влетела к панне Дрогоёвской.

— Я ушибла колено, а Кетлинг голову потерял! — закричала она еще с порога. — Не заметила в каретном сарае дышла... и бах! В голове зашумело, но ничего, пройдет! Пан Заглоба просил про Кетлинга не рассказывать. Говорила я, так и будет? Сразу сказала, а ты, верно, сглазить боялась. Я-то тебя знаю. Полегчало, но болит еще! Я про пана Нововейского никаких намеков не делала, он на тебя не глядел, а Кетлинг — ого-го! Бродит по дому, за голову держится и сам с собой разговаривает: люблю тебя, в карете и пешком...

Бася лукаво погрозила ей пальчиком.

— Бася! — крикнула Дрогоёвская.

— И на щите и под щитом...

— Боже мой, боже, до чего же я несчастна! — воскликнула вдруг Кшися и залилась слезами.

Бася принялась ее утешать, но, увы, тщетно, Кшися впервые в жизни так безутешно рыдала.

Ни одна душа в этом доме не знала о том, что она и впрямь несчастна. Несколько дней была как в лихорадке — побледнела, осунулась, грудь ее вздымалась от тяжких вздохов, с ней творилось что-то необъяснимое; казалось, тяжкая болезнь настигла ее не исподволь, украдкой, а сразу, налетела как вихрь или ураган, воспламенила кровь, поразила воображение. Она ни минуты не могла сопротивляться этой силе, такой внезапной и беспощадной. Спокойствие оставило ее. Воля была подобна птице с подбитым крылом...

Кшися и сама не знала, любит она Кетлинга или ненавидит, и страх охватывал ее, когда она себя об этом спрашивала; знала только, что из-за него так сильно бьется сердце и все помыслы только о нем, что он всюду в ней, с ней, над нею. И не найти от этого защиты! Легче не любить его, чем заставить себя о нем не думать; вот он стоит перед глазами, в ушах звучит его голос, им наполнена душа... И сон не приносил избавления от непрошеного гостя. Стоило ей закрыть глаза, как тут же являлся он, шепча: «Ты мне дороже целого королевства, дороже, чем скипетр, слава, богатство...» И лицо его склонялось так низко, что щеки девушки полыхали жгучим румянцем. Это была русинка с пылкою душой, неведомый ей прежде огонь, о котором она и не подозревала, разгорался все сильнее в ее груди, страх, стыд и какое-то невольное, но милое сердцу томление одолевали ее. Ночь не приносила покоя. Она чувствовала себя разбитой, словно от тяжких трудов.

«Кшися! Кшися, опомнись! Что с тобой?!» — говорила она себе. И снова забывала обо всем как одурманенная.

Ничего еще не случилось, они с Кетлингом друг другу не сказали наедине и двух слов, но, хотя она только и думала о нем, неведомый голос подсказывал ей: «Опомнись, Кшися! Сторонись, избегай его!..» И она избегала...

О своем сговоре с Володыёвским Кшися, к счастью для себя, не вспоминала; не вспоминала потому, что все оставалось по-прежнему, и она не думала ни о ком, ни о себе, ни о других, ни о ком, кроме Кетлинга!

Девушка скрывала от всех свои чувства, и мысль, что никто не догадывается о них, никто не думает о них с Кетлингом, не ставит их имена рядом, приносила ей облегчение. Неожиданно слова

Баси убедили ее в другом, что люди на них смотрят, объединяют их в мыслях и тайное угадать готовы. Смущение, стыд и боль, слившись воедино, оказались сильнее ее, и она расплакалась, как дитя.

Слова Баси были только началом — тут-то и последовали многочисленные намеки, понимающие взгляды, подмигиванья, кивки и, наконец, ранящие слова. Началось все это тотчас же за обедом. Тетушка перевела взгляд с Кетлинга на нее, с нее на Кетлинга, чего не делала прежде. Пан Заглоба многозначительно кашлянул. Иногда вдруг разговор прерывался неизвестно почему, воцарялось молчание, и во время одной из таких пауз взволнованная Бася крикнула через стол:

— А я что знаю! Но никому не скажу!

Кшися тотчас же залилась румянцем, потом побледнела, будто в смертельном испуге. Кетлинг тоже опустил голову. Они знали, что это на них направлено, и хотя пока словом не перемолвились, а Кшися старалась на Кетлинга не глядеть, чудилось им, что какая-то новая близость установилась между ними, некая общность смущения, которое и притягивало их, и отчуждало, потому что они утратили свободу и простоту прежнего своего дружба. К счастью, никто не обратил на Басины слова внимания, пан Заглоба собирался в город, чтобы привезти оттуда дружину рыцарей, и разговоры шли только об этом.

Вечером в зале загорелись огни, приехала добрая дюжина военных и музыканты, приглашенные хозяином для увеселения дам. По случаю великого поста и Кетлингова траура от танцев пришлось воздержаться, довольствовались беседой и музыкой. Дамы были в изысканных туалетах. Пани Маковецкая выступала в восточных шелках; гайдучок в ярком наряде невольно приковывал взоры своим румяным лицом и светлыми, то и дело спадавшими на лоб вихрами, вызывая смех бойкостью речей и удивляя манерами, в коих казацкая удаль сочеталась с неувлимым кокетством.

Кшися, у которой траур по покойному батюшке подходил к концу, явилась в платье из серебряной парчи. Рыцари сравнивали ее кто с Юноной, кто с Дианой, но никто не подходил к ней слишком близко, не подкручивал ус, не шаркал ножкой, не бросал влюбленных взглядов, не заводил разговора о чувствах. Напротив, она заметила, что те, кто с восхищением смотрел на нее, тут же переводили взгляд на Кетлинга, а некоторые подходили к нему и пожимали руку, словно бы поздравляя, а он только руками разводил, словно отнекиваясь.

Кшися, с ее чувствительным сердцем и проницательностью, была почти уверена, что Кетлингу говорят о ней, быть может и

невестою называя. А так как она ведать не ведала, что пан Заглоба успел каждому шепнуть словцо, ей было невдомек, откуда берутся догадки.

«Разве у меня на лбу что написано?» — думала она в тревоге, смущенная и озабоченная.

А тут стали доноситься до нее и слова, вроде бы и не к ней обращенные, но вслух сказанные: «Кетлинг-то счастливчик!», «В сорочке родился...», «Да и сам недурен, чему удивляться...» — и тому подобное.

А иные из рыцарей, стараясь быть учтивей, развеселить и порадовать ее, беседовали с ней о Кетлинге, превознося его мужество, светское воспитание, манеры, древний род. Кшисе невольно приходилось выслушивать все это, и глаза ее сами искали того, о ком шла речь, а иногда и встречались с его глазами, и она глядела на него как замороженная, не в силах отвести взгляда. Как же отличался Кетлинг от всех этих грубоватых простаков! «Королевич со свитой», — думала Кшися, глядя на его благородное, аристократическое лицо, глаза, постоянно исполненные грусти, на лоб, оттененный светлыми кудрявыми волосами. Сердце у Кшиси замирало, и казалось ей, что дороже этого лица нет для нее ничего на свете. А Кетлинг, угадывая Кшисино смущение, подходил к ней лишь в те редкие мгновенья, когда возле нее находился кто-то другой. И королева едва ли удостоилась бы больших почестей. Обращаясь к ней, Кетлинг склонял голову в поклоне и отступал назад в знак того, что в любую минуту готов пасть перед ней на колени; беседовал без тени улыбки, хотя с Басей был не прочь порой и пошутить. В разговоре его с Кшисей, весьма изысканном, всегда был оттенок какой-то сладостной грусти. Его почтительность защищала ее и от слишком откровенных слов, и от намеков, как будто бы всем передавалось убеждение, что эта панна знатностью и благородством превосходит всех и в обхождении с ней особый политес нужен. В глубине души Кшися была ему за это благодарна. Вечер, несмотря на все тревоги, был для нее отраден.

Близилась полночь, музыканты устали, дамы, простившись, вышли, а меж оставшихся на пиру рыцарей пошли по кругу кубки. В веселом этом застолье предводительствовал Заглоба — гетман, да и только.

Баська, повеселившись от души, поднялась наверх беспечная как дрозд и перед вечерней молитвой болтала без умолку, передразнивая гостей. А потом, хлопнув в ладоши, воскликнула:

— Ай да Кетлинг, молодец, что приехал! Теперь-то в доме военных довольно! Вот кончится пост, а там пойдут балы да веселье. Будем танцевать до упаду. И на помолвке вашей, и на свадьбе! Все вверх дном перевернем, вот увидишь! Пусть меня татарва в

полон уведет, коли не так. А вдруг и правда уведет? Ох, что бы было! Милый Кетлинг! Он для тебя музыкантов созовет, но и я повеселюсь на славу. А он будет придумывать все новые чудеса, пока наконец не сделает так...

Тут Бася бухнулась перед Кшисей на колени и, заключив се в свои объятия, сказала басом, подражая голосу Кетлинга:

— Обожаю тебя, душа моя! Жить без тебя не могу... Люблю тебя в карете и пешком, и на щите и под щитом, и натошак и после обеда, и на веки веков, и по-шотландски... Хочешь ли быть моею?...

— Полно, Бася, не серди меня! — воскликнула Кшися.

Но она и не думала сердиться, а крепко обняла Кшисю, словно пытаясь ее приподнять, и долго-долго целовала ей глаза.

ГЛАВА XIII

Разумеется, пан Заглоба отлично видел, что маленький рыцарь влюбился в Кшисю, и потому-то пустился на хитрость. Зная натуру Володыёвского, он нисколько не сомневался, что коль скоро не останется выбора, пан Михал непременно вспомнит про Басю, которую старик любил, будто родную дочь, и только диву давался, как можно выбрать другую. Он искренне считал, что, способствуя женитьбе Михала на своей любимице, оказывает ему великую услугу; при одной только мысли об этой паре у него лицо расплывалось в улыбке. Он сердился на Володыёвского, зол был и на Кшисю, полагая, впрочем, что уж лучше пану Михалу на ней жениться, чем остаться бобылем, но пока только и думал о том, как бы сосватать за него гайдучка.

Вот потому-то, зная, что маленький рыцарь питает слабость к Дрогоёвской, он решил поскорее сделать из нее госпожу Кетлинг. Однако письмо, что получил он недели через две от Скшетуского, было для него как ушат холодной воды.

Скшетуский советовал ему держаться в стороне, чтобы друзей не поссорить. Разумеется, ссоры этой Заглоба не желал и, пытаясь заглушить укоры совести, утешал себя такими словами:

— Ежели бы у Кшиси с Михалом уговор был, а я бы Кетлинга меж ними как клин вбивал, тогда бы дело иное. Помнится, еще царь Соломон сказывал, не твоя печаль, кому детей качать, и он прав. Но в своих желаниях каждый волен. А впрочем, по совести говоря, что я такого сделал? Пусть мне скажут — что?

Задав такой вопрос, Заглоба подбоченился и, оттопырив нижнюю губу, окинул стены вызывающим взглядом, словно от них дожидаясь упрека, но стены молчали, и он продолжал дальше:

— Кетлингу я сказал, что гайдучка мы для Михала приберегаем. Отчего же мне было это не сказать? Или это неправда? Пусть паралик меня хватит, коли я Михалу другой невесты желаю.

Стены молчанием подтвердили справедливость его слов.

И он продолжал:

— Гайдучку я сказал, что Кшися Кетлинга в полон захватила, разве это неправда? Разве он сам не признался в этом, здесь у печки сидя и вздыхая часами, да так, что пепел во все стороны разлетелся? А я видел это и другим передал. У Скшетуского ум трезвый, да ведь и я в темя не бит. Знаю, где сказать, а где и промолчать следует. Гм... Пишет, твое дело сторона. Может, оно и так. Вот останемся мы в гостинной сам-третей: я да Кетлинг с Кшисей, а я возьму и выйду. Заметят ли они, вспомнят ли, что меня нет? А впрочем, он с нею и себя не помнит, и меня не вспо-

мянет. Они и не видят-то никого, так их тянет друг к другу. А тут и весна на носу, когда не только солнце, но и все желания припекают... Ладно, мое дело сторона, поглядим, каковы-то будут последствия.

И последствия не заставили себя долго ждать. Перед страстной неделей все общество перебралось из дома Кетлинга в Варшаву, в гостиницу на улице Длугой, чтобы побывать на службе во всех костелах, а заодно и на праздничную сутолоку поглазеть.

Кетлинг и тут держался гостеприимным хозяином, хоть и чужеземец, он лучше других знал Варшаву, всюду у него были люди, готовые оказать услугу. Он был необычайно предупредителен и, казалось, угадывал чужие желания, в особенности Кшисины. Трудно его было не любить. Пани Маковецкая, помня наказания Заглобы, поглядывала на них с Кшисей все благосклоннее, а если до сей поры не сказала о нем ни слова, то лишь потому, что и Кетлинг молчал. Впрочем, почтенная «тетенька» не видела ничего предосудительного в том, что рыцарь так верно служит ее племяннице, тем паче рыцарь столь знаменитый, получавший знаки внимания не только от слуг, но и от знати, так умел он привлечь всех своей и впрямь необычной красотой, щедростью, обходительностью, кротостью с друзьями, мужеством на поле брани.

«Положусь на волю божью, а там уж как муж скажет, но я им мешать не стану», — думала про себя пани Маковецкая.

Так она порешила, и теперь Кетлинг чаще виделся с Кшисей, проводя в ее обществе почти весь день. Впрочем, из дому выходили все вместе. Заглоба брал под руку пани Маковецкую, Кетлинг — Кшисю, а Бася, самая юная, шла сама по себе, то забегаая вперед, то останавливаясь в торговых рядах — поглядеть на товары и диковинки заморские, каких она до сей поры и не видывала. Кшися понемногу привыкла к Кетлингу, и теперь, когда она шла, опираясь на его руку, ловя каждое его слово и вглядываясь в черты его, сердце ее билось ровно, не робость испытывала она, не стеснение, а ни с чем не сравнимую радость и блаженство. Они почти не расставались: вместе преклоняли колени в костелах, их голоса звучали слитно в молитвах и божественных песнопениях.

Для Кетлинга чувства его не были загадкой; Кшися то ли из робости, то ли пытаясь сама себя обмануть, еще не сказала себе: «Люблю его», но меж тем они любили друг друга все сильнее.

Их сближало еще и дружество, и некое родственное чувство, но о любви не было сказано ни слова, и поэтому день за днем проходили как в сладком сне, и ничто не нарушало их согласия. Впрочем, черные тучи раскаянья уже сгущались над Кшисей, но пока затишье не кончилось. Теперь, когда, ближе узнав Кетлинга, она

перестала дичиться, дружество, расцветшее под сенью любви, принесло успокоение и мир в ее душу, голова не шла кругом, волнение в крови улеглось. Они были вместе, им было легко и отраднo, но Кшися, всей душой отдавшись этой радости, не думала над тем, что вот-вот счастье ее кончится и для этого довольно, чтобы Кетлинг сказал одно только слово — «люблю».

Вскоре слово это было сказано. Однажды, когда пани Маковецкая вместе с Басей были в гостях у больной кумы, Кетлинг уговорил Кшисю и пана Заглобу пойти в королевский замок, которого Кшися никогда еще не видела и о котором люди повсюду рассказывали всякие чудеса. Отправились втроем. Щедрость Кетлинга открыла перед ними все двери, и слуги встречали Кшисю такими низкими поклонами, словно бы она была королевой, посетившей свои владения. Кетлинг, который отлично знал замок, водил ее по пышным залам и покоям. Они поглядели на театр, на королевские бани, постояли перед картинами, на которых изображались битвы и победы королей Сигизмунда и Владислава над восточными ордами; вышли на террасы полюбоваться видом. Кшися не могла опомниться от удивления. Кетлинг показывал ей всякие разности, а иногда умолкал и, глядя в ее темно-голубые глаза, казалось, говорил: «Что за дело мне до этих чудес, когда ты со мной, мое чудо! И до сокровищ этих, когда ты рядом со мной, мое сокровище».

Девушка внимала этим безмолвным речам. А он, войдя с ней в один из королевских покоев, остановился у закрытых дверей и сказал:

— Отсюда и до алтаря недалеко. Переход почти к самому клиросу ведет. Там король с королевой обычно слушают мессу.

— Я дорогу туда хорошо знаю, — вставил словечко Заглоба, — с Яном Казимиром я накоротке был, случалось, и Мария Людвика ко мне благоволила, тогда они и меня приглашали послушать мессу, дабы в обществе моем побыть и набожностью моей укрепить дух свой.

— Не желаете ли пойти взглянуть, сударыня? — спросил Кетлинг, делая слуге знак, чтобы отворил двери.

— Пойдемте, — отвечала Кшися.

— Ступайте без меня, — сказал пан Заглоба, — ноги у вас молодые, не болят, а я на своем веку, слава богу, натоптался довольно. Ступайте, ступайте, а уж я здесь с человеком останусь. Если вы и по две молитвы прочтете, все равно не буду в обиде, отдохну малость.

И они пошли.

Кетлинг взял Кшисю за руку и повел по длинному переходу. Руки ее он не прижимал к сердцу, шел сосредоточенный и спо-

койный. Иногда вдруг силуэты их освещались боковыми окошками, а потом снова погружались в темноту. Сердце у Кшиси билось чуть чаще обычного, потому что они впервые оказались наедине, но спокойствие и кротость Кетлинга понемногу передались ей. Наконец они поднялись на клирос, что был справа, тут же за скамьями, неподалеку от большого алтаря.

Они опустились на колени и начали молиться. В костеле было тихо и пусто. Перед большим алтарем горели две свечи, но в глубине костела царил торжественный полумрак. Только сквозь разноцветные стекла проникал свет, радужные его блики освещали их спокойные, сосредоточенные на молитве, ангельски прекрасные лица.

Кетлинг первым поднялся с колен и, не смея нарушать тишины в костеле, заговорил шепотом:

— Посмотрите на эту бархатную спинку, на ней вмятины от голов — здесь сиживали король с королевой. Королева всегда сидела с той стороны, поближе к алтарю. Отдохните немного на ее месте...

— Правда ли, что она всю жизнь была несчастлива? — усаживаясь, шепнула Кшися.

— Я слышал эту историю еще ребенком, ее сказывали во всех рыцарских замках. Может быть, она и в самом деле была несчастлива, не могла выйти замуж за того, кому отдала свое сердце.[23]

Кшися откинулась, касаясь головой углубления, оставшегося на память о сидевшей здесь когда-то Марии Людвики.[24] Она закрыла глаза; какое-то мучительное чувство сжимало грудь, холодом повеяло от пустой ниши, покой, еще минуту назад переполнявший ее, сменился леденящим душу оцепенением. Кетлинг молча смотрел на нее, тишина казалась замогильной.

Мгновенье спустя Кетлинг стал перед Кшисей на колени и заговорил с жаром, уже не робея:

— В том нет греха, что здесь, в святом этом месте, я стою перед тобой на коленях, ведь разве не сюда, в костел, приходит за благословением чистая любовь. Ты мне дороже здоровья, дороже всех земных благ, я люблю тебя всей душою, всем сердцем и здесь перед этим алтарем в своей любви перед тобой открываюсь!..

Лицо Кшиси стало вдруг смертельно-бледным. Несчастливая девушка по-прежнему сидела, откинувшись на бархатную спинку, никак не отзываясь на слова Кетлинга, а он продолжал дальше:

— Обнимаю ноги твои и на коленях жду твоего приговора, с чем я отсюда уйду — в радости ли великой или великой печали, какую сердцу моему вынести не под силу?

Минуту он ждал ответа Кшиси и, не дождавшись, склонился так низко, что едва не коснулся головой ее ног, должно быть, он

уже не мог скрыть своего волнения, голос у него дрожал, казалось, еще немного, и он задохнется.

— В твои руки отдаю я свое счастье и свою жизнь. О снисхождении молю, потому что тяжело мне безмерно...

— Будем просить милосердия божьего! — падая на колени, неожиданно воскликнула Кшися.

Кетлинг не ждал этого, но не смел ее желанию противоречить. С надеждой и тревогой в сердце он стал на колени рядом с девушкой, и они снова принялись молиться.

Под сводами пустого костела голоса их, подхваченные эхом, звучали скорбно и жутковато.

— Боже, смилуйся над нами! — воскликнула Кшися.

— Боже, смилуйся над нами! — вторил ей Кетлинг.

— Смилуйся над нами!

— Смилуйся!

Теперь Кшися молилась чуть слышно, но Кетлинг видел, что девушка содрогается от рыданий. Она все никак не могла успокоиться, потом, опомнившись, долго еще неподвижно стояла на коленях, наконец поднялась и сказала:

— Пойдемте...

И они снова долго шли узким переходом. Кетлинг надеялся, что сейчас здесь услышит от нее какой-нибудь ответ, заглядывал ей в глаза, но ответа не последовало.

Кшися шла, почти бежала, словно желая как можно скорее оказаться в зале, где их дожидался пан Заглоба.

Но когда они были в десяти шагах от двери, рыцарь схватил ее за край платья.

— Панна Кристина! — воскликнул он. — Ради всего святого, умоляю...

Тут Кшися обернулась и, схватив его руку, прижала ее к губам с такой лихорадочной поспешностью, что он не успел этому воспротивиться.

— Люблю тебя всей душой, но никогда не буду твоею! — сказала она.

И не успел изумленный Кетлинг и слова вымолвить, как она добавила:

— Забудь обо всем, что было!

Через мгновение они оказались в зале. Слуга мирно дремал в одном кресле, Заглоба — в другом. Однако приход молодых людей разбудил их. Заглоба, приоткрыв один глаз, посматривал полусонно. Понемногу, однако, он вспомнил, с кем и где находится.

— А, это вы! — сказал он, одергивая пояс на животе. — Мне снилось, что короля мы избрали, но это был Пяст.[25] На клиросе побывали?

- Побывали.
- А может, душа покойной Марии Людвики вам явилась?
- О да, — глухо ответила Кшися.

ГЛАВА XIV

Выйдя из замка, Кетлинг, еще не опомнившись от Кписиных слов и желая побыть в одиночестве, распрощался у ворот с нею и с Заглобой, и они отправились в гостиницу. Бася с пани Маковецкой уже успели вернуться от тетушки, и почтенная женщина приветствовала пана Заглобу такими словами:

— От мужа письмецо пришло, они с Михалом время вместе коротают. Слава богу, оба живы, здоровы, вот-вот домой нагрянут. Тут и тебе, сударь, есть весточка, от Михала, а мне от него только в мужнином письме приписка. Муж пишет, что тяжбу с Жубрами касательно Басиной деревеньки закончил в ее пользу. Теперь и у них сеймики на носу... Пишет он, имя пана Собеского там большую силу имеет, на выборы всякий народ приедет, но в наших краях все за пана коронного маршала горой. Тепло у них и дожди пошли. В Верхутке пристройки наши сгорели... Дворовый не погасил огня, а тут — ветер...

— Где письмо от Михала? — спросил пан Заглоба, прерывая поток новостей, которые почтенная пани Маковецкая выпалила одним духом.

— Да вот же оно! — отвечала пани Маковецкая, подавая письмо. — Ветер поднялся, а народ весь на ярмарке гулял.

— Как же письма сюда попали? — снова спросил пан Заглоба.

— К пану Кетлингу в усадьбу доставлены были, а оттуда их человек принес... Ну вот я и говорю, тут как на грех ветер поднялся...

— Не угодно ли послушать, пани благодетельница, что брат пишет?

— Как же, как же, отчего не послушать...

Пан Заглоба сломал сургуч и начал читать, сначала вполголоса самому себе, а потом громко для всех:

— «Посылаю вам первое письмо, а второе, должно быть, и не последует, потому как и оказии здесь редкие, да скоро я и сам *personaliter* «Лично (лат.).» перед вами предстану. Хорошо здесь, в поле, только сердце мое с вами, нет конца мыслям и воспоминаниям, для которых *solitudo* «Уединение (лат.).» любой компании милее! У нас здесь теперь поспокойнее стало, татары притихли, только кое-где отряды небольшие в травах попрятались, мы две вылазки сделали, да так успешно, что у них и свидетеля поражения не осталось».

— Молодцы наши, не дали им спуска! — воскликнула радостно Бася. — Ох, хорошо быть солдатом!

— «Дорошенковские ребята, — читал далее Заглоба, — озорвать горазды, да только без орды сложили крылья. Намедни языка поймали, говорит, ни один чамбул с места не тронется, а я полагаю, что коли до сей поры не было ничего, то уже и не будет, скоро неделя, как травы зазеленели, и коней пасти можно. В ярах и в оврагах снег еще подзадержался, но степь зеленая, ветер теплый, от коего уже и кони линяют, а это весны первый signum. Я послал за заменой, вот-вот она подоспеет, дождусь и сразу в дорогу... Пан Нововейский вместо меня будет нести службу, но только ее и нет почти. Мы с паном Маковецким день-деньской лис травим единой потехи ради, потому как весной мех непригодный. Дроф тут тьма-тьмущая, а челядинец мой подстрелил из самопала пеликана. Обнимаю вас от всего сердца, целую ручки сестре своей, благодетельнице, а также панне Кшисе, на ее благосклонность fortissime «Особенно (лат.).» уповаю, и молю бога лишь об одном, чтобы доброта ее оставалась неизменной. Кланяйся от меня панне Басе. Нововейский всю свою злость за отказ на местных головорезах выместил и шеи им накомтылял, да все равно не унялся. Видно, не больно ему полегчало, бедняге. Поручаю вас богу и его милосердию.

Р. S. У проезжих армян купил я в подарок панне Кшисе горностаевых палантин, глаз не оторвешь; а для гайдучка припас сладостей турецких».

— Пусть пан Михал сам их ест, а я не маленькая, — отвечала Бася, и щеки у нее запылали, будто ее обидел кто.

— Иль ты не рада, что он скоро вернется? Сердишься на него? — спросил пан Заглоба.

Но в ответ она что-то буркнула, видно слегка досадуя, что пан Михал не принимает ее всерьез, да еще долго размышляла о дрофах и пеликане, о котором прежде не слыхивала.

Покуда читали письмо, Кшися сидела с закрытыми глазами, спиной к свету, и это было для нее спасением, потому что домоладцы не видели ее лица, а то они сразу догадались бы, что с ней творится неладное. Разговор в костеле, а теперь письмо от пана Володыёвского были для нее подобны ударам грома. Чудный сон рассеялся. С этой минуты девушка оказалась лицом к лицу с действительностью, тяжелой, как несчастье. У нее не было сил, чтобы тут же мгновенно собраться с мыслями, и только смутные, неясные ей самой чувства теснили грудь. Володыёвский со своим письмом, с обещанием скорого приезда и с горностаевым палантином показался ей пошлым до отвращения. И напротив, никогда еще Кетлинг не был ей так дорог. Сами мысли о нем были ей дороги, его слова, его лицо, и даже печаль его казалась бесценной. И вот нужно отойти в сторону от своей любви, от этого обожания,

от того, к чему рвется сердце и тянутся руки; оставить любимого человека в отчаянье, в вечной грусти, убитого горем и отдать душу и тело другому, который из-за этого чуть ли не ненавистным становится.

«Нет, нет, не совладать мне с собою!» — повторяла в душе Кшися. И чувствовала себя пленницей, которой вяжут руки, а ведь она сама их себе связала, могла же она сказать Володыёвскому, что будет ему сестрой, не боле.

Вспомнился ей и недавний поцелуй, на который она ответила. Стыд и раскаянье овладели ею. Любила ли она уже тогда Володыёвского? Нет! В сердце ее не было любви, было сострадание, любопытство, озорство какое-то, и все это под покровом сестринского чувства.

Только теперь она поняла, что поцелуй этот был от лукавого и разница между ним и поцелуем по любви такая же, как между ангелом и дьяволом. Кроме презрения к себе, Кшисю разбирал еще и гнев, но душа ее возроптала и против Володыёвского. Он тоже был виноват, почему же и раскаянье, и разочарование, и угрызения совести выпали только на ее долю? Почему бы и ему не испить эту чашу? И неужто она не вправе сказать ему, когда он вернется: «Я ошиблась... Сострадание к вам приняла за чувство. Ошиблись и вы; отрекитесь же от меня, как я от вас отрекаюсь!..»

При мысли о его грозном гневе волосы у нее стали дыбом от страха, но боялась она не за себя, а за любимого, которого ждала месть. Воображение рисовало ей такие картины: Кетлинг вступает в поединок с Володыёвским, сабля которого не знает пощады, и падает замертво, словно цветок под взмахом косы; она видела его кровь, его бледное лицо, закрывшиеся навеки глаза, и страдания ее превзошли всякую меру.

Кшися быстро встала и ушла к себе, чтобы скрыться от людей, не слышать больше разговоров о Володыёвском и о его скором возвращении. Злость и досада против маленького рыцаря разбирали ее все больше.

Но раскаянье и печаль шли за ней по пятам, не покинув в часы молитвы, а когда она, измученная, легла в постель, сели на краешек ее кровати и завели с ней разговор.

— Где он? — спросила печаль. — Вот видишь, он и до сей поры не вернулся; бродит где-то в ночную пору, руки в отчаянье ломая. Ты бы рада любую бурю от него отвести, жизни ради него бы не пожалела, а вместо этого напоила ядом, нож вонзила в сердце...

— Если бы не легкомыслие, не ветреность, с какой ты желаешь заманить в свои сети любого, кого встретишь, — говорило раскаянье, — все могло бы быть иначе, а теперь тебе достаются лишь

слезы. Ты виновата! Ты во всем виновата! Нет выхода, нет спасенья, стыд, боль и слезы — твой удел.

— Помнишь, как он в костеле стоял перед тобою на коленях, — снова заговорила печаль. — Чудо еще, что сердце твое не разбилось от жалости, когда он в глаза тебе смотрел, к доброте твоей взывая. Тут и над чужим-то трудно было бы не сжалиться, а как не пожалеть его — любимого, единственного. Боже, смилуйся над ним, боже, пошли ему утешение!

— Если бы не твое легкомыслие, — снова повторяло раскаяние, — он мог бы заключить тебя в объятья, назвать своей избранницей, женой...

— И вечно быть с тобою! — прибавляла печаль.

— Твоя вина! — восклицало раскаянье.

— Плачь, Кшися, плачь! — вторила ему печаль.

— Слезами вины не смоешь! — возражало раскаянье.

— Делай, что хочешь, но помоги ему, — откликалась печаль.

— Володыёвский убьет его! — тотчас же отозвалось раскаянье.

Кшися в холодном поту приподнялась и села. Ясный свет месяца освещал спальню, которая в белом этом блеске казалась необычной и даже страшной.

«Что же это? — думала Кшися. — Там спит Бася, я вижу ее, месяц осветил ее лицо, но не знаю, когда она пришла, когда разделась, когда легла. Я ведь не спала ни минуты, но, видно, бедная голова моя мне больше не служит...»

Так размышляя, она легла снова, но тотчас же печаль и раскаянье сели на краешек ее кровати, словно две богини, и, следуя своей прихоти, то вдруг тонули в лунной купели, то выплывали из серебряной глубины.

— Нет, не уснуть мне сегодня! — решила про себя Кшися.

И снова принялась размышлять о Кетлинге, с каждой минутой страдая все сильнее.

И вдруг неожиданно в тишине раздался жалобный Басин голос:

— Кшися!

— Не спишь?

— Мне приснилось, что турка пронзил пана Михала стрелой. Господи Иисусе! Сон — вздор! Но у меня зуб на зуб не попадает. Давай помолимся, чтобы бог отвел от него несчастье!

«Пусть бы его кто подстрелил!» — подумала Кшися. Но тут же ужаснулась собственной злобе, и, хотя нечеловеческое усилие ей было надобно, чтобы именно сейчас молиться за счастливое возвращение пана Михала, сказала:

— Хорошо, Бася!

И они обе поднялись с постелей и, встав голыми коленками на залитый лунным светом пол, начали читать молитвы. Голоса их

звучали то тише, то громче, вторя друг другу: казалось, что опочивальня превратилась в монастырскую келью, в которой две маленькие белые монашки свершали ночное бдение.

ГЛАВА XV

На другой день Кшися была уже спокойней, потому что среди множества соблазнов и запутанных тропинок выбрала себе дорогу хоть и тернистую, но не ложную. Вступив на нее, она хотя бы знала, куда придет. Кшися решила все же увидеться с Кетлингом и объясниться еще раз, чтобы оградить его, спасти от прихоти случая. Выполнить это было нелегко. Кетлинг вот уже несколько дней как не показывался на глаза и даже не приходил ночевать.

Кшися теперь вставала на заре и шла в костел доминиканцев в надежде как-нибудь встретить его там и поговорить без свидетелей.

Через несколько дней она столкнулась с ним у самых ворот. Увидев ее, Кетлинг снял шляпу и стоял молча, склонив голову. Бессонница, мрачные мысли вконец измучили его, глаза впали, на висках проступила желтизна; нежное лицо его теперь казалось восковым, он напоминал Кшисе редкостный, но поникший цветок. Сердце у Кшиси обливало кровью, и, хотя ей при ее робости любой решительный шаг был труден, она первая протянула ему руку и сказала:

— Пусть господь вас утешит, поможет забыть все печали.

Кетлинг взял ее руку, приложил к своему пылающему лбу, а потом с жаром прижал к губам, долго не отнимал ее и наконец ответил голосом, исполненным смертельной муки и отчаянья:

— Нет для меня ни утешенья, ни забвенья!..

Кшися едва сдержалась, чтобы не броситься ему на шею и не воскликнуть:

«Люблю тебя больше жизни! Твоя!» Она знала, что, стоит ей расплакаться, она непременно так и скажет, и поэтому долго молчала, сдерживая слезы. Но понемногу превозмогла себя и заговорила спокойно, хоть и быстро, чуть задыхаясь:

— Может, и полегчает тебе, коли узнаешь, что я никому не достанусь... Я иду в монастырь... Не осуждай меня, я и без того несчастна! Умоляю, поклянись, что во имя нашей любви ни одной душе не скажешь ни слова, не доверишь нашей тайны ни другу, ни брату. Это последняя моя просьба. Придет время, и ты узнаешь, почему я так поступила... Но и тогда не суди меня. А сейчас я больше ничего не скажу, я и говорить-то больше не в силах. Поклянись, дай слово, что будешь молчать, не то умру.

— Клянусь и даю слово! — отвечал Кетлинг.

— Да вознаградит тебя господь, а он видит, как я тебе благодарна! И другим не подавай виду, пусть ни о чем не догадываются. Мне пора. Ты так добр ко мне, что я слов не нахожу. Но отныне

нам придется видаться лишь на людях. Скажи мне только, ты не сердишься, не затаил обиды?... Мука — это одно, а обида — совсем, совсем другое... Помни, ты отдаешь меня богу, ему одному... Помни об этом!

Кетлинг хотел что-то сказать, но страдания его были так велики, что лишь тихий стон сорвался с его губ, он обхватил ладонями Кшисино лицо, приблизил к своему и долго не отпускал в знак того, что прощает ее и благословляет.

Они расстались — Кшися пошла в костел, Кетлинг на улицу, подальше от знакомцев на постоялом дворе.

Кшися вернулась домой только к полудню и застала там важного гостя — ксендза подканцлера Ольшовского.[26] Ксендз подканцлер приехал нежданно-негаданно с визитом к пану Заглобе, желая, как он сам говорил, «познакомиться со столь доблестным мужем, разум которого подобен светочу, а военные подвиги — образец для всего рыцарства славной Речи Посполитой».

Пан Заглоба, говоря по правде, был несколько сконфужен, но еще больше польщен тем, что на глазах у всех ему оказана такая честь. Он пыжился, краснел, утирал пот, а при том хотел доказать пани Маковецкой, что такое внимание со стороны столь влиятельной и важной особы для него дело привычное.

Кшися, успевшая познакомиться с прелатом и почтительно поцеловавшая ему руку, уселась с Басей, рада-радешенька, что никто не будет к ней приглядываться и не догадается о недавней буре.

Тем временем ксендз подканцлер с такой щедростью и так обильно осыпал похвалами пана Заглобу, что казалось, он пригоршнями достает их из своих отделанных фиолетовым кружевом рукавов.

— Не думайте, ваша милость, не думайте, — говорил он, — что я приехал сюда единого любопытства ради, дабы взглянуть на мужа, рыцарством нашим столь высокочтимого, хоть почести всегда достойный венец для героя, но туда, где, кроме мужества, опытность и смекалка обитают, люди и для собственной пользы приехать рады.

— Опытность, — смиренно отвечал пан Заглоба, — особенно в нашем военном ремесле, с годами приходит, и кто знает, может быть, именно потому и покойный пан Конецпольский, батюшка хорунжего нашего, случалось, совета у меня спрашивал, а позднее и пан Миколай Потоцкий, и князь Иеремия Вишневецкий, и пан Сапега, и пан Чарнецкий к ней прибегали, но прозвище Улисс для меня слишком лестно, и я от него смиренно отрекаюсь.

— И все же оно так к вам пристало, что иной оратор и подлинного имени не назовет, намекнет только — «наш Улисс», и до-

вольно, все знают, о ком речь. В наш коварный век, когда вокруг все так зыбко, так ненадежно, когда многие, твердость потеряв, из стороны в сторону мечутся, на кого опереться не ведая, я сказал себе: «Иди! Послушай, что говорят люди, избавься от сомнений, просвети ум свой мудрым советом!» Вы догадались, должно быть, что я об избрании короля говорю, когда всякая *sensura candidatorum* «Оценка кандидатов (лат.).» сгодится, а что уж говорить о той, что из ваших уст услышать можно. Слыхал я и среди рыцарей суждение, всеми с великой радостью подхваченное, будто вы без удовольствия на чужеземцев взираете, что так и норвоят усесться на наш благородный трон. Слыхал я, будто сказывали вы, что Вазы не чужие для нас были, потому как в их жилах кровь Ягеллонов текла,[27] а вот эти выскочки и пришельцы (так вы, мол, выразиться изволили) ни старопольских обычаев наших не ведают, ни вольнолюбия нашего уважать не сумеют, и от этого очень легко *absolutum dominium* получиться может.

Отдаю должное вашему уму, вещице это слова, но простите за назойливость, коли спрошу: в самом ли деле вами это сказано было или же глубокие эти сентенции на счет *opinio publico* «Общественного мнения (лат.).» следует отнести?

— Эти дамы всему свидетельницы, — отвечал Заглоба, — пусть они скажут, коли провидение волей своей их наравне с нами даром речи наделило.

Ксендз подканцлер невольно взглянул на пани Маковецкую, а вслед за ней и на обеих барышень, тесно прижавшихся друг к другу.

На мгновенье наступила полная тишина.

И вдруг раздался серебристый голосок Баси:

— А я не слыхала ничего!

Тут Бася смутилась, залилась краской до самых ушей, так что Заглобе пришлось сказать:

— Простите ее, святой отец! Молода и неразумна еще! Но *quod attinet* кандидатов, я не раз сказывал, кабы нам из-за чужеземцев этих наших польских вольностей не лишиться.

— И я того опасаюсь, — отвечал ксендз Ольшевский, — но если бы мы и хотели найти и выбрать Пяста, плоть от плоти, родную кровь, то скажите, в какую сторону обратить сердца наши? Мысль ваша о новом Пясте, достопочтеннейший, столь разумна, что подобно пламени весь край охватила, я и на многих сеймиках, где народ еще подкупом не развращен, один голос слышал: «Пяст! Пяст!»

— Истинно так! — подтвердил Заглоба.

— Но все же куда легче провозгласить «Пяст! Пяст!», — продолжал далее ксендз Ольшевский, — нежели на деле найти того, о

ком мы помышляем ежечасно. Поэтому не удивляйтесь, почтеннейший, если спрошу прямо: кто у вас на примете?

— Кто на примете? — повторил озадаченный Заглоба.

Он оттопырил губу и насупил брови. Трудно было ему ответить так вдруг, потому что до сей поры ни о чем таком он и не помышлял вовсе, не было у него таких мыслей, на которые намекал святой отец. Впрочем, Заглоба и сам отлично видел, что ксендз подканцлер ведет с ним игру, но охотно поддавался, потому что ему это было лестно.

— Я только *in principio* «*В принципе (лат.)*» говорил, что нам Пяст надобен, — ответил он наконец. — Но имени не называл, что правда, то правда.

— Слышал я о горделивых замыслах князя Радзивилла, — сказал ксендз Ольшовский словно бы невзначай.

— Пока грудь моя еще дышит, пока в жилах моих не остановилась кровь, — воскликнул проникновенно пан Заглоба, — не бывать этому! Лучше умереть, чем видеть, как, народ, честь и совесть поправ, предателя и иуду в благодарность за вероломство королем своим выбрал!

— Сдается мне, здесь слышен голос не только разума, но и гражданской добродетели! — заметил подканцлер.

«Эге, — подумал пан Заглоба, — ты со мною затеял игру, дай и я с тобой поиграю».

И тут снова подал свой голос Ольшовский:

— Куда поплывешь ты, без руля и ветрил, корабль отчизны моей? Какие бури, какие скалы тебя ожидают? Не к добру это, ежели рулевым твоим окажется чужеземец, но, видно, быть посему, коли среди сынов твоих достойного не найдется!

Тут он развел своими белыми руками, на которых поблескивали перстни, и, склонив голову, печально произнес:

— Кто остается? Конде, князь Нейбургский, лотарингец?... Других нет!

— Как нет? Есть Пяст!

— Кто же? — спросил князь подканцлер.

Наступило молчание.

И снова заговорил Ольшовский:

— Где тот, один-единственный, кого поддержали бы все? Где найти такого, что пришелся бы рыцарству по вкусу, дабы никто не смел роптать против избранника? Был один среди всех воистину достойный, слава озаряла его подобно солнцу, он был другом твоим, доблестный рыцарь. Да, был...

— Князь Иеремия Вишневецкий! — прервал его пан Заглоба.

— Угадали! Но, увы, он в могиле...

— Жив сын его! — отвечал Заглоба.

Подканцлер зажмурил глаза и замер, потом поднял голову и, взглянув на пана Заглобу, медленно произнес:

— Возблагодарим же всевышнего, что он вдохнул в меня мысль побеседовать с вами. Быть посему! Жив сын великого Иеремии, юный, подающий надежды князь, перед коим Речь Посполитая и по сей день в долгу неоплатном. Но от всех богатств ничего у него теперь не осталось, слава — единственное его наследство. В наш растленный век, когда каждый лишь о золотом тельце помышляет, кто остановит на нем свой выбор, у кого хватит отваги назвать его имя? У вас, почтеннейший, — да. Но много ли таких сыщешь? Да и не диво, что тот, кто всю жизнь сражался как лев на поле брани, найдет в себе силы и на ином поприще не отступить, во весь голос за справедливость ратуя... Но пойдут ли вослед за ним и другие?

Тут ксендз подканцлер задумался и, подняв очи горе, продолжал:

— Пути господни неисповедимы. Но каждый раз, стоит мне вспомнить о вас и о том, что все наше рыцарство готово за вами следовать, я с удивлением зрю, как в душу мою вселяется надежда. Скажите мне как на духу, сын мой, была ли когда-нибудь ноша для вас непосильной?

— Не было такого! — ответил Заглоба с чувством.

— Но сразу напрямик, называть имя князя не следует. Нужно, чтобы уши к нему понемногу привыкли, да и недругам вашим оно не должно внушать опасения, чем козни строить, пусть лучше пошутят да посмеются. Бог даст, когда партии враждовать станут, глядишь, на нем и сойдутся. Прокладывайте ему потихоньку дорогу, не уставайте трудиться, потому что избранник сей вашего опыта и разума достоин. Да благословит вас в ваших намерениях господь!..

— Смею ли я предполагать, — спросил Заглоба, — что и вы, святой отец, на князя Михала делаете ставку?

Ксендз подканцлер вынул из-за рукава маленькую книжку, на которой чернел напечатанный жирными буквами титул *Censura candidatorum*, и сказал:

— Читайте, сын мой, пусть книжечка эта сама обо всем скажет.

Тут ксендз подканцлер собрался было уходить, но Заглоба остановил его:

— Э нет, святой отец, я еще не все сказал. Я хотел бы воздать благодарность всевышнему за то, что перстень с печаткой теперь в таких руках, что людские сердца податливей воска делают.

— О чем вы, сын мой? — удивленно спросил подканцлер.

— А еще я хочу, чтоб вы знали, святой отец, юный князь мне самому пришелся по сердцу, потому что я отца его почитал и

любил и, было дело, под его началом дрался вместе с друзьями моими, и они тоже возрадуются, что имеют случай изъяснить сыну всю ту любовь, что к батюшке его питали. Потому-то я и готов за этого претендента не щадя живота своего биться и еще сегодня потолкую с паном подкоморием Кшицким,[28] давним моим приятелем, человеком знатным, которого вся шляхта почитает, да и трудно было бы его не любить. Оба мы будем делать все, что в силах наших. Бог даст, труды наши не останутся втуне.

— Пусть ангелы господни осеняют ваш путь, сын мой, — отвечал ксендз подканцлер, — коли так, ничего более и не надобно.

— Кроме благословения вашего. И еще одного лишь мне хотелось, чтобы вы, святой отец, не подумали обо мне так: «Свои собственные *desiderata* я ему внушил, вдолбил этому дурню, что, дескать, это он сам кандидатуру князя Михала *invent* «*Придумал (лат.)*», иными словами говоря, попался дурачок на крючок... Святой отец! Я за князя Михала стою, потому что он мне самому по нраву пришелся, вот в чем соль! И вашей милости, как я погляжу, — тоже. Вот в чем соль! Я за него — ради княгини-вдовы, ради друзей, ради веры в столь быстрый разум, явивший нам сейчас истинную Минерву. — Тут пан Заглоба слегка поклонился подканцлеру. — Но не оттого вовсе, что как дитя малое дал себя уговорить, будто это собственное мое желание, и не оттого, наконец, что дурень я последний, а потому, что, коли кто мудрый мудрое слово скажет, старый пан Заглоба ответить рад: «Быть посему!»

Тут старый шляхтич еще раз склонился в поклоне и умолк. Ксендз подканцлер сначала было смутился, но, видя доброе настроение шляхтича и то, что дело приняло такой удачный оборот, рассмеялся от души и, схватившись за голову, стал повторять:

— Улисс, ни дать ни взять Улисс! Ах, сын мой, коли хочешь доброе дело сделать, политику соблюдать надобно, но с вами, как поглядишь, лучше сразу перейти к сути. До чего же вы мне по нраву пришли!

— Точь-в-точь как мне князь Михал пришелся!

— Да пошлет вам господь здоровья! Хо-хо! Преподали вы мне урок, ну да я не в обиде. Вас на мякине не проведешь... Буду рад, коли сей перстенок напоминанием о нашем *colloquium* «*Разговоре (лат.)*» вам послужит.

— Полно, — отвечал Заглоба, — пусть перстенок остается на месте...

— Прошу вас, ради меня...

— Ни боже мой! Ну разве что в другой раз... после избрания...

Ксендз подканцлер понял его слова, не настаивал больше и с довольной улыбкой удалился.

Пан Заглоба проводил до самых ворот и, возвращаясь, повторял:

— Хо! Неплохо я его проучил! Ты умен, но и я не дам промашки!.. Однако честь мне оказана, и немалая! Теперь в эти ворота все чины пожалуют один за другим... Хотел бы я знать, что об этом наши сударыни думают?

Сударыни и впрямь не могли опомниться от изумления и глядели на него как на героя, особенно пани Маковецкая.

— Ну и мудрец же вы, ваша милость, — воскликнула она, — чистый Соломон!

А он, довольный, отвечал:

— Кто-кто, голубушка? Дай срок, увидишь тут и гетманов, и епископов, и сенаторов; еще и отмахиваться от них будешь, разве за портьеру спрячешься...

Разговор был прерван появлением Кетлинга.

— А ты, Кетлинг, нуждаешься в протекции? — воскликнул пан Заглоба, исполненный важности.

— Нет! — ответил рыцарь с грустью. — Протекции мне не нужны, я снова еду, и надолго.

Заглоба поглядел на него внимательно.

— А отчего вид у тебя такой, словно только-только с креста сняли?

— Потому как ехать надобно.

— Далеко?

— Получил я письмо из Шотландии от давних друзей семейства нашего. Дела требуют моего присутствия, уезжаю, может, и надолго... Жаль мне с вами, друзья мои, расставаться, но увы!

Заглоба шагнул на середину комнаты, глянул на пани Маковецкую, а потом поочередно на барышень и спросил:

— Слыхали? Во имя отца, и сына, и святого духа, аминь!

ГЛАВА XVI

Услышав весть об отъезде Кетлинга, пан Заглоба хоть и удивился, но поначалу не заподозрил худого: легко было поверить, что Карл II, припомнив услуги, оказанные семьей Кетлинга трону во времена недавних волнений, решил теперь щедро вознаградить последнего потомка знатного рода. Такая версия казалась весьма правдоподобной. Кетлинг к тому же показал пану Заглобе заморские письма, чем окончательно рассеял все сомнения.

Но отъезд этот угрожал всем планам старого шляхтича, с тревогой думал он о будущем.

Судя по письму, Володыёвский должен вот-вот вернуться, размышлял Заглоба, а там в степи вольные ветры его тоску давно разогнали. Вернется он молодцом и с ходу сделает предложение панне Кшисе, к которой как на грех явную слабость питает, Кшиса, разумеется, даст согласие — как же такому кавалеру и притом брату пани Маковецкой отказать, а бедный любимый гайдучок останется на мели.

Со свойственным старым людям упрямством пан Заглоба решил настоять на своем и устроить Басино счастье. Как ни отговаривал его пан Скшетуский, как ни пытался он сам себя порой урезонить, все было тщетно. Правда, случалось, он давал себе зарок уgomониться, но потом с еще большей страстью возвращался к мысли о сватовстве. По целым дням размышлял он о том, как бы все половчее устроить; придумывал хитроумные ходы и уловки. И до того входил в роль, что когда, как ему казалось, дело сладилося, громко восклицал:

— Да благословит вас бог, дети мои!

Но теперь-то он видел, что строит замки на песке. И, махнув на все рукой, решил положиться на волю Божию, понимая, что едва ли Кетлинг предпримет до отъезда решительный шаг и объяснится с Кшисей.

Любопытства ради Заглоба решил напоследок выпросить у Кетлинга, когда он собирается ехать и что еще хотел бы предпринять, перед тем как покинет Речь Посполитую. Стараясь вызвать Кетлинга на откровенность, Заглоба сказал с озабоченной миной:

— Ничего не попишешь! Ты сам себе господин, не стану я тебя отговаривать, скажи только, когда в наши края вернуться намерен.

— Откуда мне знать, что меня ждет — какие труды и какие тяготы? Вернусь, коли смогу, останусь навсегда, коли придется...

— Увидишь, все равно тебя к нам потянет.

— Дай-то боже, чтобы и могила моя была здесь, на этой земле, что дала мне все, о чем помышлять можно.

— Вот видишь, в иных краях чужестранец вечно пасынком остается, а наша земля-матушка руки к нему тянет и на груди своей согреть готова.

— Правда! Истинная правда. Но, видно, не судьба. На старой родине моей все я могу обрести, все, кроме счастья.

— Хо! Говорил я тебе, братец, останься с нами, женись, да ты не послушал. Был бы женат, непременно бы к нам вернулся, разве что жену через водные стихии переправить решился, чего не советую. Говорил я тебе! Да не слушал ты старика!

Сказав это, пан Заглоба снова метнул взгляд на Кетлинга, но тот по-прежнему сидел молча, опустив голову и глядя в землю.

— Ну и что ты скажешь на это, братец? — помедлив немного, промолвил Заглоба.

— Не было к тому повода никакого, — уныло отвечал рыцарь.

— А я говорю, был! А если нет, то отныне не перепоясать мне больше этим вот поясом своего брюха. Кшися достойный предмет, и ты ей мил.

— Дай бог, чтобы и впредь так было, даже если и моря нас разделят.

— Ты что-то еще сказать хотел?

— О нет, ничего боле!

— А с нею ты объяснился?

— Об этом ни слова! Мне и без того уезжать тяжело.

— Кетлинг, хочешь, я за тебя объяснюсь, пока не поздно?

Кетлинг, помня, как молила его Кшися держать их чувства в тайне, подумал, что, быть может, доставит ей радость, коли, не упуская случая, вслух от них отречется.

— О нет, сударь, — сказал он, — в этом нет никакого проку, я это знаю и посему сделал все, чтобы избавиться от пустых мечтаний, а впрочем, спрашивай, коли надеешься на чудо!

— Гм! Если ты сам от нее избавиться постарался, тут и впрямь никто не поможет. Только, признаться, я полагал, что ты рыцарь похрабрее, — сказал Заглоба с горечью.

Кетлинг встал и, воздев руки к небу, с жаром произнес:

— Что толку мечтать о прекрасной звезде на небе? Мне до нее не достать, и она ко мне спуститься не может. Горе тому, кто вотще о золотой луне вздыхает!

Тут пан Заглоба засопел от гнева. У него даже дух перехватило, и он долго не мог промолвить ни слова, наконец, поостыв немного, пропыхтел:

— Послушай, дружок, не считай меня дурнем и, коли истиной угостить хочешь, знай, что даешь ее человеку, который не беле-

ной, а хлебом да мясом привык кормиться. Если я скажу сейчас, что шапка моя — луна, до которой не дотянуться, придется мне с голой лысиной разгуливать, и мороз, как злая собака, будет меня за уши хватать. Я таких истин не приемлю, потому что знаю, девка эта сейчас рядом в задней комнате сидит, она ест и пьет, как все люди, а когда ходит, ногами перебирает; на морозе у нее нос краснеет, в жару ей жарко, когда комар ее укусит — ей почесаться охота, а на луну она только тем похожа, что без бороды. А если на твой лад рассуждать, то любая баба астролог великий! Что же касается Кшиси, то смотри, если ты на нее не глядел, не сулил ей ничего — твое дело, но если ты голову девке вскружил, а теперь говоришь «луна золотая» и сбежать норовишь, значит, честь свою, равно как и разум, любой пищей накормить способен. Вот в чем соль!

— Не сладко, а горько во рту у меня от пищи, которой питаюсь, — отвечал ему Кетлинг. — Еду я потому, что так суждено, а не спрашиваю потому, что не о чем. Но вы, ваша милость, судите обо мне ложно. Видит бог, ложно!

— Кетлинг! Ты человек честный, я это знаю, только что вы за люди, в толк не возьму. В наше время парень шел к девке и говорил ей прямо: «Хочешь — будь моей женою, а не хочешь — бог с тобою». И никакого тумана не было. А тот, кто сам искусством красноречия не владел, посылал вместо себя кого-нибудь побойчее. Я свои услуги тебе предлагал и сейчас предлагаю. Пойду... спрошу, ответ тебе доложу, а ты решай — ехать тебе или оставаться...

— Поеду! Иначе быть не может и не будет!

— Поедешь — вернешься.

— Нет! Сделай одолжение, ни слова больше об этом. Коли хочешь полюбопытствовать, спроси, но меня не вмешивай...

— О боже! Неужто ты уже спрашивал?

— Ни слова о ней! Умоляю!

— Добро, посудачим о погоде... Будьте вы неладны с вашими манерами! Ты должен ехать, а я здесь проклинать все на свете!

— Прощайте, ваша милость, мне пора!

— Погоди! Погоди! Дай остыну немного! Кетлинг, друг! Когда едешь?...

— Как только с делами покончу. Хотел бы из Курляндии своей доли от аренды дождаться, а поместье, в котором мы жили, я бы продал, коли охотник найдется...

— Пусть Маковецкий купит, а не то Михал! Помилуй бог! Неужто так и уедешь, с Михалом не простившись?

— Рад был бы с ним проститься.

— Он вот-вот будет! Ей-богу! Может, он вас с Кшисей сведет...

Тут пан Заглоба умолк, охваченный смутной тревогой.

«Удружить я Михалу старался, да, видать, нечистый меня попутал, того и гляди, у Кетлинга с Михалом discordia «Размолвка (лат.)» получится, нет уж, пусть шотландец отправляется подобра-поздорову».

Потирая лысину, пан Заглоба сказал:

— Толковал я с тобой о том о сем, потому как добра тебе желаю. Люблю от души, вот и стараюсь любыми средствами удержать, даже Кшисей, как мыша кусочком сала, приманивал... Но это все по доброте сердечной. Что мне старому до ваших дел? От чистого сердца старался, ей-богу!.. А в сваты не набиваюсь, коли и хотел бы сосватать кого, с себя бы начал... Дай поцелуемся на прощанье, и прости, ежели обидел...

Кетлинг заключил пана Заглобу в объятья, тот расчувствовался и велел подать бутылку вина, приговаривая:

— Теперь по случаю отъезда каждый день не грех осушить по бутылке.

Осушили бутылку, после чего Кетлинг, простившись, ушел. А вино меж тем взбодрило дух старого рыцаря, он снова принялся размышлять о Басе, о Кшисе, о Володыёвском, о Кетлинге; соединял сердца, примирял, благословлял и, наконец, соскучившись по своим любимицам, сказал себе:

— Пойду посмотрю, что-то там мои козочки подделывают.

Барышни сидели в дальнем покое, по ту сторону сеней, и шили. Пан Заглоба поздоровался с ними, прошелся из угла в угол, еле волоча ноги — они ему особенно после опрокинутой сулейки служили не слишком исправно. Прохаживаясь, старик поглядывал на барышень. Они сидели рядышком, и светлая головка Баси касалась темной Кшисиной головы. Бася следила за ним взглядом, а Кшися вышивала, да с таким усердием, что только знай мелькала игла.

— Гм! — подал голос Заглоба.

— Гм! — повторила Бася.

— Не дразни меня, я нынче сердитый.

— Ох, кабы мне головы не лишиться! — с притворным испугом воскликнула Бася.

— Не треци, трещотка! Лучше за язычок свой побойся!

Промолвив это, пан Заглоба подошел к девицам вплотную и, уперев руки в боки, спросил в лоб:

— Пойдешь за Кетлинга? Присылать сватов?

— Хоть пятерых! — воскликнула Бася.

— Цыц, егоза, не о тебе речь! Кшися, с тобой разговор! Пойдешь за Кетлинга?

Кшися слегка побледнела, хотя поначалу тоже было подумала, что Заглоба не ее, а Басю спрашивает; оторвав от вышиванья взгляд, она посмотрела на старика своими ясными темно-голубыми глазами.

— Нет! — отвечала она спокойно.

— Ну что же, коротко и ясно! И на том спасибо. Как угодно будет! А почему это вдруг такая к нему немилость?

— Потому что я ни за кого не пойду!

— Кшися! Кому другому сказки сказывай! — воскликнула Бася.

— А отчего это, позвольте спросить, столь явное к браку небрежение? — продолжал расспросы пан Заглоба.

— В монастырь пойду, — отвечала Кшися.

И такая печаль и решимость были в ее голосе, что ни Бася, ни пан Заглоба ни на мгновение не приняли слова ее за шутку.

Их оторопь взяла, и они долго в изумлении глядели то друг на друга, то на Кшисю.

— Гм! — первым отозвался пан Заглоба.

— В монастырь пойду! — кротко повторила Кшися.

Бася глянула на нее, и вдруг руки ее обвились вокруг Кшисиной шеи, а румяные губы коснулись Кшисиной щеки.

— Кшися! — воскликнула она. — Скажи, скажи, что это неправда, что ты нарочно все это выдумала! А то разревусь, ей-ей, разревусь, вот увидишь...

ГЛАВА XVII

После свидания с Заглобой Кетлинг заглянул к пани Маковецкой и объяснил ей, что из-за неотложных дел своих должен остаться в городе, а быть может, перед большим путешествием, заехать на несколько недель в Курляндию, и потому не сможет сам принять столь любезную его сердцу гостью в своей усадьбе. Он умолял, чтобы она, как и прежде, считала дом его своим и жила там и далее, дожидаясь мужа и пана Михала, тем паче что выборы скоро. Не желая, чтобы домик пустовал безо всякой пользы, пани Маковецкая согласилась.

После этого разговора Кетлинг исчез и не появлялся больше ни в гостинице, ни в усадьбе, куда вскорости вновь переехала пани Маковецкая с барышнями. Но одна только Кшися чувствовала его отсутствие: у пана Заглобы выборы были на уме, а Бася с тетушкой день-деньской толковали о Кшисином решении уйти в монастырь.

Пани Маковецкая не смела отговаривать Кшисю от столь важного шага, полагая, что едва ли и ее муж отважится на такое: в те времена считалось, что препятствовать подобным решениям грех и богопротивное дело.

Один только пан Заглоба при всей своей набожности мог бы, пожалуй, сказать что-нибудь супротив, если бы его это хоть чуточку трогало, но его это ничуть не трогало, и он тихо выжидал, радуясь в душе, что все к лучшему и Кшися не будет стоять на дороге его любимого гайдучка. Теперь пан Заглоба уверовал наконец, что его тайные планы сбудутся, и со всей страстью занялся подготовкой к выборам; он частенько навещал съехавшуюся в столицу шляхту, а не то проводил время в беседах с ксендзом Ольшовским, которого в конце концов полюбил, став его верным наперсником.

После каждой беседы с ним он возвращался домой все более страстным приверженцем Пяста и все более яростным недругом чужеземцев. Помня слова ксендза подканцлера, он не лез на рожон, но не проходило дня, чтобы ему не удалось склонить кого-нибудь в пользу своего кандидата, и случилось так, как оно частенько бывает: Заглоба вошел в азарт, забыв обо всем на свете, разумеется, кроме желания просватать Басю за Володыёвского.

А меж тем время избрания близилось.

Уже весна освободила из ледяных оков реки, подули теплые сильные ветры, от дыхания которых на деревьях распускаются листья, а если верить примете, рассыпаются цепочки ласточек, чтобы потом в любую минуту вынырнуть на ясный солнечный

свет из холодной бездны. Вместе с ласточками и другими перелетными птицами поспешили на торжества и гости.

Первыми слетелись купцы, которым такой съезд сулил немалые барыши, ведь народу, если считать вельмож с их двором, шляхту, слуг и войско, собиралось эдак с полмиллиона. Были здесь и англичане, и голландцы, и немцы, и москали, понаехали татары, турки, армяне и даже персы, привезя с собою сукна, плотно, ткани дамасские, парчу, меха, драгоценности, благовония и всевозможные сладости. В городе и в слободах сколотили ряды, разложили товар. И в деревнях были свои базары, всяк понимал, что город не вместит и десятой доли всех выборщиков и целые их толпы останутся за городскими стенами, как, впрочем, и всегда во время избрания и коронации бывало. Со всех концов стала съезжаться и шляхта, да так дружно, такими несметными полчищами, что коли бы она всегда так у рубежей Речи Посполитой в минуты опасности стояла, никогда бы вражеской ноге их не переступить.

Ходили слухи, что на выборах будет беспокойно, потому что страсти бушевали вокруг трех претендентов: Конде, герцога Нейбургского и герцога Лотарингского. Говорили, что каждая партия будет биться за своего претендента.

Беспокойство овладело сердцами, дух соперничества разгорался все жарче.

Кое-кто поговаривал и о межусобицах, слухи эти были любимой пищей для военных дружин, что водились при каждом магнате. Они съезжались заранее, готовые к стычкам.

Когда Речь Посполитая попадала вдруг в беду, когда неприятель заносил над головою меч, не мог король, не могли гетманы горсточку войска собрать, а сейчас Радзивиллы сами пожаловали, да еще законам вопреки тысячное войско привели. Немалое войско собрали и Пацы; да и всеильные Потоцкие были наготове; чуть меньше солдат было у других вельмож польских, литовских и русских. «Куда поплывешь ты, без руля и ветрил, корабль отчизны моей?» — все чаще вопрошал ксендз Ольшовский, но и сам он тоже был корыстен; о себе и собственном могуществе думали эти жалкие честолюбцы, алчные и развращенные, готовые в любую минуту разжечь огонь межусобной войны.

Шляхта все прибывала, и было ясно, что, когда дело дойдет до избрания, против эдакого сборища не устоять ни одному магнату. Но и эта толпа неспособна была мирно вывести корабль Речи Посполитой на тихие воды, умы людей этих были погружены во мрак и мглу, а души развращены.

Все твердили, что выборы будут роковыми, но никто не знал, что они окажутся всего-навсего жалкими, ведь, кроме пана Загло-

бы, почти все, кто трудился во имя Пяста, не догадывались о том, что из-за тупости шляхты и войны меж магнатами посадить князя Михала на трон не составит труда. Один Заглоба чувствовал себя в родной стихии. Едва лишь открылся сейм, он перебрался в город и только изредка наведывался в усадьбу навестить Басю. С той поры, как Кшися собралась в монастырь, Бася приуныла, и старик частенько забирал ее в город поглядеть на базары и развлечься немного.

Выезжали они ни свет ни заря, возвращались к ночи. Все было Басе в новинку и радовало взор: люди, редкостные товары, пестрота толпы, пышность и великолепие войска. Глаза ее сверкали, словно два уголька, она без конца вертела головой во все стороны, точно на шарнирах, не в силах налюбоваться и наглядеться, и без конца задавала пану Заглобе вопросы, а он рад был лишний раз показать свою ученость и житейскую мудрость. Иногда их коляску сопровождал целый эскорт; рыцари восхищались Басиной красотой, живостью и быстротою ума, а Заглоба частенько рассказывал им историю про утиную охоту и подстреленного из дробовика татарина, чем приводил их в полный восторг.

Однажды весь день глядели они на свиту и войско Феликса Потоцкого и только поздним вечером собрались домой. Ночь была светлая и теплая; над лугами висел густой белый туман. Пан Заглоба любил повторять, что на большой дороге, где столько солдатни и челядинцев, следует остерегаться разбойников, но на этот раз он крепко заснул; дремал и кучер; только Бася, воображение которой никак не могло успокоиться, не спала.

Вдруг до слуха ее донесся конский топот.

Потянув пана Заглобу за рукав, Бася сказала:

— Ох, кто-то за нами шпарит!

— Что, как, где?

— Шпарит, говорю, за нами!

Пан Заглоба проснулся окончательно.

— Вот! Сразу — «шпарит»! Может, едет кто той же дорогой...

— Разбойники это, разбойники, не иначе!

Бася говорила с такой уверенностью, потому что ей ужасно хотелось приключений, встречи с разбойниками. Она давно ждала случая показать свою удаль и, когда пан Заглоба, кряхтя и бормоча что-то себе под нос, достал с сиденья пистолеты, которые всегда имел при себе «на случай», стала упрашивать его, чтобы один он непременно дал ей.

— В первого, кто приблизится, я без промаха выстрелю. Тетушка из мушкета стреляет скверно, но она впотьмах не видит ни зги. Поклясться могу, разбойники! Ах боже! Хоть бы они нас заделали! Дайте пистолет, да поживее!

— Идет! — отвечал Заглоба. — Я дам пистолет, а ты дай слово, что раньше меня, пока я «пли» не скомандую, не выстрелишь. Тебе только дай ружье, и ты готова, не спросив «стой, кто идет?», пулнуть в первого встречного, а потом разбирайся!

— Так сначала я спрошу: «Стой, кто идет?»

— Ба, а если это пьянчужки какие едут и девице что-нибудь не вполне галантное скажут?

— Пальну тогда немедленно!

— Ах ты, сорвиголова! Вот и вози тебя после этого в столицу. Сказано — без команды не стрелять!

— Я спрошу: «Кто идет?», но басом, так, что и не догадается никто.

— Будь по-твоему! Гм! Они уже близко. Не бойся, это люди порядочные, грабители выскочили бы из оврага.

Но так как разбойников на дорогах хватало и рассказов про всякие случаи тоже, пан Заглоба приказал ехавшему впереди челядинцу остановиться на свету, в нескольких шагах от поворота с черневшими впереди деревьями.

Тем временем четверка всадников была примерно в десяти шагах. Бася, отважившись, спросила грозным басом, которому, как ей казалось, мог позавидовать любой драгун:

— Стой, кто идет?

— А вы чего на дороге застряли? — отвечал один из всадников, решивший, что у них упряжь не в порядке или колесо сломалось.

Услышав этот голос, Бася тотчас опустила пистолет и воскликнула:

— Это же дядюшка! Ей-богу!

— Какой такой дядюшка?

— Маковецкий!

— Гей там! — крикнул Заглоба. — Уж не пан ли это Маковецкий с паном Володыёвским едут?

— Пан Заглоба? — отозвался маленький рыцарь.

— Михал, друг!

Тут пан Заглоба стал поспешно вылезать из брички. Только он перекинул одну ногу, как Володыёвский соскочил с коня и в мгновение ока оказался рядом. Узнавши при свете месяца Басю, он схватил ее за обе руки и воскликнул:

— Привет и поклон вам сердечный! А где панна Кшися? Сестра? Все здоровы?

— Слава богу, здоровы! Приехали! Наконец-то! — отвечала трепещущая от волнения Бася. — И дядюшка здесь? Дядюшка!

Воскликнув это, она кинулась на шею пану Маковецкому, подошедшему к повозке, а пан Заглоба тем временем заключил в объятья пана Володыёвского. После долгих приветствий началась

церемония знакомства пана стольника с паном Заглобой, и оба всадника, отдав коней челядинцам, пересели в повозку — Маковецкий с Заглобой на заднее сиденье, Бася с Володыёвским — на переднее.

Расспросам, возгласам, восклицаниям не было конца, как всегда после долгой разлуки.

Пан Маковецкий спрашивал про жену, а Володыёвский еще раз осведомился о здоровье панны Кшиси; он, казалось, был несколько озадачен внезапным отъездом Кетлинга, но все это мелькнуло вскользь, второпях, пан Михал спешил рассказать, что поделывал в глухой стороне, у себя на заставе, как он там за ордынцами охотился, как ему порой тоскливо бывало, но и полезно — старой жизни изведать.

— Вот стало быть... — рассказывал он, — поначалу показалось мне, будто давние времена вернулись, и мы — Скшетуский, Кушель, Вершулл и я — снова в Лубнах вместе. И только, когда мне рано утром казачок ведро воды умыться принес, глянул я на себя — а волосы на висках седые, нет, думаю, не тот я, что был, но, впрочем, иной раз кажется, что пока желания прежние остаются, то и человек прежний.

— В самую точку попал! Видно, там на свежей травке да на приволье и разум твой сил набрался, потому что никогда еще столь быстрым не был. Как говорится, охота пуще неволи! Нет лучшего лекарства от меланхолии.

— Что правда, то правда, — добавил пан Маковецкий. — Там у Михала колодцы глубокие, потому как родников поблизости нет. И вот скажу я вам, как выйдут на рассвете солдаты к колодцу, как заскрипят журавли, просыпаешься да встаешь с такой охотой, что готов господу бога благодарить за одно только, что на свете живешь.

— Ой! Вот бы мне туда на денечек! — воскликнула Бася...

— Тут только одно средство, — сказал пан Заглоба, — выходи за пана ротмистра замуж.

— Рано или поздно пан Нововейский ротмистром станет, — вставил словечко маленький рыцарь.

— Ну вот! — в сердцах воскликнула Бася, — я, чай, не просила вместо гостинца пана Нововейского везти.

— А я и не его привез вовсе, а сладости да орешки. Панне Басе здесь сладко будет, а ему там, бедняге, горько.

— Вот и отдали бы все ему, пусть грызет орешки, пока усы не вырастут.

— Полюбуйся на них, — сказал Маковецкому Заглоба, — так они всегда, одно только утешенье, что *proverbium* «Пословица (лат.)» гласит: «Кто кого любит, тот того и бьет».

Бася промолчала, а пан Володыёвский, словно бы дожидаясь ответа, весело взглянул на ее юное, освещенное ясным светом лицо, которое показалось ему вдруг таким красивым, что он невольно подумал: «Черт возьми, до чего хороша, плутовка, глаз не оторвешь!..»

Впрочем, и еще какая-то мысль промелькнула у него в голове, потому что он тотчас же обернулся к кучеру:

— А ну гони!

Бричка после этих слов покатила так быстро, что какое-то время все ехали молча, и только, когда колеса зашкрипели по песку, Володыёвский сказал:

— И какая вдруг Кетлинга муха укусила! Перед самым моим приездом, перед выборами — уехать...

— Англичанам столько же дела до наших выборов, сколько до твоего приезда, — ответил Заглоба, — Впрочем, Кетлинг и сам в горе великом, оттого что пришлось ему уехать и нас покинуть!..

Бася уже хотела было добавить: «Не нас, а Кшисю», но что-то удержало ее, и она не сказала ни слова ни об этом, ни о Кшисином решении уйти в монастырь. Женским чутьем она угадала, что обе вести могут причинить пану Михалу боль, заставить его страдать. Эта боль отозвалась в ее душе, и она при всей своей живости вдруг умолкла.

«О Кшисиных помыслах он и так узнает, — подумала Бася, — но коли пан Заглоба не проронил ни словечка, лучше и мне помолчать».

А тем временем Володыёвский подгонял кучера.

— Живей! Живей!

— Лошадей и всю кладь мы в Праге оставили, — говорил пан Маковецкий Заглобе, — и поехали сам-четверт, хоть и время к ночи, но на месте нам не сиделось.

— Верю, — отвечал Заглоба, — видели, чай, какие толпы в столицу съехались? За заставами биваки да торговые ряды — ни пройти, ни проехать. Чего только люди о нынешних выборах не говорят! Дома при okazji все расскажу...

Тут пошли разговоры о политике. Пан Заглоба все старался исподволь вывести позицию стольника, а потом, обернувшись к Володыёвскому, спросил без обиняков:

— Ну а ты, Михал, на чьей стороне будешь?

Но Володыёвский вместо ответа вздрогнул, словно только пробудившись, и сказал:

— Может, они уже спят, а может, мы их увидим сегодня?

— Спят, наверное, — отвечала Бася, и ее чуть сонный голос прозвучал как колокольчик, — но проснутся и непременно выйдут вас встретить.

— Так ты полагаешь, душа моя? — радуясь, спросил маленький рыцарь.

И, снова взглянув на Басю, освещенную светом месяца, невольно подумал: «Ах, черт возьми, до чего хороша!»

До дому было уже рукой подать. Отворив ворота, въехали во двор. Тетушка и Кшися мирно спали, только слуги были начеку, ждали пана Заглобу с барышней к ужину. В доме началась суета; Заглоба велел будить людей, накрыть столы.

Пан стольник хотел подняться к жене, но она, услышав голоса и шум, догадалась, кто приехал, и, наспех накинув платье, сбежала вниз, смеясь и плача от радости; возгласам, объятьям, расспросам, милой болтовне и смеху не было конца.

Пан Володыёвский не сводил глаз с двери, за которой скрылась Бася и откуда вот-вот должна была появиться Кшися, светящаяся тихой радостью, оживленная, с блестящими глазами, с незаплетенной в спешке косой, но гданьские часы, стоявшие в столовой, мерно тикали, время шло, подали ужин, а дорогая его сердцу девушка все не появлялась.

Наконец вышла Бася, но одна, серьезная и какая-то пасмурная, подошла к столу и, придерживая рукой свечу, сказала пану Маковецкому:

— Кшися к ужину не выйдет, нездорова она, и просит вас, дядюшка, подойти к дверям, ваш голос услышать хочет.

Пан Маковецкий тотчас же встал и вышел, а следом за ним и Бася.

Маленький рыцарь нахмурился и грозно сказал:

— Вот уж не думал, что сегодня не увижу панну Кшисю. Правда ли, что она расхворалась?

— Да полно! Здоровехонька, — отвечала пани Маковецкая, — но только не до нас ей.

— Отчего вдруг?

— А разве почтеннейший пан Заглоба не говорил тебе о ее намереньях?

— О каких намереньях, бога ради?

— В монастырь уйти надумала.

Пан Михал заморгал глазами, как человек, который не расслышал, что ему говорят, потом изменился в лице, встал, снова сел; в одно мгновение на лбу его выступил пот, он отирал его рукавом. В комнате воцарилась гробовая тишина.

— Михал! — позвала его сестра.

Он окинул блуждающим взором ее, пана Заглобу и вдруг произнес страшным голосом:

— Уж не проклятье ли надо мною?

— Михал, побойся бога! — воскликнул Заглоба.

ГЛАВА XVIII

Этим возгласом маленький рыцарь полностью выдал тайну своего сердца, и, когда он, сорвавшись с места, стремительно покинул комнату, пан Заглоба и пани Маковецкая долго глядели друг на друга в изумлении и тревоге. Наконец пани Маковецкая сказала:

— Ради бога, сударь, умоляю, ступайте к нему, уговорите, утешьте, а не то я пойду.

— Не делайте этого, голубушка, — отвечал Заглоба, — не мы там нужны, а Кшися, а нет ее, лучше его в одиночестве оставить, слова утешения, не ко времени сказанные, лишь тоску нагнать способны.

— Теперь и младенцу ясно, что он в Кшисю влюблен. Кто бы мог подумать! Я всегда замечала, что он ее компании рад, но чтоб такие страсти...

— С готовым решением сюда приехали и в этом свое счастье видел, а тут на тебе — гром среди ясного неба.

— Так что же он об этом никому не сказал ни словечка — ни мне, ни вам, ни самой Кшисе? Может быть, она тогда бы и не придумала такое.

— Сам не пойму, — отвечал Заглоба, — он мне доверял, как отцу родному, на мой разум больше, чем на свой собственный надеялся, а тут молчок. Впрочем, сказал как-то, что Кшися ему друг.

— Ох и скрытный!

— А вы, почтеннейшая, хоть и сестра ему, а не знаете его вовсе. Да у него все помыслы, как глаза у карася, на самом виду. Открытая душа. Но на этот раз обошел он нас, что верно, то верно. Впрочем, можете ли вы поручиться, что у них с Кшисей объяснения не было?

— Пречистая дева! Кшися сама себе хозяйка, мой муж, ее опекун, всегда говорил ей: «Был бы только человек достойный и происхождения благородного, а за богатством не гонись». Если бы Михал перед отъездом с нею объяснился, она бы сказала: «Да!» или «Нет!» — и дело было бы ясное.

— Верно, это его как громом поразило. Вы, почтеннейшая, женским своим чутьем все как есть угадали! Ваша правда!

— Что там правда! Тут умный совет нужен!

— Пусть на Басе женится.

— Но ведь та ему милее... А впрочем... Кабы мне раньше такое на ум взбрело.

— Жаль, что не взбрело.

— Где уж мне... Если такому Соломону, как ваша милость, не взбрело!

— А вы, достопочтенная, откуда знаете?

— Вы ведь за Кетлинга ее сватали.

— Я? Бог свидетель, никого я не сватал. Говорил, что он на нее поглядывает, и это чистая правда, говорил, что Кетлинг кавалер хоть куда, и это правда, но сватать не сватал, это женское дело. У меня дела поважнее, добрая половина Речи Посполитой моим умом живет. Есть ли у меня время о чем ином помышлять, когда я о благе *de publicis* «Общества (лат.).» думаю. Ложку каши иной раз ко рту поднести некогда.

— Ну тогда остается нам только уповать на милость господню. Но, однако, я со всех сторон слышу: пан Заглоба — голова.

— И как им болтать не надоело. Пусть оставят голову мою в покое. А впрочем, совет дам, и не один, а два. Один — пусть Михал женится на Басе, другой — пусть Кшися изменит свое решение. Решение еще не обет!

Тут появился и пан Маковецкий, которому жена тотчас все выложила. Старый шляхтич был озадачен. Михала он любил и уважал от души, но не знал, что придумать.

— Если Кшися упрется, — сказал он, потирая лоб, — отговаривать ее грех!..

— Упрется, непременно упрется! — отвечала тетушка. — Я ее знаю.

— И что это Михал надумал, — заметил стольник, — взял и уехал, ничего не сказав. Ведь эдак невзначай и кто другой мог ему дорогу перебежать.

— Тогда бы она не помышляла о монастыре, — отвечала ему супруга. — Ведь она в выборе своем вольна.

— И то верно! — согласился стольник.

Между тем Заглоба учуял подвох. Если бы он только знал про тайный стовор Кшиси с Володыёвским, то, разумеется, давно бы обо всем догадался, но пока бродил как в тумане.

Однако быстрый его ум уже проникал сквозь завесу, казалось, еще немного, и он разгадает причины таинственного поведения Кшиси и отчаяния Володыёвского.

Чутье подсказывало ему, что здесь замешан Кетлинг. Для подтверждения своих догадок он решил пойти взглянуть на Володыёвского, поговорить с ним с глазу на глаз.

По дороге, однако, засомневался: «И у меня рыльце в пушку, — рассуждал он. — Хотел отведать меда на свадьбе у Михала с Басей, но боюсь, не наварил ли я вместо медовухи горького пива, а ну как Михал, на Кшисю глядя, про старое вспомнит и в монастырь вернется?»

Тут пану Заглобе стало не по себе, он прибавил шагу и поспешил к Михалу.

Рыцарь метался из угла в угол, словно дикий зверь в клетке. Грозные складки на лбу, остановившийся взгляд — все говорило о душевных муках. Увидев пана Заглобу, Володыёвский подошел к нему вплотную и, прижав руки к груди, воскликнул:

— Скажи мне, ваша милость, что все это значит?

— Михал! — отвечал ему пан Заглоба. — Подумай сам, сколько девок каждый год в монастырь уходит. Обычное дело. Есть и такие, что против воли родительской идут, на защиту господу уповая, а ей никто не помеха...

— Довольно! — воскликнул пан Михал. — Хватит секретов! Перед отъездом я предложил ей руку, она дала слово!..

— Гм! — сказал пан Заглоба. — Этого я не знал.

— Но так было!

— Может, вразумить ее удастся!

— До меня ей и дела нет! Видеть меня не захотела! — с болью сердечной сказал Володыёвский. — Я скакал день и ночь, а она и не вышла. Чем я провинился? В каких виновен грехах, что божья кара следует за мной по пятам и гонит, как ветер осенний лист? Одна умерла, другая в монастырь собралась, обеих у меня бог отобрал, должно быть, проклял он меня, всяк находит у него и милосердие, и ласку, только я...

Пан Заглоба испугался, боясь, как бы маленький рыцарь, не помня себя от горя, не допустил бы такого богохульства, как это было после смерти Ануси Борзобогатой, и, чтобы отвлечь его, сказал:

— Полно, Михал, не следует сомневаться в милосердии божьем, грех это, да и кто знает, что ждет тебя завтра? Может, и Кшися, вспомнив о твоём сиротстве, передумает и слово свое сдержит? И разве не радость для тебя и не утешение, что горлинок твоих господь у тебя отбирает, а не простой смертный, что по земле ходит? Разве это было бы лучше, сам подумай?

У маленького рыцаря зашевелились усы, он заскрежетал зубами и воскликнул приглушенным, срывающимся голосом:

— Если бы это был простой смертный? Ха! Хорошо бы! Тогда бы у меня в запасе оставалась месть!

— Ну а теперь остается молитва! — сказал Заглоба. — Слушай меня, дружище, потому что лучшего совета тебе не даст никто... Может статься, бог все к лучшему изменит. Я, признаться, мечтал, что тебе достанется другая, но, глядя на твои страдания, страдаю вместе с тобою и вместе с тобою буду молить бога, чтобы он ниспослал тебе утешение и смягчил сердце суровой твоей избранницы.

Тут пан Заглоба стал утирать слезы искренней дружбы и сострадания. Если бы в его силах было начать игру сначала, он из кожи бы вылез, чтобы вернуть пану Володыёвскому Кшисю.

— Слушай! — сказал он. — Поговори еще раз с Кшисей, расскажи ей про свои страдания, про то, какие муки ты терпишь, и дай тебе бог удачи. Камень у нее, а не сердце, коли она тебе откажет. Но, бог даст, не сделает она этого. Рясу носить похвально, коли она не из чужих страданий сшита. Так ей и скажи. Увидишь... Эх, Михал! Полно! Сегодня мы слезы льем, а завтра, быть может, на помолвке пить будем. Увидишь, быть посему! Бедняжка, должно быть, истосковалась, вот и стала о монастыре помышлять. Пойдет, пойдет она в монастырь, но только в такой, где ты будешь звонить в колокола, на крестины созывая... Может, и правда прихворнула немного, а для отвода глаз сказала про монастырь. Ведь ты от нее самой этого не слышал и, даст бог, не услышишь. Хо! Вы ведь решили все держать в тайне, а она выдать ее не хотела и давай хвостом вертеть! Вертихвостка! Помяни мое слово, это женская хитрость!

Слова пана Заглобы пролились на израненное сердце рыцаря подобно целительному бальзаму; он встрепнулся, глаза наполнились слезами, долгое время он не в силах был слова вымолвить: потом, утерев слезы, кинулся в объятья пана Заглобы.

— Дай бог, чтобы такие друзья не перевелись на свете. Неужто и впрямь все слова твои сбудутся?

— Дя для тебя луну достал бы с неба! Все сбудется, вот увидишь! Или пророчества мои никогда не сбывались, или ты опытности моей и разуму не веришь?...

— Ты не ведаешь, друже, как ее люблю. Ради бога, не подумай только, что я о покойной, о страданице бедной, забыл, каждый день в молитвах ее поминаю! Но и к этой так сердце присохло, как трут к коре древесной. Ненаглядная моя! Сколько я дум о ней передумал. Там, в степях, все ее вспоминал — и утром, и днем, и вечером! А под конец сам с собой разговаривать начал — ведь друга-товарища у меня не было. Вот, ей-богу, иной раз мчишь сквозь бурьян, за татаринoм вдогонку, а все она на уме.

— Верю, как не верить! Я об одной девке так долго плакал, что даже глаз у меня вытек, ну вытечь не вытек, а бельмом зарос.

— Стало быть, ты меня поймешь: приезжаю, а тут на тебе — уйду в монастырь. Но я в разум ее верю, и в сердце, и в слово. А как ты, сударь, сказал: «Рясу не шьют...»

— Из чужих страданий...

— Прекрасно сказано! Жаль, к риторике я не склонен. Там, в глуши, это мне куда бы как пригодилось. Нет душе покоя, но все же слова твои для меня утешение. У нас и правда был уговор все

в тайне держать, стало быть, могла она для отводу глаз и про монастырь вспомнить... Ты еще какой-то дельный *augmentum* привел, вот только вспомнить не могу... Но и так отлегло.

— Прошу ко мне, а впрочем, пусть сюда подадут сулейку. С дороги нет ничего лучше!..

Они поднялись к Заглобе и пили до поздней ночи.

На другой день пан Михал, в самом своем торжественном платье и с торжественным лицом, вспомнив перед этим все доводы, которые самому ему пришли в голову и которые подсказал пан Заглоба, во всеоружии спустился к завтраку. За столом не хватало одной Кшиси, но и она не заставила себя долго ждать: не успел рыцарь проглотить двух ложек похлебки, как в открытых дверях послышался шелест платья, и в столовую вошла Кшися.

Вошла стремительно, не вошла, а вбежала. Она не поднимала глаз, щеки у нее пылали, лицо выражало смятение, неловкость, испуг.

Приблизившись к Володыёвскому, Кшися, не поднимая глаз, молча протянула ему обе руки, а когда он с жаром принялся целовать их, смертельно побледнела, не вымолвив ни слова.

А его сердце исполнилось любовью, восторгом, тревогой, едва он увидел это нежное, изменчивое, как дивная картина, лицо, этот девичий стан, от которого так и веяло теплом недавнего сна; тронули его и боязнь, и робость, проступавшие во всем ее облике. «Цветик ты мой ненаглядный! — думал он про себя. — Чего же ты боишься? Я и жизнь, и кровь свою за тебя бы отдал».

Пан Михал не сказал Кшисе этого вслух, но так долго и с таким чувством прижимал кончики своих острых усов к ее бархатистым ручкам, что на них остались красные следы.

Видя все это. Бася взъерошила волосы, сдвинув их на глаза, чтобы не выдать волнения, но в эту минуту никто на нее не глядел; все взоры были обращены на стоявшую посредине пару, молчание становилось неловким. Первым нарушил его пан Михал.

— Ночь для меня прошла нынче в тревоге и печали, — сказал он, — я всех вчера видел, кроме вас, и к тому же мне столько грустного рассказали, что плакать хотелось и не до сна было.

Кшися, слыша эти бесхитростные речи, побледнела еще сильнее, Володыёвский подумал, что вот-вот она лишится чувств, и поспешил сказать:

— Об этой материи мы еще потолкуем, но сейчас я докучать вам не стану, хочу, чтобы вы отдохнули и успокоились. Я ведь не *barbarus*, не зверь какой, и видит бог, лишь добра вам желаю.

— Спасибо! — шепнула Кшися.

Дядюшка с тетушкой и пан Заглоба делали друг другу знаки, что пора, мол, начать общий разговор, но ни у кого из них не хватило на это духу. Наконец пан Заглоба отважился.

— Надо бы, — сказал он, обращаясь к мужчинам, — в город наведаться. Там перед выборами все так и бурлит, всяк своего ставленника хвалит. По дороге я расскажу вам, кого, по разумению моему, выбирать следует.

Никто не отозвался, пан Заглоба осовело повел глазом по сторонам, потом обратился к Басе:

— Ну а ты, козявка, поедешь с нами?

— Хоть на Русь! — сердито ответила Бася.

И снова наступило молчание. С такими заминками прошел завтрак, разговор не клеился.

Наконец все встали из-за стола. Володыёвский тотчас подошел к Кшисе и сказал:

— Мне непременно надобно поговорить с вами наедине.

После чего подал ей руку, и они прошли в гостиную, в ту самую, что была свидетелем их первого поцелуя.

Посадив Кшисю на софу, он уселся рядом и как ребенка стал гладить ее по голове.

— Кшися, — сказал он наконец ласково. — Ты не боишься, не робеешь больше? Можешь ли ты теперь поговорить со мной спокойно?

Доброта его тронула девушку, и она, осмелев, впервые на мгновение подняла на него взгляд.

— Могу, — ответила она тихо.

— Правда ли, что ты идешь в монастырь?

В ответ Кшися умоляюще стиснула пальцы и прошептала:

— Не сердись на меня, сударь, не проклинай, но это правда!

— Кшися! — сказал Володыёвский. — Неужто ты и впрямь способна топтать чужое счастье, как сейчас мое топчешь? Где твое слово, где наш уговор? Я с богом вести войну не могу, но скажу тебе наперед то, что вчера мне пан Заглоба сказал, рясу из чужих страданий не шьют. Моим горем божьей славы не умножишь, ведь господу весь мир подвластен, всяки народы и земли, моря и реки, птицы в поднебесье, твари лесные, солнца, звезды и все, что только на ум прийти может, и того больше, все его, а у меня ты одна — единственная и бесценная, мое счастье, последняя моя надежда. Неужто ты думаешь, что господь бог, всем владея, захочет у бедного солдата единственное его достояние из рук вырвать? Что, он с добротой его великой, согласится на это, доволен будет? Подумай, что ты ему даешь — себя? Но ты моя, ты обещала сдержатъ слово, стало быть, даешь не свое, а чужое, мою боль, мои слезы, быть может, мою смерть. Есть ли у тебя на это право?

Спроси об этом свое сердце, свой ум, у собственной совести спроси. Если бы я тебя обидел, любовь свою предал, тебя позабыл, в тяжких грехах или в бесчестье каком был повинен — эх, да полно, и говорить о том неохота! Но я поехал в степь, поближе к орде, разбойничков половить и покараулить, для отечества сил и живота своего не жалея, а тебя любил всей душой, о тебе дни и ночи думал и, как олень к воде, птица в небеса, дитя к матери и мать к ребенку, к тебе стремился! И за это мне такая встреча, такая награда? Кшися, друг мой единственный, скажи, что стряслось? Не таись, говори открыто, как я с тобой говорю; не оставляй меня с глазу на глаз с несчастьем, помоги укрепить веру. Ты сама мне дала такое право и не прогоняй теперь.

Не знал бедный пан Михал того, что есть на свете право куда более властное, чем обычные людские права, и повинуюсь ему, сердце лишь вослед за любовью идет и идти будет, а разлюбив, уж одним этим в вероломстве повинно; так гаснет невзначай лампада, когда в ней выгорит масло. Но, не ведая об этом, Володыёвский тщетно обнимал Кшисины колени, умолял ее и просил, а она не могла ответить сердцем и потому лишь потоками слез отвечала.

— Кшися, — сказал наконец рыцарь, вставая, — в слезах твоих счастье мое утонуть может, а ведь я тебя о спасении молю.

— Не спрашивай меня, сударь, о причинах, не ищи правоты, так, видно, быть должно и не будет иначе. Не достойна я такого человека и никогда не была достойна. Знаю я, что тебя оскорбила, и больно мне это, ох как больно... Места себе не нахожу... Боже мой, боже! Сердце разорваться готово. Не держи на меня, сударь, зла, отпусти и не проклинай. — С этими словами Кшися упала перед Володыёвским на колени. — Ах, знаю, знаю, обидела я тебя и молю о снисхождении и милосердии.

Тут темная Кшисина головка склонилась чуть не до земли. Володыёвский тотчас же силком поднял бедную плакальщицу с пола, усадил снова на софу и, как зверь в клетке, заметался по комнате. Иногда он останавливался, обхватив голову руками, потом снова бродил из угла в угол; наконец остановился перед Кшисей:

— Дай же себе еще срок, а мне надежду. Ведь и я не каменный. Почему ж ты безо всякой жалости жжешь меня каленым железом? Ведь когда кожа зашипит, поневоле не вытерпишь. А уж как мне больно, и сказать не умею... Не умею, богом клянусь... Просто-ват я, знаю, лучшие мои годы на войнах прошли... О боже! Пречистая дева!.. И здесь, на этом самом месте, ты о любви говорила! Думал, навек со мной будешь, а теперь — конец, всему конец! Что с тобой случилось? Кто подменил тебе сердце? Кшися, ведь я все тот

же. Ты и знать не хочешь, что для меня этот удар больней, чем для другого, ведь я однажды уже лишился любимой. О боже, что еще ей сказать, чтобы она сжалилась и пощадила?... Адские муки терплю, и никому нет дела. Оставь мне хоть надежду, не лишай всего сразу...

Кшися ничего не отвечала, рыдания сотрясали ей грудь, а рыцарь стоял перед нею, стараясь сдержать свою скорбь, а потом и ярость, и, усмирив себя, наконец повторил:

— Оставь же мне хотя бы надежду! Слышишь?

— Не могу, не могу! — отвечала Кшися.

Услышав это, Володыёвский подошел к окну, приложил голову к холодной раме. Постояв молча, он обернулся, подошел к девушке и тихо сказал:

— Прощай, красавица! Мне здесь делать нечего. Да пошлет тебе господь столько счастья, сколько послал мне горя! Знай, что я прощаю тебя, ныне словом, а даст бог, и сердцем прощу... Имей впредь больше сострадания к чужим мученьям и не давай пустых обещаний. Да что там... В лихой час переступил я эти пороги!.. Прощай!..

Усы у него дрогнули. Он поклонился и вышел. Старики втроем по-прежнему сидели в столовой. Они вскочили, кинулись к пану Михалу, но он только рукой махнул.

— Оставьте! — сказал он и вышел. — Пустое это!..

Из столовой он направился к себе в спальню по узкому переходу. Там у лесенки, ведущей в девичью светелку, его поджидала Бася.

— Пусть господь вас утешит и смягчит Кшисино сердце! — сказала она дрожащим от слез голосом.

Пан Михал, не взглянув, молча прошел мимо. И вдруг им овладел бешеный гнев, горечь переполнила сердце, он обернулся к ни в чем не повинной Басе, лицо его было искажено яростью и насмешкой.

— Дай Кетлингу слово, — сказал он, задыхаясь, — замани его, а потом растопчи, растерзай его сердце и ступай в монастырь.

— Пан Михал! — изумленно воскликнула Бася.

— Натешься вдоволь, насладись поцелуями, а потом иди, кайся!.. Ах, чтоб вам провалиться!..

Этого Бася не снесла. Один бог видел, сколько самопожертвования было в ее пожелании, и в ответ она услышала несправедливый укор, насмешку и оскорбление в тот миг, когда жизнь бы отдала, лишь бы утешить неблагодарного. Этого пылкая душа ее не стерпела, щеки горели огнем, ноздри раздувались от гнева. Не раздумывая ни минуты, Бася, тряхнув непокорными вихрами, воскликнула:

— Так знай же, сударь, не я из-за Кетлинга иду в монастырь!

Сказав это, она взбежала вверх по лестнице и скрылась.

Рыцарь остолбенел от удивления, а потом, будто очнувшись, провел по лицу руками, протирая глаза как человек, едва пробудившийся от сна. И вдруг, побагровев, схватился за саблю и страшным голосом закричал:

— Горе предателю!

Не прошло и четверти часа, как он уже мчался в Варшаву, лишь ветер свистел у него в ушах да комья земли летели из-под копыт коня.

ГЛАВА XIX

Разумеется, отъезд его не остался незамеченным. Стольник с супругой и пан Заглоба то и дело переглядывались, встревоженные не на шутку, словно спрашивая друг друга: «Что-то будет?»

— Боже милостивый! — воскликнула пани Маковецкая. — Неровен час умчит в Дикое Поле, и я его больше не увижу!

— Или же вслед за этой куклой в монастыре спрячется! — в отчаянье воскликнул пан Заглоба.

— Медлить нельзя! — добавил стольник.

Тут двери распахнулись, в столовую как вихрь ворвалась Бася, трепещущая, бледная. Она остановилась посреди комнаты и, закрыв ладонями глаза, затопала ногами, будто малый ребенок, и закричала тоненьким детским голосом:

— Он, спасите, спасите! Пан Михал убьет Кетлинга! Кто в бога верует, пусть едет, остановит!.. Спасите, спасите!..

— Что с тобой? — воскликнул, хватая ее за руки, Заглоба.

— Спасите! Пан Михал убьет Кетлинга! Кровь из-за меня прольется, Кшися погибнет, все из-за меня!

— Говори! — встряхнув ее, воскликнул пан Заглоба. — С чего ты это взяла? Почему из-за тебя?

— Я со злости сказала, что они друг друга любят и что Кшися из-за Кетлинга в монашки идет. Ради всех святых, кто в бога верует, пусть едет, не допустит! Езжай, сударь, скорее, все езжайте, все поедем!

Пан Заглоба, не привыкший в таких случаях время тратить даром, выскочил во двор и тотчас же велел запрягать.

Ошеломленная тетушка хотела расспросить Басю. До сей поры ей и в голову не приходило, что Кшися и Кетлинг любят друг друга, но Бася вылетела следом за паном Заглобой присмотреть, как будут запрягать, помогла вывести лошадей, заложить коляску и, наконец, сев на козлы, с непокрытой головой подъехала к крыльцу, на котором ждали ее собравшиеся в дорогу мужчины.

— Слазь! — сказал ей Заглоба.

— Не слезу!

— А я говорю, слазь!

— Не слезу, садитесь, места хватит, а нет, одна поеду!

С этими словами она взяла в руки вожжи, а мужчины, видя, что спорить с ней — даром терять время, оставили ее в покое.

Тем временем подбежал с кнутом челядинец, а пани Маковецкая успела вынести Басе шубку и шапочку — день был морозный. Поехали. Бася оставалась на козлах, пан Заглоба тщетно упрашивал ее пересесть на переднее сиденье, но она и этого не пожелала,

быть может боясь, как бы он не отругал ее, поэтому ему приходилось кричать во весь голос, а она отвечала, не поворачивая головы.

— Откуда ты про эту парочку знаешь?

— Я все знаю!

— Кшися, что ли, сказала?

— Кшися молчит как рыба.

— Так, может, сам шотландец?

— Нет, но только он из-за нее в Англию собрался. Всех вокруг пальца обвел, кроме меня.

— Чудно! — сказал Заглоба.

А Бася в ответ:

— Это ваша, сударь, работа; вы их свели.

— Сиди тихо, не суй нос не в свое дело! — отвечал Заглоба, больше всего задетый тем, что слова ее слышит латычьевский стольник.

Помолчав немного, он добавил:

— Я их сводил? Я советовал? Это мне нравится!

— А то нет, скажете? — отвечала девушка.

Дальше они ехали в полном молчании. Пан Заглоба, однако, не мог избавиться от мысли, что Бася права и что без него здесь не обошлось. Мысль эта грызла его всю дорогу, а при этом коляска тряслась как проклятая, и старого шляхтича понемногу стали одолевать укоры совести, он готов был винить во всем одного себя. «Володыёвский и Кетлинг имели бы резон, коли б, сговорившись, отрезали мне уши. Женить кого-то против воли, все равно что задом наперед на кобылу сажать. Тыщу раз права эта козявка. Если случится поединок, кровь Кетлинга будет мне вечным укором. И что это мне на старости лет неймется? Не иначе нечистый попутал. Мало того, напоследок чуть было в дураках не оставили, еле догадался, с чего вдруг Кетлинг собрался за море ехать, а эта галка в монастырь, но гайдучок-то все уловил с ходу». Тут задумался пан Заглоба, а через минуту сказал:

— Огонь, не девка! Видно, глаза у Михала как у рака, не в том месте, где надобно, коли он ею ради той куклы пренебрег.

Наконец добрались до города. Тут-то и началась неразбериха. Никто толком не знал, где теперь обитает Кетлинг, где остановился Володыёвский, а найти их было не легче, чем иголку в стогу сена.

Заглоба повел всех ко двору великого гетмана, там им сказали, что как раз нынче утром Кетлинг должен отплыть за море. Сказывали, Володыёвский здесь тоже успел побывать, всех про Кетлинга спрашивал, но где он теперь, не ведал никто. Быть может, примкнул к хоругви, что раскинула шатры в поле. Пан Заглоба

велел ехать к лагерю, но и там не удалось напасть на след. Объехали все постоялые дворы на улице Длугой, побывали на Праге, все без толку.

Тем временем наступила ночь, о гостинице и думать было нечего, на ночевку решили ехать домой.

Все приуныли. Бася даже всплакнула украдкой, набожный стольник твердил молитвы, и Заглоба был не в своей тарелке, но пытался развеселить и себя, и попутчиков.

— Хо! — сказал он. — Мы тут с ног сбились, а пан Михал, быть может, уже дома!

— Или в чистом поле! В поединке заколот! — воскликнула Бася. И, упав на сиденье, забилась и запричитала: — Язык мне вырвать надо! Я, я виновата! О боже, я, никак, с ума схожу.

— Полно! — успокоил ее Заглоба. — Не ты виновата! И знай, коли схватились они — не Михалу лежать в чистом поле.

— А мне и того рыцаря тоже жалко! Хорошо же мы за гостеприимство отплатили! Боже! Боже!

— Правду говорит, — добавил пан Маковецкий.

— Да будет тебе! Кетлинг, поди, уже к Пруссии подъезжает. Слыхали — уехал один. Бог даст, встретятся они, вспомнят про старую дружбу да службу. Ведь, бывало, стремя о стремя ездили, одно седло им подушкой служило, вместе отбивали набег, немало вражьей крови пролили. На все войско дружбой своей славились, а Кетлинга за пригожесть пани Володыёвской величали. Быть не может, чтобы, встретившись, не вспомнили они этого.

— Иногда и так бывает, — бойко начал стольник, — самая верная дружба в ненависть лютую переходит. Помнится, у нас в Латычёве пан Дейма пана Убыша зарубил, а ведь они лет двадцать были неразлучны, где один, там и другой, я могу вам, судари мои, коли угодно, сию грустную историю поведать.

— Если бы голова моя сейчас свободна была, я бы охотно послушал, страх до чего люблю подобные истории, как и рассказы любезной супруги вашей, ведь она ни одной подробности касательно фамильного древа не упустит; да только оторопь меня берет, едва слова ваши о дружбе и ненависти вспомню. Боже упаси от такой напасти, боже упаси!

Впрочем, стольника не так-то легко было унять.

— Одного звали пан Дейма, другого — пан Убыш! Оба люди достойные, друзья не разлей вода.

— Ой! Ой! Ой! — застонал Заглоба. — Будем уповать на милосердие божье, что на сей раз такое не случится, а не то — Кетлингу крышка!

— Беда! — помолчав минуту, продолжал стольник. — О чем это я? Ага! Дейма и Убыш! Помню, как сегодня это было... Одна смуг-

лянка...

— Вечно эти смуглянки! Пигалица, того гляди, ветром сдует, а такого пива наварит, хлебнешь — на ногах не устоишь.

— А ты, ваша милость, Кшисю не обижай! — неожиданно воскликнула Бася.

— Если бы Михал в тебя влюбился, не было бы такого, — отвечал Заглоба.

За разговором доехали до дому. При виде освещенных окон сердца у всех забились живее в надежде, что Володыёвский уже вернулся.

Но навстречу вышла пани Маковецкая, озабоченная и встревоженная. Узнав, что все поиски напрасны, она залилась слезами, запричитав, что никогда уж больше не увидит брата; Бася с плачем ей вторила, да и сам Заглоба приуныл.

— Завтра с утречка опять поеду, — сказал он, — может, что разузнаю.

— Вдвоем искать будем, — отозвался стольник.

— Нет уж, вы, ваша милость, женщин утешьте. Ежели Кетлинг жив, я дам знать.

— Слыханное ли дело! Ведь мы в доме у этого человека живем! — воскликнул стольник. — Завтра нужно другое жильё подыскивать, а на худой конец шатры в поле раскинуть.

— Ждите вестей, а то опять разминемся. Бude Кетлинг зарублен...

— Полно тебе, сударь, говори тише! — воскликнула пани Маковецкая. — Не дай бог слуга услышит, да Кшисе передадут, она и так в чем душа...

— Пойду к ней, — сказала Бася.

И помчалась наверх. Старики остались в заботах и тревоге. Мысль о том, что Кетлинг, убитый, остался в чистом поле, наполняла их сердца страхом. К тому же ночь была душная, темная, где-то вдали погромыхивало, вспыхивали зарницы, а потом и яркие молнии стали вонзаться во тьму. В полночь первая в том году весенняя гроза пронеслась над землей. Даже прислуга проснулась.

Девушки спустились из светелки в гостиную. Там, собравшись, все дружно принялись твердить молитвы, после каждого удара грома хором повторяя по обычаю: «И слово плоть бысть».

В посвистах ветра иногда им чудился стук копыт, и тогда волосы на голове у Баси вставали дыбом от страха, да и старикам становилось жутко, казалось, вот-вот откроются двери, и в комнату войдет Володыёвский, обгаренный кровью Кетлинга.

Так добрый и почтенный пан Михал впервые в жизни стал для любящих людей тяжелым бременем, потому что одна лишь

мысль о нем наполняла ужасом их души.

Но никаких вестей о нем не было. На рассвете, когда буря стихла, пан Заглоба снова отправился в город. Весь этот день прошел в еще большей тревоге и смуте. Бася до позднего вечера подбегала то к окну, то к воротам и глядела на дорогу, не едет ли пан Заглоба. Слуги по распоряжению стольника поспешно укладывали корзины. Кшися приглядывала за ними, стараясь держаться от всех в сторонке. Тетушка при ней ни единым словом не вспомнила про брата, но молчание ее красноречиво говорило о том, что его любовь к девушке, их стовор и, наконец, ее отказ — все из тайного стало явным. А поэтому трудно было бы Кшисе надеяться, что здесь, в этом доме, любящие Михала люди не обижены и не сердятся на нее. Бедная девушка понимала, что так быть должно, отстранились теперь от нее такие преданные ей раньше сердца, и страдала втихомолку.

К вечеру слуги увязали узлы и корзины, на худой конец можно было и ехать. Но пан Маковецкий все еще ждал вестей от Заглобы. Подали ужин, к которому никто не притронулся, и потянулся вечер скучный, унылый, вокруг было так тихо, так глухо, словно бы все только и делали, что прислушивались к нашептыванию часов.

— Пойдемте в гостиную, — сказал наконец стольник. — В стенах этих оставаться тошно.

Перешли в гостиную, уселись, но не успели и словом перемолвиться, как под окнами залаяли собаки.

— Едет кто-то! — воскликнула Бася.

— Собаки визжат, будто своих узнали! — заметила пани Маковецкая.

— Тсс! — сказал стольник. — Тарахтят колеса.

— Тише! — подхватила Бася. — Это пан Заглоба.

Бася и стольник вскочили из-за стола и выбежали из гостиной; у пани Маковецкой отчаянно заколотилось сердце, но, не подав и виду, она осталась с Кшисей, чтобы бедная девушка не догадалась, каких от Заглобы ждут вестей.

Тем временем колеса затарахтели уже под окнами, и снова все стихло.

В сенях вдруг слышались голоса, а еще через мгновение в комнату как ураган ворвалась Бася с таким лицом, словно встретила привидение.

— Бася, что с тобой? Кто там? — спросила пани Маковецкая с испугом.

Но не успела Бася перевести дух, как двери отворились, в комнату вошел стольник, следом Володыёвский, а за ним Кетлинг.

ГЛАВА XX

Кетлинг был так смущен, что едва догадался поклониться дамам, после чего остался стоять неподвижно, прижав шляпу к груди и закрыв глаза, более похожий на тень, чем на живого человека; Володыёвский, обняв бросившуюся ему навстречу сестру, приблизился к Кшисе.

Лицо девушки было белее мела, и легкий пушок над губой казался темнее обычного; грудь ее высоко вздымалась от волнения, пан Володыёвский мягким жестом взял ее руку в свою и поднес к губам; потом постоял молча, шевеля усами, и наконец, собравшись с мыслями, грустно и неспешно заговорил:

— Любезная панна, нет, скажу не таясь — любимая моя Кшися! Выслушай меня без страха, я ведь не скиф, не татарин, не изверг какой, а друг твой и, сам не умея быть счастливым, тебе счастья желаю. Теперь ни для кого нет тайны, что вы с Кетлингом любите друг друга. Панна Бася в справедливой досаде сказала мне это в глаза, и не скрываю, я в гневе великом вылетел из этого дома, лишь о мщении помышляя. Кто все потерял, тот готов к мести, а я, видит бог, любил тебя всей душой, и не только как кавалер девицу... Если бы я был отцом семейства и господь бог дал бы мне сына или дочку, а потом взял, то и тогда, наверное, я горевал бы не больше, чем сейчас горюю.

Тут голос у пана Михала вдруг дрогнул, но он не дал волю чувствам и, пошевелив усами, продолжил:

— Но слезами горю не поможешь! То, что Кетлинг тебя полюбил, не диво! Да и как тебя не любить?! И что ты его полюбила, тоже неудивительно, куда мне до Кетлинга! На поле брани я ему не уступлю, он сам это подтвердить может, а тут нас равнять нечего. Господь бог одного всем наградил в избытке, а у другого отнял немало, но все же разум ему оставил. Вот и я, как только меня ветром в поле обдуло, поостыв малость, внял голосу совести и подумал: за что же ты их покарать собрался? Зачем кровь друга пролить хочешь? Полюбили — значит, на то воля божья. Старые люди говорят — против любви и гетманское слово не указ. Ежели бы Кетлинг знал, что ты мне слово дала, может, я бы и крикнул ему: «Защищайся!», но он ни о чем не ведал. Нет за ним вины. И за тобой нет. Он порешил уехать, ты от мирской суеты удалиться. Видно, уж такова судьба. Но ничего, перетерплю. Божий перст указывает, что мне суждено быть сиротою.

Пан Михал внезапно умолк, с трудом переводя дух, как пловец, едва вынырнувший из глубины вод, и снова взял Кшисю за руку.

— Любить, всего для себя желая, — не искусство. У троих сердца кровью исходят, — думал я, — пусть одно перестрадает, двоим радость уделом оставив. Дай тебе боже счастья с Кетлингом... Аминь! Дай тебе боже счастья с Кетлингом!.. Ноет у меня душа, но поболит и пройдет. Дай тебе бог, а это пройдет!.. Ничего, потерплю! — И хоть держался он храбро, но при этих словах стиснул зубы и застонал от боли, а в другом конце гостиной послышался жалобный плач Баси.

— Ну, Кетлинг, будь счастлив, друже! — крикнул Володыёвский.

Кетлинг подошел ближе, пал ниц перед Кшисей и молча с величайшей почтительностью и нежностью обнял ее колени.

А Володыёвский заговорил прерывисто:

— Обними его и ты! Натерпелся бедняга... Благослови вас бог! Не пойдешь ты в монастырь... А я тем утешусь, что не проклянете вы меня, а добром помянете... Бог сейчас со мною, я знаю, хоть и тяжело мне...

Бася, не в силах вынести его слов, выбежала из гостиной. Заметив это, пан Володыёвский сказал стольнику и сестре:

— Ступайте и вы, а их одних оставьте... Я тоже пойду, хочу наедине со спасителем нашим побеседовать.

И вышел.

В прихожей ему на глаза попалась Бася, она стояла у лестницы, в том же месте, что в прошлый раз, когда в сердцах выдала тайну влюбленных. Только теперь она стояла, отвернувшись лицом к стене, и плечи ее вздрагивали от рыданий.

Увидев это, пан Михал еще больше закручинился над своей судьбой: до сей поры он сдерживался, но тут словно рухнули преграды и из глаз его полились слезы.

— О чем плачешь, голубушка? — спросил он жалобно.

Бася подняла головку и, поднося к глазам то один, то другой кулачок, сотрясаясь от рыданий и глотая открытым ртом воздух, заплакала в голос:

— Боже, как мне жаль!.. Боже, так жаль!.. Пан Михал такой добрый, такой честный!.. Боже мой, боже!

А он тем временем взял ее ручки в свои и стал целовать их с большой пылкостью и воодушевлением.

— Бог тебя вознаградит! Бог тебя вознаградит за твою доброту! — сказал он. — Тихо, не плачь!

Но Бася рыдала еще пуще. Каждая жилка ее трепетала, она все чаще ловила губами воздух и наконец, затопав ножками от возмущения, закричала на весь дом:

— Глупая Кшися! Да я бы... и на десять Кетлингов пана Михала не променяла! Я пана Михала люблю больше всех... больше, чем

тетю, больше... чем дядюшку, больше... Кшиси.

— Бася! Бога ради! — воскликнул маленький рыцарь.

И, пытаясь хоть как-то успокоить девушку, Михал схватил ее в объятия. Бася прижалась к его груди, так что он слышал, как часто, будто у птички, бьется ее сердце; пан Михал обнял Басю еще крепче, и они замерли.

Наступило молчание.

— Бася! Пойдешь ли за меня? — спросил маленький рыцарь.

— Да! Да! Да!

Услышав такой ответ, пан Михал с жаром поцеловал ее в румяные губы, и они снова замерли.

Тем временем затарахтела бричка, пан Заглоба вбежал в сени, а оттуда в покои, где сидели стольник с супругой.

— Нету Михала! Как в воду канул! — выпалил он единым духом. — Я всю Варшаву обшарил! Пан Кшицкий говорит, что его с Кетлингом видели! Не иначе как схватились они!

— Михал здесь, — отвечала пани Маковецкая, — привез Кетлинга и отдал ему Кшисю.

Соляной столб, в который обратилась Лотова жена, должно быть, более походил на живого человека, чем пан Заглоба в ту минуту. На какое-то время он умолк, потом протер глаза и произнес:

— Хе?

— Кшися с Кетлингом в гостиной, а Михал молиться пошел, — сказал стольник.

Пан Заглоба открыл дверь и, хотя был уже упрежден обо всем, снова остолбенел, увидев две склоненные друг к другу головы. Кшися с Кетлингом тотчас вскочили, онемев от смущения, но тут вслед за Заглобой в гостиную пожаловали и дядюшка с тетушкой.

— Жизни моей не хватит, чтобы Михала отблагодарить! — воскликнул Кетлинг. — Ему мы своим счастьем обязаны!

— Да благословит вас господь! — сказал стольник. — Как Михал сказал, так и будет!

Кшися бросилась в тетушкины объятия, и обе заплакали. Пан Заглоба напоминал вытащенную из воды рыбу. Кетлинг поклонился сыновьим поклоном стольнику, старик обнял его, и то ли от избытка чувств, то ли от смущения сказал:

— А пана Убыша Дейма-то зарубил! Не меня, Михала благодари!

— Жена, а как их красотку-то звали? — спросил он, помолчав.

Но у пани Маковецкой времени на ответ не было, потому что в комнату вбежала Бася, еще более стремительная, еще более розовая, чем всегда, с вихрами, спадавшими на лоб пуще прежнего. Подскочив к стоявшей посреди пары и размахивая пальцем то

перед глазами у Кетлинга, то у Кшиси, она воскликнула:

— Делайте что хотите! Вдыхайте, страдайте, женитесь! На здоровье! Вы думаете, пан Михал один-одинешенек на свете останется? А вот и нет — возьму и за него выскочу, потому что я его люблю и сама об этом ему сказала. Первая сказала, он спросил, пойду ли я за него, а я сказала, что выбрала бы его из сотни, из тысячи, потому что люблю его и буду ему самой лучшей женой, пойду с ним в огонь и в воду, воевать вместе пойду. Я его давно любила, хоть и молчала, потому что он самый добрый, самый желанный, лучше него на свете нет... А теперь женитесь сколько влезет, а я за пана Михала выскочу хоть завтра, ведь я, я...

Тут Бася поперхнулась.

Все смотрели на нее и переглядывались, никак не могли взять в толк, то ли она разума лишилась, то ли говорит правду, но тут вслед за Басей в дверях появился и Володыёвский.

— Михал! — воскликнул стольник, снова обретя дар речи. — Правду ли мы слышим?

На это маленький рыцарь отвечал торжественно:

— Бог сотворил чудо, и вот мое утешение, моя любовь, мой клад бесценный!

После этих слов Бася бросилась к нему как серна.

Тем временем маска удивления спала с лица Заглобы, его белая борода затряслась, и, широко раскрыв объятья, он сказал:

— Неужто это правда? Гайдучок, Михал, дети мои, идите ко мне. А то разревусь, ей-ей, разревусь...

ГЛАВА XXI

Он ее без памяти любил, и она его не меньше, и было им хорошо вместе, только детей бог не дал, хотя уже четвертый год пошел после свадьбы. Зато хозяйством занимались с великим усердием. Володыёвский купил на свои и Басины деньги несколько деревенек вблизи Каменца, и обошлись они ему недорого: в тех краях уже кое-кто, опасаясь турецкого нашествия, спешно распродал имущество. В имениях своих маленький рыцарь вводил строгие военные порядки, беспокойный люд умирал, отстраивал спаленные хаты, сооружал фортеции, то есть оборонные крепостцы, куда назначал временные гарнизоны из своих солдат, — словом, как в былые времена ревностно защищал отечество, так теперь рьяно хозяйствовал, не выпуская, впрочем, из руки сабли.

Слава его имени служила наилучшей защитой его владениям. С некоторыми мурзами он, по обычаю, лил воду на сабли и заключал побратимство, иных бивал. Своевольные казацкие отряды, разрозненные ватаги ордынцев, степные разбойники и головорезы с бессарабских хуторов трепетали при одном упоминании о «Маленьком Соколе» — и потому табуны его лошадей и гурты овец, буйволы и верблюды без опаски бродили по степи. Даже соседей его уважали. Состояние пана Михала при помощи дельной супруги умножалось. Он был окружен почетом и любовью. Родимая земля наградила его высоким званием, гетман его любил, хотинский паша, вспоминая о нем, губами чмокал, в далеком Крыму, в Бахчисарае, с почтением повторяли его имя.

Хозяйство, война и любовь — вот чем теперь заполнена была его жизнь.

Знойное лето 1671 года застало чету Володыёвских в родовой Басиной деревне Сокол. Деревня эта была жемчужиной их владений. Там они пышно принимали приехавшего их навестить Заглобу, которому ни дорожные тяготы, ни преклонный возраст не помешали исполнить торжественное обещание, данное Володыёвским на свадьбе.

Однако шумным пиршествам и радости хозяев по поводу приезда дорогого гостя вскоре пришел конец: от гетмана был получен приказ, согласно которому Володыёвский назначался комендантом в Хрептев, где ему надлежало нести сторожевую службу, охранять молдавскую границу, собирать слухи, ползущие из пустыни, отгонять случайные чамбулы и очистить округу от гайдамаков.

Маленький рыцарь, будучи солдатом, беззаветно преданным отчизне, немедля приказал челяди согнать стада с лугов, на-

вьючить верблюдов, вооружиться и в полной готовности ждать выступления в поход.

Но сердце его разрывалось при мысли о разлуке с женой, которую он любил мужней и отцовской любовью — так любил, что просто дышать без нее не мог, а брать с собой в глухие и дикие ущицкие пущи и подвергать опасностям не хотел.

Однако Бася уперлась, что поедет с ним.

— Подумай, — говорила она, — неужто мне спокойней здесь оставаться, нежели там, под охраной войска, подле тебя жить? Лучше твоего шатра мне не надобно крова: я за тебя для того пошла, чтоб делить с тобой и лишения, и труды, и опасности. Здесь меня тревога сгложет, а там, рядом с таким воином, я буду себя в безопасности чувствовать, как королева в Варшаве; ну, а скажешь, в поход идти, пойду и в поход. Да я тут без тебя глаз не сомкну, куска не проглочу. Все равно не выдержу и полечу в Хрептев, а прикажешь меня не пускать, у ворот заночую и до тех пор стану тебя упрашивать да слезы лить, пока ты не сжалишься.

Володыёвский, ошеломленный таким взрывом чувств, схватил жену в объятия и стал осыпать жаркими поцелуями ее розовое личико; она тоже в долгу не осталась.

— Я бы не противился, — сказал он наконец, — если б нас обычная сторожевая служба ждала да схватки с ордынцами. Людей там и впрямь будет достаточно: со мной пойдет хоругвь генерала подольского[29] и еще одна, пана подкомория, а кроме того, Мотовило со своими казаками и Линкгаузовы[30] драгуны. Разом около шестисот солдат, а с обозными и вся тысяча наберется. Я другого боюсь: хоть горлопаны из варшавского сейма в это не желают верить, но мы здесь, на окраинных землях, в самом скором времени ожидаем начала большой войны со всею турецкой ратью. Это и пан Мыслишевский подтвердил, и хотинский паша каждый божий день повторяет, да и гетман полагает, что султан не оставит Дорошенко без помощи и объявит войну — великую войну! — Речи Посполитой. И что тогда мне с тобою делать, милый мой цветочек, ргаеііиі мой, дар божий?

— Что с тобой станется, то и со мною. Не хочу иной судьбы, твою хочу разделить...

Тут Заглоба, до тех пор молчавший, сказал, обратившись к Басе:

— Коли вас турки схватят, хочешь не хочешь, а твоя судьба совсем иной, нежели у Михала, будет. Ха! После казаков, шведов, гиперборейцев и бранденбургской своры — турецкие псы! Говорил я ксендзу Ольшовскому: «Не доводите Дорошенко до отчаяния, он от безвыходности переметнется к туркам». Ну и что? Не послушали меня! Наслали на Дороша Ханенко,[31] а теперь Дорош волей-неволей должен турчину поклониться и вдобавок на

нас его повести. Помнишь, Михал, я при тебе остерегал ксендза Ольшовского?

— Видно, ты его, сударь, в другое время остерегал, я что-то такого не припомню, — ответил маленький рыцарь. — Но все, что ты про Дорошенко говоришь, суцная правда, да и пан гетман подобного мнения, и даже, я слыхал, располагает письмами от Дороша, из которых то же самое следует. Впрочем, так или иначе, переговоры начинать уже поздно. А поскольку твоя милость умом весьма остер, не премину испросить у тебя совета: брать Баську в Хрептев или здесь лучше оставить? Одно еще учти: глушь там страшная. Деревенька всегда была захудалая, а за двадцать лет через нее столько раз казацкие ватаги и чамбулы проходили, что, боюсь, теперь там доски целой не найти. Кругом сплошь овраги, заросшие лесом, глубоченные пещеры и разные потаенные места, в которых сотнями разбойники прячутся, не говоря уж о тех, что приходят из Валахии.

— Разбойники при такой силе, как у тебя, — пустяк, — сказал Заглоба, — чамбулы тоже: если крупные покажутся, о них загодя будет слышно, а с мелкими ты и сам справишься.

— Ну что! — вскричала Бася. — Говорила я! Разбойники — пустяк! Чамбулы — пустяк! С такою силой Михал меня ото всей крымской рати защитит!

— А ты не встревай, не путай мысли, — оборвал ее Заглоба, — не то против тебя рассужу.

Бася торопливо зажала обеими ладошками рот и головку втянула в плечи, притворяясь, будто ужасно боится пана Заглобы, — а он, хоть и видел, что любимица его шутит, был весьма польщен и, положив свою старческую руку на светловолосую Басину голову, промолвил:

— Не бойся, так уж и быть, я тебя порадую!

Бася поспешно эту руку поцеловала, поскольку и впрямь многое зависело от советов старого шляхтича, которые бывали столь безошибочны, что никогда еще никого не подводили. Заглоба же, сунув обе руки за пояс и быстро поглядывая здоровым оком то на маленького рыцаря, то на его супругу, неожиданно сказал:

— А потомства как не было, так и нету! Что?

И выпятил нижнюю губу.

— Такова, видать, воля божья! — ответил, возведя глаза к небу, Володыёвский.

— Такова, видать, воля божья! — повторила, потупясь, Бася.

— А хотелось бы иметь? — спросил Заглоба.

На что маленький рыцарь ответил:

— Скажу тебе, сударь, честно: не знаю, что бы я за это дал, но порой думается мне, мольбы мои напрасны. И без того господь

меня осчастливил, подарив это сокровище, гайдучка этого, как ты ее называл, а поскольку вдобавок еще славою благословил и достатком, я ничем более докучать ему не вправе. Видишь ли, сударь, мне не раз приходило в голову, что, кабы все людские желания исполнялись, не было бы никакого различия между земной жизнью и небесным бытием, где единственно обретаешь полное счастье. И в такие минуты я себя тем утешаю, что если здесь не дождусь одного-двух парнишек, там они у меня непременно будут и, как положено, в войске небесного гетмана, святого Михаила Архангела, станут служить и стяжают славу в походах против адской нечисти и до высоких дослужатся званий.

Тут расчувствовался благочестивый христианский рыцарь от собственных слов и мыслей и снова возвел очи к небу, но Заглоба слушал его рассеянно, не переставая сердито моргать, и в конце концов так сказал:

— Гляди не прогневи всевышнего. Ты гордишься, что умеешь угадывать намеренья провидения, а это, возможно, грех, за который быть тебе поджарену, как гороху на горячем поду. У господа нашего рукава пошире, чем у краковского епископа, но он не любит, когда туда заглядывают, любопытствуя, что там у него для людишек приготовлено, и все равно по-своему распорядится, ты ж лучше занимайся своим делом; ну, а коли вы о потомстве мечтаете, вам не разлучаться, а вместе держаться надо.

Услыхав такое, Бася от радости выскочила на середину комнаты и запрыгала, как ребенок, и в ладоши хлопала, повторяя:

— Ну что! Вместе надо держаться! Я так и знала, что твоя милость за меня будет! Так и знала! Едем в Хрептев, Михал! Хоть разок возьмешь меня бить татар! Один разочек! Дорогой мой! Золотой!

— Ты только погляди, сударь! Уже ей в набег захотелось! — воскликнул маленький рыцарь.

— Потому что рядом с тобой мне целая орда не страшна!..

— *Silentium «Тишина (лат.).»*, — сказал Заглоба, следя восхищенными глазами, а вернее восхищенным глазом, за Басей, которую любил безмерно. — Надеюсь, что Хрептев, докуда вовсе не так уж далеко, не единственное сторожевое поселенье на границе с Диким Полем.

— Нет! Гарнизоны и дальше будут стоять: в Могилеве, Ямполье, а последний — в Рашкове, — ответил маленький рыцарь.

— В Рашкове? Знакомые места... Мы оттуда Елешку Скетускую увозили, из валадынского яра, помнишь, Михал? Помнишь, как я монстра этого зарубил, Черемиса, — дьявола, который ее стерег? Но коль скоро последний *praesidium «Гарнизон (лат.).»* в Рашкове будет стоять, они там, если Крым зашевелится

или турки силы начнут собирать, сразу об этом прослышат и в Хрептев дадут знать, а стало быть, и бояться особо нечего, врасплох на Хрептев не напасть. Ей-богу, не понимаю, почему бы тебе Баську туда не взять? Серьезно говорю, а ведь ты знаешь, я старую свою башку готов положить, лишь бы с гайдучком моим не приключилось худого. Бери Баську! Обоим пойдет на пользу. Только пусть пообещает, что в случае большой войны без спору позволит себя хоть в Варшаву отослать. Начнутся жестокие бои, набеги, осада лагерей, а возможно и голод, как было под Збаражем, — рыцарю нелегко будет жизнь сохранить, не то что особе женского полу.

— Мне рядом с Михалом и смерть не страшна, — ответила Бася, — но я тоже не дуручка, понимаю: что нельзя, то нельзя. Впрочем, Михала воля, ему решать. Он ведь уже ходил в этом году с паном Собеским в поход, а я разве просилась с ними ехать? Нет. Ладно, будь по-вашему. Только сейчас не запрещайте с Михалом в Хрептев идти, а начнется большая война — отсылайте куда заблагорассудится.

— Пан Заглоба тебя в Полесье, к Скшетуским отвезет, — сказал маленький рыцарь. — Туда турчин не доберется!

— Пан Заглоба! Пан Заглоба! — передразнил его старый шляхтич. — Войский[32] я вам, что ли? Ох, не доверяйте своих женушек пану Заглобе, как бы боком не вышло. И потом, если будет война с турчином, неужто, по-твоему, я за полесскую печь спрячусь да за хлебами стану смотреть, чтоб не подгорели? Я пока еще не кочерга и для чего другого сгодиться могу. На коня с табуретки сажусь, *assentior!* «Согласен! (Лат.)» Но коли уж сяду, поскачу на врага не хуже любого юнца! Ни песок, ни опилки еще, слава богу, из меня не сыплются. В стычки с татарами не полезу, по Дикому Полю рыскать не буду, потому как не гончий пес, но в генеральном сражении держись подле меня, коли сумеешь, — немалых насмотришься чудес.

— Еще тебя в сечу тянет?

— А ты думаешь, мне не захочется славной смертью в конце славного жизненного пути почить после стольких-то лет службы? Что может быть достойней? Ты пана Дзевёнткевича знавал? Выглядел он, правда, лет на сто сорок, но было ему сто сорок два, и еще служил в войске.

— Не было ему столько.

— Было, чтоб мне с этого табурета не встать! На большую войну я иду, и баста! А покамест еду с вами в Хрептев, так как в Баську влюблен!

Бася вскочила, сияя, и бросилась обнимать Заглобу, а он только нос кверху задирает, повторяя:

— Крепче! Крепче!

Но Володыёвский еще раз хорошенько все обдумал и лишь после этого дал ответ.

— Никак нельзя нам всем сразу ехать, — сказал он. — Там су-
щая пустыня и даже худого крова не найти. Я поеду вперед, при-
гляжу место под майдан, крепостцу надежную выстрою и дома
для солдат, а также конюшни, чтобы благородные скакуны наших
рыцарей от переменчивой погоды не захирели; колодцы вырою,
дорогу проложу, яры, сколько смогу, очищу от разбойного сброда,
а уж тогда милости просим; пришлю за вами надлежащий эскорт.
Но недельки хотя бы три подождать придется.

Бася попыталась было протестовать, но Заглоба, признав слова
Володыёвского справедливыми, сказал:

— Дело говоришь! Мы тут с тобой, Баська, пока похозяйничаем,
и будет нам совсем не худо. Да и запасец кой-какой приготовить
надо: вам небось и невдомек, что меды и вина нигде лучше, чем
в пещерах, не сохраняются.

ГЛАВА XXII

Володыёвский сдержал слово — в три недели закончил строительные работы и прислал отменный эскорт: сотню татар из хоругви Ланцкоронского и сотню Линкгаузовых драгун, которых привел пан Снитко, герба Месяц на ущербе. Татарами командовал сотник Азья Меллехович, родом из Литвы — совсем еще молодой, лет двадцати с небольшим. Он привез письмо от маленького рыцаря, который писал жене нижеследующее:

«Возлюбленная моя Баська! Приезжай поскорее: без тебя я как без хлеба и, ежели до того времени не зачахну, розовое твое личико совершенно зацелую. Людей посылаю предостаточно и офицеров опытных, однако среди всех выделяйте пана Снитко и в общество свое допустите, ибо он *bene natus* «Хорошего рода (лат.).», и человек состоятельный, и к товариществу принадлежит, Меллехович же, хоть и добрый солдат, но бог весть какого роду-племени. Нигде, кроме как у татар, он бы офицером не мог стать — в любой иной хоругви всяк, кому не лень, ему б *imparitatem* «Здесь: презрение, незаслуженное отношение (лат.).» выказывал. Обнимаю тебя крепко-крепко, рученьки и ноженьки твои целую. Фортецию я поставил из кругляшей преотличную; очаги сложили на славу. У нас с тобою несколько комнат в отдельном доме. Смолою везде пахнет, и сверчков тьма-тьмущая: вечером как начнут свиристеть — собакам и тем не дают спать. Раздобыть бы гороховину — в два счета проклятых можно вывести, да ты, верно, и так прикажешь ею телеги выстлать. Стекла брать негде, окошки затянули пока пузырями, но у пана Бялогловского есть среди его драгун стекольщик. Стекло можно взять в Каменце у армян, только, ради бога, осторожно везите, чтоб не побилось. Светелку твою я велел домоткаными коврами обить, очень получилось славно. Разбойников, которых мы в лешицких ярах изловили, я приказал повесить; девятнадцать уже болтаются, а к тому времени, что ты приедешь, десятка три, думаю, наберется. Пан Снитко тебе расскажет, как мы тут живем. Вверяю тебя попечению всевышнего и пресвятой девы, душа ты моя миленька».

Бася, закончив читать, отдала письмо Заглобе, который, пробежав его глазами, сразу стал оказывать пану Снитко знаки внимания — достаточно, однако, сдержанные, дабы тот заметил, что перед ним воин более доблестный, нежели он сам, и вообще важная особа, лишь из любезности до него снисошедшая. Впрочем, Снитко был человек доброго и веселого нрава и притом рьяный служака, всю жизнь провоевавший. К Володыёвскому он отно-

сился с огромным почтением, а на пана Заглобу поглядывал снизу вверх, осознавая свою малость перед лицом столь славного мужа.

Меллехович при чтении письма не присутствовал: отдав пакет, он поспешно вышел якобы взглянуть на своих татар, а на самом деле из опасения, как бы ему не было велено отправиться в людскую.

Заглоба, однако, успел к нему присмотреться, пану же Снитко, помня слова Володыёвского, сказал:

— Рады тебя видеть, сударь! Милости просим!.. Пан Снитко... как же, слышал... герба Месяц на ущербе! Просим, просим! Достойный род... Но татарин этот... как его там?

— Меллехович.

— Меллехович этот чего-то волком смотрит. Михал пишет, он человек сомнительного происхождения, что как раз и удивительно: все наши татары — шляхта, хоть и нехристи. В Литве я целые деревни таких видал. Там их называют липеками, а здешние именуются черемисами. Долгие годы они верно служили Речи Посполитой в благодарность за хлеб, но уже во времена крестьянского мятежа многие подались к Хмельницкому, а теперь, я слышал, с ордой снюхались... Меллехович этот волком смотрит... Давно пан Володыёвский его знает?

— Со времени последней экспедиции,[33] — ответил Снитко, пряча ноги под табурет, — когда мы с паном Собеским против Дорошенко и орды выступили и всю Украину прошли.

— Последняя экспедиция! Я в ней участвовать не смог, поскольку пан Собеский мне иную миссию поверил, хотя потом первым без меня заскучал... А твой, сударь, герб — Месяц на ущербе? Милости просим... Откуда же он, Меллехович этот?

— Он себя называет литовским татаринном, но странно, что никто из липеков[34] прежде его не знал, хотя он именно в их хоругви служит. Ех quo «Отсюда (лат.)» слухи о его темном происхождении, каковым даже весьма тонкие его манеры распространяться не мешают. Солдат он, впрочем, превосходный, только очень уж неразговорчив. Под Брацлавом и под Кальником множество услуг нам оказал, отчего пан гетман и назначил его сотником, несмотря на то, что в хоругви он самый младший. Татары чрезвычайно его любят, но у нас он доверием не пользуется. Почему? Да потому, что угрюм очень и, как ваша милость справедливо изволил заметить, волком смотрит.

— Но если он добрый солдат и кровь проливал, — вмешалась Бася, — надлежит его в наше общество допустить, чего и супруг мой в письме не возбраняет.

Тут она обратилась к пану Снитко:

— Ваша милость позволит?

— Твой покорный слуга, сударыня-благодетельница! — воскликнул Снитко.

Бася скрылась за дверью, а Заглоба, отдуваясь, спросил у гостя:

— Ну, а как тебе, сударь, показалась пани полковница?

Старый солдат вместо ответа обеими руками схватился за виски и, откинувшись на стуле, повторил несколько раз:

— Ай! Ай! Ай!

После чего, выпучив глаза, зажал широкой ладонью рот и умолк, словно устыдившись своих восторгов.

— Марципан, а? — сказал Заглоба.

Меж тем «марципан» вновь появился в дверях, ведя с собой нахохлившегося, точно дикая птица, Меллеховича, и говоря:

— Рады с тобой познакомиться, сударь. Мы много наслышаны о твоей отваге и воинских подвигах: и муж писал, и пан Снитко рассказывал. Не откажись с нами побыть; сейчас и на стол подадут.

— Милости просим, присаживайся, сударь! — подхватил Заглоба.

Угрюмое, хоть и красивое лицо молодого татарина так и не прояснилось полностью, однако можно было заметить, он благодарен за радушный прием и за то, что его не отослали в людскую.

Бася же нарочно старалась быть с ним полубезнее, мгновенно угадав женским чутьем что он подозрителен, горд и болезненно переживает унижения, которым, верно, часто подвергается из-за своего сомнительного происхождения. И потому, не делая различий между ним и паном Снитко, разве что только отдавая дань уважения возрасту последнего, стала расспрашивать молодого сотника, за какие заслуги он был после битвы под Кальником повышен в звании.

Заглоба, разгадав Басин замысел, тоже то и дело обращался к Меллеховичу. Молодой татарин, хотя поначалу дичился, отвечал толково, манеры же его не только не выдавали простолюдина, а напротив — даже удивляли некой изысканностью.

«Не может в нем холопья кровь течь — разве б он сумел так держаться?» — подумал Заглоба.

А вслух спросил:

— Родитель твой в каких проживает краях?

— В Литве, — покраснев, ответил Меллехович.

— Литва велика. Это все равно что сказать: «в Речи Посполитой».

— Теперь уже не в Речи Посполитой: тамошние края от нас отошли. У родителя моего возле Смоленска именье.

— Было и у меня там большое поместье — от бездетного родича в наследство досталось; только я все бросил и пошел Речи Посполитой служить.

— Так и я делаю, — ответил Меллехович.

— И достойно поступаешь, сударь! — вставила Бася.

Один только Снитко, прислушиваясь к разговору, легонько пожимал плечами, словно желая сказать: «И все же бог весть, кто ты такой и откуда!»

Заглоба, заметив это, снова обратился к Меллеховичу:

— А ты-то сам, — спросил он, — Христову исповедуешь веру иль, не сочти за обиду, во грехе живешь?

— Я принял христианство, отчего и отца пришлось покинуть.

— Ежели ты его потому покинул, всевышний тебя не оставит. Первый знак господней милости, что тебе дозволено вино пить; не отрекись ты от своих заблуждений, вовек бы не попробовал.

Пан Снитко рассмеялся, но Меллеховичу, видно, не по нутру пришлось расспросы, касающиеся его личности и происхождения, и он снова насупился.

Заглобу, впрочем, это не смутило. Молодой татарин не очень ему понравился, особенно потому, что минутами — не лицом, правда, но движениями и взглядом — напоминал знаменитого казацкого атамана Богуна.

Меж тем подали обед.

Остаток дня прошел в последних приготовлениях к отъезду. В путь отправились назавтра чуть свет, а вернее, еще ночью, чтобы в тот же день быть в Хрептеве.

Подвод набралось не меньше дюжины, так как Бася решила щедро пополнить запасы хрептевских кладовых; за возами шли изрядно навьюченные верблюды и лошади, пошатываясь под тяжестью круп и копченостей, а в конце каравана — с полсотни волов и небольшое стадо овец. Возглавлял шествие Меллехович со своими липеками, драгуны же ехали возле крытой коляски, в которой сидели Бася с паном Заглобой. Басе очень хотелось пересест на своего жеребчика, но старый шляхтич упросил ее не делать этого, по крайней мере, в начале и в конце путешествия.

— Ехала б ты спокойно, — объяснил он ей, — я бы слова не сказал, но ты тотчас начнешь гарцевать да уменьем своим похвастаться, а супруге коменданта негоже так себя вести.

Бася чувствовала себя счастливой и была весела, как пташка. С тех пор что она вышла замуж, было у нее два горячих желания: первое — подарить Михалу сына, и второе — поселиться с маленьким рыцарем хоть на годик в какой-нибудь сторожевой крепости вблизи Дикого Поля и там, на краю пустыни, жить солдатской жизнью, вкусить ратных подвигов, ходить наравне со всеми

в походы, своими глазами увидеть степи, испытать опасности, о которых она столько слышала с малолетства. Об этом Бася мечтала еще в девичестве, и вот теперь мечтам ее предстояло осуществиться, притом с любимым человеком и знаменитейшим наездником, про которого в Речи Посполитой говорили, что он неприятеля хоть под землей отыщет.

У Баси точно крылья за спиною выросли и такая радость переполняла душу, что порой ее одолевала охота кричать и прыгать, и не делала она этого только потому, что обещала себе держаться степенно и завоевать любовь солдат.

Она поделилась своими мыслями с Заглобой, а тот, усмехнувшись снисходительно, сказал:

— Уж там тебя будут на руках носить, не сомневайся! Женщина на заставе — где такое увидишь!..

— А понадобится — я и пример подам.

— Чего?

— Как чего — отваги! Боюсь только, за Хрептевом еще гарнизоны поставят: в Могилеве, в Рашкове и дальше, у самого Ягорлыка, — тогда нам татар не видать как своих ушей.

— А я другого боюсь — не о себе, конечно, заботясь, а о тебе: что мы их чересчур часто будем видеть. Думаешь, у чамбулов один только путь есть — через Рашков и Могилев? Они и прямо с востока, из степей, могут прийти, а то подымутся по молдавскому берегу Днестра и махнут через границу Речи Посполитой, где им вздумается, хоть бы и выше Хрептева. Разве только разнесется слух, что я в Хрептеве поселился, — тогда они его далеко обходить будут, потому как меня давно знают.

— А Михала, что ль, не знают? Михала, что ли, не будут обходить?

— И его будут, пока большой силы не соберут, что вполне может случиться. Впрочем, он их сам постарается найти.

— В этом я не сомневаюсь! Неужто в Хрептеве настоящая пустыня? Это ведь совсем недалеко!

— Самая что ни на есть настоящая. Когда-то, еще в мои молодые годы, тамошние места были густо заселены. Едешь — и на каждом шагу то хутор, то село, то городишко. Знаем, бывали! Я еще помню, Ушица была настоящий город-крепость! Пан Конецпольский-старший старостой меня туда прочил. Но потом сброд поднял мятеж, и все пошло прахом. Уже когда мы за Елешкой Скупетуской ездили, кругом пустыня была, а потом еще чамбулы раз двадцать там побывали... Теперь пан Собеский снова у казачья и татар, как у пса из пасти, эти земли вырвал... Но людей здесь пока еще мало, одни разбойники по оврагам сидят...

Тут Заглоба принялся оглядывать окрестность и качать головою, вспоминая былые времена.

— Господи, — говорил он, — когда мы за Елешкой ехали, мне казалось, старость уже на носу, а теперь, думается, я тогда молодой был — ведь почти двадцать четыре года прошло. У Михала твоего, молокососа, волос на лице было не больше, чем на моем кулаке. А места эти у меня в памяти так и стоят, словно мы вчера здесь проезжали! Кустарник только разросся да леса поднялись после того, как *agricolae* «Земледельцы (лат.).» разбежались...

И в самом деле, сразу за Китайгородом пошли дремучие леса — тогда большая часть этого края была ими покрыта. Кое-где, впрочем, особенно в окрестностях Студеницы, встречались и открытые поляны, и тогда путники видели ближний берег Днестра и обширное пространство за рекою, вплоть до холмов на горизонте.

Дорогу им преграждали глубокие овраги — обиталища диких зверей и людей, еще более диких, чем звери, — то узкие и обрывистые, то расширяющиеся кверху, с пологими склонами, поросшими густым лесом. Татары Меллеховича спускались вниз с осторожностью: когда конец эскорта был еще на высоком краю яра, передние всадники словно проваливались под землю. Басе и пану Заглобе часто приходилось вылезать из коляски: хотя Володыёвский и проложил наспех дорогу, ехать порой становилось небезопасно. На дне оврагов били ключи, бежали, журча по камням, быстрые ручейки, взбухавшие весной, когда таяли степные снега. Солнце, правда, еще сильно пригревало леса и степи, но в каменистых котловинах путников пронизывал леденящий холод. Скалистые склоны густо заросли хвойным лесом; мрачные, черные деревья, взбираясь на самые края оврагов, казалось, стараются заслонить глубокие провалы от золотистых лучей солнца. Местами, однако, на целых участках леса деревья были переломаны, повалены, стволы в диком беспорядке громоздились один на другой, грудami валялись искореженные, совершенно высохшие или покрытые порыжелой листвой и хвоей ветки.

— Что случилось с этим бором? — спрашивала Бася у Заглобы.

— Кое-где это, возможно, старые засеки — либо местный люд орде заграждал путь, либо нашим войскам мятежники, — а кое-где молдавские ветры прогулялись: старые люди говорят, в этих ветрах мороки, а то и бесы хороводы водят.

— А ты, сударь, видел когда-нибудь бесовские хороводы?

— Видеть не видел, но слышал, как чертенята забавы ради пере-кликались: «Ух-ха! Ух-ха!» Спроси Михала, он тоже слышал.

Бася при всей своей отваге злых духов немного побаивалась и потому спешно принялась креститься.

— Страшные места! — сказала она.

В некоторых ярах и вправду было страшно: там не только мрак стоял, но и мертвая тишина. Ветерок не пробежит, листья и ветки на деревьях не зашелестят; слышался лишь топот и пофыркивание лошадей, скрип телег да предостерегающие окрики возниц в самых опасных местах. Порой татары или драгуны затягивали песню, но сама пуща не отзывалась ни человеческим, ни звериным голосом.

Мрачные овраги производили тягостное впечатление, но наверху, даже там, где тянулись дремучие леса, путникам было чем порадовать глаз. День выдался по-осеннему тихий. Солнце свершало свой путь по небесному своду, не омраченному ни единым облачком, щедро заливая светом холмы, поля и леса. В его лучах сосны казались красно-золотыми, а нити паутины, цепляющиеся за ветки деревьев, за бурьян и травы, сверкали так ярко, будто сами были сотканы из солнечных бликов. Дело шло к середине октября, и множество птиц, в особенности те, что страшатся холодов, уже потянулись из Речи Посполитой к Черному морю: на небе можно было увидеть и косяки летящих с громким криком журавлей, и гусей, и стаи чирков.

Там и сям, высоко в небесной голубизне, парили на распростертых крыльях орлы — грозные недруги обитателей подоблачных высей; кое-где медленно кружили, высматривая добычу, хищные ястребы. Однако, чаще всего в открытом поле, встречались и такие птицы, которые высоко летать не любят, а прячутся среди высоких трав. Поминутно из-под копыт татарских бахматов с шумом вспархивали стайки рыжеватых куропаток; несколько раз Бася видела — правда, издалека — стоящих на страже дроф, и тогда щеки ее вспыхивали, а глаза начинали сверкать.

— Мы с Михалом будем их борзыми травить! — кричала она, хлопая в ладоши.

— Будь у тебя муж домосед, — говорил Заглоба, — у него бы с такой супругой в два счета борода поседела, но я знал, кому тебя отдавать. Другая хотя бы благодарна была...

Бася тотчас расцеловала Заглобу в обе щеки, а он до того расчувствовался, что сказал:

— Уж как на старости лет теплая лежанка мила, а любящие сердца милее.

А потом добавил задумчиво:

— Странное дело: всю жизнь я вашу сестру любил, а спроси за что — ведь не сумею ответить; сколько среди вас изменниц, ветрениц... Только что беспомощные, будто малые дети; не дай бог, на твоих глазах какую обидят — сердце от сострадания на куски разорвется. Поцелуй-ка меня еще разок, что ли!

Бася готова была весь свет расцеловать и потому немедленно исполнила желание Заглобы, после чего они продолжали путь свой в преотличнейшем настроении. Ехали очень медленно, иначе бы идущие позади волы не поспевали за всадниками, а оставлять их в лесу с небольшою горсткой людей было опасно.

По мере приближения к Ушице местность становилась все холмистее, пуца непролазнее, а овраги глубже. Постоянно то телеги ломались, то начинали баловать кони, отчего случались долгие проволоочки. Старый шлях, по которому некогда ездили в Могилев,[35] за двадцать лет так зарос лесом, что от него и следов почти не осталось, поэтому приходилось держаться троп, проложенных войсками во время давних и недавних походов, но тропы эти часто уводили в сторону и всегда были едва проходимы. Не обошлось и без происшествий.

У лошади Меллеховича, ехавшего во главе татар, на крутом склоне заплелись ноги, и она скатилась на каменистое дно оврага, покалечив своего седока: тот так сильно расшиб макушку, что даже на какое-то время лишился сознания. Бася с Заглобой тотчас же пересели на запасных лошадей, а татарина молодая комендантша велела уложить в коляску и везти с осторожностью. И потом останавливала караван возле каждого родника и собственными руками обвязывала пострадавшему голову тряпицами, смоченными в холодной ключевой воде. Он довольно долго лежал с закрытыми глазами, но потом разомкнул веки, а когда склонившаяся над ним Бася спросила, как он себя чувствует, вместо ответа схватил ее руку и прижал к своим побелелым губам.

И лишь минуту спустя, словно придя в себя и собравшись с мыслями, ответил:

— Ой, добре, як давно не бувало!

В пути провели целый день. Наконец солнце побагровело, и огромный его шар перекатился на молдавскую сторону, Днестр засверкал, точно огненная лента, а с востока, от Дикого Поля, потихоньку стал подползать сумрак.

До Хрептева было уже недалеко, но лошади нуждались в отдыхе, и потому был устроен настоящий привал.

Среди драгун кое-кто запел вечернюю молитву, татары полезли с коней и, разостлав на земле овчины, тоже начали молиться, стоя на коленях, оборотясь лицом к востоку. Голоса их то громко звенели, то снижались до шепота; порой по рядам проносилось: «Алла! Алла!», а потом все разом умолкали, поднимались с колен и, держа перед лицом обращенные кверху ладони, замирали в благоговейной сосредоточенности, лишь время от времени сонно и будто со вздохом повторяя: «Лохичмен, ах, лохичмен!» Падавшие на них солнечные лучи становились все багрянее, с

запада потянул ветерок, и тотчас в глубине леса поднялся громкий шум, словно деревья хотели на пороге ночи воздать хвалу тому, кто рассыпает по темному небу тысячи мерцающих звезд.

Бася с огромным любопытством наблюдала за молитвою татар, и сердце ее сжималось при мысли, что столько добрых солдат, прожив тяжкую жизнь, попадет в пекло — и потому, прежде всего, что, пребывая постоянно среди людей, исповедующих истинную веру, они не пожелали, глядя на них, с греховного свернуть пути.

Заглоба, которому все это было не в новинку, слушая благочестивые Басины рассуждения, только пожимал плечами да приговаривал:

— Все равно б поганных в рай не пустили, чтобы блох и иной пакости на себе не приволокли.

Потом, натянув с помощью слуги подбитый выпоротками полушубок, незаменимый в холодные вечера, приказал отправляться в путь, но едва тронулись, впереди, на склоне холма, показались пятеро верховых.

Татары поспешно расступились, освобождая им дорогу.

— Михал! — крикнула Бася, разглядев всадника, мчавшегося впереди.

Это и в самом деле был Володыёвский, который с четырьмя своими людьми выехал жене навстречу.

Сияя от радости, они кинулись друг к другу в объятия и принялись наперебой рассказывать, что с каждым из них за время разлуки приключилось.

Бася рассказала, как прошло путешествие и как пан Меллехович «рассудок себе повредил о каменья», а маленький рыцарь дал отчет в том, что сделано в Хрептеве, где, по его уверениям, все уже готово к приему гостей: над постройкой жилья три недели трудились пятьсот топоров.

Во время этой беседы пан Михал поминутно наклонялся в седле, чтобы обнять молодую жену, которая, видно, и не думала на него за это сердиться, потому что ехала рядом, так близко, что лошади их чуть ли не терлись боками.

Путешествие близилось к концу; между тем настала ясная ночь, озаренная светом огромной золотой луны. Подымаясь над степью, луна постепенно бледнела, и наконец блеск ее затмился ярким заревом, вспыхнувшим впереди каравана.

— Что это? — спросила Бася.

— Увидишь, — ответил, шевеля усиками, Володыёвский, — дай только проедем вон тот лесочек, что нас от Хрептева отделяет.

— Это уже Хрептев?

— Когда б не деревья, он бы тебе виден был как на ладони.

Въехали в лесок, но и половины не проехали, как на другом его конце показалось множество огоньков, — сущий рой светлячков или мерцающих звезд! Звезды эти приближались с необыкновенною быстротой, и вдруг весь лесочек сотрясся от громких криков:

— Vivat наша госпожа! Vivat ее высокородие! Vivat! Vivat!

Это были солдаты, спешившие встретить Басю. Сотни их мгновенно смешались с татарами. Каждый держал в руке длинную палку с расщепленным концом, куда был вставлен пучок горящих лучин. Некоторые несли на шестах железные светильники, в которых горела смола, роняя наземь долгие огненные слезы.

Бася немедленно оказалась в окружении усатых, грозных и диких, но светящихся радостью лиц. Почти никто из этих людей прежде ее не знал, многие ожидали увидеть степенную матрону и тем сильнее обрадовались этой почти еще девочке, которая, сидя на белом жеребчике, с благодарностью склоняла налево и направо прелестное розовое личико, счастливое и вместе с тем смущенное столь неожиданным приемом.

— Благодарю вас, судари, — промолвила Бася, — знаю, не ради меня это...

Но звуки ее серебристого голоса потонули в приветственных возгласах, от которых дрожали в бору деревья.

Рыцари из хоругвей генерала подольского и пшемысльского подкомория, казаки Мотовило, липеки и черемисы перемешались между собой. Всяк хотел разглядеть молодую полковницу, подойти поближе, а кто погорячее, норовил поцеловать край ее шубки или ногу в стремях. Для полудиких воинов, прошедших жизнь в набегах и охоте за людьми, привыкших к кровопролитию и резне, это было явление столь необычайное и поразительное, что твердые их сердца дрогнули и в груди пробудились какие-то новые, неведомые чувства. Басю вышли встречать из любви к Володыёвскому, желая сделать ему приятное, а может, и подольститься, но внезапно всех охватило умиление. Улыбающееся, милое и невинное личико с блестящими глазами и раздувающимися ноздрями в одно мгновение стало дорогим солдатам. «Дитина ты наша!» — кричали старые казаки, истые степные волки. «Херувим каже, пане регіментар!», «Зорька ясная, цветик ненаглядный! — восклицали рыцари. — Все, как один, за нее головы сложим!» А черемисы, прикладывая к широкой груди ладони, причмокивали губами: «Алла! Алла...»

Володыёвский донельзя был растроган и обрадован; подбоченьясь, он поглядывал вокруг с нескрываемой гордостью за свою Баську.

Под неумолчные крики наконец выехали из лесочка, и тотчас глазам новоприбывших представились солидные деревянные

строения, стоящие вокруг двора. Это и было хрептевское сторожевое поселенье, ярко освещенное пылавшими перед частоколом огромными кострами — горели целые стволы. И на майдане развели множество костров, только поменьше, чтобы не наделать пожара.

Солдаты погасили свои лучины, поснимали с плеч кто мушкет, кто пицаль, кто штуцер и принялись из них палить в честь прибытия комендантши.

Вышли за частокол и оркестры: рыцарский с рожками, казацкий с литаврами, барабанами и разными многострунными инструментами и, наконец, липеки: в их оркестре по татарскому обычаю, всех заглушая, пронзительно дудели сопелки. К общему шуму примешивался лай солдатских собак и рев перепуганной скотины.

Впереди теперь ехала Бася, а с нею рядом по одну руку — муж, по другую — Заглоба; сопровождение несколько поотстало.

Над воротами, украшенными пихтовыми веточками, на смазанных салом и освещенных изнутри бачачьих пузырях чернелась надпись.

Пусть вас вечно любовь согревает немеркнущим пламенем

Crescite «Плодитесь (лат.).» милые гости, multiplicamini! «Размножайтесь (лат.).»

— Vivant! Floreant! «Да здравствуют и процветают! (Лат.)» — закричали солдаты, когда маленький рыцарь с Басей остановились, чтобы прочесть надпись.

— Черт возьми! — сказал Заглоба. — Я ведь тоже гость, но если призыв к размножению и ко мне обращен, убей меня бог, коли я знаю, как на него ответить.

Однако нашлось и специально ему предназначенное двустилие, и Заглоба, к немалому своему удовольствию, прочел:

Слава Онуфрию Заглобе бесстрашному,

Величайшей гордости рыцарства нашего!

Володыёвский на радостях пригласил всех офицеров и товарищей к себе на ужин, а для солдат велел выкатить пару бочонков горелки. Тут же забили нескольких волов, которых немедленно принялись жарить на кострах. Угощенья было вдоволь и даже с избытком; до поздней ночи не стихали над заставой крики и мушкетные выстрелы, наводя страх на шайки разбойников, скрывающиеся в ущицких ярах.

ГЛАВА XXIII

Володыёвский у себя на заставе не сидел сложа руки, да и люди его пребывали в неустанных трудах. Охранять Хрептев обычно оставалось человек сто, а то и меньше, прочие же постоянно были в разъездах. Самые значительные отряды посылались для почесывания ушицких оврагов: они находились как бы в состоянии непрерывной войны, поскольку разбойные ватаги, зачастую весьма многочисленные, оказывали яростное сопротивление и не раз приходилось вступать с ними в форменные сражения. Подобные экспедиции длились по несколько дней, а порой и неделю-другую. Отряды поменьше пан Михал отправлял аж к самому Брацлаву — собирать свежие вести об орде и Дорошенко. Этим велено было добывать языков, за которыми они и охотились в степи; другие спускались по Днестру до Могилева и Ямполья для поддержания связи со стоявшими в тех местах гарнизонами; часть людей следила за тем, что делается на валашской стороне; иные возводили мосты, подправляли старый тракт.

В краю, где теперь царило столь оживленное движение, постепенно становилось спокойнее; некоторые местные жители — по-смирнее нравом, менее охочие до разбойной жизни — потихоньку возвращались в опустелые селенья, сперва с оглядкой, потом все смелее. В самом Хрептеве поселилось несколько евреев-ремесленников; все чаще стали заглядывать бродячие торговцы, а случалось, и богатый купец-армянин забредал. У Володыёвского появились основания надеяться, что, если господь бог и гетман позволят ему еще несколько времени пробыть здесь комендантом, глухой этот угол помалу совершенно переменит свой облик. Пока сделаны были лишь первые шаги, впереди оставалась уйма работы: на дорогах еще было небезопасно; разнуздавшийся местный люд охотнее сходил с разбойниками, нежели с войском, и часто ни с того ни с сего забивался обратно в скалистые расселины; через днестровские броды часто украдкой перебирались ватаги, состоящие из валахов, казаков, венгерцев, татар... бог весть кого там только не было; они устраивали татарским обычаем набеги на селенья и городишки, унося с собой все, что могли; в том краю пока ни на минуту нельзя было выпустить саблю из рук, повесить на гвоздь мушкет, однако начало уже было положено и будущее сулило благие надежды.

Зорче всего надлежало следить за тем, что творится на востоке. От дорошенковской разноплеменной рати и вспомогательных чамбулов то и дело откалывались более или менее крупные отряды, которые исподтишка нападали на польские гарнизоны, а по-

путно жгли и опустошали окрестность. Но поскольку действовали эти ватаги — хотя бы с виду — самочинно, маленький комендант громил их, не опасаясь навлечь на страну настоящую бурю; и еще мало ему было отражать нападения: он сам искал врага в степи, причем столь успешно, что со временем даже отчаянные головорезы стали держаться от него подальше.

Меж тем Бася привыкала к Хрептеву.

Ей как нельзя больше пришлась по душе солдатская жизнь — все, с чем до сих пор не случилось соприкоснуться так близко: постоянное движение, походы, набеги, вид пленных. Она объявила Володыёвскому, что, по крайней мере, в одном походе непременно должна участвовать; пока же довольствовалась тем, что порой объезжала на своем бахматике окрестности Хрептева в сопровождении мужа и Заглобы; во время таких прогулок они травили лисиц и дроф; иногда из травы выныривал и пускался наутек по разлогам матерый волк — тогда они бросались за ним вдогонку, и впереди, по пятам за борзыми, собрав все силы, летела Бася, чтобы первой догнать усталого зверя и, пальнув из своего ружья, всадить пулю промеж красных его глаз.

Заглоба наслаждался соколиной охотой, благо у офицеров имелось при себе несколько пар отличнейших птиц.

Бася и ему сопутствовала, а пан Михал тайком посылал за нею человек десять — пятнадцать, чтобы в случае чего оказать помощь; хотя в Хрептеве всегда было известно, что творится в пустыне на двадцать миль окрест, пан Михал все же предпочитал соблюдать осторожность.

Солдаты с каждым днем проникались к Басе все большей любовью и благодарностью: она следила, чтобы их хорошо кормили, ухаживала за больными и ранеными. Даже угрюмый Меллехович, которого все еще донимали головные боли, завидя ее, светлел лицом, — а у него сердце было тверже и нрав суровей, нежели у других. Бывалых солдат восхищала ее поистине рыцарская отвага и немалые познания в ратном деле.

— Не стань Маленького Сокола, — говорили они, — она б могла командование принять; с таким военачальником и погибнуть не обидно.

Иной раз, если в отсутствие Володыёвского кому-нибудь случилось нарушить дисциплину, Бася отчитывала виновных; солдаты слушались молодую комендантшу беспрекословно, а выговор, полученный из ее уст, понимал старых вояк сильнее, чем любое наказание, на которые пан Михал, будучи ретивым служакою, не скупился. В гарнизоне всегда царил образцовый порядок, так как Володыёвский, прошедший выучку у князя Иеремии, умел держать солдат в строгом повиновении; присутствие Баси, впрочем,

смягчило несколько еще диковатые нравы. Каждый старался ей приглянуться, все дружно оберегали ее покой и отдых и потому избегали всего, что могло бы этот покой нарушить.

В легкой хоругви Миколая Потоцкого среди товарищей было немало людей многоопытных и светских, которые, хоть и огрубели в непрестанных сражениях и походах, тем не менее составляли приятное общество. Вместе с офицерами из других хоругвей они частенько коротали вечера у полковника, рассказывая о делах минувших дней и войнах, в которых сами принимали участие. Тут, конечно, никто не мог тягаться с паном Заглобой. Он был старше всех, больше всех повидал и совершил множество подвигов, однако, когда после одной-двух чарок ему случалось вздремнуть в удобном, обитом сафьяном кресле, которое специально для него ставили, слово брали другие. У каждого находилось о чем порассказать: те бывали в Швеции и в Московии, эти провели молодые годы на Сечи еще до Хмельницкого; некоторые, попав в свое время в неволю, пасли в Крыму овец, рыли колодцы в Бахчисарае; иных заносило в Малую Азию; одни гребцами на турецких галерах плавали по Архипелагу;[36] другие ходили в Иерусалим поклониться гробу господню; многие побывали в тяжких переделках и немало горя хлебнули, однако вернулись под польские знамена, дабы до конца своих дней, до последнего вздоха защищать здешние приграничные земли, залитые кровью.

В ноябре, когда вечера стали долгими, а от раздольной степи, где уже увядали травы, повеяло покоем, в доме полковника собирались каждый день. Приходил командир казаков Мотовило, русин родом, худой, как щепка, и длинный, как пика, уже в годах, воевавший без роздыха двадцать с лишним лет; приходил пан Дейма, брат того самого Деймы, что зарубил пана Убыша; и с ними пан Мушкальский, некогда человек состоятельный, который, будучи в молодости угнан в неволю, был гребцом на турецких галерах, а вырвавшись на свободу, отказался ото всех богатств и пошел с саблей в руке мстить басурманскому племени за свои обиды. Был то непревзойденный лучник, который, укажи ему в поднебесье любую цаплю, пронзал ее стрелой. Приходили также два наездника — пан Вильга и пан Ненашинец, удалые вояки, и пан Громыка, и пан Бавдынович, и многие другие. Когда они начинали свои пространные повествования, перед глазами точно въяве вставал восточный мир: Бахчисарай и Стамбул, и минареты, и святыни лжепророка, и голубые воды Босфора, и фонтаны, и двор султана, и людской муравейник в каменных стенах города, и войска, и янычары, и дервиши, и вся эта страшная, сверкающая как радуга рать, от которой Речь Посполитая заслоняла своею окровавленной грудью и русские земли, и все распятия и храмы

во всей Европе.

В просторной горнице сидели кружком старые воины, точно стоя утомленных долгим перелетом аистов, с громким клекотом присевших на степной могильный курган.

В очаге горели толстые смолистые поленья, и по всей горнице плясали яркие отблески. На углях по Басиному приказанию подогревалось молдавское вино, а слуги зачерпывали его оловянными кулявками и подавали рыцарям. За стенами перекликались дозорные, по углам пели сверчки, на которых жаловался Басе Володыёвский, в заткнутых мхом щелях посвистывал ноябрьский северный и злой ветер. В эти холодные вечера приятно было, сидя в уютной и светлой комнате, слушать рассказы про похождения рыцарей.

В один из таких вечеров пан Мушальский поведал нижеследующую историю:

— Да не оставит господь своею милостью Речь Посполитую, нас, грешных, и прежь всего сударыню нашу, благодетельницу, одарившую нас своим присутствием, досточтимую супругу нашего коменданта, только глядеть на которую для нас великая честь. Я б не посмел вступать в состязанье с паном Заглобой, чьи подвиги могли бы восхитить саму Дидону и ее прелестных наперсниц, но, поскольку ваши милости искали *casus cognoscere meos* «Случай меня узнать (лат.)», не стану противиться желанию честной компании и начну не мешкая.

В молодости я унаследовал большое имение на Украине, возле Таращи. Имелись у меня еще две материнские деревеньки в спокойных краях под Ясло, но я предпочел поселиться в отцовых владениях: близость орды обещала жизнь, полную приключений. Душа горячая, рыцарская рвалась в Сеч, но там уже нашему брату делать было нечего, однако в Дикое Поле с другими буйными головушками я хаживал и душу свою потешил. Хорошо мне жилось в моем именье, одно лишь докучало страшно: пренеприятнейшее соседство. Соседом моим был простой мужик из-под Белой Церкви, который смолоду жил на Сечи, дослужился там до куренного атамана и ездил послом от коша в Варшаву, где и получил шляхетскую грамоту. Назывался он Дыдюк. А да будет вам известно, что мы свой род ведем от некоего самнитского вождя по имени Муска, что по-нашему означает «Муха». Муска этот после неудачных схваток с римлянами обосновался при дворе Земовита,[37] сына короля Пяста, который удобства ради прозвал его Мускальским, а потомки впоследствии Мускальского превратили в Мушальского. Ну и я, гордясь столь благородной кровью, на соседа своего Дыдюка глядел с презрением. Кабы еще, шельма, умел ценить оказанную ему честь и превосходство шля-

хетского сословия надо всеми прочими признал, я б, возможно, слова худого не сказал. Но он, получивши право владеть землей как настоящий шляхтич, над этим высоким званием глумился и частенько говаривал: «Тень моя, что ль, теперь длиньше стала? Казак я был и казаком останусь, а шляхта и все вражьи ляхи у меня вот где...» А какие при том мерзостные телодвижения производил, я вам и сказать не могу при любезной нашей хозяйке. Дикая ярость во мне кипела, и стал я его всячески изводить. Но он был не из робких и не испугался, а платил мне с лихвою. И на саблях не прочь был сразиться, да я не захотел, памятуя о его низком происхождении. Возненавидел я его смертельно, и он ко мне ненавистью проникся. Однажды в Тараще на рыночной площади выстрелил в меня и чудом не убил, а я ему чеканом разбил башку. Дважды со своими дворовыми на него нападал, а он с местным сбродом дважды на меня. Одолеть не одолел, но и я с ним справиться не мог. Хотел было по закону на него управу найти — куда там: какие законы на Украине, когда на месте городов еще пепелища дымятся! Кто кликнет клич да соберет шайку головорезов, тому и море по колено. Дыдюк тем и занимался, а вдобавок хулил общую нашу мать, начисто позабыв, что она, пожаловав ему шляхетское достоинство, тем самым приняла в свое лоно, возвысила, наделила сословными привилегиями, а значит, и правом владеть землей, и свободу дала, чрезмерную даже, каковая бы ему в ином государстве и не снилась. Нам бы с ним по-соседски потолковать — уж я б нашел веские аргументы, — но мы встречались не иначе, как с мушкетом в одной руке и саблей в другой. *Odium «Ненависть (лат.)»* во мне с каждым днем все сильней разгоралась, я даже лицом пожелтел. Об одном только думал: как его проучить. И ведь чувствовал, что ненависть — это грех, и потому решил поначалу за глумление над шляхетским званием только шкуру ему плетью изукрасить, а затем отпустить, как пристало истому христианину, все его прегрешения и велеть попросту пристрелить...

Но господь распорядился иначе.

Была у меня за древней изрядная пасека, и пошел я как-то ее оглядеть. Близился вечер. Пробыл я там недолго, от силы час, и вдруг слышу, *clamor «Крик, шум (лат.)»* какой-то. Оборачиваюсь: над деревнею дым тучей висит. Через минуту смотрю — люди несутся: «Орда! Орда!», а за ними по пятам, судари мои, просто тьма-тьмуца! Стрелы градом летят, куда ни глянь, везде бараньи тулупы и дьявольские рожи ордынцев. Я к коню! Не успел ногу поставить в стремя — на мне уже пять или шесть арканов. По одному-то я б их разорвал — силен тогда был... *Nec Hercules!.. «Начало фразы: «И Геркулесу не одолеть многих» (лат.)»* Три

месяца спустя очутился я вместе с другими ясырями за Бахчисараем, в татарском селенье Сугайдзиг.

Хозяина моего звали Сальма-бей. Богатый был татарин, но по натуре зверь лютый и к невольникам жалости не знал. Мы колодцы рыли и в поле работали, а над нами кнут свистел. Хотел я откупиться, благо было чем. Посылал через одного армянина письма в свое именье под Ясло. Не знаю уж, то ли письма не дошли, то ли выкуп по дороге пропал, только я ничего не получил... Повезли меня в Царьград и продали на галеры.

О городе этом можно рассказывать бесконечно; не знаю, сыщется ли на свете хоть один больше его и краше. Людей там — как трав в степи, как камней в Днестре... Крепостные стены мощные. Башни одна к другой лепятся... В садах у людей под ногами псы шныряют, турки их не трогают, верно, о родстве своем с ними памятуя, потому как сами собачьи дети... Сословий никаких — либо ты господин, либо невольник, и нет неволи тяжелей, чем басурманская. Бог весть, правда ли это, но я на галерах слышал, будто воды тамошние — Босфор и Золотой Рог, что врезается в глубь города, — не воды вовсе, а слезы невольничьи. Немало и моих туда пролилось...

Страшна турецкая сила; ни у одного державного государя нет под пятою стольких монархов, как у султана. А сами турки говорят, что кабы не Лехистан (так они мать нашу называют), они бы уже давно были властелинами orbis terrarum «Круга земель», всей земли (лат.).». «За спиною ляха, твердят, весь мир в неправде живет; лях, говорят, точно пес перед распятием лежит да за руки нас кусает...» И правы, ибо так оно было и есть... Разве мы здесь, в Хрептеве, и те гарнизоны, что дальше стоят — в Могилеве, в Ямполье, в Рашкове, — иному делу служим? Много зла в нашей Речи Посполитой, но нам за наши тяжкие труды, полагаю, господь когда-нибудь воздаст, да и люди, может, спасибо скажут.

Однако, продолжу рассказ о своих злключениях. Те невольники, что на суше, в городах и селеньях живут, меньше страдают от гнета, нежели те, которые гребцами на галеры посажены. Этих несчастных, однажды приковав к борту возле весла, никогда уже из оков не освобождают: ни ночью, ни днем, ни по праздникам — так они и живут в цепях до последнего вздоха, а затонет корабль in ruine navali «В морском сражении (лат.).», вместе с ним идут ко дну. Нагие, холод их пронимает, дожди поливают, голод мучает, а избавления ждать неоткуда, — знай лей слезы да надрывайся из последних сил: весла столь велики и тяжелы, что с одним двое еле справляются...

На галеру меня привезли ночью и немедля заковали; сидящего напротив товарища по несчастью я in tenebris «В темноте (лат.-

.)» разглядеть не смог. Когда услышал стук молота и звон кандалов, — боже правый! — мне почудилось, это мой гроб заколачивают, хотя уж лучше бы такой конец. Стал молиться, но надежду из сердца как ветром выдуло... Стоны мои каваджи плетью утишил, и просидел я безмолвно всю ночь, пока не начало светать... Посмотрел тогда, с кем же мне одним веслом грести, — силы небесные! Угадайте, любезные судари, кто супротив меня сидел? Дыдюк!

Я его сразу узнал, хоть и был он в чем мать родила, исхудал и бородою оброс, длинной, до пояса, — его раньше меня продали на галеры... Гляжу на него, а он на меня: узнал тоже... Но друг с другом не заговариваем... Вот какая нас обоих постигла участь! И ведь надо же: так наши сердца были ожесточены, что мы не только не поздоровались по-людски, а напротив: бывшие обиды в душе у каждого вспыхнули, точно пламень, и радость разыграла в сердце от того, что и врагу такие же выпали страдания... В тот же самый день корабль отправился в плавание. Странно мне было с лютым своим недругом за одно весло держаться, из одной миски хлебать помои, которые у нас и собаки бы не стали есть, одинаковые надругательства сносить, одним воздухом дышать, вместе страдать, вместе плакать... Плыли мы по Геллеспонту, потом по Архипелагу... Островов там видимо-невидимо, и все в турецкой власти... И оба берега тож... весь свет!.. Тяжко было очень... Днем жара неимоверная. Солнце так палит, что кажется, вода вот-вот загорится, а как пойдут отблески дрожать и сверкать на волнах, чудится: огненный дождь хлещет. Пот градом льет, язык присыхает к гортани... Ночью холод кусает как пес... Утешения не жди; твой удел — печаль, тоска по утраченному счастью, печаль и каторжный труд. Словами этого не выразишь... На одной стоянке, уже на греческой земле, видели мы с палубы знаменитые *ruínas* «Развалины (лат.)» храмов, которые воздвигли еще древние *grecos* «Греки (лат.)». Колонны сплошной чередой стоят, и все будто из золота, а это мрамор пожелтел от времени. А видно так хорошо, потому что они на голом холме выстроились и небо там словно бирюза... Потом поплыли мы вокруг Пелопоннеса. День проходил за днем, неделя за неделей, а мы с Дыдюком словом не перемолвились: не иссякла еще в наших сердцах гордыня и злоба... И начали мы помалу хиреть — видно, так было угодно господу. От непосильного труда и переменчивой погоды грешная наша плоть чуть ли не стала от костей отваливаться; раны от сыромятных бичей гноились на солнце. По ночам мы молили бога о смерти. Бывало, едва задремлю, слышу, Дыдюк бормочет: «Христе, помилуй! Святая-пречистая, помилуй! Дай умереть!» Он тоже слышал и видел, как я к пресвятой деве и ее младенцу руки

простирали... А тут точно ветер морской взялся изгонять обиду из сердца... Все меньше ее и меньше... До того дошло, что, оплакивая себе, я и над его судьбой плакал. Оба мы уже совсем по-иному друг на дружку глядели... Ба! Помогать начали друг другу. Прошибет меня пот, смертельная усталость охватит — он один гребет, а ему станет неважно — я... Принесут поесть, каждый приглядывает, чтоб и другому досталось. Однако странная штука — натура человеческая! Мы уже, можно сказать, полюбили друг друга, но ни один не хотел первым признаться... Упрям был, шельма, украинская душа!.. Однажды — а день выдался на редкость тяжелый — услышали мы, что завтра ожидается встреча с венецианским флотом. Кормили нас впроголодь, лишнюю крошку жалели, только на удары бичом не скупились. Настала ночь; мы стонаем тихонько — он по-своему, я по-своему — и все жарче молимся; вдруг глянул я, благо месяц светил, — а у него слезы по бороде так и катятся. Дрогнуло у меня сердце, я и говорю: «Дыдюк, мы ж с тобой жили рядом, отпустим друг другу вины». Едва он это услышал — боже правый! Как взревет мужик, как подскочит, аж цепи зазвенели. Обнялись мы через весло, лобызаемся и плачем... Не могу сказать, сколько так просидели, обо всем на свете забыли, только тряслись от рыданий.

Тут пан Мушальский умолк и как бы ненароком рукой смахнул что-то с ресниц. На минуту воцарилась тишина, лишь студёный северный ветер посвистывал в щелях между бревен, а в горнице шипел огонь и пели сверчки. Наконец Мушальский перевел дух и продолжил свой рассказ:

— Господь, как потом оказалось, благословил нас и милостью своей не оставил, но прежде мы горько поплатились за эту вспышку братских чувств. Пока обнимались, цепи наши так переплелись, что мы их не смогли распутать. Пришли надсмотрщики; они только нас и расцепили, но кнут больше часа над нами свистал. Били не глядя, по чем попало. Пролилась кровушка из моих ран, пролилась из Дыдюковых и, перемешавшись, потекла единой струей в море. Ну да ладно!.. История, слава тебе господи, давняя!..

С той поры я и не вспомнил ни разу, что мой род от самнитов ведётся, а он — крестьянин из-под Белой Церкви, недавно получивший шляхетство. Я и брата родного не мог бы любить сильнее. Даже не будь Дыдюк шляхтичем, я бы на это не посмотрел, хотя так оно, конечно, было приятнее. А он мне, как в прежние времена ненавистью, так теперь любовь с лихвой платил. Такая уж у него была натура...

На следующий день — битва. Венецианцы разогнали наш флот на все четыре стороны. Наша галера, изрешеченная вражьи

кулевринами, укрылась возле какого-то пустынного островка, вернее, скалы, торчащей из моря. Надо судно чинить, а солдат-то поубивало, рук для работы недостает, вот и пришлось туркам нас расковать и каждому дать топор. Едва сошли на сушу, вижу: у Дыдюка на уме то же, что и у меня. «Сейчас?» — спрашивает. «Сейчас!» — отвечаю и, не долго думая, хватъ по башке одного надсмотрщика, а Дыдюк — самого капитана. За нами другие — точно пламя взметнулось! За час расправились с турками, потом кое-как залатали галеру и сели на нее уже без цепей, а господь милосердный повелел ветрам пригнать наше судно в Венецию.

Кормясь подаянием, добрались мы до Речи Посполитой. Поделился я с Дыдюком своими подъясельскими землями, и отправились мы оба воевать, чтобы отплатить врагу за наши слезы и кровь. Во время подгаецкой кампании Дыдюк подался на Сечь к Сирко[38] и оттуда вместе с ним ходил в Крым. Что они там творили и какой урон нанесли, вы не хуже моего знаете.

На обратном пути Дыдюк, насытившийся местью, пал, сраженный стрелою. Я остался жив и с той поры всякий раз, натягивая тетиву, его поминаю, а что таким манером душу не однажды потешил, тому среди сего достойного общества немало есть свидетелей.

Тут Мушальский опять умолк, и снова только свист северного ветра стал слышен да потрескивание огня. Старый воин уставил взор на пылающие поленья и после долгого молчания так закончил свой рассказ:

— Были Наливайко и Лобода, был батько Хмельницкий, а теперь Дорош им на смену пришел; земля от крови не просыхает, мы враждуем и бьемся, а ведь господь заронил в наши сердца *semina* «Семена (лат.).» любви, только они точно в бесплодной почве лежат и лишь политые слезами и кровью, лишь под гнетом и бичом басурманским, лишь в татарской неволе нежданно приносят плоды.

— Экий хам! — сказал вдруг, просыпаясь, Заглоба.

ГЛАВА XXIV

Меллехович понемногу поправлялся, но в набегам еще не участвовал и сидел запершись в горнице, поэтому о нем и думать забыли, пока не случилось неожиданное происшествие, привлечшее к нему всеобщее внимание.

Однажды мотовиловские казаки схватили показавшегося им подозрительным татарина, который вертелся вблизи заставы, что-то разнюхивая, и привели его в Хрептов.

Пленник был безотлагательно допрошен; оказалось, что это один из тех литовских татар, которые недавно, бросив службу в Речи Посполитой и свои жилища, переметнулись к султану. Пришел он с другого берега Днестра и имел при себе письмо от Крычинского к Меллеховичу.

Володыёвский сильно обеспокоился и немедленно созвал старших офицеров на совет.

— Милостивые государи, — сказал он, — вам хорошо известно, как много татар, даже из числа тех, что с незапамятных времен жили на Литве и здесь, на Руси, ушли в орду, изменой отплатив Речи Посполитой за ее благодеяния. Посему призываю вас впредь никому из них особо не доверять и зорко за действиями каждого следить. Здесь у нас тоже есть небольшая татарская хоругвь в сто пятьдесят добрых коней под командою Меллеховича. Меллехович этот мне самому с недавних пор знаком, могу лишь сказать, что гетман за исключительные заслуги произвел его в сотники и с отрядом прислал сюда. Правда, мне показалось странным, что никто из вас этого татарина прежде, до его поступления на службу, не знал и ничего даже о нем не слышал... А что наши татары безмерно молодца этого любят и слепо слушаются, я себе объяснял его отвагою и славными подвигами; впрочем, и те, похоже, не знают, кто он и откуда. До сих пор я его ни в чем дурном не подозревал и ни о чем не расспрашивал, удовлетворясь гетманской рекомендацией, хотя какой-то тайной он себя окружает. Впрочем, всяк на свой лад живет, я никому в душу не лезу, по мне, лишь бы солдат службу исправно нес. Но вот люди пана Мотовило схватили татарина, который привез Меллеховичу письмо от Крычинского. Не знаю, известно ли вашим милостям, кто такой Крычинский?

— А как же! — сказал Ненашинец. — Крычинского я самого знавал, а теперь и другие знают: дурная слава далеко бежит.

— Мы вместе грамоте... — начал было Заглоба, но сразу осекся, сообразив, что в таком случае Крычинскому должно бы быть лет девяносто, а в столь преклонном возрасте вряд ли кто станет

воевать.

— Короче говоря, — продолжал маленький рыцарь, — Крычинский, польский татарин, был у нас полковником, командовал хоругвью липеков, но потом изменил отечеству и перешел в добруджскую орду, где, как я слыхал, с ним весьма считаются, надеюсь, видно, через него и остальных липеков на свою сторону перетянуть. И с таким человеком Меллехович вступает в тайные сношения! А наилучшее тому доказательство — вот это письмо.

Тут маленький полковник развернул исписанные листки, расправил их ударом ладони и начал читать:

— «Любезный моему сердцу брат! Посланец твой добрался до нас и письмо передал...»

— По-польски пишет! — перебил его Заглоба.

— Крычииский, как и все наши татары, только по-русински и по-польски писать умел, — ответил маленький рыцарь, — да и Меллехович тоже, верно, в татарской грамоте не силен. Слушайте, любезные судари, и не перебивайте. «...и письмо передал, божьей милостью все будет хорошо, и ты желанной цели достигнешь. Мы здесь с Моравским, Александровичем, Тарасовским и Грохольским часто совещаемся и у других братьев в письмах совета спрашиваем, как поскорей исполнить то, что ты, дорогой, замыслил. А поскольку до нас дошел слух, будто ты занемог, посылаю человека, чтобы он тебя, дорогой, своими глазами увидел и принес нам утешительную весть. Тайну храни строжайше — упаси бог, раньше времени откроется. Да умножит господь твой род, да сравнит его численность с числом звезд на небе.

К р ы ч и н с к и й».

Володыёвский кончил читать и обвел взглядом собравшихся, а так как все молчали, видимо, напряженно обдумывая содержание письма, сказал:

— Тарасовский, Моравский, Грохольский и Александрович — все бывшие татарские ротмистры и изменники.

— Равно как Потужинский, Творовский и Адурович, — добавил Снитко.

— Что скажете о письме, судари?

— Измена налицо, тут и думать нечего, — сказал Мушальский. — Ротмистры эти хотят наших татар на свою сторону переманить, вот и снюхались с Меллеховичем, а он согласился им помочь.

— Господи! Да это же *periculum* для гарнизона, — воскликнуло несколько голосов сразу. — Липеки душу за Меллеховича готовы продать; прикажи он — сегодня же ночью нас перережут.

— Подлейшая измена! — вскричал Дейма.

— И сам гетман этого Меллеховича сотником назначил! — вздохнул Мушкальский.

— Пан Снитко, — отозвался Заглоба, — что я тебе сказал, когда Меллеховича увидел? Говорил, это вероотступник и предатель? По глазам видно... Ха! Я его с первого взгляда раскусил. Меня не проведешь! Повтори, сударь, пан Снитко, мои слова, ничего не переиначивая. Сказал я, что он изменник?

Пан Снитко спрятал ноги под скамью и опустил голову.

— Проницательность вашей милости поистине достойна восхищения, хотя, по правде говоря, я не припомню, чтобы ваша милость его изменником назвал. Вы только, сударь, сказали, что он глядит волком.

— Ха! Стало быть, досточтимый сударь, ты утверждаешь, что пес изменник, а волк — нет, что волк не укусит руки, которая его гладит и кормит? Пес, значит, изменник? Может, твоя милость еще и Меллеховича под защиту возьмет, а нас всех объявит предателями?...

Посрамленный пан Снитко широко разинул рот, выпучил глаза и от изумления долго не мог произнести ни слова.

Между тем Мушальский, имевший привычку быстро принимать решения, сказал не задумываясь:

— Прежде всего надлежит возблагодарить господина за то, что позорный сговор раскрыт, а затем отрядить шестерых драгун — и пулю в лоб предателю!

— А потом другого сотника назначить, — добавил Ненашинец.

— Измена столь очевидна, что ошибки бояться нечего.

На что Володыёвский сказал:

— Сперва надобно Меллеховича допросить, а потом сообщить об этом сговоре гетману: как мне говорил пан Богуш из Зембиц, коронный маршал к литовским татарам питает большую слабость.

— Но ведь ваша милость, — сказал, обращаясь к пану Михалу, Мотовило, — имеет полное право сам над Меллеховичем суд вершить, он ведь к рыцарству никогда не принадлежал.

— Я свои права знаю, — ответил Володыёвский, — и в твоих, сударь, подсказках не нуждаюсь.

Тут другие закричали:

— Подать сюда сукиного сына, пусть нам ответит, изменник, вероломец!

Громкие возгласы разбудили Заглобу, который было задремал, что с ним последнее время часто случалось; быстро припомнив, о чем шла речь, он сказал:

— Да, пан Снитко, блеску от ущербного месяца в твоём гербе немного, но и умом ты не блещешь. Сказать, что пес, *canis fidelis*

«Верный пес (лат.).», изменник, а волк — нет! Ну, дражайший! Совсем, сударь-батюшка, сдурел!

Пан Снитко возвел очи к небу в знак того, что страдает безвинно, но промолчал, не желая раздражать старика пререканиями, а тут Володыёвский велел ему сходить за Меллеховичем, и он поспешил исполнить приказание, обрадовавшись возможности улизнуть.

Минуту спустя Снитко вернулся, ведя молодого татарина, который, видно, еще ничего не знал о поимке лазутчика и потому вошел смело. Красивое смуглое его лицо было очень бледно, но он совсем оправился и даже голову больше не обматывал платками, а носил, не снимая, красную бархатную тюбетейку.

Все так и впились в него глазами, он же, довольно низко поклонясь маленькому рыцарю, прочим кивнул весьма небрежно.

— Меллехович! — сказал Володыёвский, уставив на него свой пронзительный взор. — Ты знаешь полковника Крычинского?

По лицу Меллеховича промелькнула быстро грозная тень.

— Знаю! — ответил он.

— Читай! — сказал маленький рыцарь, подавая ему найденное при пленнике письмо.

— Приказывайте, я жду, — промолвил татарин, возвращая письмо.

— Как давно ты замыслил измену и каких имеешь в Хрептеве сообщников?

— Я обвинен в измене?

— Отвечай, а не задавай вопросы! — сурово сказал маленький рыцарь.

— Что ж, тогда мой *respons* «Искаж *r e s p o n s i o* — ответ (лат.).» будет таков: измены я не замышлял, сообщников не имею, а если и имел, то таких, которых не вам судить.

Услышав это, воины заскрежетали зубами, и тотчас несколько голосов произнесло с угрозой:

— Почтительней, сукин сын, почтительней! Не забывай: ты нам не ровня!

В ответ Меллехович смерил говоривших взглядом, в котором сверкнула холодная ненависть.

— Я знаю свой долг перед паном комендантом, моим начальником, — сказал он, снова поклонившись Володыёвскому, — знаю и то, что всех здесь худородней, и потому вашего общества не ищу; твоя милость (тут он опять обратился к маленькому рыцарю) про сообщников спрашивал — у меня их двое: один — пан подстолий новогрудский, Богуш, а второй — великий коронный гетман.

Эти слова всех повергли в изумление, и на минуту воцарилось молчание; наконец Володыёвский, шевельнув усиками, спросил: — Это как?

— А вот так, — ответил Меллехович. — Крычинский, Моравский, Творовский, Александрович и другие в самом деле на сторону орды перешли и много уже зла причинили отечеству, но счастья на новой службе не обрели. А может, совесть в них пробудилась; короче, и служба эта, и слава изменников им не по нутру. Пан гетман хорошо об этом знает, он и поручил пану Богушу с паном Мыслишевским перетянуть их обратно под знамена Речи Посполитой, а пан Богуш ко мне обратился и приказал договориться с Крычинским. У меня на квартире письма от пана Богуша лежат: могу хоть сейчас представить — им ваша милость скорее, чем моим словам, поверит.

— Ступай с паном Снитко и немедля принеси сюда эти письма. Меллехович вышел.

— Любезные судари, — торопливо проговорил маленький рыцарь, — боюсь, поспешным обвинением мы тяжко оскорбили честного воина. Ежели у него имеются эти письма и все сказанное им, правда — а я склонен думать, что это так, — тогда он не только рыцарь, прославившийся ратными подвигами, но и верный слуга отечества, и не хула ему причитается, а награда. Черт побери! Надо поскорей ошибку исправить!

Остальные сидели молча, не зная, что сказать, Заглоба же закрыл глаза, на этот раз притворившись, будто дремлет.

Между тем вернулся Меллехович и подал Володыёвскому письма Богуша.

Маленький рыцарь начал читать. И вот что он прочел:

— «Со всех сторон слышу я, что никто более тебя в этом деле полезен быть не может по причине необычайной любви, каковую они к тебе питают. Пан гетман готов их простить и добиться прощения Речи Посполитой обещает. С Крычинским сносись как можно чаще через верных людей и *ргаеmіum* ему посули. Тайну храни строжайше, иначе, не дай бог, всех их погубишь. Одному пану Володыёвскому можешь открыть *агсапа*, поскольку он твой начальник и много в чем поспособствовать сумеет. Трудов и стараний не жалей, памятуя, что *finis coronat opus* «Конец — делу венец (лат.)», и будь уверен, что за добрые дела твои мать наша тебя заслуженной наградит любовью».

— Вот, получил награду! — угрюмо пробормотал татарин.

— Боже правый! Почему же ты никому слова не сказал? — вскричал Володыёвский.

— Я хотел вашей милости все рассказать, да не успел — занедужил после ушиба; а прочим, — тут Меллехович повернулся к

офицерам, — мне не велено было открываться. Ваша милость, надо полагать, теперь остальным тоже молчать прикажет, чтоб на тех не навлечь беды.

— Доказательства твоей невинности неоспоримы — это и младенцу ясно, — сказал маленький рыцарь. — Продолжай свои переговоры с Крычинским. Никто тебе помех чинить не станет, напротив, получишь помощь — вот моя рука, ты благородный рыцарь. Приходи сегодня ко мне ужинать.

Меллехович пожал протянутую руку и в третий раз поклонился. Прочие офицеры, выйдя из своих углов, обступили его и заговорили наперебой:

— Мы в тебе ошибались, но теперь всякий рад твою руку пожать — ты этого достоин.

Однако молодой татарин вдруг выпрямился и откинул назад голову, словно хищная птица, приготовившаяся нанести удар клювом.

— Я не забыл, что вам не ровня, — молвил он.

И вышел из горницы.

После его ухода сразу поднялся гомон. «Нечему удивляться, — говорили меж собой офицеры, — шутка ли — такое обвиненье! Ну ничего, покипятится да перестанет. А нам нужно отношение к нему изменить. Душа-то у него поистине рыцарская! Гетман знал, что делал! Чудеса, однако же, чудеса!..»

Снитко втайне торжествовал; в конце концов, не удержавшись, он подошел к Заглобе и сказал с поклоном:

— Прости, сударь, но волк-то наш не изменник...

— Не изменник? — переспросил Заглоба. — Изменник, только благородный, поскольку не нас предает, а ордынцев... Не теряй надежды, любезный пан Снитко, я буду каждодневно за тебя молиться: авось святой дух сжалится и дозволит твоей милости блеснуть остротой ума!

Бася, когда Заглоба в подробностях ей обо всем рассказал, страшно обрадовалась; Меллехович с самого начала пришелся ей по душе, и она желала ему всяческого добра.

— Нужно, — сказала она, — нам с Михалом в первую же опасную экспедицию его с собой взять, — это и будет лучший способ выказать ему доверие.

Но маленький рыцарь, погладив розовую Басину щечку, ответил:

— А муха докучливая все про свое жужжит! Знаем мы тебя! Не о Меллеховиче ты печешься и не способа оказать ему доверие ищешь — тебе бы в степь полететь, да прямо в сечу! Не выйдет...

И, сказавши так, поцеловал жену в уста.

— *Mulier insidiosa est!* «Женщина — существо коварное! (Лат.)» — многозначительно изрек Заглоба.

В это самое время Меллехович сидел с посланцем Крычинского у себя на квартире и вполголоса с ним беседовал. Сидели они так близко друг к другу, что чуть не стукались лбами. На столе горел каганец с бараньим жиром, отбрасывая желтые блики на лицо Меллеховича, которое, несмотря на всю свою красоту, было поистине страшно: такая на нем рисовалась злоба, жестокость и дикая радость.

— Слушай, Халим! — прошептал Меллехович.

— Эфенди, — ответил посланец.

— Скажи Крычинскому, что он умная голова: не написал в письме ничего такого, что бы могло меня погубить. Умная голова, скажи. И впредь пусть ничего прямо не пишет... Теперь они мне еще больше доверять станут... Сам гетман, Богуш, Мыслишевский, здешние офицеры — все! Слышишь? Чтоб они от моровой передохли!

— Слышу, эфенди.

— Но сперва мне в Рашкове надо побывать, а потом снова сюда вернуться.

— Эфенди, молодой Нововейский тебя узнает.

— Не узнает. Он меня уже под Кальником видел, под Брацлавом — и не узнал. Глядит в упор, брови супит, а вспомнить не может. Ему пятнадцать лет было, когда он из дому сбежал. С той поры зима восемь раз покрывала степи снегом. Изменился я. Старик бы меня узнал, а молодой не узнает. Из Рашкова я тебе дам знать. Пусть Крычинский будет готов и держится поблизости. С пыркалабами[39] непременно войдите в согласие. В Ямполье тоже наша хоругвь есть. Богуша я уговорю, чтоб добился у гетмана для меня перевода в Рашков, — оттуда, скажу, проще с Крычинским сноситься. Но сюда я должен вернуться... должен!.. Не знаю, что будет, как дальше пойдет... Огонь меня сжигает, ночью глаз не могу сомкнуть... Если б не она, я бы умер...

— Благословенны руки ее.

Губы Меллеховича задрожали, и, вплотную приблизившись к гостю, он принялся шептать, словно в лихорадке:

— Халим! Благословенны ее руки, благословенна голова, благословенна земля, по которой она ступает, слышишь, Халим! Скажи им там, что я уже здоров — благодаря ей...

ГЛАВА XXV

Ксендз Каминский, в прошлом воин, и весьма лихой, на старости лет обосновался в Ушице, где получил приход. Но поскольку ушицкий костел сторел дотла, а прихожан было мало, сей пастырь без паствы частенько наведывался в Хрептев и, просиживая там неделями, в наставление рыцарям читал благочестивые проповеди.

Выслушав со вниманием рассказ Мушальского, он спустя несколько вечеров обратился к собравшимся с такими словами:

— Мне всегда по душе были повествования, в которых печальные события имеют счастливый исход, из чего явствует, что кого господь возьмет под свою опеку, того из любой западни непременно вызволит и отовсюду, хоть из Крыма, приведет под надежный кров. Посему, любезные судари, раз и навсегда всяк для себя запомните, что для господа бога нет ничего невозможного, и даже в тяжелейших обстоятельствах не теряйте веры в его милосердие. Вот оно как!

Честь и хвала пану Мушальскому, что простого человека братской любовью возлюбил. Пример тому нам показал спаситель, который, будучи сам царского рода, любил простолюдинов, многих из них произвел в апостолы и дальнейшему способствовал продвижению, почему они теперь и заседают в небесном сенате.

Но одно дело любовь приватная и совсем иное — всеобщая, одной нации к другой; так вот, эту, всеобщую любовь спаситель столь же строго наказал растить в сердцах. А где она? Оглядишься по сторонам, человеке: все сердца злобой полны, словно люди не по господним заповедям живут, а по сатанинским.

— Ох, сударь мой, — вмешался Заглоба, — нелегко тебе будет уговорить нас полюбить турка, татарина или какого иного варвара — ими сам господь бог, можно сказать, брезгует.

— Я вас к этому и не призываю, а лишь утверждаю, что дети *eiusdem matris* «Той же самой матери (лат.)» обязаны друг друга любить. А мы что творим: вот уже тридцать лет, со времен Хмельницкого, здешняя земля не просыхает от крови.

— А по чьей вине?

— Кто первый свою вину признает, того первого господь и простит.

— Но ты-то сам, сударь, хотя ныне сутану носишь, в молодые годы мятежников бивал, и как мы слыхали, весьма успешно...

— Бивал, ибо солдатскому долгу был послушен, и не в этом мой грех, а в том, что я их, как чуму, ненавидел. Имелись у меня свои, личные причины, о которых не стану вспоминать за давностью

лет, да и раны те уже зарубцевались. А каюсь я в том, что сверх положенного старался. Было у меня под началом сто человек из хоругви пана Неводовского, и частенько мы с ними, отделившись от остальных, жгли, рубили головы, вешали... Сами помните, какое было время. Жгли и рубили головы татары, которых Хмель призвал на подмогу, жгли и рубили головы польские войска. И казаки за собой только воду и землю оставляли, еще больше свирепствуя, нежели мы и татары. Ничего нет страшнее братоубийственной войны... Что были за времена — словами не передать; одно скажу: и мы, и они скорее на бешеных псов, чем на людей, походили...

Однажды наш отряд получил известие, что мятежный сброд осадил в крепостце пана Русецкого. Меня с моими людьми послали ему на выручку. Но мы пришли слишком поздно. От крепостцы уже следа не осталось. Однако я настиг пьяное мужичье и почти всех положил на месте, лишь малая часть попряталась в хлебах; этих я приказал взять живьем, чтоб для острастки повесить. Но где, на чем? Задумать было легче, чем исполнить; во всей деревне ни деревца не осталось, даже дикие груши, росшие кое-где на межах, валялись срубленные. Виселицы ставить — времени нет, да и лесов нигде поблизости не видно, край-то степной. Что делать? Беру я своих пленников и иду. Попадется, думаю, где-нибудь по дороге раскидистый дубок. Милую проходим, другую — кругом ровная степь, пусто, хоть шаром покати. Наконец натыкаемся на развалины какой-то деревушки, а дело уже шло к вечеру; я смотрю туда-сюда: везде головешки да седой пепел; опять ничего! Ан нет: на маленьком взгорочке распятие уцелело, крест большой, дубовый, видать, недавно поставленный — дерево несколько еще не почернело и при свете вечерней зари сверкало, словно объятые пламенем. Христос на нем был из жести вырезан и искусно раскрашен: лишь зайдя сбоку, можно было увидеть, что жезь эта тоньше пальца, и на кресте не настоящее тело висит; ну, а если спереди глядеть — лицо как живое, чуть только побледневшее от страданий, и терновый венец, и очи, с превеликой тоской и печалью обращенные к небу.

Увидел я тот крест, и в голове у меня мелькнуло: «Вот дерево, другого не будет», — но тотчас самому страшно стало. Во имя отца и сына! Не стану же я их на кресте вешать! Но, думаю, отчего бы не потешить Христа, приказав у него на глазах срубить головы тем, которые столько невинной крови пролили, и говорю: «Господи, да помстится тебе, что это те самые иудеи, которые тебя на кресте распяли: они их ничуть не лучше». И велел я брать по одному пленнику, приводить на курган к распятию и у его подножья сносить им головы. Были среди них седовласые старики и

мальчишки безусые. Привели первого, он ко мне: «Ради Христа, ради его крестных мук, помилуй пан!» А я на это: «По шее его!» Драгун размахнулся, и покатилась голова... Другого привели, он то же самое: «Ради Христа милосердного, помилуй!» А я опять: «По шее его!» Так же и с третьим, с четвертым, с пятым; всего их было четырнадцать, и каждый меня заклинал именем Христовым... Уже и заря погасла, пока мы управились. Приказал я положить мертвые тела вокруг распятия... Глупец! Думал, вид их будет приятен сыну божьему, они же еще несколько времени то руками, то ногами дергали, и нет-нет который-нибудь вскинется, точно вытащенная из воды рыба; впрочем, недолго страдальцы корячились, вскоре жизнь оставила обезглавленные тела, и лежали они кружком недвижно.

Меж тем темнота сделалась кромешная, и решил я тут же расположиться на ночлег, хотя костров разводить было не из чего. Ночь господь послал теплую, и люди мои с охотою улеглись на попоны, я же пошел еще к распятию, чтобы у ног всевышнего прочитав «Отче наш» и препоручить себя его милосердию. Думал, молитва моя с особой благосклонностью будет принята, поскольку день я провел в трудах и содеянное почитал своей заслугой.

Часто солдат, утомившись в походе, засыпает, не дочитавши вечерней молитвы. Так случилось и со мной. Драгуны, видя, что я стою на коленях, прислонясь головой к кресту, решили: я в благочестивые размышления погружен, и никто не пытался их нарушить; на самом же деле глаза мои мгновенно сомкнулись, и странный сон снизошел на меня от того распятия. Не скажу, что мне было послано видение: я и был, и есмь этого недостоин, однако, крепко уснув, видел я, словно наяву, от начала до конца страсти господни... Видел мучения невинного агнца, и сердце мое смягчилось, из очей брызнули слезы, и безмерная жалость стеснила душу. «Господи, — говорю, — есть у меня сотня добрых молодцев. Хочешь посмотреть, какова в деле наша конница? Кивни только головой, а я этих вражьих сынов, палачей твоих, вмиг в куски изрублю саблями». Едва я так сказал, видение вдруг рассеялось, остался один только крест, а на нем Христос, кровавыми слезами плачущий... Обнял я подножье святого древа и тоже зарыдал. Сколько это продолжалось, не знаю, но спустя какое-то время, немного успокоившись, опять говорю: «Господи! Проповедовал же ты свое святое ученье закоснелым иудеям, так ведь? Ну что б тебе было из Палестины в нашу Речь Посполитую прийти — уж мы бы тебя к кресту приколачивать не стали, а приняли ласково, всяческим одарили добром и шляхетское звание пожаловали для вящего умножения божественной твоей славы. Поче-

му ты таково не поступил, господи?»

С этими словами поднимаю я глаза (не забывайте, это все во сне было) и что же вижу? Господь наш глядит на меня сурово, брови хмурит и вдруг отвечает громовым голосом: «Дешево ныне шляхетство ваше: во время шведской войны любой мещанин мог себе убить; но не в том дело! Вы со смутьянами друг друга стоите, и они, и вы хуже иудеев, ибо каждый день меня на кресте распинаете... Разве я не наказал вам даже врагов своих любить и вины им прощать, а вы, точно дикие звери, растерзать готовы друг друга? На что взирая, я муку терплю невыносимую. А ты сам, ты, который меня у палачей отбить хотел, а потом в Речь Посполитую зазывал, — что ты сделал? Вон трупы вокруг моего креста лежат, и подножье кровью обрызгано, а ведь то были невинные люди — иные совсем еще юные, а иные, небогатые умом, точно глупые овцы вслепую за другими пошли. Оказал ты им милосердие, судил, прежде чем предать смерти? Нет! Ты велел им всем головы снести и еще думал меня этим порадовать. Поистине одно дело бранить и наказывать, как отец наказывает сына, как старший брат бранит младшего, и совсем другое — мстить, карать без суда, не зная меры в наказаниях и жестокости. До того уже дошло, что на этой земле волки милосерднее людей, травы исходят кровавой росой, ветры не веют, а воют, реки слезами полнятся и люди простирают руки к смерти, восклицая: „Спасительница наша!“

«Господи? — вскричал я. — Неужто они лучше нас? Кто самые страшные творил жестокости? Кто басурман призвал?...»

«Любите их, даже карая, — ответил господь, — и тогда пелена спадет у них с глаз, ожесточение покинет сердца и милосердие мое пребудет с вами. Не то нахлынут татарские полчища и всех — и вас, и их — уведут в полон, и будете вы служить врагу, терпя муки, снося унижения, обливаясь слезами, до того дня, пока друг друга не возлюбите. Если же и впредь не умерите свою ненависть, не будет ни одним, ни другим снисхождения, и неверный завладеет этой землей на веки вечные!»

Испугался я, услышав такое пророчество, и долго не мог слова вымолвить, а потом, упав ниц, спросил: «Что же мне делать, господи, дабы искупить свои грехи?»

На что господь отвечал: «Иди и повторяй мои слова, проповедай любовь!»

После этих слов сон мой рассеялся. А поскольку летняя ночь коротка, пробудился я уже на заре, мокрый от росы. Смотрю: головы возле распятия все так же кружком лежат, только лица посинелые. И странное дело: вчера радостно мне было на них смотреть, а нынче страх охватил, особенно когда я взглянул на голову одного отрока, лет, может, семнадцати, который красив

был неопиcуемо. Велел я солдатам предать тела земле под этим же распятием и с той поры... другой стал человек.

Вначале, бывало, думалось: сон — морок! Однако тот сон крепко застрял у меня в памяти и как бы всем моим существом помалу завладел. Конечно, я не смел даже помыслить, что сам всевышний со мною беседовал, поскольку, как уже вам говорил, достойным себя не чувствовал, но могло ведь статься, что совесть, на время войны затаившаяся в дальнем уголке души, как татарин в травах, вдруг обрела голос, дабы объявить мне господню волю. Пошел я на исповедь: ксендз подтвердил мою догадку. «Сомнений нет, говорит, это предостережение и воля божья, следуй сей указке, иначе горе тебе».

С той поры начал я проповедовать любовь.

Но... товарищество и офицеры смеялись мне в глаза: «Ты что, кричали, ксендз, наставленья нам читать? Мало вражьи дети оскорбляли всевышнего, мало костелов пожгли, мало осквернили распятий? За это, что ль, мы их должны любить?» Словом, никто меня не слушал.

И тогда, после битвы под Берестечком, облачился я в эти одежды, дабы с большим правом нести людям слово и волю Божию.

Двадцать с лишним лет я делаю свое дело, не зная покоя. Уже вон и волосы побелели... Да не покарает меня господь в своем милосердии за то, что голос мой до сих пор был гласом вопиющего в пустыне.

Любите врагов ваших, досточтимые судари, наказывайте их, как наказывает отец, браните, как бранит старший брат, иначе, сколько бы им худо ни было, худо будет и вам, и всей Речи Посполитой.

Гляньте, что принесла эта война, каковы плоды братней ненависти! Земля стала пустынею; у меня в Ушице вместо прихожан одни могилы; на месте костелов, городов, сел — пепелища, а басурманская мощь все растет и крепнет и грозит нам, словно неудержимая морская волна, которая и тебя, каменецкая твердыня, готова поглотить...

Пан Ненашинец слушал речи ксендза Каминского с большим волнением — даже на лбу его каплями выступил пот — и первым нарушил молчание:

— Есть, конечно, среди казаков достойные мужи, взять к примеру хотя бы сидящего здесь пана Мотовило, которого все мы уважаем и любим. Но что касается всеобщей любви, о которой столь проникновенно говорил ксендз Каминский... я, признаться, до сих пор в превеликом жил грехе, ибо не чувствовал в себе этой любви, да и не старался ее обрести. Спасибо, его преподобие ксендз приоткрыл мне глаза. Однако, пока господь меня особо не

наставит, я такой любви в своем сердце на найду, поскольку ношу в нем память о страшной обиде, а что это за обида — могу вкратце вам поведать.

— Сперва надо выпить чего-нибудь горячительного, — перебил его Заглоба.

— Подбросьте дров в печь, — приказала слугам Бася.

Вскоре просторная горница вновь озарилась светом, а перед каждым из рыцарей слуга поставил по кварте подогретого пива, в котором все немедля с удовольствием омочили усы. Когда же отхлебнули глоток-другой, Ненашинец начал свой рассказ — и покатилося слово за словом, точно камешки по косогору:

— Мать, умирая, поручила моим заботам сестру. Звали ее Елешкой. Ни жены, ни детей у меня не было, и любил я девчонку пуще всех на свете. Была она двадцатью годами меня моложе; я ее на руках носил. Короче говоря, за свое дитя почитал. Потом ушел я в поход, а ее пленили ордынцы. Вернулся — головой о стенку бился. Все мое достояние пропало во время набега, но я продал последнее, что имел, — конскую сбрую! — и поехал с армянами, чтоб выкупить сестру. Отыскал я ее в Бахчисарае. Жила она не в гареме пока еще, а при гареме, потому что было ей всего двенадцать лет. Вовек не забуду, Елешка, той минуты, когда я тебя нашел: как ты мне на шею бросилась, как глаза мои целовала! Да что толку! Оказалось, мало я привез денег. Очень уж красива сестра была. Егу-ага, который ее похитил, в три раза больше запросил! Предлагал я себя в придачу. И это не помогло. На моих глазах купил ее на базаре великий Тугай-бей, знаменитый наш недруг, который хотел девчонку годика три при гареме подержать, а потом сделать своей женой. Пустился я в обратный путь, еду и волосы на себе рву. По дороге узнал, что в приморском улусе проживает одна из жен Тугай-бея с его любимым сынком, Азьей... Тугай-бей во всех городах и многих селеньях держал жен, чтоб везде под собственным кровом иметь усладу. Услыхав про этого сынка, подумал я, что господь указывает мне последний способ спасти Елешку, и решил маленького Тугай-беевича похитить, чтоб потом обменять на сестру. Но в одиночку я этого сделать не мог. Надо было кликнуть клич на Украине либо в Диком Поле да сколотить ватагу, что было делом нелегким: Тугай-беево имя на Руси повсеместно внушало страх, это раз, а два — он казакам с нами воевать помогал. Однако по степям немало всякого сброда шастает, наживы ищет, — эти молодцы корысти ради на край света пойдут. Собрал я из таких изрядную команду. Чего мы натерпелись, покуда чайки не вышли в море, словами не передать — нам ведь и от казацкой верхушки приходилось скрываться. Но господь меня не оставил. Похитил я мальчонку и в придачу знатную взял добычу.

Погоня нас не настигла, и добрались мы благополучно до Дикого Поля, откуда я намеревался ехать в Каменец, чтобы через тамошних купцов не мешкая начать переговоры.

Добычу я всю разделил между молодцев, себе только Тугаева щенка оставил. Поскольку же расплатился я с этими людьми по совести, не скупясь, а до того в каких только переделках с ними не побывал, и с голоду вместе помирал, и головой своей из-за них рисковал не раз, то и возомнил, что каждый за мною пойдет в огонь и воду, что я ихние сердца завоевал навек.

И горько за это вскоре поплатился!

Не подумал я, что они собственных атаманов в клочки раздирают, чтобы их добычу меж собой поделить; запамätовал, что этим людям неведомо, что такое верность, совесть, добродетель, чувство благодарности... Уже возле самого Каменца прельстила их надежда получить за Азью богатый выкуп. Ночью накинулись на меня, как волки, веревку затянули на шее, искололи ножами и в конце концов, посчитав подохшим, бросили в пустыне, а сами ушли, прихватив младенца.

Господь ниспослал мне спасение и вернул здоровье; но Елешка моя пропала навеки. Может, живет еще где-нибудь там, может, после Тугаевой смерти другому нехристю досталась, может, приняла магометанскую веру или просто забыла брата, может, ее сын когда-нибудь из меня выпустит кровь... Вот она, моя история!

Пан Ненашинец умолк и угрюмо уставился в землю.

— Сколько же мы крови и слез за эти края пролили! — вздохнул Мушальский.

— Возлюби недругов своих, — вставил ксендз Каминский.

— А оправившись, ты не пробовал этого щенка искать? — спросил Заглоба.

— Как я узнал впоследствии, — ответил Ненашинец, — на моих бандитов другие разбойники напали и всех до единого перерезали. Они же, верно, вместе с добычей и младенца забрали. Я везде искал, но он точно в воду канул.

— А может, твоя милость потом где-нибудь его и встречал, да узнать не смог? — сказала Бася.

— Маленький он был, годочка три, не больше. Только и мог имя свое назвать — Азья. Но я бы его узнал: у него на груди над каждым соском по рыбе синего цвета наколото.

Вдруг Меллехович, до тех пор сидевший безмолвно, отозвался из своего угла странным голосом:

— По рыбам ваша милость его б не узнал: у многих татар такие наколки имеются, в особенности у тех, что в прибрежных местностях живут.

— Неправда, — ответил престарелый пан Громыка, — Тугай-бей под Берестечком на поле остался лежать, видели мы эту падаль: у него на груди, как сейчас помню, были рыбы, а у других нехристей — иные знаки.

— А я говорю вашей милости, рыбы у многих есть.

— Ну да, которые из вражьего Тугаева племени.

Дальнейший разговор был прерван появлением пана Лельчица, который, будучи утром послан Володыёвским в разведку, только что вернулся обратно.

— Пан комендант, — сказал он прямо с порога, — у Сиротского брода на молдавской стороне люди какие-то залегли; похоже, к нам наметились.

— Что за люди? — спросил пан Михал.

— Разбойники. Валахов немного, венгерцев, остальные — ордынцы; всего человек двести.

— Это те, что на валашской стороне бесчинствовали, как мне сообщили, — сказал Володыёвский. — Пыркалаб, видно, их поприжал, вот они и подались к нам; только там одних ордынцев сотни две наберется. Ночью они переправятся, а на рассвете мы им устроим встречу. Пану Мотовило и Меллеховичу с полночи быть готовыми. Стадо волов подогнать для приманки, а сейчас — марш по квартирам.

Офицеры начали расходиться, но не все еще успели выйти за дверь, как Бася, подбежав к мужу, обвила его шею руками и стала что-то шептать на ухо. Маленький рыцарь, улыбаясь, отрицательно качал головой, она же, видно, настаивала на своем, все крепче сплетая руки вокруг его шеи.

Видя это, Заглоба сказал:

— Доставь ей разок удовольствие, а там, того гляди, и я, старый, за вами поплетусь.

ГЛАВА XXVI

Разрозненные ватаги, промышлявшие разбоем на обоих берегах Днестра, состояли из людей разных народностей, заселявших тамошние края. Преобладали среди них обычно татары, бежавшие из добруджской и белгородской орд, еще более дикие и отважные, чем их крымские побратимы, — но немало было и валахов, и казаков, и венгерцев, и польской челяди, удравшей из приднестровских сторожевых поселений. Шайки эти рыскали то по польской, то по валашской стороне, переходя взад-вперед пограничную реку, в зависимости от того, кто их прижимал: пыркалабы или коменданты Речи Посполитой. В оврагах и лесах, и в глубоких пещерах были у них тайные убежища.

Главной целью их набегов были стада волов, имевшиеся при заставах, и лошади, которые даже зимой не уходили из степей, ища корм под снегом. Но, кроме того, разбойники нападали на деревни, городки, поселенья, на небольшие гарнизоны, на польских и даже турецких купцов, на посредников, едущих в Крым с выкупом. У каждой шайки были свои порядки и свой предводитель; объединялись они редко. Часто даже случалось, что более многочисленные ватаги вырезали те, что были числом поменьше. Расплодилось их на русских землях несметное множество, в особенности со времен казацко-польских войн, когда в тех краях стало горячо. Приднестровские ватаги, пополнявшиеся за счет беглецов из орды, были особенно грозны. Встречались такие, что насчитывали по полтыщи душ. Предводители их именовали себя беями. Они опустошали страну чисто татарским манером, и порой коменданты гарнизонов не знали, с кем имеют дело: с разбойниками или передовыми чамбулами орды. Регулярным войскам, а в особенности коннице Речи Посполитой эти ватаги не могли дать отпор, но, будучи загнаны в западню, бились отчаянно, прекрасно понимая, что тех, кто попадет в плен, ждет веревка. Оружие у них было самое разное. Луков и ружей на каждого не хватало, да и в ночных набегам от них немного было бы проку. Большинство вооружены были киджарами и турецкими ятаганам, кистенями, татарскими саблями и дубинками со вставленными в расщепленный конец и привязанными для прочности бечевкой конскими челюстями. Это последнее оружие в сильной руке было страшно — его удара не выдерживала никакая сабля. У некоторых имелись железные вилы, очень длинные и острые, у иных рогатины: ими защищались при внезапных атаках конницы.

Ватага, которая остановилась у Сиротского брода, была, видно, очень многочисленной либо ее затравили на молдавской стороне, раз она отважилась приблизиться к хрептевскому гарнизону, несмотря на ужас, охватывавший всех головорезов на обоих берегах реки при одном только упоминании имени Володыёвского. И действительно, второй разъезд привез известие, что в шайке человек четыреста с лишним, а командует ими Азба-бей, знаменитый разбойник, несколько уже лет державший в страхе жителей и польской и молдавской стороны.

Володыёвский обрадовался, узнав, с кем предстоит встреча, и немедленно отдал надлежащие распоряжения. Кроме Меллеховича и Мотовило приказ выступать получили хоругви генерала подольского и пшемысльского подстолия. Ушли они еще ночью и будто бы в разные стороны, но, подобно тому как рыбаки широко раскидывают сети, чтобы затем сойтись у одной проруби, так и эти хоругви должны были, сделав изрядный крюк, на рассвете соединиться у Сиротского брода.

Бася с бьющимся сердцем наблюдала за выступлением войска: ей впервые предстояло участвовать в настоящем походе, и когда она глядела на этих великолепно вымуштрованных старых степных волков, сердечко ее, казалось, вот-вот выскочит из груди. Уходили солдаты так тихо, что в самой крепости их не было слышно. Не звякали мундштуки, стремя не стукнуло о стремя, сабля о саблю, конь не заржал. Ночь выдалась погожая и на редкость ясная. Полная луна ярко освещала холм, на котором стояла фортеция, и полого спускающуюся от него степь, но едва очередная хоругвь выходила за частокол, осыпанная серебряными искрами, которые луна высекала из сабель, она тотчас исчезала из глаз, словно стая куропаток, ныряющая в море трав. Во всем этом было что-то таинственное.

Басе чудилось, ловчие выезжают на охоту, которая начнется на рассвете, и движутся так тихо и осторожно, чтобы не всполошить раньше времени зверя... И ей нестерпимо захотелось принять участие в этой охоте.

Володыёвский уступил жене, послушавшись уговоров Заглобы. Да и сам он понимал, что рано или поздно все равно придется исполнить Басино желание, и решил не откладывать до другого раза, тем более что разбойники не имели обыкновения пользоваться луками и самопалами.

Крепость они покинули, однако, лишь через три часа после ухода первых хоругвей, это отвечало составленному паном Михалом плану. С маленьким рыцарем шли пан Заглоба, Мушальский и двадцать Линкгаузовых драгун во главе с вахмистром; драгуны эти, все до одного мазуры, были молодцы как на подбор: под

защитою их сабель прелестная комендантша могла чувствовать себя не в меньшей безопасности, чем в супружеской спальне.

Бася, собираясь ехать в мужском седле, оделась надлежащим образом: на ней были жемчужно-серые бархатные шаровары — широченные, ниспадающие наподобие юбки и заправленные в желтые сафьяновые сапожки — и кунтушик, тоже серого цвета, подбитый белой крымской овчиной, с нарядною оторочкой по швам; довершали наряд маленькая серебряная патронница тонкой работы, легкая турецкая сабелька на шелковой перевязи и пистолеты в кожаных кобурах. На голове у Баси была шапочка с верхом из веницейского бархата, украшенная пером цапли и обшитая рысьим мехом; из-под шапочки выглядывало открытое, розовое, почти детское личико и пара любопытных, сверкающих, как угольки, глаз.

В таком наряде, верхом на гнедом бахмате, резвом, как косуля, и, как косуля, кротком, Бася походила на гетманского сынка, который под опекою старых вояк впервые отправляется на урок ратного искусства. И опекуны любовались ею; Заглоба с Мушальским толкали друг друга локтями и время от времени то один, то другой чмокал собственный кулак в знак чрезвычайного восхищения. И оба, вторя Володыёвскому, уговаривали ее не волноваться из-за того, что задерживается отъезд.

— Ты в военном деле ничего не смыслишь, — говорил маленький рыцарь, — вот и опасаясь, что мы тебя доставим на место, когда все уже будет кончено. Пойми: одни хоругви напрямик идут, а другие должны крюк сделать, чтобы перерезать дороги, — и потом только начнут потихоньку сходиться, зажимая неприятеля в кольцо. Вовремя приедет, без нас ничего не начнется — все по минутам рассчитано.

— А если неприятель спохватится и между хоругвей проскользнет?

— Враг наш, конечно, хитер и ухо держит востро, но и нам такая война не в новинку.

— Поверь Михалу, — воскликнул Заглоба, — он в этом деле собаку съел. Злой рок вражьих детей сюда пригнал.

— В Лубнах я совсем еще молокосос был, — сказал пан Михал, — и то мне подобные дела доверяли. А теперь, чтоб перед тобой не осрамиться, я особо тщательно все продумал. Хоругви разом объявятся неприятелю, разом закричат и разом на него бросятся — тот и глазом моргнуть не успеет.

— И-и! — пискнула от радости Бася и, привстав в стременах, обхватила маленького рыцаря за шею. — А мне можно будет со всеми, да? Можно, Михалек? — спрашивала она с загоревшимся взором.

— В самую сечу я тебя не пущу: в сумятице нетрудно беде случиться, не говоря уж о том, что лошадь споткнуться может, но я распорядился, чтобы после разгрома оставшихся в живых на нас погнались, — вот тогда мы дадим скакунам волю, и ты сможешь две-три головы осечь, только помни: за кем бы ни погналась, заходи всегда с левого боку — беглецу не с руки будет ударить, а ты его наотмашьхватишь.

На что Бася:

— Хо! Хо! Я нисколько не боюсь! Ты сам говорил, что я саблей уже куда лучше, чем дядюшка Маковецкий, владею; никто со мной не справится, никто!

— Смотри, поводья крепче держи, — вмешался Заглоба. — Головорезы эти тоже не лыком шиты, может и так случиться: ты за ним припустишь, а он возьмет да поворотит коня и осадит на месте, и ты с разгону пролетишь вперед, а он тем временем тебя и достанет. Бывалый солдат без надобности скакуну воли не дает.

— И сабли никогда высоко не подымай, чтоб легко было уколоть, если не получится ударить, — добавил Мушальский.

— Я на всякий случай буду рядом, — сказал маленький рыцарь. — В бою что самое трудное? Сразу о тыще вещей надо помнить: о своем коне и о противнике, о повозьях и о сабле, кода лучше уколоть, когда ударить! У опытного вояки это само собой получается, но на первых порах даже превосходный фехтовальщик часто теряется: сколько он ни умел окажется, а в первом бою любой сопляк, если только в сраженьях руку набил, его с коня свалит. Вот почему я буду поблизости держаться.

— Только мне не помогай и людям прикажи, чтобы без нужды на подмогу не бросались.

— Ну, ну! Еще поглядим, не затрясутся ли у тебя поджилки, когда горячо станет! — ответил, улыбаясь, маленький рыцарь.

— И не спрячешься ли ты кому-нибудь из нас за спину! — закончил Заглоба.

— Поглядим! — с возмущением воскликнула Бася.

Так переговариваясь, они достигли местности, там и сям поросшей густым кустарником. До рассвета осталось совсем уже немного, но пока что сделалось темнее, так как зашла луна и от земли начал подниматься легкий туман, заслоняя отдаленные предметы. В этой легчайшей мгле и сумраке маячившие поодаль заросли разгоряченному Басиному воображению представлялись живыми существами. Порой ей казалось, что она явственно видит людей и лошадей.

— Михал, что это? — спрашивала она шепотом, указывая пальцем на призрак.

— Ничего, кусты.

— А я думала, всадник. Скоро мы приедем?

— Часа через полтора все начнется.

— Ух ты!

— Боишься?

— Нет, только сердце ужасно колотится от нетерпенья! Бояться — еще не хватало! Ни капельки не страшно! Погляди, какой иней лежит... Хотя и темно, а видно.

Они как раз въехали в ту часть степи, где длинные высохшие стебли бурьяна были покрыты инеем. Володыёвский глянул и сказал:

— Вон там Мотовило прошел. Не дальше чем в полумиле, должно быть, затаился. Уже светает!

И вправду начало светать. Сумрак поредел. Небо и земля стали серыми, воздух сделался прозрачен, верхушки деревьев и кустов словно подернулись серебром. Открылись дальние заросли, точно кто-то сдернул скрывавшую их завесу.

Вдруг от ближайшей купы кустов отделилась фигура верхового.

— Мотовиловский? — спросил Володыёвский, когда казак осадил возле него коня.

— Так точно, ваша милость!

— Что слышно?

— Гости перешли Сиротский брод и на рев волов повернули к Калюсу. Волон взяли и сейчас на Юрковом поле стоят.

— А где пан Мотовило?

— За холмом, а пан Меллехович со стороны Калюса зашел. Где другие хоругви, не знаю.

— Ничего, — сказал Володыёвский, — я знаю; скачи к пану Мотовило и вели замыкать кольцо. И пусть между собой и Меллеховичем людей поодиночке расставит. Давай!

Казак почти лег на седло и так припустил с места, что у лошади екнула селезенка; вскоре он скрылся из виду. А маленький рыцарь со спутниками поехали дальше — еще бесшумней, еще осторожнее... Тем временем совсем развиднелось. Туман, на рассвете поднявшийся было от земли, рассеялся, а на восточной окраине неба появилась длинная, розовая и сверкающая полоса, и это розовое сверкание передалось воздуху и окрасило холмы, склоны далеких оврагов и верхушки деревьев.

Вдруг до слуха всадников со стороны Днестра донеслось громкое хриплое карканье и впереди, высоко в небе, показалась летящая навстречу заре огромная воронья стая. Ежеминутно то одна, то другая птица от нее отрывалась и, замедлив полет, начинала кружить над степью, как это делают, высматривая добычу, коршуны и ястребы.

Заглоба поднял вверх саблю и, указывая ее концом на воронов, сказал Басе:

— Подивись суетливости этих птиц. Где только ни запахнет сраженьем, тотчас слетаются со всех сторон, будто их кто из мешка вытрясает. Когда одно войско движется или союзные армии на соединение спешат, такого не увидишь: твари эти умеют угадывать людские намеренья, никто их, ясное дело, не оповещает. *Sagacitas parium* «Тонкое чутье (лат.).» — оно конечно, но и это чудо не объясняет. Трудно не удивляться...

Меж тем карканье стало слышнее, птицы заметно приблизились; тут Мушальский повернулся к маленькому рыцарю и сказал, похлопав ладонью по луку:

— Пан комендант, не дозволишь ли сшибить одну для потехи твоей супруги? Шуму от этого не будет.

— Да хоть две сшибай, — ответил пан Михал, зная слабость Мушальского: любил старый вояка щегольнуть меткостью своих стрел.

Получив разрешение, лучший среди лучников достал из-за спины оперенную стрелу, положил пяткою на тетиву и, поднявши кверху лук и запрокинув голову, замер в ожидании.

Стая приближалась. Осадив коней, все с любопытством уставились на небо. Вдруг раздался жалобный, словно крик ласточки, стон тетивы, и стрела, оторвавшись от лука, умчалась навстречу стае.

В первую минуту могло показаться, что Мушальский промахнулся, но вот одна из птиц перекувырнулась и прямо над головами всадников полетела к земле, не переставая кувыркаться, и наконец, распростерши крылья, стала падать, как лист, преодолевая сопротивление воздуха.

Еще минута — и птица упала в нескольких шагах от Басиной лошади. Стрела пронзила ее насквозь, и наконечник сверкал чуть пониже зашейка.

— Добрый знак! — сказал, кланяясь Басе, Мушальский. — Дозволь, сударыня-благодетельница, издали за тобой приглядывать: в случае надобности еще разок — бог даст, успешно — выпущу стрелу. Хоть и прожужжит над самым ухом, а задеть не заденет, ручаюсь.

— Не хотелось бы мне быть татаринком, которого твоя милость на прицел возьмет! — ответила Бася.

Но тут разговор их был прерван Володыёвским, который, указав на довольно высокий холм в версте или двух, сказал:

— Там станем...

И пустил своего коня рысью. На середине склона маленький рыцарь приказал замедлить шаг и наконец, немного не доезжая

вершины, остановил лошадей.

— На самый верх подыматься не будем, — сказал он, — утро очень уж ясное, издалека заметить могут. Спешимся здесь и подойдем к обрыву, только чтоб никто головы не высовывал.

И с этими словами соскочил с коня, а за ним Бася, Мушальский и еще несколько человек. Драгуны остались с их лошадьми на склоне, а они поднялись до того места, где холм почти отвесной стеной круто уходил вниз.

У подножья этой стены высотой в добрых полсотни локтей рос неширокой полосой густой кустарник, а дальше тянулась ровная низменная степь: с вершины холма глазу открывалось все ее огромное пространство.

Равнина эта, пересеченная маленьким ручейком, бегущим в сторону Калюса, была покрыта такими же, как у подошвы холма, купами кустов. Из самой большой поднимались к небу тонкие струйки дыма.

— Видишь, — сказал Басе Володыёвский, — там неприятель притаился.

— Дымки вижу, но ни людей, ни коней не заметно, — ответила Бася, и сердце ее забилося.

— Их заросли скрывают, да наметанному глазу заросли не помеха. Гляди-ка, лошади, две, три, четыре... и не сосчитаешь; одна пегая, другая совсем белая, а отсюда кажется голубой.

— Скоро мы к ним спустимся?

— Их к нам сюда пригонят, но время еще есть — до тех кустов с четверть мили будет.

— А где наши?

— Видишь, вон там, во-он, бор кончается? Хоругвь пана подкомория как раз сейчас должна к опушке подходить. Меллехович с минуты на минуту с другой стороны выскочит. Вторая рыцарская хоругвь от того валуна зайдет. Разбойники как увидят людей, сами к нам кинутся: здесь, под отвесной стеной, проще всего к реке проехать — с той стороны овраг, через него не перебраться.

— Выходит, они в западне?

— Как видишь.

— О господи! Мне уже на месте не стоит! — воскликнула Бася. И через минуту: — Михалек, а будь они умнее, как бы они поступили?

— Пошли бы смело на подкомориеву хоругвь и прорвались, а там ищи ветра в поле! Только они этого не сделают, потому как, во-первых, с регулярной кавалерией связываться не любят, а во-вторых, побоятся засады в лесу, вот и помчатся прямо на нас.

— Ого! Но нам-то с нашими двадцатью людьми их не сдержать.

— А Мотовило?

— Верно! Ха! Где же он?

Володыёвский вместо ответа вдруг заклекотал, как ястреб или сокол.

Ему немедля ответил дружный клекот от подножья холма. Это были мотовиловские казаки, которые так хорошо укрылись в густом кустарнике, что Бася, хоть и стояла прямо над ними, их не заметила.

С минуту она с изумлением поглядывала то вниз, то на маленького рыцаря; вдруг щеки ее жарко вспыхнули, и она бросилась мужу на шею:

— Михалек! Ты величайший военачальник на свете!

— Сноровка у меня кое-какая есть, только и всего, — ответил, улыбаясь, Володыёвский. — А ты уж и затрепыхалась от радости! Помни: хороший солдат всегда спокоен.

Однако предостережение его не возымело действия. Бася была точно в лихорадке. Ей не терпелось сесть на коня и спуститься с холма, к отряду Мотовило. Но Володыёвский остановил жену: ему хотелось, чтоб она увидела сверху начало схватки.

Меж тем утреннее солнце поднялось над степью и озарило холодным золотистым светом всю равнину. Ближние кусты весело засверкали в его лучах, дальние, плохо различимые, будто придвинулись; иней, лежащий кое-где в низинках, начал поблескивать и искриться, воздух сделался прозрачен, и взору открылись необъятные дали.

— Подкоморий из леса выходит, — промолвил Володыёвский, — я вижу людей и коней!

И в самом деле, из-за деревьев стали один за другим появляться всадники и длинной черной цепью растянулись по сплошь покрытой инеем опушке. Белое пространство между ними и лесом медленно увеличивалось. Видно, они намеренно не спешили, давая время подтянуться другим хоругвям.

Володыёвский повернулся и посмотрел налево.

— А вот и Меллехович! — сказал он.

И через минуту:

— И пана пшемысльского ловчего люди подъезжают. Никто не опоздал.

Тут усики его весело зашевелились.

— Ну, теперь от нас ни одна душа не уйдет! На конь!

Они поспешили к драгунам и, вскочивши в седла, боком спустились с холма; внизу, в кустарнике, их окружили мотовиловские казаки.

Затем, уже все вместе, подъехали к краю зарослей и остановились, поглядывая вперед.

Неприятель, вероятно, заметил приближающуюся подкомориеву хоругвь: из кустов молниеносно стали вылетать всадники — казалось, кто-то всполошил стадо косуль. С каждой минутой верховых появлялось все больше. Сомкнувшись в ряд, они понеслись по степи, сначала держась края зарослей; всадники припали к лошадиным шеям: издалека могло показаться, табун мчится один, без седоков. Видно, пока им еще непонятно было, замечены ли они уже и хоругвь идет прямо на них или это всего лишь отряд, прочесывающий окрестность. В последнем случае они еще могли надеяться, что заросли укроют их от врага.

С того места, где стоял Володыёвский с людьми Мотовило, отлично было видно, сколько неуверенны движения чамбула: так ведут себя дикие звери, почуявшие опасность. Наполовину обогнув кустарник, ордынцы ускорили шаг и помчались галопом. Но, достигнув открытой степи, передние всадники вдруг резко осадили коней, а за ними остановилась вся ватага.

Они увидели движущийся им навстречу отряд Меллеховича.

Тогда, описав полукруг, они кинулись в сторону от зарослей, и тут глазам их представилась целиком вся пшемысльская хоругвь, идущая уже на рысях.

Теперь ордынцам стало ясно, что их выследили и все хоругви несутся прямо на них. Раздались дикие возгласы, вспыхнуло замешательство. Солдаты, тоже издав громкий клич, припустились во весь опор — равнина так и загудела от топота копыт. Тогда чамбул мгновенно развернулся в лаву и со всею прытью, на какую были способны кони, помчался к холму, у подножья которого стояли маленький рыцарь и пан Мотовило со своим людьми.

Разделяющее врагов пространство с пугающей быстротой сокращалось.

Бася в первую секунду чуть побледнела от волнения, и сердце еще сильнее забилося в ее груди, но, видя, что все на нее смотрят, и не заметив ни на одном лице даже тени тревоги, быстро овладела собой. И тут ее внимание полностью поглотила надвигающаяся, точно ураган, орава разбойников. Укоротив поводья, она крепче сжала сабельку; кровь, отхлынув от сердца, снова стремительно бросилась ей в лицо.

— Молодец! — сказал маленький рыцарь.

Она только взглянула на него и, раздувая ноздри, шепнула:

— Скоро мы ударим?

— Еще рано! — ответил пан Михал.

А те мчались, мчались, как заяц, чующий за спиною собак. Вот уже не более полуверсты отделяет их от кустарника, уже видны вытянутые вперед конские морды с прижатыми ушами, а над ними скуластые лица, словно приросшие к гривам. Они все бли-

же и ближе... Слышно, как храпят бахматы; судя по оскаленным пастьм и выпученным глазам, у них дух захватывает от бешеной скачки... Володыёвский дает знак, и частокол казацких пицалей наклоняется навстречу врагу.

— Огонь!

Грохот, дым — и точно вихрь разметал кучу мякины.

В мгновение ока ватага с воплем и воем разлетается во все стороны.

Но тут из гущи зарослей выскакивает маленький рыцарь, а одновременно подкомориева хоругвь и татары Меллеховича, замыкая кольцо, заставляют рассыпавшихся было вражеских всадников снова сбиться в кучу. Тщетно ордынцы поодиночке ищут лазейку, напрасно мечутся, кидаются вправо, влево, вперед, назад — круг уже сомкнут, отчего и они невольно смыкаются все теснее, а вот и подоспевшие хоругви налетают на них, и начинается страшная сеча.

Разбойники поняли, что живым из этого ада уйдет лишь тот, кто пробьется, и, каждый на свой страх и риск, стали защищаться с отчаянием и яростью. Но хоругви обрушились на них с такой неистовой мощью, что в первую же минуту трупы густо усеяли поле.

Солдаты, тесня врага, давили его лошадьми, рубили и кололи с той страшной, беспощадною силой, какой обладают лишь бойцы, для которых война — ремесло. Над бурлящим людским скопищем раздавались звуки ударов, подобные звону цепов, быстро и дружно молотящих на току зерно. Ордынцев били не глядя: по затылкам, по спинам и головам, по рукам, если они пытались прикрыться руками, — били со всех сторон, без устали, без пощады, не зная меры и жалости. И они тоже разили противников кто чем мог: киджарами, саблями, тот кистенем, этот — конской челюстью. Лошади их, отступая внутрь круга, оседали на зады либо валились навзничь. Иные, кусаясь и визжа, брыкались, вызывая в общей толчее неописуемую сумятицу. Схватка началась в молчании, но вскоре вой вырвался из всех татарских грудей: противник превосходил ордынцев числом, вооружением, сноровкой. Понятно стало, что спасения нет, что не только с добычею, но и живым навряд ли кто уйдет. Солдаты, постепенно распаляясь, наносили все более сокрушительные удары. Кое-кто из разбойников, соскочив с кульбак, пытался проскользнуть между ногами скакунов. Этих топтали копытами, а порою солдат, обернувшись, сверху саблей пронзал беглеца; некоторые бросались наземь, рассчитывая, что, когда хоругви продвинутся к центру, они окажутся у них за спиной и, быть может, сумеют спастись бегством.

Толпа внутри круга заметней редела — с каждой минутой людей и лошадей убывало. Видя это, Азба-бей кое-как выстроил клином оставшихся в живых и, собрав все силы, попытался врезаться в ряды казаков Мотовило, чтобы любой ценою разорвать кольцо.

Но казаки отбросили их назад, и резня сделалась еще страшнее. А тут неистовый Меллехович надвое расколол толпу ордынцев навалился на тех, что бились с казаками, предоставив расправляться с остальными двум рыцарским хоругвям.

Правда, воспользовавшись этим, часть разбойников вырвалась в открытое поле и, словно сухая листва, разлетелась по равнине, но солдаты из задних рядов, которые из-за тесноты не могли принять участия в схватке, немедленно — по двое, по трое, а то и по одному — пустились за ними вдогонку. Те же ордынцы, что не сумели ускользнуть, падали под ударами мечей, несмотря на отчаянное сопротивление, и устилали телами землю, точно срезанные колосья ниву, на которую с двух сторон вступили жнецы.

Бася ринулась в бой вместе с казаками, что-то крича для бодрости тоненьким голосочком: в первую минуту у нее слегка потемнело в глазах — от быстрой скачки и ужасного волнения. Приблизясь к врагу, она сперва увидела перед собой лишь подвижную, колышущуюся темную массу, и ее охватило непреодолимое желание крепко зажмурить глаза. Она, правда, это желание подавила, но все равно сабелькой махала почти что вслепую. Однако так продолжалось недолго. Отвага в конце концов взяла верх над смятением, и у Баси все прояснилось перед глазами. Сперва она различила конские морды, затем разгоряченные дикие лица; одно из них мелькнуло прямо перед ней. Бася размахисто ударила саблей, и лицо внезапно исчезло, словно оно ей только привиделось.

И тут Басино слуха достиг спокойный голос мужа:

— Хорошо!

Голос этот чрезвычайно ее ободрил, она пискнула еще тоньше и принялась разить врага уже с полным хладнокровием. Вот опять перед нею щерит зубы какая-то страшная скуластая физиономия с приплюснутым носом; раз — и нет ее... А вон рука заносит кистень; раз — и нету руки; на глаза попадает чья-то спина в тулупе — ткнуть в нее саблей; и вот уже Бася сыплет ударами направо, налево, перед собою, и что ни удар — человек летит наземь, цепляясь за недоуздок и невольно осаживая коня. Басе чудно даже, что это так легко. Но легко ей потому, что с одного боку, стремя в стремя с нею, идет маленький рыцарь, а с другого — Мотовило. Первый глаз не спускает со своей любимой — и то смахнет седока с коня, как пламя со свечи, то концом сабли, почти и не замахнувшись, отсечет руку вместе с оружием, а порой

просунет клинок между Басей и неприятелем, и вражья сабля внезапно взвьется кверху, словно крылатая птица.

Мотовило, воин флегматичного склада, охранял отважную воительницу с другой стороны. И, подобно усердному садовнику, который, проходя меж деревьев, то срежет, то обломит сухую ветку, одного за другим сбрасывал всадников на обагренную кровью землю, сохраняя такое спокойствие и невозмутимость, словно, сражаясь, думал о чем-то своем. Оба знали, когда можно позволить Басе самой нанести удар, а когда надлежит ее опередить или заслонить.

Издали за Басей присматривал еще один рыцарь, непревзойденный лучник, который, намеренно держась в стороне, ежеминутно приставлял стрелу пяткой к тетиве и отправлял не знающего промаха посланца смерти в самую гущу боя.

Скоро, однако, толчея сделалась такая, что Володыёвский велел Басе вместе с несколькими людьми выбираться из этого водоворота, тем более что полудикие кони ордынцев стали взбрыкивать и кусаться. Бася незамедлительно исполнила приказание: хоть она и была полна воодушевления и храброе ее сердце рвалось в бой, женская натура начала сказываться; несмотря на возбуждение, Басе не по себе стало от этой резни, крови, от хрипа умирающих, воя, стонов, висящих в воздухе, пропитанном запахом сукровицы и пота.

Потихоньку пятясь на своей лошади, Бася вскоре оказалась вне пределов круга, в котором кипело сражение, а пан Михал и Мотовило, избавившись от необходимости ее охранять, наконец позволили разгуляться удалым своим солдатским душам.

Между тем Мушальский, стоявший прежде поодаль, приблизился к Басе.

— Сударыня-благодетельница, да ты как настоящий рыцарь сражалась, — сказал он. — Кто несведущий мог бы подумать, Михаил Архангел сошел с небес и плечом к плечу с казаками громит вражье племя... Великая для бандитов честь гибнуть от такой ручки, которую, воспользовавшись случаем, попрошу дозволения поцеловать.

С этими словами Мушальский взял Басину руку и прижался к ней своими усищами.

— Ты видел, сударь? Я вправду хорошо держалась? — спросила Бася, жадно ловя воздух раскрытым ртом и раздувающимися ноздрями.

— И кошка бы крысам такого не задала жару. Ей-богу, просто душа радовалась! А что поле битвы покинула, это ты, сударыня, правильно поступила — под конец самые осечки-то и случаются.

— Так мне муж приказал, а я перед отъездом обещала беспрекословно его слушаться.

— Может, лук мой еще понадобится? Нет! Он теперь ни к чему, пора браться за саблю. А вон и еще трое наших едут — верно, пан полковник прислал охранять супругу. А не то бы я прислал... Впрочем, кланяюсь в ножки; там уже конец виден, надобно мне поторопиться.

Подъехавшие трое драгун и в самом деле посланы были для Басиной охраны; убедившись в этом, Мушальский стегнул коня и ускакал. Бася было заколебалась, не зная, оставаться ли ей на месте или, обогнув крутой склон, взъехать на холм, с которого они перед боем оглядывали равнину. Но, почувствовав усталость, решила остаться.

Женское естество напоминало о себе все настойчивей. В каких-нибудь двухстах шагах безжалостно добивали последних разбойников, и все яростнее бурлил черный людской водоворот на залитом кровью побоище. Крики отчаяния сотрясали воздух, а Басе, недавно еще преисполненной боевого задора, стало вдруг не по себе, и к горлу подступила тошнота. Она ужасно испугалась, как бы совсем не потерять сознания, и только стыд перед драгунами помог ей удержаться в седле; она старательно от них отворачивалась, чтобы никто не заметил покрывшей ее лицо бледности. Свежий воздух постепенно возвращал Басе силы и бодрость, но не в такой мере, чтобы ей захотелось снова броситься в гущу боя. Да и сделала бы она это лишь для того, чтобы просить сжалиться над остатками ордынцев. Впрочем, понимая, что ее все равно никто не послушает, Бася с нетерпением ожидала конца схватки.

А бой кипел с неугасающей силой. Отголоски сечи и крики не смолкали ни на мгновение. Прошло, быть может, полчаса. Хоругви все теснее сжимали кольцо вокруг врага. Вдруг горстка разбойников — десятка два всадников — вырвалась из гибельного круга и вихрем понеслась к холму.

Скача вдоль обрывистого склона, они и впрямь могли добраться до места, где косогор плавно переходил в равнину, и найти спасение в высоких степных травах. Но на пути стояла Бася с тремя драгунами. Перед лицом опасности она воспрянула духом и обрела способность трезво мыслить. А подумав, поняла, что оставаться на месте — значит погибнуть: скачущие во весь опор всадники собьют их и растопчут, изрубят в куски саблями.

Старый драгунский вахмистр, видно, рассудил так же, потому что, схватив Басинога скакуна за поводья, повернул его и крикнул чуть ли не с отчаянием в голосе:

— Вперед, сударыня! Быстрее!

Бася помчалась как ветер, но... одна: трое верных солдат грудью преградили дорогу врагу, чтобы хоть на минуту задержать его и позволить любимой госпоже уйти.

Меж тем за беглецами немедля пустились вдогонку солдаты, разомкнув при этом кольцо, до сих пор плотно охватывавшее разбойников, и те кинулись в образовавшийся разрыв — сперва по двое, по трое, а потом и более многочисленными группами. Большая их часть уже вповалку лежала на земле, но человек пятьдесят все же, включая Азба-бея, сумели выскользнуть и теперь стремглав мчались к холму.

Трое драгун не смогли остановить убегающих: после недолгой схватки они свалились с кульбак, а беглецы, следуя за Басей по пятам, с пологого склона холма дружно повернули в открытую степь. Польские хоругви — и впереди всех липеки — во весь опор летели за ними в какой-нибудь полусотне шагов.

В степи, сплошь изрезанной коварными расселинами и оврагами, всадники растянулись наподобие исполинского змея: голова — Бася, шея — разбойники, тело — Меллехович со своими татарами и драгуны, во главе которых летел объятый страхом Володыёвский, немилосердно пришпоривая коня.

В ту минуту, когда противник вырвался из кольца, пан Михал бился в противоположной стороне, и Меллехович опередил его в погоне. У маленького рыцаря волосы на голове шевелились при мысли, что разбойники могут настичь Басю, что она может растеряться и свернуть прямо к Днестру, что который-нибудь из головорезов может, поравнявшись с ней, достать ее саблей, кинжалом или кистенем. И сердце его замирало от страха за жизнь любимого существа. Почти лежа на загривке лошади, бледный, с стиснутыми зубами, с вихрем ужасных мыслей в голове, он колол своего скакуна шпорами, бил саблей и мчался, как стрепет, собирающийся взлететь. Впереди него мелькали бараньи шапки липеков.

— Господи, сделай так, чтобы Меллехович успел. Под ним добрый конь. Помоги ему, господи! — повторял он с отчаянием в душе.

Но страхи его были напрасны и опасность не столь велика, как казалось влюбленному рыцарю. Ордынцам слишком дорога была собственная шкура, и слишком близко чувствовали они за спиной свою гибель, чтобы преследовать одиночного всадника, даже будь он распрекраснейшей гурией из магометанского рая и будь на нем плащ, сплошь расшитый драгоценными камнями. Басе, чтоб избавиться от погони, нужно было только, сделав круг, повернуть к Хрептеву: преследователи ни за что бы не поскакали за нею обратно в пасть ко льву, когда впереди была река с камышовыми зарослями, в которых они могли укрыться. Да и липеки

на своих горячих конях почти уже их настигали. Басин скакун тоже был много резвей, чем простые косматые бахматики ордынцев, очень выносливые, но не такие быстрые, как лошади благородных кровей. И сама она не только не потеряла присутствия духа, а напротив: лихая ее натура воспрянула и рыцарская кровь вскипела в жилах. Скакун вытянулся, точно лань, ветер свистел в ушах, какое-то упоение напрочь вытеснило из души страх.

«Пусть хоть целый год за мной гонятся — все равно не догонят, — подумала Бася. — Проскачу еще немного, а потом поверну и либо их вперед пропущу, либо — коль не отстанут — приведу прямо под наши сабли».

И тут ей пришло в голову, что, если скачущие за нею разбойники широко рассыпались по степи, то, повернув, она может случайно на кого-нибудь из них наткнуться и схлестнуться в поединке.

— Ого-го! Ну и что! — сказала она, как бы отвечая на эту мысль своей героической душе. — Михал недаром меня учил — отчего б не рискнуть? А то еще подумают, я со страху наутек пустилась, и другой раз не возьмут в поход, а вдобавок пан Заглоба на смех подымет...

Сказав себе так, она оглянулась на разбойников, но те держались кучею. На поединок рассчитывать не приходилось, однако Басе захотелось непременно на глазах всего войска доказать, что она не удирает вслепую, потеряв голову.

С этой целью, вспомнив, что у нее есть два отличных пистолетика, перед отъездом старательно заряженных самим Михалом, Бася стала замедлять бег, а вернее, сдерживая скакуна, заворачивать его к Хрептеву.

Однако, — о чудо! — завидев это, вся орава разбойников несколько изменила направление и начала забираться влево, к краю взгорья. Бася, подпустив их на полсотни шагов, дважды выстрелила по ближайшим лошадям, а затем, описав круг, во весь опор поскакала в сторону Хрептева.

Но, не успел ее жеребец с быстротою ласточки пронестись и дюжины шагов, перед ней внезапно зачернелась степная балка. Бася, не задумавшись, прищипорила коня, и благородное животное послушно прыгнуло. Но лишь передние его копыта коснулись противоположного края балки; задними конь с минуту судорожно искал опоры на крутом склоне, но земля, еще не схваченная морозом, посыпалась у него из-под ног, и он вместе с Басей полетел в расщелину.

К счастью, скакун не придавил всадницы, так как она сумела во время падения выдернуть ноги из стремян и, сколько могла, наклонилась на бок. Упали они на толстый покров мха, точно

ворсистый ковер устилающего дно балки, однако встряска была настолько сильна, что Бася лишилась сознания.

Володыёвский ничего не заметил, так как липеки заслоняли от него место происхождения, зато Меллехович, громовым голосом крикнув своим людям, чтобы те, не задерживаясь, преследовали разбойников, сам бросился к балке и сломя голову съехал вниз.

Молниеносно соскочив с седла, он подхватил Басю на руки. Соколиный его взор в одно мгновение скользнул по ней от макушки до пят, отыскивая следы крови, но тут он увидел мох и понял, что этот ковер уберег от гибели и Басю, и коня.

Приглушенный вопль радости вырвался из его уст.

Бася меж тем тяжело обвисла у него на руках, и тогда он изо всех сил прижал ее к груди, потом побелевшими губами стал целовать ее глаза, потом прильнул устами к ее устам, будто душу выпить из нее хотел; наконец весь мир закружился перед ним в бешеной пляске, и страсть, таившаяся в глубине сердца, как дракон в пещере, вспыхнула с необыкновенной силой.

Но в эту минуту со стороны степи донесся топот множества копыт, который быстро стал приближаться. Множество голосов закричало: «Здесь! В этом овраге! Здесь!»

Меллехович опустил Басю на мох и окликнул подъезжающих:
— Сюда! Сюда давай!

Минутою позже Володыёвский спрыгнул на дне балки, а за ним Заглоба, Мушальский, Ненашинец и еще несколько офицеров.

— Ей ничего не сделалось! — крикнул татарин. — Мох ее спас.

Володыёвский схватил на руки бесчувственную жену, другие бросились искать воду, которой поблизости не оказалось. Заглоба, сжав ладонями Басины виски, кричал:

— Бася! Деточка моя! Баська!

— Ей ничего не случилось! — повторил бледный как мертвец Меллехович.

Между тем Заглоба, хлопнув себя по боку, схватил манерку, плеснул в горсть горелки и принялся растирать Басе виски, а затем поднес фляжку к ее губам и наклонил, что, видно, оказало действие: прежде чем вернулись бегавшие за водой, Бася открыла глаза и, закашлявшись, стала хватать устами воздух — горелка обожгла ей нёбо и глотку. Спустя несколько минут она совершенно пришла в себя.

Володыёвский, не стесняясь присутствием офицеров и солдат, то прижимал жену к груди, то осыпал поцелуями ее руки, приговаривая:

— Любимая ты моя! Я чуть богу душу не отдал. Что тебе? Ничего не больно?

— Нигде! — ответила Бася. — Ага, теперь понимаю: конь подомной оступися, оттого и помутилось в глазах... Неужто бой уже закончен?

— Закончен. Азба-бей зарублен. Едем скорей домой; как бы ты у меня не занемогла.

— Да я даже не устала нисколько! — сказала Бася.

И, окинув стоящих рядом воинов быстрым взглядом, раздула ноздри.

— Только не подумайте, что я со страху бежать пустилась. Хо! Да я ни сном ни духом... Клянусь любовью к Михалу, просто так, забавы ради, впереди них скакала, а потом выстрелила из пистолетов.

— От этих выстрелов одна лошадь пала, а разбойник живым взят, — вставил Меллехович.

— Ну и что? — продолжала Бася. — Такая беда со всяким может случиться, нет разве? Никакой опыт не поможет, если конь вдруг оступится. Ха! Хорошо, вы увидали, а то б нам здесь долго валяться.

— Первый тебя пан Меллехович увидел и первый на помощь кинулся; мы за ним скакали, — сказал Володыёвский.

Бася, услышав это, повернулась к молодому татарину и протянула ему руку.

— Спасибо тебе, сударь, за твою доброту.

Меллехович ничего не ответил, лишь прижал Басину руку к губам, а потом, как простой холоп, смиренно поклонился ей в ноги.

Между тем на краю балки стали собираться солдаты и из других хоругвей. Битва была закончена; Володыёвский только отдал приказание Меллеховичу изловить тех немногих ордынцев, которым удалось ускользнуть от погони, и все без промедленья отправились в Хрептев. По дороге Бася еще раз оглядела со взгорка побоище.

Повсюду лежали людские и конские трупы: где вповалку, где поодиночке. К ним по безоблачному небу с громким карканьем тянулись несметные вороньи стаи и садились поодаль, выжидая, пока уедут еще оставшиеся на поле солдаты.

— Вон они, солдатские могильщики! — сказал, указывая на птиц концом сабли, Заглоба. — А не успеем мы отъехать, волчий оркестр явится и начнет над покойниками зубами клацать. Что ж, можно гордиться победою: противник, конечно, доброго слова не стоил, но Азба этот уже несколько лет в здешних краях разбойничал. Коменданты гарнизонов за ним, как за волком, охотились, да все без толку, покуда он на Михала не напоролся, — тут-то и пробил его последний час.

— Азба-бей зарублен?

— Меллехович первый его настиг и так, скажу я тебе, хватил повыше уха — сабля до зубов достала.

— Меллехович добрый солдат! — сказала Бася. И спросила, обратясь к Заглобе: — А твоя милость тоже небось отличился?

— Я не пищал, как сверчок, не прыгал, как блоха, и волчком не вертелся — не в моем вкусе эти насекомьи забавы, зато меня во мху подобно грибу искать не пришлось и за нос не понадобилось тянуть, да и в пасть мне никто не дул...

— Фу, сударь, не люблю тебя! — ответила Бася, выпятивши губки и невольно коснувшись ими своего розового носика.

Заглоба глядел на нее, улыбался и продолжал насмешливо бормотать себе под нос.

— Билась ты геройски, — сказал он, — и убегала геройски, и кубарем геройски катилась, а теперь покажешь себя героем, когда тебе ушибленные места горячей крупой будут обкладывать, ну, а уж мы приглядим, чтоб тебя вместе с твоим геройством воробы не склевали, потому как они до крупы большие охотники.

— Думаешь, мне невдомек, сударь, куда ты гнешь? Хочешь, чтобы меня Михал другой раз в поход не взял!

— Напротив, буду его просить, чтоб теперь всегда тебя брал... за орехами: ты у нас легче перышка, под тобой ни одна ветка не обломится. О господи, дождался благодарности! А кто Михала уговаривал, чтоб позволил тебе с нами ехать? Кто, как не я! Ох, и ругаю же я себя за это! Знать бы, как ты мне за мою доброту отплатишь... погоди! Будешь теперь деревянной сабелькой репьи на хрептевском майдане срубить! Самое подходящее для тебя занятие! Другая бы облобызала старика, а ты, горе мое луковое, сперва страху нагнала, а теперь на меня ж и наскакиваешь!

Бася, недолго думая, расцеловала Заглобу, который весьма был этим обрадован и заявил:

— Ну, ну! Должен признаться, и ты внесла свою лепту в сегодняшнюю викторию: всяк хотел перед тобою себя показать, вот солдаты и дрались как одержимые.

— Поистине так! — воскликнул Мушальский. — Когда на тебя такие глазки глядят, и голову сложить не обидно!

— Vivat наша госпожа! — закричал Ненашинец.

— Vivat! — подхватила сотня голосов.

— Дай тебе бог здоровья!

А Заглоба, наклонясь к Басе, пробормотал:

— И сыночка!

Остаток пути проехали, весело переговариваясь, предвкушая, как будут пировать вечером. Погода сделалась чудесная. В хоругвах затрубили трубачи, довбыши ударили в барабаны; так, шум-

ною толпой, въехали в Хрептев.

ГЛАВА XXVII

Дома Володыёвские, совершенно для себя неожиданно, застали гостей. Приехал пан Богуш, избравший Хрептев на несколько месяцев местом своего пребывания, чтобы через посредство Меллеховича вести переговоры с татарскими ротмистрами: Александровичем, Моравским, Творовским, Крычинским и прочими из числа липеков и черемисов, перешедших на службу к султану. С Богушем прибыли старый Нововейский с дочкой Эвой и пани Боская, весьма почтенная особа, тоже с дочерью, совсем еще юной и прехорошенькой Зосей.

Появление дам в хрептевской глуши воинов обрадовало, но еще больше удивило. Гости же с удивлением воззрились на коменданта и его супругу. Володыёвского, судя по его громкой и страшной славе, они себе воображали неким великаном, одним своим взглядом приводящим людей в трепет, супругу же его — исполинкою с вечно хмурым челом и грубым голосом. А увидели маленького солдатика с приветливым, безмятежным лицом и такую же маленькую, розовую, как куколка, женщину, которая в своих широких шароварах и с сабелькой на боку более походила на необыкновенно красивого юношу, нежели на замужнюю даму. Тем не менее супруги приняли гостей с распростертыми объятиями. Бася расцеловала всех трех женщин, не дожидаясь, пока они ей будут представлены, узнав же, кто они и откуда едут, воскликнула:

— Счастлива вам служить, сударыни и судари! Ужасно вашему приезду рада! Хорошо, что в пути ничего не приключилось: в нашей глухомани всякого можно ждать, но как раз сегодня мы в пух и прах погромили разбойников.

Видя же, что пани Боская глядит на нее со все возрастающим изумлением, хлопнула рукой по сабельке и добавила хвастливо:

— И я участвовала в сраженье! А как же! У нас так заведено! О господи, позвольте, я вас оставлю, сударыня, переоденусь в более приличествующее моему полу платье и смою с рук кровь, а то мы только-только из ужасного боя. Хо-хо! Не будь Азба зарублен, неизвестно еще, добрались ли бы вы, милостивая государыня, благополучно до Хрептева. Я мигом, а пока с вами муж мой останется.

С этими словами она скрылась за дверью, а маленький рыцарь, успевший тем временем поздороваться с Богушем и Нововейским, подошел к пани Боской.

— Господь мне дал такую супругу, — сказал он, — что не только дом украшает, но и на бранном поле отважным соратником умеет быть. А теперь, подчинясь ее приказанию, отдаю себя в ваше распоряжение: чем могу служить, милостивая государыня?

На что пани Боская отвечала:

— Да наградит ее господь всяческими благами, как наградил красотой. Я — жена Антония Боского и приехала сюда не за тем, чтобы твоя милость мне услуги оказывал, а лишь просить на колени поддержки и помощи в моей беде. Зоська! Стань и ты на колени перед этим рыцарем, ибо если не он, то и никто другой нам не поможет!

С этими словами Боская и в самом деле упала на колени; красавица Зося последовала ее примеру, и обе, заливаясь слезами, воскликнули:

— Спаси, рыцарь! Сжался над сиротами!

Офицеры, увидев двух коленопреклоненных женщин, а более всего привлеченные красотой Зоси, всем скопом их обступили, маленький же рыцарь, страшно смешавшись, бросился поднимать Боскую и усаживать на лавку, приговаривая:

— Господь с тобою, сударыня, что ты делаешь? Это я должен из уважения к полу твоему и степенству на колени стать. Говори, милостивая государыня, чем могу тебе помочь, — видит бог, я не замедлю все сделать!

— Сделает, сделает; и я со своей стороны приложу старанья! Заглоба sum, да будет тебе, сударыня, это известно! — воскликнул старый воин, растроганный слезами женщин.

Тогда пани Боская кивнула Зосе, а та поспешно вытащила из-за корсажа письмо и подала его маленькому рыцарю.

Тот взглянул на почерк и сказал:

— От пана гетмана!

После чего сломал печать и начал читать:

«Наилюбезнейший моему сердцу пан Володыёвский! Посылаю тебе с дороги через пана Богуша искреннюю мою симпатию, а также инструкции, с каковыми пан Богуш ознакомит тебя *personaliter*. Не успел я после тяжких трудов расположиться в Яворове, тотчас новая появилась забота. Камнем лежит она у меня на сердце, ибо я всю жизнь пекусь о благе своих солдат, — позабудь я о них, господь обо мне забудет. Тому уже несколько лет, как орда пленила под Каменцем пана Боского, достойнейшего рыцаря и любимого моего сотоварища. Супругу его и дочку я приютил в Яворове, но нет в их душах покоя — одна по отцу слезы льет, другая по мужу. Я писал через Пиотровича в Крым пану Злотницкому,[40] нашему посланнику, чтоб они там Боского повсеместно искали. Будто бы даже нашли его, но он тут же был

спрятан, отчего вместе с иными пленниками выдан быть не мог и, верно, по сей день ворочает веслом на галерах. Женщины, утративши всякую надежду, совершенно отчаялись и даже просьбами донимать меня перестали, я же, найдя их по возвращении в неутешной печали, понял, что не прощу себе, ежели как-либо им помочь не попытаюсь. Ты от тех краев неподалеку стоишь и, как мне известно, многим мурзам побратим, почему я и посылаю к тебе оных женщин, а ты им окажи помощь. Пиотрович вскоре ехать собирается. Дай ему письма к твоим побратимам. Сам я ни визирю, ни хану писать не могу, поскольку оба ко мне весьма нерасположены, и притом, боюсь, напиши я им, они посчитают Боского чересчур важной птицею и неимоверный затребуют выкуп. Пиотровичу поручил безотлагательно этим делом заняться, накажи, чтобы без Боского не возвращался, и побратимов всех расшевели. Хоть они и нехристи, но клятву верности свято блюдут, а к тебе должны особое питать уважение. А в общем, поступай по своему усмотрению; съезди в Рашков, пообещай троих знатных пленников взамен — лишь бы только Боский, если еще жив, вернулся. Никто лучше тебя всех путей и подходов не знает — говорят, ты уже своих родных выкупал. Да поможет тебе бог, а я тебя еще сильнее люблю, ибо в душе моей затянется рана. В твоих хрептевских владениях, я слышал, все спокойно. Так я и полагал. За Азбой только приглядывай. De publicis «О делах общественных (лат.).» пан Богуш тебе все расскажет. Ради бога, следите неустанно за тем, что у валахов делается, — похоже, не миновать нам грозного нашествия. Вверяя твоим заботам и доброму сердцу пани Боскую, остаюсь и прочая, и прочая».

Пани Боская все время, пока Володыёвский читал письмо, плакала, а Зося вторила ей, возводя к небу свои лазоревые глазки.

Между тем, не успел еще пан Михал закончить чтение, прибежала Бася, уже переодевшаяся в женское платье, и, увидев слезы на глазах матери и дочери, встревоженно принялась выпрашивать, в чем дело. Тогда пан Михал прочитал ей письмо, она же, внимательно все выслушав, не задумываясь горячо поддержала просьбы гетмана и Боской.

— Золотое у пана гетмана сердце! — воскликнула она, обнимая мужа, — но и мы ему не уступим, да, Михалек? Пани Боская погостит здесь у нас до возвращения супруга, а ты месяца за три вызволишь его из Крыма. А то и за два, верно?

— Завтра же, нет, через час! — шутливо промолвил пан Михал. И добавил, обратившись к пани Боской: — Супруга моя, как видишь, в долгий ящик ничего откладывать не любит.

— Да благословит ее за это бог! — сказала Боская. — Зося, целуй руки пани Володыёвской.

Но пани Володыёвская и не подумала протянуть руки для поцелуя, а вместо этого они с Зосей еще раз облобызались, потому что как-то сразу пришлись друг дружке по душе.

— Будем держать совет, милостивые судари! — воскликнула Бася. — Совет, совет, живее!

— Живее, а то у ней земля горит под ногами, — пробурчал Заглоба.

На что Бася ответила, потрянув светлыми вихрами:

— Не у меня под ногами земля горит, а у этих женщин в сердцах от горя огонь пылает!

— Никто тебе в твоих благих намерениях препятствовать не собирается, — сказал Володыёвский, — только сперва надобно выслушать историю пани Боской во всех подробностях.

— Зося, расскажи все, как было, мне слезы говорить мешают, — промолвила почтенная матрона.

Зося потупилась, уставя взор в землю, и зарделась, как маков цвет, не зная, с чего начать, ужасно смущенная тем, что предстоит держать речь в столь многолюдном обществе.

Но пани Володыёвская пришла ей на помощь:

— Так когда ж, Зоська, пана Боского угнали в полон?

— Пять лет тому, в шестьдесят седьмом, — тоненьким голосочком ответила Зося, не поднимая длинных своих ресниц.

А потом выпалила одним духом:

— Тогда о набегах и слуху не было, а батюшкина хоругвь стояла под Панёвцами. Батюшка с паном Булаёвским надзирали за челядью, что в лугах стада пасла, а тем часом пришли татары с валашского шляха и схватили батюшку вместе с паном Булаёвским, но пан Булаёвский уже два года как вернулся, а батюшка не возвращается.

Тут две крохотные слезинки скатились у Зоси из глаз, а Заглоба при виде этих слез так расчувствовался, что сказал:

— Бедная крошка... Не горюй, дитя мое, вернется батюшка, еще на свадьбе твоей плясать будет.

— А гетман писал пану Злотницкому через Пиотровича? — спросил Володыёвский.

— Пан гетман писал насчет батюшки пану познанскому мечнику через пана Пиотровича, — тараторила дальше Зося, — и пан мечник с паном Пиотровичем отыскиали батюшку у Мурза-бейаги.

— Черт побери! Я этого Мурза-бея знаю! Мы с его братом побратимы, — воскликнул Володыёвский. — Неужто он отказался пана Боского отпустить?

— От хана был приказ батюшку отпустить, но Мурза-бей, свирепый такой, жестокий, батюшку спрятал, а пану Пиотровичу

сказал, будто давно уже его в Азию продал. Но другие пленники говорили пану Пиотровичу, что это неправда и что Мурза нарочно так говорит, чтоб подольше над батюшкой измываться, потому как Мурза этот всех татар злее. А может, батюшки тогда в Крыму и вправду не было: у Мурзы свои галеры есть, и гребцы нужны, и вовсе он папеньку не продавал; все говорили, что Мурза лучше невольника убьет, нежели продаст.

— Истинная правда, — сказал Мушальский. — Мурза-бея этого весь Крым знает. Страшно богатый татарин, но народ наш ненавидит люто: четверо его братьев полегли в набегах на польскую землю.

— А нет ли у него часом среди наших побратима? — спросил Володыёвский.

— Навряд ли! — слышалось со всех сторон.

— Объясните мне наконец, что такое побратимство? — попросила Бася.

— Видишь ли, — сказал Заглоба, — когда после войны начинаются переговоры, солдаты вражеских армий друг к другу навешиваются и заводят дружбу. Случается, какому-нибудь рыцарю полюбится мурза, а мурзе — этот рыцарь, вот они и поклянутся в дружбе до гробовой доски, которой название — побратимство. Чем воин прославленнее, как, например, Михал, я или пан Рушиц, что теперь командует рашковским гарнизоном, тем больше охотников с ним побрататься. Такой человек, ясное дело, с кем попало брататься не станет, а также поищет достойнейшего среди самых знаменитых мурз. Обычай же таков: двое воду на сабли льют и клянутся в дружбе. Понятно?

— А если потом случится война?

— В больших сраженьях побратимам можно участвовать, но ежели доведется лицом к лицу сойтись или пред битвой встретиться в поединке, они друг дружке поклонятся и разойдутся с миром. И опять же, если один попадет в плен, другой должен ему житье в неволе скрасить, а то и выкуп заплатить. Ха! Иные и состоянием своим с побратимом делились. А понадобится разыскать кого из друзей или знакомых либо помощь оказать, побратим идет к побратиму, и, по справедливости сказать, ни один народ лучше татар не сохраняет верности клятве. У них слово свято! Можешь рассчитывать на такого друга, как на самого себя.

— А у Михала много таких друзей?

— Трое могущественных мурз, — сказал Володыёвский. — Один еще с лубненских времен. Я его однажды у князя Иеремии выпросил. Ага-беем звать; теперь понадобится, он за меня голову отдаст. Да и другие двое не подведут.

— Ха! — воскликнула Бася. — Вот бы мне побрататься с самим ханом и всех пленных освободить!

— Он бы не отказался, — заметил Заглоба, — неизвестно только, какой бы раемium за это запросил!

— Давайте, милостивые сударыни и судари, — сказал Володыёвский, — подумаем, что нам надлежит делать. Итак, послушайте: мне сообщили из Каменца, что не позднее чем через две недели сюда прибудет Пиотрович с многочисленной свитой. Едет он в Крым выкупать армянских купцов из Каменца, которые, когда хан сменился, были ограблены и угнаны в неволю. Среди них, увы, и Сеферович, брат претора. Все это люди весьма богатые, денег жалеть не станут, и Пиотрович поедет не с пустыми руками. Опасности ему никакие не грозят: во первых, зима на носу, для чамбулов неподходящее время, а во-вторых, с ним едет нвирак, полномочный посланник эчмиадзинского патриарха,[41] и двое анардратов[42] из Кафы,[43] у которых имеются охранные грамоты от молодого хана. Я дам Пиотровичу письма и к посланникам Речи Посполитой, и к моим побратимам. Кроме того, как вам известно, у пана Рущица, ращковского коменданта, есть в орде родственники, которые, будучи угнаны малыми детьми, совсем отатарились и высокие должности занимают. И те, и другие все старания приложат. Сперва, думаю, попробуют миром договориться, если же Мурза заупрямится, самого хана против него настроят, а то и свернут где-нибудь тишком шею. Потому, надеюсь, ежели пан Боский жив, — помощи ему, господи, — через месяц-другой я его непременно вызволю согласно приказанию пана гетмана и присутствующего здесь, — тут Володыёвский поклонился жене, — моего главнокомандующего...

«Главнокомандующий» снова бросился обнимать маленького рыцаря. Мать и дочь Боские только руки складывали, благодаря всевышнего, что свел их с такими добрыми людьми. Обе заметно повеселели.

— Будь жив старый хан, — сказал Ненашинец, — еще легче бы все уладилось: он к нам премного был расположен, а про молодого обратное рассказывают. Да и тех армянских купцов, за которыми пан Захарий Пиотрович едет, уже при молодом хане[44] в самом Бахчисарае пленили, и, говорят, будто по его распоряжению.

— И молодой переменится, как переменился старый; он то же, пока не убедился в нашем добромъислии, был заклятым врагом польского народа, — промолвил Заглоба. — Мне это лучше, чем кому другому, известно, как-никак семь лет посидел у него в неволе.

И, сказав так, подсел к пани Боской.

— Мужайся, сударыня! Погляди на меня. Семь лет — не шутка! А ведь вернулся и сколько еще нечестивых псов перебил: за каждый день плена по меньшей мере двоих отправил в ад, а на воскресенья и праздники — как знать, может, и по трое, а то и по четверо придется, ха!

— Семь лет! — повторила со вздохом пани Боская.

— Провалиться мне на этом месте, если я хоть день прибавил. Семь лет во дворце самого хана, — повторил Заглоба, таинственно подмигивая. — И да будет тебе, сударыня, известно, что молодой хан — мой...

Тут он прошептал что-то Боской на ухо, разразился внезапно громогласным «ха-ха-ха» и принялся колотить руками по коленям; в конце концов, войдя в раж, старый шляхтич похлопал по колену и свою собеседницу и изрек:

— Славные были времена! В молодости что ни шаг — неприятель, что ни день — новые проказы! Ха!

Почтенная матрона, чрезвычайно смутившись, несколько отодвинулась от веселого рыцаря, а барышни потупились, без труда догадавшись, что пан Заглоба имел в виду проказы, о которых их врожденная скромность и думать не позволяет, тем паче что мужчины громко расхохотались.

— Надо поскорей послать кого-нибудь к пану Рущицу, — сказала Бася, — чтоб пана Пиотровича уже ждали в Рашкове письма.

Богущ поддержал ее:

— Да, да, судари мои и сударыни, спешить нужно, пока зима: во-первых, чамбулы не показываются и дороги свободны, а во-вторых... во-вторых, весной бог весть что еще может случиться.

— Неужто пан гетман известия из Царьграда получил? — спросил Володыёвский.

— Получил, о чем мы с тобой особо побеседуем. И с ротмистрами этими побыстрее надо кончать, как сам понимаешь, когда Меллехович вернется? От него ведь многое зависит...

— У него все дел — уцелевших разбойников добить да тела предать земле. Сегодня еще возвратится либо завтра утром. Я велел только наших похоронить, Азбовых необязательно — зима на носу, заразы можно не опасаться. Все равно волки их приберут.

— Пан гетман просит, — сказал Богущ, — Меллеховичу в его деле препон не чинить: хочет ездить в Рашков, пускай ездит. И еще просит пан гетман татарину этому полностью доверять, так как в его любви к нам нисколько не сомневается. Великий это воин и много пользы принести может.

— Пусть себе ездит хоть в Рашков, хоть куда, — ответил маленький рыцарь. — После того как мы с Азбой покончили, он мне не очень-то и нужен. Больших ватаг теперь раньше первой травы

не жди.

— Неужто Азба погромлен? — спросил Нововейский.

— В пух и прах! Не знаю, унесли ли ноги хотя бы двадцать пять человек, да и тех по одному переловим, если Меллехович уже не переловил.

— Вот радость-то, — сказал Нововейский. — Теперь можно в Рашков спокойно ехать. — И добавил, обратившись к Басе: — Ежели угодно, мы захватим письма к пану Рущицу, о которых твоя милость изволила упомянуть.

— Благодарствуем, — ответила Бася, — за оказией дело не станет, — мы туда все время нарочных посылаем.

— Гарнизонам надлежит меж собою постоянную связь поддерживать, — пояснил пан Михал. — Так значит, ваша милость, вы с этой прелестной барышней в Рашков едете?

— Прелестная барышня! Малявка она еще, досточтимый сударь, — ответил Нововейский. — А в Рашков мы едем потому, что мой беспутный сын там у пана Рущица под началом служит. Скоро десять лет, как из дома сбежал; только письма писал в расчете на мое родительское снисхождение.

Володыёвский даже в ладоши прихлопнул:

— Я сразу догадался, что ты пана Нововейского родитель, и уже было собрался спросить, да, услышав про беды любезной нашей гостыи, обо всем на свете забыл, тотчас догадался: вы и лицом схожи! Значит, это твой сын!..

— В том меня его покойница мать заверяла, а поскольку особа она была добродетельная, не вижу причин сомневаться.

— Я такому гостю вдвойне рад! Только, ради бога, не называй сына беспутным: он отличный солдат и достойный кавалер; иметь такого сына весьма почетно. После пана Рущица он первый наездник в хоругви. Тебе небось и невдомек, что он любимец гетмана! Ему уже не раз доверяли разъездами командовать, и из каждого дела он выходил с честью.

Нововейский даже покраснел от удовольствия.

— Пан полковник, — сказал он, — сплошь да рядом отец для того лишь чадо свое хулит, чтобы кто-нибудь его слова оспорил, и я полагаю, ничто не может сильнее порадовать родительское сердце, как противоположные утверждения. И до меня уже доходили слухи об успехах Адася на службе, но лишь теперь я подлинную испытываю радость, слыша подтверждение молвы из столь славных уст. Говорят, сын мой не только отважный воин, но и держит себя степенно, что мне даже удивительно, ибо прежде сущий ветрогон был. На войну его, шельму, с малолетства тянуло, и лучшее тому доказательство, что мальчишкой из дома удрал. Признаться, поймай я его тогда, хорошенько бы проучил про

методіа «Для памяти (лат.)», но сейчас, вижу, придется об этом мысль оставить — ну как опять на десять лет сгинет, а старику-то тоскливо.

— Неужто за столько лет ни разу домой не заглянул?...

— А я ему воспретил. Однако ж, и у меня сердце не камень: сами видите, первый к нему еду, поскольку он службы оставить не может. Хотелось мне, сударыня-благодетельница и милостивый сударь, просить вас девку мою приютить и одному отправиться в Рашков, но коль скоро вы говорите, на дорогах спокойно, возьму и ее с собой. Она у меня как сорока любопытная, пускай поглядит на свет.

— И люди на нее пускай поглядят! — вставил Заглоба.

— Не на что смотреть! — ответила барышня, хотя смелые черные ее очи и сложенные будто для поцелуя губы говорили совсем иное.

— Малявка она еще, истинно малявка! — сказал Нововейский. — Но едва завидит пригожего офицера, точно бес в нее вселяется. Оттого я предпочел ее с собою взять, нежели дома оставить, тем более что и дома девке одной небезопасно. Но коли мне придется без нее в Рашков ехать, будь добра, сударыня, повели ее на привязь посадить, чтоб не выкинула какой-нибудь штуки.

— Я сама не лучше была, — ответила Бася.

— Сажали ее за прялку, — подтвердил Заглоба, — она с нею в пляс, если никого получше не подворачивалось. Но ты, я вижу, сударь, шутник. Баська! Охота мне с паном Нововейским выпить — я ведь тоже пошутить люблю.

Меж тем, еще до того, как подали ужин, дверь распахнулась и вошел Меллехович. Пан Нововейский, будучи увлечен разговором с Заглобой, вначале его не заметил, зато Эвка сразу увидела, и щеки ее ярко вспыхнули, а потом вдруг покрылись бледностью.

— Пан комендант! — обратился Меллехович к Володыёвскому. — Согласно приказу беглецы изловлены.

— Отлично! Где они?

— Я велел их повесить, как было приказано.

— Хорошо! А твои люди вернулись?

— Часть осталась для погребения тел, остальные со мною.

В эту минуту Нововейский поднял голову, и на лице его выразилось чрезвычайное изумление.

— Господи! Что я вижу! — пробормотал он.

После чего встал, подошел вплотную к Меллеховичу и воскликнул:

— Азья! А ты что здесь, паскудник, делаешь?!

И протянул руку, намереваясь схватить татарина за шиворот, но тот так и взвился — точно в огонь швырнули горсть пороха, —

сделался мертвенно-бледен и, уцепив руку Нововейского своими железными пальцами, сказал:

— Я тебя, сударь, не знаю! Ты кто таков?!

И с силой оттолкнул Нововейского, так что тот отлетел на середину горницы.

Несколько времени шляхтич от ярости не мог вымолвить ни слова, но, переведя дыхание, разразился криком:

— Сударь! Пан комендант! Это мой человек, к тому же беглый! С малолетства у меня в доме!.. Отпирается, каналья! Холоп мой! Эва! Кто это? Говори!

— Азья! — пролепетала, дрожа всем телом, Эва.

Меллехович даже на нее не взглянул. Его взор был устремлен на Нововейского: раздувая ноздри, он с неопикуемой ненавистью пожирал глазами старого шляхтича, сжимая в кулаке рукоятку ножа. От движения ноздрей усы его встопорщились, и из-под них показались поблескивающие белые клыки — в точности как у разъяренного зверя.

Офицеры обступили их. Бася подскочила и встала между Нововейским и Меллеховичем.

— Что это значит? — спросила она, нахмурия брови.

Вид ее несколько успокоил противников.

— Пан комендант, — сказал Нововейский, — это мой человек по имени Азья — и беглец. С молодых лет я на Украине в войске служил, там в степи и подобрал его, полуживого, и взял к себе. Из татар он. Двадцать лет в моем доме воспитывался, учился вместе с сыном. Когда сын убежал, в хозяйстве мне подсоблял, пока не вздумал завести шашни с Эвкой, да я заметил и приказал его высеч, а вскорости он удрал. Как он здесь у вас зовется?

— Меллехович!

— Придумал, значит, себе прозвище. Его Азья звать, просто Азья. Он говорит, что меня не знает, зато я его знаю, и Эвка тоже.

— О господи! — сказала Бася. — Да ведь сын твоей милости его сто раз видел. Как же он его не узнал?

— Сын-то мог не узнать: когда он из дому сбежал, им обоим шестнадцати не было, а этот, еще шесть лет у меня прожив, конечно же, переменился сильно — и сам вытянулся, и усы отросли. Однако ж Эвка сразу его признала. Надеюсь, вы скорей шляхтичу поверите, нежели приبلудному крымчаку.

— Пан Меллехович — гетманов офицер, — сказала Бася, — мы к нему касательства не имеем!

— Позволь, сударь, я его расспрошу. *Audiat et altera pars* «Следует выслушать и другую сторону (лат.).», — промолвил маленький рыцарь.

— Пан Меллехович! — со злостью вскричал Нововейский. — Какой он пан! Он мой холоп, назвавшийся чужим именем. Завтра я этого пана в помощники к писарю поставлю, а послезавтра прикажу пана выпороть, и сам гетман мне в том не помешает. Я шляхтич и свои права знаю!

На что пан Михал, пошевелив усиками, ответил уже резче:

— А я не только шляхтич, но еще и полковник, и свои права тоже знаю. С человеком своим можешь судом ведаться, можешь у гетмана справедливости искать, но здесь я распоряжаюсь, я, и никто другой!

Нововейский сразу умерил пыл, вспомнив, что имеет дело не просто с комендантом гарнизона, но и с начальником собственного сына, и притом наизнаменитейшим во всей Речи Посполитой рыцарем.

— Пан полковник, — сказал он уже более сдержанно, — против твоей воли забирать его не стану, но права свои, в каковых не изволь сомневаться, докажу.

— Ну, а что ты, Меллехович, скажешь? — спросил Володыёвский.

Татарин молчал, уставив глаза в землю.

— Зовут-то тебя Азья, это мы все знаем! — добавил маленький рыцарь.

— Да зачем доказательства искать! — воскликнул Нововейский. — Ежели это мой человек, у него на груди наколоты синие рыбы!

Услыхав это, пан Ненашинец широко раскрыл глаза и разинул рот, а затем, схватившись за голову, закричал:

— Азья Тугай-беевич!

Все взоры обратились на него, а он только повторял, дрожа всем телом, словно старые его раны вновь открылись:

— Это мой ясырь! Тугай-беевич! Боже правый! Это он!

А молодой татарин гордо вскинул голову, обвел собравшихся диким, звериным взглядом и вдруг, разорвав жупан на широкой груди, сказал:

— Вот они, синие рыбы!.. Я сын Тугай-бея!..

ГЛАВА XXVIII

Все замолчали — такое впечатление произвело имя страшного воина. Это он вместе с грозным Хмельницким сотрясал устои Речи Посполитой; он пролил море польской крови; он истоптал копытами своих лошадей Украину, Волынь, Подолье и галицкие земли, обращал в руины замки и города, предавал огню веси, десятки тысяч людей угнал в полон. И вот теперь сын такого человека стоял в доме коменданта хрептевского гарнизона и говорил собравшимся прямо в глаза: «У меня на груди синие рыбы, я Азья, плоть от плоти Тугай-беевой». Но столь велико было в те времена почтение к знатности рода, что, несмотря на страх, невольно вспыхнувший в сердцах воинов при звуках имени прославленного мурзы, Меллехович вырос в их глазах, словно воспринял величие своего отца.

Итак, все взирали на него с изумлением, и в особенности женщины, для которых нет ничего притягательнее таинственности; Меллехович же, словно признание возвысило его и в собственных глазах, стоял с надменным видом, даже головы не склонив. Наконец он заговорил:

— Шляхтич сей, — тут он указал на Нововейского, — твердит, будто я его слуга, а я ему на это скажу, что почище него перед родителем моим хребет гнули. Однако он правду говорит, что я ему служил, — да, служил, и под его плетью спина моя окровавилась, что я ему еще, даст бог, припомню!.. А Меллеховичем я назвался, чтоб его преследований избежать. Но теперь, хотя давно мог в Крым сбежать, второй своей отчизне служу, живота не жалея, стало быть, ничей я, а вернее, гетманов. Мой отец ханам сродни, в Крыму меня богатства ждали и роскошь, но я, не боясь унижений, здесь остался, потому что люблю эту отчизну, и пана гетмана люблю, и тех, кто меня никогда презрением не унизил.

При этих словах он поклонился Володыёвскому, поклонился Басе — так низко, что едва не коснулся головою ее колен, — а больше ни на кого не взглянул и, взяв под мышку саблю, вышел.

С минуту еще продолжалось молчание; первым его нарушил Заглоба:

— Ха! Где пан Снитко? Говорил я, что Азья этот волком смотрит, а он и есть волчий сын!

— Он сын льва! — возразил ему Володыёвский. — И кто знает, не пошел ли в отца!

— Тысяча чертей! А ваши милости заметили, как у него зубы сверкали — в точности как у старого Тугай-бея, когда тот в ярость впадал! — сказал Мушальский. — Я б его по одному этому узнал —

папашу мне не раз случалось видеть.

— Но уж не столько, сколько мне! — вставил Заглоба.

— Теперь понятно, — отозвался пан Богуш, — почему его липеки и черемисы так уважают. Для них Тугай-беево имя свято. Боже правый! Да скажи этот человек слово, они все до единого к султану на службу перейдут. Он еще на нас их поведет!

— Этого он не сделает, — возразил Володыёвский. — Насчет любви к гетману и отчизне — не пустые слова, иначе зачем бы ему нам служить: он мог в Крым уйти и там как сыр в масле кататься. У нас-то ему ох как несладко бывало!

— Да, не сделает, — повторил Богуш. — Хотел бы, давно б уже сделал. Ничто ему не мешало.

— Больше того, — добавил Ненашинец, — теперь я верю, что он этих предателей-ротмистров обратно на сторону Речи Посполитой перетянет.

— Пан Нововейский, — спросил вдруг Заглоба, — а кабы твоей милости известно было, что это Тугай-беевич, возможно бы, ты, того... возможно б, ты так... а?

— Я б тогда вместо трехсот тысячу триста плетей приказал ему дать. Разрази меня гром, если б я поступил иначе! Странно мне, любезные судари, отчего он, будучи Тугай-беевым отродьем, в Крым не сбежал. Разве что сам узнал недавно, а у меня еще ни сном ни духом не ведал. Странно, доложу я вам, странно; не верьте вы ему, бога ради! Я ж его дольше вашего знаю и одно могу сказать: сатана не столь коварен, бешеный пес не столь неистов, волк не так жесток и злобен, как этот человек. Он еще тут нам всем покажет!

— Да ты что, сударь! — воскликнул Мушальский. — Мы его в деле видели: под Кальником, под Уманью, под Брацлавом да еще в сотне сражений...

— Он своих обид не простит! Мстить будет.

— А сегодня как Азбовых головорезов отделал! Чепуху говоришь, сударь!

У Баси лицо пылало — до того ее взволновала история с Меллеховичем. А поскольку ей хотелось, чтоб и конец был достоин начала, она, толкая в бок Эву Нововейскую, шептала той на ухо:

— Эвка, а тебе он нравился? Не запирайся, скажи честно! Нравился, да? И до сих пор нравится? Ну конечно, я уверена! От меня хоть не скрывай. Кому ж еще открыться, как не мне, женщине? Он чуть ли не королевского рода! Пан гетман ему не одну, а десять бумаг на шляхетство выправит. Пан Нововейский не станет противиться. Да и Азья наверняка к тебе чувство сохранил! Уж я знаю, знаю. Не бойся! Он мне доверяет. Я его сей же час и допрошу. Как миленький все расскажет. Сильно ты его любила? И сей-

час любишь?

У панны Нововойской голова кругом шла. Когда Азья впервые выказал ей сердечную склонность, она была почти еще ребенком, а потом, много лет не видя его, перестала о нем думать. В памяти ее остался пылкий подросток, то ли товарищ брата, то ли простой слуга. Но теперь перед нею предстал удалой молодец, красивый и грозный, как сокол, знаменитый наездник и офицер, притом отпрыск хоть и чужестранного, но княжеского рода. Потому и она взглянула на юного Азью другими глазами, а вид его не только ее ошеломил, но и ослепил и восхитил безмерно. В девушке пробудились воспоминания. Нельзя сказать, что в ее сердце мгновенно вспыхнула любовь к этому молодцу, но оно немедленно исполнилось сладкой готовностью любить.

Бася, не добившись от Эвы толку, увела ее вместе с Зосей Боской в боковую светелку и там снова на нее надела:

— Эвка! А ну, говори быстро! Быстренько! Люб он тебе?

У Эвы ланиты пылали жарким румянцем. В жилах этой чернокошой и черноокой паненки текла горячая кровь, при всяком упоминании о любви волною ударявшая ей в лицо.

— Эвка! Любишь его? — в десятый раз повторила Бася.

— Не знаю, — после минутного колебания ответила панна Нововойская.

— Однако и «нет» не говоришь? Хо-хо! Все ясно! Не спорь! Я первая сказала Михалу, что люблю его, — и ничего! И правильно! Вы, должно быть, прежде ужасно друг друга любили! Ха! Теперь мне все понятно! Это он по тебе тосковал, оттого и ходил вечно угрюмый, как волк. Чуть не зачах солдатик! Рассказывай, что промежду вас было!

— Он мне в сенях сказал, что меня любит, — прошептала панна Нововойская.

— В сенях!.. Вот те на!.. Ну, а потом?

— Потом схватил и стал целовать, — еще тише продолжала девушка.

— Ай да Меллехович! А ты что?

— А я боялась кричать.

— Кричать боялась! Зоська! Ты слышишь?... Когда же ваша любовь открылась?

— Отец пришел и сразу его чеканом, потом меня побил, а его приказал высечь — он две недели в лежку лежал!

Тут панна Нововойская расплакалась — отчасти от жалости к себе, а отчасти от смущения. Лазоревые глазки чувствительной Зоси Боской тоже мгновенно наполнились слезами, Бася же принялась утешать Эвку:

— Все будет хорошо, я сама об этом позабочусь! И Михала в это дело втраплю, и пана Заглобу. Уж я их уговорю, не сомневайся! У пана Заглобы ума палата, перед ним никто не устоит. Ты его не знаешь! Кончай плакать, Эвка, ужинать пора...

Меллеховича за ужином не было. Он сидел в своей горнице и подогревал на очаге горелку с медом, а подогрев, переливал в сосуд поменьше и потягивал, заедая сухарями.

Поздней уже ночью к нему пришел пан Богуш, чтобы обсудить последние новости.

Татарин усадил гостя на табурет, обитый овчиной, и, поставив перед ним полную чарку горячего напитка, спросил:

— Пан Нововейский по-прежнему во мне холопа своего видит?

— Об этом уже и речи нет, — ответил подстолий новогрудский. — Скорей бы уж пан Ненашинец мог на тебя свои права заявить, но и ему ты ненужен: сестра его либо померла, либо давно со своей судьбой смирилась. Пан Нововейский не знал, кто такой, когда наказывал за амурсы с дочерью. А теперь и он точно оглоушенный ходит: отец твой хоть и много зла причинил нашей отчизне, но воитель был превосходный, да и кровь — она всегда кровь. Господи! Тебя здесь никто пальцем не тронет, покуда ты отечеству честно служишь, к тому ж у тебя кругом друзья.

— А почему бы мне не служить честно? — сказал в ответ Азья. — Отец мой громил вас, но он неверный был, а я исповедую Христову веру.

— Вот-вот! То-то и оно! Тебе уже нельзя в Крым возвращаться, разве что от веры откажешься, но тогда и вечного спасения будешь лишен, а этого никакими земными благами, никакими высокими званиями не возместить. По правде говоря, ты и пану Ненашинцу, и пану Нововейскому должен быть благодарен: первый тебя из басурманских лап вытащил, а второй воспитал в истинной вере.

На что Азья сказал:

— Знаю, что у них в долгу, и постараюсь этот долг сполна отдать. И благодетелей у меня здесь тьма, как ваша милость справедливо изволили заметить!

— Чего губы кривишь? Посчитай сам, сколько к тебе расположены.

— Его милость пан гетман ваша милость в первую очередь; это я до смерти повторять не устану. Кто еще, не знаю...

— А здешний комендант? Думаешь, он бы тебя кому-нибудь выдал, даже не будь ты Тутай-беев сын? А она? Пани Володыёвская! Я слышал, как она о тебе за ужином говорила... Ба! Да еще до того, как Нововейский тебя узнал, она, не раздумывая, за тебя вступилась! Пан Володыёвский ради жены все сделать готов, он в

ней души не чаает, а она тебя любит, как сестра. Весь вечер твое имя у нее с уст не сходило...

Молодой татарин внезапно опустил голову и принялся дуть на дымящийся напиток в кружке; когда он при этом выпятил синеватые свои губы, лицо его сделалось таким татарским, что Богуш, не удержавшись, сказал:

— Черт, до чего ты сейчас на старого Тугай-бея похож — бывают же такие чудеса на свете! Я ведь отца твоего отлично знал, и у хана при дворе видывал, и на бранном поле, да и в становье его по меньшей мере раз двадцать ездил.

— Благослови господи всех, кто по справедливости живет, а обидчиков пусть мор передушит! — ответил Азья. — Здоровье гетмана!

Богуш выпил и сказал:

— Здоровья ему и долголетия! Мы его не оставим. Хоть и немного нас, зато все настоящие солдаты. Даст бог, не уступим дармоедам этим, что только и умеют в сеймиках языком молоть да обвинять пана гетмана в измене королю. Бездельники! Мы в степях денно и нощно неприятелю отпор даем, а они горшки с бигосом да с пшенной кашей за собою возят, барабанят ложками по дну. Вот какая у них работа! Пан гетман посланца за посланцем шлет, помощи для Каменца просит, пророчит, словно Кассандра падение Илиона и гибель народа Приамова, а эти и в ус не дуют, только докапываются, кто перед королем провинился.

— Вы это о чем, сударь?

— А, так! Comparationem «Сравнение (лат.).» провел между нашим Каменцем и Троей, да ты, верно, про Трою и не слыхал. Пусть только поутихнет немного — пан гетман тебе бумагу на шляхетство выправит, головой клянусь! Времена близятся такие, что, коли ты и вправду хочешь славу стяжать, случай себя ждать не заставит.

— Либо славу стяжаю, либо глаза навеки сомкну. Вы еще обо мне услышите, как бог свят!

— А что те? Что Крычинский? Вернутся к нам? Не вернутся? Что они сейчас делают?

— В становищах своих стоят: одни в уджийской степи, другие еще дальше. Трудно им меж собой сговариваться — далеко очень. Весной всем приказано идти в Адрианополь и как можно больше провианту взять.

— Черт возьми! Это очень важно: ежели в Адрианополе большой военный congressus «Съезд, собрание (лат.).» соберется, быть войне. Надо немедленно уведомить пана гетмана. Он и без того полагает, что войны не избежать, но это, почитай, верный знак.

— Халим мне сказал, там у них поговаривают, будто и сам султан прибудет в Адрианополь.

— Боже правый! А у нас здесь войска — по пальцам перечесть. Вся надежда на каменецкую твердыню. А что Крычинский, неужто новые условия ставит?

— Не то чтоб условия — они там все претензии перечисляют. Всеобщая амнистия, возврат шляхетских прав и привилегий, каковые у них в прежние времена имелись, сохранение за ротмистрами званий — вот что им нужно. Но от султана они уже больше получили, оттого и колеблются.

— Ты что городишь? Как это султан может дать больше, нежели Речь Посполитая? В Турции *absolutum dominium*: что султану взбредет в голову, такие и будут законы. Да хоть бы и ныне здравствующий правитель все свои обещания сдержал, преемник его их нарушит, а захочет, и вовсе откажется выполнять. У нас же привилегия — вещь святая: кто однажды шляхтичем стал, того сам король ни в чем ущемить не может.

— Они говорят, что были шляхтичами и потому равными драгунам почитались, но старосты сплошь да рядом налагали на них разные повинности, от которых не только шляхта освобождена, но и путные бояре.[45]

— Коли им гетман обещает...

— Никто из них в великодушии гетмана не сомневается и все его в душе втайне любят, но при этом так рассуждают: гетмана самого шляхта объявила изменником;[46] при королевском дворе его ненавидят; конфедерация судом грозит — сумеет ли он чего добиться?

Пан Богуш почесал в затылке.

— Ну так что?

— А то, что они сами не знают, как быть.

— Неужто останутся у султана?

— Нет.

— Ба! Кто ж им прикажет возвращаться в Речь Посполитую?

— Я!

— Это как же?

— Я — сын Тугай-бея!

— Азья, милый друг! — сказал, помолчав, Богуш. — Не спору, они могут тебя любить за то, что в твоих жилах славная Тугай-беева кровь течет, хоть они — наши татары, а Тугай-бей был нашим врагом. Это мне понятно: и у нас среди шляхты кое-кто не без гордости рассказывает, что Хмельницкий был шляхтич, притом не казацкого, а нашего, мазурского, рода... Великий был шельма, второго такого в аду не сыщешь, но воин превосходный, вот они и рады его своим считать. Такова уж человеческая нату-

ра! Однако чтоб твоя кровь давала тебе право всеми татарами командовать... нет, не вижу оснований.

Азья несколько времени сидел молча, а потом, упершись руками в колени, промолвил:

— Хорошо, пан подстолий, я скажу, почему Крычинский и другие меня слушают. Во-первых, это все простые татары, а я — князь, но еще они силу во мне чувствуют и мудрость... Вот! Ни вам, ни пану гетману того не понять...

— Какую еще силу, какую мудрость?

— Я того сказать не умю, — ответил Азья. — Почему я к таким делам готов, за какие никто другой не посмеет взяться? Почему я о том подумал, о чем другие не задумываются?

— Что за чепуха! Ну, и о чем же ты подумал?

— О том подумал, что, дай мне пан гетман волю и право, я б не только этих ротмистров воротил, но и половину орды под его начало привел. Мало разве пустует земель на Украине и в Диком Поле? Пусть только гетман объявит, что всякий татарин, который придет в Речь Посполитую, получит шляхетство, не будет преследуем за свою веру и в собственных хоругвях сможет служить, что будет у татар свой гетман, как у казаков, — голову даю, на Украине вскоре свободного клочка земли не останется. Липеки придут и черемисы, из Добруджи придут и Белгорода, из Крыма — и стада пригонят, и жен с детьми на арбах привезут. Напрасно качаете головой, ваша милость, — придут! Как пришли в былые времена те, что потом веками верно служили Речи Посполитой. В Крыму, да и везде, их хан и мурзы утесняют, а здесь они шляхтою станут, сабли прицепят, собственный гетман будет их в походы водить. Клянусь, придут — они там от голода умрут. А когда по улусам слух полетит, что я от имени пана гетмана их зову, что Тугай-беев сын их зовет, — тысячами повалят.

Богуш схватился за голову:

— О господи, Азья! Откуда у тебя такие мысли? Что тогда будет?!

— Будет на Украине татарский народ, как сейчас казацкий! Казакам вы позволили гетмана иметь — почему бы и нам не позволить? Твоя милость спрашивает, что будет? Второго Хмельницкого не будет, потому что мы тотчас казакам наступим на глотку; бунтов крестьянских не будет, резни, погромов; и Дорошенко головы не посмеет поднять: пусть только попробует, я первый его на аркане гетману под ноги приволоку. А вздумает турецкая рать на нас пойти, мы и султана побьем; хан затеет набег — и хана. Не так разве поступали в прежние времена липеки и черемисы, хотя оставались верными Магомету? Отчего нам поступать иначе, нам, татарам Речи Посполитой; нам, шляхте!.. А теперь посчитайте, ваша милость: на Украине спокойно, казаки

в крепкой узде, от турка — заслон, войска на несколько десятков тысяч больше... Вот о чем я подумал! Вот что мне в голову пришло, вот почему меня Крычинский, Адурович, Моравский, Творовский слушают, вот почему, когда я кликну клич, половина Крыма ринется в эти степи!

Пан Богуш речами Азьи был так поражен и подавлен, как если бы стены комнаты, в которой они сидели, внезапно раздвинулись и глазам представились новые, неведомые края.

Долгое время он слова не мог вымолвить и только глядел на молодого татарина, а тот расхаживал большими шагами по горнице и наконец произнес:

— Без меня такому не бывать: я сын Тугай-бея, а от Днепра до Дуная нет среди татар имени громче. — И, помолчав минуту, добавил: — Что мне Крычинский, Творовский и прочие! Не о них речь и не о нескольких тысячах липеков и черемисов, а обо всей Речи Посполитой. Говорят, весной начнется большая война с могучей султанской ратью, но вы только дайте мне волю: я такого варева с татарами наварю — сам султан обожжется.

— Господи! Да кто ты, Азья?

Тот поднял голову:

— Будущий татарский гетман!

Отблеск огня, упавший в эту минуту на говорившего, осветил его лицо — жестокое, но прекрасное, и Богушу почудилось, перед ним стоит иной человек, — такую величественность и гордость излучал весь облик молодого татарина. И почувствовал пан Богуш, что Азья говорит правду. Если б подобный гетманский призыв был обнародован, липеки и черемисы несомненно бы все возвратились, да и многие из диких татар потянулись бы за ними. Старый шляхтич превосходно знал Крым, где дважды побывал невольником и куда потом, будучи выкуплен, ездил посланником гетмана; ему знаком был бахчисарайский двор, известны нравы ордынцев, стоящих в степях между Доном и Добруджей; он знал, что зимой множество улусов вымирает от голода, знал, что мурзам надоело сносить деспотизм и лихоимство ханских баскаков, что в самом Крыму часто вспыхивают смуты, — и ему сразу стало ясно: плодородные земли и шляхетские привилегии не могут не прельстить тех, кому в нынешних обиталищах плохо, тесно или беспокойно.

И прельстят тем скорее, если призовет их Тугай-беев сын. Он один может это сделать — никто больше. Он, овеянный славой своего отца, может взбунтовать улусы, настроить одну половину Крыма против другой, подчинить себе дикие белгородские орды и подорвать мощь хана; мало того — мощь самого султана!

Гетман вправе считать Тугай-беева сына посланцем самого провидения — другой такой случай вряд ли еще представится.

Пан Богуш совсем другими глазами стал смотреть на Азью и все сильнее изумлялся, как подобные мысли могли созреть в голове молодого татарина? Даже чело пана подстолия оросилось потом — так потряс его размах задуманного. Но в душе осталось еще множество сомнений, и потому, помолчав с минуту, он спросил:

— А ты понимаешь, что это приведет к войне с турками?

— Войны так и так не избежать! Зачем, думаете, приказано ордам идти в Адрианополь? Скорей уж войны не будет, когда в султановых владениях подымется смута, но даже ежели придется воевать, половина орды на нашу сторону станет.

«На каждое слово у шельмы ответ готов!» — подумал Богуш, а вслух сказал:

— Голова кругом идет! Пойми, Азья, в любом случае это дело непростое. Что скажет король, канцлер? А сословия?[47] А вся шляхта, в большинстве своем к гетману не расположенная?

— Мне нужно только письменное разрешение гетмана; когда мы здесь осядем, пусть попробуют нас выгнать! Кто гнать будет и чем? Вы бы рады запорожцев из Сечи выкурить, да руки короткие.

— Пан гетман испугается ответственности.

— За пана гетмана пятьдесят тысяч ордынских сабель подымется, а еще у него свое войско есть.

— А казаки? О казаках забыл? Эти тотчас всколыхнутся.

— На то мы и нужны, чтобы над казацкой шеей меч висел. В чем сила Дороша? В татарах! Будет моя над татарами власть — Дорош к гетману с повинной придет.

При этих словах Азья протянул вперед руки и растопырил пальцы наподобие орлиных когтей, а потом схватился за эфес сабли.

— Покажем мы казакам их права! В холопов обратим, а сами на Украине хозяйствовать станем. Слышь, пан Богуш, вы думали, я маленький человек, а я не такой уж и маленький, как Нововейскому, здешнему коменданту, офицерью и вам, пан Богуш, казалось! Да я над этим дни и ночи думал, исхудал аж, с лица спал, — гляди, ваша милость! — почернел весь. Но что обмыслил, то обмыслил как следует, потому и сказал, что при мне сила и мудрость. Сам видишь: это великое дело; езжай-ка, сударь, к гетману, да поскорее! Все ему доложи, пускай письменное согласие даст, а на сословия мне плевать. Гетман вам всем не чета, он поймет, что у меня и сила, и мудрость! Скажешь ему, что я Тугай-беев сын, что один лишь я могу это сделать; объясни все — пусть соглашается. Только ради бога побыстрее — пока не поздно, пока в степях снег

лежит, пока весна не пришла, потому как весной война будет! Езжай немедленно и тотчас возвращайся: мне как можно скорее надо знать, что делать.

Богущ даже не заметил, что Азья заговорил в повелительном тоне, словно уже стал гетманом и отдает распоряжение своему офицеру.

— Как думаешь, сударь, согласится пан гетман?

— Возможно, он прикажет к нему явиться, ты в Рашков пока не уезжай, отсюда быстрее до Яворова доберешься. Согласится ли он, не знаю, но особое внимание, конечно, обратит, так как ты серьезные доводы приводишь. Богом клянусь, не ждал я от тебя такого, но теперь вижу, ты человек необыкновенный, господь тебя для великих дел сотворил. Ах, Азья, Азья! И всего-то ты наместник в татарской хоругви, а какие помыслы выносил в уме — подумать страшно. Я теперь уже не удивлюсь, коли увижу на твоей шапке перо цапли, а в руке — бунчук... И что такие мысли тебя по ночам, как ты говоришь, терзали, верю... Послезавтра же и отправлюсь, только отдохну малость, а сейчас пойду, поздно уже, и в голове у меня точно мельничные жернова ворочаются. Дай тебе бог, Азья... В висках стучит, словно с похмелья... Помоги тебе бог, Азья, Тугай-беев сын!

Пан Богущ пожал исхудалую руку татарина и пошел к двери, но на пороге приостановился и сказал:

— Как же так?... Новые войска на службе Речи Посполитой... меч над казацкой шеей... Дорош усмирен... в Крыму раздоры... турецкая мощь подорвана... конец набегам на Руси... Боже правый!

И с этими словами ушел, а Азья, поглядев ему вслед, прошептал:

— А у меня — бунчук, булава и... любой ценой — она! А то горе вам!

После чего допил остававшуюся в кружке горелку и бросился на покрытый шкурами топчан, стоявший в углу горницы. Огонь в очаге погас, зато в окошко заглянул ясный месяц, высоко уже поднявшийся в холодное зимнее небо.

Азья несколько времени лежал недвижно, но, видно, заснуть не мог. Наконец он встал, подошел к окну и загляделся на месяц, плывущий, словно одинокий корабль, по бескрайней и пустынной небесной равнине.

Долго смотрел на него молодой татарин, потом поднес к груди сжатые кулаки, поднял вверх оба больших пальца, и с уст его, лишь час назад с благоговением произносивших имя Христово, сорвалась не то песня, не то протяжная печальная молитва:

— Ляха иль алла, ляха иль алла, Магомет россула!..

ГЛАВА XXIX

А Бася на следующий день спозаранку призвала мужа и пана Заглобу на совет, дабы решить, как соединить два разлученных любящих сердца. Мужчины посмеялись над ее горячностью, но, поскольку привыкли, словно избалованному ребенку, во всем ей уступать, подразнив немного, пообещали свою помощь.

— Лучше всего, — сказал Заглоба, — уговорить старого Нововейского, чтоб не брал девки с собой в Рашков: мол, и холода на носу, и дорога не везде безопасна; а молодые здесь будут постоянно видаться и по уши друг в дружку влюбятся.

— Отличная мысль! — воскликнула Бася.

— Отличная не отличная, — ответил Заглоба, — но и ты своим чередом с них глаз не спускай. Ты баба и, думаю, в конце концов их сведешь — баба всегда, чего хочет, добьется; гляди только, как бы и сатана, воспользовавшись оказией, не добился своего. А то потом стыда не оберешься...

Бася зафыркала, как кошка, и сказала:

— Ты, сударь, похваляешься, что смолоду турком был, и думаешь, будто всякий турок... Азья не такой!

— Он не турок, а татарин. А ты тоже хороша! За татарские чувства вздумала ручаться!

— Им бы горькую свою печаль в слезах излить — ни о чем другом ни он, ни она и не помышляют... Да и Эва сама добродетель!

— Только физиономия у нее какая-то такая... будто на лбу написано: «Нате, целуйте!» У-у! Огонь девка! Я вчера приметил: стоит за столом напротив пригожему молодцу оказать, у ней в груди точно мехи раздуваться начинают — тарелка ходуном ходит, то и дело надо к себе придвигать. Сущая бесовка, уж поверь мне!

— Ты что, сударь, хочешь, чтобы я ушла?

— Никуда ты не уйдешь, коли о сватовстве речь зашла! Не уйдешь, мы тебя знаем! Впрочем, не рановато ли свахой заделалась — это для почтенных матрон занятие. Пани Боская мне вчера сказала, что, когда увидела тебя после похода в шароварах, подумала, сынок пани Володыёвской за оградой верховой езде обучается. Неохота тебе остепеняться, да и где уж такой малявке степенной быть. Истинный сорванец, клянусь честью! Нет, не тот нынче прекрасный пол. В мое время сестра ваша на лавку сядет, а лавка ну визжать — подумаешь, кто собаке на хвост наступил, ты ж на коте верхом без седла можешь ездить, он и не запыхается... А еще говорят, женщины, которые сватовством увлекаются,

потомства не будут иметь.

— Неужто вправду так говорят? — встревоженно спросил маленький рыцарь.

Но Заглоба расхохотался, а Бася, прижавшись своей розовой щекой к щеке мужа, сказала, понизив голос:

— Ой, Михалек! Съездим как-нибудь в Ченстохову, поклонимся чудотворной иконе, может, божья мать нашим мольбам внемлет!

— Верно, это наилучший способ, — одобрил Заглоба.

Супруги расцеловались, после чего Бася сказала:

— А теперь подумаем, как помочь Азье и Эвуне. Нам хорошо, пусть и им хорошо будет!

— Будет им хорошо, как только Нововейский уедет, — сказал маленький рыцарь. — При нем они видаться не смогут, к тому же Азья старика ненавидит. Но если б тот ему дочку отдал, может, позабыв давние обиды, они бы стали в мире жить, как тестю с зятем пристало. Я полагаю, сейчас главное не молодых сводить — они, похоже, друг дружку любят, — а уломать старика.

— Бесчувственный он человек, — сказала пани Володыёвская.

На что Заглоба возразил:

— А представь себе, Баська, что у тебя есть дочь и надо ее за какого-то татарина отдавать? Ну что?

— Азья — князь! — ответила Бася.

— Не спорю, Тугай-беев род знатный, но возьми такой пример: Гасслинг хоть и был дворянин, а ведь Крыся Дрогоёвская не пошла б за него, не имей он нашего шляхетского званья.

— Так позаботьтесь, чтоб и Азья его получил!

— Легко сказать! Даже если кто согласится разделить с ним свой герб, таковое волеизъявление должен сейм подтвердить, а для того нужно время и протекция.

— Время — это хуже, а протекция бы сыскалась. Уж наверно бы пан гетман Азье в поддержке не отказал — он в отважных воинах души не чает. Михал! Пиши гетману! Что тебе нужно: чернила, перо, бумага? Пиши не откладывая! Сейчас я тебе все принесу, и свечу, и печать, а ты сядешь и напишешь без промедленья!

Володыёвский только засмеялся:

— Господь всемогущий! Я у тебя просил жену степенную и рассудительную, а ты мне что дал? Ветер!

— Смейся, смейся, а я возьму, да навсегда утихну!

— Типун тебе на язык! — поспешно воскликнул маленький рыцарь. — Не бывать тому! Тьфу, тьфу, не сглазить! — И обратился к Заглобе: — Может, ты, сударь, знаешь какие слова против сглазу?

— Знаю и уже все, что надо, сказал! — ответил Заглоба.

— Пиши! — закричала Бася. — Не доводи меня до исступленья!

— Я б и двадцать писем написал, лишь бы тебе угодить, да будет ли от этого толк? Здесь сам гетман бессилен, и протекции он раньше времени оказать не сможет. Милочка ты моя, панна Нововейская тебе открылась — прекрасно! Но ведь с Азьей ты еще не говорила и пока не знаешь, отвечает ли он Нововейской взаимностью.

— Ого! Не отвечает! Как же не отвечает, когда он ее в сенях поцеловал! Ну что?

— Золотце мое! — воскликнул со смехом Заглоба. — Ты у нас словно только-только на свет родилась, разве что язычком болтать уже научилась. Голубушка, да если б мы с Михалом хотели жениться на всех, кого целовать доводилось, нам бы пришлось спешно магометанскую веру принять и мне сделаться падишахом, а ему — крымским ханом! Что, Михал, не так разве?

— Михала я один раз заподозрила, еще когда он моим не был! — сказала Бася. И, грозя мужу пальчиком, затараторила шутливо: — Шевели усами, шевели! Не отопрешься! Знаю, знаю! И ты знаешь!.. У Кетлинга!..

Маленький рыцарь и вправду шевелил усами — отчасти для куражу, отчасти чтобы скрыть смущение. Наконец, желая перевести разговор на другую тему, он сказал:

— И все-таки точно ты не знаешь, влюблен ли Азья в Нововейскую?

— Погодите, я его призову к себе и выпрошу с глазу на глаз. Да влюблен он! Должен быть влюблен. Иначе я знать его не хочу!

— Ей-богу, она готова молодца уговорить! — сказал Заглоба.

— И уговорю! Да я хоть каждый день одно и то же буду твердить.

— Сперва ты у него все выпытай, — сказал маленький рыцарь. — Возможно, он сразу не признается — дикарь ведь. Но это не беда! Помалу войдешь к нему в доверие, лучше его узнаешь, поймешь — тогда и решай, что делать.

Тут маленький рыцарь обратился к Заглобе:

— Она лишь кажется простушкой, а на самом деле ох как шустра!

— Шустрые козы бывают! — назидательно заметил Заглоба.

Дальнейший их разговор прервал пан Богуш, который, влетевши пулею и едва поцеловав Басю руку, начал кричать:

— Чтоб этого Азью черти драли! Я всю ночь глаз не сомкнул, разрази его гром!

— В чем же Азья пред твоей милостью провинился? — спросила Бася.

— Хотите знать, что мы вчера делали?

И Богуш, вытаращив глаза, обвел всех троих взором.

— Что?

— Историю творили! Видит бог, я не вру! Историю!

— Какую историю?

— Речи Посполитой. Он — великий человек. Сам пан Собеский диву дастся, когда я ему Азьевы проекты изложу. Просто великий человек, ваши милости, повторяю. Жаль, больше не могу сказать, — вы бы тоже рты поразевали, как я вчера. Одно лишь скажу: если задуманное ему удастся, он бог весть как высоко залетит!

— Например? — спросил Заглоба. — Гетманом станет?

Богуш упер руки в бока.

— Так точно! Станет гетманом! Эх, жаль, не могу больше сказать... гетманом станет, и баста!

— Собачьим, что ли? Аль за волами будет ходить? У чабанов тоже свои гетманы имеются! Тьфу! Чепуху ты, сударь, пан подстолий, городишь... Он — Тугай-беевич, согласен! Но коли ему предстоит гетманом стать, то кем же я стану, кем станет пан Михал, да и ты сам, любезный сударь? Не иначе, как после рождества сделаемся тремя волхвами, подождавши отречения Каспара, Мельхиора и Бальтазара. Меня, правда, шляхта прочила в региментарии — я только по дружбе это звание пану Павлу *«Речь идет о Павле Сапеге, воеводе виленском и великом литовском гетмане. (Примеч. автора.)»* уступил, — но твои, сударь, предсказания, убей меня бог, не укладываются в голове!

— А я твоей милости повторяю, что Азья — великий человек!

— Говорила я! — воскликнула Бася, оборачиваясь к дверям, — на пороге в ту минуту как раз показались остальные гости.

Первыми вошли пани Боская с синеглазой Зосей, а за ними Нововейский с Эвкой, которая после почти бессонной ночи выглядела еще свежей и прельстительней, чем обыкновенно. Спала она тревожно, в дивных сновидениях представал пред нею Азья, который был еще более красив и настойчив, нежели прежде. У Эвы при воспоминании об этих снах кровь бросалась в лицо: ей казалось, каждый может легко все прочитать в ее глазах.

Но никто не обращал на нее внимания: все стали здороваться с супругою коменданта, и тут же пан Богуш наново принялся рассказывать, сколь велик Азья и для каких великих дел предназначен, а Бася радовалась, что и Эва, и Нововейский это слышат.

Старый шляхтич, впрочем, успел поостыть после первой встречи с татаринном и держался гораздо спокойнее. И холопом своим больше того не называл. По правде говоря, открытие, что Азья — татарский князь и сын Тугай-бея, и на него произвело сильное впечатление. Теперь он, затаив дыхание, слушал рассказы о необычайной отваге молодого татарина и о том, что сам гетман

поверил ему столь важную миссию, как возвращение на службу Речи Посполитой всех липеков и черемисов. Порой даже Нововейскому казалось, что речь идет о ком-то другом, — так вырастал в его глазах Азя, превращаясь в личность поистине необыкновенную.

А Богуш все повторял с таинственным видом:

— Это еще пустяки в сравнение с тем, что его ждет, только об этом говорить нельзя!

Когда же кто-то с сомнением покачал головой, крикнул:

— Двое есть великих людей в Речи Посполитой: пан Собеский и этот Тугай-беевич!

— Боже милостивый, — сказал в конце концов, потеряв терпение, Нововейский, — князь не князь, только кем же он может стать в Речи Посполитой, не будучи шляхтичем? Шляхетской грамоты у него пока не имеется.

— Пан гетман ему десять таких грамот выправит! — воскликнула Бася.

Эва слушала эти восхваления с полузакрытыми глазами и бьющимся сердцем. Трудно сказать, заставил ли бы так горячо биться ее сердечко бедный и безвестный Азя, как это сделал Азя-рыцарь и в будущем великий человек. Но блеск его славы покорила панну Нововейскую, а от давних воспоминаний о поцелуях и недавних снов девичье тело сотрясала сладкая дрожь.

«Великий, знаменитый? — думала Эва. — Не диво, что горяч, как пламень».

ГЛАВА XXX

В тот же день Бася принялась выпытывать татарина. Следуя совету мужа и предупрежденная о диком нраве Азьи, она хотела начать издалека. Но едва он встал перед нею, тотчас все и выложила:

— Пан Богуш говорит, что ты, сударь, из знатных, но я полагаю, что и наизнатнейшему любить не заказано.

Азья прикрыл глаза, склонил голову.

— Твоя правда, вельможная пани! — сказал он.

— С сердцем оно ведь так: раз, и готово!

Бася тряхнула светлыми вихрами, заморгала, всем своим видом показывая, что она и сама-де в этих делах знает толк и надеется, что перед ней человек с пониманием.

Азья вскинул голову, охватил взглядом прелестную ее фигурку, никогда еще не виделась она ему столь обворожительной: румяное детское личико, повернутое к нему, сияло улыбкой, глаза излучали оживление и любопытство.

Но чем невиннее она казалась, тем соблазнительней была, тем сильнее вождедел ее Азья; он упивался страстью, как вином, отдаваясь одному желанию — выкрасть ее у мужа, похитить, удержать навечно у своей груди, руки ее сплетенные чувствовать на шее — и любить, любить до помрачения, пусть бы пришлось и погибнуть самому или с нею вместе.

От мысли такой все закружилось у него перед глазами; новые желания повывползали из пещер души, как змеи из горных расщелин; но то был человек железной воли, и он сказал себе: «Не время еще» — и держал свое дикое сердце в узде словно необъезженного коня.

Он стоял перед нею с холодным лицом, хотя губы и глаза его горели, и бездонные зеницы выражали то, о чем молчал стиснутый рот.

Но Баська — душа ее была чиста, как вода в роднике, да и мысли совсем иным заняты — вовсе не понимала той речи; она думала, что бы такое еще сказать татарину, и, наконец, поднявши пальчик, изрекла:

— Бывает, таит человек в сердце чувство и не смеет открыться, а признайся он, глядишь, что-то приятное узнал бы.

Лицо у Азьи потемнело; безумная надежда сверкнула молнией, но он тотчас опомнился и спросил:

— Это о чем ты, вельможная пани?

А Бася на это:

— Другая бы не стала церемониться, в женщинах ведь ни тебе терпения, ни благоразумия, да я не таковская, помочь я бы охотно помогла, но конфиденции сразу не требую; одно сажу: ты, сударь, не таись, а приходи ко мне хотя бы и всякий день, я уж и с мужем уговорила. Мало-помалу пообвыкнешь и то поймешь, что я добра тебе желаю, и что выпрашиваю не из праздного любопытства, а только из сострадания, а коль скоро помочь хочу, то в твоих, сударь, чувствах должна быть уверена. Впрочем, тебе первому обнаружить их должно; мне признаешься, и я, может, кое-что скажу.

Сын Тутай-бея тотчас уразумел, сколь тщетной была надежда, блеснувшая в мозгу его, догадался, что речь шла об Эве Нововойской, и проклятия всему семейству, годами копившиеся в мстительной душе татарина, уже готовы были сорваться с его уст. Ненависть пламенем вспыхнула в нем, тем большая, что минутою ранее его тешило совсем иное чувство. Но он тотчас овладел собой. Не только силой воли обладал Азья, но и восточным коварством тоже. И потому сообразил мгновенно, что, брызнув ядом на Нововойских, он утратит расположение Баси и всякую возможность видаться с нею; с другой стороны, он не в силах был превозмочь себя — сейчас, по крайней мере — и против воли солгать любимой, будто он любит другую.

Испытывая душевное смятение и непритворные муки, он припал вдруг к Басиным ногам и так сказал:

— Препоручаю душу свою вашей милости; ничего иного не желаю и знать не хочу, кроме того, что вы мне велите! Делайте со мною что вам угодно! В муках и скорби пребываю я, несчастный! Сжальтесь надо мною! Пусть бы пришлось даже голову сложить!

И он застонал, ощутив боль безмерную. Сдерживаемая страсть жгла его огнем. А Бася сочла слова эти вспышкой долго и мучительно скрываемой любви его к Эве, и стало ей жалко юношу до слез.

— Встань, Азья, — обратилась она к коленопреклонному татарину. — Я всегда желала тебе добра и теперь от всей души хочу тебе помочь; в жилах твоих течет благородная кровь, за заслуги твои, я полагаю, в шляхетстве тебе не откажут, пана Нововойского удастся умолить, он уже иными глазами смотрит на тебя, ну а Эвка...

Тут Бася поднялась с лавки, обратила к Азье свое розовое улыбающееся личико и, встав на цыпочки, шепнула ему на ухо:

— Эвка тебя любит!

У Азьи лицо перекошилось — от ярости, как видно; схватившись обеими руками за чуб и позабыв о том, какое изумление может это вызвать, он хрипло крикнул:

— Алла! Алла! Алла!

И выбежал из комнаты.

Бася проводила его взглядом; восклицание Азьи не слишком ее удивило, она слыхивала его и от польских солдат, но, увидев, как вспылчив молодой татарин, она сказала себе: «Чисто огонь, с ума по ней сходит!»

И опрометью помчалась обо всем поведать мужу, Заглобе и Эве. Володыёвского она застала в канцелярии, занятого реестром хоругвей хрептевской крепости. Он сидел и писал, когда она вбежала к нему и крикнула:

— Знаешь, я говорила с ним! Он упал к моим ногам! Ну прямо с ума по ней сходит!

Маленький рыцарь отложил перо и стал смотреть на жену. Она была оживлена и так хороша собою, что глаза его блеснули, зажглись смехом, руки потянулись к ней, она же, словно противясь, повторила:

— Азья с ума по Эвке сходит!

— Как я по тебе! — ответил маленький рыцарь, обнимая ее.

В тот же день и Заглоба, и Эва Нововойская во всех подробностях знали об ее разговоре с татаринком. Девичье сердце предалось сладким мечтам, молотом стучало при мысли о первом свидании, а еще более при мысли о том, что будет, когда со временем им случится с глазу на глаз остаться. Эва уже видела смуглое лицо Азьи у своих колен, ощущала поцелуи на своих руках, ее охватывало томленье... Вот девичья головка клонится на плечо любимого, уста шепчут: «И я люблю...»

А пока, млея и трепеща, она порывисто целовала Басины руки, то и дело поглядывая на дверь: не мелькнет ли там мрачное, но прекрасное лицо Тугай-беевича.

Азья, однако, не показывался в крепости — к нему явился Халим, давний слуга его родителя, а ныне известный добруджский мурза.

На этот раз явился он открыто; в Хрептеве знали уже, что он посредник меж Азьей и ротмистрами тех липеков и черемисов, что перешли нынче на службу к султану. Оба заперлись на квартире у Азьи, и Халим, отбив причитающиеся Тугай-беевичу поклоны, ожидал вопросов, скрестив руки на груди и склонив голову.

— Письма есть? — спросил его Азья.

— Нет, эфенди. Все велели передать на словах!

— Так говори же!

— Война неизбежна. Весной надлежит всем нам под Адрианополь идти. Болгарам приказано уже сено и ячмень туда свозить.

— А хан где будет?

— Хан через Дикое Поле прямо на Украину к Дорошу направится.

— Что в стане слышать?

— Войне все рады, весны ждут не дождутся — нужда нынче в стане, хотя зима только началась.

— Нужда, говоришь?

— Лошадей пало гибель. В Белгороде нашлись даже охотники в неволю уйти, лишь бы как-то до весны продержаться. Лошади попадали оттого, эфенди, что осенью трава в степи была чалая. Солнцем ее пожгло.

— А о сыне Тугай-бея слышали?

— Лишь то, что ты мне говорить дозволил. Весть ту разнесли липеки и черемисы, однако правды никто толком не знает. И еще слух пошел, будто Речь Посполитая волю и землю даст им и на службу призовет под начало сына Тугай-беева. Вот и всполошились улусы, что победнее. Хотят, эфенди, ох хотят! А другие толкуют, будто пустое это, будто Речь Посполитая войско против них вышлет, а Тугай-беева сына никакого и нету вовсе. Еще были у нас купцы из Крыма, и там то же; одни уверяют: «Объявился сын Тугай-бея» — и бунтуются, а другие «нету» твердят и тех удерживают. Но кабы весть разнеслась, что ваша милость на службу зовет, землю и волю сулит, полчища бы двинулись... Только сказать дозвоьте...

Лицо Азьи прояснилось от удовольствия, большими шагами меряя комнату, он сказал:

— Будь благословен под моей крышей, Халим! Садись и ешь!

— Я верный пес твой и слуга, — ответил старый татарин.

Азья хлопнул в ладоши, на знак его вошел денщик и по его приказу тотчас принес еду: горелку, вяленое мясо, хлеб, сласти и несколько пригоршней сушеных арбузных семечек, излюбленного, как и семечки подсолнуха, лакомства татар.

— Ты друг мне, а не слуга, — сказал Азья, когда денщик вышел, — будь благословен, ибо ты приносишь добрые вести: садись и ешь!

Халим с живостью принялся за еду, и, пока не кончил, они не обменялись ни словом; подкрепившись, Халим стал следить глазами за Азьей, ожидая, когда тот заговорит.

— Здесь уже знают, кто я, — сказал наконец Тугай-беевич.

— И что же, эфенди?

— А ничего. Только больше уважать стали. Все равно я должен был открыться, когда б до дела дошло. А оттягивал потому, что вестей из орды ожидал, хотелось, чтобы гетману прежде других стало обо мне все известно, но приехал Нововейский и узнал меня.

— Молодой? — с тревогой спросил Халим.

— Не молодой, старый. Аллах их всех пригнал сюда, и девку тоже. Шайтан их побери. Только бы гетманом стать, уж натешусь я ими. Девку сватают мне, ну да ладно! В гареме тоже нужны невольницы!

— Старый сватает?

— Нет... Она!.. Она полагает, я ту люблю!

— Эфенди! — с поклоном сказал Халим. — Я раб дома твоего и не дерзаю пред тобою слово молвить, но я меж липеками тебя сразу признал, я под Брацлавом открыл тебе, кто ты, и с той поры верно тебе служу; я и другим сказал, чтоб за господина тебя почитали, но, хотя все они тебе преданы, никто не любит тебя так, как я; дозволено ли мне будет слово молвить?

— Молви.

— Маленького рыцаря остерегайся. Страшен он, в Крыму и в Добрудже знаменит.

— А слышал ли ты, Халим, о Хмельницком?

— Слышал, я у Тугай-бея служил, а он с Хмельницким войной на ляхов хаживал, замки рушил, добычу брал...

— А знаешь ли ты, что Хмельницкий у Чаплинского жену похитил и себе в жены взял и детей с нею прижил? И что же? Была война, и никакое войско, ни гетманское, ни королевское, ни Речи Посполитой не сумело ее у него отнять. Он и гетманов одолел, и короля, и Речь Посполитую, оттого что отец мой ему помог, да к тому же был он казацкий гетман. А я кем стану? Татарским гетманом. Земли мне должны много дать и город за столицу, а вкрут того города улусы вырастут на богатой земле, а в улусах статные молодцы ордынцы с саблями — много луков и много сабель! А как я ее в город мой мыкну и женой ее, красавицу, гетманской женою назову, на чьей стороне будет сила? На моей! Кто ее у меня отымет? Маленький рыцарь!.. Если уцелеет!.. И пускай бы даже он уцелел и волком был и к самому королю ходил с челобитной, ты что полагаешь, они войну против меня начнут из-за одной русой косы? Была уж у них такая война, половина Речи Посполитой сгорела в огне. Кто против меня пойдет? Гетман? А я с казаками соединюсь, Дорошу побратимом стану, а землю султану отдам. Я второй Хмельницкий, я посильнее Хмельницкого, лютый лев я! Коли позволят мне взять ее, я стану служить им, казаков бить и хана бить и султана, а нет — весь Лехистан конскими копытами истопчу, гетманов заберу в полон, войско изрублю, города спалю огнем, людей истреблю, не будь я Тугай-беев сын, я лев!..

Глаза у Азьи загорелись красным огнем, белые клыки сверкнули, как некогда у Тугай-бея; вознеся руку, он погрозил ею в сторону севера, и велик он был, и страшен, и прекрасен, так что Халим

принялся торопливо бить ему поклоны, едва слышно приговаривая:

— Аллах керим! Аллах керим!

Долго длилось молчание; Тугай-беевич постепенно успокоился и наконец сказал:

— Богуш сюда приезжал. Я ему открыл свое могущество и предложил, чтобы на Украине, бок о бок с казаками, татары поселились, а подле гетмана казацкого чтобы гетман татарский был.

— И что он, согласен ли?

— Он за голову схватился и только что челом мне не бил, и на другой же день к гетману поспешил с радостной вестью.

— Эфенди, — робок проговорил Халим, — а что, если Великий Лев не пойдет на это?

— Собеский?

— Да.

Глаза Азьи полыхнули пламенем, но тут же и погасли. Лицо стало спокойным. Он уселся на лавку и, подперев голову руками, глубоко задумался.

— Я уж и так и этак умом раскидывал, — сказал он наконец, — что великий гетман ответит, получив от Богуша столь радостную весть. Гетман умный, он согласится. Гетману известно, что весною начнется война с султаном, на которую у Речи Посполитой ни денег нет, ни людей, а Дорошенко с казаками на стороне султана, и Лехистану воистину гибель грозит, тем паче что ни король, ни шляхта в войну не верят и не спешат к ней готовиться. Я тут в оба гляжу, все знаю, да и Богуш не таит от меня, что говорят при дворе у гетмана. Пан Собеский великий муж, он согласится, оттого что знает — коли татары сюда придут за землей и волей, то в Крыму и в добруджских степях усобица может начаться, а тогда мощь ордынская ослабнет и султану придется думать, как смуте конец положить... Гетман меж тем выиграет время, чтобы получше к войне подготовиться, а казаки с Дорошем призадумаются — так ли уж стоит хранить верность султану. Только это может спасти Речь Посполитую, которая так ослабла, что и несколько тысяч назад воротившихся липеков нынче для нее сила. Гетману это известно, гетман умный, он согласится...

— Преклоняюсь пред мудростью твоею, эфенди, — ответил Халим, — но что, если аллах затмит разум Великого Льва или шайтан так ослепит его гордыней, что он отвергнет твои замыслы?

Азья приблизил хищное свое лицо к уху Халима и зашептал:

— Ты останься здесь, пока не придет ответ от гетмана, а я до той поры в Рашков не двинусь. Коли он отвергнет мои замыслы, я пошлю тебя к Крычинскому и прочим. Ты им передашь мой приказ, чтобы они сюда, под самый Хрептев, подошли тем бере-

гом и были бы в готовности, а я тут с моими татарами в одну прекрасную ночь ударю на гарнизон и такое им учиню, ого!

Азья провел рукой по шее и прибавил:

— Кесим! Кесим! Кесим!

Халим спрятал голову в плечи, и на зверином лице его появилась злобная ухмылка.

— Алла. И Маленькому Соколу... да?

— Да! Ему первому!

— А после в султанские земли?

— Да!.. С нею!..

ГЛАВА XXXI

Лютая зима укрыла лес толщей плотного снега, доверху завалила овраги, так что весь край стал однообразной снежной равниной. Замели вдруг сильные метели, погребая под снежным саваном людей и целые стада, дороги сделались опасны, и все же Богуш спешил что есть мочи в Яворов, чтобы поскорее открыть гетману великие замыслы Азьи.

Шляхтич родом из пограничья, воспитанный в постоянном страхе перед казацкими и татарскими набегами, озабоченный мыслью об опасности, которой грозят отчизне бунты, нашествия и несметная сила турецкая, Богуш усматривал в этих замыслах чуть ли не путь к спасению отчизны, свято верил, что боготворимый им, равно как и всеми жителями окраин, гетман не колеблясь одобрит их, коль скоро дело идет об усилении Речи Посполитой, и, несмотря на пургу, бездорожье и снежные заносы, он спешил, чуя радость в своем сердце.

В Яворов он нагрязнул в воскресенье как снег на голову и, застав там, по счастью, гетмана, велел тотчас доложить о себе, хотя его предупредили, что гетман денно и ночью занят экспедициями и писанием писем, так что даже поесть ему недосуг. Гетман, как ни странно, велел немедленно его позвать. И вот, обождав немного среди свитских, старый солдат склонился к ногам своего военачальника.

Он нашел гетмана сильно изменившимся и озабоченным — то был, пожалуй, самый тяжкий период в жизни Собеского. Имя его не гремело еще по всему христианскому миру, но в Речи Посполитой он уже прослыл великим полководцем и грозным победителем басурман.

Благодаря такой славе ему и доверили в свое время булаву великого гетмана и защиту восточных границ, но к гетманскому званию не добавили ни войска, ни денег. И все же победа до сей поры сопутствовала ему, как тень. С горстью войска одержал он победу у Подгаец, с горстью войска прошел вдоль и поперек Украину, в порошок стирая многотысячные чамбулы, захватывая мятежные города, сея ужас и страх перед польским оружием. Нынче, однако, над несчастной Речью Посполитой нависла угроза войны с могущественнейшим из тогдашних противников — со всем мусульманским миром. Не было уже тайной для Собеского, что когда Дорошенко отдал султану Украину и казаков, тот пообещал ему всколыхнуть всю Турцию, Малую Азию, Аравию, Египет, самые глубины Африки, пойти священной войной на Речь Посполитую за новым пашалыком. Гибель хищной птицей нависла

надо всею Русью, а в Речи Посполитой тем временем царил разлад, шляхта бурно выступала в защиту беспомощного своего ставленника и, собираясь в вооруженные лагеря, готова была разве что к войне усобной. Опустошенная недавними войнами и военными конфедерациями страна оскудела; зависть подстрекала, взаимное недоверие бредило сердца. Никто не хотел верить в войну с магометанскими полчищами, и великого полководца обвиняли в том, что он умышленно распускает слухи о ней, дабы отвлечь умы от дел внутридержавных; были и еще более жестокие обвинения: будто бы он готов даже турков позвать, лишь бы обеспечить победу своей партии; его попросту обвиняли в предательстве и, кабы не войско, без колебаний учинили бы над ним суд и расправу.

Он же перед лицом предстоящей войны, зная, что с востока вот-вот двинется тьма-тьмущая дикого люда, стоял почти что без войска — у султана одних слуг было больше, — без денег, без средств на оснащение разоренных крепостей, без надежды на победу, без возможности обороняться, даже без веры в то, что смерть его, как некогда смерть Жолкевского, пробудит оцепеневшую страну, разбудит мстителя. И оттого забота омрачила прекрасное его лицо, подобное лицу римского триумфатора, венчанного лаврами, и явственны были на нем следы тайных мук и бессонных ночей.

Однако же при виде Богуша добродушная улыбка осветила черты гетмана; он положил руки ему на плечи и сказал:

— Добро пожаловать, солдат! Не надеялся я на скорую нашу встречу, но тем отрадней видеть тебя в Яворове. Откуда путь держишь? Из Каменца?

— Нет, ваша светлость. В Каменец я и не заезжал, прямо из Хрептева сюда.

— Что там мой солдатик поделывает? Здоров ли, очистил хотя бы немного ушицкие пуци?

— В пуцах нынче так спокойно, что и ребенку малому не боязно туда ходить. Бандитов всех перевешали, а недавно Азба-бей со всей ватагою наголову разбит, так что никого в живых не осталось. Я был там, когда его уничтожили.

— Узнаю Володыёвского. Разве только Руциц из Рашкова может с ним сравниться. А что там в степях слыхать? Есть ли вести с Дуная?

— Есть, да плохие. В Адрианополе к концу зимы большой congressus войска ожидается.

— Знаю. Нынче никаких вестей, кроме плохих: что из Польши, что из Крыма, что из Стамбула.

— А вот и нет, ваша светлость, сам я с такой счастливой вестью пожаловал, что, будь я турок или татарин, непременно бакшиш бы потребовал.

— Да ты словно с неба ко мне свалился! Ну не томи же, говори поскорее, рассеяй печаль!

— Я же промерз, ваша милость, мозги заостенели.

Гетман хлопнул в ладоши и велел челядинцу нести мед. Вскоре тот принес замшелую сулейку и светильники с зажженными свечами — хотя и рано еще было, но день из-за снеговых туч стоял хмурый, и на дворе и в комнатах словно воцарились сумерки.

Гетман налил меду и чокнулся с гостем, а тот земно поклонился, опрокинул чару и так сказал:

— Вот она первая новость: Азья, коему велено было ротмистров татарских обратно сюда к нам на службу привлечь, не Меллехович вовсе, а сын Тугай-бея!

— Тугай-бея? — с удивлением переспросил Собеский.

— Да, ваша светлость. Открылось, что пан Ненашинец еще ребенком его из Крыма похитил, да по дороге потерял, и Азья попал к Нововейским и рос у них, не подозревая, кто его отец.

— Станным представлялось мне, что он, совсем еще молодой, таким уважением пользуется у татар. А теперь оно и понятно: и казаки, даже те из них, что остались отчизне верными, Хмельницкого чуть ли не святым почитают и гордятся им.

— Вот-вот! Я то же Азье говорил! — вставил Богуш.

— Неисповедимы пути господни, — помолчав, сказал гетман, — старый Тугай-бей реки крови пролил на нашей земле, а молодой служит ей, по крайности, до сих пор верой и правдой служил. Нынче, кто знает, не захочет ли он в Крыму вкусить власти.

— Нынче? Да нынче он еще верней служить станет — это и есть вторая моя новость, которая, может статься, даст надежду истерзанной Речи Посполитой силу обрести и выход и путь к спасению. Да поможет мне бог, — как помог ради этой новости пренебречь всеми трудностями и опасностями пути, — поскорее вам ее выложить и тем утешить озабоченное сердце вашей милости.

— Слушаю со вниманием, — сказал Собеский.

Богуш принялся с такою страстью излагать замыслы молодого Тугай-беевича, что стал воистину красноречив. Время от времени он дрожащей от волнения рукою наливал себе чару меда, расплескивая через край благородный напиток, и все говорил, говорил...

Изумленному взору великого гетмана как бы представились, сменяя друг друга, светлые картины будущего: вот тысячи, десятки тысяч татар устремляются вместе с женами, детьми и стадами к земле и воле, казаки же, при виде этой новой силы Речи Поспо-

литой, устраненные, покорно бьют челом татарам, королю и гетману: нет больше бунтов на Украине, нет привычных опустошительных, как огонь или наводнение, набегов на Русь, зато бок о бок с войском польским и казацким рыщут по бескрайним степям под звуки дудок и барабанный бой чамбулы украинской шляхты — татарские чамбулы.

Год за годом тянутся веренищею арбы — несчетный народ, вопреки воле хана и султана, предпочел право и свободу притеснению, украинский чернозем и хлеб прежней голодной доле... Давешняя вражья сила пошла служить Речи Посполитой — Крым обезлюдел; из рук хана и султана ускользает давняя мощь, и страх овладел ими, ибо со стороны степей Украины грозно глядит им в очи новый гетман новой татарской шляхты, вечный страж и защитник Речи Посполитой, прославленный сын страшного отца — молодой Тугай-бей.

Румянец выступил на лице у Богуша: казалось, он упивается собственными речами, наконец, воздев руки, он вскричал:

— Вот что привез я! Вот что этот отпрыск драконов высидел в хрептевских лесах! А теперь ему надобно только письмо и дозволение вашей светлости, чтобы бросить клич в Крыму и на Дунае! Ваша светлость! Кабы сын Тугай-бея ничего более не совершил, а только посеял раздоры в Крыму и на Дунае, всех бы там перессорил, разбудил гидру усобицы, одни улусы вооружил бы против других, то и этим он в преддверье войны, в преддверье войны, повторяю, оказал бы великую, неоценимую услугу Речи Посполитой!

Собеский молчал и большими шагами мерил комнату. Прекрасное лицо его было мрачно, даже грозно; он ходил и, вероятно, вел в душе беседу — с собой ли, с богом ли — неведомо.

Наконец великий гетман словно разорвал в душе своей некую страницу и обратился к говорившему со словами:

— Богуш, я такого письма и такого изволения, хоть бы и имел на то право, покуда жив, не дам!

Слова эти обрушились на Богуша и тяжестью своей так его придавили, будто были отлиты из железа или жидкого свинца. Он даже на мгновение онемел, опустил голову и после долгого молчания пробормотал:

— Но отчего, ваша светлость, отчего же?...

— Сперва отвечу тебе как политик: имя сына Тугай-бея и в самом деле, *certus quantum* «Несомненно (лат.)», могло бы привлечь татар, кабы при этом им были обещаны земля, воля и шляхетские привилегии. Хотя пришло бы их сюда все же не столь много, сколь ты вообразил. Но главное — то был бы безумный поступок: татар на Украину звать, новый народ там селить, когда

мы с казаками покамест не в силах управиться. Ты говоришь, меж ними тотчас пошли б ссоры да раздоры, меч бы приставили к шее казацкой, а кто поручится, что меч тот и польской кровью бы не обагрился? Я этого Азью до сей поры не знал, а теперь вижу: живет в груди его змий честолюбия и гордыни, оттого и спрашиваю: кто поручится, что не сидит в нем второй Хмельницкий? Он станет бить казаков, однако, не угоди ему однажды Речь Посполитая иль пригрози она ему за какой-либо дерзкий поступок законною карой, и он тотчас с казаками спознается, новые не-сметные полчища с востока призовет, подобно тому как Хмельницкий призвал Тугай-бея; перейдет на сторону султана, как Дорошенко перешел, и вместо усиления нашей мощи начнется новое кровопролитие и новые поражения нас постигнут.

— Ваша светлость! Татары, ставши шляхтичами, крепко будут держаться Речи Посполитой.

— Или литовских татар и черемисов мало было? Они давно уж шляхтичами стали, не оттого ли и перешли на сторону султана?

— Литовским татарам не всякий раз предоставлялись привилегии.

— А что, коли шляхта, а так оно и будет, решительно воспротивится такому расширению шляхетских прерогатив? Как честь и совесть тебе позволят диким этим и кровожадным толпам, кои дотоле непрестанно грабили нашу отчизну, дать силу и право решать ее судьбу, выбирать королей, на сейм посылать депутатов? За что им такая награда? Что за безумная мысль пришла тому татарину в голову и какой злой дух тебя, старый солдат, опутал, что ты дал сбить себя с толку и обмануть и уверовал в столь бесчестную и немыслимую затею?

Богуш опустил глаза и сказал робея:

— Ваша светлость, что шляхта воспротивится, то наперед я знал, да вот Азья говорит, что если татары с изволения вашей светлости сюда переселятся, то уж никакая сила отсюда их не изгонит.

— Человеке! Выходит, он уже и угрожал, и мечом потрясал над Речью Посполитой, а ты и не разобрался?

— Ваша светлость, — возразил в отчаянии Богуш, — можно бы на худой конец не всех татар шляхтою делать, разве что самых видных, остальных же провозгласить свободными людьми. Они и так на призыв Тугай-беевича откликнутся.

— А не лучше ли в таком-то случае всех казаков свободными людьми провозгласить? Окстись, старый солдат, ей-богу, злой дух в тебя вселился.

— Ваша светлость...

— И вот что еще скажу я тебе, — глаза Собеского сверкнули, — кабы даже все было по-твоему, и мощь наша могла бы возрасти, и войну с турками предотвратить бы удалось, и шляхта сама к тому призывала, доколе я могу держать этой вот рукой саблю и осенить себя крестом, — не бывать тому! Господь свидетель! Не допущу я до этого!

— Но отчего, ваша светлость? — ломая руки, спросил Богуш.

— Оттого, что я не только польский гетман, а и христианский тоже, я на страже креста стою! И хоть бы казаки еще жесточе терзали утробу Речи Посполитой, я головы ослепленного, но христианского народа басурманским мечом рубить не намерен. Ибо, учиняя сие, я бы отцам и дедам нашим, собственным предкам, праху их, крови, слезам, всей давней Речи Посполитой сказал бы: «Рака![48]» О боже! Пусть гибель нас ожидает, пусть именам нашим суждено стать именами почивших, но пусть же поминают нас вовеки в храме божием; и пусть потомки наши, глядя на кресты эти и могилы, скажут: «Они христианство и крест от нечестивых мусульман до последнего вздоха, до последней капли крови защищали и за другие народы души свои положили». Это наш долг, Богуш! Ведь мы же крепость, на стенах коей Христос знамя мук своих водрузил, а ты велишь мне, чтобы я, солдат божий, крепости той комендант, первым ворота отворил, поганных, как волков в овчарню, впустил и Иисусовых овечек на убой выдал?! Да уж лучше от чамбулов страдать и бунты сносить, на жестокую сечу лучше отправиться и полечь там и мне, и тебе, да что там, даже всей Речи Посполитой лучше уж погибнуть, нежели имя свое опозорить, славы лишиться и божью сторожевую службу нашу предать!

Произнеся это, выпрямился Собеский во всем своем величии, и лицо его сияло, как сияло, должно быть, лицо Готфрида Бульонского,[49] когда он с криком: «С нами бог!» — бросился на приступ Иерусалима. И Богуш после тех слов сам себе показался ничтожным, и Азья рядом с Собеским выглядел ничтожным, а пламенные замыслы молодого татарина почернели вдруг и предстали глазам Богуша бесчестными и вовсе низкими.

Да и что он мог ответить на слова гетмана, что лучше костями лечь, нежели изменить вере христианской? Какой еще привести довод? Бедный шляхтич не знал, что и делать, припасть ли к стопам гетмана, бить ли себя в грудь, вопия: «Mea culpa, mea maxima culpa!» *«Виноват, кругом виноват! (Лат.)»*

В этот момент зазвонили в ближнем доминиканском соборе.

Услышав это, Собеский сказал:

— К вечерне звонят! Пойдем, Богуш, воле божией вверимся!

ГЛАВА XXXII

Насколько спешил Богуш к гетману из Хрептева, настолько он не спешил обратно. В мало-мальски крупных городах задерживался на неделю, а то и на две, праздники провел во Львове, там же застал его и Новый год.

Он вез, правда, гетманские наставления Тугай-беевичу, но сводились они лишь к совету поскорее завершить переговоры с татарскими ротмистрами и сухому, даже грозному наказу отречься от великих замыслов, так что у Богуша не было причин торопиться: Азья со своими татарами ничего не мог предпринять, не имея на руках грамоты от гетмана.

И Богуш едва плелся, частенько сворачивая по пути в костелы и принося там покаяние за причастность свою к замыслам Азьи.

А Хрептев меж тем сразу же после Нового года наводнился гостями. Приехал из Каменца нвирак, посланец эчмиадзинского патриарха, с ним двое анардратов — мудрых теологов из Кафы, и многочисленные слуги. Солдаты дивились чудному их одеянию, фиолетовым и красным клобукам, длинным покрывалам из бархата и атласа, смуглым лицам и величавости, с какой вышагивали они подобно дрофам или журавлям по хрептевской крепости. Прибыл и Захарий Пиотрович, известный своими путешествиями в Крым и даже в самый Царьград, но еще более усердием, с каким отыскивал и выкупал он пленников на восточных базарах; он сопровождал нвирака и анардратов. Володыёвский тотчас отсчитал ему сумму, необходимую на выкуп пана Боского, а поскольку супруга его такими деньгами не располагала, то доложил и свои, и Бася потихоньку сунула туда жемчужные свои сережки, чтобы как-то помочь несчастной вдове и прелестной Зосе. Приехал и Сеферович, каменецкий претор, богатый армянин, у которого брат томился в татарском плену, и две дамы, Нересовичова и Керемовичова, обе молодые и пригожие, хотя и чернявые. Они хлопотали о своих плененных мужьях.

Были то гости по большей части печальные, но и в веселых не было недостатка: ксендз Каминский прислал в Хрептев на масленицу, под Басин присмотр, свою племянницу панну Каминскую, дочь звинигородского ловчего, а в один прекрасный день как с неба упал молодой Нововейский; проведавши о том, что отец его находится в Хрептеве, он тотчас же испросил разрешения у пана Рущица на встречу с родителем.

Молодой Нововейский сильно изменился за последние годы: верхнюю губу его заметно уже оттеняли не скрывавшие белых волчьих зубов закрученные кверху усики; он и прежде был дю-

жим молодцем, а нынче и вовсе стал исполином. Столь густые и буйные кудри только и могли расти на такой огромной голове, и под стать огромной голове были богатырские плечи. Загорелое, опаленное ветром лицо с глазами-угольями светилось молодым задором. В мощной ладони он легко мог упрятать крупное яблоко — угадай, мол, в какой руке? И в порошок обращал горсть орехов, крепко прижав их рукою к бедру.

Все в нем в силу пошло; сам стройный, поджарый, а грудь колесом. Подковы гнул, не слишком и натуживаясь. Прутья железные у солдат на шее завязывал и ростом выше казался, чем был в самом деле; под ногой у молодца доски трещали; заденет по случайности лавку — щепу собирай.

Словом, добрый был малый; жизнь, здоровье, удаль и сила хлопотали в нем, ровно кипятик в котле, даже в столь исполинском теле не умея вместиться. В голове и груди будто огонь играл, так что невольно хотелось взглянуть, не дымится ли часом шевелюра. А и вправду случалось ему напиваться в дым — к чарке был он привержен. На сражение шел со смехом — ржал что твой конь, а уж рубака такой был искусный, что солдаты на убитых им смотреть ходили — и диву давались.

Впрочем, с детства привыкший к степи и к бранной сторожевой жизни, он, несмотря на запальчивость, осмотрителен был и чуток, знал все уловки татар и после Володыёвского и Рущица слыл лучшим наездником.

Старик Нововейский, вопреки угрозам своим и посулам, принял сына не слишком сурово, боясь оттолкнуть, — ищи потом ветра в поле, еще одиннадцать лет не явится.

Самолюбивый шляхтич был, по сути, доволен сыном: в самом деле — денег из дому не берет, человек самостоятельный, среди рыцарей прославился, у гетмана милость заслужил и чин офицерский, чего не всякий и с протекцией сумел бы добиться. К тому же отец и то взял в рассуждение, что одичавший в степях и на войне молодец, может стать, не пожелает покориться отцовской воле, так чего ж и рисковать?

Сын же, хотя, как положено, припал к ногам родителя, смело глянул ему в глаза и без обиняков ответил на первые попреки.

— У вас, отец, на языке попреки, а в сердце радость за меня, оно и понятно, позора на вас я не навлек, а что в хоругвь сбежал, так на то и шляхтич.

— А может, басурман, — возразил старый, — одиннадцать лет в дом носа не казал.

— Не казал оттого, что кары боялся, она не сообразна была бы с чином и с честью моей офицерской. Все ждал письма с отпущением грехов. Письма не было, ну и меня не было.

— А нынче кары уж не боишься?

Молодец обнажил в улыбке белые зубы.

— Здесь у нас власть военная, ей даже родительская не указ. Вы, батюшка, лучше бы обняли меня, ведь душа ваша просит!

При этих словах он раскрыл объятия, а Нововейский-отец растерялся, не зная, как быть ему с сыном, который еще мальчишкой ушел из дому, а нынче вот он — зрелый муж, прославленный офицер. Это весьма льстило отцовскому честолюбию, он и вправду рад был бы прижать сына к своей груди, да опасался все же уронить свою честь.

Но сын первый его обнял. В медвежьем объятии затрещали у шляхтича кости, и это вконец его растрогало.

— Что поделаешь, — сопя крикнул он, — чует, бестия, крепко в седле держится, и вот вам! Извольте видеть! В своем доме я бы так не размяк, а здесь — что поделаешь? Ну-тка, поди сюда еще!

Они снова обнялись, и сын с нетерпением стал выпрашивать про сестру.

— Я велел ей ждать смирно, покуда не кликну, — ответил отец, — девка там небось из кожи выскочить готова.

— Бога ради, где ж она? — крикнул сын. И, отворивши дверь, принялся так громко звать сестру, что эхо, отбившись от стен, ему ответило: «Эвка! Эвка!»

Эва, ожидавшая в соседней комнате, в ту же секунду влетела к ним, и, едва успела крикнуть «Адам!», как могучие руки подхватили ее и подкинули кверху. Брат всегда очень ее любил; в прежние времена защищал Эву от отцовского тиранства и не однажды брал на себя ее вины и предназначавшуюся ей порку.

Старик Нововейский в доме был деспот и весьма жестокосерд, так что Эва в могучем брате не только брата приветствовала, но и защитника. Он же целовал ей голову, глаза, руки, на минуту отстранил от себя, поглядел ей в лицо и радостно воскликнул:

— Ох, и хороша девка! Ей-богу, хороша!

И еще:

— Ну и выросла! Печь, не девка!

А ее глаза смеялись. Затем они наперебой заговорили обо всем на свете: о долгой разлуке, о доме, о войнах. Старик Нововейский ходил вокруг них и что-то бурчал. Сын очень по душе ему был, но все же старика терзало беспокойство: кто из них впредь возьмет верх? В те времена родительская власть крепчала и вскоре превратилась в безграничную, но сын как-никак был наездник, солдат из Дикого Поля и, как верно уразумел отец, крепко держался в седле. Нововейский-старший ревниво оберегал свою власть. Разумеется, сын будет к нему почтителен и воздаст ему должное, но вот захочет ли он быть мягким как воск и все сносить, как

сносил подростком?

«А осмелюсь ли сам я относиться к нему, как к подростку? — размышлял старый шляхтич. — Шельма, поручик, ей-богу, он мне по душе!»

В довершение всего старик признавал, что отцовское чувство все более овладевает им и что он уже питает слабость к своему богатырю сыну.

Эва тем временем щебетала как птаха, забрасывая брата вопросами: когда он воротится, не поселится ли здесь, не намерен ли жениться?

Она, правда, в точности не знает и вовсе не уверена, но, ей-богу, слышала, будто солдаты очень даже влюбчивый народ. Ага, помнится, ей пани Володыёвская говорила. До чего же добрая и пригожая эта пани Володыёвская! Обходительней и лучше во всей Польше днем с огнем не сыщешь! Разве что одна Зося Боская может с нею сравняться.

— А кто такая Зося Боская? — спросил Адам.

— Да та, что здесь с матерью живет, а отца ее ордынцы пленили. Вот увидишь ее, сразу влюбишься!

— Давайте сюда Зося Боскую! — вскричал молодой офицер.

Отец с Эвой принялись смеяться над его горячностью, а сын сказал:

— Ну как же! Любовь, как и смерть, никого не минует. Я еще безусым был, а пани Володыёвская девушкой, когда я по уши в нее влюбился. Господи боже мой, ну и любил же я Баську! И что ж? Как-то стал я говорить ей об этом, и тут словно бы кто меня в бок толкнул: «На чужой каравай рта не разевай!» Догадался я, что она тогда уже Володыёвского любила и — что там говорить — стократ прав была!

— Это почему же? — спросил старик Нововейский.

— Почему? Да потому, что скажу не хвалясь — я на саблях никому спуска не дам, но он в два счета бы со мною разделался. А при том наездник *incomparabilis* «Несравненный (лат.)», перед ним сам Рущиц шапку снимает. Да что там Рущиц! Даже татары уважают его. Нет лучшего солдата в Речи Посполитой!

— А как они с женою любят друг друга! Ух ты! Даже глазам больно! — вставила Эвка.

— А у тебя уж слюнки текут! Ха! Слюнки текут оттого, что и тебе приспело! — вскричал Адам. И, подбоченившись, затряс головой словно конь и стал над сестрою подтрунивать. Она же возразила скромно:

— У меня ничего такого и в мыслях нету.

— А тут, между прочим, и офицеров, и приятного общества не занимать стать!

— Да вот не знаю, говорил ли тебе отец, что Азья здесь.

— Азья Меллехович, татарин? Знаю его, хороший солдат!

— Но того, верно, не знаешь, — сказал старик Нововейский, — что он не Меллехович вовсе, а наш Азья, что с тобою вместе рос.

— Боже! Что я слышу! Глядите-ка! У меня мелькнула была такая мысль, но сказали, что Меллехович он, ну, думаю, не тот, значит, а что Азья, так это имя у них частое. Я столько лет не видел его, не диво, что не узнал. Наш-то весьма неказист был собою да приземист, а этот молодец хоть куда!

— Наш он, наш! — сказал старик Нововейский. — А вернее, не наш уже — знаешь, чьим сыном он оказался?

— Откудова же мне знать?

— Могучего Тугай-бея!

Адам что есть силы хлопнул себя по коленкам.

— Ушам своим не верю! Великого Тугай-бея? Выходит, он князь и ханам родня? Да в Крыму нет крови благороднее!

— Вражья то кровь!

— В отце вражья была, а сын нам служит! Я сам его раз двадцать в деле видал! А! Теперь понятно, откуда в нем эта дьявольская отвага! Пан Собеский перед всем войском отличил его и в сотники произвел. От души буду ему рад. Справный солдат! Сердечно буду ему рад!

— Все же не пристало тебе быть с ним запанибрата.

— Отчего же? Что он, слуга мне иль нам? Я солдат, и он солдат. Я офицер, и он офицер. Был бы он еще пехотинец жалкий, что хворостиной на войне орудует, тогда бы дело другого рода; но он благородных кровей, коли сын Тугай-бея. Князь, и баста, а уж о шляхетском звании для него сам гетман постарается. Чего же мне нос-то перед ним задирать, коли я с Кулак-мурзой побратим, с Бакчи-агой побратим, с Сукиманом побратим, а все они не погнушались бы овец у Тугай-беевича пасти!

Эвке опять захотелось расцеловать брата; усевшись подле него, она красивой своей рукой стала приглаживать его непослушные вихры.

Приход Володыёвского прервал эти нежности.

Молодой Нововейский вскочил, чтобы приветствовать старшего офицера, и тотчас стал оправдываться, отчего сразу не доложил о своем прибытии коменданту: оттого, мол, что не по службе сюда прибыл, а приватным образом.

Володыёвский ласково обнял его и сказал:

— Да кто же, друг мой, посмеет упрекнуть тебя, что после столь долгой разлуки ты сперва родителю бухнулся в ноги. Кабы речь шла о службе, дело другое, но Рущиц, как видно, ничего тебе не поручил?

— Только поклон передать. Пан Рущиц к самому Ягорлыку подался, ему дали знать, будто там много конских следов на снегу обнаружено. Послание вашей милости мой комендант получил и тотчас же в орду переправил к своим родным и побратимам, чтобы искали там и выпрашивали, сам он, однако, не стал вам отписывать, рука, говорит, у меня на это негодящая, в искусстве том я не искушен.

— Не любит он писать, знаю! Для него сабля главное!

Маленький рыцарь пошевелил усиками и не без самодовольства сказал:

— А вы-то за Азба-беем месяца два безуспешно гонялись.

— Зато вы, ваша милость, проглотили его, как щука голавля, — воскликнул Нововейский. — Ну и ну! Не иначе бог его разума лешил, когда он, от пана Рущица ускользнув, к вам стопы направил. Ну и попался, ха-ха!

Маленький рыцарь был приятно польщен этими словами и, желая польстить в ответ, обратился к Нововейскому-старшему:

— Мне господь пока что не дал сына, но, когда бы послал, я хотел бы, чтобы он на этого кавалера был похож!

— И что в нем особенного! Ничего! — возразил старый шляхтич. — Nequam «Беспутный (лат.)», и все тут. Экая, тоже мне, диковина...

А сам даже засопел от удовольствия.

Маленький рыцарь погладил Эву по щеке.

— Я, барышня, — сказал он, — далеко уже не юнец, а вот Баська моя почти что тебе ровесница, и я стараюсь, чтобы у нее порой бывали приятные развлечения, подобающие молодому возрасту... Правда, все ее тут боготворят, надеюсь, и ты, барышня, признаешь, ведь есть за что?

— Боже милостивый? — вскричала Эвка. — Да другой такой на свете нету! Я сейчас о том говорила!

Маленький рыцарь несказанно обрадовался, лицо его просияло.

— Да? Так и сказала?

— Так и сказала! — подхватили разом отец и сын.

— Ну так приоденься-ка, барышня, понаряднее, я, видишь ли, втайне от Баськи капеллу нынче пригласил из Каменца. Музыкантам велел инструменты запрятать в солому, а ей сказал, будто цыгане приехали коней продавать. Нынче вечером такие танцы закатим! А она охотница до них, хотя и строит из себя степенную матрону.

И пан Михал, довольный, стал потирать руку.

ГЛАВА XXXIII

Сыпал густой снег, он до краев заполнил крепостной ров и шапкою осел на частоколе. На дворе была ночь и пурга, а главный дом хрептевской крепости сиял огнями. Оркестр состоял из двух скрипок, контрабаса, двух флейт и валторны. Скрипачи наяривали так самозабвенно, что их пошатывало, а у флейтистов и валторниста щеки чуть не лопались и глаза наливались кровью. Люди пожилые из офицеров и товарищества уселись рядом на скамьях вдоль стены, словно сизые голуби на крыше, и, попивая мед и вино, наблюдали танцующих.

Первым в паре с Басей выступал пан Мушальский — несмотря на почтенный возраст, танцор, как и лучник, завзятый. Бася в платье из серебристой парчи, отороченном горностаем, выглядела как свежая роза на свежавыпавшем снегу. И старые, и молодые, дивясь ее красе, невольно восклицали: «Боже мой!» Всех затмила, даже Нововойскую и Боскую, которые были помоложе ее и очень хороши собою. Глаза у Баси горели радостью и весельем; проплывая мимо маленького рыцаря, она улыбкой благодарила его, меж приоткрытых розовых губ блестели белые зубки, и вся она, серебрясь и переливаясь, как луч или звездочка, пленяла и глаза, и сердца первозданной прелестью ребенка, цветка, женщины.

Развевались откидные рукава кунтушика, подобно крыльям большой бабочки, а когда, приподняв пальчиками полы юбки, Бася приседала перед кавалером, то казалось, сейчас она растает, растворится, как волшебное видение, исчезнет, как кузнечик в летнюю ясную ночь на краю оврага.

Снаружи в комнату смотрели солдаты, прижав к освещенным окнам суровые, усаые лица и расплющив носы. Очень уж льстило им, что боготворимая ими пани Бася всех затмевает красотой и, не скупясь на колкости по адресу Нововойской и Боской, они всякий раз громким криком приветствовали ее, когда она приближалась к окну.

Володыёвский рос в собственных глазах и кивал головою в такт Басиным движениям; Заглоба стоял подле него с кубком и притопывал, расплескивая вино на пол; они то и дело взглядывали друг на друга, сопя от переполнявших их чувств.

А Бася мелькала то здесь, то там, излучая радость и очарование. Эко для нее раздолье! То охота, то сражение, то веселье и танцы, оркестр, и столько солдат, и первейший среди них муж — любящий и желанный. Бася знала, что она всем тут нравится, ею любят, ее обожают, что маленький рыцарь тем счастлив; и она

была счастлива, как счастливы птицы, когда весною реют в майском воздухе, громко и радостно крича.

Вслед за Басей шла в паре с Азьей Эва Нововейская в кармазинном кафтане. Молодой татарин молчал, поглощенный ослепительным белоснежным видением. А Эва относилась к своему волнению и, чтобы придать ему смелости, все сильнее жала ему руку.

Азья порой отвечал ей пожатием столь крепким, что она едва умела сдержать крик боли, впрочем, делал он это без умысла: ни о чем не мог он думать, кроме как о Басе, ничего не видел, кроме Баси, а в душе твердил страшную клятву, что добьется ее, хотя бы и пол-Руси спалить пришлось.

В те мгновения, когда он приходил к себе, ему хотелось схватить Эву и душить, мучить ее за то, что руку жмет, за то, что встает на пути его к Басе. Он пронзал бедную девушку жестоким соколиным взглядом, а у той сильнее колотилось сердце: в том, что он как хищник смотрит на нее, чудилось ей доказательство любви.

В третьей паре отплясывал молодой Нововейский с Зосей Боской. Похожая на незабудку, она семенила подле него, опустив глаза, а он скакал, будто конь необъезженный, так что щепки летели из-под его каблуков, вихры разметались, лицо разрумнялось, широкие ноздри раздулись, как у турецкого бахмата; он кружил Зосю, как ветер кружит лист, и подкидывал в воздух. Душа в нем раззадорила безмерно, а оттого что в Диком Поле он по целым месяцам не видел женщин, Зоська так пришлась ему по сердцу, что он с первого взгляда влюбился в нее без памяти.

Он то и дело взглядывал на опущенные долу глаза ее, на румяные щечки, на округлую грудь, и так любо ему было видеть все это, что он даже фыркал от удовольствия и все сильнее высекал искры подковками, все сильнее на поворотах прижимал ее к широкой своей груди, и хохотал раскатисто от избытка чувств, и кипел, и влюблялся все сильнее.

Зосино нежное сердечко так и обмирало, но то был вовсе не противный страх, — ей по душе был вихрь, что подхватил ее и понес. Как есть змий! Разных кавалеров видала она в Яворе, но столь пылко не встречала, и никто не плясал, как он, и никто не обнимал, как он. Истинный змий... Что поделаешь, ему и противиться-то невозможно...

В следующей паре танцевала с любезным кавалером панна Каминская, а следом Керемовичова и Нересовичова; их, хоть и мещанского они сословия, пригласили все же в компанию — обе дамы были обходительные и к тому же весьма богатые.

Почтенный нвирак и два анардрата с возрастающим изумлением смотрели на польский пляс; старики за медом гомонили все громче, так гомонят кузнечики в поле на жнивье. Капелла, однако, глушила все голоса, а посредине горницы разгоралась в танцорах удаль молодецкая.

Баська покинула своего кавалера, подбежала, запыхавшись, к мужу и умоляюще сложила руки.

— Михалек! — сказала она. — Солдаты зябнут за окнами, вели им бочку выкатить!

Он, развеселившись, принялся целовать ей ладошки и крикнул:

— Мне и жизни не жалко, только бы тебя потешить!

И выскочил во двор объявить солдатам, кто их благодетель, уж так ему хотелось, чтобы они Басе были благодарны и еще больше любили ее.

Когда те в ответ издали крик столь оглушительный, что снег посыпался с крыши, маленький рыцарь распорядился:

— А ну, гряньте-ка из мушкетов! В честь пани виват!

Вернувшись в горницу, он застал Басю танцующей с Азьей. Когда татарин обнял прелестную ее фигурку, когда ощутил вблизи ее дыхание и теплоту ее тела, он закатил глаза и мир закружился перед ним; в душе он отрекался от рая, от вечного блаженства, от всех наслаждений на свете и от всех гурий — ради нее одной.

Тут Бася заметила мелькнувший мимо кармазинный кафтаник Нововойской и, любопытствуя, успел ли Азя признаться девушке в любви, спросила его:

— Ну что, сударь, сказал ли ты ей?

— Нет!

— Отчего же?

— Не время еще? — ответил татарин со странным выражением.

— А очень ли ты влюблен?

— Насмерть? — вскричал Тугай-беевич глухо и хрипло, будто ворон прокаркал.

И они продолжили танец вслед за Нововейским, который вырвался вперед. Другие переменили уже дам, а он все не отпускал Зосю, временами лишь усаживал ее на скамью — дух перевести, а затем снова пускался в пляс.

Наконец он встал перед оркестром, обнял Зосю, подбоченился и крикнул музыкантам:

— Краковяк, ребята! Ну-тка!

Тотчас откликнувшись, те лихо заиграли краковяк.

Нововейский стал притопывать и зычным голосом запел:

То ль ручей струится,
В Днестре пропадает,
То ль в тебе, юница,
Мое сердце тает.
Ух-ха!

Это «ух-ха» он рывкнул по-казацки так, что Зосенька, бедняжка, даже присела от страха. Испугался и стоявший поблизости почтенный нвирак, испугались два ученых анардрата, а Нововейский повел ее дальше, дважды обошел горницу и, встав перед музыкантами, вновь запел про сердце:

Эх, разволновать бы
Мне тебя, как речку, -
Выловить для свадьбы
В речке по колечку!
Ух-ха!

— Хороши куплеты? — вскричал Заглоба. — Уж я в том знаю толк, сам сложил немало! Лови, кавалер, лови! А коли выловишь колечко, я тебе так спою:

Дева вспыхнет быстро,
Коль ты сам кресало:
Знай секи, чтоб искра
В душу к ней запала!
Ух-ха!

«Перевод В. Корчагина.»

— Виват! Виват пан Заглоба! — завопили офицеры и вся честная компания, да так громко, что испугался почтенный нвирак, испугались два ученых анардрата и в чрезвычайном изумлении уставились друг на друга.

А Нововейский сделал еще два круга и усадил наконец на скамью запыхавшуюся и перепуганную смелостью кавалера Зося. Мил он был ее сердцу, такой бравый да открытый, — как есть огонь, она до сей поры ничего подобного не встречала и, вся в смятенье, глазки потупив, сидела тихонько, как мышка.

— Почему молчишь, вельможная панна? Грустишь почему? — спросил Нововейский.

— Батюшка в неволе, — тонким голоском ответила Зося.

— Это ничего, — сказал молодец, — танцевать не грех! Взгляни-ка, панна, тут в горнице нас десятка два кавалеров, и, пожалуй что, ни один своей смертью не умрет, а либо от стрел басурманских, либо в плену. Всему свой черед! В здешних краях почитай каждый кого-нибудь из близких недосчитался, а веселимся мы, чтобы господу богу, чего доброго, не мнилось, будто бы мы на службу сетуем. Так-то! Танцевать не грех! Улыбнись, панна, пока-

жи глазыньки свои, не то подумаю, будто не люб я тебе!

Зося глаз, правда, не подняла, зато уголки губ ее чуть дрогнули, и две ямочки показались на румяных щечках.

— Нравлюсь ли я тебе, панна, хотя бы самую малость? — снова спросил кавалер.

А Зося на это голоском еще более тонким:

— Ну... да...

Услышав такое, Нововейский подскочил на скамье и, схватив Зосины руки, осыпал их поцелуями, приговаривая:

— Пропал я! Чего там! Влюбился я в тебя, панна, насмерть. Никого мне, кроме тебя, не надобно. Красавица ты моя! Боже мой, как же ты люба мне! Завтра матери в ноги повалюсь! Да что там завтра! Нынче же повалюсь, лишь бы знать, что нравлюсь тебе!

Гром выстрелов за окном заглушил Зосин ответ. Это обрадованные солдаты палили в честь Баси, так что окна дрожали, стены тряслись. Испугался в третий раз почтенный нвирак, испугались два ученых анардрата, а стоявший подле них Заглоба стал по-латыни их успокаивать:

— *Apud Polonos*, — сказал он им, — *nunquam sine clamore et strepitu gaudia fiunt*. «У поляков радость всегда сопровождается криками и грохотом (лат.).»

Казалось, все только и ждали этого залпа из мушкетов, чтобы всею душой отдаться веселью. Шляхетская благопристойность сменилась степной дикостью. Загремел оркестр; танцоры закружились в ураганном вихре, загорелись, засверкали глаза, от голов шел пар. Даже старики пустились в пляс; громко кричали, гуляли, веселились, пили из Басиной туфельки, палили из пистолетов по Эвкиным каблучкам.

Так шумел, гремел и пел Хрептев до самого утра, даже зверь в ближних пущах укрылся от страха поглубже в лесную чащобу. А так как происходило это чуть не в самый канун страшнейшей войны с турецкими полчищами и над всеми нависла угроза и гибель, дивился безмерно польским солдатам почтенный нвирак и два ученых анардрата дивились не менее.

ГЛАВА XXXIV

Спали все до поздна, кроме караульных и маленького рыцаря, который никогда забавы ради не пренебрегал службой.

Молодой Нововейский тоже вскочил чем свет — Зося Боская была ему милей, чем мягкая постель. С утра принарядившись, поспешил он в горницу, где давеча отплясывали, чтобы послушать, не доносятся ли шорохи из отведенных женщинам соседних покоев.

В комнате пани Боской уже слышалось какое-то движение, но молодцу так не терпелось увидеть Зося, что, выхватив кинжал, он стал выковыривать им мох и глину между балками, чтобы хотя бы в щелочку, одним глазком на нее взглянуть.

За этим занятием и застал его Заглоба; войдя с четками и тотчас смекнув, в чем дело, он на цыпочках приблизился к рыцарю и принялся колотить его по спине сандаловыми бусинами.

Тот, смеясь, однако же весьма смущенный, пытался увернуться, а старик гонялся за ним и дубасил, повторяя:

— Турчин ты этакой, татарва, вот тебе, вот тебе! Exorciso te «Бесов (из тебя) изгоняю (лат.).». А mores где? «Скромность (лат.).» За женщинами подглядывать? А вот тебе, вот тебе!

— Ваша милость! — вскричал Нововейский. — Негоже, чтобы священные четки плетью служили! Помилуйте, не было у меня грешных помыслов.

— Негоже, говоришь, святыми четками тебя лупцевать? А вот и неправда! Святая верба в предпасхальное воскресенье тоже небось розгой служит! Четки эти прежде были языческими, Субагази принадлежали, но я их под Збаражем у него отнял, а после уж их нунций апостольский освятил. Гляди-ка, настоящий сандал!

— Настоящий-то пахнуть должен!

— Мне четками пахнет, а тебе девицей. Ужо огрею тебя как следует быть, нет ничего лучше святых четок для изгнания беса!

— Жизнью клянусь, не было у меня грешных помыслов!..

— Никак, благочестие побудило тебя дырку расковырять?

— Не благочестие, но любовь, да такая, что не диво, ежели разорвет меня, как гранатой! Ей-богу, святая правда! Слепни коня так летом не изводят, как чувство меня извело!

— Гляди, не греховное ли тут вожделение, ты же на месте не мог устоять, когда я вошел, с ноги на ногу переминался, будто на угольях стоишь.

— Ничего я не видел, богом клянусь, щелочку только ковырял!

— Ох, молодость... Кровь не водица! Мне и то часом приходится себя окорачивать, *leo «Лев (лат).»* еще живет во мне, *qui querit quem devoret «Который ищет, кого сожрать (лат.).»*. А коли чистые у тебя намерения, стало быть, о женитьбе думаешь?

— О женитьбе? Великий боже! Да о чем же мне еще думать? Не только что думаю, а словно кто меня шилом к тому побуждает! Ты, ваша милость, не знаешь, верно, что я вчера уже пани Боской открылся и у отца согласия испросил?

— Порох, не парень, черт тебя побери! Когда так, это дело другого рода, говори, однако, как все было?

— Пани Боская пошла вчера в комнаты для Зосеньки шаль вынести, а я за нею. Оборотилась она: «Кто там?» Я — бух ей в ноги: «Бейте меня, мама, но Зосю отдайте, счастье мое, любовь мою». Пани Боская, опамятававшись немного, так говорит: «Все тут тебя, сударь, хвалят и достойным кавалером почитают, а у меня муж в неволе, Зося без опеки осталась; и все же нынче я ответа не дам, и завтра не дам, только попозже, да и тебе, сударь, тоже родительское изволение получить надобно». Сказала и пошла себе, может, подумала, будто я все это спьяну. И то сказать, был я хмельной...

— Пустое! Все во хмелю были! Ты заметил ли, как у нвирака этого с анадратами клобуки набекрень съехали?

— Не заметил, потому что умом раскидывал, как бы поскорее у отца согласие выманить.

— Трудно пришлось?

— Утром пошли мы с ним оба на квартиру; железо-то куется, покуда горячо, вот я и подумал: хорошо бы прощупать осторожно, как отец к моему предприятию отнесется, и так ему говорю: «Послушайте, отец, такая припала мне охота на Зоське жениться, что немедля ваше согласие надобно, а коли не дадите его, я к венецийцам служить подамся, и только вы меня и видели». Он как кинется на меня! «Ты такой-сякой, — говорит, — и без изволения прекрасно обходишься! Отправляйся к венецийцам своим или девку бери, об одном предупреждаю, ни гроша не получишь, ни из моего, ни из материного состояния — это все мое!»

Заглоба выпятил нижнюю губу.

— О, плохо дело!

— Погоди, сударь! Я как услышал это, говорю ему: «Да разве ж я прошу чего или требую? Благословение мне надобно, и ничего более, того добра басурманского, что саблей я завоевал, мне на хорошую аренду, а то и на свою деревеньку станет. А материно, оно пускай Эвке в приданое идет, да я еще горсть-другую бирюзы ей подкину, да атласа, да парчи штуку, а в черную годину еще и вас, отец, наличными выручу». Тут отца любопытство разобрало.

«Вы ходит, ты такой богатый? — спрашивает. — Боже милостивый! Откуда? Военный прибыток, что ли? Ты же уехал гол как сокол!» «Помилосердствуйте, отец! — отвечаю ему. — Я худо-бедно одиннадцать лет этой вот рукою махал, и, говорят, недурно, как же было добру не скопиться? Я города мятежные брал, а в них гультия да татарва громоздили горы отборнейшей добычи, я с мурзами бился и с шайками разбойников, а добыча все шла да шла. Брал я лишь то, что само плыло в руки, никого не обирал, добро, однако, все прибывало, и, когда б не кутежи, набралось бы, пожалуй, на два таких состояния, как ваше родительское».

— И что старый? — развеселился Заглоба.

— Отец обомлел, не ждал он такого, и тотчас давай в расточительстве меня попрекать: «Мог бы, говорит, карьеру сделать, да ведь этакой вертопрах, этакой спесивец, гулять бы ему только да магната из себя строить, все спустит, ничего не удержит». Потом любопытство верх взяло, и принялся родитель в подробностях выпытывать, что у меня имеется, а я, почуяв, что ежели этой мазью телегу смазывать, тотчас и доедешь, не только что не утаил ни капельки, но еще и приврал маленько, хотя и не в моих это привычках, потому как я так полагаю: кто лжет, тот и крадет. Отец за голову схватился и тут же ко мне с прожектами: то да се докупить бы можно, там и сям дельце обделать, жили бы мы с тобою по соседству, а я в твое отсутствие за всем бы присматривал. И зарыдал почтенный мой папаша. «Адам, — говорит, — сдается мне, очень подходящая для тебя эта девка, к тому же сам гетман ее опекает, тут тоже может корысть произойти. Адам, — говорит, — гляди же, береги вторую мою дочь, не обижай ее, не то я и на смертном одре тебе не прощу». А я, сударь, только представил себе, что Зосю обижают, как зареву! Упали мы с папашей друг другу в объятия и рыдали *accurate* «*Как раз (лат.)*» до первых петухов!

— Шельма старик! — буркнул Заглоба. А потом громко добавил: — Хо! Может статься, свадьба вскорости будет, новая потеха в Хрептеве, к тому же масленица близко — торопиться надо!

— Завтра бы и свадьба, когда б от меня зависело! — пылко вскричал Нововейский. — Да видите ли, сударь, отпуск у меня кончается, а служба есть служба, в Рашков пора мне. Но я знаю, пан Рущиц еще меня отпустит! Только бы со стороны женщин проволочки не было. Я к матери, она: «муж в неволе», я к дочери, и она туда же: «батюшка в неволе». Я, что ли, ихнего батюшку в плену держу? Ужасно таких вот преград боюсь, кабы не это, я ксендза Каминского за сутану поймал бы и держал, покуда он нас с Зосей не соединит. Но уж коли бабы что в голову возьмут, клещами не вытащишь. Я бы последнего гроша не пожалел, сам

за ихним батюшкой отправился бы, да никак нельзя! Поди узнай, где он там, может, умер уж, и дело с концом. Что ж, коли велят мне ждать его, я до Страшного суда ждать стану!

— Пиотрович с нвираком и анадратами поутру в путь трогаются, скоро, глядишь, и вести будут.

— Боже ты мой! Сиди у моря и жди погоды! До весны ничего быть не может, а я тем временем иссохну, как бог свят. Ваша милость! Все верят в разум ваш и опытность, выбейте у баб из головы это ожидание! Весною война, ваша милость! Бог ведает, что с нами станется; я ведь на Зоське хочу жениться, не на батюшке, чего же ради мне по нему вздыхать?

— Уговори женщин ехать в Рашков и там поселиться, туда и вести скорее дойдут, и коли Пиотрович Боского отыщет, ему там до вас рукой подать. И еще: я что могу сделаю, но ты и Басю попроси, пускай за тебя заступится.

— Буду просить, буду, черт меня...

Тут двери скрипнули, и вошла пани Боская. Заглоба мигнуть не успел, как молодой Нововейский бухнулся ей в ноги, во весь рост растянулся на полу, заняв пол горницы могучим своим телом, и возопил:

— Есть согласие родителя! Давай, мать, Зоську! Давай, мать, Зоську! Давай, мать, Зоську!

— Давай, мать, Зоську! — вторил басом Заглоба.

Крики эти выманили людей из соседних комнатух; вошла Бася, вышел из канцелярии пан Михал, а вскоре явилась и Зося. Девушке, кажется, не пристало догадываться, о чем речь идет, но она вспыхнула как маков цвет и, чинно сложив руки, сжав губки бантиком и очи опустив, встала у стены. Бася тотчас взяла сторону молодца, пан Михал побежал за стариком Нововейским. Тот, придя, был весьма огорчен, что сын обошелся без его красноречия, однако же присоединился к просьбе.

Пани Боская, которой в самом деле не хватало мужней заботы, разрыдалась и в конце концов согласилась и на просьбу Адама, и на то, чтобы ехать с Пиотровичем в Рашков и там ожидать мужа. И только тогда, вся в слезах, обратилась к дочери.

— Зося, — сказала она, — а тебе по сердцу ли намерения панов Нововейских?

Все взоры обратились к Зосе, а она, стоя у стены, уставилась, по своему обыкновению, в пол, помолчала немного, а затем, залившись румянцем до кончиков ушей, вымолвила едва слышно:

— В Рашков хочу...

— Красавица ты моя! — гаркнул Адам и, подскочив к девушке, схватил ее в объятья.

А потом закричал так, что стены задрожали:

— Моя уже Зоська, моя, моя!

ГЛАВА XXXV

Немедля после помолвки молодой Нововейский выехал в Рашков, чтобы присмотреть и привести в порядок жилье для матери и дочери Боских. Недели через две после его отъезда вереницею двинулись в путь и хрептевские гости: нвирак, двое анардратов, Керемовичова, Нересовичова, Сеферович, мать и дочь Боские, двое Пиотровичей, Нововейский-отец и еще несколько каменецких армян, многочисленные слуги и вооруженная челядь, охранявшая кладь, а также тягловый и вьючный скот. Пиотровичи и духовные посланцы эчмиадзинского патриарха намеревались передохнуть в Рашкове, собрать там сведения о дороге и двинуться далее в Крым. Остальные же решили пока что осесть в Рашкове и там ждать, хотя бы до весенней распутицы, возвращения пленных, а именно пана Боского, молодого Сеферовича и двух купцов, по которым сильно стосковались их супруги.

Дорога была трудная, вела через чащобы и крутые овраги. На счастье, выпал обильный снег, санный путь был отличный, а военные отряды в Могилеве, Ямполье и Рашкове обеспечивали безопасность. Азба-бей разбит был наголову, разбойники повешены либо рассеяны, а татары зимнею порой из-за отсутствия кормов не показывались на обычных своих шляхах.

К тому же Нововейский посулил выйти к ним навстречу с десятком-другим всадников, если получит на то позволение пана Рущица. Так что ехали все охотно, в добром настроении, Зося готова была следовать за Адамом хоть на край света. Пани Боская и две армянки надеялись в скором времени обрести своих мужей. Правда, Рашков находился где-то в страшных дебрях, на краю христианского мира, но ведь не на всю жизнь ехали они туда, и даже не надолго. Весной ожидалась война, о ней говорили повсюду в пограничье, так что надобно было, встретив супругов, осторожности ради воротиться обратно с первым теплым ветерком.

Эва, послушавшись пани Володыёвской, осталась в Хрептеве.

Отец не слишком настаивал, чтобы она ехала с ним, тем более что оставлял он ее в столь уважаемом семействе.

— Она будет в полной безопасности, — говорила ему Бася, — скорее всего я сама ее отвезу, очень уж хочется мне увидеть раз в жизни страшную эту границу, о которой я сизмальства слышала. Весною дороги зачернеются уже от чамбулов, и муж меня не отпустит, а так, коли Эвка у меня останется, хороший будет повод. Недельки этак через две примусь мужа улещивать, а через три,

глядишь, изволение получу.

— Муж, сперго «Думаю (лат.).», без надежного эскорта вас и зимой не отпустит.

— Сможет, сам со мною поедет, а нет — Азья будет нас сопровождать с двумястами, а то и более всадников, я слышала, его и так в Рашков посылают.

На том разговор окончился, и Эва осталась. У Баси же, кроме истинных причин, которые она открыла Нововейскому, был и свой расчет.

Ей хотелось облегчить Азье сближение с Эвой, поскольку молодой татарин внушал ей тревогу. На расспросы ее он отвечал, правда, что любит панну Нововейскую, что давнее чувство в нем не угасло, но, оставаясь с Эвой наедине, молчал. А девушка тем временем в хрептевском этом безлюдье влюбилась в него без памяти. Его дикая, но яркая красота, детство, проведенное в жестких руках пана Нововейского, высокое его происхождение, тайна, которая долгое время тяготела над ним, и, наконец, минуты, чтобы открыть ему свое пылавшее сердце, чтобы сказать: «Азья, я с детства тебя люблю!» — и упасть в его объятия, и поклясться в любви до гроба. А он меж тем молчал, стиснув зубы.

Спервоначально Эва думала, что присутствие ее отца и брата удерживает Азью от признания. Но потом беспокойство овладело ею; отец и брат, без сомнения, стали бы чинить им препятствия, во всяком случае, до той поры, пока Азья не получит шляхетского звания, но он-то мог хотя бы перед нею открыться, и тем скорее и искренней, чем больше преград вставало на пути.

А он молчал.

Сомнения закрались наконец в душу девушки, она пожаловалась Басе, но та принялась утешать ее:

— Спору нет, человек он странный и ужасно скрытный, но я уверена, он любит тебя, — сам не однажды говорил мне, да и смотрит на тебя как-то особенно, не так, как на других.

Эва грустно покачала головой:

— Это верно, только вот не знаю, любовь ли во взгляде его или ненависть.

— Полно, Эвка, не неси вздора, за что ему ненавидеть тебя?

— А любить за что?

Бася стала гладить ее по лицу своей маленькой ручкой.

— А за что меня Михал любит? За что братец твой, едва завидев Зоську, тут же в нее и влюбился?

— Адам всегда скорый был.

— Азья же гордый и отказа боится, в особенности со стороны твоего отца, брат-то, сам влюбившись, скорее поймет сердечные муки. Вот оно как! Не будь глупой, Эвка, и не бойся. Я Азью пожу-

рю как следует, увидишь, каким он станет смельчаком.

В тот же день Бася повидалась с Азьей и после того опрометью бросилась к Эвке.

— Все! — вскричала она с порога.

— Что? — вспыхнув, спросила Эва.

— Я так ему сказала: «О чем ты, сударь, думаешь? Неблагодарностью меня потчуете, да? Я умышленно Эвку здесь оставила, чтоб ты, сударь, мог воспользоваться случаем, а коли не воспользуешься, пеняй на себя, через две, самое большее три недели, я отошлю ее в Рашков, а может статься, и сама с ней поеду, и ты, сударь, на бобах останешься». Он даже в лице переменялся, как услышал об отъезде в Рашков, и в ноги мне бухнулся. «Ну что скажешь?» — спрашиваю, а он: «В пути, — говорит, открою, что у меня на сердце. В пути, — говорит, — скорее случай предоставится, в пути произойдет то, чему суждено произойти. Все, — говорит, — открою, во всем признаюсь, не могу, — говорит, — более терпеть эту муку мученскую!» Даже губы у него задрожали, он перед тем сильно был огорчен, письма какие-то неприятные нынче утром получил из Каменца. В Рашков, сказал он, ему все едино надлежит отправляться, у мужа моего давно уж есть на то приказ гетмана, только время в том приказе не означено, а зависит оно от переговоров, какие он с татарскими ротмистрами ведет. «А нынче, — говорит, — как раз срок подошел, пора уж мне туда, к ним, за Рашков, ехать, так что заодно и вашу милость, и панну Эву отвезу». Я ответила ему, что не знаю еще, поеду ли, будет ли на то позволение Михала. Услышав это, он сильно напугался. Ну и глупая же ты, Эвка! Говоришь, не любит тебя, а он в ноги мне упал и уж так упрашивал, чтоб я тоже ехала, говорю тебе, ну просто скулил, мне до слез его жалко стало. А знаешь, отчего так? Он тут же и сказал мне. «Я, — говорит, — сердце свое открою, да только без заступничества вашей милости ничего у Нововейских не добьюсь, разве что гнев да ненависть и в себе, и в них разбужу. В руках вашей милости судьба моя, мука моя, мое спасение, а коли вы, ваша милость, не поедете, так лучше бы земля меня поглотила, лучше в огне мне сгореть!» Вот как он любит тебя! Даже подумать страшно! Если б ты видела, как он при этом выглядел — ей-богу, струсила бы!

— Нет, я его не боюсь! — возразила Эва.

И стала целовать Басины руки.

— Поезжай с нами, — повторяла она в возбуждении, — поезжай с нами! Ты одна можешь спасти нас, ты одна не побоишься сказать отцу, ты одна сможешь чего-то добиться! Поезжай с нами! Я в ноги пану Володыёвскому кинусь, чтобы он тебе ехать позволил. Без тебя отец с Азьей за ножи возьмутся! Поезжай с нами,

поезжай.

Говоря это, она сползла к Басиным коленям и с плачем их обняла.

— Бог даст, поеду! — ответила Бася. — Все как есть Михалу выложу и примусь его упрашивать. Нынче и одной-то ехать не страшно, а уж тем более с этакой стражей многочисленной. Может, и Михал поедет, а нет — у него сердце доброе, согласится. Накричит сперва, но как увидит, что я огорчилась, тотчас начнет меня улещивать, и в глаза мне заглядывать и согласится. Мне бы хотелось, чтобы он сам мог поехать, без него такая тоска, но что поделаешь! Я-то ведь еду, чтобы вам пособить... Тут не прихоть моя — ваша участь решается. Михал тебя любит и Азью любит — он согласится.

Азья же после свидания с Басей внезапно будто восстал из мертвых и помчался к себе с радостью и надеждой в сердце.

За минуту перед тем невыносимое отчаяние терзало его душу. В то утро получил он сухое и краткое письмо от Богуша; вот что было в письме:

«Дорогой мой Азья! Я задержался в Каменце и в Хрептеву покуда не поеду и оттого, что хлопоты меня одолели, и оттого, что незачем. В Яворове я был. Пан гетман не только что не дает тебе письменного изволения и не мыслит своим авторитетом прикрывать безумные твои замыслы, но велит тебе — под угрозой лишить милости — незамедлительно от замыслов сих отречься. Я тоже понял, образумясь, что все, о чем ты говорил мне, — ересь, ибо христианскому политическому народу в такого рода сделки с басурманами вступать — грех и стыдно было бы перед всем миром шляхетские привилегии злодеям раздавать, хищникам и кровопийцам. Ты сам это смекни, а о булаве гетманской и думать забудь, не для тебя она, хотя ты и сын Тугай-бея. А коли хочешь милость гетмана поскорее воротить, то чином своим довольствуйся, а особливо ускорь переговоры с Крычинским, Творовским, Адуровичем и прочими, так быстрее всего выслужишься.

Наказ тебе от гетмана, что делать надлежит, посылаю с этим письмом, а пану Володыёвскому — предписание от гетмана, дабы тебе с твоими людьми свободный проезд давали и не чинили препятствий. Наверное, время тебе уж с ротмистрами встретиться, поспеши с этим и прилежно сообщай мне в Каменец, что там, на другой стороне слыхать. С тем препоручая тебя милосердию божьему, остаюсь неизменно доброжелатель твой Мартин Богуш из Земблиц, подстолий новогрудский».

Молодой татарин, получив это послание, впал в неистовую ярость. Сперва он в клочья изорвал письмо, затем исколол стол ножом и наконец стал грозиться, что лишит жизни и себя, и

верного Халима, а тот на коленях молил его ничего не предпринимать, покуда не остынет он от гнева и отчаяния. Письмо это для Азьи было страшным ударом. Строения, какие вознесли гордыня его и тщеславие, обратились в прах, замыслы рухнули... Он мог стать третьим гетманом Речи Посполитой и даже решать судьбу ее, а теперь ему предстояло остаться безвестным офицером, для которого верх амбиций — шляхетское звание. В пылком сем воображении он что ни день видел толпы, бьющие ему челом, теперь же он вынужден другим бить челом.

И ни к чему оказалось, что он сын Тугай-бея, что кровь могущественных воителей течет в его жилах, что в душе его родились великие замыслы, — ни к чему! Все ни к чему! Жизнь свою проживет он непризнанный и в безвестности завершит свои дни в какой-нибудь богом забытой крепости. Одно-единственное слово сокрушило ему крылья, одно «нет!» лишало его возможности орлом реять по поднебесью, отныне суждено ему было червем ползать по земле.

Но все это пустое в сравнение с тем, какое счастье он утратил. Та, за обладание которой он отдал бы жизнь свою, та, к кому пылал он жаркой страстью, кого возлюбил глазами, сердцем, душою, всем естеством своим, никогда уже не будет ему принадлежать. Письмо отнимало у него не только гетманскую булаву, оно отнимало у него Басю. Хмельницкий мог похитить Чаплинскую, могущественный Азья, Азья-гетман тоже мог похитить чужую жену и отстоять ее хотя бы и в борьбе против всей Речи Посполитой, но каким путем добьется ее Азья, татарский поручик, что служит под началом ее мужа?

Когда он думал об этом, все представляло ему в черном свете, мир становился пустым и мрачным. Не лучше ли умереть, нежели жить безо всякого смысла, без счастья, без надежды, без любимой жинщины? Удар оказался тем сокрушительней, что он не ожидал его, напротив, принимая во внимание угрозу предстоящей войны, положение Речи Посполитой, слабость гетманских войск и ту пользу, какую замыслы его могли принести Речи Посполитой, он что ни день все более убеждался, что гетман одобрит его планы. А меж тем надежды его развеялись, как дым. Что осталось ему? Отречься от славы, величия, счастья. Но он не был на это способен. В первый миг безумный гнев и отчаяние овладели им. Жар проник до костей и нестерпимо жег его, он выл и скрежетал зубами, а мысли, столь же жгучие и мстительные, вереницей проносились в его голове. Он жаждал отомстить Речи Посполитой, гетману, Володыёвскому, даже Басе. Жаждал поднять своих татар, перебить поголовно весь гарнизон, всех офицеров, весь Хрептев, убить Володыёвского, а Басю похитить, уйти с

нею на молдавский берег, а затем и дальше, в Добруджу, и еще дальше, хотя бы и в самый Царьград, хотя бы и в азиатские пустыни.

Но верный Халим был неотлучно при нем, да и сам он, очнувшись после приступа бешенства и отчаяния, понял тщету своих намерений.

Азья еще и тем походил на Хмельницкого, что в нем, как и в Хмельницком, уживались лев со змием. Ну, ударит он с верными татарами на Хрептев — и что? Да разве же чуткий как журавль Володыёвский даст провести себя? А хоть бы и так, разве даст себя победить знаменитый этот наездник, у него к тому же и больше солдат под рукою, и лучше они. Но положим, Азья одержит над ним победу, что после? Пойдет он вниз по реке к Ягорлыку, придется по пути гарнизоны уничтожить в Могилеве, Ямполье и Рашкове. Перейдет на молдавский берег, там пыркалабы, приятели Володыёвского, и сам Хабарескул, паша хотинский, друг его закадычный; к Дорошу подастся, там под Брацлавом гарнизоны польские, а в степи и зимою разъездов полно. Вообразив все это, почувствовал Тугай-беевич свое бессилие, и зловещая душа его ушла в глухое отчаяние, как раненый дикий зверь уходит в мрачную пещеру в скалах.

Безмерная боль порою сама себя убивает, сменяясь бесчувствием, вот и он наконец впал в бесчувствие.

И тут ему дали знать, что супруга коменданта желает говорить с ним.

Халим не узнал Азью после того разговора. Куда девалось оцепенение! Глаза его горели, как у рыси, лицо сияло, белые клыки поблескивали из-под усов, — и в дикой своей красе он был как две капли воды похож на страшного Тугай-бея.

— Господин мой, — спросил Халим, — как случилось, что бог взвеселил твою душу?

А Азья на это:

— Халим! Темную ночь бог на земле днем сменяет и солнцу велит из моря подняться. Халим, — он схватил старого татарина за плечи, — через месяц она станет моей навеки!

И такое сияние шло от смуглого его лица, таким он казался прекрасным, что Халим принялся бить ему поклоны.

— Сын Тугай-бея, ты велик и могуществен, и коварство неверных тебя не осилит!

— Слушай! — сказал Азья.

— Слушаю, сын Тугай-бея!

— К синему морю пойдем мы, где снег только в горах лежит, и уж если воротимся в эти края, то во главе чамбулов, — неисчислимых, как песок приморский, как листья в здешних пущах, меч

и огонь неся с собою. Ты, Халим, сын Курдулука, еще нынче отправишься в путь. Отыщешь Крычинского и скажешь, чтобы людей своих привел к Рашкову. Адурович же, Моравский, Александрович, Грохольский, Творовский и все, кто жив из литовских татар и черемисов, пусть со своими отрядами тоже приблизятся к войску. Чамбулам, что с Дорошем на зимовище стоят, пусть дадут знать, чтобы со стороны Умани подняли внезапно великую тревогу, тогда гарнизоны ляхские покинут Могилев, Ямполь и Рашков и в глубь степи направятся. Если на пути моем войска не будет, я в Рашкове одни пепелища да пожарища оставлю!

— Помоги тебе бог, господин! — ответил Халим.

И принялся бить поклоны, а Тугай-беевич нагнулся к нему и несколько раз повторил:

— Гонцов рассылай, гонцов рассылай, всего месяц времени у нас.

Затем он отпустил Халима и, оставшись один, принялся молиться, ибо грудь его исполнилась счастьем и благодарностью богу.

Молясь, он невольно поглядывал в окно на своих татар, они как раз выводили коней на водопой к колодцам. Майдан зачернелся от толпы; тихо напевая монотонные свои песни, татары тянули скрипящие журавли и выплескивали воду в колоды. Из конских ноздрей струями валил пар и застил свет.

Вдруг из главного дома вышел Володыёвский в кожухе и яловичных сапогах и, приблизясь к татарам, стал что-то говорить им. Они слушали его вытянувшись и, вопреки восточному обычаю, стянув с голов меховые шапки. При виде коменданта Азья прервал молитву и буркнул:

— Хотя ты и сокол, не долететь тебе, куда я долечу, один останешься ты в Хрептеве, в тоске и печали.

Володыёвский, поговорив с солдатами, воротился в дом, и на майдане снова слышалось пенье татар, фыркание коней и заунывный, пронзительный скрип колодезных журавлей.

ГЛАВА XXXVI

Маленький рыцарь, как и предвидела Бася, узнав о ее намерениях, закричал, что никогда на это не согласится, что сам он ехать не может, а одну ее не пустит, но его одолели просьбы и уговоры, и он заколебался.

Правда, сама Бася, вопреки его ожиданию, не слишком и настаивала, ей очень хотелось ехать с мужем, без него поездка теряла для нее почти всю привлекательность, но Эва пала пред ним на колени и, целуя ему руки, заклинала отпустить Басю во имя его любви к жене.

— Ни у кого не хватит отваги подступить к моему отцу и обо всем ему объявить, — говорила она, — ни у меня, ни у Азьи, ни даже у брата, только пани Бася сумеет, ей он ни в чем не откажет!

— Негоже Баське сваху из себя разыгрывать! — не соглашался Володыёвский. — Впрочем, вы же назад воротитесь, вот тогда пусть все и улаживает.

Эвка в ответ разрыдалась. Бог знает что случится до той поры, она, разумеется, умрет от горя; впрочем, для нее, сироты, ни от кого не видевшей милосердия, может, так-то оно и лучше.

У маленького рыцаря сердце было мягкое; встопорщив усики, он принялся ходить по комнате. Больно уж не хотелось ему с Баськой расставаться и на один-то день, а уж тем более на несколько недель.

Но просьбы, как видно, проняли его: день-другой спустя он как-то вечером сказал:

— Кабы и я мог ехать, дело другое! Да никак не могу, служба держит!

Бася метнулась к нему и, коснувшись щек его алыми своими губками, стала упрашивать:

— Поедем, Михалек, поедем!

— Никак невозможно! — решительно ответил Володыёвский.

Прошло еще несколько дней. Маленький рыцарь спрашивал совета у Заглобы — как быть? Но тот в совете отказал.

— Когда иных препятствий нет, единственно сантимент, что тут скажешь? Тебе решать, — ответил он. — Разумеется, пусто тут станет без нашего гайдучка. Кабы не возраст мой да не трудная дорога, я бы и сам поехал; без нее никак невозможно, это правда.

— Вот видишь! Препятствий и в самом деле нет, разве что дни стоят морозные; и спокойно кругом, и гарнизоны на пути повсюду. Только никак без нее невозможно.

— Я и говорю: тебе решать!

После этого разговора пан Михал опять заколебался и думать стал двояко. Эвку ему было жаль. «Да и прилично ли отправлять девицу с Азьей одну в такую дальнюю дорогу, — размышлял он, — а главное, как не помочь приятным людям, коль скоро случай к тому представляется. О чем, собственно, речь? Бася отлучится на две-три недели? Да если для того только, чтобы увидеть Могилев, Ямполь и Рашков, отчего бы ей не угодить? Азье все едино отправляться в Рашков с хоругвью, так что стражи будет с избытком, — разбойники уничтожены, а орда зимой не опасна».

Все более колебался Володыёвский, и, заметив это, женщины возобновили уговоры: одна — представляя дело как добрый поступок и долг свой, другая — плача и причитая. Наконец и Тугай-беевич пришел с поклоном к коменданту. Он, конечно, недостойн такой милости, сказал татарин, однако смеет все же о ней просить, поскольку не единожды уже доказывал верность свою и преданность супругам Володыёвским. Он в неоплатном долгу перед ними обоими, ведь это они не позволили помыкать им в ту еще пору, когда никто не знал, что он сын Тугай-бея. Он никогда не забудет, что пани Бася раны его перевязывала и была ему не только госпожой ласковой, но и словно бы матерью. Благодарность свою он уже доказал в сражении с Азба-беем, но и в будущем, не приведи господь что страшное случится, он, не задумываясь, отдаст за нее свою жизнь.

Затем он поведал о давней своей несчастной любви к Эве. Жизнь не мила ему без этой девушки! Он любил ее все годы разлуки, хотя и без надежды, и никогда не перестанет любить. Но они со старым Нововейским издавна ненавидят друг друга, бывшие отношения слуги и господина пропастью легли меж ними. Только пани Бася могла бы их примирить, ну а если не удастся, то он хотя бы избавит милую его сердцу девушку от отцовского тиранства, чтобы тот не запер ее и не наказал плетью.

Володыёвский предпочел бы, верно, чтобы Баська не мешалась в это дело, но как сам он любил делать людям добро, то и сердцу жены не дивился. Однако покамест он не ответил Азье согласием, даже Эвкиным слезам не внял, а, запершись в канцелярии, стал думать.

Наконец вышел он как-то к ужину с ясным лицом, а после ужина спросил вдруг Тугай-беевича:

— Азья, когда тебе ехать срок?

— Через неделю, ваша милость! — ответил татарин с тревогою. — Халим, я полагаю, уже закончил переговоры с Крычинским.

— Вели и большие сани выстлать, женщин в Рашков повезешь.

Заслышав это. Бася захлопала в ладоши и кинулась к мужу. Тотчас подскочила и Эвка, за нею, вспыхнув безумной радостью,

Азья склонился к его коленям; Володыёвский даже руками зама-
хал.

— Да успокойтесь вы! — сказал он. — Ну что такого! Коли мож-
но людям помочь, отчего не помочь, сердце не камень, в самом
деле! Ты, Баська, возвращайся, милая, поскорее, а ты, Азья, в оба
за нею гляди, это будет лучшей мне благодарностью. Ну, ну, уго-
монитесь!

Он зашевелил усиками, а потом для бодрости прибавил уже
веселее:

— Нет ничего хуже бабских слез. Как слезы увижу — кончено
дело! Слышь, Азья, ты не только нас с женою благодарить должен,
но и эту вот девицу — она за мною тенью ходила, печаль свою
пред очи мои выставляла. За такое чувство платить должно!

— Отплачу, отплачу! — странным голосом ответил Тугай-бее-
вич и, схватив Эвину руку, осыпал ее поцелуями с такой страстью,
будто хотел укусить.

— Михал, — вскричал вдруг Заглоба, указывая на Басю. — Что
мы тут делать станем без этого котенка?

— Ох, тяжело будет, — ответил маленький рыцарь, — видит бог,
тяжко!

И добавил тише:

— А может, бог после благословит добрый сей поступок... Пони-
маешь?...

«Котенок» тем временем просунул меж них светлую, любопыт-
ную свою головку.

— Это вы о чем?...

— А... так, ни о чем! — ответил Заглоба. — Говорим вот, аисты
весною, верно, прилетят...

Баська по-кошачьи потерлась мордашкой о мужнино лицо.

— Михалек, я недолго там буду, — тихо сказала она.

И после того разговора еще день-два шли меж ними советы, но
теперь уже насчет поездки.

Пан Михал сам за всем присматривал, сани велел ладить и
выстелить их шкурами затравленных осенью лисиц. Заглоба вы-
нес свой тулуп — ноги в пути прикрывать. Снаряжались фуры с
постелью и провиантом, а также Басин скакун, чтобы она могла
пересесть на него из саней там, где путь будет крут и опасен;
более всего пан Михал опасался спуска к Могилеву, там и впрямь
можно было шею сломать.

Хотя ни о каком нападении не могло быть и речи, маленький
рыцарь все же велел Азье быть поосторожней: человек двадцать
высылать постоянно на несколько верст вперед, на ночлег распо-
лагаться только там, где есть гарнизоны, выезжать на рассвете,
останавливаться дотемна и в дороге не мешкать. Все продумал

маленький рыцарь, даже пистолеты для Баси собственноручно засунул в седельную кобуру.

Наконец наступила минута отъезда. Темно еще было, когда двести татарских всадников в готовности встали на майдане. В главной комнате комендантского дома царило уже оживление. В очагах ясным пламенем полыхали смоляные лучины. Все офицеры собрались прощаться: маленький рыцарь, и Заглоба, и Мушальский, и Ненашинец, и Громыка, и Мотовило, а с ними товарищи из отборных хоругвей. Бася и Эва, еще теплые и румяные со сна, пили на дорогу горячее вино с пряностями.

Володыёвский сидел подле жены, обняв ее за талию; Заглоба подливал вина, всякий раз приговаривая: «Еще, мороз-то знатный!» И Бася, и Эва одеты были по-мужски — так обыкновенно путешествовали женщины в этих краях. Бася была при маленькой сабле, в рысьей шубке, опушенной мехом ласки, в горностаевом, с ушами, колпачке, в широченных, похожих на юбку шароварах и в сапожках до колен, мягких, выпоротком подшитых. Поверх полагалась еще теплая делия и доха с капюшоном, — закутывать лицо. А пока Басино лицо было открыто, и солдаты, как всегда, дивились ее красе; иные же алчно поглядывали на Эвку, на ее влажные, для поцелуев созданные губы, а иные не знали, на которую смотреть, так желанны им были обе, что их трясло как в лихорадке и они перешептывались в дальнем конце комнаты:

— Тяжко человеку одному. Счастливый комендант! Азья счастливый!.. Эх!..

Огонь весело потрескивал в очаге, на заплатах пели уже петухи. Занимался день — морозный, погожий. Зарозовели покрытые толстым слоем снега крыши домов, амбаров и солдатских квартир.

С майдана доносилось фыркание коней и скрип снега, под ногами солдат из драгунских хоругвей и хоругвей товарищей, которые собрались здесь, чтобы попрощаться с Басей и татарами.

Наконец Володыёвский сказал:

— Пора!

Баська вскочила и упала в мужнины объятия. Он прильнул губами к ее губам, потом, нежно прижав жену к груди, стал целовать в глаза и в лоб и снова в губы. Долгой была та минута, очень любили они друг друга.

За маленьким рыцарем пришел черед Заглобы, после другие офицеры прикладывались к Басиной ручке, а она все повторяла звонким своим, серебристым, детским голоском:

— Доброго всем здоровья! Доброго здоровья!

Обе они с Эвой пошли надеть делии, а поверх доху с капюшоном, так что вовсе потонули в своих уборах. Перед ними широко

отворили двери, клубы пара ворвались в комнату — и все общество вышло на майдан.

Все светлее становилось от зари и снега. Гривы татарских бахматов и кожухи солдат заиндевели, и казалось, весь отряд, облаченный в белое, восседает на белых конях.

Бася с Эвой уселись в сани, высланные шкурами. Драгуны и рядовые из шляхетских хоругвей громко пожелали отъезжающим счастливого пути.

От этих криков несметные стаи воронья, которые суровая зима пригнала поближе к человеческому жилью, взлетели с крыш и с громким карканьем стали кружить в розовом воздухе.

Маленький рыцарь наклонился к саням и уткнулся лицом в Басин капюшон.

Долгой была та минута. Наконец он оторвался от жены и, осенив ее крестом, произнес:

— С богом!

И тогда Азья поднялся в стремянах. Дикое лицо его пламенело от радости и утренней зари. Он взмахнул буздыганом, так что бурка поднялась на нем, как крылья хищной птицы, и пронзительно крикнул:

— Тро-гай!

Заскрипели по снегу копыта. Обильный пар повалил из конских ноздрей. Первая шеренга татар медленно двинулась в путь, за нею вторая, третья, четвертая, за ними сани, затем снова шеренги — отряд по покатому майдану стал удаляться к воротам.

Маленький рыцарь осенил их крестом, наконец, когда сани уже миновали ворота, сложил руки трубочкой и крикнул:

— Будь здорова, Баська!

Но ответили ему только звуки рожков да громкое карканье черных птиц.

ГЛАВА XXXVII

Отряд черемисов почти в два десятка коней шел на милю впереди, он проверял дорогу и предупреждал комендантов о проезде пани Володыёвской — чтоб готовили квартиры. За этим отрядом следовала основная сила, затем сани с Басей и Эвой, еще одни сани с прислугою и замыкавший шествие меньший отряд. Из-за снежных заносов путь был труден. Сосновые боры, и зимою не сбрасывающие хвои, немного прикрывают землю от снега, но чернолесье, что тянулось по берегу Днестра, лишенное естественного своего свода, было до половины комлей засыпано снегом. Снег заполнил узкие овраги; местами снежные сугробы вздымались как морские волны, их вздыбленные гребни свешивались вниз — того гляди, рухнут и сольются с белой бескрайней равниной. Когда переезжали опасные овраги, татары на спусках придерживали сани веревками; только на возвышенных равнинах, где ветры выгладили снежный наст, удавалось быстро ехать по следам каравана, что вместе с нвираком и двумя учеными анардатами незадолго перед тем выехал из Хрептева.

Хотя путь был и труден, но все же не настолько, как бывало порою в этом лесистом, изрезанном реками, ручьями, расщелинами и оврагами краю, и они радовались, что перед наступлением ночи успеют добраться до глубокого оврага, в котором лежал Могилев. К тому же день обещал быть погожим. Вслед румяной заре встало солнце, и в его лучах ослепительно засияли леса и овраги. Ветви деревьев словно усыпали блестками; снег блестел так, что глазам становилось больно. С высоких мест сквозь опушки, как сквозь окна в лесу, взгляд устремлялся вдаль — туда, к Молдавии, и тонул в белом с синевой, залитом солнцем просторе.

Воздух был сухой, бодрящий. В такую пору люди, как и звери, чувствуют в себе силу и крепость; кони громко фыркали, выпуская из ноздрей клубы пара, а татары, как ни щипал их мороз, заставляя упрячивать ноги под полы халатов, знай себе распевали задорные свои песни.

Солнце наконец поднялось к самому зениту небесного шатра и стало пригревать. Басе с Эвой даже жарко сделалось в санях под шкурами; ослабив завязки и откинув капюшоны, они явили свету румяные лица. Бася принялась разглядывать окрестность, а Эва — искать глазами Азью. Подле саней его не было, он ехал впереди с небольшим отрядом черемисов, который высматривал дорогу, а в случае надобности расчищал ее от снега. Эва даже нахмурилась было, но пани Володыёвская, отлично знавшая воинскую службу, утешила ее.

— Все они такие. Служба есть служба. Михалек мой тоже и не взглянет на меня, когда службой занят. А как же иначе? Коли солдата любить, так уж хорошего.

— На постое-то он с нами будет? — спросила Эва.

— Гляди, еще надоест успеет. Ты заметила, когда выезжали, как он радовался? Так и сиял весь.

— Видала! Очень радовался!

— То ли еще будет, когда он разрешение получит от пана Нововейского!

— О! Что меня ждет! Будь на то воля божья! Хотя я просто обмираю, как подумаю о батюшке. Ну как кричать станет, ну как упрется да и откажет? Ох, и достанется мне, когда мы домой воротимся.

— Знаешь, Эвка, что я думаю?

— А что?

— То, что с Азьей шутки плохи! Брат твой еще мог бы ему противостоять, но у батюшки нет ведь гарнизона. Вот я и думаю, коли он упрется, Азья все едино тебя заполучит.

— Как же так?

— А вот так, похитит. Говорят, с ним шутки плохи... Как-никак Тугай-беева кровь... Обвенчается с тобою у первого попавшегося ксендза... В других-то местах надобны и помолвка, и бумаги, и разрешение, а у нас? Дикий край, все немного по-татарски...

Лицо у Эвы просияло.

— Вот этого я и боюсь! Азья на все готов, этого я и боюсь.

Бася быстро на нее взглянула и рассмеялась вдруг звонко, как ребенок.

— Уж конечно, боишься, как мышь крупы. Дело известное!

Эва, румяная от мороза, еще пуще зарделась:

— Батюшкиного проклятия я и впрямь боюсь, знаю ведь — Азья ни перед чем не остановится.

— Ты на лучшее надейся, — сказала Бася. — Кроме меня, тебе и брат помощник. Истинная любовь всегда свое возьмет. Мне это пан Заглоба сказал, когда я Михалу и во сне еще не снилась.

И, разболтавшись, они наперехват пустились рассказывать, одна об Азье, другая о Михале. Так прошло несколько часов, пока караван не остановился на первый короткий привал в Ярышеве. От городка, во все времена весьма убогого, после крестьянского вторжения осталась единственно корчма, которую привели в порядок, ибо частые переходы войск, несомненно, сулили ей выгоду.

Там Бася с Эвой застали проезжего купца, армянина родом из Могилева, который вез сафьян в Каменец.

Азья хотел выставить его во двор вместе с валахами и татарами, его сопровождавшими, но женщины позволили купцу остаться, только страже пришлось уйти. Купец, узнав, что проезжая — пани Володыёвская, принялся отвешивать ей поклоны и, к великой Басиной радости, до небес превозносить ее мужа.

Затем он пошел к своим вьюкам и, воротившись, поднес ей короб диковинных сластей и маленькую шкатулку, полную турецких лекарственных трав, душистых и обладающих чудодейственными свойствами.

— Примите в знак благодарности, — сказал он. — Совсем еще недавно мы и носа из Могилева не смели высунуть — и Азба-бей здесь свирепствовал, и разбойники повсюду таились — во всех оврагах и на той стороне, в укрытиях, а ныне путь безопасен, вот мы и ездим. Да приумножит бог дни хрептевского коменданта и всякий день столь долгим сделает, сколь долог путь от Могилева до Каменца, а всякий час так продлит, чтобы он днем казался. Наш-то комендант, писарь польный,[50] тот все больше в Варшаве отсиживается, а хрептевский комендант, он ухо держал остро и такую трепку задал разбойникам, что нынче им Днестр самой смерти страшнее.

— А что, пана Жевуского[51] нет в Могилеве? — спросила Бася.

— Он только войско привел и дня три сам тут пробыл. Позвольте, ваша милость, здесь изюм, а вот это — фрукт, какого и в Турции нету, его издалека доставляют, из Азии, он там на пальмах растет... Пана писаря нынче нету, а и конницы тоже нету, она вчера вдруг к Брацлаву подалась... Вот, сударыни, финики вам обеим, кушайте на здоровье... Остался один Гоженский[52] с пехотою, а конница вся как есть ушла...

— Странно, чего это конница ушла, — сказала Бася, вопросительно взглянув на Азью.

— Кони, верно, застоялись, — ответил Тугай-беевич, — нынче-то ведь спокойно!

— В городе слухи кружат, будто Дорош вдруг зашевелился, — сказал купец.

Азья рассмеялся.

— А чем он станет коней кормить, снегом, что ли? — обратился он к Басе.

— Пан Гоженский лучше вам это растолкует, — сказал купец.

— Мне тоже сдается, что пустое это, — подумав, сказала Бася, — кабы что было, муж мой первый о том бы знал.

— Без сомнения, в Хрептеве прежде стало бы известно, — сказал Азья. — Не бойтесь, сударыня.

Бася подняла светлое лицо к татарину и гордо раздула ноздри.

— Это я-то боюсь? Чудесно! Да откуда ты, сударь, это взял? Слышишь, Эвка, я — боюсь!

Эвка не сразу смогла ответить. Она любила поест, питала особое пристрастие к сладостям и теперь набила полный рот финиками, что не мешало ей, впрочем, кидать жадные взоры на Азью; лишь проглотив, она подхватила:

— С таким офицером и мне ничего не страшно.

И нежно, многозначительно взглянула в глаза молодому татарину; он же, с той поры как стала она для него помехой, испытывал к ней только гнев и тайное отвращение; не выдав себя ни единым жестом, он ответил, не поднимая глаз:

— В Рашкове ясно станет, заслужил ли я ваше доверие!

Это прозвучало чуть ли не угрозой. Но обе женщины, уже знакомые со странными свечами и обычаями молодого татарина, ничего не заподозрили. Впрочем, Азья тут же заторопился ехать дальше; к Могилеву вел крутой, трудный спуск, который следовало одолеть засветло.

И они тронулись дальше.

До самых взгорий ехали быстро. Там Бася хотела пересест на коня, но Азья уговорил ее оставаться с Эвой в санях, которые взяли на арканы и с величайшими предосторожностями стали спускаться по откосу.

Азья пеший сопровождал сани, но почти не говорил с женщинами, поглощенный заботой об их безопасности своей командой. Солнце зашло все же раньше, нежели они успели преодолеть горы, так что идущий впереди отряд черемисов принялся разжигать костры из сухих ветвей. Путники подвигались вперед меж багровых языков пламени и стоявших у огня мрачных фигур. А позади, за этими фигурами, в ночном мраке и отблеске костров обозначались расплывчатые, устрашающие очертания грозных обрывов.

Все это было ново, увлекательно, походило на опасную таинственную экспедицию. Басина душа ликовала, а сердце преисполнилось благодарности к мужу — за то, что позволил ей отправиться в неведомые края, и к Азье — за то, что он так умело их вел. Теперь только поняла Бася, что такое солдатские походы, о трудностях которых слышана была от военных, что такое крутые, головокружительные дороги. Безудержное веселье охватило ее. Она, конечно же, пересела бы на скакуна, но очень уж хотелось болтать с Эвкой, пугать ее. Когда передние отряды исчезли из глаз в извилистых теснинах и начали перекликаться дикими голосами, которые гулким эхом отдавались в зарослях, Баська, оборотясь к Эве, хватала ее за руки:

— Ого! Разбойники, а может, и орда!

Но Эва при одной мысли о молодом Тугай-беевиче тотчас успокаивалась.

— Его и разбойники, и орда чтят и боятся! — ответила она.

А чуть погода приникла к Басиному уху:

— Пускай в Белгород, в Крым пускай, только бы с ним!..

Луна высоко уже взмыла в небо, когда они миновали горы. И там, внизу, словно на дне глубочайшей пропасти, увидели россыпь огней.

— Могилев у наших ног, — раздался голос за спинами женщин. Бася обернулась; позади саней стоял Азья.

— Город на дне оврага лежит? — спросила Бася.

— Да. Горы полностью заслоняют его от холодных ветров, — сказал он, склоняясь над ними обеими. — Заметьте, сударыни, тут и климат совсем иной: тепло, затишно. И весна сюда дней на десять раньше приходит, нежели по ту сторону гор, и деревья раньше листвою покрываются. Вон видите, сереет что-то на склонах — это виноград, пока еще под снегом.

Снег лежал повсюду, однако тут и в самом деле было теплей и тише.

По мере того как они медленно спускались вниз, огней прибывало.

— Славный город и довольно обширный, — заметила Эва.

— Оттого, что татары во время крестьянского мятежа его не сожгли — тут казацкое войско зимовало, а ляхов почти и не было.

— А кто в нем живет?

— Татары. У них здесь минаретик свой деревянный, ведь в Речи Посполитой всякий волен свою веру исповедовать. Еще валахи тут живут, армяне и греки.

— Греков я как-то в Каменце видела, — сказала Бася. — Они, торгуя, повсюду проникают, хотя живут довольно далеко отсюда.

— Поставлен город тоже необычно, — сказал Азья. — Сюда множество людей приходит торговать. Вон то поселение на отшибе, что мы издали видели, зовется Сербь.

— Въезжаем, — сказала Бася.

Они въехали в город. Станный запах кожи и кислотышибанул их. То был запах сафьяна, выделкой которого занимались, по сути дела, все жители Могилева, армяне в особенности. Азья верно говорил — город отличался своеобразием. У домов, построенных на азиатский манер, окна были забраны густой деревянной решеткой и зачастую вовсе не выходили на улицу, зато со дворов взвивался кверху сноп огней. Улицы были немощеные, хотя камня в окрестностях хватало. Кое-где высились странной формы строения с решетчатыми, прозрачными стенами. То были сушильни, где свежий виноград превращался в изюм. Запах сафья-

на царил в городе повсюду.

Пан Гоженский, главный над пехотою, предупрежденный черемисами о прибытии супруги хрептевского коменданта, выехал верхом ей навстречу. Это был человек уже немолодой, косноязычный и шепелявый — лицо его прошила янычарская пуля. Когда он, непрестанно заикаясь, завел речь о звезде, «коя взошла на небеса могилевские», Бася чуть не прыснула. Но принял он ее весьма гостеприимно. В фортеции ожидал их ужин и на редкость удобный ночлег: свежие и чистые пуховые постели, взятые в секвестр у богатых армян. Гоженский, заикаясь, поведал им за ужином, поздним уже вечером, вещи столь интересные, что их стоило послушать.

По его словам, беспокойным каким-то ветром повеяло вдруг из степей. Пронесся слух, будто мощный чамбул крымской орды, стоявший у Дороша, внезапно двинулся к Гайсыну и к северу от него; к чамбулу присоединилось несколько тысяч казацких конников. Кроме того, невесть откуда пришло много иных тревожных слухов, однако Гоженский не слишком в них верил.

— Зима на дворе, — сказал он, — а с той поры как господь бог сотворил этот край, татары исключительно весной начинают шевелиться, поскольку обозов у них нет и фураж для лошадей они с собою брать не могут. Мы хорошо знаем: турков только мороз на дворе держит, так что с первой травой жди гостей, но чтобы зимой — никогда в это не поверю.

Бася долго терпеливо ждала, пока Гоженский все выскажет, а он заикался и двигал губами, словно что-то беспрерывно жевал.

— А как же вы, сударь, разумеете продвижение орды к Гайсыну? — наконец спросила она.

— А так разумею, что там, где стояли орды, лошади почитай всю траву из-под снега выгребли, вот и хотят они в другом месте кош заложить. И того не исключаю, что орда, близ Дорошева войска расположившись, не в ладах с ним — это дело обычное... И союзники они, и воюют вместе, но стоит солдатам ихним рядом оказаться — что на пастбище, что на базаре, — и готово дело, драка.

— Это верно, — подтвердил Азья.

— И вот еще что, — продолжал Гоженский, — вести эти не directe «Прямо; непосредственно (лат.)» от наездников пришли, а от мужиков, да и здешние татары вдруг заговорили об этом. Три дня тому пан Якубович языков из степи привез, они вести эти подтвердили; вот вся конница враз и выступила.

— Выходит, вы, сударь, с одною пехотой тут остались? — спросил Азья.

— Не приведи господь! Сорок человек! Едва хватает для охраны крепости; кабы одни лишь могилевские татары поднялись, и то не знаю, как бы я справился.

— Но они-то хотя бы не поднимутся? — спросила Бася.

— Да нет, ни к чему им. Большинство постоянно в Речи Посполитой живет с женами да с детьми — это наши люди. Ну, а чужие — те торговать сюда прибыли, не воевать. Народ мирный.

— Я вашей милости пятьдесят своих всадников оставляю, — сказал Азья.

— Награди вас бог! Очень вы мне этим удружите, будет кого к нашей коннице за вестями посылать. А и вправду можете оставить?

— Могу. В Рашков придут отряды ротмистров, которые некогда к султану перешли, а нынче пожелали вернуться на службу Речи Посполитой. Крычинский, тот несомненно придет с тремястами коней; может статься, и Адурович, остальные подойдут позднее. Гетман велел мне над всеми ними принять командование — к весне, глядишь, целая дивизия соберется.

Гоженский поклонился Азье. Знал он его давно, да не слишком ценил как человека сомнительного происхождения. Теперь, однако, он знал, что Азья сын Тугай-бея, весть эту принес первый караван, в котором нвирак ехал; и Гоженский чтил теперь молодого татарина и за то, что в нем течет кровь великого, хотя и враждебного воителя, и как офицера, коему гетман доверил столь важное дело.

Азья вышел, чтобы отдать распоряжения, вызвал к себе сотника Давида и сказал ему так:

— Давид, сын Искандера, ты с полсотней коней в Могилеве останешься, и пусть глаза твои видят, а уши слышат, что окрест творится. А если Маленький Сокол послание какое из Хрептева мне вослед пошлет, то гонца удержишь, письмо отымешь и через верного человека мне отошлешь. Здесь останешься, покуда я приказа не пришлю, чтобы ворочался, а тогда, коли гонец мой скажет, что ночь стоит, ты тихо город покинешь, а коли скажет он, что день близится, ты город подожжешь, а сам на молдавский берег переправишься и пойдешь, куда будет велено...

— Да будет так, господин! — ответил Давид. — Глазами смотреть буду, ушами слушать; гонцов от Маленького Сокола задержу и, письма у них отнявши, тебе через верного человека перешлю. Останусь тут, покуда приказ не получу, а тогда, коли гонец твой скажет, что ночь стоит, — спокойно город покину, а коли скажет он, что день близок, — я город подожгу, сам же на молдавский берег переправлюсь и подойду, куда будет велено.

Поутру, чем свет, отряд, уменьшенный на пятьдесят коней, пустился снова в путь. Гоженский проводил Басю за могилевскую лощину, произнес, заикаясь, прощальную речь и воротился в Могилев, а путешественники поспешили к Ямполю.

Азья весел был необычайно и так подгонял людей, что Бася даже удивилась.

— С чего это ты, сударь, так торопишься? — спросила она.

— Всякий к счастью своему торопится, а меня оно в Рашкове ожидает.

Эва, приняв эти слова на свой счет, улыбнулась нежно и, набравшись смелости, произнесла:

— Только вот отец мой...

— Пан Володыёвский ни в чем помешать мне не сможет, — ответил татарин.

И злоеющая молния мелькнула в его взоре.

В Ямполе они почти не застали войска — пехоты там никогда и не было, а конница вся как есть покинула город; не более двадцати человек осталось в маленьком замке, вернее, в его руинах... Ночлег им был приготовлен, но спала Бася плохо, вести начали тревожить ее. Прежде всего она подумала, как забеспокоится Михал, если окажется, что чамбул Дорошенко и в самом деле поднялся с места; взбадривала ее только мысль, что такое вряд ли возможно. Приходило на ум, что лучше бы воротиться, взяв для безопасности часть солдат Азьи, но мучали всякого рода сомнения. Ведь Азья, призванный усилить Рашковский гарнизон, мог дать ей только небольшую охрану, которая в случае действительной опасности оказалась бы недостаточной; к тому же две трети пути уже были пройдены, а в Рашкове их знакомый офицер и сильный гарнизон; укрепленный командой молодого Тугай-бея и отрядами татарских ротмистров, он мог вырасти в значительную силу. И Бася рассудила ехать дальше.

Но спать она не могла. Впервые за время путешествия ее охватила neodолимая тревога, словно неведомая опасность нависла над нею. Быть может, тревога усилилась из-за ночлега в Ямполе — город был страшный, кровавый. Бася знала об этом из рассказов мужа и Заглобы. Здесь во времена Хмельницкого стояли под водительством Бурляя главные силы подольских душегубов; сюда сгоняли пленников и переправляли их на восточные базары или злодейски умерщвляли; наконец, сюда весной 1651 года,[53] во время многолюдной ярмарки, ворвался Станислав Ланцкоронский, воевода брацлавский, и учинил страшную резню, память о которой свежа была во всем Приднестровье.

И потому кровавые воспоминания витали над поселением, там и сям чернелись еще пепелища, а со стен маленького полуразру-

шенного замка, казалось, глядели убиенные казаки и поляки с белыми лицами. Бася была отважная, но духов боялась, а говорили, что в самом Ямполье, в устье Шумиловки и на ближних Днестровских порогах что ни полночь слышатся великий плач и стенания, а вода в лунном свете становится алой, словно окрашена кровью. При мысли об этом тягостной тревогой наполнилось Басино сердце. Она невольно вслушивалась в ночную тишину, не доносятся ли сквозь шум порогов рыдания и стоны. Но слышно было лишь протяжное солдатское «Слу-ша-а-ай!». И припомнилась Басе тихая хрептевская горница, муж, пан Заглоба, приветливые лица пана Ненашинца, Мушальского, Мотовило, Снитко, и в первый раз почувствовала Бася, как далеко она от них, ох, далеко, в чужой стороне, и такая одолела ее тоска по Хрептеву, что захотелось плакать.

Уснула она только под утро, и снились ей странные сны. Бурляй, душегубы, татары, кровавые картины резни мелькали в сонном ее мозгу, и в этих картинах она неизменно видела лицо Азьи, но то был как бы и не Азья вовсе, а казак, либо дикий татарин, либо сам Тугай-бей.

Поутру она встала, радуясь, что ночь с ее ужасными видениями уже позади. Далее Бася решила ехать верхом: и поразмяться, и дать возможность Азье поговорить с Эвой наедине, ведь Рашков был уже не за горами, и им полагалось бы вместе подумать, как объявить обо всем старику Нововойскому и получить от него благословение. Азья, сам державший ей стремя, не подсел, однако, в сани к Эве; сперва он вынесся вперед, во главу отряда, затем приблизился к Басе.

Она, тотчас заметив, что отряд еще приуменьшился после Ямполья, обратилась к молодому татарину:

— Я вижу, сударь, ты и в Ямполье часть своих людей оставил?

— Пятьдесят коней, как и в Могилеве.

— Зачем же?

Он странно усмехнулся — губа приподнялась, как у злого, ощеренного пса, — и, чуть помедлив, ответил:

— Хочу располагать этими людьми, дабы обезопасить обратный путь вашей милости.

— Коли войско из степей воротится, его и так будет довольно.

— Войско так скоро не воротится.

— Откуда тебе это известно?

— Ему надлежит доподлинно узнать, что там у Дороша, а это отнимет три, а то и четыре недели.

— Ну, коли так, ты верно сделал, оставив своих людей.

Какое-то время они ехали молча. Азья то и дело поглядывал на розовое лицо Баси, наполовину скрытое поднятым воротником

дохи и капюшоном, и всякий раз прикрывал глаза, словно хотел запечатлеть в памяти прелестный ее образ.

— Тебе, сударь, с Эвой надобно поговорить, — начала снова Бася. — И вообще, ты мало с ней говоришь, ей порой даже странно это. Ведь скоро перед лицом пана Нововейского предстанете... Мне и самой неспокойно... Вам бы посоветоваться, с чего начать.

— Мне сперва с вашей милостью поговорить бы хотелось, — странным голосом ответил Азья.

— Так за чем же дело стало?

— Гонца из Рашкова дожидаясь. Я надеялся уже в Ямполье его застать. Вот и высматриваю.

— А при чем тут гонец?

— Вон, кажется, едет! — ответил, избегая ответа, молодой татарин.

И вырвался вперед, но тут же и вернулся.

— Нет, не он!

Во всей его фигуре, в словах, во взгляде, голосе было что-то столь тревожное и лихорадочное, что тревога эта передалась Басе. Однако же до той поры ни малейшего подозрения не закралось ей в душу. Беспокойство Азьи легко объяснялось близостью Рашкова и грозного Эвиного отца, но у Баси отчего-то было так тяжело на душе, словно решалась ее собственная участь.

Подъехавши к саням, она несколько часов кряду держалась подле Эвы и говорила с нею о Рашкове, об отце и сыне Нововейских, о Зосе Боской, наконец, об окрестности, которая становилась все более дикой и устрашающе пустынной. Правда, пустынно стало сразу за Хрептевом, но там все же на горизонте порою вился дымок — признак человеческого жилья, быть может, хутора. А тут не было никаких следов человека, и, не зная Бася, что она едет в Рашков, где живут люди и стоит польский гарнизон, она могла бы предположить, что ее влекут куда-то в неведомые дали, на чужбину, на край света.

Озираясь окрест, она невольно придержала коня и вскоре отстала от саней и отряда. Спустя минуту Азья присоединился к ней; отлично зная здешние места, он стал показывать их и называть.

Но продолжалось это недолго — земля начала вдруг дымиться. Очевидно, зима в южной этой стороне была менее суровой, нежели в лесистом Хрептеве. Кое-где в ложбинах, расселинах, на горных уступах и на северных склонах гор лежал, правда, снег, но земля не сплошь была им покрыта, она чернела зарослями кустарника или поблескивала влажной пожухлой травой.

От травы этой поднималась теперь летучая белесая мгла и парила низко над землей, так что издали казалось, будто большая

вода сплошь заполнила долины и широко разлилась по всей равнинной местности; затем мгла начала возноситься все выше, заслоня солнечный свет и переменяя погожий день на мгlistый и хмурый.

— Завтра дождь будет, — сказал Азья.

— Только бы не сегодня. Далеко ли еще до Рашкова?

Тугай-беевич окинул взглядом едва различимые сквозь туман окрестности и ответил:

— Отсюда до Рашкова ближе, нежели обратно до Ямполя.

И вздохнул с облегчением, словно великая тяжесть спала с его плеч.

В эту минуту со стороны отряда послышался конский топот и в тумане замаячил всадник.

— Халим! Это он! — вскричал Азья.

Это и в самом деле был Халим; поравнявшись с Азьей и Басей, он соскочил с бахмата и низко поклонился молодому татарину.

— Из Рашкова? — спросил Азья.

— Из Рашкова, господин мой! — ответил Халим.

— Что там слышать?

Старик поднял к Басе безобразное, иссохшее от тяжких испытаний лицо, как бы спрашивая взглядом, может ли он говорить при ней.

— Говори смело! — сказал Тугай-беевич. — Войско вышло?

— Да, господин. Горстка их там осталась.

— Кто их повел?

— Пан Нововейский.

— А Пиотровичи выехали в Крым?

— Давно уж. Остались только две женщины и старый пан Нововейский с ними.

— Крычинский где?

— На том берегу. Ждет!

— Кто там с ним?

— Адурович со своим отрядом. Оба бьют тебе челом, сын Тугай-бея, и отдаются во власть твою — и, те, кто не успел еще подойти.

— Прекрасно! — сказал Азья, и глаза его загорелись. — Немедля мчись к Крычинскому и вели ему Рашков занять.

— Воля твоя, господин!

Халим мгновенно вскочил на коня и исчез, как призрак, в тумане...

Страшным, зловещим огнем горело лицо Азьи. Решающая, долгожданная минута, минута наивысшего его счастья наступила... Однако сердце его билось так сильно, что перехватывало дыхание... Какое-то время он молча ехал рядом с Басей и, лишь когда почувствовал, что голос не изменит ему, обратился к ней бездонные

сверкающие глаза и сказал:

— Теперь мне надобно открыться вам, ваша милость...

— Слушаю, — ответила Бася, пристально в него вглядываясь, словно надеясь прочесть что-то в изменившемся его лице.

ГЛАВА XXXVIII

Азья на своем коне вплотную, стремя в стремя, приблизился к Басиному скакуну и еще несколько десятков шагов ехал молча. Все это время он старался успокоиться и не мог взять в толк, отчего так это трудно ему, раз уж Бася у него в руках и никто в целом мире не в силах теперь ее отнять. Но он и сам того не ведал, что в душе его, вопреки всякой очевидности, тлела искорка надежды на то, что желанная женщина ответит ему взаимностью. Надежда была слабая, но жаждал он этого так сильно, что его трясло как в ознобе. Нет, не протянет к нему рук желанная, не упадет в его объятия, не скажет слов, о которых мечтал он ночи напролет: «Азья, я твоя!» — не прильнет устами к его устам, он знал это... Но как примет она его слова? Что скажет? Лишится ли чувств, как голубь в когтях ястреба, и позволит взять себя, подобно тому же бессильному голубю? Или в слезах станет молить о пощаде, иль криком ужаса огласит пустынные места? К лучшему ли все это, к худшему ли? Такие вопросы теснились в голове татарина. А меж тем пробил час отбросить всякое притворство, снять личину и открыть ей истинное, страшное свое лицо... Страх! Тревога! Еще, еще минута — и все свершится!

В конце концов удушливое беспокойство — как оно бывает у хищников — начало сменяться яростью... И он принялся разжимать ее в себе.

«Как бы то ни было, — думал он, — она моя, вся моя, моею еще нынче будет и завтра будет моей, а после — ей уж не вернуться к мужу, только и останется, что за мною идти...»

При этой мысли дикая радость вспыхнула в нем, и он заговорил вдруг голосом, который ему самому показался чужим:

— Вы, ваша милость, до сей поры не знали меня!..

— В этом тумане очень голос у тебя переменился, — с некоторым беспокойством ответила Бася, — и в самом деле будто кто другой говорит.

— В Могилеве войска нету, и в Ямполье нету, и в Рашкове нету! Я один тут над всеми повелитель!.. Крычинский, Адурович и прочие — рабы мои, ибо я князя, владыки, сын, я им визирь и мурза наивысший, я вождь им, как Тугай-бей был вождь, я им хан, на моей стороне сила, и все здесь мне подвластно...

— Почему ты, сударь, говоришь мне это?

— Вы, ваша милость, до сей поры не знали меня... Рашков уже близок... Я хотел стать гетманом татарским, Речи Посполитой служить, да пан Собеский не дозволил... Отныне не польский я татарин и никому не подвластен, я сам большие чамбулы поведу,

на Дороша или на Речь Посполитую, это уж как вы, ваша милость, пожелаете, как вы мне велите!

— Как я велю?... Азья, да что с тобою?

— А то со мною, что все тут мои рабы, а я — твой раб! Что мне гетман! Дозволил — не дозволил! Слово, ваша милость, молви, и я Аккерман к ногам твоим положу, и Добруджу тоже; и те орды, что в улусах тут живут, и те, что в Диком Поле кочуют, и те, что на зимовищах, все твоими рабами станут, как я — твой раб... Велишь, я хана крымского слушаюсь и султана слушаюсь и с мечом против них пойду, помощь окажу Речи Посполитой, и новую орду в крае том создам, и буду ханом в ней, а ты одна повелевать мною будешь, тебе одной буду я челом бить и о благосклонности, о милости молить!

Он перегнулся в седле, и, обняв за талию потрясенную и словно бы оглушенную его словами женщину, продолжал прерывисто и хрипло:

— Иль не ведала ты, что я одну тебя люблю!.. А уж настрадался-то как... Я и так тебя возьму!.. Ты моя уже и будешь моею!.. Никто не вырвет тебя из рук моих! Моя ты! Моя! Моя!

— Иисус, Мария! — вскричала Бася.

Он все сильнее душил ее в объятьях... Короткое дыхание рвалось с губ его, глаза заволокло пеленою, наконец он выволок ее из стремян и с седла и усадил прямо перед собою, прижимая грудь к своей груди, и синие его губы, жадно раскрывшись, словно рыба пасть, искали ее губ.

Она даже не вскрикнула, но с неожиданной силою стала сопротивляться. Меж ними завязалась борьба, слышалось лишь шумное дыхание обоих. Резкость его движений и близость его лица вернули ей присутствие духа. Дар ясновидения снизошел на нее, какой нисходит на утопающих. В один миг она необычайно отчетливо осознала происходящее. Прежде всего, что земля разверзлась у нее под ногами, открыв бездонную пропасть, куда он неудержимо тащил ее; она прозрела и страсть его, и измену, страшную свою судьбу, свою немощь и бессилие, ощутила тревогу, безмерную боль и тоску, но в то же время пламя неистового гнева вспыхнуло в ней, и бешенство, и жажда мести.

Такая душевная сила была у самоотверженного этого ребенка, у любимой жены отважнейшего рыцаря Речи Посполитой, что в страшную ту минуту первой ее мыслью было: «Отомстить!», а после уж: «Спаستись!» Разум ее напрягся до предела, и ясность сознания стала почти чудодейственной. Руки ее принялись шарить оружие и наконец наткнулись на костяной ствол его пистолета. Но тотчас она смекнула, что если даже пистолет заряжен и она успеет взвести курок, то прежде, нежели сожмет ла-

донь, приставит дуло к его голове, он неминуемо схватит ее за руку и лишит последней возможности спастись.

И потому решила действовать иначе.

Все произошло в мгновение ока. Он и в самом деле угадал ее намерения и молниеносно выбросил руку вперед, но руки их разминулись, и Бася со всей силой молодости, мужества и отчаяния ударила его костяной рукоятью пистолета меж глаз.

Удар был такой силы, что Азья, даже не вскрикнув, рухнул навзничь, как громом пораженный, увлекая ее за собою.

Бася тотчас вскочила и, вспрыгнув на своего скакуна, вихрем понеслась прочь от Днестра в глубь степи. Завеса тумана сомкнулась за нею. Конь, прижав уши, вслепую мчался среди скал, ущелий, обрывов, проломов. В любую минуту мог он рухнуть с кручи, в любую минуту мог разбиться вместе с всадницей о скалистые уступы, но Басе все уже было нипочем; не было для нее опасности страшнее, нежели татары и Азья... И странное дело! Теперь, когда она вырвалась из рук хищника и он, скорее всего бездыханный, лежал средь камней, над всеми ее чувствами возобладала тревога. Прижавшись лицом к конской гриве, мчалась в тумане подобно серне, преследуемой волками, она боялась теперь Азьи несравненно больше, нежели в тот миг, когда была в его объятьях; страх и бессилие завладели ею, она чувствовала себя слабым, заблудшим, одиноким и покинутым ребенком, предоставленным воле божьей. Какие-то рыдающие голоса возникли в ее сердце и стали вызывать, стелая и тоскуя: «Михал, спаси! Михал, спаси!»

А скакун мчал все дальше; гонимый чудесным инстинктом, он перескакивал через проломы в скалах, ловко обходил острые уступы, пока наконец скальный грунт перестал звенеть под его копытами — вероятно, вырвался на ровную луговину, какие простирались здесь меж оврагами.

Конь весь был в мыле, он шумно дышал, раздувая ноздри, однако же неся во весь опор.

«Куда бежать?» — подумала Бася.

И тотчас сама ответила:

«В Хрептев!»

Однако новая тревога сжала ей сердце при мысли о том, какой далекий предстоит ей путь через жуткую, бескрайнюю пустыню. И то еще ей вспомнилось, что Азья оставил отряды татар в Могилеве и Ямполье. Без сомнения, все татары в стоворе, все они служат Азье, так что, изловив, неминуемо доставят ее в Рашков; надлежало поэтому поглубже уйти в степь, а затем лишь повернуть на север, минуя приднестровские селения.

Это имело смысл еще и потому, что погоня, если таковая будет, несомненно направится вдоль берега; к тому же в степи может

встретиться польский отряд, возвращающийся в крепость.

Конь постепенно замедлял бег. Бася, будучи опытной наездницей, сразу поняла, что надо дать ему роздых, чтобы не запалить его. Ясно было и то, что остаться ей среди бескрайних этих степей без коня равносильно гибели.

Бася убавила ход коня и какое-то время ехала шагом. Мгла редела, от бедного скакуна валил горячий пар.

Бася принялась молиться.

Вдруг в тумане, в нескольких сотнях шагов от нее, послышалось конское ржанье.

Волосы на голове у нее встали дыбом.

— Своего загоню, но и тех тоже! — произнесла она громко.

И припустила коня.

Какое-то время скакун летел подобно голубю, преследуемому балабаном; мчался он так довольно долго, из последних уже сил, но вдалеке по-прежнему слышалось ржание. И было в этом из тумана долетавшем ржании что-то безмерно тоскливое и вместе грозное. После первой тревоги Басе, однако же, пришло в голову, что если бы на преследующем ее коне сидел бы кто-то, конь бы не ржал; всадник, чтобы не обнаружить себя, заставил бы его молчать.

«Не иначе как бахмат Азьи бежит за моим», — подумала Бася.

Она вытащила из кобуры оба пистолета, но предосторожность оказалась напрасной. Спустя минуту что-то зачернелось в редющей мгле и показался бахмат Азьи. При виде Басиной лошади он вприпрыжку подбежал к ней, раздувая ноздри и издавая короткое, прерывистое ржание. Скакун тотчас ответил ему.

— Ко мне! — позвала Бася.

Бахмат, привычный к человеческим рукам, подошел к ней и позволил взять себя под уздцы. «Слава тебе, господи!» — проговорила Бася, подняв глаза к небу.

В самом деле, то, что она заполучила коня Азьи, было для нее обстоятельством необычайно благоприятным.

Во-первых, два лучших в отряде коня были в ее руках; во-вторых, теперь она могла менять лошадей и, наконец, в-третьих, то, что лошадь Азьи пришла сюда, означало, что погоня выйдет не скоро. Последуй бахмат за отрядом, татары, встревожившись, несомненно, тотчас бы воротились искать своего главаря; теперь же, возможно, им и в голову не придет, что с Азьей что-то произошло, и на поиски они отправятся, только обеспокоившись слишком долгим его отсутствием.

— «А я к тому времени буду уже далеко», — подумала Бася.

Тут ей снова вспомнилось, что в Ямполе и в Могилеве стоят отряды Азьи.

«Чтобы миновать их, надобно поглубже в степь уйти, а к реке приблизиться разве что в окрестностях Хрептева. Хитро расставил ловушки страшный этот человек, да бог убережет меня от них!»

Укрепившись духом, она приготовилась ехать дальше.

У седельной луки Азьева коня Бася обнаружила мушкет, рог с порохом, мешочек с пулями и мешочек с конопляным семенем, которое татарин имел обыкновение грызть. Подтянув стремяна бахмата по своей ноге, она подумала, что будет, подобно птице, всю дорогу питаться этим семенем, и старательно припрятала мешочек.

Бася вознамерилась объезжать стороной людей и хутора, поскольку в этакое безлюдье от человека можно ждать скорее зла, нежели добра. Сердце ее сжималось при мысли, чем кормить лошадей. Они могут, конечно, выщипывать траву из-под снега, мох из скалистых расщелин, ну а если все же падут от плохой пищи и тяжелых переходов? А щадить их ей нельзя...

Страшно было и заблудиться в этой пустыне. Хорошо бы держаться днестровского берега, но такой путь ей заказан. Что будет, когда она углубится в мрачные лесные дебри, необъятные, без дорог? Как узнает, к северу ли она движется, если наступят туманные дни без солнца и ночи без звезд? То, что в лесах полно диких зверей, не слишком ее заботило: она обладала отважным сердцем и оружием. Волчьи стаи представляли, правда, опасность, но она больше боялась за лошадей, чем зверей, а всего более боялась заблудиться.

— Бог укажет мне дорогу и позволит воротиться к Михалу, — громко сказала она.

Перекрестившись, Бася утерла рукавом осунувшееся свое лицо — влажное, оно зябло, — затем зорко оглядела окрестность и пустила коней вскачь.

ГЛАВА XXXIX

Тутай-беевича никто и не думал искать, и он лежал в пустынном месте, покуда не пришел в себя.

Очнувшись, он сел и, силясь понять, что с ним, стал озираться вокруг.

Однако же видел он все как в полумраке и вскоре осознал, что видит всего одним глазом, да и то плохо. Второй был выбит или залит кровью.

Азья поднес руки к лицу. Пальцы его нащупали запекшуюся кровь на усах; во рту тоже полно было крови, он давился, кашлял, плевал ею; страшная боль пронзала лицо, он ощупал его повыше усов, но тут же со стоном отдернул пальцы.

Ударом своим Бася раздробила ему переносицу.

Минуту он сидел неподвижно; затем огляделся одним своим глазом, который как-то еще видел свет, заметил в расселине немного снега, подполз туда и, набрав его полную пригоршню, приложил к разбитому лицу.

Это сразу принесло невыразимое облегчение; когда снег, тая, розовыми струйками стекал ему на усы, он снова набирал его в горсть и снова прикладывал. А потом принялся жадно есть снег, это тоже приносило облегчение. Спустя какое-то время он перестал ощущать безмерную тяжесть в голове и вспомнил, что с ним случилось. Но в первую минуту не испытал ни бешенства, ни гнева, ни отчаяния. Телесная боль заглушила в нем все иные чувства, оставив одно-единственное желание — спастись любой ценою.

Заглотава еще несколько пригоршней снега, Азья стал высматривать свою лошадь: лошади не было; тогда он понял, что, если не хочет ждать, пока татары его хватятся, надобно идти пешком.

Он попытался встать, опершись на руки, но только завыл от боли и снова сел.

Он просидел около часа и снова сделал усилие подняться. На сей раз это ему удалось, он встал и, опершись спиной о скалу, сумел удержаться на ногах; но при мысли о том, что придется оторваться от опоры и сделать шаг в пространство, а за ним второй и третий, чувство такой немоги и страха овладело им, что он чуть было снова не сел.

Однако все же превозмог себя, вынул саблю и, опираясь на нее, двинулся вперед. Получилось. Сделав несколько шагов, он почувствовал, что ноги и тело у него сильные, что он отлично владеет ими, вот только голова будто не своя, как огромная гиря, мотается вправо, влево, взад, вперед. Эту слишком тяжелую голову прихо-

дилось нести с чрезвычайной осторожностью — ужасно страшно было уронить ее и разбить о камень.

Временами голова кружилась, темнело в единственном способном видеть глазу, тогда он обеими руками опирался на саблю.

Постепенно головокружение стало меньше, боль, однако, все возрастала и так сверлила во лбу, в глазах, во всей голове, что Азя принимался выть.

Горное эхо вторило ему, и так он двигался среди пустыни окровавленный, страшный, похожий больше на упыря, чем на человека.

Смеркалось уже, когда он услышал впереди конский топот.

То был десятник из его хоругви, приезжавший за распоряжениями.

В тот вечер у Ази хватило еще сил выслать погоню, после чего он повалился на шкуры и три дня никого не желал видеть, кроме грека-цирюльника, который перевязывал ему раны, и Халима, цирюльнику тому подсоблявшего. Только на четвертый день Азя обрел дар речи, а с нею и сознание того, что произошло.

И тут же лихорадочная его мысль помчалась вослед Басе. Он видел ее то бегущей среди скал, в бескрайней степи, то птицею улетающей навечно; видел ее в Хрептеве, видел в объятьях мужа, и зрелище это вызывало в нем боль, куда более жестокую, чем боль от раны, а с нею тоску, а с тоскою чувство позора.

— Бежала! Бежала! — повторял он непрестанно, и бешенство душило его; порою казалось, будто он снова впадает в забытие.

— Горе мне! — отвечал он Халиму, когда тот старался его успокоить и уверял, что Басе не уйти от погони, и отшвыривал ногами шкуры, которыми старый татарин укрывал его, и грозил ножом ему и греку, и выл диким зверем, и срывался с места, чтобы мчаться, догнать, схватить ее, а потом в гневе и дикой страсти задушить собственными руками.

Порою он бредил в жару; как-то подозревал Халима и велел немедля принести ему голову маленького рыцаря, а жену его, связав, запереть в чулане. Случалось, он говорил с нею, молил, угрожал, а то протягивал руки, чтобы обнять ее; наконец погрузился в глубокий сон и проспал целые сутки. Зато, когда проснулся, жар совсем отпустил его; теперь можно было принять Крычинского и Адуровича.

Им это было крайне необходимо: они не знали, что делать. Правда, войско, которое вышло из города во главе с молодым Нововойским, должно было воротиться только недели через две, но что, если оно вдруг прибудет раньше? Разумеется, Крычинский с Адуровичем лишь делали вид, будто хотят вернуться на службу Речи Посполитой, всем верховодил здесь Азя — он один мог

распорядиться ими, он один мог разъяснить, что нынче выгодней: немедля идти назад, в султанские земли, или притворяться, и как долго притворяться, будто они служат Речи Посполитой? Оба отлично знали, что сам Азья в конце концов предаст Речь Посполитую, не исключено, однако, что он велит им повременить с изменой до начала войны, чтобы после извлечь из этого большую пользу. Его указания были для них непреложны: он навязался им в вожди как голова всего дела, как самый хитрый и влиятельный человек, наконец, как сын Тугай-бея — прославленного среди ордынцев воителя.

Преисполненные усердия, встали они у его ложа, низко кланясь, а он в ответ приветствовал их, глядя одним глазом из-под перевязок, слабый еще, но бодрый. И начал так:

— Я болен. Женщина, которую хотел я для себя похитить, вырвалась из моих рук, ранивши меня рукоятью пистолета. То была жена коменданта Володыёвского... Да падет мор на него и на весь его род!..

— Быть посему! — ответили оба ротмистра.

— Да ниспошлет вам аллах, правоверные, счастье и удачу!..

— И тебе, господин!

И тут же принялись обсуждать, как надлежит им действовать.

— Медлить нельзя, надо уходить к султану, не дожидаясь войны, — сказал Азья. — После того, что случилось с той женщиной, они перестанут доверять нам и в сабли на нас ударят. Но мы прежде нанесем им удар и сожжем этот город во славу аллаха! А горсть солдат, что тут осталась, ясырями возьмем, добро валахов, армян и греков меж собою разделим и за Днестр подадимся, в султанские земли.

У Крычинского и Адуровича, которые вконец одичали, с давних пор кочуя и грабя вместе с дикой ордой, при этих словах загорелись глаза.

— Благодаря тебе, господин, — молвил Крычинский, — нас пустили в этот город, который бог отдает нам нынче...

— Нововейский думал, что мы на службу Речи Посполитой переходим, он знал, что ты подходишь, чтобы соединиться с нами, и потому счел нас своими, как тебя своим считает.

— Мы стояли на молдавской стороне, — вставил Адурович, — но оба с Крычинским в гости к нему наезжали, и он принимал нас как шляхтичей и так говорил: нынешним своим поступком вы страшные грехи искупаете, а коль скоро гетман вас за поручительством Азьи простил, мне-то чего на вас волком смотреть? Он хотел даже, чтоб мы в город вошли, но мы так ответили: «Не войдем, куда Азья, сын Тугай-бея, не вручит нам позволение от гетмана...» Напоследок он еще пир нам закатил и просил, чтобы

мы за городом присматривали...

— На пиру том, — подхватил Крычинский, — видели мы отца его и старуху, что мужа в плену разыскивает, и ту девицу, на которой Нововейский жениться надумал.

— А, — вскричал Азя, — верно, они же все тут!.. А панну Нововейскую я сам привез!

И хлопнул в ладоши, а когда, мгновение спустя, появился Халим, сказал ему так:

— Пускай татары мои, как огонь в городе увидят, тотчас кинутся на солдат, что в крепости остались, и перережут им глотки; а женщин и старого шляхтича пускай свяжут и стерегут до моего распоряжения.

Потом обратился к Крычинскому и Адуровичу:

— Сам я помогать вам не буду, слаб еще, однако на коня все же сяду, чтобы поглядеть хотя бы. Ну, други мои, за дело!

Крычинский с Адуровичем опрометью кинулись к дверям, он же вышел вслед за ними и, велев подать себе коня, подъехал к частоколу, чтобы из ворот высоко положенной крепости наблюдать за тем, что происходит в городе.

Липеки во множестве перелезли через частокол, чтобы с вала насытиться видом резни. Те из солдат Нововейского, кто не ушел в степь, при виде толпы татар решили, что предстоит какое-то зрелище, и тут же смешались с ними без тени тревоги или подозрения. Впрочем, было той пехтуры не более двух десятков, остальные сидели себе спокойно по кабакам.

Тем временем отряды Адуровича и Крычинского в мгновение ока рассыпались по городу. Были в тех отрядах почти исключительно липеки и черемисы, то есть давние жители Речи Посполитой, по большей части шляхта, но они уже давно покинули страну и за время своих скитаний вполне уподобились диким татарам. Жупаны их изодрались, почти на всех были теперь бараньи тулупы шерстью наружу, надетые прямо на голые тела, задубелые от степного ветра и дыма костров; оружие, однако, у них было лучше, нежели у диких татар; у всех сабли, луки с калеными стрелами, а у многих и самопалы. Лица же выражали жестокую кровожадность, как и лица их добруджских, белгородских или крымских сородичей.

Они рассыпались по городу, пронзительно крича, чтобы криком возбудить, подстрекнуть друг друга на убийства и грабежи. Но хотя многие из них, по обыкновению, уже держали ножи в зубах, местные жители — как и в Ямполье, валахи, армяне, греки и татары-купцы — смотрели на них без малейшего недоверия. Все лавки были открыты, купцы сидели подле на скамьях, по-турецки скрестив ноги и перебирая четки. Крики татар только воз-

будили любопытство, похоже было, что затевается какое-то игрище.

Но вот внезапно на углах базарной площади взвились кверху столбы дыма, и все татары разом издали такой ужасающий вопль, что смертельный страх объял валахов, армян и греков, женщин и детей.

Тотчас засверкали сабли, и ливень стрел обрушился на мирных жителей. Крики жертв, грохот спешно затворяемых дверей и ставен смешались с топотом конских копыт и воплями грабителей.

Площадь заволокло дымом. Послышались крики: «Горе нам! Горе!» Татары уже взламывали лавки, врывались в дома, выволакивали за волосы объятых ужасом женщин, швыряли на улицу утварь, сафьян, всевозможные товары, постели — облаком взметнулись кверху перья; со всех сторон слышались стоны закалываемых, стенания, вой собак, рев скотины — пожар настиг ее в задних пристройках; алые языки пламени, видные даже при свете дня на фоне черных клубов дыма, выстреливали все выше в небо.

А в крепости конники Азьи в самом начале резни набросились на почти что безоружных пехотинцев.

Борьбы не было вовсе: несколько десятков ножей с маху вонзились в грудь полякам, затем несчастным поотрубали головы и снесли эти головы к копытам Азьева коня.

Тугай-беевич разрешил большинству своих татар принять участие в кровавой работе сородичей; сам же стоял и смотрел.

Дым заслонял дело рук Крычинского и Адуровича, запах гари достиг даже крепости; город пылал как гигантский костер, все заволокло дымной пеленой; временами в дыму раздавался выстрел из самопала, как гром в тучах; временами мелькал бегущий человек либо группа татар, кого-то преследующих.

Азья все стоял и смотрел, чуя радость в сердце своем; свирепая усмешка — еще свирепее оттого, что болела подсохшая рана, — раздвигала его губы, белые зубы поблескивали меж них. Не только радостью, но и гордыней наполнилось сердце татарина. Наконец-то он сбросил с себя бремя притворства, впервые дал волю ненависти, столь долгие годы скрываемой, наконец был самим собою, истинным Азьей, сыном Тугай-бея...

Но вместе с тем страшная тоска охватила его оттого, что Бася не видит этого страшного пожара, этой резни, не видит его в новой ипостаси. Страсть и в то же время дикая жажда мести распирала его.

«Вот здесь бы она стояла у лошади, — думал он, — и я бы за волосы ее держал, а она цеплялась бы за мои ноги, а потом я взял бы ее и в губы ее целовал бы, и была бы она моя, моя, моя...

рабыня!»

Удерживала его от отчаяния одна лишь надежда, что отряды, посланные вдогонку Басе, или те, что он оставил по пути, вернут ее. Он цеплялся за эту надежду как утопающий за соломинку и, не в силах смириться с утратой Баси, непрестанно мечтал о той минуте, когда обретет ее и овладеет ею.

Он стоял у ворот, пока резня в городе не утихла, а утихла она вскоре, поскольку отряды Адуровича и Крычинского насчитывали почти столько же людей, сколько было их во всем городишке; лишь пожар пережил людские стоны и бушевал до самого вечера. Азья слез с коня и медленным шагом направился в просторную горницу, где настелены были бараньи шкуры; он уселся там и стал ожидать двух ротмистров.

Те подошли тотчас же, а с ними и сотники. Все так и сияли довольством — добыча превзошла из ожидания. Городишко со времени крестьянского мятежа успел уже окрепнуть и разбогатеть, к тому же взято было около ста молодых женщин и много детей в возрасте от десяти лет, которых можно было выгодно продать на восточных базарах. Мужчин же, старух и маленьких детей, которые не могли выдержать долгого пути, прирезали. Руки татар дымились от крови, гарью несло от тулупов. Все расположились вокруг Азьи, и Крычинский сказал:

— Лишь пепел останется тут... Прежде чем отряды сюда воротятся, мы бы и в Ямполь успели. Добра там всяческого не меньше, а то и больше, нежели в Рашкове.

— Нет, — ответил сын Тугай-бея, — в Ямполье мои люди, они сами с городом расправятся, а нам в ханские и султанские земли пора.

— Как прикажешь! Воротимся со славой и с добычею! — откликнулись ротмистры и десятники.

— Здесь, в крепости, еще женщины есть да тот шляхтич, что растил меня, — сказал Азья, — справедливая причитается ему за то награда.

При этих словах он хлопнул в ладоши и велел привести пленных...

Их вскоре привели — пани Боскую, всю в слезах Зосю, Эву, белую как платок, и старого Нововейского — руки и ноги ему стянули лыком. Пленники были перепуганы, но еще более потрясены всем происшедшим — и ничего не могли понять. Одна Эвка, хотя и не могла взять в толк, что приключилось с пани Володыёвской, куда запропастился Азья, зачем в городе учинили резню, а их связали, как невольников, предположила, однако, что причиной тому она. Азья, вероятно, впал в ярость из-за любви к ней и, не желая в гордыне своей просить ее руки у отца, вознамерился

похитить ее силою. Все это само по себе было ужасно, но Эвка по крайней мере не дрожала за собственную жизнь.

Пленники не узнали Азьи — повязка почти полностью скрывала его лицо. У женщин от страха тряслись колени; они подумали было, что дикие татары каким-то немыслимым образом истребили липеков и овладели Рашковым. Но при виде Крычинского и Адуровича убедились все же, что находятся в руках польских татар.

Какое-то время они молча переглядывались, наконец старый Нововейский произнес слабым, но решительным голосом:

— В чьих же мы руках?

Азья стал разматывать с головы повязку, и вскоре показалось лицо его, прежде красивое, хотя и хищное, а ныне навек обезображенное, со сломанным носом и черно-синим пятном на месте глаза; лицо страшное, перекошенное усмешкой, как конвульсией — олицетворение холодной мести.

Он помолчал, затем вперив горящий глаз свой в старого шляхтича и ответил:

— В моих руках, руках Тугай-беева сына.

Но старый Нововейский узнал его прежде, нежели он назвал себя, узнала его и Эва, хотя сердце ее сжалось от ужаса и отвращения при виде безобразной этой головы.

Девушка закрыла глаза руками — они не были связаны, а шляхтич открыл рот и заморгал от изумления.

— Азья! Азья! — повторял он.

— Которого вы, ваша милость, растили, и были ему отцом, и у которого от руки вашей родительской спина кровью истекала...

Кровь бросилась шляхтичу в голову.

— Изменник, — сказал он, — пред судом ответишь ты за свои бесчинства! Змий!.. У меня еще сын есть...

— И дочь, — ответил Азья, — из-за которой ты велел меня на смерть плетью засечь, а я эту дочь твою самому что ни есть захудалому ордынцу пожалую, чтобы служанкой ему была и наложницей!

— Вождь! Подари ее мне! — откликнулся вдруг Адурович.

— Азья! Азья! Я всегда тебя... — крикнула Эва, бросаясь к его ногам.

Но он пнул ее ногой, а Адурович подхватил ее под руки и поволок по полу. Нововейский сделался из багрового синий. Лыко скрипело на руках его, так он напруг их, с губ слетали нечленораздельные звуки.

Азья поднялся со шкур и пошел на него, сперва медленно, постепенно убыстряя шаг, как дикий зверь, жаждущий расправиться со своею жертвой. Подойдя наконец к старику вплотную, он

схватил его за усы худой своей рукою с кривыми пальцами, а другой принялся нещадно бить по лицу, по голове.

Хриплый рев вырывался из глотки татарина. Наконец, когда шляхтич повалился на землю, сын Тугай-бея наступил коленом ему на грудь, и лезвие ножа сверкнуло вдруг в сумраке комнаты.

— Пощады! Спасите! — кричала Эва.

Но Адурович ударил ее по голове и закрыл ей рот широкой своей ладонью; Азья тем временем приканчивал пана Нововейского.

Это было так страшно, что даже у татар-десятников кровь застыла в жилах. Азья с хладнокровной жестокостью медленно водил лезвием ножа по горлу несчастного шляхтича, а тот стонал и хрипел ужасно. Кровь из вскрытых жил все сильнее хлестала на руки убийцы и ручьем стекала на пол. Наконец стоны и хрип утихли, только воздух со свистом вырывался из перерезанной глотки, а ноги умирающего, конвульсивно дергаясь, били по полу.

Азья встал.

Взгляд его упал на бледное, прелестное личико Зоси Боской, которая казалась неживой — в глубоком обмороке она повисла на плече поддерживающего ее татарина, — и сказал:

— Эту девку я себе беру, покуда не подарю кому-нибудь или не продам.

После чего обратился к татарам:

— А теперь, только погоня воротится, подадимся в султанские земли.

Погоня воротилась два дня спустя, но с пустыми руками.

И пошел сын Тугай-бея в султанские земли с отчаянием и яростью в сердце, оставив после себя голубовато-серую грудку пепла.

ГЛАВА XL

Десять да еще двадцать украинских миль отделяли Хрептев от Рашкова, если ехать через города, как поехала Бася. Вся дорога по Днестру была протяженностью около тридцати миль. В путь они поднимались еще затемно, зато на ночлег останавливались не слишком поздно — словом, все путешествие вместе с постоями, несмотря на трудные переправы и переезды, заняло три дня. В те времена и люди, и войско передвигалось медленно, но, если охота была или гнала нужда, разумеется, можно было и поспешить. Бася надеялась скорее добраться до Хрептева, ведь теперь ее нес конь, а главное, она спасалась бегством, и спасение зависело от быстроты.

Но в первый же день она поняла, что ошибается: днестровский тракт ей заказан, а держа путь по степи, она принуждена делать огромный крюк. К тому же и заблудиться недолго, можно ведь встретить на пути вскрывшиеся реки, непроходимые чащобы, незамерзающие болота и на людей наткнуться или на диких зверей, так что, хотя и решила Бася в ночи не останавливаться, все же невольно убеждалась в том, что и при самых благоприятных обстоятельствах бог знает когда доберется она до Хрептева.

Ей удалось вырваться из объятий Азьи, но дальше что? Разумеется, нет ничего страшнее мерзейших этих объятий, но при мысли о том, что ждет ее впереди, кровь леденела в жилах.

Ясно одно — станет она щадить лошадей, ее, всего вероятней, изловят. Липеки отлично знали эти степи, скрыться здесь от их глаз, от погони казалось просто немыслимым. Ведь это они без устали преследовали диких татар, даже весной, даже летом, когда нет снега и грязи и конские копыта не оставляют следов; все знаки степи знали они и читали, как по открытой книге, выслеживали с зоркостью орлов, вынюхивали как псы, вся жизнь проходила у них в погоне. Не однажды дикие татары пытались идти водой, все напрасно — казаки, липеки и черемисы, равно как и польские степные наездники, умели обнаружить их, перехитрить и возникали вдруг, словно из-под земли. Как от них убежать? Разве что оставить их далеко позади, чтобы само расстояние отвратило погоню. Но в таком случае она запалит лошадей.

«Ясное дело, падут, коли так вот гнать буду», — со страхом думала Бася, поглядывая на мокрые, дымящиеся их бока и на пену, которая хлопьями валила на землю.

Порою она замедляла бег и прислушивалась, но тогда во всяком дуновении вера, в шуршанье листвы, устилавшей яры, в сухом шелесте степных трав, в шуме крыл пролетающей птицы, даже в

звонящей пустой тишине чудились ей звуки погони.

Перепуганная, она снова наддавала ходу, пока кони, выбившись из сил, не начинали храпеть.

Одиночество и бессилие все больше угнетали ее. Как остро чувствовала она себя сиротой, какая огромная и вместе несправедливая обида росла в ее сердце на всех людей, самых близких и дорогих, будто они ее покинули!

Потом Бася подумала, что это, верно, бог ее наказывает за жажду приключений, за то, что рвалась в походы и на охоту, иной раз и воле мужа вопреки, за ее легкомыслие и несерьезность. Подумав так, она расплакалась чистосердечно, подняла голову к небу и, всхлипывая, стала твердить:

— Покарай, но не оставь! Михала не карай, Михал невинный!

Тем временем близилась ночь, а с нею холод, мрак, неуверенность в дороге — и тревога. Предметы вокруг начали расплываться, мутнеть, терять очертания и в то же время как-то таинственно оживать, притаившись. Верхушки скал, как головы в островерхих и круглых шапках, казалось, исподтишка недобро высматривают с высоких отвесных стен — кто это там скачет вниз. Деревья, колеблемые ветром, махали ветвями, словно руками; одни как бы манили ее, чтобы поверить какую-то страшную тайну, другие остерегали: «Не приближайся!» Вывороченные корни похожи были на чудища, изготовившиеся к прыжку. Бася отважная была, очень отважная, но, как и все тогдашние люди, суеверная. И потому, когда тьма совсем окутала землю, у нее волосы зашевелились на голове и дрожь сотрясла тело при мысли о нечистой силе, которая, быть может, обитает в этих краях. В особенности боялась она привидений. Вера в них весьма распространена была во всем Приднестровье по причине соседства Молдавии, и как раз эти края — окрестности Ямполья и Рашкова — пользовались дурной славой. Столько людей умирало здесь скоропостижной смертью, без исповеди, без отпущения грехов. Басе вспомнились все побасенки, какие вечерами в Хрептеве рассказывали у очага рыцари: о крутоярах, откуда порывы ветра доносили вдруг стоны «Иисусе, Иисусе!», и о блуждающих огнях, в которых что-то хрипело, о хохочущих скалах, о бледных детях-«сосунах» с зелеными глазами и безобразной головой, которые просили посадить их в седло и тут же принимались сосать из тебя кровь, и, наконец, о головах без туловища, передвигавшихся на паучьих ножках, и о самых страшных из всех этих чудищ — о взрослых привидениях — валахи называли их «вильколаками», — которые бросались на людей.

Она стала осенять себя крестом — долго, пока рука не онемела, но и потом продолжала творить молитву, ибо какое еще оружие отведет нечистую силу? Взбадривали ее кони; они резво ржали,

не выказывая никакого беспокойства. Порою Бася, как бы желая убедиться, что она еще на этом свете, трепала по шее своего скакуна.

Ночь, поначалу очень темная, постепенно светлела, наконец сквозь редеющую мглу замерцали звезды — обстоятельство для Баси весьма благоприятное; страх ее немного поубавился, и, поглядывая на Большую Медведицу, она могла безошибочно продвигаться на север, то есть в сторону Хрептева. Озирая окрестности, Бася определила, что весьма удалилась уже от Днестра: скал становилось меньше, и места пошли более открытые, часто встречались поросшие дубняком округлые холмы и обширные равнины.

Нередко все же случалось ей преодолевать овраги; спускалась она в них со страхом в сердце, на дне царил мрак и несло жестоким, цепенящим холодом. Встречались настолько крутые овраги, что приходилось их объезжать, а это означало потерю времени и лишнюю дорогу.

Но хуже всего были ручьи и речки, целая сеть которых, освободившись ото льда, устремлялась с востока к Днестру. Кони боязливо храпели, входя ночью в неведомые, непонятной глубины воды. Бася пускалась вброд лишь в тех местах, где пологий берег и широко разлившаяся вода позволяли предположить, что там мелководье. Так по большей части оно и бывало, однако порою при переправах вода доходила коням до брюха, тогда Бася, как заправский солдат, вставала коленями на седло и, уцепившись руками за переднюю луку, старалась не замочить ног. Но удавалось ей это не всегда, и вскорости пронизывающий холод охватил ее от стоп до колен.

— Дай бог день, поеду быстрее! — ежеминутно повторяла она себе.

Наконец она выехала на обширную равнину, кое-где поросшую редким лесом, и, видя, что лошади ступают с трудом, остановилась передохнуть. Кони тут же потянулись к земле и, медленно переступая, стали жадно щипать мох и пожухлую траву. Тишину леса прерывало лишь шумное дыхание лошадей и хрупанье травы в мощных челюстях.

Утолив немного, а вернее обманув голод, лошади захотели лечь, но Бася не могла им этого позволить. Она не решилась даже ослабить подпругу и спешиться; надо было всякую минуту быть наготове.

Она пересела на бахмата Азьи — скакун нес ее с самого полуденного привала, и хотя был он вынослив и благородных кровей, но все же не такой сильный, как бахмат.

Сперва Басю мучила жажда, которую она утоляла во время переправ, потом она ощутила голод и принялась грызть семечки из мешочка, который нашла у седла молодого Тугай-бея. Семечки показались ей вкусными, хотя и чуть прогорклыми, и она возблагодарила бога за неожиданную эту пищу.

Ела она понемножку, чтобы хватило до самого Хрептева. Затем сон с неумолимой силой стал смежать ей веки; вдобавок — ведь конский бег теперь не согревал ее — холод пронизал Басю до костей, ноги окоченели; она чувствовала безмерную усталость во всем теле, в особенности в пояснице и в плечах, натруженных борьбою с Азьей. Ужасная слабость сморила ее, веки смежились.

Но она силой заставила себя открыть глаза.

«Нет! Спать буду днем на ходу, — подумала она, — засни я сейчас — тотчас замерзну...»

Однако мысли ее все более мугились и путались, в голове вставали беспорядочные картины: лес, бегство, погоня, Азья, маленький рыцарь, Эвка и последние события мешались в полусон, полужавь. Все это неслоь куда-то вперед, подобно волне, подгоняемой ветром, и она, Бася, тоже неслась, без страха, без радости, как бы по уговору. Азья словно бы мчался вдогонку, но вместе с тем разговаривал с нею и беспокоился за лошадей; пан Заглоба сердился, что ужин простынет, Михал показывал дорогу, а Эвка ехала следом в санях и жевала финики.

Потом эти образы потускнели, — их заволокло туманной завесой, сумраком — и постепенно исчезли; осталась лишь странная какая-то тьма — хотя взгляд не мог пролить ее, все же она казалась полон и бесконечно глубокой... Тьма проникала повсюду, проникла и в Басину голову и погасила в ней все видения, все мысли, как порыв ветра гасит факелы ночью под открытым небом.

Бася уснула, но, к счастью, прежде, нежели кровь успела застыть в жилах, ее пробудил страшный шум. Кони рванулись — в чаще творилось что-то несусветное.

Бася, в мгновение ока придя в себя, схватила мушкет Азьи и, пригнувшись к конской гриве, с напряженным вниманием, раздув ноздри, стала прислушиваться. Такая уж то была натура: всякая опасность немедля будила в ней чуткость, отвагу и готовность к защите.

На сей раз, однако, внимательно вслушавшись, она тут же и успокоилась: чаща наполнилась хрюканьем вепрей. То ли волки подбирались к подсвинкам, то ли кабаны-одинцы дрались за самок, но вся суматоха, происходившая где-то далеко среди ночной тиши в уснувшем лесу, казалась столь близкой, что Бася различала не только хрюканье и визг, но и шумное дыхание. Вдруг раз-

дался топот, грохот, треск ломаемого валежника, и все стадо, хотя и невидное Басе, пронесшись поблизости, углубилось в чащу.

А в неисправной этой Басе разыгралась охотничья жилка, и, несмотря на весь ужас своего положения, она пожалела на миг, что не видела стада.

«Одним глазком хотя бы глянуть, — сказала она себе, — ну да ладно! Чего еще только не увижу, едучи через лес...»

И тут же, осознав, что лучше бы ничего не видеть, никого не встречать, а бежать без оглядки, пустилась дальше.

Стоять более нельзя было и потому, что холод становился все ощутимее, а в движении она все же согревалась, не так уж и утомляясь при этом. Кони, однако, успевшие только ущипнуть немного мху да мерзлой травы, весьма неохотно, опустив головы, тронулись дальше. Пока они стояли, у них заиндевели бока, они едва плелись — ведь от самого дневного привала шли почти без отдыха.

Пересекши поляну и не сводя глаз с Большой Медведицы, Бася углубилась в чащу, не слишком густую, но бугристую, прорезанную узкими оврагами. Стало темней и от древесной тени, и от тумана, поднявшегося с земли и скрывавшего звезды. Двигаться приходилось вслепую. Только овраги еще как-то указывали Басе направление, она знала, что все они тянутся с востока к Днестру, и, стало быть, пересекая их один за другим, она держит путь на север, хотя неизвестно еще, не удаляется ли она при этом чересчур от Днестра и не слишком ли к нему приближается. И то и другое было опасно: в первом случае она сделала бы огромный крюк, во втором рисковала выехать к Ямполью и там попасть во вражьи руки.

Но где был Ямполь, впереди ли, рядом, или она уже миновала его, об этом Бася не имела ни малейшего понятия.

«Яснее станет, когда миную Могилев, — сказала она себе, — он лежит в глубоком и длинном овраге, я, должно быть, узнаю его».

Потом взглянув на небо, подумала:

«Дал бы бог только за Могилев перебраться, а там уж Михала владения, там уж мне ничего не страшно...»

Тьма тем временем еще сгустилась. К счастью, здесь, в лесу, уже лежал снег, на фоне его обозначались темные стволы деревьев, нижние ветви, так что можно было миновать их, не задев. Все же надо было придерживать коней, и оттого в душу Баси опять вселился страх перед нечистой силой, от которого в начале ночи кровь леденела у нее в жилах.

«Коли внизу увижу, что глаза светятся, — сказала она всполошенной своей душе, — это ничего, это волк; а вот коли повыше от земли...»

И тут же громко вскрикнула:

— Во имя отца и сына!..

Был ли то обман зрения или дикая кошка на ветвях притаилась, но только Бася явственно увидела пару блестящих глаз на уровне человеческого роста.

От страха у нее потемнело в глазах, но, всмотревшись сызнова, она ничего более не увидела, только шелест послышался в ветвях да сердце ее гулко билось, будто хотело выскочить из груди.

И она двинулась дальше, мечтая, чтоб поскорее настал день. Ночь, однако, длилась бесконечно. Вскоре путь ей опять преградила река. Бася была уже далеко за Ямполем, у берегов Росавы, но об этом не знала, только догадывалась, что движется к северу, коль скоро встретила новую реку. Догадывалась она и о том, что ночь, должно быть, близится к концу, ибо резко похолодало; видно, забирал мороз, туман осел, и снова показались звезды, но бледные, светящиеся неверным светом.

Наконец мрак стал рассеиваться. Высветились стволы, ветви и веточки. В лесу воцарилась мертвая тишина — светало.

Чуть погодя Бася могла уже различить масть коней. Потом на востоке меж ветвей протянулась светозарная полоса — наступал день, и вдобавок погожий.

И тут Бася почувствовала невыносимую усталость. Зевота одолела ее, глаза слипались; вскоре она забылась сном — крепким, но коротким, — пробудилась, задев головою ветку. На счастье, кони шли очень медленно, мимоходом пощипывая мох, так что ударилась она легко, не больно. Солнце уже встало, и бледные прекрасные лучи его прорывались сквозь безлистые ветви. При виде этого надежда вступила в Басино сердце; ведь от погони ее отделяли уже бескрайнее степное пространство, множество гор, оврагов и целая ночь.

«Только бы эти меня не схватили, что в Ямполе и Могилеве остались, ну а те уж, пожалуй, не догонят», — сказала она себе.

Рассчитывала Бася и на то, что на каменистом грунте, по которому она мчалась вначале, не могло остаться следов от копыт.

Но тут же воротились сомнения.

«Татары, они и на скалах, и на камнях следы обнаружат, не отступят, догонят, разве что кони у них падут».

Такое предположение выглядело весьма правдоподобным, стоило взглянуть на ее коней. И у скакуна, и у бахмата бока впали, головы были опущены, глаза погасли. На ходу они то и дело клонили шеи к земле, чтобы ухватить хоть немного мху, либо мимоходом срывали сухие рыжие листья с дубовой поросли. Еще и лихорадка, как видно, их мучила, они с жадностью пили на переправах.

И все же, оказавшись на открытом пространстве меж двумя борами, Бася опять пустила вскачь усталых лошадей и мчалась, покамест не достигла леса.

Миновав и его, она вновь очутилась на открытой равнине, еще более обширной и холмистой. За холмами, на расстоянии примерно в четверть мили, виднелся дымок, возносящийся стройно, как сосна, прямо к небу. За все время пути Бася впервые встретила селение, ибо край этот за исключением поречья, был, а вернее стал, совершенно безлюдным, не только после татарских набегов, но и после нескончаемых польско-казацких войн. После похода Чарнецкого, жертвой которого пала Буша,[54] городишки превратились в жалкие селения, деревни позарасти молодым леском. Да и потом еще столько было походов, столько битв и резни вплоть до самого последнего времени, когда великий Собеский вырвал этот край у неприятеля. Жизнь постепенно возрождалась здесь, однако же местность, по которой ехала Бася, была на редкость пустынна. Разве что разбойники скрывались тут, да и тех почти всех истребили уже гарнизоны, стоящие в Рашкове, Ямполе, Могилеве и Хрептеве.

Завидев дымок, Бася сперва решила немедленно ехать туда и, найдя там хутор или шалаш, а может, всего-навсего костер, отогреться у огня, поесть. Но тут же она подумала, что в этой стороне предпочтительней было бы, пожалуй, встретиться с волчьей стаей, нежели с людьми; люди здесь были более дикие и жестокие, чем звери. Нет, лучше поскорей миновать это становище, сулящее только смерть.

На самом краю бора заприметила Бася стожок сена и, не раздумывая долго, остановилась покормить лошадей. Они жадно накинулись на еду, по уши погрузив головы в стог и вырывая оттуда большие пучки. Разумеется, лошадям очень мешали удила, но Бася не хотела их разнуздывать, справедливо рассудив: «Там, где дым, там, должно быть, и хутор, стог же означает, что в хуторе том лошади, стало быть, за мною могут пуститься в погоню».

У стога, однако, она провела без малого час, так что кони насытились, и сама она подкрепилась семечками. Тронувшись далее и миновав несколько верст, она вдруг увидела перед собою двух мужиков с вязанками хвороста на спине.

Один был человек не старый и не молодой, лицо, изрытое оспой, глаза раскосые — безобразный, страшный, с жестоким, звериным обличьем; другой, подросток, был слабоумный. Это сразу замечалось по его глуповатой ухмылке и неосмысленному взгляду.

При виде всадника и лошадей оба они побросали хворост на землю, порядком, как видно, струхнувши. Но встреча была столь

неожиданной и стояли они так близко, что бежать им было уже невозможно.

— Богу слава! — молвила Бася.

— На віки віків.

— Как хутор называется?

— А чего ему называться. От, хата!

— А далеко ли до Могилева?

— Мы не знаем...

Тут старик стал пристально всматриваться в Басю. Одежда на ней была мужская, он принял ее за подростка, и страх на его лице мгновенно уступил место наглости и жестокости.

— А що ж ви такий молоденький, пан лицар?

— А тобі що?

— И сами едете? — проговорил мужик, делая шаг вперед.

— Войско за мною идет.

Тот остановился, оглядел большую поляну и сказал:

— Неправда. Никого нету.

И шагнул еще ближе; раскосые глаза мрачно сверкнули, сложив губы, он стал зазывно кричать перепелкой — очевидно, то был условный знак.

Все это показалось Басе столь зловещим, что она без колебаний уставила пистолет прямо ему в грудь.

— Молчи, не то убью!

Мужик замолк и тотчас же пал перед нею ниц. Слабоумный подросток последовал его примеру, но со страху еще и волком завыл. Быть может, когда-то он и ума решился с перепугу, ибо в вое его слышался неопиcуемый ужас.

Бася припустила коней и стрелой понеслась вперед. Хорошо еще, лес был голый и редкий. Вскорости засветлела еще одна поляна, узкая и очень длинная. Кони, подкрепившись у стога, набрались сил и мчались вихрем.

«Доберутся до дому, сядут на коней — и за мною, в погоню», — думала Бася.

Утешало ее лишь то, что кони шли резво да от места, где она встретила людей, до хутора весьма далеко было.

«Прежде, нежели они до хаты дойдут и коней выведут, я, если так гнать, на милю от них уйду, а то и на две».

Так оно и вышло. Но спустя несколько часов, когда Бася, убедившись, что никто ее не преследует, замедлила бег, сердце ее заполонил страх, слезы против воли навернулись на глаза, так была она подавлена.

Встреча эта воочию показала ей, что за люди живут в этих краях и чего можно от них ожидать. Правда, в том не было для нее неожиданности. Из собственного опыта и из хрептевских

рассказов она знала, что бывшие мирные жители либо покинули пустынные эти места, либо война поглотила их; те же, кто остались здесь, жили в постоянном страхе перед войною, среди бесконечной уособицы и татарских набегов, во времена, когда человек человеку волк, без церкви, без веры, не видели ничего, кроме убийств и поджогов, не знали иного закона, кроме закона кулака, и потому лишились всех человеческих чувств и уподобились дикому лесному зверью. Бася отлично знала о том; однако же человек одинокий, заблудившийся в пустынном краю, угнетенный голодом и холодом, невольно ждет подмоги прежде всего от существ себе подобных. Так и она, завидев дым — признак жилья, невольно, следуя первому сердечному порыву, устремилась туда, чтобы именем Христовым приветствовать поселян и под их кровом приклонить усталую голову. Но жизнь предстала ей тотчас во всей своей жестокости, как злобный пес, и оттого сердце ее преисполнилось горечи, и слезы обиды, разочарования подступили к глазам.

«Неоткуда помощи ждать, единственно от бога, — думала она, — только бы никого больше не встретить».

А потом стала размышлять: с какой стати мужик подражал перепелке? Не иначе поблизости находились люди, и он вознамерился кликнуть их. Не в разбойничий ли стан она попала? Быть может, изгнанные из прибрежных яров разбойники укрылись в лесной глуши, где соседство бескрайних степей обеспечивало большую безопасность и при необходимости облегчало бегство?

«А что, если несколько их встретится, а то и более десятка? — раздумывала Бася. — Мушкет одного сразит, два пистолета — еще двух, сабля — ну пусть еще двух, а если их больше окажется, страшная смерть меня ожидает».

И как прежде среди пугающей ночи молила она, чтобы поскорее пришел день, так теперь с тоской ожидала сумерек, которые укрыли бы ее от злых глаз.

Дважды еще во время безостановочной скачки случилось ей проезжать вблизи от жилья. Как-то увидела она на краю высокой равнины с дюжину хат. Может, там жили вовсе не разбойники, но она предпочла миновать хаты на полном скаку, зная, что и поселяне немногим лучше разбойников; в другой раз до ушей ее донесся звук топора, бьющего по дереву.

Желанная ночь опустилась наконец на землю. Бася так устала, что, очутившись в голой безлесной степи, сказала себе: «Тут об дерево не разобьешься, посплю-ка я, пусть даже и замерзну».

Когда она уже смыкала веки, ей почудилось, будто там, вдалеке, на белом снегу, движутся в разных направлениях какие-то черные точки. На мгновение она пересилила сон и бормотнула:

«Верно, волки!»

Но не проехала и нескольких десятков шагов, как точки эти исчезли, и она тотчас же заснула, да так крепко, что проснулась, только заслышав под собою ржание бахмата.

Бася огляделась вокруг: она была на лесной опушке и проснулась как раз вовремя, иначе могла бы разбиться о дерево.

И тут заметила, что другого коня нету рядом.

— Что случилось? — испуганно вскрикнула она.

А случилась вещь самая что ни есть простая: Бася привязала, правда, поводья скакуна к луке своего седла, но окоченевшие пальцы плохо ее слушались, и она не сумела потуже затянуть узел; поводья расслабились, потом и вовсе развязались, и утомленная лошадь отстала, чтобы поискать корм под снегом или прилечь.

На счастье, пистолет у Баси был не в кобуре, а за поясом; рог с порохом и мешочек с семенами тоже были при ней. В конце концов, беда не велика: бахмат Азьи если и уступал ее скакуну в скорости, зато несомненно был выносливее в беге, лучше переносил холод. Но Басе стало жаль любимого своего скакуна, и она тут же решила отыскать его.

Однако ее удивило, что нигде в степи его не было видно, хотя ночь стояла на диво светлая.

«Отстал, отстал, — думала она, — не вперед же он пошел, наверное, улегся где-нибудь в ложбинке, вот я и не вижу его».

Бахмат снова заржал, весь трясаясь и прядая ушами, но из степи ему ответило молчание.

«Поеду поищу», — сказала Бася.

И уже поворотила коня, когда внезапная тревога закралась ей в душу, словно человеческий голос взывал к ней:

«Не возвращайся, Бася!»

И в эту как раз минуту тишину нарушили зловещие звуки, близкие, но идущие как бы из-под земли: то был вой, хрипенье, скулеж, стоны и, наконец, визг ужасный, короткий — оборванный... Это показалось тем более страшным, что в степи ни зги не было видно. Басю облил холодный пот, с посинелых губ ее сорвался крик:

— Что это? Что случилось?

Правда, она почти сразу догадалась, что это волки загрызают ее коня, но не могла взять в толк, отчего не видит этого, хотя, судя по звукам, происходило все в каких-нибудь пятистах шагах от нее.

Спешить на подмогу было бессмысленно, коня, конечно, уже растерзали, к тому же надобно было думать о собственном спасении, и Бася, выстрелив для острастки из пистолета, пустилась

далее. Когда по пути она раздумывала о случившемся, у нее мелькнула мысль: а что, если не волки вовсе похитили ее коня, ведь голоса-то доносились из-под земли? Мурашки побежали по спине у Баси, но тут же, напрягши память, она припомнила, что сквозь сон ей грезилось, будто она съезжает с горы и снова взбирается в гору.

«Так оно, видать, и было, — сказала она себе, — во сне я проехала неглубокий овраг, там остался мой скакун, и там на него напали волки».

Остаток ночи прошел без приключений. Бахмат, подкрепившись сеном в прошлое утро, шел на удивление резво. То был татарский конь, красивый необычайно и на редкость выносливый. Во время коротких привалов он подъедал все без разбору: мох, листья, даже древесную кору обглаживал — и шел и шел вперед. На равнинной местности Бася пускала его вскачь. Он слегка побряхтывал и шумно дышал; а когда она осаживала его, сопел, тряся, низко клонил голову от усталости — но не падал.

Ее скакун, не погибни он от волчьих зубов, все равно не выдержал бы такой дороги.

На другой день Бася, сотворив утреннюю молитву, стала размышлять, сколько же времени она скитается.

«От Азьи я вырвалась в четверг, в полдень, и до самой ночи мчалась что есть духу, — рассуждала она. — Потом в пути ночь прошла, потом целый день, потом снова ночь, а нынче третий день наступил. Пожалуй, погоня, если она и была, должна бы уж воротиться, и Хрептев недалеко где-то, я ведь не щадила лошадей».

И еще она подумала:

«Ох, пора бы уж! Боже, смилуйся надо мной!»

По временам ее брала охота приблизиться к реке, на берегу куда как легче было бы сообразить, где она, однако, памятуя, что пять десятков татар Азьи остались у пана Гоженского в Могилеве, она на это не решалась. Как знать, думала Бася, быть может, колеся по степи, она не миновала еще Могилева. По пути, покуда сон не одолевал ее, она старалась внимательно смотреть, нет ли поблизости обширного оврага, похожего на могилевский, но ничего такого не заметила; впрочем, овраг тот мог ведь дальше сужаться и выглядеть совсем иначе, чем у Могилева, а мог и вовсе кончиться, либо свернуть в сторону в нескольких верстах от города. Словом, Бася понятия не имела, где она находится.

Она только неустанно молила бога, чтобы дом был близок, чувствуя, что недолго еще сможет выдерживать и холод, и бессонные ночи, и голод; три дня она питалась одними семечками, и, хотя очень была бережлива, все же сегодня утром мешочек

опустел.

Нынче ее могла питать и согревать только надежда, что Хрептев близко. Еще согревала Басю лихорадка. Она явно чувствовала ее: становилось все холоднее и даже попросту морозило, однако руки и ноги, в начале пути коченевшие, теперь пылали, и жажда одолевала ее.

«Только бы не потерять сознания, — твердила она, — только бы хоть на последнем дыхании поспеть в Хрептев, увидеть Михала, а после уж да свершится воля божья...»

Ей снова пришлось переправляться через множество ручьев и рек, но были они либо мелкие, либо замерзшие; порою сверху была вода, а под нею лед — твердый и крепкий. Однако переправ этих она боялась пуще всего, оттого что и бахмат, обычно неустрашимый, явно их боялся. Входя в воду или на лед, он храпел, прижимал уши, упирался что есть сил, а вынуждаемый к тому, входил с осторожностью, медленно, нога за ногу, принохиваясь и раздувая ноздри.

Было уже далеко за полдень, когда Бася, выбравшись из густого бора, оказалась на берегу реки; была та река и больше и значительно шире других. «Неужто Лядава или Калюс», — подумала Бася. Сердце ее радостно забилося. Так или иначе Хрептев где-то неподалеку, даже если она стороной обогнула его, можно считать себя вне опасности: и край все же обитаем, и людей можно меньше опасаться. У реки, насколько хватал глаз, берега были обрывистые, в одном только месте — очевидно, там был перекат — еще скованная льдом вода мягко заходила на берег, словно налитая в плоскую, но обширную посудину. У берегов вода была замерзшая, а посредине струилась широкой лентой. Бася, однако, надеялась, что под водой этой, как всегда, окажется лед.

Бахмат шел нехотя, как обычно у переправы, пригнув шею и обнюхивая снег перед собой. Достигнув струившейся поверх льда воды, Бася, по своему обыкновению, встала на колени в седле и ухватилась обеими руками за переднюю луку.

Вода захлюпала под копытами. Лед под нею и в самом деле был твердый, скользкий, копыта ударяли в него как в камень, но, очевидно, шипы подков ступились на долгой, часто скалистой дороге — бахмат вдруг заскользил, ноги у него стали разъезжаться; внезапно он рухнул на передние бабки, зарывшись храпом в воду, потом вскочил, снова рухнул — теперь на круп, снова вскочил, но, перепуганный, стал рваться и отчаянно бить копытами. Бася дернула поводья, и тут послышался глухой треск: задними ногами лошадь по самый круп ушла под воду.

— Господи Иисусе! — вскрикнула Бася.

Конь, еще стоя передними ногами на твердом льду, сделал страшный рывок, но, очевидно, глыба льда, на которую он опирался, поползла теперь из-под его копыт, он все глубже погружался в воду и хрипло стонал.

У Баси хватило еще времени и присутствия духа, ухватившись за гриву скакуна, сползти по его шее на крепкий лед перед ним. Там она упала и промокла. Но поднялась и, почуяв твердый лед под ногами, поняла, что спасена. Пытаясь вытащить и коня, она перегнулась, схватила поводья и, пятась к другому берегу, потянула за них что есть силы.

Но бахмат все больше погружался в пучину, и передние его ноги уже тоже соскользнули с ледяного выступа. Поводья натягивались все туже, а он уходил все глубже и наконец весь ушел под воду, только шея и голова торчали над водой. Под конец он принялся стонать почти человеческим голосом, осцерив зубы; глаза смотрели на Басю с неопишуемой грустью, он словно хотел сказать: «Нет уж для меня спасения. Отпусти поводья, не то и тебя затащу...»

Спасения и вправду не было, и Басе пришлось бросить поводья.

Когда лошадь вовсе скрылась подо льдом, она пошла к берегу, села под голым кустом и разрыдалась как дитя.

Силы вдруг оставили ее. К тому же горечь и обида, которые при встрече с людьми поселились в ее сердце, теперь наполнили его до краев. Все было против нее: бездорожье, мрак, стихии, человек, зверь, одна только длань божья, казалось, ее хранила. Этой доброй, ласковой, отеческой опеке она до сих пор отдавалась со всей своей детской доверчивостью — и тоже обманулась. Сама себе в том не смея признаться, она тем сильнее чувствовала это сердцем.

Что же оставалось? Жалобы да слезы! А ведь достало же ей, измученной, слабой, и мужества, и смелости, и выдержки. Но вот утонула лошадь — последняя надежда на спасение, единственное живое существо, которое было рядом. Без лошади она чувствовала себя беспомощной перед тем неведомым пространством, что отделяло ее от Хрептева, перед чащами, оврагами и степью, и не только беззащитной перед людьми и зверьем, но и бесконечно одинокой, всеми покинутой.

Она плакала, пока не выплакала всех слез. На смену пришло безразличие, усталость и близкое спокойствию ощущение полнейшего бессилия. Вздохнув глубоко раз, другой, она сказала себе:

«Что ж, против воли божьей не пойдешь... тут и умру...»

И закрыла глаза, такие прежде ясные и веселые, а теперь запавшие, обведенные темными кругами.

Но хотя тело ее тяжелело с каждой минутой, мысли бились в голове всполошенной птицей, и сердце тоже. Если б никто на свете не любил ее, не так жалко было б умереть, но ведь все так ее любили!

Она представила себе, что будет, когда разнесется весть об измене Азьи, о ее бегстве; как станут искать ее, как отыщут наконец посиневшую, замерзшую, спящую вечным сном под этим кустом у реки. И вдруг сказала громко:

— О! Вот Михалек будет отчаиваться! Ай-яй!

И стала просить у него прощения, объяснять, что не виновата.

«Я, Михалек, — говорила она мысленно, обнимая его за шею, — старалась как могла, но что поделаешь, родной мой, не захотел господь...»

И такую почувствовала к нему любовь, такое желание если умереть, так хотя бы от него поблизости, что, собрав все силы, поднялась и пошла прочь от берега.

Сначала идти было необычайно трудно. Ноги, словно чужие, не слушались, слишком долго нес ее на своей спине конь. На счастье, холода она не чувствовала, напротив, было довольно тепло — лихорадка ни на миг ее не отпускала.

Углубившись в лес, она все шла и шла, следя, чтобы солнце было по левую руку. Оно уже клонилось в сторону Молдавии, так как была вторая половина дня, часа четыре. Бася теперь не очень стремилась держаться подальше от Днестра, полагая почему-то, что Могилев остался позади.

«Кабы знать наверное, кабы знать! — повторяла она, подняв посинелое, но пылающее лицо к небу. — Кабы зверь какой или дерево заговорили бы вдруг и сказали: до Хрептева миля, две, — я бы, может, еще и дошла...»

Но деревья молчали. И даже были к ней неприязненны, преграждали корнями дорогу: Бася то и дело спотыкалась о припорошенные снегом узловатые корни. Немного погодя ей сделалось невыносимо тяжело, она сбросила с плеч теплую делию и осталась в одном кунтушике. Стало полегче: и она все шла и шла, убыстряя шаг, то спотыкаясь, а то и падая — там, где снег был поглубже. Легкие сафьяновые сапожки, подшитые мехом, но на тонкой подошве, незаменимые для саней и верховой езды, не защищали ноги от ударов о камень и комки, к тому же, не однажды промокшие при переправах, они оставались сырыми на пылавших от жара ногах и легко могли изодраться в лесу.

«Дойду босая или до Хрептева, или до смерти», — думала Бася.

И горестная улыбка озаряла ее лицо; все же ее утешало, что она так упорно идет вперед и, даже если погибнет в дороге, Михал ни в чем не сможет ее упрекнуть.

И раз уж теперь она непрестанно говорила с мужем, то тут же ему и сказала:

«Ох, Михалек, другая и на такое бы не отважилась, Эвка, к примеру...»

Об Эвке она не однажды думала во время своего бегства, не однажды молилась за нее; очевидно было, что, коль скоро Азья не любит девушку, ее, равно как и всех оставшихся в Рашкове пленников, ожидает страшная судьба.

«Им хуже, чем мне», — часто повторяла она, и эта мысль прибавляла ей силы.

Но прошел час, второй, третий; сил с каждым шагом все убывало. Солнце медленно закатилось за Днестр и, облив небо пурпурной зарею, погасло. Снег приобрел фиолетовый оттенок. Потом золотисто-пурпурная пучина стала темнеть и все более уменьшаться в размерах; море, разлитое на полнеба, переменилось в озеро, озеро — в реку, река — в ручей, наконец блеснула растянутая на западе светозарная нить и уступила тьме.

Опустилась ночь.

Прошел еще час. Лес сделался черный, таинственный и, не колеблемый ни единым дуновением, молчал, словно сосредоточенно думая, как поступить ему с этим вот бедным, заблудившим созданием. Впрочем, мертвая его тишина не сулила ничего доброго: было в ней равнодушие и оцепенелость.

Бася шла и шла, судорожно хватая воздух пересохшими губами и падала все чаще из-за темноты и слабости.

Голова ее была запрокинута кверху, но она не смотрела более на путеводную Большую Медведицу, так как совсем потеряла направление. Шла, лишь бы идти. Шла потому, что к ней стали слетаться предсмертные видения, очень светлые и приятные. Вот, к примеру, четыре стороны бора быстро сближаются и образуют четыре стены хрептевской горницы. Бася там, внутри, и отчетливо все видит. В очаге жарким пламенем полыхает огонь, а на лавках сидят, как всегда, офицеры; Заглоба со Снитко перекидываются шуточками; Мотовило сидит молча, уставившись в огонь, а когда в огне пищит что-то, говорит протяжным своим голосом: «Душа неупокоенная, чего тебе надобно?» Мушальский и Громыка играют в кости с Михалом. Бася подходит к ним и говорит: «Михалек, присяду-ка я к тебе на лавку да прикорну немного, что-то не по себе мне». Михал обнимает ее: «Что с тобою, котенок, неужели?...» И наклоняется к ее уху, и шепчет что-то, а она отвечает: «Ой, не по себе мне!» Какая светлая и спокойная горница, и Михал такой любимый, только вот Басе так не по себе, что это даже тревожно...

Басе настолько уже не по себе, что жар внезапно ослабевает, уступая предсмертной слабости. Видения исчезли. Вернулось сознание, а с ним и память.

«Я бежала от Азьи, — говорит себе Бася, — я в лесу, ночью, не могу дойти до Хрептева и умираю».

После жара холод быстро овладевает ею и пронизывает тело до костей. Ноги подкашиваются, и она падает на колени в снег у дерева.

Ни малейшее облачко не затемняет теперь ее разума. Ей ужасно жалко расставаться с жизнью, но она знает твердо, что умирает, и, жаждая верить свою душу богу, говорит прерывистым голосом:

— Во имя отца и сына...

Молитву, однако, прерывают странные звуки — резкие, пронзительные, скрипучие, в ночной тишине они особенно режут ухо.

Бася открывает рот. Вопрос: «Что это?» — замирает у нее на губах. Она дрожащими пальцами ощупывает себе лицо, как бы желая проснуться, как бы не веря собственным ушам, и с губ ее вдруг срывается крик:

— О господи Иисусе! Это колодезные журавли, это Хрептев! О господи!

И вот, всего минуту назад умиравшая, она вскакивает с колен и, громко дыша, трепеща, с глазами, полными слез, мчится сквозь лес, падает, вскакивает и говорит, говорит:

— Там коней поят! Это Хрептев! Это наши журавли! Хотя бы до ворот, до ворот... О господи!.. Хрептев... Хрептев!..

Лес редет, перед нею снежное поле и взгорье, и несколько пар блестящих глаз смотрят оттуда на бегущую Басю.

Но это не волчьи глаза... Ах, это хрептевские окна мерцают ласковым, ясным, избавительным светом — это фортеция там, на взгорье, восточной своей стороной обращенная к лесу.

Бася не помнила, как пробежала еще версту, отделявшую ее от крепости. Солдаты, стоявшие со стороны деревни у ворот, не узнали ее в темноте, но пропустили, решивши, что это, верно, челядинец, за чем-то посланный, возвращается к коменданту; из последних сил вбежала она в крепость, пересекла майдан, миновала колодезные журавли, у которых драгуны, только что воротившиеся из объезда, поили на ночь коней, и встала в дверях главного дома.

Маленький рыцарь с Заглобой сидели в тот час у огня верхом на лавке и, попивая мед, говорили о Басе, полагая, что она там, далеко, осваивается в Рашкове. Оба приуныли, ибо ужасно тосковали по ней и что ни день спорили о сроках ее возвращения.

— Не дай боже ранней оттепели, дождей и распутицы, не то бог знает когда и воротится, — хмуро говорил Заглоба.

— Зима еще постоит, — возражал маленький рыцарь, — а дней этак через восемь — десять я в сторону Могилева стану поглядывать.

— Уж лучше бы она вовсе не уезжала. Нечего мне делать без нее в Хрептеве.

— А чего же ты, сударь, советовал?

— Не сочиняй, Михал! Своим умом решал...

— Только бы здоровая воротилась!

Маленький рыцарь вздохнул и прибавил:

— Здоровая, да поскорее!..

Тут заскрипели двери и жалкое, хрупкое, оборванное, все в снегу существо жалобно пискнуло у порога:

— Михал! Михал!

Маленький рыцарь вскочил, но в первую минуту так был ошеломлен, что окаменел на месте; руки развел, глазами заморгал, — так и стоял.

А она приблизилась и сказала, вернее, простонала:

— Михал!.. Азья предал... Меня похитить хотел... но я бежала и... спаси!

При этих словах она зашаталась и замертво рухнула наземь; Михал подскочил к ней, схватил ее как перышко на руки и вскричал пронзительно:

— Боже милостивый!

Бедная Басина голова безжизненно повисла на его плече, и, полагая, что он держит в объятиях мертвую, маленький рыцарь завопил страшным голосом:

— Баська умерла!.. Умерла!.. Умерла!.. О боже!..

ГЛАВА ХLІ

Весть о прибытии Баси молнией облетела Хрептев, но никто, кроме маленького рыцаря, Заглобы и служанок, не видел ее ни в тот вечер, ни в последующие.

После обморока на пороге дома она пришла в себя настолько, чтобы в нескольких словах поведать, как и что с нею приключилось, но тут же последовали новые обмороки, а час спустя, хотя ее всячески отхаживали, отогревали, пытались накормить и отпаивали вином, Бася и мужа уже не признавала, у нее открылся долгий и тяжкий недуг.

Весь Хрептев всколыхнулся. Солдаты, узнав, что их госпожа воротилась полуживая, высыпали на майдан подобно пчелиному рою, офицеры собрались в горнице и, перешептываясь, с нетерпением поджидали вестей из боковуши, куда положили Басю. Долгое время, однако, ничего нельзя было узнать. Служанки, правда, бегали туда-сюда — то в кухню за теплой водой, то в аптеку за пластырем, мазью и снадобьями, — но не позволяли себя задерживать. Тревога свинцом давила сердца. Народу все прибывало, пришли даже люди из окрестных селений, слухи передавались из уст в уста; стало известно об измене Азьи, о том, что госпожа спаслась бегством, но в пути была целую неделю без еды и без сна. При этой вести ярость вскипала в груди. В толпе солдат слышался глухой, но грозный ропот, сдерживаемый из опасения повредить здоровью больной.

Но вот после долгого ожидания к офицерам вышел Заглоба; глаза у него были красные, редкие волосинки на голове стояли дыбом; офицеры гурьбой окружили его, лихорадочно посыпались тихие вопросы:

— Жива? Жива?

— Жива, — ответил старик, — да только бог знает, что будет через час.

Голос у него пресекся, нижняя губа задрожала, и, обхватив руками голову, он тяжело опустился на скамью.

Сдерживаемые рыдания сотрясали его грудь.

При виде этого Мушальский схватил в объятия Ненашинца, хотя вообще-то не очень его жаловал, и тихо заплакал, а Ненашинец принялся ему вторить. Мотовило выпучил глаза, словно подавился чем-то, Снитко дрожащими руками стал расстегивать жупан, а Громыка с воздетыми вверх руками зашагал по горнице.

Увидели солдаты в окна эти признаки отчаяния и, полагая, что госпожа умерла, тут же заголосили и запричитали. Заглоба, услышав шум, пришел вдруг в бешенство и пулей выскочил на май-

дан.

— Тихо, шельмы! Разрази вас гром! — зашипел он придушенным голосом.

Все тут же умолкли, поняв, что не время еще причитать, но с майдана не уходили. А Заглоба вернулся в горницу несколько успокоенный и снова уселся на лавку.

В эту минуту в дверях боковуши показалась служанка.

Заглоба рванулся к ней.

— Что там?

— Спит.

— Спит? Слава богу!

— Может, бог даст...

— А что пан комендант?

— Пан комендант у ложа.

— Это хорошо! Ну, иди, за чем послали.

Заглоба повернулся к офицерам и повторил, что сказала женщина.

— Может, смилуется всевышний. Спит! Все же какая-то надежда... Уф...

Все глубоко вздохнули. Потом сбились вкруг Заглобы и принялись выпытывать:

— Бога ради! Что случилось? Как дело было? И как же она пешая-то смогла убежать?

— Спервоначально она не пешая была, — шептал в ответ Заглоба, — а на двух конях; она же того пса, чтоб его громом разразило, скинула с седла!

— И не поверишь!

— Рукою пистолета меж глаз ему саданула, ну, а поскольку они приотстали, никто того не видел и никто за ней не гнался. Одного коня волки у нее задрали, другой под лед ушел. Боже милостивый! Шла, горемычная, одна, сквозь дебри, без еды, без питья!..

Тут Заглоба прервал свой рассказ и снова заплакал в голос, и офицеры вослед ему тоже, даже на лавки попадали — дивясь, негодуя и жалея всеми любимую Басю.

— А как к Хрептеву она подошла, — продолжал минуту спустя Заглоба, — то не признала местности и умереть изготавилась, да услышала вдруг скрип колодезных журавлей и смекнула, что близко уже, и доплелась из последних сил...

— Бог уберег ее в таких напастях, — сказал Мотовило, утирая мокрые усы, — убережет и дальше.

— Верно! В самую суть угодил ты, сударь, — зашептали вокруг.

Тут с майдана опять послышался громкий шум. Заглоба снова в ярости вскочил и бросился к двери.

На майдане голова к голове стояли солдаты; при виде Заглобы и еще двух офицеров они попятились, образовав полукруг.

— Тихо вы, собачьи души! — начал Заглоба. — Не то велю...

Но тут из полукруга выступил вперед Сидор Люсьня, драгунский вахмистр, честный мазур, любимец Володыёвского; сделав несколько шагов, он вытянулся в струнку и решительно сказал:

— А как же иначе, ваша милость, коли тот, такой-растакой сын, нашу пани, значит, хотел обидеть, так мы на него теперь пойти хотим, отомстить, значит. Про что я говорю, об том все просят. А коли пан полковник сами не могут, так мы ведь и под другим началом хотя бы и до самого Крыма дойдем, чтобы стервеца того добыть, и уж ему не поздоровится!..

Жестокая, холодная мужицкая угроза звучала в голосе вахмистра; а солдаты заскрежетали зубами и стали тихо позвякивать саблями, сопя и ворча при этом. И страшно было глухое то ворчание, подобное ворчанию медведя во мраке ночи.

Вахмистр стоял навтыяжку и ожидал ответа, за ним застыли в ожидании шеренги, яростное упорство было в них, от обычной солдатской покорности не осталось и следа.

Минуту все молчали. Затем в дальних рядах послышался чей-то голос:

— Кровь его — наилучшее из лекарств!

Гнев остыл в Заглобе, так растрогала его любовь солдат к Басе, а при упоминании о лекарстве ему пришла вдруг в голову совсем иная мысль, а именно — доставить к Басе лекаря. В Хрептеве, где лекарей не было, никто об этом не подумал, но в Каменце их было несколько, в том числе один грек — человек почтенный, богатый, владелец нескольких домов и такой ученый, что его повсюду чуть не чернокнижником почитали. Одно лишь было сомнительно: согласится ли он — кого даже магнаты «вашей милостью» величают — при его-то богатстве ехать пусть даже и за любую плату в этукую глушь?

Заглоба минуту поразмыслил и так сказал:

— Справедливая месть бешеного того пса не минует, в том я вам клянусь, а он, верно, предпочел бы, чтобы сам его величество король местью ему угрожал, нежели пан Заглоба. Да еще как знать, жив ли пес тот, ведь пани, из рук его вырываясь, рукоятью пистолета отшибла ему разум. Словом пока думать об этом не время, сперва надобно ее спасти.

— Да мы со всей душой, и жизни бы не пожалели! — ответил Люсьня.

А толпа снова загудела в подтверждение слов вахмистра.

— Послушай, Люсьня, — сказал Заглоба. — В Каменце живет лекарь Родопул. Поезжай туда; скажешь ему, что, мол, пан гене-

рал подольский неподалеку от города ногу себе повредил и помощи ожидает. А уж когда за стенами города будете, ты его хвать — и на коня, а то и в мешок и что есть духу сюда мчи, в Хрептев. Каждые две-три версты будет вам свежая подстава. Гоните во весь опор. Да смотри, чтобы живого довез, мертвый он нам без надобности.

Ропот одобрения послышался со всех сторон, а Люсьня пошевелил свирепыми усищами и сказал:

— Уж я-то его добуду и не выпущу, разве что в Хрептеве.

— Двигай!

— А можно спросить?

— Чего еще?

— А что, если он потом дух испустит?

— Пускай себе, только бы сюда живой добрался! Бери шестерых людей и айда!

Люсьня сорвался с места. Солдаты, счастливые тем, что могут хоть что-то сделать для Баси, бросились седлать лошадей; шесть человек немедленно поскакали в Каменец, другие повели вслед за ними заводных коней для подставы.

Заглоба, довольный собою, воротился в горницу.

Вскоре от Баси вышел Володыёвский — изменившийся, полуживой, равнодушный к словам сочувствия и утешения. Сообщив Заглобе, что Бася все еще спит, он сел на лавку и как безумный уставился на дверь, за которой она лежала. Офицеры, решив, что он прислушивается, затаили дыхание; в доме воцарилась полная тишина.

Чуть погодя Заглоба на цыпочках подошел к Володыёвскому.

— Михал, — сказал он, — я послал за лекарем в Каменец, может, еще кое за кем послать?...

Володыёвский смотрел, пытался собраться с мыслями, но, по всему видно, не понимал.

— За ксендзом, — сказал Заглоба. — Ксендз Каминский мог бы поспеть к утру?

Маленький рыцарь закрыл глаза, повернул к печке бледное как полотно лицо и трижды повторил:

— О боже, боже, боже!

Заглоба, ни о чем его более не спрашивал, вышел и отдал распоряжение.

Когда он воротился, Володыёвского в комнате не было. Офицеры сказали ему, что больная позвала мужа, в бреду ли, в сознании — непонятно.

Вскоре старый шляхтич убедился, что было то в бреду.

Щеки Баси цвели ярким румянцем; с виду она была здоровая, но глаза ее помутнели, зрачки словно растворились, она обирала

себя — руки непроизвольно искали чего-то на одеяле. Володыёвский едва живой лежал у ее ног.

Время от времени больная тихо что-то бормотала, какие-то слова произносила громче, особенно часто «Хрептев». Вероятно, ей чудилось, порою, что она еще в пути. Заглобу больше всего встревожило движение рук на одеяле, в непроизвольном его однообразии старый шляхтич углядел признак близящейся смерти. Человек он был многоопытный, не однажды люди умирали на его глазах, но никогда еще сердце его так не обливалось кровью, как при виде этого столь рано увядающего цветка.

И, уразумев, что только бог может спасти гаснущую эту жизнь, он встал перед ложем на колени и отдался молитве.

А Бася дышала все труднее, почти хрипела. Володыёвский вскочил. Заглоба поднялся с колен; оба они не сказали ни слова, только взглянули в глаза друг другу, и ужас был в их взгляде. Показалось им, что она умирает. Но длилось это не более минуты. Вскоре Бася задышала спокойнее и даже чуть медленней.

С той минуты они пребывали меж страхом и надеждой. Ночь тянулась лениво. Офицеры тоже не пошли отдыхать, а остались в горнице, то поглядывая на Басину дверь, то шепчась меж собою, то задремывая. Время от времени входил челядинец подбросить дров в очаг, а они при всяком скрипе двери вскакивали с лавок, полагая, что это выходит Володыёвский или Заглоба и что вот-вот они услышат страшное слово: «Умерла!»

Тем временем запели петухи, а Бася все еще боролась с горячкой. К утру налетел ураган с дождем, он шумел и завывал, сотрясая стены и крыши, колыхал пламя в печи, выбрасывая наружу клубы дыма и искры. На рассвете пан Мотовило бесшумно вышел — ему пора было в объезд. Наконец пришел день — тусклый, пасмурный — и осветил усталые лица.

На майдане началась обычная суeta: средь завываний ветра слышался топот конских копыт по доскам конюшен, скрип колодезных журавлей и солдатские голоса; вскоре послышался звонок: приехал ксендз Каминский.

Когда он вошел, облаченный в белый стихарь, офицеры пали на колени. Всем казалось, что наступила торжественная минута, за которой неминуемо последует смерть. Больная не пришла в сознание, и ксендз исповедовать ее не мог, только соборовал ее, а затем принялся утешать маленького рыцаря, убеждая его покориться воле божьей. Утешение, однако, не подействовало, он вообще ничего не слышал из-за душевной боли.

Целый день смерть кружила над Басей. Как паук, таящийся где-то в темном углу на потолке, выползает временами на свет и по невидимой нити спускается вниз, так смерть, казалось, време-

нами нисходила к самому Басиному изголовью. Те, кто был рядом, не однажды видели, что тень ее осеняет Басино лицо и что светлая душа уже расправляет крылышки, чтобы улететь из Хрептева в заоблачную даль, по ту сторону жизни; потом смерть, как паук, снова скрывалась под потолком и надежда наполнила сердца.

Впрочем, надежда была шаткая, недолговечная; никто не смел поверить в то, что Бася перенесет недуг. Не верил и Володыёвский, и потому страдания его были столь велики, что Заглоба, сам чрезвычайно опечаленный, не на шутку перепугался и поручил его опеке офицеров.

— Бога ради, следите за ним, — говорил он, — того гляди, жизни себя лишит!

Володыёвскому, правда, не приходило такое в голову, но, терзаемый печалью и болью, он то и дело спрашивал себя:

«Как же мне-то оставаться, коли она уходит? Как же мне отпустить ее одну, мою ненаглядную? Что скажет она, когда, оглядевшись там, не найдет меня рядышком?»

Размышляя так, он всеми силами души жаждал умереть с Басей вместе, ибо так же, как не воображал себе жизни на земле без нее, не мог себе представить, чтобы она — в той, потусторонней жизни — обрела бы покой без него.

После полудня зловещий паук снова скрылся под потолком, румянец на Басином лице побледнел, жар уменьшился, и сознание почти воротилось.

Какое-то время она лежала с закрытыми глазами, потом, открыв их, взглянула в лицо маленького рыцаря и спросила:

— Михалек, я в Хрептеве?

— Да, родная моя! — ответил, сжав зубы, Володыёвский.

— А ты и вправду рядом стоишь?

— Да! Как чувствуешь себя?

— Ой! Хорошо!..

Она сама, как видно, не была уверена, не обманчивые ли видения, вызванные горячкой, у нее перед глазами. Но с той минуты сознание стало к ней возвращаться.

Вечером прискакал со своими людьми вахмистр Люсьня и вытряхнул из мешка у самой крепости каменецкого лекаря вместе с лекарствами. Тот был едва жив. Но, узнав, что он не в разбойничьих, как полагал, руках, а таким способом приглашен к больной, лекарь, придя в себя, живо поспешил ей на помощь, тем паче что Заглоба, показав ему в одной руке мешок, полный дукатов, а в другой — набитый пулями пистолет, так сказал:

— Это — награда за жизнь, а это — за смерть!

И в ту же ночь, почти уж на рассвете, зловещий паук раз навсегда скрылся куда-то, а приговор лекаря: «Недуг будет долгий, но

она оправится», — радостным эхом разнесся по всему Хрептеву. Володыёвский, первым услышав его, пал на землю и так разрыдался, что казалось, грудь у него, разорвется; Заглобе стало дурно от радости, пот оросил его лицо, он едва сумел вымолвить: «Пить!» Офицеры обнимали друг друга.

А на майдане опять собрались драгуны, латники и казаки Мотовило. Едва удавалось сдерживать громкое их ликование. Возжелав во что бы то ни стало как-то выразить свою радость, они попросили разрешения повесить в честь пани нескольких грабителей, которые заперты были в хрептевских погребах.

Но маленький рыцарь отказал.

ГЛАВА XLII

Неделю еще Бася хворала так тяжело, что, кабы не уверения лекаря, и маленький рыцарь, и Заглоба полагали бы, что огонек ее жизни вот-вот угаснет. Но потом ей полегчало; сознание вернулось полностью, и, хотя лекарь пророчил, что лежать ей еще месяц, а то и полтора, появилась все же уверенность, что она выздоровеет и обретет прежние силы.

Володыёвский, во время болезни Баси ни на шаг почти не отходивший от ее изголовья, полюбил ее после этих мук — насколько такое было возможно — еще более пылко, просто души в ней не чаял. Когда он сидел подле Баси и смотрел на ее личико, исхудавшее, осунувшееся, но веселое, в глаза, что ни день все более сиявшие прежним огнем, его брала охота и смеяться, и плакать, и кричать от радости.

— Выздоровливает ненаглядная моя, выздоравливает!

И он припадал к ее рукам, покрывал поцелуями бедные маленькие ножки, которые так мужественно брели через глубокие снега до Хрептева, словом, любил и чтил ее безмерно. К тому же он чувствовал себя в неоплатном долгу перед провидением и как-то сказал Заглобе и офицерам:

— Я всего лишь худородный шляхтич, но пусть бы пришлось из кожи вон вылезти, все же на костельчик, хотя бы деревянный я сподвигнусь. И всякий раз, как зазвонят там колокола, вспомяну божье милосердие и душа моя благодарностью преисполнится!

— Дай боже нам сперва турецкую войну пережить, — ответил ему на это Заглоба.

А маленький рыцарь, встопорщив усики, ответил:

— Всевышнему лучше знать, что его больше убоготворить может: костел возжелает — убережет меня, а жизнь мою предпочтет — что ж, я за него и жизни не пожалею, как бог свят!

К Басе вместе со здоровьем возвращалось и хорошее настроение. Две недели спустя как-то вечером она велела приоткрыть двери боковуши и, когда офицеры собрались в горнице, молвила серебристым голосом:

— Вечер добрый, судари мои! А я уже не умру, ага!

— Всевышнему благодарение! — хором ответили солдаты.

— Слава богу, дитино моя миленька! — отдельно от всех вскричал пан Мотовило, который как-то особенно, отечески любил Басю и в минуты наивысшего волнения говорил обыкновенно порусински.

— Подумайте только, судари мои, — продолжала Бася, — что со мною приключилось, а? Кто бы ожидал такое? Еще счастье, что

все так кончилось!

— Бог хранил душу невинную, — снова откликнулся хор за дверью.

— А пан Заглоба не однажды меня высмеивал, к сабле, мол, у меня душа больше лежит, нежели к прялке. Нечего сказать, пригодилась бы мне прялка да игла! А что, по-рыцарски я себя вела, правда?

— И ангел бы лучше не мог.

Разговор прервал Заглоба. Затворив двери, — из опасения, что Бася переутомится. Но она зафыркала на него, как кошка, уж очень ей хотелось поболтать еще, верней, выслушать похвалы ее храбрости и стойкости. Теперь, когда опасность миновала и стала лишь воспоминанием, она ужасно гордилась своим поступком и требовала похвал. Оборотясь к маленькому рыцарю и коснувшись пальцем его груди, она, соорудив гримаску, говорила:

— Ну-ка, похвали меня за мужество!

А он, послушный, хвалил ее, ласкал, он целовал ей глаза и руки, так, что даже Заглоба, хотя сам в душе приходил в умиление, притворившись возмущенным, начинал ворчать:

— Ох, совсем избалуется, от рук отобьется!..

Всеобщую радость в Хрептеве по поводу спасения Баси омрачала только память о предательстве Азьи, нанесшем урон всей Речи Посполитой, и о страшной судьбе, постигшей пана Нововейского, Эву и обеих Боских — мать и дочь. Бася, как и все, была сильно удручена этим: о событиях в Рашкове стало уже известно не только в Хрептеве, но и в Каменце и дальше. Несколько дней тому в Хрептеве остановился пан Мыслишевский, который, несмотря на измену Азьи, Крычинского и Адуровича, не терял все же надежды перетянуть на польскую сторону других татарских ротмистров. Следом за Мыслишевским приехал Богуш, а после пришли известия непосредственно из Могилева, Ямполья и из самого Рашкова.

В Могилеве пан Гоженский — солдат, как видно, лучший, нежели оратор, — не дал себя провести. Перехватив приказ Азьи к оставшейся в городе команде татар, он сам напал на них с горсткой мазурской пехоты и частью уничтожил, частью в полон взял; да еще успел к тому же предостеречь гарнизон в Ямполе, так что и Ямполь уцелел. А вскорости воротилось и войско. Жертвой пал один только Рашков. Володыёвский как раз получил оттуда письмо от пана Бялогловского, в котором сообщалось о тамошних событиях и о других делах, касавшихся до всей Речи Посполитой.

«Хорошо, что я прибыл сюда, — писал между прочим Бялогловский, — замещавший меня Нововейский не в силах нынче выполнять эти обязанности. Он более на скелет похож, нежели на человека; мы, по всему видать, теряем достойного кавалера — горе

совсем его придавило. Отца его зарезали, сестра на поруганье отдана — Азья подарил ее Адуровичу, а панну Боскую себе оставил. Им обоим все едино теперь конец, ежели бы и удалось из плена их освободить. Мы узнали о том от одного татарина, какой при переправе через реку шею себе сломал и, схваченный нашими, на угольях во всем повинился. Азья, сын Тутай-бея, Крычинский и Адурович подались под самый Адрианополь, Нововейский рвется за ними вослед; Азью, говорит, добыть хочу, хотя бы из самого султанского стана, чтобы сполна за свое расквитаться. Он и всегда-то упорный был да решительный, а теперь чего уж дивиться, коль скоро дело до панны Боской касается, коей злую судьбу все мы тут оплакиваем горько, больно уж хороша была девка, никто бы не устоял. Я Нововейского удерживаю. Азья, говорю, сам к тебе придет, война-то ведь неизбежна, и то неизбежно, что орды впереди пойдут. У меня вести есть из Молдавии от пыркалабов, да и от турецких купцов тоже, что войска под Адрианополем начинают уже собираться. Орды там — гибель. Стягивается и конница турецкая, „спаги“ они ее называют, а султан собственной персоной с янычарами прибыть должен. Полчища, ваша милость, пойдут несметные, весь восток двинется, а у нас войска горсть. Вся надежда на твердыню каменецкую, которую дай бог чтобы всем необходимым снарядили. В Адрианополе весна уже, да и у нас тоже, дожди льют проливные, и трава уже показалась. Я в Ямполь ухожу, ибо от Рашкова только груды пепла осталась, негде и голову приклонить и покормиться. Но вообще-то я так полагаю, что в скором времени всех нас из гарнизонов отзовут».

У маленького рыцаря тоже были сведения верные, и, может быть, еще вернее, ибо пришли они из Хотина, что война неминуема, он даже послал те сведения гетману. Однако письмо Бялогловского, их подтверждающее, прислано было с крайнего рубежа и оттого произвело на него сильное впечатление. Не войны, однако, боялся маленький рыцарь, он думал о Басе.

— Приказ гетмана отозвать гарнизоны всякий день может прийти, — говорил он Заглобе, — и тогда — служба есть служба — надобно будет, не мешкая, выступить, а тут Баська лежит и время трудное.

— А хоть бы и десять приказов пришло, — ответил на это Заглоба, — Баська — вот главное. Будем сидеть тут, покуда вовсе не оправится. Война-то ведь в конце зимы не начнется, да и в распутицу тоже, тем паче что против Каменца тяжелые пушки будут двинуты.

— В тебе, сударь мой, старый волонтер сидит, — возразил раздраженно маленький рыцарь, — ты что же думаешь, ради при-

ватного интереса можно приказом пренебречь?

— Ха! Ежели приказ тебе Баськи милее, что же, грузи ее на воз, да и поезжай. Я знаю, знаю, ты по приказу готов ее хотя бы и вилами подсадить, коли окажется, что сама она на телегу взобраться не в силах. Дьявол вас побери с вашей дисциплиной! В стародавние времена человек делал, что мог, а что не мог, того и не делал. Ты про милосердие знай языком треплешь, а как крикнут: «Айда на турка!» — тут же и выплюнешь его, ровно косточку, а бедняжечку за конем на аркане поволочешь!

— Это у меня-то нет к Басе милосердия?! Ты, сударь, бога побойся! — вскричал маленький рыцарь.

Заглоба еще посопел сердито, но, взглянув на озабоченное лицо Володыёвского, сказал ему так:

— Михал, ты же знаешь, я Баську как дочь родную люблю. А иначе черта с два стал бы я сидеть тут под обухом турецким, вместо того чтобы в безопасном месте отдыху предаваться, чего никто при моих-то годах не поставил бы мне в вину. А скажи-ка, кто тебе Баську высватал? Ежели окажется, что не я, вели мне кадку воды испить, ничего для вкуса туда не подбавив.

— Всей жизнью, сударь, не расплатиться мне с тобой за это! — ответил маленький рыцарь.

Они обнялись, и тотчас меж ними воцарилось полное согласие.

— Я вот что надумал, — сказал маленький рыцарь, — как война грянет, ты, сударь, забереешь Баську с собою и поедешь с нею к Скшетуским, в Луковскую землю. Туда-то уж чамбулы не дойдут.

— Сделаю это для тебя, хотя зуб у меня на турка, нет подлее свинского этого непьющего народа.

— Одного боюсь я, кабы Баська в Каменец не напросилась, чтобы при мне там быть. У меня мороз по коже, как подумаю об этом, а уж она, с места мне не сойти, будет проситься.

— А ты не позволишь. Или мало зла оттого приключилось, что ты во всем ей потворствуешь, вот и в рашковскую экспедицию ее отпустил, хотя я с самого начала противился!

— А вот и неправда! Ты, сударь, сказал, что не хочешь советовать.

— Так это же еще хуже, чем если бы я не советовал.

— Вроде бы уж такая наука для Баськи, да где там! Увидит меч над моей головой — тут же и упрется!

— Говорю тебе, не позволяй, черт побери! Тряпка ты, а не муж!

— *Confiteor «Признаюсь (лат.).»*, стоит ей только кулачки к глазкам поднести и плакать начать, да просто притвориться, будто плачет и все! Во мне уж сердце — что масло на сковородке. Не иначе как зельем она меня опоила. Отослать я ее отошлю, мне ее сохранность дороже жизни, но как подумаю, что придется ее

огорчить, видит бог — сердце разрывается от жалости.

— Михал, бога побойся, не будь таким подкаблучником!

— Ба, не будь! А кто ж, сударь, говорил давеча, будто нет у меня к ней милосердия.

— Хе? — произнес Заглоба.

— Сметки тебе, сударь, не занимать стать, а и сам за ухом почесываешь!

— Так ведь думаю, как бы нам уговорить ее.

— А коли будет кулачками глаза тереть?

— Это уж как бог свят, будет! — сокрушенно сказал Заглоба.

Так они судили да рядили, ибо, по правде сказать, Бася оседлала их обоих. Избаловали они ее во время болезни до крайности и так любили, что необходимость поступить вопреки ее сердцу и желанию приводила их в ужас. Что Бася противиться не станет и приговору покорится, в том они оба не сомневались, однако, не говоря уж о Володыёвском, даже Заглоба предпочел бы ударить сам-третей на полк янычаров, нежели видеть, как она трет кулачками глаза.

ГЛАВА XLIII

В тот самый день явилась к ним надежная, как они полагали, поддержка в лице неожиданных и самых что ни на есть милых сердцу гостей. Под вечер приехали безо всякого предупреждения супруги Кетлинги. Радость и изумление в Хрептеве при их появлении не поддаются описанию; они же, узнав, что Бася уже выздоравливает, тоже очень обрадовались. Кшися тотчас же ворвалась в боковушу к Басе, и донесшийся оттуда визг и восклицания известили рыцарей, сколь Бася счастлива.

Кетлинг с Володыёвским заключили друг друга в объятья.

— Боже мой, Кетлинг! — сказал наконец маленький рыцарь. — Меня бы и булава так не обрадовала, но как ты-то в наших краях оказался?

— Гетман назначил меня командовать артиллерией в Каменце, вот мы с женой и приехали туда. Узнали о бедах, что на вашу долю выпали, и поспешили в Хрептев. Слава богу, Михал, что все обошлось. Ехали мы в огорчении великом и в тревоге, не зная еще, радость нас ожидает или печаль.

— Утеха! — вставил Заглоба.

— Как же такое приключилось? — спросил Кетлинг.

Маленький рыцарь и Заглоба наперехват стали рассказывать, а Кетлинг слушал, закатывал глаза, воздевал руки и поражался Басиному мужеству.

Наговорившись всласть, стал маленький рыцарь выспрашивать у Кетлинга про его житье-бытье, и тот в подробностях обо всем ему поведал. Обвенчавшись, они с Кшисей поселились на пограничье Курляндии. Было им друг с другом так хорошо, что и в небесах лучше не бывает. Кетлинг, женись на Кшисе, убежден был, что берет в жены «неземное существо», и мнения своего до сей поры не изменил.

Заглобе и Володыёвскому при этих словах его тотчас же вспомнился прежний Кетлинг, с его светскими манерами, и они принялись снова его тискать, и когда уже вдосталь выразили дружеские свои чувства, старый шляхтич спросил:

— А что, у неземного этого существа, не случился ли часом этаким земной casus «Случай (лат.)», что ногами брыкается и пальцем в носу ковыряет?

— Бог дал нам сына! — ответил Кетлинг. — А нынче вот опять...

— Я заметил, — прервал его Заглоба. — А у нас тут все по старому!

При этих словах он вперил здоровый свой глаз в маленького рыцаря, и тот быстро задвигал усиками.

Дальнейший разговор был прерван появлением Кшиси; встав в дверях, она объявила:

— Баська вас просит!

Все тут же направились в покойчик, и там все началось сызнова. Кетлинг целовал руки Басе, Володыёвский — Кшисе, и все с любопытством вглядывались друг в друга, как и положено людям, которые давно не виделись.

Кетлинг почти не изменился, только волосы были коротко острижены, и это молодило его; зато Кшися, сейчас во всяком случае, изменилась очень сильно. Куда девалась давняя ее хрупкость и стройность; лицо побледнело и пушок над верхней губой казался темней. Прежними были лишь прекрасные глаза с необычайно длинными ресницами и спокойствие во всем облике. Но черты лица, некогда столь привлекательные, утратили тонкость. Это, правда, могло пройти; но Володыёвский, глядя на нее и сравнивая со своей Баськой, невольно говорил себе: «Боже! Как мог я любить эту, когда обе они были рядом? Где были мои глаза?»

Напротив, Баська показалась Кетлингу очаровательной. Очень хороша она была с льяной своей прядкой, падающей на брови; кожа, утратив румянец, стала после болезни подобна лепестку белой розы. Нынче, однако, личико ее слегка разрумянилось от радости и ноздри раздувались. Она казалась совсем юной, почти подросток — на первый взгляд лет этак на десять моложе Кшиси.

Но под действием ее красоты чуткий Кетлинг стал с еще большей нежностью думать о жене, ощущая себя виноватым перед нею.

Женщины поведали друг другу все, что за столь короткий срок можно было поведать, и теперь вся компания, усевшись у Басинога ложа, предалась воспоминаниям о давних временах. Но разговор как-то не клеился, материя была щекотливая: из-за прежних конфиденций Михала с Кшисей и его бывшего равнодушия к обожаемой ныне Басе, и всякого рода обещаний, и всякого рода печалей. Время, проведенное в доме Кетлинга, сохранило очарование и оставило по себе благодарную память, но говорить о том было как-то неловко.

Вскоро Кетлинг переменял разговор.

— Чуть было не забыл, — сказал он, — мы по дороге заехали к супругам Скшетуским, они две недели не отпускали нас и так принимали, что и на небесах, кажется, лучше не бывает.

— Боже милостивый, как поживают Скшетуские? — вскричал Заглоба. — Вы и его самого дома застали?

— Застали, он на побывку с тремя старшими сынами от пана гетмана приехал, они в войске там служат.

— Скшетуских я со времени нашей свадьбы не встречал, — сказал маленький рыцарь. — Стоял он с хоругвью в Диком Поле, и сыны с ним вместе были, да как-то не пришлось свидеться.

— Там чрезвычайно скучают по вашей милости! — сказал Кетлинг, оборотясь к Заглобе.

— А уж я-то как скучаю! — ответил старый шляхтич. — Вот ведь какое дело: тут сижу — по ним тоскую, туда поеду — по этой вот касаточке сохну... Такова уж жизнь человеческая, не в одно, так в другое ухо дует... А горше всех сироте — было б свое, к чужому не прикипел бы.

— Тебя, сударь, и родные дети больше нас не могли бы любить, — сказала Бася.

Заглоба обрадовался, отбросил печальные мысли и тотчас обрел обычную свою жизнерадостность; посопев, он изрек:

— Ну и глуп же я был тогда у Кетлинга, и Кшиську, и Баську вам сосватал, а о себе и не подумал! Было еще время... А признайтесь-ка, — оборотился он к женщинам, — вы обе небось меня бы предпочли.

— Само собой! — вскричала Бася.

— Елешка Скшетуская тоже в свое время меня бы выбрала. Ха! Что поделаешь. Вот это, я понимаю, женщина степенная, не бродяжка какая-нибудь, что татарам зубы вышибает! Здорова ли она?

— Здорова, да только озабочена немного, у них двое средних из школы в Лукове в войско бежали, — ответил Кетлинг. — Скшетуский, тот рад-радешенек, что в подростках этакая удаль, но мать есть мать!

— А много ли там детей? — со вздохом спросила Бася.

— Мальчиков двенадцать, а теперь пошел прекрасный пол, — ответил Кетлинг.

— Над домом этим благословенье божье! — заметил Заглоба. — Я их всех, что твой пеликан, собственной плотью вскормил... Ужо средним-то уши надеру! Коли приспичило им бежать, пускай бы сюда, к Михалу, бежали... Стойте-ка, это, должно, Михалек с Яськом тягу дали? Их там тьма-тьмущая, сам отец имена путал. А ворон на полмили окрест не увидишь, всех, шельмецы, из охотничьих ружей перебили. Да, другой такой женщины в мире не сыщешь! Я ей, бывало, скажу: «Елешка! Сорванцы у меня подросли, нового бы надобно!» Фыркнет она на меня, а к сроку — нате вам, готово! Вообразите, до чего дело дошло: не может, к примеру, какая-нибудь баба в округе разродиться, тут же к Елешке — одолжите мол, одежду, и, богом клянусь, помогало!..

Все подивились, замолкли даже, и тут молчание нарушил вдруг маленький рыцарь:

— Слышишь, Баська?

— Не надо, молчи! — ответила Бася.

Но Володыёвскому пришли в голову разные хитрые мысли, как бы это разом двух зайцев убить, и он заговорил, как бы невзначай, и о чем-то самом что ни есть обыкновенном:

— Ей-богу, стоило бы навестить Скшетуских! Его, правда, не будет, он к гетману направится, но она-то женщина рассудительная, не в ее привычках судьбу искушать, дома, стало быть, останется.

Тут он повернулся к Кшисе:

— Весна близится, пора прекрасная. Нынче Баське рано еще, но чуть позднее я бы, право, не стал противиться, из дружеского хотя бы долга. Заглоба вас обеих туда бы отвез, а осенью, когда тут успокоится, и я бы вослед за вами двинулся...

— Превосходная мысль! — вскричал Заглоба. — Я все равно должен туда ехать, сколько можно черной неблагодарностью им платить. Фу-ты, стыд какой, словно и забыл вовсе, что они существуют на свете!

— Что скажешь, сударыня? — спросил Володыёвский, пристально глядя Кшисе в глаза.

Но та неожиданно ответила с обычным своим спокойствием:

— Я бы и рада, да невозможно это, я в Каменце с мужем останусь, ни за что его не брошу.

— Боже, что я слышу! — вскричал Володыёвский. — Ты, сударыня, в крепости хочешь остаться, а она без сомнения осаждена будет, и при том не знающим милости врагом. Добро бы еще с политичным каким неприятелем война предстояла, но тут-то ведь с варварами будем дело иметь. Ты, сударыня, знаешь ли, что такое завоеванный город? Что такое турецкий или татарский плен? Просто ушам своим не верю!

— И все же иначе никак невозможно! — ответила Кшися.

— Кетлинг, — в отчаянии вскричал маленький рыцарь, — ты настолько уже под каблуком? Бога побойся, человек!

— Размышляли мы долго, — сказал Кетлинг, — и на том порешили.

— И сын наш уже в Каменце, под присмотром свойственницы моей. А что, разве Каменец не устоит?

Тут Кшися устремила вверх свои безмятежные глаза.

— Бог турка сильнее, он доверия нашего не обманет! А я мужу присягала, что до самой смерти его не покину, так что место мое при нем.

Маленький рыцарь ужасно сконфузился, он совсем иного ожидал от Кшиси.

А Бася, с самого начала разговора смекнувшая, куда клонит Володыёвский, улыбалась лукаво; глянув на него, она сказала:

— Слышишь, Михал?

— Баська! Молчи, ни слова! — в чрезвычайном замешательстве вскричал маленький рыцарь.

И стал бросать отчаянные взгляды на Заглобу, от него ожидая спасения, но этот предатель поднялся вдруг и сказал:

— Надо бы и об угощении позаботиться, словами сыт не будешь.

И вышел из комнаты.

Михал выбежал следом и заступил ему дорогу.

— Ну и что теперь? — спросил Заглоба.

— Ну и что?

— Чтоб ее, эту Кетлингову супругу! Боже ты мой! Как же тут Речи Посполитой не погибнуть, когда бабы в ней правят?...

— Ничего, сударь, не придумаешь?

— Коли ты жены боишься, что тут придумаешь? Вели кузнецу подковать себя, и баста!

ГЛАВА XLIV

Кетлинги гостили около трех недель. Бася после того попыталась было встать с постели, но тут обнаружилось, что ноги еще не держат ее. Здоровье возвращалось раньше, чем силы, и лекарь велел ей лежать, пока она окончательно не окрепнет.

А тем временем пришла весна. Сперва подул теплый порывистый ветер от Дикого Поля и Черного моря и разорвал, изодрал в клочья завесу туч, словно истлевшее рубище, а потом принялся сгонять и разгонять эти тучи по небу, как овчарка сгоняет и разгоняет стадо овец. Тучи, убегая от ветра, часто осыпали землю крупными, точно ягоды, каплями дождя. Снег и лед растекались озерцами на равнинной степи; из лесных зарослей потекли тонкие струйки, на дне оврагов вздулись ручьи, и все это с веселым шумом, гамом и рокотом неслось к Днестру, как дети несутся к матери.

В разрывах туч ежеминутно показывалось солнце, ясное, помолодевшее и какое-то влажное, словно омытое в гигантской купели.

Вот светло-зеленые ростки трав стали проклевываться из размякшей земли; тонкие веточки деревьев и кустарников набухли обильными почками. Солнце грело все сильнее; на небе появились птичьи стаи: косяки журавлей, диких гусей, аистов, затем ветер принес множество ласточек; заквакали хором лягушки в пригретых лужах; самозабвенно распевали мелкие серые птицы, и по степям и оврагам, по лесам и рощам прокатилось мощное это, словно вся природа кричала в радостном упоенье: «Весна! Ого-го! Весна!»

Но для несчастного этого края весна несла с собою скорбь, а не радость, смерть, а не жизнь. Спустя несколько дней после отъезда Кетлингов маленький рыцарь получил такое известие[55] от пана Мыслишевского:

«В кучункаурийской степи все больше войска congressus. Султан послал значительные суммы денег в Крым. Хан с ордою в пятьдесят тысяч идет на помощь Дорошенко. Как подсохнет немного, полчища двинутся Черным и Кучменским трактом. Смилуйся боже над Речью Посполитой!»

Володыёвский тотчас послал своего стремянного Пентку с тем известием к гетману.

Сам он, однако, не спешил уезжать из Хрептева. Как солдат, он не мог покинуть крепость без гетманского приказа и к тому же слишком часто имел дело с татарами, чтобы не знать, что чамбулы так скоро не двинутся. Вода еще не сошла, трава еще только

показалась, казаки еще стоят на зимовищах. Турков маленький рыцарь ожидал разве что летом, ибо, хотя собирались они уже под Адрианополем, но столь гигантский табор, такое множество войск, обозной прислуги, клади, коней, верблюдов и буйволов не способно было к быстрому передвижению. А вот конников татарских надлежало высматривать раньше — к концу апреля, началу мая. Правда, основным силам, насчитывающим десятки тысяч воинов, предшествовали обыкновенно небольшие разрозненные чамбулы и более или менее многочисленные ватаги — так ливню предшествуют редкие капли дождя. Но чамбулов маленький рыцарь не опасался. И отборный татарский конский отряд не в силах был устоять в открытом поле перед польской конницей, а уж такая малость и подавно; услышав о приближении конницы, чамбулы рассеивались, как клубы пыли от вихря.

Словом, времени было еще довольно, впрочем, Володыёвский сумел бы одержать верх в сшибках с любыми чамбулами, так, что они бы это надолго запомнили.

Был он солдат до мозга костей, искусный в солдатском ремесле, и потому близость войны будила в нем жажду вражьей крови и одновременно вливала спокойствие.

Заглоба, однако, хотя и свыкся за всю свою жизнь со всякого рода опасностями, спокоен не был. При внезапных ударах он умел оказать смелость, да просто выработал в себе за время долгой, хотя зачастую невольной практики; немало подвигов свершил он на своем веку, но первая весть о военной угрозе всегда его огорошивала. Впрочем, когда маленький рыцарь поделился с ним своими мыслями, он весьма приободрился и даже принялся клясть Восток и угрожать ему.

— Когда христианские нации меж собою воют, — говорил он, — тогда и господь бог печалится, и святые в голове почесывают; да оно и понятно — господин озабочен, и челядь озабочена; но нет ничего угоднее небу, нежели когда турка бьют. Слышал я от одной духовной особы, что святых просто с души воротит при виде собачьих этих сынов, даже небесная пища и напитки не идут им впрок, какое уж тут вечное блаженство!

— Так-то оно так, — ответил маленький рыцарь. — Да только у турка полчища несметные, а нашего войска — жалкая горстка.

— Все-то Речи Посполитой не завоюют. Малой ли мощью Карл Густав обладал: и с северянами были в то время, и с казаками, и с Ракоци, и с электором, а нынче где они все? Мы еще и в их отчий дом с огнем и мечом пришли.

— Это верно. *Personaliter* «Лично я (лат.).» не боялся бы этой войны, тем паче, что надлежит мне подвиг свершить: выплатить долг свой господу богу и пресвятой деве за оказанное Баське

милосердие. Только бы случай представился!.. Но я о тех землях думаю, что вместе с Каменцем могут, пусть хоть на время, басурманам в руки попасть. Вообрази, сударь, какое то было бы надругательство над божьей церковью, какое притеснение люда христианского!

— Только о казачестве мне не говори! Прохвосты! На мать родную руку поднимали, пускай пожинают теперь то, что сами посеяли. Главное дело, чтобы Каменец устоял! Как ты думаешь, Михал, устоит?

— Боюсь, генерал подольский не удосужился город всем нужным снабдить, да и горожане, пока гром не грянул, тоже небось не сделали, что положено. Но вот Кетлинг говорил, будто прибыли туда отлично снаряженные полки князя епископа Тшебицкого.[56] Боже мой! Против какой мощи мы устояли за плохоньким валом под Збаражем, а уж нынче-то должны устоять, ведь Каменец — гнездо орлиное...

— Гнездо-то орлиное, да известно, орел ли в нем окажется, каким Вишневецкий был, или всего-навсего ворона? Знаешь ли ты генерала подольского?

— Магнат влиятельный и солдат неплохой, вот только нерадив, пожалуй.

— Да, знаю. Я не однажды упрекал его в этом. Господа Потоцкие в свое время хотели послать его со мною за границу, чтобы он хороших манер от меня поднабрался. Но я им так сказал: «Не поеду, больно уж нерадив он, ведь у него ни одной пары башмаков с двумя ушками не отыщется, вот он и станет в моих ко дворам представляться, а сафьян-то нынче дорог». После уж, при Марии Людвики, он на французский манер одевался. Но чулки у него то и дело спускались, так голыми икрами и сверкал. Далеко ему до пана Вишневецкого!

— Мещане каменецкие очень осады опасаются; во время осады, видишь ли, торговля стоит. Эти согласны и под турком жить, только бы лавки закрывать не пришлось.

— Шельмы! — сказал Заглоба.

Оба они с маленьким рыцарем чрезвычайно озабочены были предстоящей судьбою Каменца; думали они при этом о Басе, которой в случае падения крепости предстояло разделить участь его жителей.

Вдруг Заглоба хлопнул себя по лбу.

— Боже ты мой, — вскричал он, — чего мы сокрушаемся? Для чего затворяться нам в паршивом этом Каменце? Не лучше ли тебе при гетмане остаться и в открытом поле с неприятелем сойтись? Баська-то ведь в таком случае в хоругвь не завербуется и, стало быть, должна будет уехать — не в Каменец, а куда-нибудь

подальше, хотя бы и к Скшетуским. Михал! Видит бог, как жажду я с басурманами сразиться, но уж ради тебя и Баськи я отвезу ее.

— Спасибо, сударь, — ответил маленький рыцарь. — Разумеется, коль скоро меня в Каменце не будет, так и Баська туда не станет рваться, но что делать, если приказ от гетмана придет?...

— Что делать, если приказ придет?... Черт бы побрал все приказы!.. Что делать... Стой-ка! Погоди... Ага! Надобно приказ упредить!

— Как же это?

— Напиши тотчас же пану Собескому, якобы новости ему сообщаясь, а в конце припиши, что согат *«Перед лицом (лат.)»* близящейся войны ты хотел бы, из любви к нему, остаться при его особе и в поле сражаться. Бог ты мой! Отличная мысль! Во-первых, куда же это годится, чтобы такого наездника, как ты, за крепостной стеною держать, вместо того чтоб послать его в поле, а во-вторых, после такого письма гетман еще пуще тебя возлюбит и захочет оставить при себе. Верные солдаты ему тоже нужны... Слушай, оборона Каменца генералу подольскому славу принесет, а ты в поле гетману славы прибавишь. Не бойся! Гетман генералу тебя не отдаст!.. Кого другого бы отдал, но тебя и меня не отдаст!.. Пиши письмо! Напомни ему о себе! Ха! Смекалка моя, однако ж, лучшего достойна применения! Михал, выпьем по такому случаю? Пиши письмо!

Володыёвский и вправду очень обрадовался; он обнял Заглобу и, поразмыслив, сказал:

— И ни бога, ни отчизны, ни гетмана я не обману, в поле я ведь на многое способен. Спасибо тебе, сударь, от всего сердца! Я тоже думаю, гетман захочет, чтобы я у него под рукою был, после такого письма в особенности. А чтобы и от Каменца не отказываться, знаешь, что я надумал? Отряд пехоты на свой кошт снаряжу и в Каменец его направлю. И о том напишу сейчас гетману.

— Еще лучше! Но откуда же ты людей возьмешь?

— А у меня в погребах человек сорок разбойников да грабителей отсиживается, их и возьму. Баська многожды, бывало, меня упрашивала разбойников не вешать, а жизнь им даровать — и в солдаты. Да я не хотел — для пущей острастки. А нынче война на носу, все можно. Парни они жестокие, пороху понюхали. Да еще объявлю при этом: кто по своей воле из яров и укрытий в полк завербуется, тому простятся бывшие разбойничьи дела. Человек сто, я думаю, наберется. И Баська довольна будет. Великую тяжесть ты, сударь, с души моей снял...

В тот же день маленький рыцарь отправил нового посланца к гетману, а разбойникам объявил, что удостоит их милости и дарует им жизнь, коли они в пехоту наймутся. Те с радостью согла-

сились и обещали привести с собою других. Бася обрадовалась безмерно. Из Ушиц, Каменца, откуда только можно было, доставили портных — шить мундиры. Бывшие разбойники проходили муштру на хрептевском майдане, а Володыёвский был счастлив, что сможет и с неприятелем в открытом поле сразиться, и жену уберечь от опасностей осадной жизни, и при этом Каменцу и отчизне верно послужить.

Прошло несколько недель, когда однажды к вечеру воротился посланец с письмом от гетмана Собеского.

«Любезный и милый сердцу Володыёвский, — писал гетман. — За то, что ты столь прилежно вести мне шлешь, я и отчизна весьма тебе благодарны. Война неизбежна. У меня тоже есть сведения, что на Кучункаурах стоят уже несметные полчища, с ордою будет тысяч триста. Орда двинется со дня на день. Для султана всего важнее Каменец. Изменники-татары все дороги туркам покажут и все подходы к Каменцу. Питаю надежду, что этого змия, сына Тутай-беева, бог отдаст в твои руки либо в руки Нововейского, коему искренне в горе его соболезную. Quod attinet того, чтобы ты при мне находился, видит бог, как был бы я рад, да невозможно это. Генерал подольский после выборов не больно-то ко мне благоволил, я же хочу послать ему наилучшего солдата, ибо каменецкая твердыня для меня — что зеница ока. Там сберется множество воинов, всего раз или два в огне побывавших: это как если бы кто пищу диковинную единожды отведал, кою впоследствии всю жизнь вспоминает; таких же, которые как хлеб насущный ее вкушали и ценным советом могли бы послужить, там недостаток, а коли и найдутся, то без должного авторитета. Оттого я тебя туда и посылаю; Кетлинг, правда, солдат хороший, но не столь все же знаменит, а на тебя обращены будут взоры всех тамошних обывателей, и я так думаю, что, хотя командование в других руках останется, тебя, однако, чтобы ты ни сказал, охотно послушают. Опасной может быть служба в Каменце, да не в первой нам мокнуть под дождем, от которого иные прячутся. Слава и благодарная память — этой награды нам довольно, а наиглавнейшее — отчизна, к спасению коей побуждать тебя нет, я думаю, необходимости».

Письмо это, прочитанное в кругу офицеров, произвело большое впечатление, — все они предпочли бы в открытом поле сражаться, нежели внутри крепостных стен. Володыёвский потупил голову.

— Что думаешь, Михал? — спросил Заглоба.

Тот поднял уже умиротворенное свое лицо и ответил спокойно, словно вовсе не был обманут в надеждах:

— В Каменец пойдем... Что тут думать?

И могло показаться, что никакие иные мысли ему не приходили на ум.

Минуту спустя, однако, он встопорщил усики и сказал:

— Гей! Други милые, пойдём в Каменец, но не отдадим его, разве что сами погибнем!

— Разве что погибнем! — повторили офицеры. — Двум смертям не бывать, одной не миновать.

Заглоба молча обвел взглядом присутствующих, явно ожидавших его решения, перевел дух и сказал:

— С вами иду, черт побери!

ГЛАВА XLV

И вот, когда земля обсохла и налились травы, двинулся могучий хан с крымской и астраханской ордой числом в пятьдесят тысяч на помощь Дорошу и взбунтовавшимся казакам. И хан, и родня его, и все мурзы, кто познатнее, и все беи облачены были в кафтаны, присланные в дар падишахом, и шли на Речь Посполитую не как обыкновенно ходили за добычей и ясырями, но как на священную войну против Лехистана и всего христианства.

Другая, еще более грозная туча собиралась у Адрианополя, и противостояла ей единственно крепость каменецкая. А Речь Посполитая лежала как открытая степь, как больной, которому не только что защищаться не вмоготу, но и подняться тяжело. Изнурили ее долгие, хотя под конец и победоносные, войны со шведами, с пруссаками, с Москвою, с казаками и венграми; изнурили военные конфедерации и бунты в проклятые времена Любомирского, а нынче вконец сломили смуты, немошь королевской власти, ссоры да раздоры меж магнатами, своеволие неразумной шляхты и угроза междоусобиц. Тщетно великий Собеский остерегал от гибели, в войну никто верить не хотел; к обороне не готовились — в казне не было денег, а у гетмана — войска. Против военной мощи, которой едва ли способен был противостоять союз всех христианских народов, гетман мог выставить лишь несколько тысяч войска.

На Востоке же, где все покорялось единой воле падишаха и народы были словно меч покорны единой руке, дело обстояло совсем иначе. С той минуты как развернуто было великое знамя пророка, повешены бунчуки на воротах сераля и на сераскирской башне, а улемы провозгласили священную войну, зашевелилась половина Азии и весь север Африки. Сам падишах[57] с наступлением весны выступил в кучункаурийскую степь и принялся сосредоточивать там силу неслыханную. Сто тысяч спаги и янычаров — гордость турецкого войска — предстали перед священной его особой, после чего начали стягиваться войска из дальних стран и владений. Те, что населяли Европу, явились первыми. Пришли конные отряды боснийских бегов, мундирами — заре, яростью — молнии подобных; пришли дикие албанские воины — пехота, вооруженная ятаганами; пришли ватаги сербских потурченцев; явились народы, обитавшие по Дунаю, и ниже, по ту сторону Балкан, и еще ниже, у самых гор Греции. Каждый паша вел целую армию, которая одна могла бы заполнить беззащитную Речь Посполитую. Пришли валахи и молдаване, явились во множестве добруджские и белгородские татары, а несколько тысяч

липеков и черемисов под водительством грозного сына Тугай-бе-ева должны были вести войско по столь хорошо им знакомой, несчастной земле.

Потом стало прибывать феодальное ополчение из Азии. Паши Сиваса, Бруссы, Алеппо, Дамаска, Багдада, кроме регулярных войск, привели с собою вооруженные толпы: начиная от диких горцев с поросших кедрами гор Малой Азии и кончая смуглыми жителями Междуречья Евфрата и Тигра. Откликнулись на призыв халифа и арабы: их бурнусы подобно снегу покрыли кучунка-урийскую степь; были меж ними и бедуины из песчаных пустынь, и жители городов от Медины до Мекки. Не осталась в своем отечестве и вассальная египетская военная мощь. Те, кто каждый вечер смотрел на пылающие от зари пирамиды с шумных площадей Каира, кто бродил по фиванским руинам, кто населял утрю-мые края, откуда берет свое начало священный Нил, кому солнце до цвета сажи спалило кожу, — все они, вооруженные, пребывали ныне на адрианопольской земле и каждый вечер молились за победу ислама и гибель страны, которая веками одна заслоняла весь прочий мир от приверженцев пророка.

Собралась тьма-тьмущая вооруженного люда, сотни тысяч коней ржали в степи, сотни тысяч буйволов, овец и верблюдов паслись бок о бок с конскими табунами. Можно было подумать, будто ангел по велению божьему изгнал народы из Азии, как некогда Адама из рая, и велел им идти в ту сторону, где солнце бледнее и степь зимою снегом покрыта. И они шли нескончаемым потоком — белое, смуглое и черное воинство со стадами вместе. Сколько же слышалось там языков, сколько разнообразных одежд пестрело на весеннем солнце! Нации дивились нациям, непонятны им были чужие обычаи, неведомо оружие, способы ведения боя. Только вера объединяла бродячие эти толпы: когда муэдзины начинали взывать к молитве, разноязычные полки все как один обращались лицом на восток, согласным хором взывая к аллаху.

Одних[58] челядинцев при султанском дворе было больше, нежели всего войска в Речи Посполитой. За войском и вооруженными толпами ополченцев тянулись вереницы маркитантов, торгующих всевозможным товаром; рекою плыли их фуры, соседствуя с воинскими повозками.

У двух трехбунчужных пашей, идущих во главе двух армий, не было иной работы, кроме как поставлять провиант этому людскому муравейнику, — и все там было в достатке. Сангританский санджак[59] ведал гигантским обозом с боеприпасами. С войском шло двести пушек, в том числе десять тяжелых, — столь гигантских орудий не было ни у одного христианского властителя. Ази-

атские беи стояли на правом фланге, европейские — на левом. Шатры занимали такое пространство, что Адрианополь в сравнении с ними казался маленьким городом. Султанские шатры, сверкающие пурпуром, шелковыми шнурами, атласом и золотым шитьем, образовывали как бы особое поселение. Среди них кишели вооруженные стражи: черные скопцы из Абиссинии в желтых и голубых кафтанах; исполины-носильщики хамалы из курдских племен, молодые прислужники узбеки с на редкость красивыми, шелковой бахромой прикрытыми лицами и множество иных слуг — пестрых и ярких, как степные цветы, — что приставлены были к конюшням, к столу, к ношению светильников и, наконец просто служащие знатным придворным.

На обширной площади близ султанских шатров, которые из-за пышности и роскоши казались правоверным раем обетованным, располагались не столь великолепные и все же не уступавшие королевским шатры визиря, улемов и анатолийского паши, молодого каймакама[60] Кара Мустафы,[61] на которого обращены были взоры султана и всех, кто был в стане, как на будущее «солнце войны».

Перед шатрами падишаха стояли отличные стражи «ляшской» пехоты в таких высоких тюрбанах, что они казались великанами. Вооружены были стражи дротиками, насаженными на длинные древки, и короткими кривыми мечами. Полотняные их убежища примыкали к шатрам султанских ремесленников. Далее табором расположились грозные янычары — ядро турецкой военной мощи, вооруженные мушкетами и копьями. Ни германский император, ни французский король не могли похвалиться пехотой, равной этой по численности и боевой выучке. В войнах с Речью Посполитой более слабое султанское войско обыкновенно не могло устоять перед регулярным польским войском, и если порою все же одерживало победу, то из-за огромного перевеса в числе. Янычары, однако, осмеливались сопротивляться даже регулярным конным хоругвям. Они наводили ужас на весь христианский мир, даже на Царьград. Случалось, сам султан дрожал от страха перед своими преторианцами, а главный ага этих «агнцев» занимал один из важнейших постов в диване.

За янычарами стояли спаги, за ними — регулярное войско пашей, а далее — масса ополченцев. Весь этот стан вот уже несколько месяцев как расположился под Адрианополем, ожидая, когда придет еще подкрепление из дальних турецких владений и когда весеннее солнце, высосав влагу из почвы, облегчит им поход в Лехистан.

А солнце, будто бы тоже воле султана подвластное, грело исправно. За весь апрель лишь несколько раз теплые дожди ороси-

ли кучункаурийскую степь; под шатрами султана раскинулся лазоревый божий шатер без единого облачка. Солнечные блики играли на белом полотне, на шаровидных тюрбанах, на разноцветных куфьях, на остриях шлемов, знамен и дротиков, затопляя все окрест — табор, шатры, людей и стада — морем ясного света. Вечерами на погожем небе сверкал незамутненный полумесяц и безмолвно покровительствовал тысячам людей, что под знаком его устремлялись на добычу новых и новых земель; лунный серп поднимался выше и выше в небо и бледнел от зарева огней. Когда же огни эти засияли на всем необъятном пространстве, когда пешие арабы из Дамаска и Алеппо зажгли зеленые, красные, желтые и голубые фонари у шатров султана и визирей, могло показаться, будто кусок неба рухнул на землю и звезды блещут и мерцают в степи.

Лад и повиновение царили в султанском войске. Паши гнулись перед волей султана, как тростник, колеблемый ветром, воины гнулись перед пашами. Провианта хватало и людям, и стадам. Все доставлялось в избытке, все впору. В образцовом порядке проходили часы учений, часы приема пищи и молитв. Едва муэдзины с насоро сооруженных минаретов начинали созывать народ на молитву, все войско обращалось лицом на восток, каждый расстилал пред собою шкуру или коврик, и воины как один падали на колени. При виде такого порядка и повиновения радовались сердца, а души полнились верой в победу.

Султан, прибывший в стан свой к концу апреля, не сразу выступил в поход. Почти месяц ожидал он, покуда подсохнет земля, а тем временем муштровал войско, приучал его к походной жизни, правил, принимал послов и вершил суд под пурпурным балдахинном. Дивная как сон главная жена султана Кассека сопровождала его, а при ней была свита, тоже райскому сну подобная.

Золотая повозка везла Кассеку под балдахинном из пурпурного тифтика, за нею шли другие повозки и белые навьюченные сирийские верблюды, также покрытые пурпуром. Гурии и баядеры пели ей песни в пути. Сладкозвучная тихая музыка слышалась в тот миг, когда она, утомленная дорогой, прикрывала шелковые завесы своих очей, и убаюкивала ее. В полуденный зной ее обведали веера из страусовых и павлиньих перьев; восточные бесценные благовония дымились в индийских кубках перед ее шатрами. К ее услугам были все сокровища и чудеса, все богатства, которыми располагал Восток и султанское всеисие. Гурии, баядеры, черные скопцы, ангелоподобные мальчишки-слуги, сирийские верблюды, аравийские скакуны, словом, весь кортеж так и сверкал виссоном, парчой, переливался как радуга бриллиантами, рубинами, изумрудами и сапфирами. Народ падал ниц перед

нею, не смея взглянуть на лик, который единственно падишах имел право видеть; кортеж казался неземным видением, а если и существовал зримо, то не иначе как сам аллах перенес его на землю из мира видений и сонных миражей.

Солнце пригревало все сильнее, наступили наконец знойные дни. И вот однажды вечером на высокий шест перед султанским шатром водрузили знамя и орудийный выстрел возвестил войскам и народам, что поход в Лехистан начинается. Зазвучал большой святой барабан, забили другие барабаны, отозвались пронзительными голосами рожки, завывали набожные полунагие дerviши, и поток двинулся в ночь, дабы избежать дневного зноя. Но основному войску подлежало выступить лишь спустя несколько часов после первого сигнала. Сперва тронулся обоз, двинулись паши, снабжающие войско провиантом, пошли целые легионы ремесленников, которым предстояло разбивать шатры, пошел скот — и вьючный, и убойный. Переход должен был длиться по шесть часов и в эту ночь, и в последующие, причем каждого воина на привале ожидали еда и отдых.

Когда же наконец пришло время выступить и войску, султан поднялся на взгорье, чтобы окинуть взглядом всю мощь свою и потешиться этим зрелищем. Были с ним визирь, и улемы, и молодой каймакам Кара Мустафа — «восходящее солнце войны», и стража из «ляшской» пехоты. Ночь стояла погожая, ясная; месяц светил очень ярко, султан мог бы объять взглядом все свои рати, кабы глазу людскому было под силу такое, ибо, хотя войско шло весьма густо, однако растянулось оно на несколько миль.

Но возрадовалось сердце султана, и, перебирая благовонные, сандалового дерева бусинки четок, он возносил очи к небу, благодаря аллаха за то, что сделал его повелителем стольких войск и стольких народов.

И вдруг когда голова табора уже почти совсем исчезла вдали, он прервал молитву и, поворотившись к молодому каймакаму Черному Мустафе, сказал:

— Что-то запамятовал я, кто в передовом дозоре идет?

— О мой повелитель, — ответил Кара Мустафа, — в передовом дозоре идут польские татары, а ведет их верный пес твой Азья — сын Тугай-бея...

ГЛАВА XLVI

Азья, сын Тугай-бея, после долгого стояния в кучункаурийской степи в самом деле выступил со своими татарами впереди турецких войск к границам Речи Посполитой.

После тяжкого поражения, какое мужественная Басина рука нанесла и ему, и его замыслам, счастливая звезда казалось, вновь засияла над ним. Прежде всего он выздоровел. Правда, красота его раз и навсегда померкла: один глаз вытек, нос был раздроблен, и некогда соколиное лицо стало безобразным и страшным. Но ужас, который внушало оно людям, заставил диких добруджских татар еще больше его уважать. Прибытие Азьи наделало много шума, молва о делах его ширилась. Говорили, будто он привел всех липеков и черемисов на султанскую службу, что обманул ляхов так, как никто никогда их еще не обманывал, что поджег все города по Днестру, вырезал там гарнизоны и отменную взял добычу. Те, кому только предстояло идти в Лехистан, те, кто, прибыв из далеких уголков Востока, до сих пор не испытал на себе «ляшское» оружие, те, у кого тревожно бились сердца при мысли о том, что вскорости им предстоит лицом к лицу встретиться с грозной конницей неверных, видели в молодом Азье воина, который, имея дело с ляхами, не только не убоился их, но и одержал победу, обеспечив тем самым счастливое начало войны. Один вид этого богатыря взбадривал сердца, а то, что Азья был сыном грозного Тугай-бея, имя которого гремело на Востоке, еще более приковывало к нему взоры.

— Ляхи вырастили его, но он сын льва, — так говорили об Азье, — покусал он их, да и воротился на службу к падишаху.

Сам визирь пожелал его видеть, а «восходящее солнце войны», молодой каймакам Кара Мустафа, чтивший воинскую славу и диких воителей, полюбил его. Оба с пристрастием испытывали Азью о Речи Посполитой, о гетмане, о войске, о Каменце и радовались его ответам, ибо из них следовало, что война будет нетрудной, что она должна принести султану победу, ляхам поражение, им же обоим звание гази — то есть завоевателей. Так что Азье потом нередко представлялся случай падать ниц перед визирем, сидеть на пороге каймакамова шатра, от них получал он многочисленные дары — верблюдов, коней и оружие.

Великий визирь одарил его кафтаном из серебряной парчи, обладание которым возвышало его в глазах всех липеков и черемисов. Крычинский, Адурович, Моравский, Грохольский, Творовский, Александрович — словом, все те ротмистры, что жили некогда в Речи Посполитой и ей служили, а теперь воротились к сул-

тану, — беспрекословно подчинялись сыну Тугай-бея, чтя в нем потомка княжеского рода и воина, в награду получившего кафтан. Итак, он стал видным мурзой, и более двух тысяч воинов, несравненно более отважных, нежели прочие татары, служили под его началом. Скорая война, в которой молодому мурзе отличиться было легче, чем кому бы то ни было, могла высоко вознести его, дать ему звание, славу, власть.

И все же душа Азьи была отравлена. Прежде всего страдало его самолюбие оттого, что татары в сравнении с турками, в особенности с янычарами и спаги, значили не более, чем гончие псы в сравнении с охотниками.

Сам-то он высоко вознесся, но татарские конники ни во что не ставились. Турки нуждались в них, немного побаивались, но в стане ими пренебрегали. Заметив это, Азья стал выделять липеков как особый, лучший род войска и тем самым тотчас восстановил против себя других — добруджских и белгородских мурз, не успев при этом убедить турецких офицеров в том, что липеки и в самом деле много лучше других ордынцев. К тому же воспитанный в христианской стране среди шляхты и рыцарей, он не мог привыкнуть к обычаям Востока. В Речи Посполитой он был всего-навсего рядовым офицером, притом из самых низших, но при встрече со старшими по званию, даже с самим гетманом, вовсе не обязан был так унижаться, как здесь, будучи мурзой и предводителем польских татар. Здесь перед визирем надобно было падать ниц, в шатре друга своего каймакама бить земные поклоны, стелиться перед пашами и улемами, перед главным янычарским агой. Азья не привык к тому; он ощущал себя сыном витязя, душа у него была дикая и гордая, метил он по-орлиному высоко и оттого жестоко страдал.

Но более всего жгло его огнем воспоминание о Басе. Не говоря уж о том, что слабая Басина рука смогла свалить его с седла, его, вызывавшего на поединок под Брацлавом, Кальником и в ста иных местах и поражавшего насмерть грознейших запорожских поединщиков. Не говоря уж о том, сколь много претерпел он стыда и позора! Но больней всего было то, что он страстно, без памяти любил эту женщину, хотел обладать ею в своем шатре, любоваться ею, бить, целовать ее. Кабы ему представили выбор — стать падишахом и повелевать половиной мира либо сжать ее в объятьях, чуют сердцем тепло ее крови, лицом — ее дыхание, губами — ее губы, — он предпочел бы ее и Царьграду, и Босфору, и титулу халифа. Он жаждал ее, оттого что страстно любил, и в то же время ненавидел; чем недостижимей она была, тем более он ее жаждал; чем чаще, чем неприступней и непорочнее она была, тем более он ее жаждал. Когда он вспомнил о своем шатре, как

однажды целовал ее глаза, там, в овраге, после битвы с Азба-беем, как под Рашковым чувствовал грудь ее у своей груди, безумное желание овладевало им. Он не знал, что случилось с нею, вернулась ли она в Хрептев или погибла в пути. Порою он чувствовал облегчение при мысли, что она умерла, порою беспредельная печаль овладевала им. Случалось, он думал, что лучше было бы не похищать ее, не жечь Рашков, лучше было бы не приходить сюда, остаться в Хрептеве — чтобы хотя бы видеть ее.

А несчастная Зося Боская была у него в шатре. Жизнь ее протекала в рабском услужении, в позоре и постоянном страхе, ибо в сердце Азьи не было для нее ни капли жалости. Он помыкал ею уже за одно то, что она не Бася. Но были в ней прелесть и очарование полевого цветка, была молодость и красота, и он наслаждался ее красотой, хотя по любому поводу колотил ногами, а то и плетью хлестал ее белое тело. Она жила в истинном аду, оттого что жила без надежды. Совсем недавно, в Рашкове, жизнь ее, как весна, расцвела для молодого Нововейского. Она любила его всей душой, любила его рыцарскую, благородную и честную натуру и вот стала рабыней и игрушкой одноглазого злодея; дрожа, как побитый пес, она вынуждена была ползать у его ног, не сводя глаз с его лица и рук — не хватают ли они сыромятную плеть, — и сдерживать дыхание, и сдерживать слезы.

Она сознавала, что нет и не будет ей избавления, ведь, вырвись она даже каким-то чудом из страшных этих рук, ей не быть уже прежней Зосей, чистой как первый снег, готовой ответить на сердечное чувство. Все минуло безвозвратно. А ведь в мучительном позоре, в каком жила она нынче, не было ни малейшей ее вины, — напротив, она была беспорочной, как агнец, доброй как голубь, доверчивой, как дитя, простой и любящей девушкой и потому никак не могла взять в толк, за что покарало ее столь страшное, неотвратимое зло, за что обрушился на нее столь беспощадный гнев божий, — и душевный разлад еще усиливал ее боль и отчаяние.

Так текли дни, недели и месяцы. Азья еще зимой отправился в кучункаурийскую степь, а поход к границам Речи Посполитой начался только в июне. Все это время прошло для Зоси в позоре и в муках и труде. Азья, несмотря на красоту ее и очарование, хотя и держал Зосю у себя в шатре, не только что не любил ее, но и скорее ненавидел — за то, что она не Бася — и почитал простою рабыней, она и трудиться должна была как рабыня. Зося поила в реке его коней и верблюдов, носила воду для омовения, дрова для огня, стелила шкуры на ночь, варила пищу. Обыкновенно женщины турецких воинов не выходили из шатров из страха перед янычарами или блюдя обычай, но табор польских татар стоял на

отшибе, а прятать женщин в заводе у них не было; живя в Речи Посполитой, они к этому не привыкли. Если у простых воинов, случалось, были невольницы, они лиц под чадрой не скрывали. Женщинам не разрешалось, правда, удалиться за пределы табора — там бы их неизбежно похитили, но в его пределах они могли ходить беспрепятственно, занимаясь хозяйством.

Несмотря на тяжкий труд, для Зоси было неким даже утешением выйти по дрова или к реке — поить лошадей и верблюдов; в шатре она плакать боялась, а по пути могла безнаказанно дать волю слезам. Однажды, идя, с охапкой дров, она встретила мать, которую Азья подарил Халиму. Они упали друг другу в объятия, так что пришлось растаскивать их силой, и, хотя Азья жестоко отхлестал потом Зосю, все же то была сладостная встреча. В другой раз, стирая у брода Азьеву чалму и онучи, Зося издалека увидела Эвку, несущую воду. Эвка стонала под тяжестью ведер, фигура ее сильно уже изменилась, отяжелела, но черты лица скрытые чадрой, напомнили Зосе Адама — и такой болью стиснуло сердце, что на миг ей стало дурно. Однако от страха они не заговорили друг с другом.

Страх постепенно подавлял Зосю и овладевал всеми ее чувствами, пока полностью не вытеснил и желания, и надежду, и память. Не быть избитой — вот что стало ее целью. Бася на ее месте в первый же день убила бы Азью собственным его ножом, не думая о последствиях, но боязливая Зося, почти еще ребенок, не обладала Басиной храбростью.

И в конце концов стала она почитать за милость, если страшный Азья под влиянием минутной похоти приближал порою безобразное свое лицо к ее губам. Сидя в шатре, она не спускала глаз со своего господина, жаждая понять, не гневается ли он, ловя каждое его движение, стараясь угадать его желание. А когда, бывало, не угадывала, когда из-под усов его, как некогда у старого Тутай-бея, показывались клыки, она почти в беспамятстве от страха ползала у его ног, принося к ним бескровными губами, и, судорожно сжимая его колени, кричала как истерзанный ребенок:

— Не бей меня, Азья, прости, не бей!

Он же почти никогда не прощал и измывался над нею не только за то, что она не Бася, но и за то еще, что она была невестой Нововейского. Неустрашимой душой обладал Азья, однако же меж ним и Нововейским такие были счеты, что при мысли о жаждавшем мести исполине смутная тревога охватывала молодого татарина. Предстояла война, они могли встретиться, да, конечно же, они могли встретиться. Азья невольно думал об этом, а поскольку подобные мысли приходили ему на ум при виде Зоси,

он и вымещал на ней все, словно ударами плети хотел убить собственную тревогу.

Но вот пришло время, и султан дал приказ выступать. Разумеется, липеки, а за ними тьма добруджских и белгородских татар должны были идти в передовом дозоре. Так порешили меж собою султан, визирь и каймакам. Но спервоначалу, до Балкан во всяком случае, шли все вместе. Поход был нетрудный, так как из-за жары шли только по ночам, по шести часов, от привала к привалу. Смоляные бочки пылали вдоль пути, пешие арабы светили султану цветными фонариками. Людское скопище волной накачивало на необъятные равнины, как саранча, заполняло углубления и впадины, сплошь покрывало горы. За вооруженным войском шли обозы, в них гаремы, за обозами несчетные стада.

Но как-то в болотах балканских предгорий золотисто-пурпурная повозка Кассеки увязла так, что двадцать буйволов не могли ее вытащить из трясины. «Дурное знамение, повелитель, и для тебя и для всего войска!» — сказал султану главный муфтий. «Дурное знамение!» — подхватили полубезумные дервиши. Султан испугался и повелел всех женщин, и прелестную Кассеку тоже, из табора удалить.

Приказ огласили войскам. Среди солдат — из тех, кому некуда было отослать своих невольниц, — нашлись такие, что из любви предпочли прирезать их, нежели продать чужакам на утеху. Женщин скупали за большие деньги базарные торговцы из караван-сарая, чтобы перепродать потом на базарах Стамбула и других городов ближней Азии. Три дня подряд продолжалась бойкая торговля. Азья без колебаний выставил на продажу Зосю, которую тут же втридорога купил для своего сына богатый и старый стамбульский бакалейщик.

То был добрый человек — вняв слезам и мольбам Зоси, он купил у Халима, правда, задешево, и ее мать. На другой же день они в череде других женщин направились в Стамбул. Там судьба Зоси, оставаясь позорной, все же переменялась к лучшему. Новый владелец полюбил ее и спустя несколько месяцев возвел в ранг жены. Мать больше с ней не разлучалась.

Бывало, что женщины, даже после долгой неволи, возвращались на родину. Кто-то сначала, кажется, разыскивал Зосю — и через армян, и греческих купцов, и через посланцев Речи Посполитой. Но безуспешно. Потом поиски прекратились, и Зося никогда более не увидела ни родимого края, ни дорогих лиц.

До самой смерти она прожила в гареме.

ГЛАВА XLVII

Еще перед выходом турков из-под Адрианополя на всех приднестровских заставах началось большое движение. В близкий к Каменцу Хрептев то и дело прибывали гонцы от гетмана с разными приказами; маленький рыцарь либо сам выполнял их, либо, когда они его не касались, через верных слуг переправлял дальше. Из-за приказов этих гарнизон хрептевской крепости значительно уменьшился. Пан Мотовило со своим отрядом пошел под самую Умань на помощь Ханенко, который с горсткой верных Речи Посполитой казаков отбивался как мог от Дороша и присоединившейся к нему крымской орды. Несравненный лучник Мушальский, а с ним вместе пан Снитко, герба месяц на ущербе, и Ненашинец, и Громыка повели хоругвь товарищей и Линкгаузовых драгун в злосчастный Батог,[62] где стоял Лужецкий, коему предписывалось вместе с Ханенко наблюдать за маневрами Дороша. Богуш получил приказ оставаться в Могилеве до тех пор, пока сам собственными глазами не увидит чамбулы. Спешно искали гетманские приказы и прославленного наездника Рущица, но Рущиц с несколькими десятками людей ушел в степь и как в воду канул. Услышали о нем лишь позднее, когда разнеслась вдруг странная весть, будто поблизости от дорошенковского лагеря и ордынских становищ кружит злой дух и что ни день похищает то воина, а то и небольшую ватагу. Догадались, что это, верно, Рущиц треплет неприятеля, кто же еще, кроме разве что маленького рыцаря, способен был на такое. И в самом деле, это был Рущиц.

Володыёвскому по-прежнему надлежало идти в Каменец, гетман нуждался в нем, зная, что один вид этого воина волеет бодрость в сердца и поднимет дух в горожанах и солдатах. Собеский убежден был, что Каменец не устоит, но считал важным подольше там продержаться — дотоле, доколе Речь Посполитая не соберется с силами, чтобы противостоять противнику. Убежденный в этом, он посылал почти на верную смерть славнейшего кавалера Речи Посполитой и любимого своего солдата.

На смерть посылал славнейшего воина и не сожалел об этом. Позднее, под Веной, он говорил: пани Войнова может рожать людей, но война их только губит. Он сам готов был погибнуть, почитая смерть простейшим долгом воина, а если тем еще и службу сослужит — нет для воина высшей награды. Знал гетман, что маленький рыцарь полагает так же. Да и не время было думать о жизни отдельных солдат, когда гибель угрожала костелам, городам, краям, всей Речи Посполитой, когда Восток с неслышанной мощью поднялся против Европы на завоевание христи-

анского мира, а мир этот, заслоненный грудью Речи Посполитой, и не собирался идти ей на помощь. По мысли гетмана, Каменец призван был заслонить Речь Посполитую, чтобы после Речь Посполитая могла заслонить собою весь христианский мир.

И такое было возможно, кабы страна имела силы, кабы не терзало ее безвластие. Но у гетмана войска даже на то не стало, чтобы учинять разъезды, где уж там на войну. Стоило ему перебросить куда-нибудь несколько десятков воинов, как тотчас образовывалась брешь, и волна завоевателей могла хлынуть в нее беспрепятственно. Караулы, что расставлял султан ночью в своем стане, были многочисленней, нежели гетманские хоругви. Вторжение началось с двух сторон, от Днестра и от Дуная. Дорош со всею крымской ордой уже заполняли край, предавая все огню и мечу, и потому против них выступили главные силы, а послать даже на разведку в другую сторону было уже некого.

В опасной этой ситуации гетман писал к Володыёвскому:

«Я уж двояко взвешивал, не отрядить ли тебя в самый Рашков неприятелю навстречу, да испугался, что, когда орда семью бродами хлынет с молдавского берега и край займет, ты не успеешь в Каменец, а там нужда в тебе большая. Вчера только вспомнил я про Нововейского, он воин бывалый, да и смельчак, а понеже человек в отчаянии на все способен, то, думаю я, он славно мне послужит. Дай ему легкой конницы сколько сможешь, а он пускай проберется к неприятелю в тыл и всюду на пути своем о силе войска нашего возвещает; а на виду у неприятеля пускай петлять начнет, от боя уклоняясь. Как турки пойдут — нам известно, но коли он что новое заметит, тотчас тебе сообщить должен, а ты, не мешкая, языка пошлешь — мне и в Каменец. Нововейский пускай тот же час отправляется, но и ты будь готов в Каменец идти, погоди только, покамест вести из Молдавии от Нововейского не придут».

Так как Нововейский ненадолго отправился в Могилев и говорили, будто после он в Хрептев прибудет, маленький рыцарь дал ему знать, чтобы с приездом поторопился, ибо по велению гетмана в Хрептеве ждет его дело.

Нововейский явился на третий день. Знакомые с трудом его признали — Бялогловский верно назвал его скелетом. Это был уже не тот дюжий молодец, шумный да веселый, что, бывало, кидался на врага с громким хохотом, похожим на конское ржание, и бил, колотил его с размахом крыльев ветряка. Он отощал, иссох, почернел весь и от худобы еще выше стал. На людей смотрел он щурясь, словно не узнавал даже близких знакомых; приходилось по два раза повторять ему одно и то же — похоже, он не сразу и понимал. Видно, вместо крови желчь текла в его жилах,

видно, о каких-то вещах старался он не думать, забыть, чтобы ума не решиться. И то сказать, в стороне той не было человека, не было семьи и в войске не было воина, кому не принесли бы басурманы горя, кто не оплакивал родных ли, близких ли, друзей и знакомых. На Нововейского, однако, обрушилось сонмище несчастий. В один день потерял он отца, сестру и невесту, которую любил со всем пылом буйной своей души. Уж лучше бы и сестра, и чудная та девушка умерли; лучше бы погибли они от ножа и огня. Но судьба их была такова, что при мысли о ней величайшая из мук казалась Нововейскому ничтожной. Он старался не думать о них, чувствуя, что так и спятить недолго, но совладать с собой не мог.

Спокойствие его было мнимое. Душа его не знала резиньяции, и всякий при первом же взгляде на него угадывал, что под маской спокойствия таится нечто злое и страшное, вот-вот исполнин может сбросить ее и тогда, подобно разбушевавшейся стихии, свершит ужасные дела. Было это столь явственно написано на челе его, что даже друзья приближались к нему с опаской, а в разговоре избегали воспоминаний о происшедшем.

Встреча с Басей в Хрептеве отозвалась в нем жгучей болью; целуя ей руки, он застонал вдруг, как поверженный зубр, глаза его налились кровью, жилы на шее взбухли, как веревки. Когда же Бася залилась слезами и по-матерински сжала руками его голову, он упал к ее ногам, и его долго не могли оторвать от нее. Но, узнав, какое дело предназначил ему гетман, он оживился; пламенем злое радости зажгло его лицо, и он сказал:

— Сделаю, и больше того сделаю!

— А коли встретишь бешеного того пса, сверни ему шею, — вставил Заглоба.

Нововейский не сразу ответил, только смотрел на Заглобу; вдруг глаза его заволокло безумием, он встал и пошел к старому шляхтичу, словно намереваясь броситься на него.

— Веришь ли, сударь, — молвил он, — что я тому человеку никакого зла не причинил и всегда был к нему расположен?

— Верю, верю, — поспешно ответил Заглоба, предусмотрительно прячась за спину Володыёвского. — Сам бы с тобой пошел, да подагра за ноги кусает.

— Нововейский, ты когда намерен отправиться? — спросил маленький рыцарь.

— Сегодня в ночь.

— Я дам тебе сто драгун. А сам тут со второй сотней и с пехотой останусь. Идем-ка на майдан!

И они вышли, чтобы отдать распоряжения.

У порога ожидал их вытянувшийся в струнку Сидор Люсьня. Об экспедиции стало уже известно, и вахмистр от себя и от своей роты попросил маленького полковника, чтобы тот позволил ему идти с Нововейским.

— Вот как? Ты хочешь уйти от меня? — удивленно спросил Володыёвский.

— Пан комендант, да ведь мы с этим сукиным сыном поклялись расправиться! Вдруг он попадется нам в руки!

— Это верно! Мне об этом Заглоба говорил, — сказал маленький рыцарь.

Люсьня повернулся к Нововейскому:

— Пан комендант!

— Чего хочешь?

— Коли мы возьмем его, мне бы только в глаза ему глянуть...

И такую свирепую, звериную жестокость выразило лицо мазура, что Нововейский стал просить маленького рыцаря:

— Ваша милость, дай мне этого человека!

Володыёвский и не думал возражать, и в тот же вечер сто конников во главе с Нововейским двинулись в путь.

Они шли знакомой дорогой на Могилев и Ямполь. В Ямполье встретили давний рашковский гарнизон, из числа которого двести человек по приказу гетмана примкнули к Нововейскому, а остальные под предводительством Бялогловского должны были идти к Могилеву, где стоял Богуш.

Нововейский же направился на юг, к самому Рашкову.

Окрестности Рашкова были теперь совершенно пустынные; сам городишко превратился в груды пепла, который ветры успели уже развеять на все четыре стороны, немногочисленные жители бежали от надвигающейся бури. Было ведь уже начало мая, добруджская орда, того гляди, могла появиться в этих краях, так что оставаться там было опасно.

На самом деле орды с турками стояли еще в кучункаурийской степи, но здесь того не ведали, и уцелевшие от резни жители стремились поскорее унести ноги.

Люсьня по пути придумывал разные военные хитрости, к которым, по его мнению, должен прибегнуть Нововейский, чтобы обвести неприятеля вокруг пальца. Мыслями своими он милостиво делился с рядовыми.

— Глупы вы, как сивые мерины, — говорил он, — ни черта вы не смыслите, а я старый, я смыслю. В Рашков пойдем, там в укрытиях затаимся и станем ждать. Подойдет орда к броду, сперва разъезды переправятся, это обычай у них такой, чамбул стоит и ждет, покуда ему знак дадут, безопасно, мол. А тут мы крадучись обойдем их и погоним впереди себя хоть и до самого Каменца.

— А того лиходея не упустим? — заметил один из рядовых.

— Пустомеля! — отпарировал Люсьня. — Кто же впереди пойдет, как не татарва?

Предложения вахмистра как будто оправдывались. Нововейский, достигнув Рашкова, дал роздых солдатам. Никто уже не сомневался, что до подхода первых неприятельских разъездов они залягут в укрытиях близ города.

На другой день, однако, комендант поднял хоругвь и повел ее за Рашков. «До самого Ягорлыка идем, что ли?» — говорил себе вахмистр.

Но тут же за Рашковым они приблизились к реке, а чуть погода остановились у брода, который звался «Кровавым». Нововейский, не говоря ни слова, погнал коня в воду и начал переправляться на другой берег.

Солдаты удивленно переглянулись.

— Что же это? Никак, в Туретчину идем? — спрашивал один другого.

Но то были не «ясновельможные паны» из ополчения, скорые на советы да на протесты, а простые солдаты, приученные к дисциплине; вослед за комендантом направила коней в воду первая шеренга, за ней вторая, третья. И — без малейшего колебания. Солдаты дивились, правда, что в триста коней идут на государство турецкое, кому целый мир противостоять не может, однако же шли.

Вскоре расколыхавшаяся вода стала хлюпать в конские бока, так что они не дивились уж, а думали только о том, как бы не замочить торбы с провиантом для себя и для коней.

Только на другом берегу они снова стали переглядываться.

— Боже милостивый! Так мы уже в Молдавии! — слышался тихий шепот.

И кое-кто оборотился к Днестру, который в заходящем солнце сверкал, как золотисто-пурпурная лента. Прибрежные, полные пещер скалы потонули в слепящем сиянии. Они возносились стеной, отделяя горстку людей от отчизны. Для многих то было, верно, последнее прощание.

В голове у Люсьни мелькнула мысль, не спятил ли часом комендант, но дело коменданта было приказывать, а его дело — подчиняться.

Тем временем кони, выйдя из воды, громко зафыркали в шеренгах.

— Будь здоров! Будь здоров! — раздались голоса солдат.

Это почиталось доброй приметой и взбодрило сердца.

— Вперед! — скомандовал Нововейский.

И шеренги двинулись вперед — в сторону заходящего солнца, к тем тысячам, к тому людскому скопищу, к тем народам, что стояли в Кучункаурах.

ГЛАВА XLVIII

Переправу Нововейского через Днестр и поход его в триста сабель против султанских полчищ, насчитывающих сотни тысяч воинов, человек, в военном искусстве не искушенный, почел бы безумием, на самом же деле то была дерзкая военная экспедиция, имевшая шансы на успех.

Тогдашним наездникам не однажды случалось выступать против стократ сильнейших чамбулов; возникнув у них на виду, они потом мчались вперед, то и дело кусая преследователей и оставляя кровавый след. Так волк порою выманивает в погоню за собой собак, чтобы, улучив минуту, оборотиться и загрызть дерзнувшую приблизиться гончую. Зверь в мгновение ока переменялся в охотника: убегал от погони, скрывался, таился. Но, преследуемый, сам преследовал, нападал внезапно и кусал насмерть. Называлось это — «татарский танец». Участники его состязались в хитрости, в уловках, в умение устраивать засаду. Более других славился этим искусством Володыёвский, после него Рущиц, затем пан Пиво и пан Мотовило, однако же и Нововейский, с детства живя в степи им не уступал, так что было вполне вероятно, что, возникнув в поле зрения ордынцев, он не дастся им в руки.

Поход мог быть вполне успешным еще и потому, что за Днестром раскинулся пустынный край и там легко было укрыться. Кое-где в поречье встречались сельбища, но вообще-то край был мало обитаемый, ближе к берегу скалистый и холмистый, далее — степной либо покрытый лесами, в которых бродили многочисленные стада одичавших буйволов, оленей, серн и вепрей. Коль скоро султан перед выступлением жаждал воочию убедиться в своей мощи и рассчитать свои силы, то населяющие низовья Днестра белгородские, а далее — добруджские орды направились по велению падишаха за Балканы, за ними последовали молдавские каралаши, край и вовсе обезлюдел, и можно было по целым неделям идти по нему незамеченным.

Нововейский слишком хорошо усвоил повадки татар, чтобы не знать: единожды пересекши границу Речи Посполитой, чамбулы пойдут сторожко, внимательно следя по сторонам, но тут, на своей еще земле, они потекут широкой лавиной, не соблюдая никакой предосторожности. Так оно и было: встреча со смертью показалась бы татарам более правдоподобной, нежели встреча в глубине Бессарабии, на самых татарских рубежах, с войском Речи Посполитой, которой его не доставало даже для охраны собственных рубежей.

Нововейский верил, уповал на то, что его экспедиция застанет врага врасплох, и тогда результаты ее превзойдут ожидания гетмана; к тому же она могла стать роковой для Азьи и его татар. Молодому поручику нетрудно было предвидеть, что липеки и черемисы, отлично знавшие Речь Посполитую, пойдут в передовом дозоре, — уверенность в этом была главным источником его надежды. Напасть внезапно, захватить этого вражьего сына Азью, быть может, отбить сестру и Зосю, вырвать их из неволи, отомстить сполна, а затем самому сложить голову на войне — вот и все, чего еще жаждала истерзанная душа Нововейского.

Благодаря этим мыслям и надеждам Нововейский стряхнул с себя оцепенение и ожил. Трудный поход по неведомым путям-дорогам, вольное дыхание степи и опасности, все это возродило его здоровье и былую силу. Искусный наездник стал одерживать в нем верх. Мучительные воспоминания вытеснила забота о том, как обмануть неприятеля, нанести ему урон.

Переправившись через Днестр, отряд пошел наискось и вниз, к Пруту, днем обыкновенно углубляясь в леса и камышовые заросли, а ночью совершая спешные и скрытые переходы. Край тот, и нынче еще не слишком многолюдный, в те времена населяли почти одни кочевники. Редко-редко встречались кукурузные поля и с ними рядом сельбища.

Двигаясь скрытно, они старались избегать больших селений, но иной раз весьма смело въезжали в маленькие, из двух-трех, а то и дюжины домов, зная, что никому из жителей не придет в голову бежать, опередив их, в Буджак, дабы остеречь тамошних татар. Впрочем, Люсьня следил, чтобы такого не случилось, но вскоре отказался от всякой предосторожности, увидевши, что немногочисленные эти жители, хотя и подданные султана, сами с тревогой ожидают прихода султанских войск, к тому же понятия не имеют о том, кто к ним пожаловал, и принимают их за каралашей, которые, как и все прочие, держат путь к султану.

Люди эти безо всякого принуждения снабжали солдат кукурузными лепешками, сушеным кизилом и вяленным буйволовым мясом. У каждого хуторянина были свои стада овец, буйволов и коней, укрытые близ рек. Время от времени драгуны встречали и большие стада полудиких буйволов, которые пасло не менее десятка пастухов. Пастухи эти кочевали по степи, разбивали шатры и оставались на одном месте, пока хватит кормов. Обыкновенно то были старики татары. Нововейский осторожно, словно то был чамбул, окружал чабанов и морил их голодом, чтобы они не смогли сообщить в буджак о его экспедиции. Татар этих, расспросивши сперва о дорогах, а вернее о бездорожье, он по большей части велел убивать беспощадно, никто живым не уходил. Затем

брал из стада столько буйволов, сколько было нужно, и шел далее.

По мере того как отряд продвигался на юг, стада встречались все чаще, стерегли их почти сплошь татары, и было их немало. За время двухнедельного похода Нововейский окружил и уничтожил три пастушеские ватаги при отарах овец, по несколько десятков людей каждая. Драгуны отбирали у пастухов вшивые их кожухи и, очистив над огнем, сами в них облачались, чтобы походить на диких чабанов и овчаров. Уже к началу второй недели все были одеты по-татарски — ни дать ни взять чамбул. Осталось у них только оружие регулярной конницы, а колеты они приторочили к седлу, полагая переодеться на обратном пути. Вблизи по льняным мазурским усикам и голубым глазам нетрудно было распознать, кто они такие, издалека же даже самый опытный глаз мог при виде их ошибиться, тем паче что они еще гнали перед собою стадо, необходимое им для пропитания.

Подойдя к Пруту, они левым берегом направились вниз. Поскольку на Кучменском тракте не хватало провианта, можно было предположить, что султанские полчища, а впереди них орда, пойдут на Фалешты, Хуш, Котиморе и затем лишь валашской дорогой и либо свернут к Днестру, либо еще пройдут напрямик, через всю Бессарабию, чтобы только близ Ушиц вынырнуть у границы Речи Посполитой. Нововейский настолько был в этом уверен, что шел все медленнее, не считаясь со временем, и все осторожнее, боясь ненароком наткнуться на чамбулы. Войдя наконец в междуречье Сараты и Текича, он остановился там — дать роздых коням и людям и в хорошо защищенном месте дожидаться передового дозора ордынцев.

Место и в самом деле выбрали удачное: и междуречье, и противоположные берега сплошь поросли кизилом и крушиной. Заросли кустарника раскинулись окрест, насколько хватал глаз, где густо покрывая землю, а где образуя островки, меж которых светлели прогалины, весьма пригодные для лагеря. В ту пору деревья и кустарники уже отцвели, а ранней весной было тут множество желтых и белых цветов. Безлюдные заросли кишели всякого рода зверьем: оленями, сернами, зайцами, птицами. Тут и там близ источников воины заметили и медвежьи следы. Один медведь спустя два дня после прибытия отряда задрал овец, и Люсьня решил устроить на него облаву, но поскольку Нововейский, дабы не обнаружить себя, запретил стрельбу из мушкетов, воины выбирались на хищника с копьями и топорами.

Позднее у воды нашли и кострища, но старые, вероятно прошлогодние. Сюда, как видно, заходили порой кочевники со стадами или, быть может, татары приходили срезать кизиловые побеги на кистени. Но даже при самых тщательных поисках све-

жих следов человека не обнаружили.

Нововейский решил далее не идти и здесь ожидать прибытия турецких войск.

Разбили лагерь. Соорудили шалаши и принялись ждать. На краю зарослей встали караульные; одни денно и ночью смотрели в сторону Буджака, другие — на Прут, в сторону Фалешт. Нововейский не сомневался, что по каким-то признакам он угадает приближение султанских войск, но отражал все же маленькие разъезды, которые обыкновенно сам и возглавлял. Погода весьма им благоприятствовала. Дни стояли знойные, хотя в тени густых зарослей можно было укрыться от жары, а ночи ясные, тихие, лунные; кустарник в эту пору так и трепетал от соловьиных трелей. Такие ночи приносили Нововейскому тягчайшие страдания; будучи не в состоянии забыться сном, он неотвязно размышлял о недавнем своем счастье и о нынешних бедствиях.

Жил он одной лишь думой: насытить сердце местью и хоть немного успокоиться. Близился срок, когда ему суждено либо свершить свою месть, либо погибнуть.

Неделя проходила за неделей, драгуны хозяйничали в пустынном месте и вели наблюдение. За это время они изучили все пути, все овраги, луга, реки и ручьи, похитили еще несколько стад, вырезали несколько небольших групп кочевников и подстерегали врага в густых зарослях, как дикий зверь подстерегает добычу. И вот долгожданный миг настал.

Однажды поутру они заметили стаи птиц, тянувшиеся и высоко над землей, и совсем низко. Дрофы, белые куропатки, голубоногие перепелки, держась понизу, по-над травой, устремлялись к зарослям, а поверху неслись вороны, вороны и даже болотная птица, очевидно, вспугнутая с берегов Дуная либо с добруджских болот. Завидев стаи птиц, драгуны переглянулись, и слово «идут, идут!» полетело из уст в уста. Лица тотчас оживились, усы встопорщились, заблестели глаза, но в их оживлении не было ни тени тревоги; у людей этих вся жизнь прошла в «маневрах», и чуяли они лишь то, что чуют охотничьи собаки, выследившие зверя. Костры тотчас залили, чтобы дым не выдал присутствия людей в зарослях, коней оседлали — весь отряд встал в боевом порядке.

Теперь надлежало рассчитать время и захватить неприятеля врасплох, когда он расположится на привал. Нововейский хорошо знал, что султанское войско движется врассыпную, тем паче здесь, у себя в стране, где никакая опасность как будто не грозит. Знал он и то, что передовой дозор обыкновенно на милю, а то и на две опережает основное войско, и справедливо полагал, что впереди идут липеки.

Поразмыслив, пойти ли им навстречу тайными и уже изведанными тропами или ожидать врага в кизиловом кустарнике, он выбрал последнее: отсюда легче было неожиданно напасть в любую минуту. Прошел еще день, потом ночь, — теперь уж не только птицы, но и звери стадами устремлялись к зарослям. На следующее утро в поле зрения показался неприятель.

К югу от кизилового кустарника тянулось обширное холмистое пространство, уходящее вдаль до самого горизонта. Там драгуны и увидели неприятеля, весьма быстро продвигавшегося к Текичу. Из густых зарослей они наблюдали за черной массой, которая то исчезала с глаз за холмами, то вновь возникала.

Люсьня с зоркостью ястреба какое-то время всматривался в даль, а затем обратился к Нововейскому.

— Пан комендант, — сказал он, — людей там немного: это табун гонят на пастбище.

Спустя минуту Нововейский убедился, что Люсьня прав, и лицо его прояснилось от радости.

— Стало быть, привал им выпадет примерно в миле-полутора от этих зарослей? — спросил он.

— Да, — подтвердил Люсьня. — Они, по всему видать, ночью двигаются, чтоб от жары схорониться, а днем отдыхают, коней же до самого вечера выгоняют пастись.

— Велика ли стража при лошадях?

Люсьня снова выбрался из зарослей, и долго его не было.

Наконец он появился и сказал:

— Коней будет тысячи полторы, а людей при них человек этак двадцать пять. А чего им бояться? Они покуда у себя дома и в большой страже не нуждаются.

— А людей ты сумел различить?

— Далековато еще, но это липеки, ваша милость! Почитай, они уже в наших руках...

— Верно! — сказал Нововейский.

Теперь он уже не сомневался, что никто из тех людей живым от него не уйдет. Для такого наездника, как он, и для его солдат это было слишком легкое дело.

Тем временем табунщики подгоняли коней все ближе и ближе к кизиловым зарослям. Люсьня снова исчез и вскоре воротился. Радость выражало лицо его и жестокость.

— Липеки, ваша милость, точно! — шепнул он.

Заслышав это, Нововейский закричал ястребом, и отряд драгун тотчас же отступил в гущу кустарника. Там он распался на два отряда, один сразу спустился в овраг, чтобы вынырнуть позади табуна и татар, другой ждал, выстроившись полукружьем.

Все было проделано настолько тихо, что даже самый тонкий слух не уловил бы ни малейшего шороха — ни одна сабля не звякнула, шпора не зазвенела, конь не заржал; густая трава в зарослях приглушала топот копыт. Даже лошади, казалось, понимали, что успех нападения зависит от внезапности, они ведь тоже не впервой выполняли такую операцию. Из оврага и кустарника слышался только ястребиный крик, все тише, все реже.

Татарские кони остановились перед зарослями и разбрелись по лугу. Сам Нововейский с края кустарника следил каждое движение табунщиков. День выдался погожий, было еще перед полуднем, но солнце стояло уже высоко и поливало землю жаром. Лошади стали валяться по траве, затем приблизились к зарослям. Табунщики спешили, стреноженных коней пустили пастись, а сами в поисках тени и прохлады вошли в заросли и прилегли под развесистым кустом отдохнуть.

Вскоре вспыхнуло пламя костра, когда же сухие ветки обуглились и покрылись пеплом, табунщики положили на уголья половину жеребьячей туши, а сами расположились чуть поодаль.

Кто растянулся на траве, кто принялся наигрывать на дудке; другие переговаривались, сидя по-турецки или на корточках. В зарослях царила полнейшая тишина, временами только покрывал ястреб.

Запах известил вскоре, что мясо готово. Двое табунщиков выволокли тушу из костра и затащили ее под тенистый куст. Там все уселись вокруг нее и, откромсав ножом по доброму куску, принялись со звериной жадностью пожирать полусырое мясо; кровь стекала с пальцев и с бодбородков.

Напившись затем кислого кобыльего молока из бурдюков, они ощутили сытость в желудках. Минуту еще поговорили, затем головы стали клониться долу, тела отяжелели.

Наступил полдень. Солнце припекало все сильнее. Земля в кустарнике запестрела светлыми дрожащими пятнами — солнечные блики проникали сквозь густую листву. Все умолкло, даже ястреб кричать перестал.

Несколько татар поднялись и побрели к опушке присмотреть за лошадьми, остальные лежали на траве, как трупы на поле брани; вскоре всех сморил сон.

Впрочем объевшись и опившись, они, должно быть, видели во сне нечто тягостное и мрачное — временами кто-то громко стонал, кто-то, разомкнув на мгновение веки, бормотал:

— Ала, бисмилла!..

Внезапно с опушки донесся звук, тихий, но страшный: что-то вроде короткого хрипа задушенного и не успевшего даже крикнуть человека. То ли слух у табунщиков был такой чуткий, то ли

некий звериный инстинкт остерег их перед опасностью или, быть может, смерть дохнула на них ледяным своим дыханием, так или иначе все враз пробудились ото сна.

— Что такое? Где те, с лошадьми? — спрашивали они друг друга.

И тут из кизилового куста отозвался чей-то голос по-польски:

— Они не вернутся!

И в ту же минуту полторы сотни человек обрушились со всех сторон на табунщиков, смертельно перепуганных — крик замер у них в груди. Мало кто успел схватиться за ятаган. Кольцо нападающих сжало и поглотило их. Кустарник трясся под напором сбившихся в кучу тел. Слышался то резкий свист, то сопенье, то стон, то хрип, но длилось это не более минуты, затем все утихло.

— Сколько живых? — спросил один из нападающих.

— Пятеро, пан комендант.

— Осмотреть тела, не затаился ли кто, нож в горло каждому — для верности, а пленников к костру!

Приказ был немедленно выполнен. Убитых пригвоздили к траве их собственными ножами; пленников же, привязав ноги к палкам, положили вокруг костра, который Люсьня разгреб так, что угли, присыпанные пеплом, оказались сверху.

Пленные смотрели на эти приготовления и на Люсьню безумными глазами. Было меж них трое хрептевских татар, они отлично знали вахмистра. Тот тоже узнал их и сказал:

— Ну, камраты, теперь петъ придется, не то на поджаренных подошвах на тот свет отправитесь. По старому знакомству угольков не пожалею!

С этими словами он подкинул в костер сухих веток, они тотчас вспыхнули жарким пламенем.

Но тут подошел Нововейский и стал допрашивать пленников. Их показания подтвердили то, о чем молодой поручик уже догадывался.

Липеки и черемисы шли впереди орды и всех султанских войск. Вел их Азья, сын Тугай-бея, он командует всею ратью. Из-за жары они, как и все войско, шли ночами, днем же пускали стада пастись. Не стереглись — ибо и мысли не допускали, что кто-то может напасть на них даже вблизи Днестра, не говоря уж о Пруте, у самого ордынского становища; так что шли, как им было удобно, со стадами и верблюдами, которые тащили на себе шатры главарей. Шатер мурзы Азьи легко отличить, в него воткнут бунчук, и во время постоя каждый отряд водружает подле него знамена. Польские татары примерно в миле отсюда; в их чамбуле около двух тысяч человек, но часть людей осталась при белгородской орде, она идет вослед, в миле от липеков.

Нововейский еще выпрашивал, как проще до чамбула добраться, как расположены шатры, и наконец приступил к тому, что более всего его занимало.

— Женщины есть в шатре? — спросил он.

Татары, те, что служили ранее в Хрептеве, понимали, в какое бешенство придет Нововейский, когда узнает всю правду о судьбе своей сестры и своей невесты, и тряслись за собственную шкуру.

Опасаясь, что его бешенство в первую очередь обрушится на них, они заколебались было, но Люсьня тотчас предложил:

— Пан комендант, подогреем сукиным сынам подошвы, заговорят небось!

— Сунь им ноги в угли! — сказал Нововейский.

— Помилосердствуйте, — возопил Элиашевич, старый хрептевский татарин, — все скажу, что глаза мои видели...

Люсьня взглянул на коменданта, не велит ли он все же выполнить угрозу, но тот махнул рукою и сказал Элиашевичу:

— Говори, что видел?

— Невинновны мы, ваша милость, — ответил тот, — мы только приказа слушались. Мурза наш подарил сестру вашей милости пану Адуровичу в наложницы. Я ее на Кучункаурах видел, когда она с ведрами по воду шла, я еще подсобил ей тащить, потому как в тягости она была...

— О горе! — шепнул Нововейский.

— А другую девушку мурза наш себе в шатер взял. Мы не так часто ее видели, но слышали не раз, как кричала она, мурза хотя и для утехи ее держал, что ни день плетью хлестал и ногами топтал.

Губы Нововейского побелели и задрожали. Элиашевич едва слышал вопрос:

— Где они нынче?

— Проданы в Стамбул.

— Кому?

— Мурза, верно, и сам того не знает. Вышло повеление от падишаха, чтоб в стане не было женщин. Их на базаре продавали, ну и мурза продал.

Допрос окончился, и у костра воцарилась тишина. Только кизилевые ветви шумели все сильнее — их тряс подувший недавно горячий южный ветер. Стало душно; на линии горизонта показалось несколько туч, темных в середине и отливающих медью по краям.

Нововейский пошел прочь от костра, как безумный, потом повалился ничком на землю и стал царапать ее ногтями, и кусать свои руки, и хрипеть — словно конец ему пришел. Судороги сотрясали его исполинское тело. Так лежал он несколько часов

кряду. Драгуны издали наблюдали за ним. Даже Люсьня не смел к нему приблизиться.

Зато, смекнув, что комендант не разгневается, коли он прикончит татар, грозный вахмистр, единственно из врожденной жестокости, позатыкал им рты травой, чтобы не было криков, и прирезал, как баранов.

Пощадил он одного Элиашевича, рассудив, что тот может согдаться им как вожатый. Окончив свои труды, он оттащил от костра еще дергающиеся трупы, уложил рядом, а сам пошел глянуть, что там с комендантом.

— Ежели и спятил он, мы того стервеца все одно должны добыть, — буркнул он про себя.

Минул полдень, послеполуденные часы — день стал клониться к закату. Небольшие сперва облачка затянули уже почти все небо и становились все гуще, темнее, все так же отливая медью по краям. Гигантские их клубы, как мельничные жернова, тяжело поворачивались вокруг оси, напозлази, грудились и, потолкавшись в вышине, всем сонмом скатывались ниже и ниже.

Ветер налетел внезапно, словно хищная птица, он гнул к земле кусты кизила и крушины, срывал листья и яростно их расшвыривал, а затем вдруг стихал, словно в землю уходил. И в минуты такой тишины слышно было в клубящихся тучах злое хрипенье, шипенье, шум, словно собиралось в них сонмище громов и готовилось к битве; глухо ворча, возбуждали в себе громы ярость и гнев, прежде чем взорваться и в исступлении грянуть на перепуганную землю.

— Гроза! Гроза идет! — шептали друг другу драгуны.

Гроза близилась. Становилось все темнее.

Но вот на западе, в стороне Днестра, прогремел гром и со страшным грохотом покатился по небу куда-то к Пруту; там умолк на мгновенье, но тут же снова громыхнул, обрушился на буджакские степи — и грянул раскатом по всей линии горизонта.

Первые крупные капли дождя упали на обожженную траву.

В эту минуту перед драгунами встал Нововейский.

— На конь! — крикнул он громовым голосом.

И, не мешкая ни минуты, ринулся вперед во главе полторасот всадников.

Выехав из зарослей, он соединился возле табуна с остальными своими людьми, следившими, чтобы никто из табунщиков не ускользнул украдкой в табор. Драгуны в мгновенье ока окружили табун и по примеру татарских табунщиков с диким воплем помчались во весь опор, гоня впереди себя оглушенных лошадей.

Вахмистр держал на аркане Элиашевича и кричал ему в ухо, усиливаясь перекрыть грохот грома:

— Веди, сукин сын, да прямиком, не то прирежу!

Тучи меж тем опустились так низко, что почти уже касались земли. Вдруг полыхнуло будто жаром из печи и сорвался бешеный ураган; ослепительный свет разорвал темноту, грянул гром, еще и еще раз, в воздухе запахло серой, и снова воцарилась тьма. Ужас объял табун. Лошади, подгоняемые сзади дикими окриками драгун, неслись, раздув ноздри, разметав гривы, едва касаясь земли; гром не умолкал ни на минуту, ветер выл, а драгуны гнали как безумные в этом вихре, в этом мраке, среди грохота, от которого земля, казалось, вот-вот треснет, сами гонимые бурей и местью и в пустынной этой степи подобные страшному хороводу призраков или злых духов.

Пространство убегало перед ними. Вожатый был им без надобности, табун несясь прямо к стану татар, который был все ближе и ближе. Но прежде чем они достигли его, гроза разбушевалась с такою силой, словно небо и земля обезумели. Весь горизонт запылал живым огнем, при свете его они уже издали увидели стоявшие в степи шатры; мироздание сотрясал грохот громов; казалось, клубы туч вот-вот сорвутся с неба и обрушатся на землю. И в самом деле, хляби небесные разверзлись, и потоки дождя стали заливать степь. Лавина дождя заслонила свет, на несколько шагов ничего не было видно вокруг, с раскаленной солнечным жаром земли поднялась густая мгла.

Еще минута, и табун, а с ним и драгуны достигнут стана.

Но перед самыми шатрами табун вдруг в диком переполохе разбежался в разные стороны; в этот момент из трехсот грудей вырвался страшный крик, триста сабель засверкало от огня молний, и драгуны ворвались в шатры.

Татары перед началом ливня видели в свете молний близящийся табун, но никому не пришло в голову, сколь страшные гонят его табунщики. Удивило и обеспокоило их, что табун гонят прямо на шатры, и они подняли крик для устрашения лошадей. Сам Азья сын Тугай-бея, приподнял полотняный полог и, несмотря на дождь, вышел наружу, изобразив гнев на грозном своем лице.

Но как раз в эту минуту табун разбежался, а в дождевых потоках и во мгле зачернелись какие-то фигуры — было их много больше, нежели табунщиков, — и загремел грозный крик:

— Бей, убивай!..

Ни на что уже не было времени, даже на то, чтобы подумать, что случилось, даже на то, чтобы испугаться. Людской смерч, куда как страшнее и яростнее грозы, обрушился на табор.

Прежде чем Тугай-беевич успел попятиться в шатер, некая сверхчеловеческая сила подняла его от земли; он почуял вдруг,

что его сжимают в страшных объятьях и что от этих объятий гнутся его кости, трещат ребра; спустя мгновение он увидел как бы в тумане лицо, которому предпочел бы лик дьявола, и потерял сознание.

А тем временем закипела битва, вернее, жестокая резня. Гроза, темень, внезапность нападения неведомых людей, несущиеся кони — все это лишило татар возможности сопротивляться. Безумство страха охватило их. Никто не знал, куда бежать, где скрыться, у многих не было при себе оружия, многих нападение застигло во сне, и, одуревшие, ополоумевшие от ужаса, они сбились в кучи, падали, давя и топча друг друга. На них напирала грудью лошадь. Их секли сабли, топтали копыта. Ураган не так ломает и крушит молодую чащу, волки не так вгрызаются в отару очумелых овец, как это делали драгуны.

Безумие одних и ярость, жажда мести других ширили размеры поражения. Потoki крови смешались с дождем. Татарам чудилось, будто небо валится на них и земля разверзается у них под ногами. Грохот грома, грозовые раскаты, шум дождя, мрак, ужас грозы — все это жутким эхом вторило резне. Кони драгун, тоже охваченные страхом, бросались как безумные в людскую гущу, в прах разнося ее, ломая, устилая трупами землю.

Наконец небольшие кучки людей обратились в бегство, но, ошалев до умопомрачения, бежали не вперед, а по кругу, обежав поле боя, сталкивались, как две встречные волны, падали и шли под меч.

Наконец остатки их были полностью рассеяны, бегущих преследовали и секли без пощады, не беря пленных, пока рожки в лагере не протрубили отбоя.

Трудно представить себе набег более неожиданный, и поражение более страшное вообразить невозможно. Три сотни человек разогнали на все четыре стороны рать почти в две тысячи отборнейших конников, воинским умением значительно превосходившую обыкновенные чамбулы. Большая часть их лежала скошенная в лужах дождя и крови. Остальные рассеялись, благодаря темноте спасли себе жизнь и бежали куда глаза глядят, быть может, снова под нож. Гроза и мрак помогли победителям, словно гнев божий поддерживал их, обратившись против изменников.

Опустилась глубокая ночь, когда Нововейский во главе драгун двинулся обратно к границам Речи Посполитой. Меж поручиком и вахмистром Люсьней шел конь из табуна. На спине его лежал прикрученный веревками предводитель липеков, сын Тугай-бея Азья — без сознания, с переломанными ребрами, но живой.

Оба всадника то и дело на него поглядывали, да так внимательно и заботливо, будто везли сокровище и боялись обронить.

Гроза проходила; по небу еще скопом мчались тучи, но в разрывах засветились уже звезды, отражаясь в озерах, образованных в степи ливнем.

В отдалении, ближе к рубежам Речи Посполитой, время от времени еще громыхал гром.

ГЛАВА XLIX

Бежавшие татары дали знать о поражении белгородской орде, оттуда гонцы понесли весть в ордуигамаян, то есть в стан повелителя, где она произвела впечатление необычайное. Правду говоря, Нововейскому не стоило так уж спешить со своей добычею в Речь Посполитую — ибо не только что в первую минуту, но и в два последующие дня никто его не преследовал. Потрясенный султан не знал, что предпринять. Пока что он послал белгородские и добруджские чамбулы разузнать, что за войско появилось в окрестностях. Те пошли неохотно, дрожа за собственную шкуру. Стоустая молва тем временем представила случившееся как поражение весьма значительное. Жителей глубинной Азии и Африки, которые до сих пор не ходили войной на Лехистан, но много слышали о грозной коннице неверных, обуял страх при мысли, что они вот-вот столкнутся с неприятелем, который не стал дожидаться их в своих пределах, но отправился искать с ними встречи в самом царстве падишаха. Сам великий визирь и «будущее солнце войны» каймакам Черный Мустафа тоже не знали, что и думать об этом набеге. Каким образом Речь Посполитая, о бессилии которой имелись у них подробнейшие реляции, посмела действовать наступательно, этого не умела отгадать ни одна турецкая голова. Но было ясно: вряд ли стоило надеяться на быструю победу и легкий триумф. Султан на военном совете с грозным обликом встретил визиря и каймакама.

— Вы лгали мне, — сказал он, — видать, не так уж слабы ляхи, коль сюда пришли искать нас. Вы утверждали будто Собеский от защиты Каменца откажется, а он, верно, со всем своим войском сюда пожаловал...

Визирь и каймакам пытались убедить владыку, что то могла быть разрозненная ватага разбойников, но, поскольку найдены были мушкеты и тороки с драгунскими колетами, сами в это не верили. Недавний дерзкий необычайно и, однако, победоносный поход Собеского на Украину позволял допустить, что грозный вождь и теперь предпочел захватить противника врасплох.

— Нет у него войска, — говорил, выходя с совета, великий визирь каймакаму, — но в нем лев бесстрашный живет; если он и вправду хотя бы несколько десятков тысяч собрал и здесь пребывает, мы в крови к Хотину пойдем.

— Хотел бы я помериться с ним силами, — сказал молодой Кара Мустафа.

— Коли так, храни тебя бог от беды! — ответил великий визирь.

Постепенно, однако, белгородские и добруджские чамбулы убедились, что не только большого, но и вообще никакого войска поблизости нет. Зато они напали на след отряда примерно в триста коней, который спешно держал путь к Днестру. Ордынцы, памятуя о судьбе польских татар, не стали его преследовать, опасаясь засады. Нападение на татар осталось чем-то невероятным и загадочным, но спокойствие понемногу возвращалось в ордуигамаюн — войско падишаха лавиной покатилося вперед.

Нововейский тем временем в безопасности возвращался в Рашков с живой своею добычей. Драгуны шли быстро, но, как опытные наездники, на второй же день поняли, что погони за ними нет, и потому спешить спешили, но не слишком отягчали коней. Азья по-прежнему был прикручен веревками к хребту бахмата, ступавшего меж Нововейским и Люсьней. Два ребра у него были сломаны, и он очень ослаб, к тому же лицевые раны, нанесенные ему Басей, открылись во время стычки с Нововейским, да и голова его свешивалась вниз — и потому грозный вахмистр весьма озабочен был, чтобы он, упаси бог, не кончился раньше, нежели они придут в Рашков и тем самым не лишил бы их возможности мщения. А молодой татарин, понимая, что ждет его, жаждал умереть. Сперва он решил было заморить себя голодом и отказался принимать пищу, но Люсьня разжимал ему ножом стиснутые зубы и насильно вливал в рот горелку и молдавское вино с измельченными и порошок сухарями. На привалах он плескал ему в лицо водой, чтобы раны на месте глаза и носа, густо обсаженные мухами и слепнями, не загноились и не навлекли на горемыку преждевременной смерти.

Нововейский по пути не заговаривал с ним; один только раз, в самом начале, когда Азья ценою своего спасения пообещался вернуть ему Зосю и Эву, поручик сказал ему:

— Лжешь, собака! Ты же обеих купцу в Стамбул продал, а тот перепродаст их там на базаре.

И тут же пред очи его поставили Элиашевича, который повторил при всех:

— Эфенди! Ты же продал ее сам не знаешь кому, а Адурович продал сестру багадыра, хотя она была уже в тягости...

После этих слов Азье на миг показалось, что Нововейский разорвет его на месте страшными своими ручищами; и после, утратив уже всякую надежду, он решил довести молодого исполина до того, чтобы тот убил его в приступе гнева и тем избавил от предстоящих мук; а так как Нововейский, дабы не спускать с него глаз, весь путь держался рядом, он принялся бесстыдно хвастаться всем, что совершил. Рассказал о том, как зарезал старого Нововейского, как овладел Зосей Боской в шатре, как насытился ее невин-

ностью, как, наконец, терзал ее тело плетью и бил ногами. Пот катился градом по бледному лицу Нововейского, но он слушал — и не было сил, не хотелось отъехать подальше; он слушал жадно, руки у него дрожали, тело сотрясали конвульсии, но он все же овладел собою и не убил татарина.

Впрочем, Азья, мучая врага своего, и сам при этом мучился немало; собственные рассказы заставляли его острее чувствовать нынешнее крушение. Еще совсем недавно он повелевал, жил в роскоши, был мурзою, любимцем молодого каймакама, а нынче, прикрученного к конскому хребту, живьем съедаемого мухами, его влекли на страшную смерть! Избавление приходило только тогда, когда от боли, ран и усталости он терял сознание. Случалось это все чаще, так что Люсьня стал опасаться, что не довезет пленника живым. Но они ехали днем и ночью, только коням давали передышку, и Рашков был все ближе. Непокорная татарская душа не хотела, однако, покидать брренное тело, хотя в последние дни Азья метался в жару, а временами проваливался в тяжкий сон. Не раз в лихорадке или во сне мерещилось ему, будто он еще в Хрептеве и вместе с Володыёвским собирается на великую войну, а то вдруг — что он сопровождает Басю в Рашков или что уже похитил ее и овладел ею в своем шатре; временами чудились ему битвы и резня, в которых он принимает участие как гетман польских татар и с бунчуком в руке отдает приказы. Но приходило пробуждение, а вместе с ним возвращалось и сознание; открыв глаза, он видел лицо Нововейского, Люсьни, шлемы драгун, которые побросали уже бараньи шапки табунщиков; видел всю эту явь, настолько страшную, что она-то и казалась ему ночным кошмаром. Каждое движение лошади пронзало его болью, раны жгли все сильнее, и снова он терял сознание, а его приводили в чувство, и снова он впадал в горячку, а затем в сон — и снова пробуждался.

Были мгновенья, когда ему казалось немыслимым, что он, жалкий пленник, в самом деле Азья, сын Тугай-бея, и что жизнь его, полная невероятных событий и великих предназначений, должна прерваться так внезапно и так ужасно.

Порой ему приходило в голову, что после мучений и смерти он тотчас очутится в раю, но, поскольку сам он некогда исповедовал христианскую веру и долго жил меж христиан, его брал страх при мысли о Христе. Нет, не ждать ему милости от Христа, а кабы пророк был Христа сильнее, он бы не выдал его Нововейскому. Может, все же пророк окажет ему милосердие и возьмет его душу, прежде чем его замучат до смерти.

А Рашков тем временем был уже рядом. Они въехали в скалистый край, означающий близость Днестра. Азья под вечер впал в

полузабытье, в котором видения мешались с явью.

Вот показалось ему, будто они приехали, встали, будто слышит он совсем рядом: «Рашков, Рашков!» Затем ему почудился стук топора по дереву.

После он почувствовал, что голову ему опрыскивают холодной водой и долго, долго льют в рот горелку. И тут совсем очнулся. Звездная ночь стояла над ним, а вокруг него пылало более десятка факелов. До ушей его донеслись слова:

— Очнулся?

— Очнулся! В сознании...

И в ту же минуту пред ним возникло лицо Люсьни.

— Ну, браток, — молвил вахмистр спокойным голосом, — пробил твой час.

Азья лежал навзнич и дышал вольнее, ибо руки его были вытянуты кверху по обеим сторонам головы, отчего грудная клетка высвободилась и набирала больше воздуха, нежели когда он лежал прикрученный к хребту бахмата. Однако руками он двигать не мог, они привязаны были над головой его к дубине, идущей вдоль спины, и обмотаны пропитанной смолой соломой.

Тугай-беевич сразу догадался, для чего все это сделано, но в ту же минуту заметил иные приготовления, и они свидетельствовали о том, что мучения его будут долгими и ужасными. От пояса до самых ступней он был раздет донага и, чуть приподняв голову, увидел меж голыми своими коленями свежееобструганное острие кола. Толстый конец кола упирался в ствол дерева. От обеих ног Азьи тянулись веревки, и к ним припряжены были лошади. Азья при свете факелов разглядел только конские крупы и стоящих чуть поодаль двух людей, которые, очевидно, держали коней под уздцы.

Несчастный кинул взгляд на все эти приготовления, затем, взглянув зачем-то на небо, увидел над собою звезды и блестящий лунный серп.

«На кол меня посадят», — подумал он.

И стиснул зубы так сильно, что даже челюсти свело. Пот выступил у него на лбу, но вместе с тем лицо заглодело — отхлынула кровь. Потом ему показалось, будто земля убегает из-под спины и тело летит, летит куда-то в бездонную пропасть. На минуту он потерял ощущение времени, места и всего происходящего. Вахмистр разжал ему зубы ножом и стал лить в рот горелку.

Азья давился и выплевывал жгучую жидкость, но все равно глотал. Странное состояние им овладело: он не опьянел, напротив, никогда прежде не было у него такой ясности сознания и ума. Он видел, что происходит, все понимал, но им овладело вдруг необычайное возбуждение, нетерпение даже — да что же

так долго все это длится, когда же начнется?

Но вот послышались тяжелые шаги, и над ним встал Нововейский. При виде его все жилы напряглись у татарина. Люсьни он не боялся, слишком презирал его, но Нововейского — нет, его он не презирал, да и за что? Но всякий раз, когда Азья смотрел в лицо Нововейскому, душу его наполнял суеверный страх, отвращение, гадливость. Он подумал: «Я в его власти, и я боюсь его!» И было это так страшно, что волосы шевелились на его голове.

А Нововейский сказал:

— За то, что совершил ты, в муках погибнешь!

Татарин ничего не ответил, только громко засопел.

Нововейский отошел в сторону, настала тишина, прервал ее Люсьня:

— И на пани руку посмел поднять, — хрипло сказал он. — но пани-то нынче уж с паном в горнице, а ты у нас в руках! Пришел твой час!

С этих слов начались муки Азьи. Страшный этот человек в смертный свой час узнал, что и измена его. и жестокости — все впустую! Умри Бася в дороге, у него хоть было бы утешение, что, ему не принадлежа, она не принадлежит никому. И это утешение отняли у него как раз теперь, когда острие кола — вот оно, в локте от его тела. Все напрасно! Столько измен, столько крови, такая кара — и все впустую! Впустую! Люсьня и не знал, насколько мучительней стала смерть Азьи от этих его слов; знай он это — твердил бы их в течение всего пути.

Но теперь уже не было времени на душевные терзания, все должно было отступить перед экзекуцией. Люсьня наклонился и, обеими руками взявшись за бедра Азьи, чтобы направлять его тело, крикнул людям, державшим лошадей:

— Трогай! Медленно! И разом!

Кони дернулись — веревки, напрягшись, потянули Азью за ноги. Тело его поползло по земле и в мгновение ока очутилось на занозистом острие. В тот же миг острие вошло в него, и началось нечто ужасное, нечто противное природе и чувствам человеческим. Кости несчастного раздвинулись, тело стало раздираться пополам, боль неопишуемая, страшная, почти граничащая с чудовищным наслаждением, пронзила все его естество. Кол погружался все глубже и глубже.

Азья сжал челюсти, но наконец не выдержал — зубы его ощерились, из глотки вырвался крик «а-а-а!», напоминающий карканье ворона.

— Медленней! — скомандовал вахмистр.

Азья несколько раз повторил страшный свой крик.

— Каркаешь? — спросил вахмистр.

И крикнул людям:

— Ровно! Стой! Вот и все! — прибавил он, оборотясь к Азье, который умолк вдруг и только глухо хрипел.

Быстро выпрягли лошадей, после чего кол подняли, толстый его конец опустили в заранее приготовленную яму и стали засыпать землей. Тугай-беевич с высоты смотрел на эти действия. Он был в сознании. Этот страшный вид казни был тем более страшен, что жертвы, посаженные на кол, жили порою до трех дней. Голова Азьи свесилась на грудь, губы его шевелились; он словно жевал, смаковал что-то, чавкая; теперь он чувствовал невероятную, обморочную слабость и видел перед собою беспредельную белесую мглу, которая непонятно отчего казалась ему ужасной, но в этой мгле он различил лица вахмистра и драгун, знал, что он на колу, что под тяжестью тела острие все глубже вонзается в него; впрочем, тело начало неметь от ног и выше, и он становился все более нечувствительным к боли.

Временами тьма заслоняла этот ужасный белесый туман, тогда он моргал единственным глазом, желая смотреть и видеть все до самой последней минуты. Взгляд его с какой-то торжественностью переносился с факела на факел, ибо чудилось ему, будто вокруг пламени образуется как бы радужный круг.

Но мучения его на том не кончились; чуть погода вахмистр приблизился к колу с буравом в руках и крикнул стоявшим возле драгунам:

— Подсадите-ка меня!

Два дюжих молодца подняли его кверху. Азья теперь смотрел на него вблизи, часто моргая, как бы хотел понять, что за человек взбирается на его высоту. А вахмистр сказал:

— Пани выбила тебе один глаз, а я поклялся и другой тебе высверлить.

При этих словах он запустил острие в зрачок, повернул раз-другой, а когда веко и тонкая кожица вокруг глаза наворачнулись на спираль, дернул.

И тогда из обеих глазных впадин Азьи в два ручья хлынула кровь, словно слезы в два ручья потекли по лицу его.

Лицо его побелело и становилось все блее. Драгуны в молчании принялись гасить факелы, будто стыдясь того, что свет освещает чудовищное это действо; только от лунного полумесяца струилось серебристое, не слишком яркое сияние на тело Азьи.

Голова его совсем опустилась на грудь, только привязанные к дубинке и обмотанные смоляной соломой руки его вздымались кверху, словно этот сын Востока призывал месть турецкого полумесяца на своих мучителей.

— На конь! — раздался голос Нововейского.

В последний момент вахмистр поджег факелом вознесенные руки татарина, и отряд двинулся к Ямполью, а среди руин Рашкова, среди ночи и пустоты остался на высоком колу один только Азя, сын Тугай-бея, и светил долго...

ГЛАВА I

Три недели спустя, в полдень, Нововейский прибыл в Хрептев. Из Рашкова он добирался так долго оттого, что часто переправлялся на другой берег Днестра, нападая врасплох на чамбулы и на пыркалабовых людей, стоявших на заставах поречья. Те рассказывали потом подходившему султанскому войску, будто повсюду видели польские отряды и слышали о многочисленном войске, которое, не дожидаясь, как видно, пока турки достигнут Каменца, само преградит им дорогу и сразится с ними в решающей битве.

Султан, которого уверяли в бессилии Речи Посполитой, крайне был поражен и, высылая вперед польских татар, валахов и придунайские орды, сам подвигался очень медленно. Несмотря на безмерную свою мощь, битвы с регулярным войском Речи Посполитой он весьма опасался.

Володыёвского Нововейский не застал в Хрептеве — маленький рыцарь вслед за Мотовило отправился к пану подлясскому биться против крымской орды и Дорошенко. Там, еще упрочив свою славу, вершил он ратные дела: разбил грозного Корпана, тело его в Диком Поле оставив зверям на растерзание; грозного Дрозда тоже разбил, и бесстрашного Малышко тоже, и двух братьев Синих, знаменитых казацких наездников, и много небольших ватаг и чамбулов.

А пани Володыёвская в день прибытия Нововейского собиралась как раз в Каменец с оставшимися людьми и с обозом: нашествие близилось, и Хрептев пора уже было покинуть. С печалью в сердце уезжала Бася из деревянной фортеции, где немало пришлось ей, правда, пережить, но где прошла счастливейшая пора ее жизни — при муже, среди славных воинов, среди любящих сердец. Нынче по своей доброй воле она ехала в Каменец навстречу неведомой судьбе и опасностям, какими грозила осада.

Но, обладая мужественным сердцем, она не поддавалась печали и со вниманием наблюдала за сборами, за работой солдат, за обозом. Помогали ей в этом Заглоба — он в любой ситуации разумом всех превосходил — и несравненный лучник Мушальский, храбрый и очень искушенный воитель.

Все они возрадовались прибытию Нововейского, хотя тотчас по лицу молодого рыцаря поняли, что ни Эвки, ни прелестной Зоси из басурманской неволи выволить ему не удалось. Ручьями слез оплакала Бася судьбу обеих женщин: проданные неведомо кому, они может стать были затем увезены со стамбульского базара в Малую Азию, на острова в турецких владениях или в Египет и томились в гаремах. И потому не только что выкупить, но и

узнать что-либо о них было невозможно.

Плакала Бася, плакал благоразумный пан Заглоба, плакал и Мушальский, несравненный лучник, только у Нововейского глаза были сухие, ему уже и слез не хватало. Когда же стал он рассказывать, как подошел к Дунаю, почти что к самому Текичу и там, под самым носом ордынцев и султана, польских татар разгромил, а зловещего Азью сына Тугай-бея в плен забрал, оба старых рыцаря зазвенели саблями и закричали:

— Давай его сюда! Здесь, в Хрептеве, он должен погибнуть!

На это ответил Нововейский:

— Не в Хрептеве, но в Рашкове погиб он, там, где ему и надлежало, а смерть ему здешний вахмистр придумал, и была она не из легких.

Тут рассказал он, сколь мучительную смерть принял Азья, Тугай-беев сын, а они слушали с ужасом, хотя и без сожаления.

— Что господь бог за преступление карает, это дело известное, — сказал наконец Заглоба, — странно, однако, что дьявол так плохо слуг своих защищает!

Бася вздохнула благочестиво, подняла глаза к небу и, минуту поразмыслив, ответила:

— А ему силы не хватает могуществу господу противостоять!

— О, вы, ваша милость, в самую точку угодили! — вскричал Мушальский. — Да будь дьявол — избави бог, конечно, — сильнее господу бога нашего, тогда всякая тебе справедливость, а с нею и Речь Посполитая исчезли бы с лица земли!

— Я оттого и турков не боюсь, что, *primo* «*Во-первых (лат.)*», они сукины сыны, а *secundo* «*Во-вторых (лат.)*», сыны Велиала,[63] — ответил Заглоба.

Все замолчали. Нововейский сидел на лавке, уронив руки на колени, стеклянными глазами уставясь в землю.

— Тебе, однако, должно бы полегчать, — обратился к нему Мушальский, — справедливая месть большое все же утешение.

— Скажи, сударь, тебе и в самом деле полегчало? Лучше ли тебе нынче? — выпытывала Бася полным сострадания голосом.

Исполин помолчал немного, словно пытаясь разобраться в собственных мыслях, и наконец ответил, как бы и сам удивленный, и очень тихо, почти что шепотом:

— Вообразите, судари, бог мне свидетель, я тоже думал, полегчает мне, когда я его убью... И я видел его на колу, видел, как глаз ему буравом сверлили, и уверял себя, что мне теперь легче, а меж тем неправда это! Неправда!

Нововейский обхватил руками горемычную свою голову и проговорил сквозь стиснутые зубы:

— Легче было ему на колу, с буравом в глазу, легче с горящими ладонями, нежели мне с тем, что сидит во мне, о чем думаю, о чем помню ежечасно. Единственно смерть для меня утешение, смерть, смерть — вот что!..

При этих словах его Бася — сердце у нее было смелое, солдатское — встала вдруг и, положив несчастному руку на голову, молвила:

— Пошли тебе бог смерть под Каменцем, верно ты говоришь, единственно смерть для тебя утешение!

Он же закрыл глаза и стал твердить:

— О, да-да! Вознагради вас бог!..

В тот же вечер все двинулись в Каменец.

Бася, выехав за ворота, еще долго, очень долго оглядывалась на крепость, сиявшую в свете вечерней зари, наконец, осенив ее крестом, сказала:

— Дай бог нам с Михалом еще воротиться к тебе, милый Хрептев!.. Дай бог, чтобы ничего худшего нас не ожидало!..

И две слезинки скатились по лицу ее. Странная грусть стиснула у всех сердца — в молчании поехали дальше.

Тем временем опустились сумерки.

До Каменца ехали медленно из-за большого обоза. В нем были фуры, табуны коней, волы, буйволы, верблюды; воинская челядь присматривала за стадами. Кое-кто из челядинцев и солдат женился в Хрептеве, так что и женщин доставало в обозе. Войска было столько же, сколько у Нововейского, к тому еще двести человек венгерской пехоты — отряд, который маленький рыцарь снарядил и обучил на свой кошт. Опекала его Бася, а командовал им бывалый офицер Калушевский. Истинных венгров в той пехоте вовсе не было, а венгерской она звалась потому лишь, что снаряжение там было мадьярское. Подофицерами служили там солдаты-ветераны из драгун, а рядовыми — бывший разбойный люд и грабители, схваченные и приговоренные к виселице. Им даровали жизнь с условием, что они станут верой и правдой служить в пехоте и храбростью загладят давние свои грехи. Были среди них и охочие; покинув овраги, пещеры и всякие иные разбойничьи прибежища, они предпочли пойти на службу к хрептевскому Маленькому Соколу, нежели чують меч его, нависший над своими головами. Был то народ не слишком послушный и не совсем еще обученный, однако же отчаянный, привыкший к невзгодам, опасностям, да и к кровопролитию тоже. Бася очень любила эту пехоту, как Михалово дитя, и в диких сердцах пехотинцев вскоре проснулась привязанность к этой милой и доброй женщине. Теперь они шли подле ее коляски с самопалами на плече и саблями на боку, гордые тем, что охраняют ее, и готовые

яростно защищать Басю в случае, ежели бы какой чамбул встал у них на пути.

Но путь был покамест свободен; Володыёвский все предусмотрел, да и слишком любил он жену, чтобы из-за промедления подвергать ее опасности. Так что путешествие совершалось спокойно. Выехав после полудня из Хрептева, они ехали до вечера, затем всю ночь и на другой день, тоже после полудня, увидели перед собою высокие каменецкие скалы.

При виде этих скал, при виде крепостных башен и бастионов, украшавших их вершины, бодростью преисполнились сердца. Казалось, единственно рука божья может разрушить орлиное это гнездо, свитое на заросшей лесом вершине скалы, окруженной петлею реки. День был летний, чудесный; колокольни костелов и церквей, глядящие из зарослей, светились как гигантские свечи; спокойствие, безмятежность, радость возносились над светлым этим краем.

— Знаешь, Баська, — сказал Заглоба, — басурманы не раз уж грызли эти стены и всегда зубы себе об них ломали! Я и сам не однажды видел, как они деру давали, за морду держась от боли. Дай бог и нынче так будет!

— Дай бог! — подхватила просиявшая Бася.

— А еще побывал тут один ихний, Османом звали. Было это, как сейчас помню, в году тысяча шестьсот двадцать первом. Приехал, шельма, с той стороны Смотрича, от Хотина, глаза выпучил, пасть разинул, смотрел, смотрел, а потом и спрашивает: «Эту крепость кто так укрепил?» — «Господь бог!» — отвечает визирь. «Так пусть ее господь бог и берет, а я не дурак![64]» С тем и воротился.

— И очень даже быстро ворочались! — вставил Мушальский.

— Разумеется, быстро, — подхватил Заглоба, мы их копьями в зад к тому поощряли, а меня после рыцари на руках к пану Любомирскому[65] отнесли.

— Так вы, сударь, выходит и под Хотинном были? — спросил несравненный лучник. — Уму непостижимо, где вы только не побывали и каких только подвигов не свершили.

Заглоба немного обиделся:

— Не только был, но и рану получил, каковую тебе, сударь, ежели любопытно, *ad oculos* «Воочию, наглядно (лат.).» готов продемонстрировать, но отойдем в сторонку, перед пани Володыёвской хвалиться мне тем не пристало.

Знаменитый лучник тотчас смекнул, что над ним подтрунивают, и, не будучи в силах состязаться с Заглобой в остроумии, почел за благо ни о чем более не спрашивать.

— Истинную правду ваша милость говорить изволит, — переменял он разговор. — Когда слышишь, как люди болтают: «Каменец не снаряжен, Каменец не выстоит», просто страх берет, а как своими глазами Каменец увидишь, так, право же, дух укрепляется.

— К тому же Михал в Каменце будет! — вскричала Бася.

— И пан Собеский, глядишь, подкрепление пришлет.

— Слава богу! Не так уж плохо! Не так плохо! И хуже бывало, а мы не дались!

— Пусть бы и худшее стряслось, главное дело — запала не терять! Не съели нас и не съедят, покуда дух наш жив! — заключил Заглоба.

От наплыва радостных этих мыслей они замолкли, но молчание их было прервано самым печальным образом. К Басиной коляске приблизился вдруг верхом Нововейский. Лицо его, обычно мрачное и хмурое, было ясным и безмятежным. Улыбка не покидала его, а глаза устремлены были на сияющий под солнечными лучами Каменец.

Два рыцаря и Бася смотрели на него с изумлением, не в силах понять, каким образом один вид крепости так внезапно снял великую тяжесть с его души, а Нововейский сказал:

— Да святится имя господне! Сколько горя было, а вот и радость пришла!

Тут он оборотился к Басе:

— Обе они у войта ляшского Томашевича укрылись, и правильно сделали, в такой крепости разбойник им не страшен!

— О ком ты это, сударь? — со страхом спросила Бася.

— О Зосе и Эвке.

— Помоги тебе бог! — вскричал Заглоба. — Дьяволу не поддавайся!

А Нововейский продолжал:

— И то, что об отце моем толкуют, будто бы Азья его зарезал, тоже неправда!

— Ум у него помутился! — шепнул Мушальский.

— Позволь, сударыня, я вперед поеду, — продолжал Нововейский. — Так тяжело, когда долго не видишь их! Ох, скучно вдали от любимых, ох, скучно!

Он закивал большущей своей головой, тронул коня каблуками и поехал дальше.

Мушальский, подозревая к себе нескольких драгун, поехал следом, чтобы не терять безумца из глаз.

Бася спрятала лицо в ладонях, и горячие слезы потекли у нее между пальцев.

— Молодец — золото, — сказал Заглоба, — да не по силам человеку таковые несчастья... К тому же одной мстью душа жива не будет...

В Каменце усердно готовились к обороне. На стенах старого замка и у ворот, в особенности у Русских ворот, трудились горожане — люди разных народностей — под началом своих войтов, меж которыми выделялся храбростью и артиллерийским умением ляшский войт Томашевич. В ход пошли лопаты и тачки; ляхи и русины, армяне, евреи и цыганы состязались друг с другом. Офицеры различных полков присматривали за работой, вахмистры и солдаты помогали горожанам, трудились даже благородные шляхтичи, позабыв, что бог дал им руки единственно, чтобы саблю держать, а всякий прочий труд препоручил людям «низшего» сословия. Пример подавал сам пан Войцех Гумецкий, [66] хорунжий подольский; один вид его мог вызвать слезы умиления: подумать только — пан собственными руками камни на тачке возил! Работа кипела и в городе, и в замке. В толпе сновали монахи: доминиканцы, иезуиты, францисканцы и кармелиты благословляли людские усилия. Женщины обносили работавших едой и питьем; красавицы армянки, жены и дочери богатых купцов, и еще более прекрасные еврейки из Карвасеров, Жванца, Зинковец, Дунайгорода приковывали к себе взоры солдат.

Но более всего привлек внимание толпы въезд Баси в город. В Каменце было, конечно, немало достойных женщин, но ни у одной не было мужа, столь прославленного на поле брани. Слышали в Каменце и о самой пани Володыёвской как о женщине храброй, которая не побоялась жить в глуши, на далекой заставе, средь дикого люда, которая ходила с мужем в походы, а захваченная татаринном, сумела одолеть его и уйти живой из хищных рук. Слава ее тоже была беспримерной. Но те, кто дотоле не знал и не видел Баси, воображали себе этакую великаншу, что гнет подковы и ломает панцири. Каково же было их удивление, когда они увидели маленькое, розовое, полудетское лицо, высывающееся из коляски.

— Это сама пани Володыёвская или дочка? — спрашивали в толпе.

— Она самая, — отвечали те, кто ее знал.

Изумились горожане, женщины, священники, военные. С немалым изумлением смотрели они на непобедимый хрептевский гарнизон, на драгун, меж которыми спокойно ехал Нововейский с улыбкой на лице, отмеченном печатью безумия, и на свирепые лица головорезов, обращенных в венгерских пехотинцев. Однако несколько сот заправских вояк, шедших при Басе, своим видом приободрили горожан.

— Это люди искушенные, такие не устроятся туркам в глаза посмотреть! — говорили в толпе.

Некоторые горожане, да и солдаты, в особенности из полка князя епископа Тшебицкого, который днями только прибыл в Каменец, думали, что и сам Володыёвский в кортеже, и потому подняли крик:

— Да здравствует пан Володыёвский! Да здравствует наш защитник! Наиславнейший кавалер!

— Vivat Володыёвский, vivat!

Бася слушала, и сердце ее распирала радость; что может быть женщине милей, нежели слава мужа, да когда еще такой большой город славит его.

«Столько здесь рыцарей, — думала Бася, — а ведь никому не кричат, только моему Михалу!»

Ей и самой захотелось крикнуть со всеми вместе «Vivat Володыёвский!», но Заглоба урезонил ее, призывая вести себя достойно и кланяться на обе стороны, как кланяется королева при въезде в столицу.

Сам он тоже приветствовал всех, то шапкой махал, то рукой, а когда люди, его знавшие, и в его честь стали кричать vivat, он обратился к толпе:

— Пань ясновельможные! Кто в Збараже выстоял, тот и в Каменце выстоит!

По указанию Володыёвского кортеж подъехал к возведенному недавно монастырю сестер доминиканок. У маленького рыцаря был, правда, собственный домик в Каменце, но монастырь стоял в более укромном и мало доступном ядрам месте, и он предпочел здесь поместить свою любимую — к тому же, будучи жертвователем монастыря, он надеялся на хороший прием. В самом деле, мать игуменя Виктория, дочь брацлавского воеводы Стефана Потоцкого, приняла Басю с распростертыми объятьями. Из этих объятий она тотчас же попала в другие — горячо любящей ее тетушки Маковецкой, с которой давным-давно не виделась. Обе они плакали, плакал и пан стольник латычёвский, коего Бася всегда была любимицей. Едва успели утереть слезы умиления, прибежала Кшися Кетлинг, и все началось сызнова, а потом Басю окружили сестры монашенки и шляхтянки, знакомые и незнакомые: пани Мартинова Богуш, и Станиславская, и Калиновская, и Хотимирская, и Войцехова, и Гумецкая — жена знатного кавалера пана хорунжего подольского. Одни, как пани Богуш, спрашивали о мужьях, других интересовало, что Бася думает о турецком нашествии и устоит ли, по ее мнению, Каменец.

Бася с великой радостью заметила, что ее почитают военным авторитетом и ждут из ее уст утешения. И она не поскупилась.

— И речи быть не может, — сказала она, — чтобы мы от турка не сумели отбиться. Михал сюда прибудет не сегодня завтра, самое позднее — через несколько деньков, а уж когда он обороной займется, вы, милостивые государины, можете спать спокойно, да к тому же известно, что крепость неприступная, уж в этом я, слава богу, немного разбираюсь!

Уверенность Баси весьма приободрила женщин, в особенности успокоил их близкий приезд Володыёвского. Имя его и в самом деле пользовалось таким уважением, что, хотя наступил уже вечер, в монастырь один за другим стали жаловать местные офицеры, чтобы засвидетельствовать почтение Басе, и каждый после первых приветствий выспрашивал, когда прибудет маленький рыцарь и вправду ли он намерен остаться в Каменце. Бася приняла только майора Квасиброцкого — он командовал пехотой князя епископа краковского, писаря Жевуского — он после Лончинского, а вернее, замещая его, возглавил полк Кетлинга. Другим в тот день уже не отворили дверь: Бася порядком была утомлена, а ей надлежало еще заняться Нововейским. Несчастный у самого монастыря упал с лошади, и его, беспмятного, отнесли в келью.

Тотчас послали за лекарем, тем самым, что лечил Басю в Хрептеве. Он предположил у Нововейского тяжелую и, вероятней всего, безнадежную болезнь мозга. До позднего вечера Бася, Мушальский и Заглоба обсуждали это происшествие, сокрушаясь несчастной судьбой рыцаря.

— Лекарь сказал мне, — молвил Заглоба, — что, коли он выживет, так после кровопускания разум должен к нему воротиться и на сердце легче станет.

— Нет уж для него утешения! — возразила Бася.

— В иных случаях человеку лучше и вовсе памяти лишиться, — заметил пан Мушальский, — но даже *animalia* «Животные (лат.-)» ею обладают.

Однако старик выбрал прославленного лучника за такие слова.

— Кабы у тебя, сударь, памяти не было, ты бы к исповеди ходить не мог, — сказал он, — а стало быть, лютеранам бы уподобился и адского огня был бы достоин. Тебя, сударь, уж и ксендз Каминский остерегал от богохульства, да ведь это как волку от молитвы толку: что ни говори подлецу, а он все про овцу.

— Какой из меня волк! — возразил славный лучник. — Вот Азья, тот был волк!

— А что я говорил? — подхватил Заглоба. — Кто первый сказал: это волк?

— Нововейский говорил мне, — молвила Бася, — что он денно и ночью слышит, как Эвка и Зося зовут его: «Спаси!» — а разве их

спасешь? Должно было болезнью кончиться, кто бы такие страдания выдержал? Смерть их он пережил бы, позора — не смог.

— Лежит теперь как колода бесчувственная, — молвил Мушальский, — а жаль, поединщик знатный!

Тут разговор их прервал слуга, сообщив, что в городе опять шум ужасный: люди сбегаются смотреть на генерала подольского, он сей момент прибыл с весьма пышной свитой и несколькими десятками пехотинцев.

— Он тут главный, — сказал Заглоба. — Весьма благородно со стороны пана Миколая Потоцкого, что он здесь решил быть, а не в другом каком месте, но, по мне, лучше бы его тут и не было. И он ведь противник был гетману! И в войну верить не хотел, а нынче, кто знает, не придется ли ему головой за это поплатиться!

— Может, и другие Потоцкие сюда за ним последуют, — сказал Мушальский.

— Видать, уж турки недалече! — заметил Заглоба. — Во имя отца, и сына, и святого духа! Дай бог, чтобы пан генерал был вторым Иеремией, а Каменец — вторым Збаражем.

— Быть посему, иль мы погибнем! — раздался чей-то голос с порога.

Бася при звуке этого голоса вскочила и с криком: «Михал!» — бросилась маленькому рыцарю на шею.

Володыёвский привез много важных вестей и, прежде чем объявить о них на военном совете, сперва в тихой келье поведал их жене. Сам он наголову разбил несколько мелких чамбулов и славно потрудился близ крымского дорощенковского коша. И пленных привез два-три десятка, от них можно было узнать о численности ханских и Дорошевых сил.

Другим наездникам не так повезло. Пан подлясский, стоявший во главе значительных сил, был разбит в жестокой сече; пану Мотовило, который направился к валашскому тракту, нанес поражение Крычинский с помощью белгородской орды и тех польских татар, что уцелели после разгрома на Текиче. Володыёвский по дороге в Каменец завернул в Хрептев: еще раз взглянуть потянуло, сказал пан Михал, на те места, где он был так счастлив.

— Я прибыл туда, — молвил он, — едва вы успели уехать, еще и след ваш не простыл, и без труда мог бы догнать вас, но в Ушицах переправился я на молдавский берег, чтобы со стороны степей прислушаться. Отдельные чамбулы перешли уже, и боюсь я, что, выдвинувшись вперед на Покуте, они нанесут внезапный удар. Другие же впереди турецкого войска идут и в скором времени придут. Осада предстоит, голубушка моя милая, ничего не поделаешь, но мы не дадимся, здесь ведь всякий не только отчизну, но и добро свое защищает.

Он встопорщил усики, привлек к себе жену и стал целовать ее в щеки. В тот день они не говорили больше. Назавтра Володыёвский сообщил эти известия на военном совете у князя епископа Ланцкоронского,[67] в котором, кроме епископа, состояли еще генерал подольский, подкоморий подольский Ланцкоронский, писарь подольский Жевуский, хорунжий Гумецкий, Кетлинг, Маковецкий, майор Квасиброцкий и еще несколько офицеров. Очень не понравилось Володыёвскому, когда генерал подольский объявил, что не хочет, мол, брать на себя командование, а поручает его совету.

— В чрезвычайных ситуациях, — возразил маленький рыцарь, — одна голова быть должна и одна воля! Под Збаражем власть принадлежала трем региментариям, но они препоручили ее князю Иеремии Вишневецкому, справедливо полагая, что перед лицом опасности необходимо единоначалие.

Слова эти не возымели действия. Напрасно эрудит Кетлинг в качестве примера приводил римлян, которые, будучи лучшими в мире воинами, изобрели диктатуру. Князь епископ Ланцкоронский, который Кетлинга не любил, вообразив почему-то, что коль скоро тот шотландец по происхождению, то в глубине души и еретик, ответил ему, что поляки-де не нуждаются в том, чтобы у пришельцев истории обучаться, равно как, собственный разум имея, и в том не нуждаются, чтобы брать пример с римлян, которым, впрочем, в смелости и красноречии вовсе или почти не уступают. «Как от охапки дров огонь сильнее, нежели от одной щепки, — говорил он, — так и здесь: один ум хорошо, а много — лучше». При этом он хвалил скромность генерала подольского, хотя другие усматривали в том скорее страх перед ответственностью, и от себя предложил переговоры. Когда слово это было произнесено, солдаты как ужаленные повскакали с лавок: Володыёвский и Кетлинг, Маковецкий, Квасиброцкий, Гумецкий, Жевуский, — заскрежетали зубами и зазвенели саблями. «Вот оно что!» — послышались голоса. «Не для переговоров мы пришли сюда!» «Медиатора духовное облачение защищает!» Квасиброцкий крикнул даже: «В притвор, а не в совет!» Поднялась шумиха. Тогда епископ встал и торжественно молвил:

— Я первый готов голову сложить за костелы и за свою паству, а ежели о переговорах поминаю и выиграть время желал бы, то, бог мне судья, не для того вовсе, чтобы крепость сдать, а единственно чтобы дать гетману время стянуть подкрепления. Страшно для нехристей имя Собеского, и, даже если сил у него довольно не будет, сама молва, что он сюда идет, заставит басурман отступить от Каменца.

После страстной его речи все умолкли, а кое-кто утешился даже, видя, что князь епископ не помышляет о сдаче города.

А Володыёвский сказал:

— Прежде чем неприятель обложит Каменец, ему Жванец придется брать; не оставит же он укрепленный замок у себя за спиною. Так вот я, с позволения пана подкомория подольского, берусь в Жванце окопаться и продержусь там ровно столько времени, сколько князь епископ переговорами выиграть намерен. Верных людей с собой возьму и, пока жив, не отдам Жванца!

Но тут все закричали:

— Не бывать тому! Ты здесь нужен! Без тебя горожане духом падут и солдаты охоту драться потеряют. Ни в коем разе! У кого тут больше опыта? Кто Збараж прошел, а коли до вылазки дойдет дело, кто людей поведет? Ты в Жванце голову сложишь, а мы без тебя тут погибнем!

— Мною командование распоряжается, — ответил Володыёвский.

— В Жванец послать бы смельчака из молодых, чтобы мне помощником был, — сказал подкоморий подольский.

— Пускай Нововейский едет! — откликнулись несколько голосов.

— Нововейский идти не может, у него голова в огне, — возразил Володыёвский, — он бесчувственный в постели лежит!

— Давайте же посоветуемся: кому где встать должно и какие ворота защищать, — предложил князь епископ.

Все взоры обратились к генералу подольскому, а он так сказал:

— Перед тем как приказ огласить, я рад был бы выслушать мнение бывалых воинов, а коль скоро опытом военным здесь более всех пан Володыёвский искушен, ему первому и слово.

Володыёвский посоветовал прежде всего хорошенько укрепить замки, расположенные близ города, полагая, что именно на эти замки неприятель ударит с наибольшей силой. Его поддержали. Тысячу шестьдесят человек пехоты разделили таким образом: правую сторону замка защищал Мыслишевский, левую — Гумецкий, известный своими победами под Цудновом. Со стороны Хотина, в самом что ни есть опасном месте, встал сам Володыёвский, пониже его — отряд сердюков; сторону, обращенную к Зинковцам, прикрывал майор Квасиброцкий, юг — Вонсович, со стороны площади стоял капитан Букар с людьми Красинского. Все это были не волонтеры какие-нибудь, а воины по ремеслу, лучшие из лучших, и такие стойкие в бою, что иных солнечный зной больше допекал, нежели их — оружейный огонь. К тому же служба в войске Речи Посполитой, как правило немногочисленном, они с молодых лет привыкли давать отпор десятикратно сильнее-

му неприятелю и почитали это в порядке вещей. Общий надзор над артиллерией в замке осуществлял красавец Кетлинг, который не знал себе равных в наводке орудий. Командовать в замке поручалось маленькому рыцарю, ему генерал подольский позволил по своему разумению совершать вылазки, коль скоро представится к тому необходимость и случай.

Воины же, узнав кто где будет стоять, возрадовались в сердце своим; громкими кликами и звоном рапир выказали они свою готовность. Слыша это, генерал подольский так про себя подумал: «Не верил я, что мы осаду выдержим, и без веры сюда прибыл, лишь совести своей послушный; как знать, однако, не сумеем ли мы с такими-то солдатами неприятеля отбить! Слава мне достанется, вторым Иеремией меня провозгласят, уж не счастливая ли звезда привела меня сюда?»

И как прежде сомневался он, что возможно город защитить, так теперь засомневался, что враг сможет взять его, и, сильно тем воодушевившись, рьяно стал советовать, как расставить людей в самом городе.

Решено было, что в самом городе у Русских ворот встанет Маковецкий с небольшой группой шляхты, польских горожан, в бою более других выносливых, а также с несколькими десятками армян и евреев. Ворота Луцкие отдавали Городецкому, наводкой орудий у него ведали Жук и Матчинский. Площадь перед ратушей охранять надлежало Лукашу Дзевановскому, а Хотимирский за Русскими воротами принял под свою команду шумных цыган. От моста до самого дома пана Синицкого ведал караулом Казимеж Гумецкий, брат отважного Войцеха. Далее располагались: пан Станишевский, у Ляшских ворот — Мартин Богуш; у Спижовой башни, у самой бялоблочкой пробоины, полагалось встать Ежи Скажинскому вместе с Яцковским. Дубравский же с Петрашевским охраняли башню Жезника. Большой городской шанец отдали Томашевичу, войту польской юрисдикции, меньший — Яцковскому: еще был отдан приказ насыпать третий шанец, с которого потом уж еврей один, отличный пушкарь, сильно досаждал туркам.

Распорядившись таким образом, весь совет отправился на ужин к генералу подольскому, который на застолье том пану Володыёвскому всяческие почести оказывал: и на главное место его усадил, и вином потчевал, и кушаньями, и речью, предсказав в ней, что потомки после осады к прозвищу «маленький рыцарь» прибавят еще титул «Гектор каменский». Володыёвский же заявил, что служить он намерен не за страх, а за совесть, хотел бы присягой связать себя в храме божием и просит князя епископа завтра же ему это дозволить. Князь епископ, смекнув, что от

клятвы этой проистечь может польза общая, охотно согласился.

На другой день в соборе состоялось большое богослужение. В волнении духа сосредоточенно внимали ему рыцари, шляхта, воины и простолюдины. Володыёвский с Кетлингом распростерлись ниц у алтаря; Кшися и Бася, преклонив колени, плакали тут же за скамьями, понимая, что после такой присяги жизнь их мужей в еще большей опасности. После окончания мессы князь епископ, как водится, вынес прихожанам дароносицу; тут маленький рыцарь встал и, преклонив колени на ступеньках алтаря, молвил взволнованно, хотя и спокойным голосом:

— За величайшие милости и особое покровительство, коими я благодетельствован господом богом всевышним и сыном его возлюбленным, даю обет и присягаю: как он и сын его помогли мне, так и я до последнего вздоха крест святой защищать намерен. А понеже командование старым замком мне вверено, я, доколе жив и руками-ногами двигать могу, вражью силу басурманскую, в разврате погрязшую, в замок не впущу, от стен его не отступлю, белой тряпки не вывешу, хоть бы мне под руинами пришлось быть погребену... Помоги мне в том бог и крестная сила. Аминь!

Торжественная тишина воцарилась в костеле, после чего раздался голос Кетлинга.

— Клянусь, — молвил он, — за особые милости, кои познал я в здешней своей отчизне, до последней капли крови замок защищать и скорее под руинами его буду погребен, нежели допущу, чтобы нога неприятеля вступила на стены его. И как я от чистого сердца с благодарностью искренней обет сей даю, так да поможет мне бог и крестная сила. Аминь!

Тут ксендз опустил дароносицу и дал приложиться к ней сперва Володыёвскому, а после Кетлингу. При виде этого рыцари, а их множество было в костеле, зашумели. Послышались голоса:

— Все клянемся! Все костями ляжем! Не сдадим крепость! Клянемся! Аминь! Аминь! Аминь!

Сабли и рапиры со скрежетом вырвались из ножен, в костеле сделалось светло от стали. Блеск клинков озарил суровые лица, горящие глаза; неописуемое воодушевление охватило шляхту, солдат, народ.

Тут ударили колокола, загремел орган, князь епископ запел: «Sub tuam praesidium» «Под водительство твое (лат.).», сто голов ему вторили — так молились за крепость, бывшую сторожевой вышкой христианства и ключом Речи Посполитой.

После окончания службы Кетлинг с Володыёвским под руку вышли из костела. С ними прощались, их благословляли, ибо никто не сомневался, что они скорее погибнут, нежели сдадут

замок. Но не смерть, а победа и слава, казалось, парили над ними — и, вероятно, из всей этой толпы только они одни знали, сколь страшной связали себя клятвой. Быть может, два любящих женских сердца предчувствовали гибель, нависшую над их головами, — ни Бася, ни Кшися никак не могли успокоиться, а когда наконец Володыёвский оказался в монастыре с женою, она, плача навзрыд, всхлипывая, как малый ребенок, прижалась к его груди и прерывистым голосом сказала:

— Помни... Михалек... что... упаси бог с тобою несчастье... я... я... не знаю... что... со мною... будет!

И вся задрожала от волнения, маленький рыцарь был очень растроган. Желтые его усики зашевелились, наконец он сказал:

— Ну же, Баська... надобно было, ну!..

— Лучше бы мне умереть! — сказала Бася.

Услышав это, маленький рыцарь еще быстрее зашевелил усиками и, повторив несколько раз подряд: «Не надо, Баська, не надо!», стал утешать это любимейшее в мире создание.

— А помнишь, когда бог мне вернул тебя, что я сказал? Я так ему сказал: «Все, на что я способен, обещаю тебе. После войны, коли жив останусь, костельчик поставлю, но во время войны должен я ратный подвиг совершить, чтобы неблагодарностью не огорчить тебя». Что там замок! И этого мало за такое-то благодеяние! Пришла пора! Разве ж годится, чтобы спаситель сказал: «Однако же пустобрех он». Да пусть меня лучше каменья замка погребут, нежели я честное слово рыцаря, данное богу, нарушу! Надобно, Баська, и все тут! Богу, Баська, доверимся!..

ГЛАВА LI

В тот же день Володыёвский отправился с хоругвями на подмогу молодому Васильковскому, который поспешил к Грынчуку: от того пришло известие, что татары прорвались туда по бездорожью, вяжут людей, скот отымают, деревень, впрочем, не жгут, чтоб себя не выдавать. Васильковский вмиг справился с ними, ясырей отобрал, пленников взял. Володыёвский отправил тех пленников в Жванец, поручив Маковецкому допросить их и все записать в подробности, чтобы можно было их показания отослать гетману и королю. Татары показали, что границу они перешли по приказу пыркалаба, на подмогу им дан был ротмистр Стынган с валахами. Однако, где именно стоит сейчас турецкий владыка со своими полчищами, они, несмотря на пытки, сказать не умели, ибо, двигаясь рассеянным строем впереди войска, связи со становищем не поддерживали.

Все, однако же, согласно показали, что султан полчища свои уже двинул, что идет он на Речь Посполитую и, по всему видать, в скором времени встанет под Хотинем. Для будущих защитников Каменца ничего нового в этих показаниях не было, однако же, поскольку в Варшаве при королевском дворе в войну до сей поры не верили, подкоморий подольский велел отрядить пленников вместе с новостями в Варшаву.

Первые разъезды вернулись довольные. А вечером явился к Володыёвскому секретарь побратима его, Хабарескула, старшего хотинского пыркалаба. Письма он не привез, так как писать пыркалаб опасался, но велел на словах передать побратиму своему Володыёвскому, «свету очей» и «сердечной усладе», чтобы тот настороже был и, коли в Каменце не хватает сил для защиты, под каким-либо предлогом город покинул, поскольку султан со всем своим войском через день-два ожидается уже в Хотине.

Володыёвский велел поблагодарить пыркалаба и, вознаградив секретаря, отослал его обратно, а сам немедленно уведомил комендантов о близкой опасности.

Весть, хотя и ожидаемая, произвела сильное впечатление. С удвоенным рвением велись теперь работы в городе. Иероним Ланцкоронский тотчас же направился к себе в Жванец, чтобы оттуда наблюдать за Хотинем.

Какое-то время прошло в ожидании, наконец, 2 августа, в день празднества в честь богоматери, султан встал под Хотинем. Полки разлились окрест морем безбрежным, и в виду последнего города, лежавшего еще в границах падишахских владений, вопль «Аллах! Аллах!» — вырвался из сотен тысяч глоток. По другую

сторону Днестра раскинулась беззащитная Речь Посполитая, которую несметное это войско готово было залить, подобно половодью, сожрать, подобно огню. Толпы воинов, невместившиеся в городе, расположились на поле, на том самом поле, где несколько десятков лет тому назад польские сабли изрубили тоже немалую армию пророка.

Нынче, казалось, настал час отмщения, и никто в диких этих ратях, от султана до обозника, не мог предположить, что степь эта дважды окажется зловещей для полумесяца. Надежда, да что там, даже уверенность в победе оживила сердца. Янычары и спаги, множество ополченцев с Балкан, с Родонских гор, из Румелии, Пелиона и Оссы, из Кармеля и Ливана, из арабских пустынь и с берегов Тигра, с нильских низин и горячих африканских песков, издавая воинственные клики, требовали, чтобы их немедленно вели на «гяурский берег». Но тут муэдзины с хотинских минаретов стали звать на молитву, и все утихло. Множество голов в тюбанах, в колпаках, фесках, бурнусах, куфьях и стальных шлемах склонились долу, глухое бормотанье молитвы понеслось по степи, будто жужжанье несметного пчелиного роя, и, подхваченное ветром, перекинулось за Днестр, туда, в Речь Посполитую.

Потом слышались барабаны, сопелки и дудки, возвестившие привал. Хотя войска шли медленно, не зная особых тягот, падишах вознамерился дать им хорошенько отдохнуть после долгого пути из Адрианополя. Сам он совершил омовение в кристально чистом источнике неподалеку от города и удалился в Хотинский конак, а в поле принялись разбивать шатры для воинов, и в скором времени они, как снегом, покрыли неоглядное пространство вокруг.

День до самого заката стоял чудесный. После вечерних молитв табор расположился на отдых. Засверкали тысячи, сотни тысяч огоньков, мерцанье их с тревогой наблюдали из маленького жванецкого замка; простирались они так далеко, что воины, ходившие в разъезд, говорили после, будто им показалось что «вся Молдавия в огнях». По мере того, однако, как яркий месяц все выше подымался в звездном небе, огоньки, все, кроме караульных, гасли, табор утихал, и средь молчанья ночи слышалось только, как ржали кони да мычали буйволы на тарабанских лугах.

На другой день, едва забрезжило, султан повелел янычарам, татарам, в том числе и польским, перейти Днестр и занять Жванец — и городишко, и замок. Храбрый Иероним Ланцкоронский не стал дожидаться неприятеля за стенами, а, располагая сорока татарами, восьмьюдесятью киянами[68] и одной собственной хоругвью товарищей, ударил на янычар у переправы и, несмотря на частый мушкетный огонь, смял отборнейших пехотинцев, и

они, пятась, врассыпную бросились в воду. Но тем временем чамбул, усиленный липеками, переправившись в другом месте, вломился в город. Дым и крики возвестили смелому подкоморию, что город в руках неприятеля, — он велел отступить от переправы и поспешил на помощь несчастным горожанам. Пешие янычары не могли его преследовать, и он гнал что было духу. И уже близок был к цели, когда вдруг его татары, побросав свои хоругви, перешли на сторону неприятеля. Положение создалось весьма опасное: чамбул, укрепленный польскими татарами, рассчитывая, что измена вызовет замешательство, стремительно кинулся врукопашную на подкомория. К счастью, кияны, заразившись примером своего предводителя, оказали им отчаянное сопротивление, а хоругвь товарищей наголову разбила неприятеля, которому, впрочем, не под силу было тягаться с регулярной польской конницей. Земля у города покрылась трупами, по преимуществу липеков, они были смелее в сражении и упорнее прочих ордынцев. Порубили их немало и на улицах, после чего Ланцкоронский, видя приближающихся от реки янычар, скрылся за стенами города, успев перед тем послать в Каменец за подкреплением.

Падишах не намерен был в тот день брать жванецкий замок, справедливо полагая, что сумеет вмиг им овладеть, когда переправится все его войско. Он хотел захватить только город и, рассчитав, что отрядов, какие он отправил, для этой цели вполне довольно, не стал более посылать ни янычар, ни ордынцев. Те же, кто успел переправиться, после отступления подкомория за стены замка снова заняли город и, не поджигая его, чтобы самим было где потом укрыться, принялись орудовать там саблями и кинжалом. Янычары хватали молодок для солдатской утехи, мужчин же и детей зарубали топорами; татары занялись трофеями.

И тут с башни замка заметили, что от Каменца близится к ним конница. Услышав это, Ланцкоронский самолично вошел на башню в сопровождении нескольких товарищей и, высунувши в бойницу подзорную трубу, долго и пристально вглядывался в поле, после чего сказал:

— Это легкая конница хрептевского гарнизона, та самая, с которой Васильковский к Грынчуку ходил. Полагаю, его самого сюда и прислали.

И снова стал смотреть.

— Волонтеров вижу, верно, Гумецкий Войцех!

А через минуту:

— Слава богу! Сам Володыёвский там, я драгун вижу. Давайте-ка, судари мои, и мы за стены выскочим и с божьей помощью выгоним неприятеля не только что из города, а и дальше, за реку.

Сказав это, он стремглав сбежал вниз, чтобы созвать своих киянов и товарищей. В городе меж тем кое-кто из татар тоже заметил приближающиеся хоругви; пронзительными голосами взывая к аллаху, они стали собираться в чамбул. Повсюду на улицах зазвучали барабаны и дудки; янычары построились в мгновение ока — едва ли какая пехота в мире могла с ними сравниться в быстроте.

Чамбул, словно подхваченный ветром, вылетел из города навстречу легкой конной хоругви. Один этот чамбул, — не считая польских татар, много их положил Ланцкоронский, — втрое превосходил жванецкий гарнизон вместе с идущими ему на подмогу хоругвями, и оттого, ни минуты не колеблясь, кинулся на Васильковского. Но Васильковский, отважный юноша, жадно и слепо бросавшийся навстречу всякой опасности, велел своим людям пустить коней вскачь и ринулся вперед как смерч, невзирая на перевес неприятеля.

Смелость его озадачила татар, не любивших рукопашных схваток. И вот, несмотря на крики следовавших позади мурз, несмотря на пронзительный писк дудок и барабанный бой, зовущий на кесим — рубить головы неверным, — они стали осаживать, сдерживать коней; душа, как видно, ушла у них в пятки и запалу поубавилось; наконец, на расстоянии выстрела из лука, они раступились перед хоругвью, выпустив тьму стрел на мчавшихся всадников.

Васильковский, ведать не ведая о янычарах, которые строились по ту сторону домов у реки, что есть духу погнался со своими людьми за татарами, вернее, за половиной чамбула, вскорости достиг его и принялся сечь тех, у кого кони были поплоше и кто поэтому не успевал от него спастись. Вторая половина чамбула меж тем повернула, намереваясь обойти его, но в эту как раз минуту подоспели волонтеры, а с ними вместе нагрянул и подкоморий с киянами. Татары, стиснутые с боков, тотчас рассыпались как куча песку, и началось побоище: воины сшиблись в одиночку и группами, все было густо усеяно трупами ордынцев; более всего полегло их от руки Васильковского, который словно одержимый один налетал на скопище татар, как сокол на стаю воробьев или овсянок.

Володыёвский, однако, воин осмотрительный и хладнокровный, до времени придерживался своих драгун. Подобно охотнику, что крепко держит на своре остервенелых собак и спускает их не на всякого зверя, а лишь завидя сверкающие глаза и белые клыки лютого вепря-одинца, так и маленький рыцарь, пренебрегши пугливыми ордынцами, все высматривал, нет ли там за ними спаги, янычар или еще какого отборного войска.

Тут подскакал к нему Иероним Ланцкоронский со своими киянами.

— Сударь мой, — вскричал он, — янычары уже у реки, прижмем-ка их!

Володыёвский выхватил рапиру из ножен и скомандовал:

— Вперед!

Драгуны все, как один, натянули поводья, чтобы лучше чувствовать коней, и всею шеренгой, чуть подавшись вперед, тронулись, как на ученье. Сперва шли рысью, потом вскачь, но пока еще не во весь опор. Только миновав дома у реки, к востоку от замка, они увидели белые войлочные колпаки янычар и поняли, что не с ямаками[69] предстоит им иметь дело, но с регулярным войском.

— Бей! — вскричал Володыёвский.

Кони вытянулись в струнку, почти касаясь брюхом земли и отбрасывая копытами затвердевшие комья.

Янычары, не зная какая сила идет на подмогу Жванцу, в самом деле направились к реке. Один отряд их, насчитывающий двести с лишним человек, уже достиг берега, и передние его шеренги как раз вступили на паромы, второй же, не менее сильный, спешно, но в отличном боевом порядке подтягивался к реке, когда завидел мчащуюся конницу; янычары остановились, в мгновение ока поворотившись лицом к неприятелю. Мушкетеры вытянулись в одну линию, и тотчас грянул дружный залп. Более того, отчаянные воины, полагая, что свои на берегу поддержат их огнем, не только что не разбежались, произведя этот залп, но, подбадривая друг друга криками, двинулись вперед под прикрытием дыма и яростно ударили саблями на конницу. То была дерзость, свойственная исключительно янычарам, за которую они дорого заплатили, ибо конники, не в состоянии, если бы даже захотели, сдержать своих коней, ударили на них подобно молоту и вмиг смяли, сея ужас и гибель.

От натиска их передние шеренги янычар легли, как нива от урагана. Правда, многие просто повалились на землю и, тотчас вскочив, врасыпную бросились к реке — оттуда второй отряд время от времени поддавал огня, целясь выше, чтобы над головами своих поразить драгун. В какое-то мгновение янычары, стоявшие у паромов, явно заколебались — грузиться ли им на паромы или, по примеру другого отряда, ударить врукопашную на конницу. От этого шага их, однако, удержало зрелище удирающих кучками людей; кони грудью напирали на них, а всадники рубили столь жестоко, что иступление их разве что с их искусством было сравнимо. Временами, под напором особенно сильным, янычары, оборотясь, принимались отчаянно огрызаться, как

огрызается затравленный зверь, видя, что ему уже нет спасения. И вот тут-то скопившиеся на берегу воочию могли убедиться, что противостоять этой коннице невозможно, ибо нет ей равных во владении холодным оружием. Защищавшимся рассекали головы, лицо, шею, да так умело и быстро, что глаз едва улавливал мах сабли. Как челядь в хорошо налаженном хозяйстве усердно и торопливо молотит на току сухой горох и рига звенит отголосками ударов, а вылущенное зерно прыщет во все стороны, так по всему поречью звучали отголоски сабельных ударов, а кучки янычар, лущенные немилосердно, распыскивались во все стороны.

Васильковский, не зная страха, кидался в бой во главе своей легкой конницы. Однако насколько опытный косец превосходит более сильного, но не столь сноровистого молодого батрака (уморился молодец, в поту весь, а тот знай себе косит да косит, ровно стеля перед собою колосья), так и Володыёвский превосходил одержимого юношу. Перед тем как сшибиться с янычарами, он пропустил драгун вперед, а сам поотстал немного, чтобы видеть всю битву. Издалека он со вниманием наблюдал за нею, то и дело кидался в круговерт, наносил удары, направлял, снова позволял битве отдалиться, и снова наблюдал, и снова наносил удары. Как обыкновенно происходит в сражении с пехотой, конница в боевом порыве упустила беглецов. Несколько десятков янычар, лишенных возможности бежать к реке, повернули к городу, чтобы укрыться там близ домов в подсолнухах. Но их заметил Володыёвский, настиг двоих, легко коснулся того и другого саблей, и они тотчас повалились, роя ногами землю, и, обливаясь кровью из отверстых ран, испустили дух. Завидев такое, третий выпалил из ружья по маленькому рыцарю, да промахнулся, а тот наотмашь рубанул его острием промеж носа и рта и таким образом лишил драгоценной жизни. После чего, не мешкая, погнался за остальными — и деревенский мальчишка не так быстро срезает растущие кучкой грибы, как он посрезал их прежде, чем они попрятались в подсолнухах. Только двух последних схватили жванецкие люди — Володыёвский велел взять их живьем.

Сам же, разогревшись немного, когда увидел, что янычар почти оттеснили к реке, кинулся в жар битвы и принялся трудиться там наравне с драгунами.

Он наносил молниеносные удары прямо перед собою, вправо, влево, не глядя более на дело рук своих, но всякий раз белый колпак сползал на землю. Янычары с воплями в страхе теснились перед ним, он же удвоил частоту ударов, и, хотя оставался при этом спокоен, никто уже не в состоянии был уследить за движениями его сабли и уловить, когда он рубит, а когда колет: сабля

вкруг него образовала сплошное светозарное кольцо.

Ланцкоронский, издавна о нем наслышанный, как о непревзойденном мастере, но в деле до сей поры его не видевший, даже драться перестал и смотрел изумленный, не в силах поверить, чтобы один человек, пускай даже и мастер, и первым кавалером именуемый, мог совершить такое. Он схватился за голову и — вкруг все это слышали — неустанно твердил: «Мало еще про него говорили, ей-богу!» Другие кричали: «Смотрите, такого более в жизни не увидите!» А Володыёвский знай себе трудился.

Янычар вовсе оттеснили уже к реке, и они в панике взбирались теперь на паромы. Паромов было в достатке, а людей воротилось меньше, нежели прибыло, и они быстро и легко там разместились. Тотчас пришли в движение тяжелые весла, меж конницей и янычарами образовалась водная преграда и ширилась с каждой минутой... Тут с паромов загрели ружья, драгуны ответили мушкетным огнем; облако дыма взметнулось над водою и растянулось в длинные полосы. Паромы, а с ними янычары уходили все далее. Одержавшие победу драгуны разразились яростными криками; грозя кулаками, они вопили вослед уходившим:

— А, придешь еще, собака, придешь!..

Ланцкоронский, хотя пули шлепались у самого берега, заключил Володыёвского в объятия.

— Я просто глазам своим не верил! — сказал он. — *Mirabilia «Удивительно (лат.).»*, сударь мой, золотого пера достойно!

А Володыёвский на это:

— Прирожденные способности и опытность, ничего более! Сколько уж войн пережито!

Высвободившись из объятий Ланцкоронского, он взглянул на берег и крикнул:

— Смотри-ка, сударь, не такую увидишь диковинку!..

Подкоморий, оборотившись, увидел на берегу офицера, натягивающего лук.

Был то Мушальский.

Прославленный лучник до сей поры сражался с неприятелем врукопашную, вместе со всеми, теперь же, когда янычары отдалились уже настолько, что пули из их ружей и драгунских мушкетов не достигали цели, он встал на берегу, там, где повыше, вытащил лук, сперва тронул тетиву пальцем, а затем, когда она зазвенела ему в ответ, вложил в лук оперенную стрелу и прицелился.

В тот самый миг на него и глянули Володыёвский с Ланцкоронским.

Прекрасная то была картина! Лучник сидел на коне, вытянув левую руку вперед, и в ней, как в клещах, держал лук, правой же

рукою с силой оттянул стрелу к середине груди, так что жилы вздулись у него на лбу, и спокойно целился.

Вдали, под облаком дыма, виднелось более десятка паромов, плывших по реке, из-за таяния снегов в горах очень полноводной и настолько в тот день прозрачной, что в ней отражались паромы с сидящими на них янычарами. Мушкетеры на берегу умолкли, все взоры устремились на Мушальского либо в ту сторону, куда направлена была смертоносная стрела.

Но вот громко запела тетива и пернатый посланец смерти вылетел из лука. Ни один глаз не мог уследить за его полетом, но все явственно увидели, как стоявший у весла толстый янычар вдруг раскинул руки и, покрутившись на месте, плюхнулся в воду. Разверзлась под тяжестью его прозрачная речная глубь, а Мушальский сказал:

— За тебя, Дыдюк!..

И потянулся за второй стрелой.

— В честь пана гетмана! — объявил он товарищам.

Те затаили дух, в тот же миг в воздухе снова просвистела стрела, и второй янычар повалился на дно парома.

На всех паромах живей задвигались весла, с силой разбивая светлую волну, а несравненный лучник с улыбкою оборотился к маленькому рыцарю:

— В честь достойной супруги вашей!

И в третий раз натянул он лук, в третий раз выпустил горькую стрелу, и в третий раз погрузилась она до половины в человеческое тело. Торжествующий вопль раздался с берега, вопль ярости с паромов, после чего Мушальский повернул коня, за ним последовали другие победители нынешнего дня, и все направились в город.

Возвращаясь, они, довольные, поглядывали на сегодняшнюю жатву. Ордынцев погибло немного — они не сумели даже сплотиться для боя и, всполошенные, тотчас переправились через реку; зато несколько десятков янычар лежали, как снопы, хорошенько связанные перевязлом. Кое-кто шевелился еще, но все уже были обобраны челядинцами подкомория.

— Смелая пехота, — сказал, взглянув на них, Володыёвский, — на врага идет, точно вепрь-одиноц, но все же и половины того не умеет, что шведские пехотинцы.

— Однако же залп они дали, будто орех кто разгрыз, — заметил подкоморий.

— Это само по себе получилось, а вовсе не по причине их умения, обыкновенно они особой муштры не проходят, но все же это гвардия султанская, они хоть как-то обучаются, а есть еще янычары нерегулярные, те много хуже.

— Дали мы им pro memoria. Бог к нам милостив, раз мы с победы столь значительной эту войну начинаем!

Однако искушенный Володыёвский был иного мнения.

— И вовсе не значительная то победа, — возразил он. — Разумеется, и это хорошо для поднятия духа тех, кто пороха не нюхал, да и в горожанах; иных, однако, последствий я не предвижу.

— Думаешь, у басурман после того фанаберии не убудет?

— Нет, не убудет.

Так, беседуя, они достигли города, где горожане передали им двух взятых живьем янычар, которые пытались укрыться в подсолнухах от сабли Володыёвского.

Один был легко ранен, другой целехонек и спесив необычайно. Остановившись в замке, маленький рыцарь велел Маковецкому допросить янычара, поскольку сам он, хотя и понимал по-турецки, говорить не умел. Маковецкий стал выпрашивать турка, прибыл ли султан собственной персоной в Хотин и как скоро замышляет он подойти к Каменцу.

Турок отвечал четко, но дерзко.

— Падишах собственной персоной уже прибыл, — сказал он. — В лагере говорили, что завтра Халил и Мурад положили переправиться на этот берег, взявши с собой инженеров, которые тотчас начнут рыть шанцы. Завтра-послезавтра пробьет час вашей гибели.

Тут пленник упер руки в бока и, уверенный во всемогущи султанского имени, продолжал:

— Безумные ляхи! Да как осмелились вы под боком у повелителя нападать на людей его и терзать их? Иль полагаете, суровая кара вас минет? Иль жалкий этот замок сумеет вас защитить? Кто же вы будете через несколько дней, как не пленники? Кто же вы нынче, как не псы, кидающиеся на хозяина?

Маковецкий усердно все записывал, а Володыёвский для острастки после слов этих вlepил пленнику пощечину. Турок остолбенел и тотчас проникся уважением к маленькому рыцарю да и вообще стал выражаться пристойнее. После допроса, когда пленника вывели из зала, Володыёвский сказал:

Пленников и показания их надо немедленно отправить в Варшаву, там при дворе короля все еще в войну не верят.

— А с кем это Халил и Мурад переправиться намерены? — спросил Ланцкоронский.

— С инженерами. Они брустверы и насыпи под пушки будут возводить, — ответил Маковецкий.

— А как вы, судари, полагаете, правду тот пленник говорил или попросту лгал?

— Коли вам желательно, — ответил Володыёвский, — можно будет пятки ему поджарить. Есть у меня вахмистр один, он Азью, сына Тугай-бея, потрошил и в такого рода делах *exquisitiscimus*, но я полагаю, янычар истинную правду сказал; переправа вот-вот начнется, и воспрепятствовать ей мы не в силах, будь нас даже и во сто крат более! Так что ничего иного нам не остается, кроме как собраться и ехать с этой вестью в Каменец.

— Так славно у меня под Жванцем пошло, что я рад бы там в замке окопаться, — сказал подкоморий, — только бы ты, сударь, иногда выскакивал из Каменца мне на подмогу. А там уж будь что будет!

— У них и так двести пушек, — ответил Володыёвский, — а уж когда они еще две кулеврины переправят, замок и дня не продержится. Я и сам хотел в нем окопаться, но теперь вижу — бессмысленно это.

Другие согласились с ним. Ланцкоронский еще упирался из молодечества, он, мол, останется в Жванце, но был он все же достаточно опытный воин, чтобы не признать правоту Володыёвского. Окончательно убедил его Васильковский; прибыв с поля, он торопливо вбежал в замок.

— Ваши милости, — сказал он, — реки не видно, весь Днестр под плотами.

— Переправляются? — спросили все разом.

— Еще как! Турки на плотам, а чамбулы следом вброд.

Ланцкоронский не колебался более и тотчас отдал приказ потопить старые замковые гаубицы, а имущество, какое удастся, припрятать или вывезти в Каменец. А Володыёвский вскочил на коня и двинулся со своими людьми наблюдать за переправой с дальнего холма.

Паши Халил и Мурад в самом деле переправлялись через Днестр. Куда хватал глаз видны были паромы и плоты, весла их мерными ударами рассекали светлую воду. Янычары и спаги сразу во множестве переплывали реку: перевозочные средства приготовлены были в Хотиме. На берегу поодаль тоже скопилось немало войска. Володыёвский предположил, что там наводят мост. А ведь султан не привел еще в движение основные силы.

Подъехал Ланцкоронский со своими людьми, и они с маленьким рыцарем направились в Каменец. В городе их ожидал Потоцкий. На квартире его полно было высших офицеров, а перед домом собралась толпа, мужчины и женщины, озабоченные, встревоженные, любопытные.

— Неприятель переправляется, Жванец занят! — сказал маленький рыцарь.

— Работы закончены, мы ждем! — ответил Потоцкий.

Весть эта достигла толпы, которая зашумела как волна.

— К воротам! К воротам! — кричали в городе. — Неприятель Жванец занял!

Горожане и горожанки бежали на крепостные стены в надежде увидеть оттуда неприятеля, однако несшие там службу солдаты отказались их впустить.

— Домой ступайте! — кричали они толпе. — Коли станете обороне мешать, жены ваши, чего доброго, скоро турков вблизи увидят!

Впрочем, паники в городе не было, поскольку весть о нынешней победе уже разнеслась повсюду, и, разумеется, весьма в преувеличенном виде. Этому причастны были и солдаты, рассказывавшие чудеса о сражении.

— Пан Володыёвский янычар разбил, саму гвардию султанскую, — передавалось из уст в уста. — Куда басурманам мериться силами с паном Володыёвским! Он самого пашу засек. Не так страшен черт, как его малюют! Все ж не устояли они перед нашим войском! Так вам, сукины сыны! Смерть вам и султану вашему!

Горожанки сызнава появились на шанцах, на башнях и бастионах, но теперь нагруженные бутылками с горелкой, вином и медом.

На сей раз их встретили радушно, солдаты предались веселью. Потоцкий этому не препятствовал, желая удержать в воинах бодрость и присутствие духа, а так как снаряжения в городе и замке было предостаточно, он разрешил и пальбу в надежде, что такого рода проявления радости, будучи услышаны, вызовут замешательство во вражеском стане.

Володыёвский тем временем, дождавшись сумерек на квартире генерала подольского, сел на коня и украдкой, в сопровождении одного лишь слуги, попытался пробраться к монастырю — очень уж не терпелось ему поскорее увидеть жену. Но не тут-то было. Его узнали, и многочисленная толпа тотчас окружила его коня. Послышались приветственные клики. Матери протягивали к нему детей.

— Вот он! Смотрите и запомните! — повторяло множество голосов.

— Восхищались им безмерно, но всего более удивлял людей, в войне не искушенных, маленький его рост. У обывателей просто в голове не уместилось, как низенький этот человек с веселым и добрым лицом мог быть самым грозным, не имеющим себе равных воителем Речи Посполитой. А он ехал в толпе, топорща желтые свои усики, и улыбался — все же был доволен. А приехав наконец в монастырь, тотчас попал в Басины объятья.

Она уже знала о нынешних его подвигах, о высоком его ратном искусстве, перед тем был у нее подкоморий подольский и, как очевидец, подробно обо всем поведал. Бася в самом начале рассказа созвала всех находившихся в монастыре женщин — игуменью Потоцкую, пани Маковецкую, Гумецкую, Кетлинг, Хотимирскую, Богуш — и по мере того, как подкоморий рассказывал, стала ужасно важничать перед ними.

Володыёвский вошел почти тотчас после ухода женщин.

Когда они нарадовались встречей, маленький рыцарь сел ужинать. Он был очень утомлен. Бася, усевшись рядышком, сама накладывала ему еду на тарелки и доливала мед в кубок. Михал ел и пил с аппетитом — целый день и маковой росинки у него во рту не было. При этом он кое-что рассказывал Басе, а она, с горящими глазами слушая его, трясла, по обыкновению, головой и жадно спрашивала:

— Ага! Ну и что? Ну и что?

— Вояки добрые меж ними встречаются и весьма отчаянные, однако же искусные фехтовальщики среди турков — большая редкость, — говорил маленький рыцарь.

— Выходит, и я могла бы со всяким сразиться?

— Разумеется! Да только не бывать тому, не возьму я тебя!

— Хотя бы разочек один! А знаешь, Михалек, когда ты на вылазку идешь, я нисколько не беспокоюсь. Оттого что знаю — тебя никому не осилить...

— Будто бы и подстрелить не могут?

— Тише, или господа бога нет? Зарубить себя ты не дашь, это точно!

— Одному и двоим не дамся.

— И троим, Михалек, и четверым!

— И четверем тысячам! — вставил, подраживая ее, Заглоба. — Знал бы ты, Михал, что она тут вытворяла, пока пан подкоморий рассказывал! Я думал, со смеху лопну, ей-богу! Фыркала, что твоя коза, и каждой бабе по очереди в лицо заглядывала — должным ли образом та восхищается. Я уж струхнул даже, ну, думаю, сейчас кувыркаться начнет, а это все же занятие не слишком приличное.

Маленький рыцарь, потянувшись после еды, очень он был уставший, и вдруг, обняв жену, сказал:

— Квартира моя в замке уже готова, да больно не хочется туда возвращаться! Баська, я, пожалуй, тут останусь, а?

— Как хочешь, Михалек, — ответила Бася, потупив очи.

— Ха, — вскричал Заглоба, — а меня уж тут и не мужчиной вовсе, а старым грибом почитают — игуменья позволила мне жить в монастыре. Ну, она еще поплачет об этом, уж я постараюсь! А вы заметили, как пани Хотимирская мне подмигивала?

Вдовушка она... Все, больше ни гугу!

— Ей-богу, кажется, останусь! — сказал маленький рыцарь.

А Бася на это:

— Лишь бы тебе отдохнуть хорошо!

— А отчего бы ему не отдохнуть? — спросил Заглоба.

— Так ведь мы говорить будем, говорить, говорить!

Заглоба принялся искать свою шапку, чтобы тоже пойти отдохнуть, наконец нашел ее, нахлобучил на голову и сказал:

— Да не будете вы говорить, говорить, говорить!

С тем и вышел.

ГЛАВА LII

Назавтра чем свет маленький рыцарь отправился под Княгин, где сразился со спаги и захватил Булук-пашу, знатного турецкого воина. Весь день прошел у него в боевых трудах, часть ночи на совете у Потоцкого, лишь после первых петухов сумел приклонить он усталую голову. Но едва он забылся сладким глубоким сном, как его пробудил гул орудий. И в ту же минуту в комнату вбежал денщик Пентка — жмудин, верный слуга, почти что приятель Володыёвского.

— Ваша милость! — вскричал он. — Неприятель к городу подходит!

Маленький рыцарь тотчас вскочил на ноги.

— Какие орудия слышать?

— Наши басурман пугают. Там, разъезд большой, скот угоняет с поля.

— Янычары или конница?

— Конница, ваша милость. Как есть черные. Наши святым крестом их отпугивают, похоже черти они.

— Черти не черти, а нам туда надобно, — ответил маленький рыцарь. — Ты к жене ступай, скажи ей — в поле я. Захочет в замок прийти поглядеть, пускай идет, но чтобы с паном Заглобой вместе, на его осмотрительность только и полагаюсь.

Полчаса спустя Володыёвский уже мчался в поле во главе драгун и охочих из шляхты — эти надеялись показать себя в поединках. Из старого замка отлично видно было кавалерию неприятеля числом около двух тысяч, состоявшую частью из спаги, в основном же из египетской султанской гвардии. В этой последней служили богатые мамелюки с Нила. Сверкающие доспехи, яркие, шитые золотом куфьи на головах, оружие в драгоценных оправах — словом, великолепнейшая в мире конница. Вооружены они были дротиками, насаженными на тростниковые древки, кривыми булатами и ножами. На лошадях, резвых как ветер, они, словно радужные облака, с воем носились по полю, вертя в пальцах смертоносные свои копья. Те, кто был в замке, не могли отвести от них глаз.

Володыёвский с конниками вынесся им навстречу. Однако противникам не сразу удалось пустить в ход клинки. Турков сдерживали пушки из замка, а маленький рыцарь мог вступить с ними в единоборство только под прикрытием своих оружий — противник числом был много сильнее. И те, и другие какое-то время кружили на отдалении, потрясая оружием и громко вопя. Наконец пылким сынам пустыни надоели, как видно, напрасные

угрозы, отдельные всадники оторвались вдруг от общей массы и, приблизившись, стали громко вызывать противников. Затем они рассыпались по полю и замелькали на нем, как цветы, колышимые ветром.

Володыёвский взглянул на своих:

— Нас приглашают! Ну, кто к поединку готов?

Первым вызвался отважный воин Васильковский, за ним Мушальский — меткий лучник, но и поединщик отменный; за ним выскочил Мязга герба Прус, этот на всем скаку копьем перстень поддевал, за Мязгой вызвался Топур-Падеревский, и Озевич, и Шмлуд-Плоцкий, и князь Овсяный, и Маркос-Шелюта, и несколько десятков других славных рыцарей, и драгунов кучка тоже пошла — их прельщали надежда на богатый прибыток, и в особенности бесценные арабские кони. Во главе драгун шел суровый Люсьня; покусывая льняной свой ус, он издалека высматривал, кто побогаче.

День стоял чудесный, видно было отлично. Пушки на валах умолкали одна за одной, наконец и вовсе замолкли — пушкари боялись угодить в своих, да к тому ж предпочитали наблюдать за схваткой, нежели стрелять в рассеянных по полю поединщиков. А те двигались друг другу навстречу шагом, не спеша, потом рысью, и не в одной линии, а розно, как кому сподручнее; наконец, съехавшись, осадили коней и принялись осыпать друг друга бранью, дабы разжечь в сердцах гнев и отвагу.

— У нас не разживетесь, псы басурманские! — кричали польские воители. — Сам здесь! Не защитит вас подлый ваш пророк!..

А те вопили в ответ по-турецки и по-арабски. Многие из польских поединщиков понимали оба языка, ведь многие подобно славному лучнику, побывали в тяжелой неволе, а так как басурманы изрыгали страшную хулу на пресвятую богородицу, волосы на головах верных слуг девы Марии зашевелились от ярости, и они тронули коней, жажда отмстить за оскорбление ее имени.

Кто кого настиг там первый и лишил драгоценной жизни? Вот Мушальский сразил стрелою молодого бея в пурпурной куфье и в серебристых, как свет месяца, доспехах. Смертоносная стрела вонзилась ему под левый глаз, до половины вошла в голову, и он, запрокинув назад красивое свое лицо и руки раскинув, повалился с коня. Но лучник, лук на бедре укрепив, еще подскочил к нему и саблей бея прошил, после чего забрал отличное его оружие и спокойно погнал к своим его коня, крича при этом по-арабски:

— Дай бог, чтобы то был султана сын! Сгнил бы он тут, прежде чем вы свой последний намаз свершите!

Заслышав это, турки и египтяне сильно огорчились, и тотчас два бея поскакали к Мушальскому, но дорогу им преградил Люсь-

ня, свирепый, что твой волк, и в мгновение ока поразил одного из них насмерть. Сперва он ударил его по руке, а когда тот нагнулся за выбитой саблей, что есть силы полоснул по шее и почти напроць отсек ему голову. Другой бей тут же повернул назад быстрого как вихрь коня, но Мушальский успел выхватить лук и послал вослед бегущему стрелу; та достигла его и впилась меж лопаток чуть не по самое оперенье.

Третьим сразил своего противника Шмлуд-Плоцкий, клевцом ударив по мисюрке. Лопнуло от удара серебро и бархат, которым подшито было железо, а острие клевца застряло в кости так, что Шмлуд-Плоцкий не сразу смог вытащить. Другие бились с переменным успехом, но верх в основном одерживала искусная в фехтовании шляхта. Двое драгунов полегло, однако, от руки могущественного Хамди-бея, который затем полоснул по лицу князя Овсяного кривым булатом и выбил из седла. Князь оросил родную землю княжеской своею кровью, а Хамди поворотился уже к Шелюте, у которого конь копытом угодил в яму. Шелюта, понимая, что смерть неминуема, спешил, чтоб все же сразиться со страшным всадником. Но Хамди напер на него конской грудью, повалил и падающего самым концом булата саданул по руке. Рука у Шелюты тотчас же повисла, а бей поскакал дальше в поле искать противника.

У многих, впрочем, не хватало отваги сразиться с ним, так явно превосходил он всех силою. Ветер вздымал белый бурнус на его спине, и он развевался, как крылья хищной птицы; золотистый панцирь бросал зловещий отблеск на лицо его, почти совсем черное, с дикими горящими глазами, а кривой булат сверкал над головой, как сверкает серп месяца в погожую ночь.

Прославленный лучник послал ему уже две стрелы, но они лишь жалобно звякнули, ударившись о панцирь, и бессильно упали в траву; и стал раздумывать Мушальский: направить ли еще третью стрелу в шею скакуна или пойти на бой с саблею? Но куда он раздумывал, Хамди заметил его и первый погнал на него черного жеребца.

Сошлись они на середине поля. Желая щегольнуть недюжинной силой и захватить Хамди живым, Мушальский сильным ударом снизу выбил его булат и сцепился с Хамди; одной рукой он схватил его за горло, другой за маковку мисюрки и что есть силы потянул к себе. Но тут у него лопнул арчак седла, несравненный лучник перевернулся вместе с седлом и грянул оземь. Хамди ударил его, падающего, рукоятью булата по голове и оглушил. Закричали от радости спаги и мамелюки, испугавшиеся было за Хамди, и очень опечалились поляки; поединщики тотчас бросились к лучнику большими кучами, одни — чтобы похитить его, други-

е — чтобы хотя бы тело его спасти.

Маленький рыцарь до сих пор не принимал участия в единоборстве — не позволяло полковничье его достоинство, но, увидев поражение Мушальского и победу Хамди-бея, он решил отомстить за лучника и тем укрепить дух у своих. Взбодренный этой мыслью, он тронул шпорами коня и наискось устремился в поле, как устремляется ястреб к стайке ржанок, что кружит над стернею. Тут заметила его в подзорную трубу Бася с зубчатой стены старого замка и крикнула стоявшему рядом Заглобе:

— Михал мчится! Михал мчится!

— Он себя покажет! — вскричал старый вояка, — смотри со вниманием, смотри, как он ударит! Не бойся!

Труба дрожала в руках у Баси. В поле не стреляли уже ни из луков, ни из ружей, так что она не слишком боялась за жизнь Михала, но задор, любопытство, беспокойство овладели всем ее существом. Душа и сердце покинули ее в этот миг и полетели мужу вослед. Грудь ее вздымалась, яркий румянец залил лицо. Стремительно перегнувшись через зубцы — так что Заглоба вынужден был схватить ее, чтобы она не упала в ров, — Бася крикнула:

— Двое мчатся на Михала!

— Двумя меньше станет! — ответил Заглоба.

В самом деле, двое рослых спаги вынеслись навстречу маленькому рыцарю. Судя по его одежде, они поняли, что лицо он значительное, а при виде маленькой фигурки решили, что сумеют снискать дешевую славу. Глупцы! Они мчались навстречу неминуемой своей гибели. Маленький рыцарь даже коня не сдержал, поравнявшись с ними поодаль от остальных всадников, лишь мимолетно отвесил им два удара, легчайшие, казалось бы, как шлепки, какие мать мимолетно отвешивает детям, но те повалились на землю и, впившись в нее ногтями, задержались, как две рысы, которых одновременно настигли смертельные стрелы.

А маленький рыцарь помчался дальше к всадникам, кружившим в поле, и стал наносить им жестокие удары. Как после мессы мальчик насаженным на палку колпачком гасит одну за другой горящие пред алтарем свечи и алтарь погружается во тьму, так и он гасил направо и налево жизни лучших турецких и египетских конников, и они погружались во мрак смерти. Узнали басурмане знаменитого фехтовальщика, и замерли у них сердца. Один и другой осаживали коней, чтобы не встретиться со страшным воителем лицом к лицу, а маленький рыцарь кидался вослед бегущим, как злобный шершень, и пронзал жалом все новых и новых всадников.

Солдаты у замкового орудия, завидев это, издали радостный крик. Некоторые бежали к Басе и в порыве восторга целовали край ее платья, другие поносили турков.

— Баська, да уймись ты! — кричал то и дело Заглоба, все еще держа пани Володыёвскую за платье, а пани Володыёвской смеяться и плакать хотелось, и кричать, и смотреть не отрываясь, и мчаться за мужем в поле.

А он знай валил спаги и египетских беев, когда наконец со всех сторон раздался клич: «Хамди! Хамди!» Это приверженцы пророка громко призывали наилучшего из своих воинов, чтобы он наконец померился силами со страшным маленьким всадником, казалось, олицетворявшим смерть.

Хамди давно уже заприметил маленького рыцаря, но, увидев, каков он в деле, в первую минуту просто испугался. Боязно было подвергнуть риску и великую свою славу, и молодую жизнь, единоборствуя с противником столь грозным, и потому он прикинулся, будто не видит его, и стал кружить на другом конце поля. Там он как раз сразил Ялбжика и Коса, когда отчаянные крики: «Хамди! Хамди!» — достигли его ушей. Тут Хамди понял, что оттягивать долее невозможно и что предстоит ему либо безмерную славу снискать, либо сложить голову. Издавши вопль такой пронзительный, что все окрестные чащобы откликнулись эхом, он направил к маленькому рыцарю подобного вихрю коня.

Володыёвский заметил его издали и тоже дал шпоры своему гнедому. Все остальные прекратили бой. В замке Бася, наблюдавшая перед тем все победы грозного Хамди-бея, побледнела все же, несмотря на слепую свою веру в то, что маленькому рыцарю нет равных в фехтовальном искусстве. Заглоба, однако же, был совершенно спокоен.

— Я предпочел бы быть наследником этого басурмана, нежели им самим, — сентенциозно заметил он.

Пентка же, медлительный жмудин, столь уверен был в своем господине, что ни малейшая тревога не омрачала его лицо; завидев мчавшегося Хамди-бея, он даже принялся напевать народную песенку:

Сдуру, чай, тебя, собаку,
Так и тянет с волком в драку -
Нешто мыслимое дело,
Чтоб волка ты одолела?
«Перевод В. Корчагина.»

А те двое сшиблись на середине поля, меж двумя издали наблюдавшими шеренгами. На мгновение замерли все сердца. И тут змеистая молния мелькнула в ярком солнце над головами борцов: это кривой булат вылетел из рук Хамди, подобно стреле,

пущенной тетивой, сам же он стал клониться в седле, как бы пронзенный уже клинком, и закрыл глаза, но Володыёвский схватил его левой рукою за шею и, ткнув острие рапиры ему подмышку, погнал к своим. Хамди не сопротивлялся, даже сам погонял коня, чувствуя острие меж рукою и панцирем, и был как оглушенный, руки его беспомощно повисли, а из глаз струились слезы. Володыёвский передал его свирепому Люсьне, а сам воротился в поле.

Но в турецких дружинах звучали уже трубы и дудки; то был знак поединщикам покинуть поле и вернуться в строй, и они поспешили к своим, унося в сердцах стыд, горесть и воспомина-ние о страшном всаднике.

— Шайтан то был! — говорили друг другу спаги и мамелюки. — Кто с ним схватится, тому смерть суждена. Как есть шайтан!

Польские поединщики постояли еще немного в знак того, что поле за ними, а затем, издав троекратный победный клич, отступили под прикрытие своих орудий, из которых Потоцкий велел сызнова открыть огонь. Но турки стали отступать. Какое-то время на солнце мелькали еще бурнусы, яркие куфьи и сверкающие мисюрки, потом все скрыла лазурь. На поле боя остались только порубленные мечами турки и поляки. Из замка вышли челядинцы, чтобы забрать и схоронить своих. Затем прилетели вороны, чтобы заняться погребением басурман, но пиршество их длилось недолго: в тот же вечер их спугнули новые рати пророка.

ГЛАВА LIII

Назавтра под Камене́ц прибыл сам визирь[70] во главе многочисленного войска — спаги, янычар и ополченцев из Азии. Поначалу, судя по скоплению силы, думали, что он намерен приступить к осаде, но целью его был только осмотр стен. Прибывшие с ним инженеры оглядывали крепость и валы. Против визиря на сей раз выступил Мыслишевский с пехотой и отрядом охочих конников. Снова сошлись они в единоборстве, и снова ко славе осажденных, хотя и не столь громкой, как накануне. Наконец визирь велел янычарам для пробы подступиться к стенам. Рев орудий потряс город и замки. Янычары, близко подойдя к расположению войск пана Подчаского, открыли оглушительную пальбу, но поскольку Подчаский тотчас ответил сверху весьма метким огнем и к тому же было опасение, что конница зайдет янычарам в тыл, те немедля ретировались по жванецкой дороге и воротились к главному войску.

Вечером в город прокрался чех, который был в услужении у янычар-аги и сбежал, получив от него палочные удары по пяткам. От чеха узнали, что неприятель обосновался в Жванце и занял обширное поле близ деревни Длужек. Беглеца допросили с страстием, как турки думают — возьмут они Камене́ц или нет? Тот ответил, что в войске царит бодрый дух и что пророчества благоприятны. Два дня назад перед султанским шатром взвился вдруг с земли как бы столб дыма, внизу тонкий, а кверху расширявшийся, как гигантская кисть. Муфтии пояснили, мол, явление это означает, что слава падишаха достигнет небес и что он и есть тот самый властитель, который сокрушит неодолимую доселе камене́цкую твердыню. Это очень подняло дух в войске. Турки, продолжал перебежчик, опасаются гетмана Собеского и подкрепления, ибо издавна помнят, сколь небезопасно мериться силами с войском Речи Посполитой в открытом поле, — уж лучше с венеццами воевать, с венграми, с кем угодно. Но поскольку им известно, что войска у Речи Посполитой кот наплакал, они надеются занять Камене́ц, хотя и не без труда. Каймакам Черный Мустафа вознамеревался тотчас на стены ударить, но визирь, он благоразумнее, хочет обложить город и засыпать его ядрами. Султан после споров склонился к мнению визиря, так что следует ожидать регулярной осады.

Так сказал перебежчик. Вести эти весьма огорчили и Потоцкого, и князя епископа, и подкомория подольского, и Володыёвского, и всех вообще старших офицеров. Они рассчитывали на приступы и надеялись, что город отразит их с большими для неприятеля

теля потерями. Из опыта им известно было, что идя на приступ, осаждающие несут жестокий урон, что каждая отбитая атака ослабляет их дух и, напротив, придает силы осажденным. Как збаражским рыцарям в конце концов по нутру пришлось сопротивление, схватки да вылазки, так и каменчанам, глядишь, могли полюбовиться сражения, если б они еще всякий раз завершались бы победой. Но регулярная осада, где главное дело — рытье апрошей, подкопы, накатыванье орудий на позиции, — может только изнурить осажденных, ослабит их дух и склонит к переговорам. На вылазки тоже рассчитывать трудно; оголять стены, снимая оттуда солдат, нельзя, а челядинцы и обыватели едва ли сумеют за стенами замка противостоять янычарам.

Рассудив так, старшие офицеры весьма огорчились, и счастливый исход обороны представился им куда менее вероятным. Да он и был маловероятным, и причина крылась не только в турецкой мощи, но и в них самих. Володыёвский как солдат не имел себе равных, но он не обладал величием вождя. Кто несет в себе солнце, тот способен зажечь всех вокруг, тот же, в ком пылает костер, хотя бы и яркий, зажигает лишь тех, кто рядом. Таков был и маленький рыцарь. Не умел он и не мог уделить другим от духа своего, как и передать свое искусство фехтования. Потоцкий, главнокомандующий, вовсе не был воитель, и вдобавок ему не доставало веры в себя, в других, в Речь Посполитую. Князь епископ в основном рассчитывал на переговоры; брат его больше руками работал, нежели головой. На подкрепление нечего было надеяться: хоть и велик был гетман Собеский, но сейчас бессилен. Бессилен был и король, да и вся Речь Посполитая.

16 августа подоспел хан с ордой и Дорошенко со своими казаками. Оба заняли необозримые поля вокруг Оринина. Суфангаз-ага в тот же день вызвал на переговоры Мыслишевского и посоветовал отдать город. «Если сделаете это незамедлительно, — сказал он, — можете рассчитывать на столь благоприятные условия, о каких дотоле в истории осад и не слыхивали». Князь епископ поинтересовался было, что это за условия такие, но на него в совете цыкнули, и татарам ответили отказом.

18 августа начали подходить турки, а с ними и сам повелитель. Раздались окрест морем безбрежным. «Ляшская» пехота, янычары, спаги. Каждый паша вел войско своего пашалыка: шли жители Европы, Азии, Африки. За ними двигался нескончаемый обоз с груженными возами, в которые впряжены были мулы и буйволы. Многоцветным этим полчищам во всем разнообразии одежд и оружия не было конца и края. От рассвета до заката нескончаемо шли и шли, передвигались с места на место, расставляли войска, кружили по полям, разбивали наметы, занявшие такое простран-

ство, что с башен и с самых высоких точек Каменца не видно было ни клочка земли меж холстинами. Казалось — выпал снег и покрыл округу. Табор разбивали под ружейную пальбу: прикрывающий работы отряд янычар не переставая обстреливал стены, оттуда отвечали неустанным орудийным огнем. Эхо гремело в скалах, дым возносился кверху, заслоняя небесную лазурь. До самого вечера Каменец наглухо был закрыт, разве что голуби могли из него вылететь. Обстрел прекратился, лишь когда первые звезды замерцали в небе.

В течение нескольких дней не утихал огонь, со стен и на стены направленный, нанося немалый урон осаждающим. Как только кучка янычар оказывалась на расстоянии выстрела, на стене тотчас же расцветало белое облачко дыма, пули сыпались на янычар, и они разлетались, как стайка воробьев, когда пальнешь по ним из дробовика пригоршней мелкой дроби. К тому же турки, не зная, как видно, что в обоих замках и в самом городе имеются дальнобойные орудия, слишком близко разбили свои шатры. По совету маленького рыцаря им дозволили это сделать; лишь когда пришла пора отдыха и солдаты, прячась от зноя, забились в шатры, крепостные стены отозвались немолчным грохотом. Поднялся переполох: пули рассекали холстину и колья, поражали солдат, разметывали обломки скал. Янычары в замешательстве и беспорядке, громко крича, обратились в бегство, опрокидывали шатры на своем пути, сея повсюду тревогу. Вот тут-то в их ряды и ворвался Володыёвский с конницей и принялся сечь янычар, пока мощные конные отряды не пришли им на подмогу. Обстрелом этим командовал Кетлинг, а ляшский войт Циприан, стоявший подле него, учинил наибольшие опустошения среди басурман. Он сам наводил орудие, сам прикладывал фитиль, а затем, прикрыв глаза рукою, наблюдал за последствиями выстрела, от души радуясь пользе от своего труда.

Турки меж тем всю копали апроши, насыпали шанцы и накатывали туда тяжелые орудия. Прежде, однако, чем они начали бить из пушек, к валам подъехал турецкий парламентар, поддев на копье послание султана. Осажденные отрядили драгун, кои тотчас же схватили турка и препроводили в замок. Султан призывал город сдаться, превознося до небес мощь свою и милость.

«Войско мое несчетно, — писал он, — как листва лесная, как песок морской. Взгляните на небо, и, узрив на нем звезды неисчислимые, ощутите страх в сердцах своих, и молвите друг другу: вот она, мощь правоверных! Поелику же я — милостивейший из владык и внук истинного бога, то и властью облечен я от бога. Знайте же, что к непокорным я ненависть питаю, и лучше, не сопротивляясь воле моей, сдайте город. Если же вы упорствовать

вознамерились, то все, как один, от меча погибнете, ибо мне перечить никто из людей не посмеет».

Долго раздумывали, какой дать ответ на это послание, и отвергли как неполитичный совет Заглобы: псу хвост отсечь и таковой хвост султану отослать вместо ответа. Наконец решили отрядить с письмом Юрицу: он человек исправный и в турецком силен. А в письме том стояло:

«Владыку гневить мы не намерены, но и слушать его не обязаны, коль скоро не ему, но господину своему присягали. Каменец не отдадим, ибо клятвой связаны, доколе живы, крепость и костелы защищать».

Дав такой ответ, офицеры разошлись на крепостные стены, чем воспользовались князь епископ Ланцкоронский и генерал подольский, послав султану другое письмо, в коем просили его о перемирии сроком на четыре недели. Когда весть о том дошла до городских ворот, поднялся шум, забряцали сабли.

— Что же это, — говорили один и другой, — мы тут у пушек гибнем, а там, за нашими спинами, письма шлют без нашего ведома, а мы ведь в совете состоим!

И после вечернего намаза офицеры всем скопом направились к генералу во главе с маленьким рыцарем и Маковецким, весьма озабоченными происшедшим.

— Как же так? — вскричал стольник латычёвский. — Ужель вы о сдаче помышляете? Отчего без нашего ведома нового отрядили посланца?

— В самом деле, — прибавил маленький рыцарь, — коль скоро нас в совет призывали, писем без нас посылать негоже. О сдаче мы говорить не дозволим, а коли кто того желает, пусть из совета вон уходит!

При этих словах он грозно встопорщил усики; был то солдат на диво исправный и, вынужденный послушаться старших, поистине испытывал мучения. Но, поклявшись защищать замок до самой смерти, он считал себя вправе говорить такое.

Генерал подольский смешался и так ответил:

— Я полагал, на то было общее согласие.

— Нету нашего согласия! Мы здесь погибнуть хотим! — вскричали офицеры.

А генерал:

— Рад это слышать, и для меня долг превышает жизни, а труса я никогда не праздновал и впредь не намерен. Оставайтесь, ваши милости, на ужин, там легче договоримся...

Но они оставаться не хотели.

— У ворот наше место, не за столом! — ответил маленький рыцарь.

Тем временем подоспел князь епископ и, узнав в чем дело, тотчас обратился к Маковецкому и маленькому рыцарю.

— Люди добрые! — молвил он. — У всякого на сердце то же, что у вас, и о сдаче никто не помышляет. Я послал просить о перемирии на четыре недели и так им написал: мы за это время королю нашему просьбу о вспоможении пошлем и дождемся от него указаний, а уж после — что бог даст.

Заслышав это, маленький рыцарь снова зашевелил усиками, оттого что и злость его взяла и смеяться хотелось от такого понимания военных дел. Он, солдат до мозга костей, в жизни ничего подобного не слыхивал: предлагать неприятелю перемирие, чтобы было время за подмогою послать.

Переглянувшись маленький рыцарь с Маковецким и с другими офицерами.

— Это что же, шутка или всерьез? — спросили несколько голов.

И все примолкли.

— Ваше преподобие! — сказал наконец Володыёвский. — Множество войн я прошел — и татарскую, и казацкую, и московскую, и шведскую, а о таких аргументах не слыхивал. Да ведь не для того султан сюда прибыл, чтобы нам потрафлять, но чтобы свою выгоду блюсти. С какой же стати он на перемирие согласится, коль ему пишут, что нам в это время угодно за вспоможением послать?

— А не согласится, все останется как есть, — возразил князь епископ.

— Кто о перемирии молит, — Володыёвский ему на это, — тот страх свой выказывает и бессилие, а кто на подмогу рассчитывает, тот стало быть, в собственные силы не верит. Узнал о том из письма пес басурманский, и это нам вред причинило непоправимый.

Опечалился, слышав такое, князь епископ.

— Я мог и не быть здесь, — молвил он, — да не покинул я в беде своих овец и теперь вот упреки терплю.

Маленькому рыцарю тотчас стало жаль достойного прелата, он упал к ногам его, поцеловал ему руку и так сказал:

— Упаси меня боже упрекать вас, но коль скоро у нас *consilium* «Совещание (лат.)», я говорю, что мне опытность подсказывает.

— Но что же делать? Пусть это *mea culpa*, но что делать? Как зло поправить? — спросил епископ.

— Как зло поправить? — повторил Володыёвский.

И задумался на мгновение, а после весело вскинул голову.

— А можно! Прошу, судари, всех со мною!

И вышел, а за ним офицеры. Четверть часа спустя Каменец до основания сотряс гром орудий. А Володыёвский, учинив вылазку с охочими людьми, напал на спящих в апрошах янычар и принялся крошить их, пока не рассеял всех и не отогнал к табору. После чего воротился к генералу, у которого застал еще ксендза Ланцкоронского.

— Ваше преподобие! — сказал он весело. — А вот вам и совет мой.

ГЛАВА LIV

После вылазки вся ночь прошла в стрельбе, хотя и отрывочной, а на рассвете дали знать, что несколько турков стоят возле замка, ждут, пока к ним выйдут для переговоров. Как-никак надобно было узнать, чего они хотят, и старейшины на совете поручили Маковецкому и Мыслишевскому объясниться с басурманами.

Чуть погода к ним присоединился Казимеж Гумецкий, и они отправились. Турков было трое: Мухтар-бей, Саломеи — паша Рущукский, и третий — Козра, толмач. Встреча состоялась под открытым небом за воротами замка. Турки при виде парламентаров стали кланяться, кончиками пальцев касаясь груди, губ и лба, поляки любезно их приветствовали и спросили, с чем они пожаловали.

На это Саломеи сказал:

— О возлюбленные! Великая обида нанесена владыке нашему, все почитающие справедливость не могут не сокрушаться, и сам предвечный покарает вас, коли вы не образумитесь. Вы же прислали Юрицу, он челом бил визирю нашему и просил его о перемирии, а после того, едва мы, доверившись добродетели вашей, высунули головы из прикрытий и шанцев, вы принялись палить из орудий и, выскочив за городские стены, трупами правоверных устелили дорогу до самых шатров падишаха. Действия сии не могут остаться безнаказанными, разве что вы, мои возлюбленные, немедля замки и город нам отдадите, выказав тем великое свое сожаление и огорчение.

На что Маковецкий ответил:

— Юрица, пес этакий, инструкции нарушив, велел денщику своему еще и белый флаг вывесить, за что и будет наказан. Князь епископ приватно спрашивал, возможно ли перемирие, но ведь и вы, пока письма туда-сюда шли, по нашим шанцам стрелять не прекращали (а я сам тому свидетель, мне осколки каменье в физиономию угодили), стало быть, и от нас перерыва в пальбе не вправе были требовать. Коль вы пришли перемирие предложить — милости просим, а коли нет — передайте, любезные, владыке своему, что мы, как и прежде, намерены и стены, и город защищать до самой своей смерти или, вернее, пока вы в скалах этих смерть не найдете. Ничего более, любезные, сказать вам не имеем и желаем, чтобы бог продлил дни ваши и до глубокой старости жить вам дозволил.

Побеседовав таким образом, парламентары разошлись.

Турки воротились к визирю, а Маковецкий, Гумецкий и Мыслишевский — в замок, где их забросали вопросами, с чем они

отправили султанских посланников. Те пересказали требования турков.

— Вы их не примите, братья дорогие, — сказал Казимеж Гумецкий. — Короче, эти псы хотят, чтоб мы до вечера им ключи от города отдали.

Поднялся шум.

— С нами не разживется пес басурманский, — слышалась любимившаяся фраза. — Не дадимся, с позором его отгоним! Не жееаем!

Приняв такое решение, все разошлись, и тут же началась стрельба. Турки успели уже втащить на позиции много тяжелых орудий, и ядра, минуя валы, стали падать на город. Пушкари в городе и замках трудились в поте лица весь остаток дня и всю ночь. Полегших некому было заступить, некому было подносить ядра и порох. Только перед рассветом немного утихла канонада.

Но едва занялся день и на востоке заалелась окаймленная золотом полоска утренней зари, как в обоих замках забили тревогу. В городе проснулись все, кто спал, кучки сонных людей выходили на улицы, внимательно прислушивались.

— Приступ готовится! — говорили люди, указуя в сторону замков.

— А что пан Володыёвский там ли? — раздавались тревожные голоса.

— Там, там! — отвечали им.

В капеллах замков били колокола, со всех сторон слышался барабанный бой. В неверном свете утра, когда в городе было сравнительно тихо, голоса эти звучали таинственно и торжественно. В ту же минуту турки приступили к утреннему намазу, шелест молитвы, подобно эху, обегал весь нескончаемый табор. Множество басурман зашевелилось у шатров. Из утреннего сумрака выступало нагромождение больших и малых шанцев, апрошей, тянувшихся длинной линией вдоль замка. И вдруг по всей длине этих укреплений взревели тяжелые турецкие пушки, громким эхом откликнулись скалы Смотрича, и поднялся грохот столь невообразимый и страшный, будто загорелись все громы-молнии, хранившиеся под спудом в небесных кладовых, и вместе с громадой туч рухнули на землю.

Началось артиллерийское сражение. Город и замки отвечали с не меньшей мощью. Вскоре дым затмил солнце, весь божий свет, не стало видно турецких фортификаций, не стало видно Каменца, все заслонила гигантская серая туча, чиненная громом и грохотом.

Но турецкие орудия дальностью превосходили городские. Вскоре смерть принялась косить горожан. Разбито было

несколько картаунов. Из орудийной прислуги гибли по двое, по трое за раз. Отцу францисканцу, который ходил по шанцам, благословляя орудия, обломком лафета разворотило лицо; рядом с ним упало двое евреев, отчаянных смельчаков, помогавших при наводке.

Но более всего били пушки по городскому шанцу. Казимеж Гумецкий сидел там подобно саламандре, весь в огне и в дыму; добрая половина из его сотни полегла, те, что остались, почти сплошь были ранены. Он сам онемел и оглох, но при поддержке ляшского войта заставил вражескую батарею замолчать, до тех пор, по крайней мере, покамест на место прежних разбитых пушек турки не выкатили новые.

Прошел день, второй, третий, а страшный *colloquium* пушек не умолкал ни на минуту. У турков пушкарки менялись четыре раза за сутки, в городе же выстаивать приходилось одним и тем же — без сна, почти что без еды, задыхавшимся от удушливого дыма, а то и раненым осколками камней и обломками лафетов. Солдаты держались, но у горожан дух стал ослабевать. Пришлось даже загонять их палками к орудиям, впрочем, многие из них тотчас падали замертво. К счастью вечером и в ночь на третий день, с четверга на пятницу, сила удара перекинулась на замки.

Оба замка, в особенности старый, закидали гранатами из больших мортир, впрочем, «особого вреда от них не было, поелику граната во тьме различима и от нее с легкостью можно увернуться». Только под утро, когда от смертельной усталости люди засыпали на ходу и валялись с ног, погибло их все же довольно много.

Маленький рыцарь, Кетлинг, Мыслишевский и Квасиброцкий отвечали из замков на огонь турков. Генерал подольский время от времени заглядывал к ним, он ходил под градом пуль весьма озабоченный, но пренебрегал опасностью.

К вечеру, когда огонь усилился еще пуще, генерал подольский подошел к Володыёвскому.

— Мы здесь долго не продержимся, полковник, — сказал он.

— Продержимся, покуда турки стрельбою довольствуются, — ответил маленький рыцарь, — но они нас минами отсюда выкурят, камень уже долбят.

— В самом деле долбят? — с тревогой спросил генерал.

— От семидесяти пушек грохот стоит неумолчный, но случаются все же минуты тишины. Как придет такая минута, вы, ваша светлость, прислушайтесь и услышите.

Минуты этой пришлось ждать недолго, к тому же помог случай. Лопнула одна осадная турецкая пушка. Это вызвало замешательство, из других шанцев посылали узнать, что произошло, и стрельба на время прекратилась.

В этот момент Потоцкий с Володыёвским подошли к самому краю бастиона и стали прислушиваться. Спустя какое-то время уши их уловили весьма явственное звяканье кирок, дробящих скалу.

— Долбят, — сказал Потоцкий.

— Долбят, — подтвердил маленький рыцарь.

Оба замолкли. Великую тревогу выразило лицо генерала; подняв руки, он крепко сжал виски ладонями.

— Дело обычное при любой осаде, — сказал на это Володыёвский. — У Збаража под нами денно и ночью рыли.

Генерал поднял голову.

— И как поступал при этом Вишневецкий?

— Мы сужали кольцо валов.

— А нам что делать надлежит?

— Нам надлежит орудия и все, что можно, с собою захватить и в старый замок перенестись, поскольку он стоит на скалах, минам недоступных. Я так и рассчитывал: новый замок послужит нам для того лишь, чтобы дать неприятелю первый отпор, после мы сами взорвем его с фасада, а настоящая оборона только в старом начнется.

Наступила минута молчания, и опять генерал озабоченно склонил голову.

— А коли нам придется из старого замка отступать? Куда отступать станем? — спросил он подавленно.

Маленький рыцарь выпрямился, шевельнул усиками и указал пальцем в землю.

— Я только туда, — молвил он.

В тот же миг сызнава взревели пушки и целые стаи гранат полетели на замок, но уже стемнело, и их отчетливо было видно. Володыёвский, простившись с генералом, пошел вдоль стен и, переходя от одной батареи к другой, всех взбадривал, давал советы. Наконец ему встретился Кетлинг.

— Ну что?

Тот мягко улыбнулся и сказал, пожимая руку маленькому рыцарю:

— Видно от гранат, как днем. Огня нам не жалеют!

— Важная пушка у них лопнула. Ты взорвал?

— Я.

— Спать, однако, хочется.

— И мне, да не время.

— Женушки небось, беспокоятся, — сказал Володыёвский, — как подумаешь, сон бежит.

— Молятся за нас, — молвил Кетлинг, подняв глаза к летящим гранатам.

— Дай бог здоровья моей и твоей!

— Между шляхтянками, — начал Кетлинг, — нету...

Но не закончил — в эту как раз минуту маленький рыцарь, обернувшись, закричал вдруг что есть мочи:

— О боже! Батюшки светы! Что я вижу!

И бросился вперед. Кетлинг глянул удивленный: в нескольких десятках шагов от них, на подворье замка, он увидел Басю в сопровождении Заглобы и жмудина Пентки.

— К стене! К стене! — кричал маленький рыцарь, спеша оттащить их под прикрытия крепостных зубцов. — Бога ради!..

— Ох! Да разве же с нею справишься! — прерывающимся голосом, сопя, проговорил Заглоба. — Прошу, молю, и себя ведь, и меня погубишь! На коленях ползаю, куда там! Что было делать? Одну ее пустить? Уф! Ничего не слушает! Ничего! «Пойду да пойду!» Получай вот!

На лице у Баси был испуг, брови дергались — сейчас заплачет. Не гранат она боялась, не грохота ядер, не осколков камней, но мужнина гнева. Сложив руки, как ребенок, который страшится наказания, она вскричала рыдающим голосом:

— Не могла я, Михалек! Ну, ей-богу, не могла! Не сердись Михалек, милый! Не могу я там сидеть, когда ты тут маешься! Не могу! Не могу!

Он и вправду рассердился было, чуть не крикнул: «Бога, Баська, побойся!» — но внезапно такое умиление охватило его, что слова застряли в горле, и, только когда светлая, милая ее головка прижалась к его груди, он наконец произнес:

— Друг ты мой верный, до самой смерти!..

И обнял ее.

А Заглоба тем временем, втиснувшись в стенной пролом, торопливо рассказывал Кетлингу:

— И твоя собралась было, да мы ее обманули, никуда не идем, мол. Ну как же! В ее-то положении... Генерал артиллерии у тебя родится, как бог свят! На мост меж городом и замком, гранаты сыплются, что груши спелые... Думал, лопну... Не от страха, нет, от злости... На острые осколки угораздило шмякнуться, всю кожу себе ободрал, теперь небось неделю не сядешь — больно. Придется монахиням смазывать меня, о скромности позабывши. Уф! А те шельмецы все стреляют, чтоб их громом разразило! Пан Потоцкий командование мне хочет передать... Пить солдатам дайте, а то не выдержат... Смотрите, граната! Господи боже мой! Где-то близко упадет... Баську заслоните! Ей-богу близко!..

Но граната упала вовсе не близко, а далеко на крышу лютеранской часовни в старом замке. В этой часовне с мощными сводами был арсенал. Снаряд, однако, пробил своды и зажег порох. Оглу-

шительный грохот, сильнейший, нежели гром орудий, сотряс основания обоих замков. С крепостных стен слышались вопли ужаса, все пушки — и польские и турецкие — разом смолкли.

Кетлинг оставил Заглобу, Володыёвский Басю, и оба они опрометью кинулись к стенам. Минуту слышно было, как они запыхавшись, отдают распоряжения, но команду их заглушил барабанный бой в турецких шанцах.

— На приступ пойдут! — шепнул Басе Заглоба.

В самом деле, турки, заслышав взрыв, вообразили, как видно, что оба замка рухнули, а защитники частью погребены под руинами, частью парализованы страхом. С этой мыслью они и решились на приступ. Глупцы! Им неведомо было, что одна только лютеранская часовня и взлетела на воздух, никакого иного ущерба, кроме сотрясения, взрыв не причинил, ни одна пушка даже с лафета не упала в новом замке. Барабанный бой в шанцах все усиливался. Толпы янычар покинули шанцы и рысью устремились к замку. Огни в замке и в турецких апрошах погасли, ночь, однако, стояла погожая, и в свете месяца видно было, как плотная масса белых янычарских шапок колыхается на бегу, подобно волне, колеблемой ветром. Шли несколько тысяч янычар и несколько сот ямаков. Многим из них больше не суждено было увидеть стамбульских минаретов, светлых вод Босфора и темных кладбищенских кипарисов, но сейчас они бежали с яростью в сердцах, уверенные в победе.

Володыёвский, как бесплотный дух, носился вдоль стен.

— Не стрелять! Ждать команды! — взывал он у каждой пушки.

Драгуны с мушкетами, дыша ожесточением, залегли полукругом на крепостных зубцах. Настала тишина, только быстрый топот янычар отдавался глухим громыханьем. Чем ближе они были, тем более крепла в них уверенность, что одним ударом они овладеют обоими замками. Многие полагали, что оставшиеся в живых защитники отступили в город и на крепостных стенах ни души. Добежав до рва, янычары быстро закидали его фашинами, мешками с паклей, пучками соломы.

Стены молчали.

Но когда первые шеренги взошли на подстил, которым заполнен был ров, из одной амбразуры грянул пистолетный выстрел и одновременно пронзительный голос крикнул:

— Огонь!

И тотчас оба бастиона и соединяющая их куртина сверкнули длинной огневой молнией; раздался гром орудий, грохот самопалов и мушкетов, вопли защитников, вопли нападающих. Подобно тому как медведь, когда дротик, брошенный ловкой рукой медвежатника, увязает до половины в его брюхе, сжимается в клубок,

корчится, рычит, мечется, встает на ноги и снова валится в корчах, так в клубок смешалась толпа янычар и ямаков. Каждый выстрел попадал в цель. Пушки, набитые картечью, валили людей, как буря валит деревья. Те, кто ударил на куртину, соединяющую бастионы, оказались под тройным прицелом; охваченные ужасом, они беспорядочной кучей сбились к середине, устилая землю грудой дергающихся тел. Кетлинг из двух орудий поливал картечью это скопище, когда же янычары обратились в бегство, он закрыл узкий проход меж бастионами дождем железа и свинца.

Атака на всей линии была отбита; когда янычары и ямаки, выбравшись из рвов, мчались назад как безумные, вопя от ужаса, из турецких шанцев стали бросать пылающие мазницы, факелы, превращающие ночь в день, и жечь фальшфейер, чтобы осветить дорогу бегущим и затруднить возможную погоню.

Володыёвский тем временем, увидев скопище людей, запертых меж бастионами, кликнул драгун и спустился с ними туда. Несчастные янычары попытались было выбраться, но Кетлинг тотчас намертво забил проход высоченной грудой тел. Здесь всем суждена была смерть — защитники не хотели брать пленных, — и янычары принялись биться с ожесточением. Дюжие молодцы, вооруженные джидами, бердышами, ятаганами и саблями, сбившись в небольшие кучки по двое, по трое, по пяти, подпирая друг друга спинами, рубились иступленно. Страх, ужас, неизбежность смерти, отчаяние — все переплавилось в одно чувство, в ярость. Жажда боя овладела ими. Некоторые, не помня себя, в одиночку бросались на драгун. Этих в мгновение ока рубили саблями. То была борьба фурий; драгун тоже — от бессонных ночей, от голода и усталости — охватила звериная ярость, а поскольку они лучше владели холодным оружием, то поражение туркам нанесли ужасное. Кетлинг, тоже захотевший осветить поле боя, велел зажечь мазницы со смолою, и при свете их стало видно, как не знающие удержу мазуры, спешившись, бьются с янычарами на саблях, как враги колошматят друг друга. В особенности безумствовал суровый Люсьня, уподобясь разбушевавшемуся быку. На другом крыле рубился сам Володыёвский; зная, что Бася наблюдает за ним со стены, он превзошел самого себя. Как злобная ласка, вторгшись в скирду хлеба, населенную скопищем мышей, учиняет там страшную расправу, так и маленький рыцарь, будто злой демон, кидался на янычар. Имя его турки знали уже и по прежним битвам, и из рассказов хотинских турков; было уже широко известно, что встреча с ним в бою неминуемо сулит смерть, так что никто из янычар, запертых сейчас меж бастионами, узрев его внезапно пред собою, и не пытался защищаться, а, закрыв глаза, погибал от

удара рапирой со словом «кишмет» *«Провидение, судьба (тур.).»* на устах. Наконец сопротивление турков ослабло; оставшиеся в живых бросились к валу трупов, что загораживал проход, и там их добились.

Драгуны ворвались через наполненный ров с песнями и криками — пахнувшие кровью, тяжело дыша; из турецких шанцев и из замка дали еще несколько оружейных залпов, и наступила тишина. Так окончилось это многодневное артиллерийское сражение, увенчавшееся приступом янычар.

— Слава богу, — сказал маленький рыцарь, — будет отдых по крайней мере, до утреннего намаза, мы его заслужили.

Но то был отдых весьма относительный; глубокой ночью в тишине снова слышался стук кирок, бьющих в скальную породу.

— Это похуже пушек будет, — сказал, прислушиваясь Кетлинг.

— Эх, вылазку бы сделать, — заметил маленький рыцарь, — да нельзя, люди очень *fatigati* *«Утомлены (тур.).»*. Не спали и не ели, хотя было что, — времени не доставало. К тому же землекопцы караулят несколько тысяч ямаков и спаги, чтобы мы не могли сему делу воспрепятствовать. Ничего не остается, кроме как самим новый замок взорвать, а в старом укрыться.

— Да уж не нынче, — ответил Кетлинг. — Гляди-ка, люди попали что снопы, спят мертвым сном. Драгуны даже сабель не обтерли.

— Баська, ну-ка в город и спать! — сказал вдруг маленький рыцарь.

— Хорошо, Михалек, — покорно ответила Бася, — пойду, коли велишь. Да только монастырь-то уж заперт, так что лучше бы мне здесь остаться, сон твой стеречь.

— Странное дело, — сказал маленький рыцарь, — после таких трудов сна ни в одном глазу, даже голову приклонить неохота...

— А ты кровь свою взбудоражил, с янычарами забавляясь, — сказал Заглоба. — Со мною тоже бывало такое. После боя ни в какую уснуть не мог. А что до Баськи, так чего ей в ночи тащиться к запертой калитке; пускай уж лучше здесь до утреннего намаза побудет.

Обрадованная Бася обняла Заглобу, а маленький рыцарь, видя, как ей хочется остаться, сказал:

— Ну пойдем в комнаты.

Они пошли. Но оказалось, что в комнатах полно известковой пыли от сотрясавших стены снарядов. Остаться там было невозможно, и, чуть погодя, Бася с мужем ворвались обратно к стенам и устроились там в нише, на месте замурованных старых ворот.

Он сел и оперся о стену, а она притулилась к нему, как дитя к матери. Стояла августовская ночь — теплая, мягкая. Луна светила в нишу, бросая серебристый отблеск на их лица. Пониже на дворе замка, видны были спящие вповалку солдаты и тела убитых в дневной перестрелке — недосуг было предать их погребению. Тихий свет месяца скользил по этим грудам, словно небесный отшельник хотел разглядеть, кого просто сморила усталость, а кто почил вечным сном. Далее вырисовывалась стена главного строения замка, черная тень его закрывала половину двора. По ту сторону крепостных стен, где меж бастионов лежали порубленные янычары, слышались мужские голоса. Это обозники и те из драгун, кому добыча была милее сна, обирали тела убитых. Фонарики как светлячки мелькали на поле боя. Люди тихо окликали друг друга, а кто-то вполголоса затянул ласковую песню, так не вязавшуюся с занятием, которым он был поглощен в эту минуту:

Что мне мошна, что конь да корова?

Я их не стою...

Пусть хоть помру — без хлеба, без крова,

Только б с тобою!

«Перевод В. Корчагина».

Немного погодя звуки стали утихать, и наконец все замерло.

Наступила тишина, нарушаемая лишь далекими отголосками киров, все еще долбящих скалу, да окликающими караульных на крепостных стенах. Тишина эта, свет и дивная ночь одурманили маленького рыцаря и Басю. Стало им отчего-то тоскливо и немного грустно, хотя и сладко на душе. Бася подняла взор на мужа и, видя, что глаза у него открыты, спросила:

— Михалек, не спишь?

— Даже странно, но вовсе не хочется.

— А тебе хорошо тут?

— Хорошо. А тебе?

Баська покачала светлой головкой.

— Ох, Михалек, уж так хорошо, ой, ой! Ты слышал, как там пели?

И она повторила последние слова песенки:

Пусть хоть помру — без хлеба, без крова,

Только б с тобою!

Настала минута молчания, прервал ее маленький рыцарь.

— Баська, — сказал он, — послушай-ка, Баська!

— Что, Михалек?

— По правде говоря, нам ужасно хорошо вдвоем, и я так думаю, что если бы кто из нас погиб, то другой тосковал бы безмерно.

Бася отлично поняла, что имел в виду маленький рыцарь, говоря, «если бы кто из нас погиб». Неужели он не надеется выйти

живым из осады и хочет приучить ее к этой мысли? — подумала вдруг Бася, и страшное предчувствие стиснуло ей сердце. Сжав руки, она сказала:

— Михал, имей милосердие к себе и ко мне!

Маленький рыцарь говорил спокойно, но в голосе его чувствовалось волнение.

— Видишь ли, Баська, ты не права, — сказал он, — если как следует вдуматься: что есть жизнь земная? Ради чего тут голову ломать? Кому в радость счастье здешнее и любовь, коли все это хрупкое, как сухая ветка?

Но Бася зашлась от рыданий и знай себе твердила:

— Не хочу! Не хочу! Не хочу!

— Ну, ей-богу же, ты не права, — повторил маленький рыцарь. — Гляди, там, наверху, за тем тихим месяцем, есть край вечного блаженства. Вот о нем давай потолкуем! Кто на ту леваду попадет, тот сможет дух перевести, как после дальней дороги, — и пасись себе на здоровье! Когда срок мой настанет (дело-то ведь солдатское), ты тотчас должна себе сказать: «Это ничего!» Так и должна себе сказать: «Михал уехал, далеко, правда, дальше, чем отсюда до Литвы будет, но это ничего! Я-то ведь за ним воспоследую». Баська, ну тихо, не плачь! Кто первый туда отправится, тот другому обитель подготовит — и дело с концом.

И словно озаренный пророческим даром, он поднял взор свой к лунному свету и продолжал:

— Да что там бренность земная! Я, скажем, уже там буду, и вдруг — стучит кто-то в небесные врата. Святой Петр отворяет: смотрю я, кто же это? Баська моя! Мать божья! Как я вскочу! Да как крикну! Боже милостивый! Слов не хватит! И никаких тебе рыданий, только вечная радость; ни басурман не будет, ни пушек, ни мин под стенами, единственно спокойствие да счастье! Помни, Баська, это ничего!

— Михал, Михал! — твердила Бася.

И снова наступила тишина, прерываемая лишь отдаленным, ровным постукиванием кирок.

— Баська, сотворим-ка теперь молитву, — снова заговорил Володыёвский.

И две эти души, чистые как слеза, соединились в молитве. Они молились, и на обоих нисходило умиротворение, а после сморил их сон, и они проспали до утренней зари.

Володыёвский еще до первого намаза проводил Басю к самому мосту, соединяющему старый замок с городом, и на прощанье сказал:

— Помни, Баська, это ничего!

ГЛАВА LV

Сразу после утренней молитвы гром орудий потряс и замки, и город. Турки прорыли ров вдоль замка длиною в пятьсот локтей, а в одном месте под самой стеной проникли уже в глубину. Из этого рва стены замка неустанно обстреливались из ружей. Осажденные делали заслоны из кожаных мешков, чиненных шерстью, и все же люди густо падали под градом ядер и гранат, сыпавшихся из шанцев. Возле одной пушки граната уложила сразу шестерых пехотинцев Володыёвского; во множестве гибли пушкари. К вечеру командиры поняли, что более держаться нет возможности, тем более что и мины с минуты на минуту могли взорваться. В ночи до самого утра ротмистры со своими сотнями под непрерывным огнем переправляли в старый замок пушки, военное снаряжение и провиант. Стоял тот замок на скале, оттого мог дольше продержаться, да и подкоп под него вести было труднее. Володыёвский, когда его о том спросили на совете, ответил, что он готов хотя бы год обороняться, только бы никто не затевал переговоров. Слова его достигли города и очень всех там приободрили — известно было, что маленький рыцарь слово сдержит, даже ценою жизни.

Покидая новый замок, поляки подложили мощные мины под фасад и оба бастиона. Мины жутким грохотом взорвались около полудня, не причинив, однако, туркам большого урона, ибо, памятуя вчерашнюю науку, они пока не осмеливались занимать покинутые противником рубежи. Но оба бастиона, фасад и главная часть нового замка превратились в гигантскую грудку руин. Эти руины затрудняли, правда, подступы к старому замку, но служили отличной заслоной для турецких стрелков и, что того хуже, для рудокопов, которые, вовсе не обескураженные видом мощной твердыни, вскоре принялись за новый подкоп. Наблюдали за этой работой опытные инженеры из итальянцев и венгров, состоящие на службе у султана, и работа подвигалась весьма быстро. Осажденные ни из пушек, ни из мушкетов не могли поражать неприятеля, которого они не видели. Володыёвский задумал вылазку, но предпринять ее пока не было возможности — очень уж утомились солдаты. У драгун от ружейных прикладов вздулись синие желваки на правом плече величиною с хлебную буханку, так что иные едва могли шевельнуть рукою. Меж тем стало очевидно, что если подкоп будут вести непрерывно, то главные ворота замка неминуемо взлетят на воздух. Предвидя это, Володыёвский велел насыпать за теми воротами высокий вал.

— Ерунда! — говорил он, не теряя присутствия духа. — Ворота взорвут, мы из-за вала станем защищаться; вал взлетит на воздух, мы еще насыплем — и так далее, покуда хотя бы пядь земли под ногами будет.

Потерявший уже всякую надежду генерал Подольский спросил:

— А если и пяди не станет?

— То и нас не станет! — отвечал маленький рыцарь.

А покамест велел метать ручные гранаты в неприятеля, нанося большой урон. Самым умелым в этом деле оказался поручик Дембинский, который бессчета турков изничтожил, но одна граната разорвалась раньше времени, и он лишился руки. Таким же образом погиб и капитан Шмит. Многие погибли от орудийного огня, многие от ручного оружия, из которого стреляли янычары, укрытые среди руин нового замка.

Все это время пушки замка больше молчали, что весьма смущало членов совета в городе. Не стреляют, зная, и сам Володыёвский сомневался в возможности защиты — таково было общее мнение. Из военных никто не смел первым вслух сказать, что остается, мол, только добиться наиболее выгодных условий сдачи, но князь епископ, лишенный рыцарских амбиций, не обинуясь, высказал эту мысль. Сперва, однако, послали Васильковского в замок к генералу за известиями. Генерал ответил: «По моему разумению, замок едва ли и до вечера продержится, но здесь думают иначе».

Прочтя этот ответ, даже военные решили:

— Мы делали, что могли, себя не щадили, но на нет и суда нет, — надобно об условиях договориться.

Слова эти проникли в город и вызвали волнение. Толпа собралась перед ратушей. И молчала тревожно, будто вовсе не желала никаких переговоров. Несколько богатых армянских купцов радовались в душе, что со снятием осады можно будет возобновить торговлю; но другие армяне, с давних пор проживавшие в Речи Посполитой и очень к ней привязанные, а также ляхи и русины были сторонниками обороны.

— Коли уж о сдаче речь, так лучше бы сразу, — роптали люди, — тогда много чего можно было добиться, а нынче условия будут тяжелые, уж лучше полечь под руинами.

Гул недовольства все нарастал, пока не сменился вдруг восторженными кликами и виватами.

Что же случилось? А то, что на базарной площади появился Володыёвский в сопровождении Гумецкого; генерал нарочно послал их, чтобы они сами рассказали, что происходит в замке. Воодушевление овладело толпою. Иные кричали так, словно турки уже вломились в город, у других слезы наворачивались на

глаза при виде любимого рыцаря со следами тяжелых трудов на лице. Лицо его почернело от порохового дыма и осунулось, глаза были красные, запавшие, но глядел он весело. Когда оба они с Гумецким продрались наконец сквозь толпу и прошли в совет, где радостно их приветствовали, князь епископ сразу начал:

— Братья мои возлюбленные! *Nec Hercules contra plures*. Пан генерал уже писал нам, что сдача неизбежна.

На что Гумецкий, человек живого ума, к тому же родовитый магнат с независимым нравом, отчеканил:

— Пан генерал потерял голову, а у него всего и добродетели — головой рисковать. Что до обороны, передаю слово пану Володыёвскому, он лучше меня сумеет о том доложить.

Все глаза обратились к маленькому рыцарю, а он встопорщил желтые свои усики и сказал:

— Боже избави! Кто тут о сдаче поминает? Иль не поклялись мы всевышнему, что поляжем все до единого?

— Мы поклялись все сделать, что в силах наших, и все делали! — возразил князь епископ.

— Каждый волен сам за себя быть в ответе! Мы с Кетлингом поклялись до самой смерти замка не отдавать — и не отдадим. Я свое кавалерское слово привык держать, даже если простому смертному что пообещал, а уж тем более богу всемогущему!

— Ну, а что в замке слышать? Это верно, будто мина под воротами? Долго ли продержитесь? — раздались голоса.

— Мина под воротами, может, есть, а может, будет, однако и вал порядочный перед теми воротами уже вырос, и пушки я велел на него втащить. Братья мои дорогие, бога побойтесь! Подумайте только, ведь сдать — это значит костелы басурманам на поругание отдать, а они их в мечети обратят и службу свою поганую вершить там станут! Как же можно с легким сердцем о сдаче говорить? Как совесть позволит вам открыть неприятелю врата к сердцу отчизны? Я в самом замке сижу и то мин не страшусь, а вы их тут в городе, на отдалении, боитесь? Помилуй бог! Не дадимся, пока живы! Пускай осада эта сохранится в памяти потомков, как збаражская сохранилась!

— Замок турки в руины обратят! — раздался чей-то голос.

— И пускай обратят! На руинах тоже биться можно!

Маленький рыцарь стал терять терпение:

— И я буду биться на тех руинах, помоги мне бог! Словом, замка я не отдам, вот так! Ясно?

— И город погубишь? — спросил князь епископ.

— Коли он турецким должен стать, по мне уж лучше погубить его! Я поклялся! И больше слов терять не намерен, к пушкам пойду, уж они-то Речь Посполитую защищают, но не предают!

С этими словами он вышел, а за ним Гумецкий, хлопнув на прощанье дверью; оба спешили — им и в самом деле лучше было среди руин, трупов и ядер, нежели среди людей маловерных. Их догнал Маковецкий.

— Михал, — молвил он, — скажи мне правду, ты для поднятия духа все это говорил иль в самом деле сумеешь в замке продержаться?

Маленький рыцарь всплеснул руками:

— Бог мне свидетель! Только бы город не отдали, а я хоть год выстоять берусь!

— А отчего не стреляете? Людей это пугает, вот о сдаче и заговорили.

— Оттого не стреляем, что киданьем ручных гранат забавляемся, они тоже изрядно досаждают копателям.

— Слушай-ка, Михал, есть ли у вас в замке возможность от Русских ворот назад бить? В случае если бы турки (не дай боже!) насыпь преодолели, они и ворот достигнут. Я внимательно за всем слежу, но с одними горожанами, без солдат мне не справиться.

А маленький рыцарь ему в ответ:

— Не горюй, милый брат! Я уже пятнадцать орудий с той стороны наладил. За замок будьте спокойны. Мы не только сами оборониться сумеем, но, в случае надобности, и вам к воротам подкрепление подбросим.

Очень обрадовался, услышав это, Маковецкий и хотел было идти, но маленький рыцарь удержал его.

— Послушай, — сказал он, — ты чаще там, на ихних советах бываешь, они что, просто хотят испытать нас или и вправду вознамерились султану Каменец отдать?

Маковецкий опустил голову.

— Михал, — проговорил он, — скажи мне теперь откровенно, разве не так все должно кончиться? Ну неделю, две еще продержимся, ну месяц, два месяца, конец-то все едино неминуем.

Хмуро глянул на него Володыёвский и, воздев руки, воскликнул:

— И ты, Брут? Коли так, позор свой сами вкушать будете, а я к такой пище не приучен!

И расстались оба с горечью в душе.

Мина под главными воротами старого замка взорвалась вскоре после прибытия Володыёвского. Кирпичи, камни взмыли в воздух, подняв столб пыли и дыма. Страх на миг проник в сердца канониров. Турки тотчас же устремились в пролом, как устремляется стадо овец, подгоняемое пастухом и подпасками через отворенные двери в овчарню. Но Кетлинг с вала дунул в эту кучу

картечью из шести загодя подготовленных орудий, дунул раз, другой, третий и вымел турков с подворья. Володыёвский, Гумецкий, Мыслишевский подоспели с пехотой и драгунами, которые облепили вал столь густо, как мухи в знойный летний день облепляют павшего вола или лошадь. И началось состязание мушкетов и янычарских ружей. Пули падали на вал, подобно дождевым каплям либо хлебным зернам под цепом дюжего молодца. Турки кишели в развалинах нового замка; в каждой ямке, за каждым обломком и камнем, в каждой расщелине меж руин сидели они по двое, по трое, по пяти, а то и десяти и знай стреляли без передышки. От Хотина к ним подтягивались все новые и новые подкрепления. Шли полки за полками и, залегши меж развалин, тотчас открывали огонь. Новый замок был как бы сплошь вымощен чалмами. То и дело чалмы во множестве срывались с места и с дикими воплями неслись к пролому, но тут слово брал Кетлинг: орудийные басы глушили тарахтенье самопалов, и стаи картечи со свистом и грозным жужжаньем месили это скопище, косили людей и затыкали пролом грудami дергающегося человеческого мяса. Четырежды подымались в атаку янычары, и четырежды Кетлинг отбрасывал и рассеивал их, как буря рассеивает тучу листьев. Сам он посреди огня и дыма, летящих комьев земли и осколков гранат стоял подобно ангелу войны. Глаза его устремлены были в пролом, а на ясном челе не было и следа озабоченности. Он то выхватывал у пушкаря фитиль и сам подносил его к запалу, то, заслонив глаза рукой, следил, каковы последствия взрыва и, с улыбкой оборотясь к стоявшим поблизости офицерам, говорил:

— Не пройдут!

Никогда доселе ярость атаки не разбивалась так о неистовство защиты. Офицеры и солдаты состязались друг с другом. Внимание этих людей, казалось, обращено было на что угодно, кроме смерти. А она косила их беспощадно. Погиб Гумецкий и комендант киянов Мокшицкий. Вот схватился со стоном за грудь белокурый Калушовский, давний друг Володыёвского, солдат добрый, как ягненок, и грозный, как лев. Володыёвский поддержал его, падающего, а тот сказал:

— Дай руку, дай руку поскорее!

А потом прибавил:

— Слава богу! — и лицо у него стало белое, как борода и усы.

Было это перед четвертой атакой. Ватага янычар проникла в пролом и из-за густо падающих снарядов не могла выбраться обратно. На них набросился во главе пехотинцев Володыёвский и в мгновение ока перебил их прикладами.

Уплывал час за часом, огонь не ослабевал. Но по городу разнеслась уже весть о героической обороне и разожгла в людях пылкое желание биться до последнего. Горожане-поляки, молодые в особенности, принялись скликать друг друга.

— Пошли в замок на подмогу! — распалясь, кричали они. — Пошли! Не дадим братьям погибнуть! Айда, хлопцы!

Голоса эти слышались на базарной площади, у ворот, и вскорости несколько сот человек, кое-как вооруженных, но с отвагою в сердце, двинулись к мосту. Турки тотчас открыли по ним ураганный огонь, так что мост покрылся трупами, но те, кто добрался до замка, тут же на валу с жаром принялись биться с турками.

Отбили наконец и четвертую атаку с такими ужасающими для турков потерями, что казалось, должна наступить передышка. Не тут-то было! Грохот янычарских ружей не прекращался до самого вечера. Лишь к вечернему намазу пушки умолкли и турки покинули руины нового замка. Оставшиеся в живых офицеры сошли с вала. Маленький рыцарь, не теряя ни секунды времени, велел заложить пролом чем ни попадя — деревянными колодами, фашинами, обломками, землей. Пехота, драгуны, рядовые и офицеры наперехват трудились, невзирая на чины. Ожидали, что с минуты на минуту снова загремят турецкие пушки, но день этот в конечном счете был днем большой победы осажденных над осаждающими, так что лица у всех просветлели, а души наполнились надеждой и жаждой дальнейших побед.

Кетлинг с Володыёвским, когда работы в проломе были закончены, взявшись под руку, обошли площадь и стены, высовывались меж зубцов, чтобы взглянуть на подворье нового замка, и радовались обильной жатве.

— Трупов горы! — произнес, указуя на руины, маленький рыцарь. — А у пролома штабеля такие, что хоть лестницу приставляй! Кетлинг, это пушек твоих работа!

— Наиглавнейшее, что мы пролом заложили, — сказал Кетлинг, — туркам теперь снова доступ закрыт, так что придется им за новый подкоп приниматься. Неиссякаема мощь их, однако же такая осада через месяц-два, глядишь, и надоесть может.

— А тем временем пан гетман подоспеет. Впрочем, будь что будет, а мы клятвою связаны, — сказал маленький рыцарь.

Они взглянули в глаза друг другу, и Володыёвский, понизив голос, спросил:

— А ты сделал, что я велел тебе?

Все готово, — шепнул в ответ Кетлинг, — но сдастся мне, не дойдет до этого, мы ведь и вправду в силах долго здесь продержаться и такие дни, как нынешний, еще не раз повторить.

— Дай бог и завтра такой!

— Аминь! — ответил Кетлинг, возводя глаза к небу.

Разговор их был прерван грохотом орудий. Гранаты снова посыпались на замок. Некоторые, однако, вспыхнув в воздухе, тотчас же гасли, как летние зарницы.

Кетлинг глянул опытным глазом.

— Вон в том шанце, из которого сейчас стреляют, — сказал он, — фитили у гранат чересчур серою пропитаны.

— И другие шанцы задымились! — заметил Володыёвский.

В самом деле, подобно собакам в тихой ночи — одна залает, другие тотчас подхватывают, и вот уже вся деревня зашлась лаем, — одна пушка в турецком шанце пробудила соседние, и осажденный город оплел венец громов. На этот раз, впрочем, больше обстреливали город, нежели замок. Зато с трех сторон донеслись звуки подкопа. Судя по всему — хотя из-за мощного фундамента труды копателей почти сводились на нет, — турки решили во что бы то ни стало взорвать скалистое гнездо.

По приказу Кетлинга и Володыёвского осажденные сызнова принялись метать ручные гранаты в том направлении, откуда слышался стук кирок. Однако в ночи невозможно было определить, наносит ли такого рода способ защиты какой-либо урон осаждающим. При этом все обратили взоры свои и внимание на город, куда устремились многочисленные стаи пламенных птиц. Одни снаряды разрывались в воздухе, другие, описав в небе огненную дугу, падали на кровли домов. Вдруг кровавое зарево в нескольких местах разорвало темноту. Горел костел святой Екатерины, церковь святого Георгия в русском квартале, а скоро запылал и армянский собор; подожгли его еще днем, а теперь, от гранат, огонь разгорелся вовсю. Пожар усиливался с каждой минутой и освещал все окрест. Крики из города доходили до старого замка. Весь город, казалось, был охвачен пламенем.

— Плохо, — сказал Кетлинг, — горожане духом падут.

— Пусть бы хоть все сгорело, — ответил маленький рыцарь, — только бы скала не сокрушилась, на которой можно держать оборону.

А крики становились все громче. На армянском рынке от собора занялись склады ценных товаров. Горели богатства неисчислимые — утварь и украшения из золота и серебра, ковры, кожи, дорогие ткани. Чуть погода языки пламени переметнулись на дома.

Володыёвский встревожился не на шутку.

— Кетлинг, — сказал он, — следи за метаньем гранат и мешай, сколь возможно, подкопу, а я поскачу в город, очень у меня за сестер доминиканок сердце болит. Слава богу замок в покое оставили, можно и отлучиться...

В замке и в самом деле в тот момент особой работы не было; маленький рыцарь вскочил на коня и ускакал. Воротился он часа через два в сопровождении пана Мушальского, который оправился уже после раны, полученной от Хамди, и теперь прибыл в замок в надежде, что сумеет луком своим нанести басурманам серьезные потери во время приступов и тем прославиться.

— Приветствую вас, — сказал Кетлинг, — а я уж тревожился. Ну, что доминиканки?

— Все хорошо, — ответил маленький рыцарь. — Ни одна граната не разорвалась там, место затишное, безопасное.

— Слава богу! А Кшися что, не тревожится ли?

— Спокойна, будто у себя дома. Они с Баськой в одной келье, и Заглоба с ними. Там и Нововейский, к нему сознание вернулось. Просился со мною в замок, да где там — на ногах едва держится. Поезжай-ка теперь ты туда, а я тебя здесь заменю.

Кетлинг обнял Володыёвского, уж очень рвалось его сердце к Кшисе, и немедленно велел подать себе коня. А тем временем стал расспрашивать маленького рыцаря, что еще в городе слышать?

— Горожане мужественно борются с огнем, — ответил тот. — Но богатые армянские купцы, завидев, что склады их загорелись, послали депутацию к князю епископу с настоятельной просьбой сдать город. Узнавши о том, я, хотя и зарекался на советы ихние ходить, все же туда отправился. А там одного молодца пощечиной наградил — он более других настаивал на сдаче, — и князь епископ остался мною доволен. Плохо, брат! Люди там труса празднуют и все меньше ценят готовность нашу к обороне. Ругают нас, не хвалят, напрасно, мол, город риску подвергаем. Слышал я еще — на Маковецкого напали за то, что он переговорам воспротивился. Сам епископ так ему сказал: «Ни от веры, ни от короля мы не отрекаемся, но к чему привести может дальнейшее сопротивление? Погляди, — говорит, — видишь храмы, отданные на поругание, видишь девушек обещанных, деток невинных, в неволю влекомых? А с перемирием, — говорит, — мы еще сможем их вызволить, а для себя обусловить беспрепятственный выход отсюда». Так говорил ксендз епископ, а пан генерал согласно кивал головою и все твердил: «Головой ручаюсь, что правда это!»

— Будь на все божья воля! — ответил Кетлинг.

Володыёвский руки заломил.

— И кабы правдой то было! — вскричал он. — Но бог свидетель, мы способны еще защищаться!

Привели коня. Кетлинг поспешно вскочил в седло.

— Осторожней будь на мосту, — напутствовал его Володыёвский. — Там гранаты густо падают!

— Через час буду обратно, — сказал Кетлинг.

И ускакал.

Володыёвский вместе с Мушальским стали обходить стены.

Ручные гранаты бросали в трех направлениях — туда, откуда доносились звуки кирки. На левом фланге руководил этим Люсьня.

— Как дела? — спросил Володыёвский.

— Плохо, пан комендант! — ответил вахмистр. — Мерзавцы эти уже в самой скале торчат, разве что при входе кого из них наша скорлупка заденет ненароком. Смысла нету...

В других местах дело обстояло и того хуже, да еще небо нахмурилось, полил дождь, а от него отсыревали фитили в гранатах. Тьма тоже очень мешала.

Володыёвский отвел Мушальского в сторонку и сказал вдруг:

— Послушай-ка! А не попытаться ли нам кротов этих в норах придушить?

— Мнится мне, это смерть верная, их ведь полки янычар стерегут! Хотя что ж! Попытка не пытка!

— Янычары караулят их, это верно, однако мрак нынче крошечный, они панике поддадутся. Раскинъ, сударь, умом, в городе отчего о сдаче помышляют? «Мины под вами, — говорят, — не выстоите». Вот мы бы им рот и заткнули, кабы нынешней же ночью послали бы весть: «Нету уж мин!» Для такого-то дела иль не стоит головою рискнуть?

Мушальский подумал с минуту и воскликнул:

— Стоит, ей-богу, стоит!

— В одном месте только начали копать, — сказал Володыёвский, — этих не тронем, но вон с той и с той стороны они глубоко уже врылись. Возьмешь, сударь, пятьдесят драгун и я столько же, и попытаемся их придушить. Ну что, есть ли охота?

— Есть! Как не быть! Заткну-ка я за пояс гвоздичков покрепче, пушки загвоздить, на случай ежели бы на пути попались.

— Вряд ли попадутся, хотя несколько орудий тут близко, так что чем черт не шутит. Кетлинга только давай обождем, он лучше всех знать будет, как нам помочь в случае беды.

Кетлинг воротился, как обещал, ни минутой позже, а полчаса спустя два отряда драгун, по пятьдесят душ каждый, приблизились к пролому, бесшумно скользнули в него и растворились во тьме. Кетлинг велел еще какое-то время вести гранатный обстрел, но вскоре отменил его и стал ждать. Сердце у него тревожно колотилось, он прекрасно понимал всю дерзость подобного предприятия. Прошло четверть часа, полчаса, час; казалось, пора уж было им дойти и начать действовать, меж тем, приложивши ухо к земле, он отчетливо слышал спокойный стук кирок.

Вдруг у подножья замка, с левой его стороны, раздался пистолетный выстрел; в сыром воздухе, заглушенный стрельбою из шанцев, он прозвучал не очень громко и, быть может, не был бы услышан гарнизоном, кабы не страшная суматоха, какая поднялась вслед затем. «Дошли! — подумал Кетлинг. — Да вернутся ли?» Доносились крики людей, барабанный бой, посвист рожков и, наконец, ружейная пальба — торопливая и беспорядочная. Стреляли со всех сторон и кучно; очевидно, множество отрядов поспешило на выручку копателям, но, как и предвидел Володыёвский, паника и замешательство охватили янычар; из опасения угодить в своих они громко перекликались, палили вслепую, а то и вверх. Шум и стрельба все усиливались. Как кровожадные куницы глухой ночью врываются в уснувший курятник и тишину вдруг нарушает невообразимый переполох, шум и кудахтанье, так и здесь, близ замка, внезапно начался переполох. Из шанцев, озаряя тьму, метнулись на стены гранаты. Кетлинг, наведя десятки орудий в сторону сторожевого охранения турков, ответил картечью. Запылали турецкие апроши, запылали стены. В городе забили тревогу, вообразив, будто турки вломились в крепость. В турецких шанцах решили, напротив, что это мощная вылазка осажденных, что атакуют сразу все их работы, и потому провозгласили всеобщую тревогу. Беспросветная ночь благоприятствовала дерзкому замыслу Володыёвского и Мушальского. Орудийные и гранатные выстрелы только на миг разрывали тьму, которая затем еще более сгущалась. Внезапно разверзлись хляби небесные и обрушился ливень. Гром заглушал пальбу и, перекатываясь, громяхая, гудя, будил грозное эхо в скалах. Кетлинг спрыгнул с гребня вала, подбежал во главе нескольких десятков людей к пролому и там стал ждать.

Но ждать пришлось недолго. В скором времени темные фигуры замельтешили меж бревен, которыми завалено было отверстие в стене.

— Кто идет? — крикнул Кетлинг.

— Володыёвский, — звучал ответ.

И рыцари упали друг другу в объятья.

— Ну что? Как? — спрашивали офицеры, во множестве подбежавшие к пролому.

— Слава богу! Землекопы перебиты все поголовно, орудия поломаны и раскиданы, вся работа их впустую!

— Богу благодарение!

— А пан Мушальский со своими уже здесь?

— Нет еще.

— Может быть, выскочить им на подмогу? Паны ясновельможные, кто желает?

Но в эту самую минуту в проломе замелькали фигуры. Это возвращались люди Мушальского, торопливо и в значительно меньшем числе — много их полегло от пуль. Были они радостные и тоже довольные. Кое-кто из солдат прихватил с собою кирки, буравы, кайлы для дробления скалы в доказательство того, что они проникли в самый подкоп.

— А где пан Мушальский? — спросил Володыёвский.

— В самом деле, где же пан Мушальский? — повторило несколько голосов.

Люди из отряда прославленного лучника стали переглядываться; и тут один тяжело раненный драгун проговорил слабым голосом:

— Пан Мушальский погиб. Я видел, как упал он, я тоже упал подле него, но поднялся, а он остался лежать...

Рыцари немало опечалились, узнав о смерти лучника, ведь был пан Мушальский одним из первых кавалеров войска Речи Посполитой. Драгуны пытались выпросить еще, как это случилось, но он, истекая кровью, отвечать более не мог и наконец как сноп повалился на землю.

А рыцари принялись сокрушаться по поводу смерти Мушальского.

— Память о нем останется в войске, — сказал Квасиброцкий, — кто осаду эту переживет, тот прославит его имя.

— Не родится более лучник, ему равный! — сказал кто-то.

— Не было сильнее мужа в Хрептеве, — подхватил маленький рыцарь. — Он талер в доску пальцем вжимал. Единственно Подбипятка, литвин, силой его превосходил, но того под Збаражем убили, а из живых разве что Нововейский ему не уступил бы.

— Большая, большая потеря, — говорили вокруг. — Такие рыцари только в прежние времена рождались.

Почтив память лучника, все отправились на вал. Володыёвский тотчас отослал гонца к генералу и князю епископу с известием о вылазке, в результате которой подкоп уничтожен, а землекопы убиты.

С чрезвычайным изумлением восприняли эту весть в городе, но — кто бы мог подумать! — и со скрытым неудовольствием. И генерал, и князь епископ полагали, что такого рода минутные триумфы город не спасут, напротив, только раздражат свирепого льва. По их мнению, польза от них могла произойти только в случае сдачи города; и два главных предводителя решили переговоры продолжить.

Ни Володыёвский, ни Кетлинг не допускали и мысли, что посланные ими счастливые вести так могут обернуться. Они уверены были, что даже слабые воспрянут теперь духом и все загорятся

новым желанием дать отпор неприятелю. В самом деле город невозможно было взять, не овладев прежде замком, а коль скоро замок не только защищался, но еще и громил врага, у осажденных не было ни малейшей надобности прибегать к переговорам. Провианта было в достатке, снаряжения тоже; надлежало, стало быть, только охранять ворота и гасить пожары в городе.

Для маленького рыцаря и Кетлинга то была самая радостная ночь за все время осады, полная надежд и самим выйти живыми из турецкой этой западни, и живыми вывести отсюда своих близких.

— Еще один, два приступа, — говорил маленький рыцарь, — и, как бог свят, турки потеряют к ним охоту и попытаются голодом нас уморить. А провианта у нас довольно. К тому же september «Сентябрь (лат.).» не за горами, месяца через два слякоть начнет-ся, холода, войско же у них не слишком выносливое; разок как следует быть промерзнут и, глядишь, ретируются.

— Там у них многие из Эфиопии родом, — подхватил Кетлинг, — и из других краев, что у черта на рогах, эти при первых же заморозках окоченеют. Два месяца — в худшем даже случае, если они штурмовать не перестанут, — мы выдюжим. Да и быть того не может, чтобы вспоможение не пришло. Очнется наконец Речь Посполитая, даже если пан гетман большого войска не сможет собрать, он набегам турков изведет.

— Кетлинг! Похоже, не пробил еще наш час.

— Божья на то воля, но и мне сдается, не дойдет до этого.

— Разве что погибнем, как Мушальский. Чему быть, того не миновать! Ужасно жалко мне Мушальского, хоть и рыцарской смертью он погиб!

— Не дай нам бог худшей, да только бы не нынче; скажу тебе, Михал, жаль мне было бы... Кшиси.

— А мне Баси... Что ж, мы честно трудимся, однако же и милосердие божие нас не минует. Чертовски весело у меня на душе! Еще бы и завтра что-нибудь этакое свершить!

— Турки соорудили на шанцах заслоны из бревен. Я тут способ один обмыслил — корабли так поджигают, ветошь у меня уже мокнет в смоле, завтра до полудня надеюсь все устройство ихнее спалить.

— А я вылазку учиню, — сказал маленький рыцарь. — Пожар вызовет у них замешательство, а к тому же им и в голову не придет, что вылазка и днем возможна. Завтра, Кетлинг, может, еще лучше будет, чем сегодня...

Так говорили они, радуясь всем сердцем, а потом удалились на отдых, очень уж устали оба. Маленький рыцарь, однако, и трех часов не проспал, как его разбудил вахмистр Люсьня.

— Новости, пан комендант! — сказал он.

— Что такое? — вскричал чуткий солдат, вмиг вскочив на ноги.

— Пан Мушальский здесь!

— Бога ради, что ты говоришь?

— Здесь он! Стою это я у пролома, вдруг слышу кричит кто-то оттуда по-нашему: «Не стреляйте, я это!» Гляжу — пан Мушальский, в янычара переодетый, возвращается!

— Слава богу! — молвил маленький рыцарь.

И бросился к лучнику. Уже светало. Мушальский стоял по ту сторону вала в белом колпаке и панцире — ни дать _____ -

_____.

— А мы, сударь, уже тебя оплакивали! — вскричал Володыёвский.

Тут подбежали офицеры, меж ними Кетлинг. Изумленные, они наперебой стали выпрашивать лучника, как он в турецкой одежде оказался. И вот что он рассказал:

— Идя назад, повалился я, о труп янычара споткнувшись, а башкою о лежавшее там ядро ушибся и, хотя шапка на мне проволокой прошита, тотчас потерял сознание, ведь голова у меня еще слабая от удара, что Хамди давеча мне нанес. Чуть погодя прихожу в себя и что же вижу? Лежу это я на убитом янычаре, ровно на постели. Щупаю голову — болит малость, но ничего, даже шишки нету. Снял шапку, дождь шевелюру остудил, ну, думаю, добре! И тут осенило меня: а что, ежели с янычара этого экипировку снять да к туркам податься? Я же по-турецки не хуже, чем по-польски, умею, никто меня по речи не признает, ну а по морде янычара тоже не больно-то отличишь. Пойду-ка да послушаю, что они говорят. Страх, конечно, брал, недавний плен припоминался, однако пошел я. Ночь темная, а у них там кое-где только светится, так что я, скажу вам, ходил меж ними, как меж своими. Много их во рвах под прикрытием лежало: я и туда направился. Один, другой меня спрашивает: «Чего шляешься?» А я: «Да что-то спать неохота». Некоторые об осаде толкуют. В великой пребывают они растерянности. Собственными ушами слышал я, как они этого вот нашего коменданта хрептевского честили. — Тут Мушальский поклонился Володыёвскому. — Повторю их *ipsissima verba* «Доподлинные слова (лат.)», ведь порицание в устах неприятеля высшая есть похвала. «Покуда, — говорят, — этот маленький пес, — так сукины сыны вашу милость величают, — покуда маленький этот пес замок обороняет, нам его ни в какую не добыть». А другой говорит: «Его ни пуля, ни железо не берут, он смерть вокруг как заразу сеет». Тут стали все разом сетовать: «Мы одни, — говорят, — тут бьемся, а другие войска бездельничают. Ямак кверху брюхом лежит, татары грабят, спаги

по базарам шастают. Нам падишах говорит: „Агнцы мои милые“, но, видать, не очень-то мы ему милы, коль скоро нас привели сюда на бойню. Продержимся, говорят, еще немного, да и в Хотин подадимся, а коли дозволения на то не будет, так ведь на худой-то конец кое-кто из видных людей может и головы лишиться».

— Слышите, судари! — вскричал Володыёвский. — Ежели янычары взбунтуются, султан струсит и враз снимет осаду.

— Видит бог, чистую правду вам говорю! — продолжал далее Мушальский. — Янычары скорые на бунт, а недовольство они уже затаили. Я полагаю, на один, на два приступа они еще пойдут, а после зарычат на янычар-агу или на каймакама, а то, чего доброго, и на самого султана!

— Так оно и будет! — вскричали офицеры.

— А хоть бы и двадцать раз на приступ шли, мы готовы! — поддержали их другие.

И стали саблями бряцать, кидая горящие взгляды на шанцы и грозно сопя. При виде этого маленький рыцарь, взволнованный, шепнул Кетлингу:

— Новый Збараж! Новый Збараж!..

А Мушальский продолжал:

— Вот что я слышал. Жаль было уходить, мог бы и больше услышать, да боялся, как бы белый день меня там не застал. Направился я к тем шанцам, откуда не стреляли, чтоб в темноте незамеченным прошмыгнуть. Гляжу, а там и караула порядочного нету, только янычары группами бродят, как и повсюду. Подхожу к грозному орудию — никто не окликает. А вы, пан комендант, знаете, я с собою в вылазку железные гвозди прихватил, чтобы, значит, орудия загвоздить. Сую это я, не мешкая, гвоздь в запал — не лезет. Эх, молотком бы стукнуть, влез бы. Поскольку бог силой меня не обидел (вы, судари, опыты мои не раз наблюдали), я ладонью на гвоздь тот нажал, заскрежетало чуток, и он по самую шляпку туда вошел! Вот радости-то было!

— Господи боже мой! Ты, сударь, такое сделал? Большую пушку загвоздил? — слышались вопросы со всех сторон.

— И не только; так гладко дело пошло, что мне опять жаль стало уходить, и пошел я ко второй пушке. Рука маленько побаливает, но гвозди влезли!

— Паны ясновельможные! — вскричал Володыёвский. — Никто из нас здесь ничего подобного не свершил, никто славы такой не снискал! Vivat пан Мушальский!

— Vivat, vivat! — вторили офицеры.

Вслед за офицерами подняли крик солдаты. Услышали турки в шанцах эти крики, испугались — и вовсе духом пали. Лучник же кланялся офицерам, весь сияя радостью, и, показывая им могу-

чую, что твоя лопата, ладонь, на которой виднелись два синих пятна, говорил:

— Ей-богу, правда! Вот вам, судари, доказательство!

— Верим! — кричали вокруг. — Слава богу, что благополучно назад воротился!

— Я через бревна пробрался, — ответил лучник. — Уж так хотелось это их устройство сжечь, да нечем было...

— Слушай, Михал, — вскричал Кетлинг. — Ветошь-то моя готова! Пора теми бревнами заняться. Пускай турки знают, что мы первые их задираем.

— Давай-ка! Начинай! — крикнул Володыёвский.

Сам же побежал к цейхгаузу и отослал в город новую весть:

«Пан Мушальский во время вылазки не убит, он воротился назад, загвоздивши два тяжелых орудия. Был он меж янычарами, они бунт замышляют. Через час мы сожжем заслоны из бревен, а если мне удастся за стены при этом выскочить, то выскочу».

Не успел гонец перебежать мост, как стены задрожали от грохота орудий. Замок на этот раз первым начинал громогласный разговор. В бледном свете утра в воздух летели, подобно пылающим знаменам, охваченные пламенем полотнища и падали у шанцев на бревна. И хотя после ночного дождя дерево сильно отсырело, бревна все же занялись огнем и запылали. Вослед тряпью Кетлинг закидал шанцы гранатами. Толпы янычар, выбившиеся из сил, в первые же минуты покинули шанцы. Намаз не вершили. Прибыл сам визирь во главе новых ратей, но сомнение, как видно, закралось и в его душу; наши слышали, как он бормотал:

— Битва милее им, чем отдых! И что за люди в этом замке?

А в войске повсюду слышались тревожные голоса:

— Маленький пес кусаться начинает! Маленький пес кусаться начинает!

ГЛАВА LVI

Когда же прошла эта счастливая, предвещавшая победу ночь, наступил день 26 августа, которому суждено было стать решающим в истории той войны. В замке ожидали какой-либо серьезной акции с турецкой стороны. И вот на восходе солнца снова слышно стало, как долбят скалу с левой стороны замка, да так громко и усердно, как никогда доселе. Очевидно, турки торопились подвести новую мину, мощнее прежних. Крупные соединения войска караулили поодаль их работы. Зашевелился на шанцах людской муравейник. Судя по скоплению красочных санджаков, которыми словно цветами расцвело поле со стороны Длужка, сам визирь прибыл, дабы возглавить приступ. Янычары накатывали новые орудия на насыпь; во множестве заполнив новый замок, они, кроясь в рвах его и развалинах, изготовились к рукопашной схватке.

Замок, как мы знаем, первым начал орудийный разговор, причем столь успешно, что спервоначалу в шанцах возник переполох. Но бимбаши[71] весьма скоро навели порядок среди янычар, одновременно отозвались все турецкие орудия. Летели ядра, гранаты, картечь; летели на головы защитников щебень, кирпичи, известка; тучи дыма смешались с тучами пыли, жар огня — с солнечным жаром. Не хватало воздуха груди, видимости глазу; гул орудий, разрывы гранат, скрежет ядер о камни, вопли турков, окрики защитников — все это составило некий дикий оркестр, и эхо в скалах вторило ему. Снаряды засыпали замок, засыпали город, все ворота, все башни. Но замок оборонялся яростно, молнией отвечал на молнию, содрогался, светился, дымился, грохотал, извергал огонь, и смерть, и разрушение, словно объят был грозным гневом, словно забылся посреди пламени, словно хотел заглушить турецкие громы и либо в землю провалиться, либо победить.

И в этом замке, среди летящих ядер, огня, клубов пыли и дыма, маленький рыцарь кидался от пушки к пушке, от стены к стене, от угла до угла, сам разрушительному пламени подобный. Казалось, он двоился, троился; был повсюду, ободрял, наставлял; где падал канонир, он заменял его и, влив бодрость в сердца, вновь куда-то мчался. Его порыв передался солдатам. Они поверили, что это последний приступ, а затем придут спокойствие и слава, вера в победу переполняла грудь их, ожесточение и гордость — сердца; безумство боя овладело умами. Крики и ругань так и рвались из глоток. Иные, обуреваемые яростью, порывались выскочить за стены, чтобы там схватиться с янычарами.

А те дважды под прикрытием дыма плотной массой подступали к пролomu и дважды, устелив телами землю, откатывались в панике. В полдень на подмогу им двинуты были ополченцы и ямаки, но эта плохо обученная толпа, хотя и побуждаемая сзади копьями, знай себе выла во весь голос, не желая идти на замок. Прибыл каймакам — не помогло. Нависла угроза всеобщей, почти безумной паники, так что людей в конце концов отозвали, и только орудия трудились без устали, меча свои громы и молнии.

Так протекали часы. Солнце спустилось уже с зенита и теперь взирало на битву — багровое, задымленное, как бы подернутое мглюю.

Около трех часов пополудни грохот орудий достиг такой мощи, что за стенами нельзя было услышать ни слова, даже если кричали в самое ухо. Воздух в замке стал горячий, как в печи. Вода, которой поливали раскаленные пушки, шипела, превращаясь в пар, он смешивался с дымом, заслоняя свет, но орудия гремели непрерывно.

В три часа с минутами были разбиты две тяжелые турецкие кулеврины. Чуть позднее стоявшая подле них мортира разорвалась от прямого попадания ядра. Канониры гибли как мухи. С каждой минутой становилось все очевиднее, что этот неистовый дьявольский замок берет верх в битве, что он перекричит турецкие громы, что за ним последнее слово...

Турецкий огонь стал ослабевать.

— Скоро конец! — крикнул что есть мочи Володыёвский в ухо Кетлингу, чтобы тот его слышал среди грохота.

— Похоже, что так! — ответил Кетлинг. — До завтра или на дольше?

— Быть может, и на дольше. Виктория нынче за нами.

— И благодаря нам!

— Об новой мине надобно поразмыслить.

Турецкий огонь ослаб еще более.

— Продолжать орудийный обстрел! — крикнул Володыёвский. И помчался к канонирам.

— Огня, ребята! — крикнул он. — Пока последняя турецкая пушка не заглохнет! Во славу господню и пресвятой богородицы! Во славу Речи Посполитой! Огонь!

Солдаты, видя, что и этот приступ близится к концу, отозвались громким радостным криком и с еще большим рвением стали бить по турецким шанцам.

— Вот вам вечерняя ваша молитва, сукины сыны! — кричало множество голосов.

Вдруг произошло нечто странное. Все турецкие пушки словно по волшебству разом смолкли. Умолкла и ружейная трескотня в

новом замке. Старый замок какое-то время еще грохотал, но в конце концов офицеры, переглядываясь, стали спрашивать друг друга:

— Что такое? Что случилось?

Кетлинг, немного обеспокоенный, тоже приостановил стрельбу.

Один из офицеров громко сказал:

— Не иначе как мина под нами, сейчас взрыв будет!..

Володыёвский пронзил говорящего грозным взором.

— Мина не готова, а хоть бы и готова была, взорвется только левая стена замка, а мы в руинах будем сражаться, пока кровь течет в жилах, ясно тебе, сударь?

Затем наступила тишина, не нарушенная ни единым выстрелом — ни из города, ни из шанцев. После грома и грохота, сотрясавших стены и землю, было в той тишине нечто торжественное, но вместе зловещее. Все напряженно всматривались в шанцы, но из-за облака дыма ничего не было видно.

Вдруг с левой стороны послышались мерные удары кирок.

— Я же говорил, они еще только подводят мину! — вскричал Володыёвский.

И обратился к Люсьне:

— Вахмистр, возьми двадцать человек и пойдй взгляни, что там в новом замке.

Люсьня быстро выполнил приказ, взял двадцать человек и мину спустя исчез с ними в проломе.

Снова наступило молчание, прерываемое только хрипами да икотой умирающих и стуком кирок.

Ожидали долго, наконец вахмистр воротился.

— Пан комендант, — сказал он, — в новом замке ни души.

Володыёвский удивленно воззрился на Кетлинга:

— Ужель от осады отказались? — Сквозь дым ничего увидеть невозможно!

Но дым, разгоняемый ветром, редел, и наконец завеса его прорвалась над городом.

И в ту же минуту с башни раздался нечеловеческий, исполненный ужаса вопль:

— Над воротами белые флаги! Мы сдаемся!

Услышав это, солдаты и офицеры повернулись к городу. Лица их выразили страшное изумление, слова замерли у всех на устах, сквозь полосы дыма смотрели они на город.

А в городе, на Русских и Ляшских воротах, в самом деле трепыхались флаги, и далее был виден еще один — на башне Батория.

И тут лицо маленького рыцаря сделалось бело, как эти колеблемые ветром флаги.

— Кетлинг, ты видишь? — шепнул он, обернувшись к другу.

Кетлинг тоже побледнел.

— Вижу, — сказал он.

И они посмотрели в глаза друг другу, сказав взглядом все, что могли сказать два этих рыцаря без страха и упрека, ни разу в жизни не нарушившие слова и поклявшиеся перед алтарем скорее погибнуть, нежели сдать замок. И вот теперь, после такой обороны, после такой битвы, напоминавшей збаражские деяния, после отбитого приступа, после победы им велено было нарушить клятву, сдать замок — и жить!

Как перед тем зловещие ядра проносились над замком, так ныне зловещие мысли толпой проносились в их голове. И скорбь, бездонная скорбь сжимала сердца их, скорбь по двум возлюбленным существам, скорбь по жизни и счастью, и они смотрели друг на друга как безумные, как мертвые, а временами обращали полный отчаяния взгляд свой к городу, как бы желая убедиться не обманывают ли их глаза и в самом ли деле час их пробил.

Вот со стороны города зацокали конские копыта, и чуть погодя примчался Хораим, молодой стремянный генерала подольского.

— Приказ коменданту! — крикнул он, осаживая бахмата.

Володыёвский взял приказ, прочитал его молча и, помедлив, среди гробовой тишины обратился к офицерам:

— Ваши милости! Комиссары переправились на челне через реку и уже пошли в Длужек, чтобы подписать там соглашение. Сейчас они воротятся этим путем. До вечера надлежит нам вывести войско из замка, а белые флаги водрузить _____ немедленно...

Никто не отозвался. Слышно было только тяжелое дыхание и сопенье.

Наконец Квашиброцкий проговорил:

— Надо флаг вывесить, сей момент людей соберу!..

Тут и там раздались слова команды. Солдаты встали в ружье. Мерный шаг и бряцанье мушкетов будили эхо в безгласном замке.

Кетлинг приблизился к Володыёвскому.

— Пора? — спросил он.

— Обожди комиссаров, узнаем условия... Впрочем, я сам туда спущусь.

— Нет, я спущусь, я лучше знаю, где и что там в подземелье.

Дальнейший их разговор прервали голоса:

— Комиссары возвращаются! Комиссары!

Вскорости три злосчастных парламентаря показались в замке. То были: судья подольский Грушецкий, стольник Жевуский и хорунжий черниговский Мыслишевский. Они шли, понуро све-

сив головы. На спинах их переливались блесками парчовые кафтаны, полученные в дар от визиря.

Володыёвский ожидал их, опершись о теплое, еще дымившееся жерло пушки, направленной в сторону Длужка.

Все трое молча его приветствовали, а он спросил:

— Каковы условия?

— Город не будет разграблен, жителям обеспечивают безопасность жизни и имущества. Всякий волен выехать из города, куда заблагорассудится, волен и остаться.

— А Каменец и Подолия?

Комиссары понурили головы.

— Султанские... на веки веков!..

Затем комиссары удалились, но не прямо по мосту, который запрудили уже людские толпы, а через боковые южные ворота. Сошедши вниз, они уселись в челн, который должен был доставить их до Ляшских ворот. В теснине у реки уже показались янычары. Людской поток устремился из города и заполнил площадь напротив старого моста. Многие хотели бежать в замок, но выходящие оттуда полки удерживали их по приказу маленького рыцаря.

А он, отправив войско, подозвал к себе Мушальского и сказал ему:

— Старый друг мой, прошу тебя об одной услуге: ступай тотчас к моей жене и скажи ей от меня... — У него перехватило горло. — И скажи ей от меня: это ничего! — торопливо добавил он.

Лучник ушел. За ним поспешно выходило войско. Володыёвский, сидя на коне, наблюдал за его выступлением. Замок пустел, но медленно — путь преграждали обломки и щебень.

Кетлинг подошел к маленькому рыцарю.

— Я спускаюсь! — стиснув зубы, проговорил он.

— Иди, но обожди немного, пока войско не выйдет... Иди!

Они заключили друг друга в объятия и на мгновение застыли. Необычайный свет горел в их глазах... Кетлинг бросился к подземелью...

Володыёвский снял шлем с головы; еще минуту смотрел он на руины, на поле славы своей, на груды щебня, обломки стен, на вал, на пушки, затем поднял глаза к небу и стал молиться...

Последние слова его были:

Ниспошли ей, господи, силы терпеливо снести это, покой ниспошли ей, господи!..

Бах!.. Кетлинг поторопился, не стал жать, пока выйдут полки; дрогнули бастионы, страшный грохот сотряс воздух: зубцы башни, стены, кони, пушки, живые и мертвые, массы земли — все это, увлекаемое ввысь огнем, смешалось, сбилось как бы в один

страшный заряд и взметнулось в воздух...

Так погиб Володыёвский, Гектор каменецкий, первый солдат Речи Посполитой.

Посредине станиславовского собора высился катафалк, весь уставленный свечами, и там в двух гробах — в деревянном и свинцовом, покоился Володыёвский. Крышки были уже заколочены, близился момент погребения. Вдове очень хотелось, чтобы тело почilo в Хрептеве, но, поскольку вся Подолия была в руках неприятеля, решили временно похоронить его в Станиславове — в этот город под конвоем турков направлены были *exiles* «Изгнанники (лат.).» каменецкие и здесь переданы в распоряжение гетманского войска.

Звонили все колокола собора. Костел заполнился шляхтой и солдатами, которые хотели бросить последний взгляд на гроб Гектора каменецкого и первого кавалера Речи Посполитой. Шептались, будто сам гетман обещался прибыть на погребение, но, поскольку его пока еще не было, а сюда всякую минуту могли нагрянуть татарские чамбулы, решено было церемонию не откладывать.

Старые солдаты, друзья и подчиненные покойного окружили катафалк. Меж ними были лучник Мушальский, и Мотовило, и Снитко, и Громыка, и Ненашинец, и Нововейский, и много других давних офицеров из крепости. По странному стечению обстоятельств присутствовали почти все те, кто некогда сиживал вечерами на лавах у хрептевского огонька; все вышли живыми из этой войны, единственно он, кто вел их и служил примером, этот рыцарь добрый и справедливый, жестокий к врагу и мягкий к своим, только он, непревзойденный фехтовальщик с голубиным сердцем, лежал сейчас здесь — высоко, среди света, окруженный безмерной славой, но в тишине смерти.

Загрубевшие на войне сердца сокрушались от скорби при виде такого зрелища; желтое пламя свечей освещало суровые горестные лица воинов и сверкающими искрами отражалось в слезах, текущих из глаз их. В кругу солдат распростерлась на полу Бася, а подле нее — старый, одряхлевший, сломленный и трясущийся Заглоба. Она пешком пришла сюда из Каменца, вослед повозке с дорогим ей гробом. А теперь вот настала минута, когда гроб этот надлежало предать земле. И по дороге, отсутствующая, как бы иному миру уже принадлежащая, и нынче, у катафалка, она все повторяла безотчетно, одними губами: «Это ничего», повторяла, ибо так велел ее возлюбленный, ибо то были последние слова, какие он послал ей, но слова эти состояли из одних только звуков, и не было в них ни смысла, ни правды, ни утешения. Не «ничего это» было, но скорбь, мрак, отчаяние, смерть души и горе необра-

тимое, и жизнь погибшая, сломленная, и безумное сознание, что нет уже к ней милосердия, нет и надежды, а есть одна лишь пустота, и будет пустота, и заполнить ее единственно бог в силах, ниспослав ей смерть.

Звонили колокола; у главного алтаря к концу подходила месса. Но вот зазвучал высокий, словно из бездны взывающий голос ксендза: «Reguięscat in pace» «*Да почует с миром*» (лат.).». Лихорадочная дрожь сотрясла тело Баси, а в безумной голове мелькнула одна-единственная мысль: «Сейчас его у меня отнимут!» Но церемония еще не кончилась. Рыцари приготовили много речей, их должны были произнести при опускании гроба, но вот на амвон вышел ксеыдз Каминский, тот самый, что часто сиживал прежде в Хрептеве, а во время Басиной болезни соборовал ее, готовя к смерти.

Люди в костеле стали покашливать, как обыкновенно перед началом проповеди, затем утихли, и все взгляды устремились на амвон.

И тут с амвона послышался барабанный бой.

Слушатели онемели. А ксендз Каминский бил в барабан, словно подавая сигнал тревоги. Затем оборвал внезапно, и наступила мертвая тишина. Барабанный бой раздался во второй, в третий раз; но вот ксеыдз Каминский швырнул палочки на пол, воздел руки кверху и возопил:

— Пан полковник Володыёвский!

Ему ответил сдавленный Басин крик. Жутко стало в костеле. Заглоба поднялся, и они вместе с Мушальским вынесли из храма упавшую без памяти женщину.

А ксендз взывал далее:

— Во имя господне, пан Володыёвский! *Lagum* играют! Война! Враг у рубежей наших! А ты не срываешься с места? Не выхватываешь сабли? На коня не садишься? Что сделалось с тобою, солдат? Иль лишился ты давней своей добродетели, что одних нас в скорби и тревоге оставляешь?

Преисполнились волнением рыцарские сердца, и костел содрогнулся от рыданий; волнами нарастали они, когда ксендз превозносил добродетели покойного, любовь его к отчизне и мужество. Проповедь захватила и самого проповедника: лицо его побледнело, лоб покрылся испариной, голос дрожал. Скорбь по умершему рыцарю овладела им, скорбь по Каменцу, скорбь по Речи Посполитой, униженной приверженцами полумесеца; и такой молитвой закончил он речь свою:

— Костелы, о господи, обратят в мечети, и Коран зазвучит там, где до сей поры Евангелие звучало. Ты погубил нас, господи, отвратил от нас лик свой и во власть нечестивому турчину отдал.

Неисповедимы пути твои, господи, но кто, скажи, способен ныне дать турку отпор? Какие войска сразятся с ним на рубежах наших? Ты, вездесущий и всеведущий, знаешь прекрасно — не сыскать конницы, равной нашей. Кто еще, господи, атакует так лихо? От защитников отказался ты, за спиной которых весь христианский мир мог славить имя твое. Отче всеблагой! Не покидай нас! Окажи милосердие свое! Пошли нам заступника, способного одолеть нечистивца Магомета, пусть придет сюда, пусть станет меж нами и подымет упавший дух наш, пошли его, господи!..

В эту минуту толпа у дверей расступилась и в костел вошел гетман Собеский. Все глаза обратились к нему, дрожь пронизала людей, а он шел, звеня шпорами, к катафалку, прекрасный, огромный, римский цесарь лицом...

Отряд латников следовал за ним.

— *Salvator!* «*Избавитель, спаситель (лат.)*» — в пророческом экстазе вскричал ксендз.

А гетман опустился на колени перед катафалком и принялся молиться за душу Володиёвского.

ЭПИЛОГ[72]

Год спустя после падения Каменца, когда поутихли распри меж различными партиями, Речь Посполитая выступила наконец в защиту восточных своих границ.

И перешла в наступление. Великий гетман Собеский с конницей и пехотой числом свыше тридцати тысяч направился в султанские земли под Хотин, вознамерясь нанести удар превосходным силам Хуссейна-паши, стоявшим под тем же замком.

Имя Собеского наводило страх на неприятеля. За год, прошедший после взятия Каменца, располагая всего несколькими тысячами войска, он столько успел совершить, так потрепал неисчислимую армию султана, столько чамбулов смял и ясырей отбил, что старый Хуссейн — хотя и войско его числом было сильнее, и конницей он располагал отборнейшей, и Каплан-паша его поддерживал — не посмел все же сойтись с Собеским в открытом поле и предпочел обороняться в укрепленном лагере.

Гетман окружил его лагерь войском, и слух провел, будто намерен он взять его с первого приступа. Многие полагали, правда, что отважиться выступить с меньшей силою против большей, кою к тому же рвы и валы защищают, — предприятие, в истории войн не слыханное. У Хуссейна было сто двадцать орудий, в польском же лагере всего пятьдесят. Турецкая пехота мощью втрое превосходила гетманскую; одних янычар, в рукопашном бою неустрашимых, стояло на турецких валах более восемнадцати тысяч. Но гетман верил в свою звезду, в чары своего имени и, наконец, в войско, которым командовал.

Ибо шли под его началом полки испытанные и в огне закаленные, люди, что с детских лет познали бранную жизнь, пережили множество походов, осад и битв. Многим еще памятливы были страшные времена Хмельницкого, Збараж и Берестечко; многие прошли все войны: шведскую, прусскую, московскую, датскую, венгерскую. Были там отряды сплошь из одних ветеранов, были солдаты из приграничных крепостей, для этих, как для иных мир, война стала буднями, привычным образом жизни. Под водительством воеводы русского[73] стояло пятнадцать гусарских хоругвей, конница, какую и иноземцы несравненной почитали; были легкие хоругви, это с ними сокрушил гетман рассеянные татарские чамбулы после падения Каменца; была, наконец, лановая пехота,[74] способная схватиться с янычарами без единого выстрела, орудуя только прикладами.

Людей этих воспитала война, в Речи Посполитой она воспитывала целые поколения воинов; но до той поры были они разроз-

нены, а то и враждовали меж собою, к разным принадлежа партиям. Ныне же, когда общие интересы свели их в один лагерь, под одну команду, гетман возымел надежду разбить с ними превосходящие силы Хуссейна и не менее сильного Каплана. Вели этих людей искушенные в ратном деле военачальники, имена которых неоднократно вписаны были в историю последних войн чередой поражений и побед.

Сам гетман как солнце стоял надо всеми и направлял тысячи людей своею волей, но кто же были другие полководцы, которым предстояло в хотинском лагере завоевать себе бессмертную славу?

Были там два гетмана литовских: великий гетман Пац и польный Михал Казимеж Радзивилл.[75] За несколько дней до битвы воссоединились они с коронными войсками, а нынче, по приказу Собеского, расположились на холмах меж Хотинном и Жванцем. Двенадцать тысяч воинов были в подчинении у гетманов, в числе их две тысячи отборных пехотинцев. От Днестра к югу стояли союзные валашские полки; накануне битвы они покинули турецкий лагерь, дабы воссоединиться с христианами. По соседству с валахами стоял с артиллерией Контский,[76] не знающий себе равных по части фортификации, а также во взятии оборонительных укреплений и наводке орудий. Обучался он этому искусству в заморских краях, но вскорости превзошел иноземцев. За Контским стояла русская и мазурская пехота Корицкого; далее польный гетман Димитр Вишневецкий,[77] хворого короля кузен. Он командовал легкой конницей. Подле него со своими хоругвями пехоты и конницы расположился Енджей Потоцкий,[78] некогда противник гетмана, а ныне ярый его приверженец. Позади него и Корицкого[79] стояли под началом Яблоновского, воеводы русского, пятнадцать крылатых гусарских хоругвей в блестящих панцирях и шлемах, бросавших грозные тени на их лица. Лес копий высился над ними, они же стояли спокойные, веря в неодолимость свою и в то, что им предстоит решить исход сражения.

Из воинов, уступавших им званием, но не доблестью, был там каштелян подлясский Лужецкий; у него турки брата в Бодзанове убили, за что он поклялся вечно им мстить; был Стефан Чарнецкий, великого Стефана племянник, коронный писарь польный. В пору осады Каменца он, держа сторону короля, возглавил под Голомбом ватагу шляхтичей и чуть было усобицы не развязал, нынче же горел желанием блеснуть доблестью на более достойном поле боя. Был Габриэль Сильницкий,[80] вся жизнь которого прошла в войнах и старость уже убелила голову; были разные другие воеводы и каштеляны, не столь в прошлых войнах известные, не столь и прославленные, но тем более до славы жадные.

А средь рыцарства, сенаторским званием не облеченного, выделялся полковник Скипетуский, известный герой Збаража, участник всех войн, какие Речь Посполитая за тридцать лет вела, солдат, служивший образцом для рыцарей. Седина уже покрыла его голову, зато шестеро сыновей пришли с ним, силою шести вепрям подобных. Старшие войну уже познали, двум же младшим предстояло еще боевое крещение, и оттого они пылали такою жаждой битвы, что отец почитал благоразумным охладить их пыл.

С большим уважением смотрели товарищи на отца с сыновьями, но еще более изумлялись они пану Яроцкому, который, будучи слепым на два глаза, подобно Яну, королю чешскому,[81] отправился все же в поход. Ни детей, ни родных не было у него, челядинцы вели его под руки, одной надеждой он жил — в битве сложить голову и тем отчизне послужить и славу обрести. Там же был пан Жечицкий, у него в том году и отец, и брат погибли. И пан Мотовило был там; незадолго до того вырвавшись из татарской неволи, он немедленно вместе с Мыслишевским в поле направился. Первый за плен отмстить жаждал, второй за обиду, нанесенную ему в Каменце, когда, пренебрегши ручательством и шляхетским его достоинством, янычары палками его избили. Были и давние рыцари из приднестровских крепостей: и одичалый Рушиц, и несравненный лучник Мушальский. Он в живых остался благодаря тому, что маленький рыцарь послал его с вестью к жене; был и Снитко, и Ненашинец, и Громыка, и несчастнейший из всех Нововейский.

Тому даже друзья и родные смерти желали, ибо не было уж для него утешения. Обретя разум, он целый год крошил чамбулы, с особенной яростью преследуя липеков. Когда Крычинский разбил Мотовило, он в погоне за Крычинским Подолию вдоль и поперек исколесил, не давая тому передышки — худо пришлось от него татарину. Во время этих набегов он пленников морил голодом, а поймав Адуровича, велел кожу с него содрать, — но от мук своих все же не излечился. За месяц перед битвой завербовался он в гусары к воеводе русскому.

Вот с какими рыцарями встал под Хотином гетман Собеский. За обиды, нанесенные Речи Посполитой, прежде всего, но и за свои личные тоже жаждали мести эти солдаты, ибо в постоянных схватках с басурманами на этой кровью политой земле почти всякий потерял кого-то из близких и нес в себе воспоминание о неизбежной своей беде. Вот и стремился к битве великий гетман, понимая, что ярость в сердцах его солдат с яростью львицы сравнима, у которой безрассудные охотники унесли из чащобы детенышей.

9 ноября 1673 года с поединков началось сражение. Поутру турецкие рати высыпали из-за валов, рати польских рыцарей жадно к ним поспешили. Падали люди с обеих сторон, но больше все же с турецкой. Однако видных воинов полегло немного. В самом начале стычки дюжий спаги острием кривой своей сабли пронзил Мая, зато младший Скшетуский одним ударом почти напрочь отсек спаги голову, чем заслужил похвалу благоразумного отца своего и славу немалую.

Так сшибались они и кучно, и один на один, а в тех, кто наблюдал за поединками, сердце вскипало жаждой борьбы. Польские полки тем временем располагались вокруг турецкого табора, где кому гетман назначил. Сам он, стоя позади пехотинцев Корицкого на старой ясской дороге, обнимал взглядом гигантский лагерь Хуссейна, и лицо его выражало невозмутимое спокойствие; так, приступая к делу, спокоен мастер, уверенный в своем искусстве.

Время от времени он посылал вестовых с приказами или задумчивым взором следил за борьбой поединщиков. Под вечер к нему подскакал воевода русский.

— Валы очень широкие, — заметил он, — наступать сразу со всех сторон нет возможности.

— Завтра мы будем на этих валах, а послезавтра за три четверти часа всех там перебьем, — спокойно ответил Собеский.

Наступила ночь. Поединщики покинули поле. Гетман приказал всем отрядам в темноте приблизиться к валам, чему Хуссейн препятствовал, — безуспешно, впрочем, — стрельбой из тяжелых орудий. Перед рассветом польские рати продвинулись еще немного. Пехотинцы стали рыть небольшие шанцы. Некоторые полки «ослабили стрельбу из мушкетов», янычары же, напротив, усилили ружейный огонь. По приказу гетмана огонь тот обошли молчанием, зато пехота готовилась к рукопашной схватке. Солдаты ожидали только знака, чтобы яростно кинуться в бой. Над вытянутой линией строя как стая птиц со свистом и шумом пролетала картечь. Артиллерия Контского, начав обстрел на рассвете, не замолкала ни на минуту. Лишь после битвы обнаружилось, сколь большое опустошение причинили ядра, угодившие в самую гущу шатров янычар и спаги.

Так прошло время до полудня, а день в ноябре короткий, надлежало спешить. И вот загревели литавры и трубы. Тысячи глоток издали воинственный клич, и пехота, поддерживаемая с тылу легкой конницей, сомкнутым строем кинулась в атаку. «Враз с пяти сторон атаковал турков его милость». Ян Деннемарк и Кристоф де Боан, исправные воины, вели иноземные полки. Первый, будучи по натуре человеком горячим, оторвался от своих, стремительно вынесся вперед и быстро достиг валов, чуть не загубив

свой полк, на долю которого пришелся залп более десятка тысяч самопалов. Сам он погиб, солдаты его дрогнули, но в эту как раз минуту на подмогу пришел де Боан и панику предотвратил. Он спокойным и мерным шагом — будто под марш на смотре — преодолел все пространство до самых турецких валов и ответил на залп; когда же ров забросали фашинами, первым под градом пуль преодолел и его, поклонился с шляпой в руке янычарам и первым же проткнул навывлет янычарского офицера. Тут кинулись на врага воодушевленные примером своего полковника солдаты, и завязалась жестокая сеча, в которой дисциплина и умение состязались с дикой отвагой янычар.

Спешившихся драгун вели со стороны деревни Тарабанов Тетвин[82] и Денгоф,[83] а второй полк — Асвер Гребен[84] и Гейдеполь,[85] воины отличные, все, кроме Гейдеполя, еще при Чарнецком в Дании[86] прославились. Солдаты у них были из крестьян королевских поместий — все рослые, как на подбор, отчаянные, прекрасно подготовленные ко всякому бою — что пешая, что верхами. Ворота защищали ямаки, в отличие от янычар воины слабые, и оттого, хотя было их без счета, они тотчас сбились в кучу и попятились; когда же до рукопашной дошло, то защищались они в тех лишь случаях, когда отступать было некуда. Ворота те были взяты прежде других, и конница через них впервые смогла проникнуть в табор.

Лановая польская пехота во главе с Кобылецким, Михалом Девровским, Пиотрковчиком и Галецким ударила на окопы с трех сторон. Ожесточеннейшая битва закипела у главных ворот, выходящая на ясскую дорогу, где мазуры схватились с гвардией Хуссейна-паши. Эти ворота были для него всего важнее, через них польская конница могла хлынуть в табор, оттого он с особенным упорством защищал их, одну за другой бросая туда рати янычар. Лановые пехотинцы, с ходу захватив ворота, силились во что бы то ни стало удержаться там. Пушечные выстрелы и град ружейных пуль отгоняли пехотинцев от ворот, к тому же из клубов дыма возникали все новые и новые шеренги идущих в атаку турков. Кобылецкий, не дожидаясь, пока они дойдут, кидался им навстречу как разъяренный медведь, и две людские стены напирали одна на другую, толклись в давке, хаосе, сумятице, в потоках крови, на грудах тел. Бились там чем ни попадя, все шло в дело: сабли, ножи, приклады мушкетов, лопаты, дреколье, замахивались даже камнями; временами все сбивалось в кучу, и люди, схватившись друг с другом, пускали в ход кулаки и зубы. Хуссейн дважды пытался сломить пехоту натиском конницы, но пехотинцы всякий раз налетали на нее с такою «экстраординарной смелостью», что она вынуждена была в беспорядке отступить. В кон-

це концов Собеский сжалился над пехотинцами и послал им в подмогу всю обозную челядь.

Возглавил ее Мотовило. Сброд этот, обыкновенно в сражении не участвовавший и кое-как вооруженный, так рьяно ринулся в бой, что сам гетман изумился. То ли жажда добычи обуяла людей, то ли им передался порыв, охвативший в тот день все войско, — так или иначе, челядинцы смело ударили на янычар и сцепились с ними столь яростно, что после первой же схватки отогнали их от ворот на расстояние мушкетного выстрела. Хуссейн бросил в хаос боя новые полки, и битва, тотчас же возобновившись, длилась несколько часов. Тем временем отборные полки Корицкого облегли ворота, а стоявшие поодаль гусары зашевелились подобно исполинской птице, неспеша готовящейся к полету, и стали подвигаться к воротам.

В эту минуту к гетману подбежал вестовой с восточной стороны табора.

— Пан воевода бельский на валах! — крикнул он, задыхнувшись.

За ним подоспел второй.

— Литовские гетманы на валах!

Подбежали еще и другие с тою же вестью. На землю опускались сумерки, но лицо гетмана излучало свет. Он повернулся к стоявшему рядом Бидзинскому[87] и молвил:

— Теперь коннице черед пришел, но это уж завтра.

Никто, однако, ни в польском, ни в турецком стане и ведать не ведал, что гетман замышляет соединенную атаку всех сил отложить до следующего утра. Напротив, офицеры-порученцы помчались к ротмистрам с распоряжением во всякую минуту быть готовыми. Пехота стояла сомкнутая строем, у конников руки, сабли, копья рвались к бою. Люди изголодались, иззябли и потому с нетерпением ожидали приказа.

Но шли часы, а приказа все не было. Ночь стала черной как траур. Еще днем началось ненастье, а в полночь сорвался сильный ветер с ледяным дождем и снегом. Порывы ветра пронизывали до костей, кони едва могли устоять на месте, люди цепенели. Даже трескучий мороз не мог бы докучать сильнее, нежели этот будто плетью секущий ветер, и снег, и дождь. В напряженном ожидании приказа невозможно было и думать о еде, питье, о том, чтобы разжечь огонь. Время с каждым часом становилось все враждебнее. То была памятная ночь, «ночь мучений и щелканья зубами». Ежеминутно слышались голоса ротмистров: «Стоять! Стоять!», и не смевший послушаться солдат стоял в боевой готовности, недвижимо и терпеливо.

А по другую сторону, во мраке, под дождем, на ветру, в такой же готовности стояли окостеневшие от холода турецкие полки.

И там никто не жег огня, никто не ел, не пил. Атака всех польских сил ожидалась с минуты на минуту, и потому спаги не выпускали сабли из рук, а янычары стояли стеной с заряженными самопалами.

Выносливый польский солдат, приученный к суровой зиме, еще способен был выдержать такую ночь, но эти люди, выросшие в мягком климате Румелии или среди малоазиатских пальм, совсем изнемогали. Хуссейну наконец ясно стало, отчего Собеский не начинает атаки: ледяющий дождь был наилучшим союзником ляхов. Было очевидно — если спаги и янычары простоят здесь двенадцать часов, завтра они как снопы повалятся на землю, даже не пытаясь защищаться, разве что жар битвы их согреет.

Уразумели это и поляки, и турки. Около четырех часов ночи к Хуссейну прибыли два паши: Яниш-паша и Кяйя — предводитель янычар, старый, испытанный, отличный полководец. Печаль и тревогу выражали их лица.

— О господин, — начал Кяйя, — если агнцы мои до рассвета так простоят, на них ни пуль, ни мечей не понадобится!

— О господин, — сказал Яниш-паша, — мои спаги зачоченеют и драться не станут.

Хуссейн дергал себя за бороду, предвидя поражение и собственную гибель. Но что было делать? Позволь он людям хотя бы на минуту ослабить боевой порядок, разжечь огонь, согреться теплой пищей, атака началась бы немедленно. И так со стороны валов время от времени слышались звуки рожков, словно сигнал коннице к выступлению.

Кяйя и Яниш-паша видели один только выход: не ждать атаки, а самим всеми силами ударить на неприятеля. То, что он стоит в боевой готовности, не помеха, ибо, сам вознамерившись атаковать, враг не ожидает атаки. Глядишь, и удастся оттеснить его с валов; разумеется, в ночной битве поражение возможно, но завтра днем оно неизбежно.

Хуссейн, однако, не отважился внять совету старых воителей.

— Как же так? — сказал он. — Мы все окрест изрезали рвами, полагая в них единственное спасение от дьявольской этой конницы, а теперь сами перейдем те рвы, навлекая на себя неминуемую гибель? Вы мне советовали, вы предостерегали, а нынче что же говорите?

И приказа не отдал. Велел только из орудий палить по валам, на что Контский тут же и ответил, притом весьма успешно. Дождь становился все холоднее и сек все безжалостней, ветер шумел, выл, промозглая сырость проникала сквозь одежду и кожу, леде-

нила кровь в жилах. Так прошла эта долгая ноябрьская ночь, во время которой подорваны были силы воинов ислама, и отчаяние вместе с предчувствием краха овладело их сердцами.

Перед самым рассветом Яниш-паша еще раз явился к Хуссейну с советом: отступить в боевом порядке к мосту через Днестр и там осторожно затеять военную игру. «Ибо в случае, если бы войско наше не сумело противостоять натиску конницы, — говорил он, — то, мост перейдя, оно на другом берегу укроется, и река послужит ему заслоном». Кяйя, предводитель янычар, был, однако, иного мнения. Он полагал совет Яниша запоздалым и при том опасался, что, когда огласят приказ об отступлении, войском тотчас овладеет паника. «Спаги с помощью ямаков надлежит сдерживать первый натиск конницы гяуров, даже если всем им при этом полечь суждено. Янычары тем временем им на подмогу подоспеют, а коль скоро первый натиск гяуров будет отражен, аллах, быть может, ниспошлет нам победу».

Так советовал Кяйя, и Хуссейн послушался его совета. Конница выдвинулась вперед, а янычары и ямаки встали в боевых порядках позади нее у шатров Хуссейна. Рати их выглядели внушительно и грозно. Белобородый Кяйя, «божественный лев», до сей поры привыкший исключительно к победам вести солдат, носился вдоль строя, всех ободрял, укреплял дух, поминая прежние успехи. А воинам тоже милей была битва, нежели бездейтельное стояние в слякоти, под дождем, ожидание на ветру, пронизывающем до мозга костей, и потому, хотя окоченевшие пальцы солдат едва удерживали ружья и пики, они радовались, что согреются в бою. С меньшим воодушевлением ожидали атаки спаги: и оттого, что на них приходился первый удар, и оттого, что было среди них много уроженцев Малой Азии и Египта; весьма чувствительные к холоду, они едва живы остались к концу той ночи. Кони тоже натерпелись немало; пышно убранные, они стояли, свесив головы, и от храпов их валил пар. Люди с посиневшими лицами и потухшим взором вовсе не о победе помышляли, а том, что даже смерть лучше той муки, какую принесла им прошедшая ночь, но всего лучше — бегство в отчий дом, под горячие лучи солнца.

В польском войске десяток-другой солдат из тех, что легко были одеты, к утру замерзли на валах, но в целом и пехота и конница перенесли холод несравненно легче, нежели турки; их подкрепляла и надежда на победу, и почти что слепая вера в то, что, коль скоро гетману было угодно, чтобы они коченели в ненастье, муки эти им несомненно добром обернутся, туркам же — злом и гибелью. Впрочем, первые признаки утра они тоже встретили с радостью.

В это как раз время на гребне вала показался Собеский. Зари на небе в тот день не было, но лицо его озарилось, когда он понял, что неприятель хочет дать ему бой в самом лагере. Нисколько уже не сомневаясь, что день этот принесет роковое поражение Магомету, он стал объезжать полки, повсюду призывая: «За костелы посрамленные! За оскорбление пресвятой богородицы в Каменце! За зло, христианству и Речи Посполитой причиненное! За Каменец!» А солдаты поглядывали грозно, как бы говоря: «Да уж едва стоим! Дозволь, великий гетман, тогда увидишь!» Светлело, в серых сумерках утра все явственней вырисовывались очертания конских голов, фигуры людей, копья, прапорцы и, наконец, пехотные полки. Они первыми пришли в движение и поплыли во мгле неприятелю навстречу, как бы двумя потоками обтекая с боков конницу; затем двинулась легкая кавалерия, оставляя в середине широкую дорогу, по которой в надлежащий момент должны были промчаться гусары.

Каждый командующий пехотным полком, каждый ротмистр уже получил инструкцию и знал, что положено ему делать. Пушки Контского ревели все мощнее, вызывая столь же мощный рев с турецкой стороны. Но вот защелкали мушкетные выстрелы, призывный вопль облетел лагерь — грянул бой.

Все застила мгла, но отголоски сражения доходили и до гусаров. Слышны были выстрелы, лязг орудий, крики людей. Гетман — он оставался до сей поры с гусарами и беседовал с воеводой русским — вдруг умолк и стал прислушиваться, а потом сказал воеводе:

— Пехота с ямаком бьется, те, что впереди, там в шанцах, смяты уже.

Эхо выстрелов ослабло, когда грянул вдруг оглушительный залп — один и другой. Очевидно было, что легкие хоругви одолели спаги и лицом к лицу столкнулись с янычарами.

Великий гетман вздыбил коня и молнией помчался с группой приближенных к месту сражения; воевода русский с пятнадцатью гусарскими хоругвями стоял наготове, ожидая только знака, чтобы двинуться на подмогу и решить судьбу сражения.

Ожидали они довольно долго, пока там, в глубине лагера, кипело и гудело все страшнее. Битва, казалось, перекачивалась то вправо, то влево, то в сторону литовских войск, то к воеводе бельскому — подобно громовым перекатам во время грозы. Орудийные выстрелы турков редели, зато артиллерия Контского била с удвоенной силой. Спустя час воевода русский почувствовал, что центр битвы снова переместился и происходит она как раз напротив его гусаров.

В эту минуту примчался во главе своих людей великий гетман. Глаза его сияли. Осадив коня перед воеводой русским, он крикнул:

— За дело, с богом!

— За дело! — гаркнул воевода.

Его команду подхватили ротмистры. Лес копий с грозным шумом враз склонился к конским головам, пятнадцать хоругвей конницы, привыкшей все крушить на своем пути, тяжелой тучей двинулись вперед.

С того самого времени, когда в трехдневной битве под Варшавой[88] литовские гусары под началом Полубинского расщепили будто клином шведскую армию и прошли сквозь нее, никто не помнил столь мощной атаки. Рысью с места взяли хоругви, но шагов через двести ротмистры дали команду: «Вскачь!», гусары, заявив о себе криками: «Бей! Убивай!», пригнулись в седлах, и кони стремительно понесли их вперед. Лавина вихрем мчавшихся коней, железных рыцарей, склоненных копий была как необузданная стихия. И надвигалась как гроза, как бушующие волны — с шумом и грохотом. Земля стонала под ее тяжестью, и ясно было, что, даже если никто из гусар копьем не нацелится, сабли не выхватит, они с разбегу самим весом своим повалят, сомнут, втопчут в землю все на своем пути, как смерч, что ломает и валит лес. Так домчались они до кровавого, трупами устланного поля, где кипело сражение. Легкие хоругви бились еще на флангах с турецкой конницей и сумели значительно потеснить ее, однако в середине еще стояли неодолимой стеной сомкнутые шеренги янычар. Не одна легкая хоругвь уже разбилась о них, как волна, что катит из морских просторов и разбивается о скалистый берег. Сокрушить их, превозмочь предстояло теперь гусарам.

Десятки тысяч янычарских ружей грянули враз, «как один выстрел». Еще минута: янычары напряжены, при виде смертоносной лавины кто-то щурит глаза, у кого-то, сжимая пику, дрожит рука, сердце колотится молотом, зубы стиснуты, бурно вздымается грудь.

А те все ближе, ближе, уже слышно громкое дыхание коней — сама гибель летит, смерть летит!

«Аллах!.. Иисус, Мария!» — два ужасных, словно и не человеческих вопля слились воедино. Живая стена колеблется, поддается — рухнула! Сухой треск ломаемых копий на мгновение заглушил все прочие звуки, затем слышится скрежет железа и грохот — будто тысячи молотов что есть силы лупят по наковальне, и удары — будто тысячи цепов молотят зерно на току, и крики, множество криков, и стоны, и одиночные выстрелы из мушкетов и рушниц, и вопль ужаса. Атакующие и атакуемые смешались в

каком-то немыслимом коловороте; закипела жестокая сеча, в вихре боя потоками льется кровь — дымящаяся, теплая, сырым запахом насыщает воздух.

Первые, вторые, третьи, десятые шеренги янычар падают во прах — опрокинутые, копытами задавленные, копьями исколотые, мечами изрубленные. Но белобородый Кяйя, «божественный лев», бросает в бой свежие рати. Янычарам нипочем, что многих из них выбило и положило, как градом выбивает ниву, — они дерутся. Охваченные яростью, они несут смерть и смерти жаждут. Лавина коней грудью напирает на янычар, теснит, валит, а они ножами вспарывают лошадям брюхо, тысячи сабель рубят их без роздыха, лезвия взметываются как молнии и обрушиваются на головы, шеи, руки, а они секут конников по ногам, по коленям, взвиваются и кусают как ядовитые гады — гибнут, отмстив.

Кяйя, «божественный лев», бросает в пасть смерти все новые шеренги; кликами увлекает в бой и сам с вознесенной кривой саблею кидается в пучину. Но вот гусар-исполин, изничтожающий все на своем пути, как пламя, настиг белобородого старца и, встав в стремях, чтобы мощнее нанести удар, со всего маху обрушил меч на седую голову. Не выдержала удара ни сабля, ни выкованная в Дамаске мисюрская шапка, и Кяйя, рассеченный до самых почти плеч, упал на землю как громом пораженный.

Нововейский (а это был он) и перед тем уже сеял окрест ужас и смерть, ибо никто не мог противостоять его силе и мрачному ожесточению, на сей раз великую оказал битве услугу, сразивши старца, который один поддерживал до той поры накал битвы. Страшным криком откликнулись на смерть своего вождя янычары, и несколько десятков ружей нацелились в грудь молодому рыцарю, а он обернулся к ним, лицом мрачной ночи подобный. И прежде чем рыцари подоспели на подмогу, грянул залп, и вздыбил коня Нововейский, и стал клониться в седле. Двое товарищей подхватили его под руки, и вдруг улыбка, давно не виданный гость, прояснила хмурый его лик, и тотчас глаза его закатились, а побелевшие губы шепнули слова, какие в шуме битвы невозможно было расслышать.

Тем временем дрогнули последние ряды янычар. Воинственный Яниш-паша хотел было возобновить битву, но безумство страха овладело уже людьми, и тщетны оказались все усилия. Смешались, сбились в кучу все шеренги — их теснили, били, топтали, рубили — оправиться они уже не могли. И наконец рассыпались, как туго натянутая цепь, и люди, как отдельные звенья той цепи, разлетелись в разные стороны с воем, с криком, бросая оружие и заслонив голову руками. Конница гнала их, а они растерявшись, не зная, куда бежать, порою сбивались в плотную

массу, и конники, сидя у них на плечах, буквально купались в крови.

Грозный лучник Мушальский ударил воинственного Яниша-пашу саблею по шее, да так, что спинной мозг брызнул у того из порубленных позвонков, окропив шелк и серебристые чешуйки панциря.

Янычары, смятые польской пехотой ямаки и часть рассеянной уже в начале битвы конницы, словом, все скопище турков обратилось в бегство, держа путь к противоположной стороне табора, туда, где над глубокой пропастью высился крутой, в несколько десятков футов, поросший чащобой холм. «Туда страх гнал безумных».[89] Многие бросались с обрыва в пропасть, «не чая избежать смерти, но чтобы принять ее не от руки поляков». Обезумевшей этой толпе преградил дорогу стражник коронный пан Бидзинский, но, увлекаемый людским потоком, он вместе со своими людьми был низринут на дно пропасти, которая вскорости почти до краев наполнилась горами тел — убитых, раненых, задушенных. Со дна доносились жуткие стоны, несчастные дергались в конвульсиях, пинались ногами, раздирали себя ногтями в предсмертных судорогах. До вечера слышались стоны, до вечера шевелилась людская масса, все меньше, все тише; наконец в сумерках все утихло.

Страшными оказались последствия гусарской атаки. Восемь тысяч изрубленных мечами янычар лежало у рва, окружавшего шатры Хуссейна-паши, не считая тех, кто погиб, спасаясь бегством либо на дне пропасти. Польская конница ворвалась в шатры. Собеский торжествовал. Трубы и рожки хриплыми голосами уже возвещали победу, когда битва вдруг закипела с новой силой. Дело в том, что отважный воитель турецкий Хуссейн-паша во главе своей конной гвардии и остатков прочей конницы бежал после поражения янычар через ворота, ведущие к Яссам, но когда дорогу ему преградили хоругви Димитра Вишневецкого, гетмана польного, и принялись рубить без пощады, он воротился обратно в табор, подобно зверю, окруженному в пуще, который нашел лазейку. Причем ворвался он в табор с таким напором, что в мгновение ока разбил легкую казацкую хоругвь, вызвал замешательство в пехоте, отчасти уже занятой ограблением табора, и почти достиг — на расстоянии «в половину пистолетного выстрела» — самого гетмана.

«Будучи уже в самом таборе, мы оказались близки к поражению, — писал позднее Собеский, — то, что сие нас минуло, надлежит приписать исключительно экстраординарной смелости гусар».

В самом деле, атака турков, совершенная в порыве крайнего отчаяния, к тому же совершенно нежданно, была поистине ужас-

на. Но гусары, не остыв еще от боевого пыла, тут же с места на полном скаку вынеслись им навстречу. Первой вступила в дело хоругвь Прусиновского и остановила атакующих; за нею двинулся Скшетуский со своими, а потом вся какая ни есть конница, пехота, обозные, кто где стоял, где кто был — все в приступе ярости ринулись на неприятеля, и закипел бой, хотя несколько и беспорядочный, но не менее ожесточенный, нежели перед тем схватка гусар с янычарами.

По окончании сей битвы рыцари с изумлением вспоминали доблесть турков, которые, когда подоспел уже Вишневецкий с литовскими гетманами, окруженные со всех сторон, защищались с таким неистовством, что — хотя гетман дозволил брать их живьем — пленить удалось лишь ничтожную горсть. Когда тяжелые хоругви опрокинули их наконец после получасового сражения, отдельные кучки, а затем и одиночные всадники, призывая аллаха, продолжали биться до последнего вздоха.

Много подвигов совершено было там, незабвенна память о них.

Там польный гетман литовский собственной рукою зарубил могущественного пашу, который перед тем настиг пана Рудомино, Кимбара и Рдултовского; гетман же, заехав спереди, одним взмахом сабли снес ему голову. Там пан Собеский на глазах всего войска соизволил обезглавить спаги, который целил в него из пистолета; там и Бидзинский, стражник коронный, спасшийся чудом из пропасти, хотя побитый и раненый, тот же час кинулся в вихрь боя и дрался до тех пор, покуда чувств не лишился от изнурения. Долго после того хворал он, но спустя несколько месяцев, выздоровевши, снова на войну подался славу себе завоевывать.

Из людей ниже званием более других безумствовал Рушиц, похищая конников, как волк похищает баранов из стада. Много свершил также Скшетуский, подле которого сыны его сражались, как злые львята. С грустью и болью размышляли после рыцари, чего только в тот день не свершил бы несравнимый фехтовальщик пан Володыёвский, кабы не то, что год уже как почил он в бозе. Те же, кого учил он сражаться, и его, и себя прославили на кровавом поле брани.

В возобновленном том сражении из давних хрептевских рыцарей, кроме Нововойского, двое еще погибло: пан Мотовило и грозный лучник Мушальский. Пану Мотовило одновременно несколько пуль прошили грудь, и он повалился, как дуб, которому настал конец. Очевидцы говорили, будто погиб он от руки тех братьев казаков, что под началом Хохолья при Хуссейне до последнего вздоха сражались против отчизны своей и христианства. А пан Мушальский — о диво! — от стрелы погиб, ее турок какой-то,

спасаясь бегством, в него выпустил. Стрела пробила Мушальскому горло навывлет в ту самую минуту, когда, после полного краха басурман, он протянул руку к сагайдаку, чтобы пустить вослед убегающим еще несколько метких посланцев смерти. Душа его, должно быть, с душою Дыдюка воссоединилась, дабы дружба, на турецкой галерее возникшая, укрепилась узами вечности. Бывшие хрептевские сотоварищи отыскиали после битвы три этих тела и простились с ними, горько их оплакивая, хотя и завидовали смерти столь славной. У Нововейского улыбка была на устах и тихая безмятежность в лице; Мотовило, казалось, спал спокойно, а Мушальский вознес взор к небу — будто молился. Погребли всех троих на славном хотинском поле под скалою и велели высечь под крестом три имени на вечную память.

Предводитель всей турецкой армии Хуссейн-паша спасся бегством на быстром анатолийском коне, но лишь затем, чтобы получить в Стамбуле шелковую веревку из рук султана. Из превосходной турецкой армии мало кто вышел живым из того побоища. Остатки конницы Хуссейна воители Речи Посполитой передавали один другому; гетман польный гнал их к великому гетману, а тот — гетманам литовским, те же — обратно польному, и так оно длилось, покуда почти все конники не погибли. Из янычар мало кто уцелел. Весь гигантский табор залит был кровью, смешанной с дождем и снегом, трупов лежало столько, что только морозы, вороны да волки предотвратили заразу, какая обыкновенно происходит от множества гниющих тел. Польские ратники, одержимые боевым пылом, едва переведя дух после битвы, овладели Хотинном. Трофеи в таборе были взяты огромные. Сто двадцать орудий, а с ними триста флагов и знамен прислал великий гетман с того поля, на коем второй уж раз в течение века одержала триумф польская сабля.

Сам гетман Собеский расположился в шатре Хуссейна-паши, сверкающем золотом и виссоном, и оттуда с помощью крылатых гонцов рассыпал во все концы вести о счастливой победе. Затем собрались воедино конница и пехота, хоругви польские, литовские и казацкие — все войско выстроилось в боевом порядке. Началось благодарственное богослужение — и на том самом плацу, где вчера еще муэдзины выкрикивали «Ляха иль аллах!», зазвучала молитва «Te Deum Laudamus» *«Тебя, боже, хвалим (лат.-).»*.

Гетман слушал мессу, распростершись ниц, а когда поднялся, слезы радости текли по благородному его лицу. При виде этого не обтершие еще крови, не остывшие от напряжения битвы рыцари возгласили троекратно:

— Vivat Joannes victor! «*Да здравствует Иоанн победитель!*
(Лат.)»

А спустя десять лет, когда его величество король Ян III в прах обратил турецкие полчища под Веной, возглас этот был повторен от моря до моря, от гор до гор, повсюду в мире, где колокола зовут христиан на молитву.

* * *

На том кончается наша трилогия; создавалась она не один год и в трудах немалых — для укрепления сердец.

ПРИМЕЧАНИЯ

1

Ян Собеский (1629–1696) в последние годы правления Яна Казимира был активным сторонником королевской партии, поддерживал планы укрепления центральной власти. В 1665 г. он женился на Марии Казимире, урожденной д'Аркен, в прошлом придворной даме при королеве Марии Людвики, затем жене Яна Замойского («Себепана» из «Потопа»), в том же году стал коронным великим маршалом, поддержал короля во время «рокоша Любомирского». С 1666 г. коронный польный гетман, Собеский успешно воевал на Правобережной Украине. В 1668 г. он занял высшую в Польше военную должность, став коронным великим гетманом

2

...как на Завишу! — В поговорке отразилась память о прославленном Завише Черном из Гарбова (умер в 1428 г.), который считался воплощением рыцарской храбрости и силы, участвовал во многих турнирах и войнах, в том числе в Грюнвальдской битве, погиб в турецкой неволе.

3

Боли (лат.).

4

Станислав Потоцкий, по прозвищу «Ревера», был коронным великим гетманом с 1654 по 1667 г. Эту должность он занял в возрасте 75 лет.

5

Генеральные сеймики представляли шляхту провинций, земель, согласовывали решения, принятые на «поветовых» (уездных) сеймиках, были подготовкой к общепольскому сейму.

6

Миколай Пражмовский (1617–1673), гнезненский архиепископ с 1666 г., был доверенным лицом королевы Марии Людвики, одним из главных деятелей французской партии, рьяным противником короля Михала Вишневецкого (добивался его детронизации).

7

Дорошем в романе называют Петра Дорофеевича Дорошенко (1627–1698), захватившего гетманскую власть на Правобережной Украине в 1665 г. в опоре на ту часть старшины и духовенства, которая была настроена против России и ориентировалась на Турцию. В 1666 г. он открыл военные действия против Речи Посполитой, перешел в подданство к султану и обязался содействовать ему в захвате Подолии и Галиции. В результате своей предательской политики потерял в конечном счете поддержку казачества и в 1676 г. капитулировал перед русскими войсками.

8

Арбитрам и называли шляхтичей, присутствовавших на заседании сейма и зачастую криками вмешивавшихся в его работу.

9

...до Минска. — Имеется ввиду Минск-Мазовецкий, город под Варшавой.

10

Богуслав Радзивилл, герой «Потопа», в ходе шведской войны попал в плен к Яну Казимиру, бежал и укрылся в Пруссии, где был сделан губернатором, продолжал борьбу против Речи Посполитой (участвовал в переговорах о ее разделе), в 1657 г. был амнистирован, умер в 1669 г.

11

...у своего дядюшки... — Речь идет о Фридрихе Вильгельме из династии Гогенцоллернов, бранденбургском курфюрсте с 1640 по 1688 г. Он добился окончательного соединения Бранденбурга с герцогством Пруссией (до этого леном Речи Посполитой).

12

Курляндия — герцогство, основанное в 1561 г., занимавшее часть латвийских земель, находилось в XVII в. в вассальной зависимости от Речи Посполитой.

13

Троил — герой древних сказаний о Трое, сын царя Приама. Его пылкая и верная любовь к Крессиде стала сюжетом ряда произведений европейской литературы, начиная с французского «Романа о Трое» Бенуа де Сент-Мора (XII в.). В античных источниках о ней не рассказывается.

14

Ян Антоний Храповицкий, деятельный политик второй половины XVII в., оставил дневники, часть которых (1668–1672 гг.) была издана в 1845 г. и использована Сенкевичем.

15

Пацы, Кшиштоф Зыгмунт (1621–1684), литовский канцлер, и Михал Казимеж (умер в 1682 г.), литовский великий гетман, смертельный враг Яна Собеского, деятельно содействовали избранию Вишневецкого.

16

Сторонники Конде... — Имеется в виду Луи де Бурбон, прозванный «Великим Конде» (1621–1686), видный полководец, участник Тридцатилетней войны и Фронды. Планы его избрания на польский трон строились еще в правление Яна Казимира (их разделял

и Собеский), выставлялась его кандидатура и позже, в 1674 г. Далее упоминаются другие кандидаты, выдвинутые в 1669 г. и поддержанные сторонниками австрийской ориентации: лотарингский герцог Карл Леопольд (1643–1690), который и после смерти Михала претендовал на польский престол, женившись на его вдове (он командовал императорскими войсками в 1683 г. под Веной), а также Филипп-Вильгельм, герцог нейбургский.

17

Камедулы — монашеский орден, известный строгостью уставов, в Польше вел деятельность с начала XVII в. (его монастырь под Варшавой, на Белянах, основал в 1641 г. Владислав IV).

18

Подгаецкие трактаты. — В октябре 1667 г. в укрепленном лагере под Подгайцами (ныне город Тернопольской области Украины) Собеский с небольшим числом войск успешно отразил натиск превосходящих неприятельских сил (татары вернулись в Крым, на который выступили запорожцы, Дорошенко временно подчинился Польше). Заключенное после этого перемирие было выгодно для Речи Посполитой, не успевшей собрать шляхетское ополчение, не имевшей средств для ведения войны. Победа под Подгайцами положила начало популярности Собеского среди шляхты.

19

Станислав Маковецкий, автор использованной Сенкевичем стихотворной «Реляции о Каменце, взятом турками в 1672 году» (ее прозаическая переработка была в 1886 г. издана), был стольником латычёвским и действительно был женат на сестре Ежи Володыёвского Анне.

20

Якуб Потоцкий (ум. в 1612 г.) был отцом гетмана Миколая из «Огнем и мечом».

21

Три достойных кавалера... — Им Сенкевич дал фамилии трех первых мужей реальной пани Володыёвской.

22

Кшиштоф Арцишевский (1592–1656), инженер и артиллерист, происходил из семьи ариан (радикальное крыло Реформации), жил в изгнании, состоял на французской (участие в осаде Ларошели) и голландской (экспедиция в Южную Америку) службе, в 1646 г. вернулся в Польшу.

23

Немогла выйти замуж за того, кому отдала свое сердце. — В 18-летнюю Марию-Луизу влюбился овдовевший брат короля Людовика XIII Гастон. Против брака была королева-мать Мария Медичи: по ее приказу принцесса несколько недель пробыла под арестом в Венсеннском замке. Гастон послушался матери.

24

Мария Людовика (Луиза) Гонзага (1611–1667), дочь герцога мантуанского, вышла в 1646 г. замуж за Владислава IV, а в 1649-м — за его единокровного брата Яна Казимира. При последнем имела значительное политическое влияние, была душой профранцузской партии

25

«Пяст» — здесь означает: поляк по происхождению. Династия Пястов правила в Польше с X по XIV в.

26

Анджей Ольшовский (1621–1677) при Яне Казимире был королевским секретарем, стал епископом и коронным подканцлером. Популярный оратор, политический писатель, юрист и богослов, поддерживал при Вишневецком проавстрийскую партию. С 1674 г. примас.

27

кровь Ягеллонов текла... — Сигизмунд III был сыном шведского короля Юхана III и Катажины Ягеллонки (1526–1583), сестры Сигизмунда Августа, последнего в династии Ягеллов.

28

... Станислав Кшицкий (ок. 1616–1681), популярный среди шляхты политик, первым по наущению Ольшовского, выступил с призывом избрать королем «поляка, средь нас пребывающего», стал маршалом коронационного сейма. В 1674 г. поддержал кандидатуру Собеского.

29

...хоругвь генерала подольского... — Генеральным старостой (генералом) именовался в Речи Посполитой управитель провинции, имевший под своей властью несколько замков и городов. «Генералом подольских земель» звали каменецкого старосту. Им был в 1672 г. Миколай Потоцкий, при обороне Каменца занявший капитулянтскую позицию. Разумеется, хоругвь лишь номинально считалась под командой «генерала»: как это было принято, в отсутствие ее «ротмистра» командовал «наместник».

30

Ян Линкгауз (ум. в 1679 г.) — полковник драгун.

31

Михал Степанович Ханенко — казачий полковник, перешедший с начала 60-х годов на сторону Речи Посполитой, противник Дорошенко. Влияние имел на весьма значительную часть казачества (на раде 1669 г. в Умани его провозгласили гетманом представители только трех полков), постоянно нуждался в помощи извне. В 1672–1673 гг. сторонники его были полностью разбиты, а сам он принял русское подданство и переселился на Левобережье.

32

Войский — одна из должностей в местной администрации; в его обязанности входила опека над имуществом и семьями шляхтичей, ушедших со всеобщим ополчением.

33

Со времени последней экспедиции... — Имеется в виду летне-осенняя экспедиция 1671 г., в ходе которой Собеский занял ряд городов и крепостей на Украине. (Ниже упоминаются ее эпизоды: взятие Брацлава 26 августа и битва под Кальником 21 октября). Из-за отсутствия подкреплений гетман не мог развить успех и 1 ноября объявил конец кампании, оставив войска зимовать на Украине.

34

Липеки. — Так звали на Литве татар из военнопленных, живших там еще с XV в., получавших от великих князей земли и привилегии, а взамен обязанных нести военную службу. В середине XVII в. татарских хоругвей на службе Речи Посполитой было 15. Переход их на сторону Турции в 1672 г. — исторический факт, но через десять с небольшим лет они вернулись к прежней службе.

35

Могилев. — Имеется в виду Могилев-Подольский на Днестре (ныне Винницкая область Украины).

36

...по Архипелагу — то есть по Эгейскому морю.

37

...при дворе Земовита... — Это имя приводится в древнейшей польской хронике Галла Анонима (XII в., на латинском языке) как имя первого князя из династии Пястов (по легенде, ее основатель был крестьянином колесником) фантастические родословные, вроде приводимой здесь, были не редкостью у шляхты.

38

Иван Дмитриевич Сирко (ум. в 1680 г.) участвовал в освободительной войне 1648–1654 гг., был винницким полковником, а с 1663 г. кошевым атаманом Запорожской Сечи. Знаменитое «Письмо запорожцев турецкому султану» в народных преданиях связано с его именем.

39

Пыркалаб — начальник округа, города в Молдавском княжестве, сборщик податей.

40

Миколай Злотницкий, мечник, затем хорунжий познанский, посол к крымскому хану, участвовал впоследствии в битве под Веной, командуя гусарской хоругвью.

41

Эчмиадзинский патриарх — то есть католикос, глава армяно-грегорианской церкви.

42

Анардрат — законоучитель, проповедник.

43

Кафа — так называла в то время Феодосия.

44

...при молодом хане... — Смена ханов произошла в Крыму в мае 1671 г., правившего с 1666 г. Аадиль Гирея султан отстранил (и сослал в Родос), поставив на его место Селим-Гирея (продержался до 1678 г., правда, потом еще трижды возвращался к власти), который и принял участие в последующей войне с Польшей.

45

Путные бояре. — Так в Великом княжестве Литовском именовался военнослужильный слой, занимавший промежуточное положение между «благородными» боярами и состоятельным крестьянством.

46

...шляхта объявила изменником... — Профранцузская партия, к которой принадлежал Собеский, не смирилась с выбором Вишневецкого, избравшего в политике австрийскую ориентацию (что подчеркивалось его женитьбой на сестре императора Элеоноре). Был сорван коронационный сейм, возникли планы детронизации Михала и замены его французом. Когда о них стало известно, шляхта потребовала предания главарей интриги сеймовому суду (впрочем, осенний сейм 1670 г. их помиловал). Распространялись брошюры, где среди обвиненных в измене назывался и Собеский. Предлагали лишить его гетманства, но он был слишком популярен в войске и нужен ввиду военной угрозы. Верх взяли на время примирительные тенденции. Однако явная незадачливость короля, игрушки в руках прогабсбургских кругов, неполученные

гетманом в 1671 г. какой-либо помощи от Варшавы, срыв январского-мартовского сейма 1672 г., не принявшего необходимых для войны решений, снова оживили планы недовольных. Примас Пражмовский хотел провести их в жизнь уже на майско-июньском сейме (тоже сорванном), но Собеский, учитывая сложность положения, воздержался от развязывания гражданской войны. Наибольшей остроты борьба достигла осенью: шляхетское ополчение, возглавленное королем, объявило 16 октября под деревней Голомб конфедерацию, направленную против гетмана и профранцузских политиков. В ответ войско провозгласило 24 ноября конфедерацию в Щебжешине. Лишь на следующий год военная необходимость заставила обе конфедерации прийти к соглашению.

47

А сословия? — В Речи Посполитой тремя сословиями, составляющими сейм, считали короля и обе палаты: сенат и посольскую избу.

48

«Рака!» — Это оскорбительное слово («никчемный, пустой человек») приведено в Евангелии (от Матфея, гл. V), где говорится, что Христос велел употребляющих его предавать суду синедриона.

49

Готфрид Бульонский (ок. 1060–1100) — герцог Нижней Лотарингии, один из вождей первого крестового похода.

50

Писарь польный. — Им был в 1672 г. Стефан Станислав Чарнецкий (до 1635–1703), племянник героя «Потопа», горячий сторонник короля Михала, маршал Голомбской конфедерации.

51

Михал Флориан Жевуский (ум. в 1687 г.) — львовский земский писарь, позднее — участник битвы под Веной.

52

Ян Гоженский (1620–1695) — капитан рейтаров.

53

в 1651 году... — В действительности десятью годами позже.

54

Буша в XVII в. была местечком-крепостью на Брацлавщине, недалеко от Ямполья, отбила в феврале — марте 1654 г. нападение шляхетских войск, но в ноябре снова была осаждена. Казаки и жители оборонялись до последнего, а когда большинство защитников Буши пало и замок был взят, жена сотника Завистного, не желая идти в плен, подожгла пороховой погреб.

55

...такое известие... — Текст письма основан на подлинном документе: донесении Яна Михала Мыслишевского сейму.

56

Анджей Тшебицкий (1607–1679), краковский епископ (с 1657 г.) содействовал в 1673 г. примирению двух конфедераций, поддержал избрание Собеского.

57

Сам падишах — султан Мехмед IV, возведенный янычарами на трон в 1648 г. и свергнутый в 1687-м, после ряда военных неудач.

58

Установлено, что в рассказе Сенкевича о событиях 1672 г., наряду с упомянутыми выше записками Маковецкого, использовано больше всего (начиная с описания турецкого войска, включая подробности обороны Каменца) основанное на документах сочинение под названием «Каменецкая измена», которое опубликовал в январе — мае 1887 г. варшавский журнал «Нива». Автором его был Антоний Юзеф Ролле (1830–1894), писатель, историк, врач, живший в Каменце и интересовавшийся прошлым Подолии.

59

Санджак — единица административного деления, часть вилайета. Так же называлось знамя, флаг.

60

Каймакам (по-арабски: наместник, заместитель) — сановник, замещавший великого визиря при дворе (каймакам-паша) или в армии (орду-каймаками).

61

Кара Мустафа (ок. 1620 или 1634–1683) — турецкий полководец. В 1676 г. был назначен визирем, под Веной в 1683 г. командовал 200-тысячным войском, разбитый Собеским, бежал в Белград, где по султанскому повелению казнен.

62

Злосчастный Батог. — Напоминание о битве 1652 г., когда Хмельницким было окружено и побито 20-тысячное шляхетские, войско.

63

Сыны Велиала — то есть нечистивцы, порождение духа зла (библейское выражение).

64

Слова, приписанные султану Осману II (после хотинского поражения убит в 1622 г. янычарами), Сенкевич мог найти в поэме Вацлава Потоцкого (1621–1696) «Хотинская война», опубликованной в 1850 г.

65

Станислав Любомирский (1583–1649), участник Хотинской битвы, принял командование после смерти гетмана Ходкевича. Отец Ежи-Себастиана, выведенного в «Потопе».

66

Войцех Гумецкий служил под командованием Собеского вместе с историческим Володыёвским, при обороне Каменца был убит (или смертельно ранен) во время одной из вылазок.

67

Веспазиан Ланцкоронский (ок. 1612–1677), епископ каменецкий, убедил горожан под конец осады сдаться туркам.

68

Кияне (то есть киевляне) — жители Киева, состоящие на королевской службе.

69

Ямаки — солдаты вспомогательных войск, обычно из потурченцев.

70

...сам визирь... — Великим визирем был в 1661–1676 гг. Фазыл Ахмет Кёпрюлю, представитель влиятельного феодального рода. Он стремился к укреплению султанской власти и армии, вел воинственную политику, был инициатором нападения на Польшу.

71

Бимбаши — офицерский чин.

72

В описании Хотинской битвы 1673 г. Сенкевичем использованы упомянутая работа Ролле, публикации А. Грабовского («Воспоминания соотечественников в сочинениях по истории давней Польши», 1845) и Ф. Ключицкого («Сочинения о временах и деяниях Яна Собеского», 1880–1881), а также «Польских анналов часть IV, охватывающая историю Польши в правление короля Михала» (перевод с латинского на польский вышел в 1853 г.) известного поэта Веспасиана Коховского (1633–1700).

73

Воевода русский (т. е. львовский) — Станислав Ян Яблоновский (1634–1702), боевой соратник Собеского. Получил от него должности сперва польного, затем великого коронного гетмана, сражался под Веной (участвовал и в интригах против короля).

74

Лановая пехота была создана в 1655 г. по образцу ранее существовавшей «выбранецкой». В нее брали крестьян, по одному с 15 ланов (лан — ок. 4 гектаров) земли.

75

Михал Казимеж Радзивилл (1625–1680) участвовал в войнах со шведами (изображен в «Потопе»), был женат на сестре Собеского Катажине, поддерживал гетмана в конфликтах с Пацами.

76

Марцин Контский (1635–1710), генерал коронной артиллерии, участвовал в большинстве кампаний Собеского.

77

Димитр Ежи Вишневецкий (1631–1682), польный гетман, воевода бельский, принадлежал к королевско-проавстрийской партии (ради сближения враждующих сторон был устроен его брак с племянницей Собеского Теофилей Острогско-Заславской). При короле Яне был назначен великим гетманом.

78

Анджей (Енджей) Потоцкий (ум. в 1692 г.) — сын гетмана Реве-ры.

79

Кшиштоф Корыцкий (ум. ок. 1676 г.) — генерал, был близок к семейству Собеских.

80

Габриэль Сильникий (ум. в 1678 г.) был ротмистром в хоругви гетмана Вишневецкого.

81

...подобно Яну, королучешскому... — Ян Люксембургский (1296–1346) стал чешским королем в 1310 г. (женившись на дочери Вацлава, последнего в династии Пршемысловичей), претендовал одно время на польский престол, участвовал во многих сражениях и рыцарских турнирах, погиб в битве при Креси во время Столетней войны.

82

Ян Тетвин служил при дворе Вишневецкого.

83

Эрнест Денгоф (после 1632–1693) командовал гвардией, был смещен как противник Вишневецкого.

84

Ян фридерик фон дер Гребен (1645–1712) — подполковник пехоты.

85

Асферус Гейдеполь-Вжоспольский (ум. в 1683 г.) — полковник. (У Сенкевича допущена неточность в именах.)

86

...в Дании... — Войска под командованием Стефана Чарнецкого были посланы на помощь Дании против шведов в 1658 г.

87

Стефан Бидзинский (до 1630–1704) — коронный стражник, один из соратников Собеского.

88

...в трехдневной битве под Варшавой... — Имеется в виду битва, которая произошла 28–30 июля 1656 г. Шведам (в союзе с бранденбургской армией) удалось на время снова завладеть польской столицей.

89

«Туда страх гнал безумных». — дословная цитата из хроники Коховского (как и чуть ниже).